

Женщины-террористки в России

Женщины-террористки: политика, психология, патология

Террористические идеи появляются в русском революционном движении в 1860-е годы;¹ тогда же были осуществлены и первые террористические акты: 4 апреля 1866 г. бывший студент *Дмитрий Каракозов* стрелял в императора Александра II, промахнулся, был схвачен и публично повешен. 21 ноября 1869 г. был убит по обвинению в предательстве студент *Иван Иванов* «пятеркой» членов общества «Народная расправа», возглавляемой его основателем и вождем *Сергеем Нечаевым*. Оба эти теракта возымели эффект, обратный тому, на который рассчитывали его исполнители. Покушение Каракозова на царя, освободившего крестьян, вызвало всеобщее негодование. Зверское убийство Иванова, последующая публикация в печати «Катехизиса революционера» Нечаева, в котором возводилось в принцип физическое уничтожение «особенно вредных» лиц, вызвали у русских революционеров аллергию к террористическим методам борьбы почти на 10 лет.

24 января 1878 г. дочь штабс-капитана *Вера Засулич* стреляла в петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова и тяжело его ранила. 31 марта того же года она была оправдана судом присяжных. Присяжные очень точно отразили общественные настроения; по приказу Трепова, в нарушение закона был высечен политзаключенный — покушение Засулич стало ответом на произвол высокопоставленного чиновника. Парадоксальным образом ее теракт стал средством защиты закона и прав личности.

Выстрел Засулич положил начало «террористическому пятилетию» (1878–1882) в жизни России. Революционеры, разочаровавшись в возможности поднять крестьянство на восстание, переходят от пропаганды к террору, от анархизма к политической борьбе. Партия «Народной воли», образовавшаяся в 1879 г., начинает «охоту на коронованного зверя» — Александра II. Вера Засулич была первой «женщиной с револьвером» в русском революционном движении; в Исполнительный комитет «Народной воли» первого состава, насчитывавший 29 человек, входило 10 женщин.

Принцип равенства проводился в жизнь неукоснительно — женщины участвовали в подготовке террористических актов наравне с мужчинами. *Софья Перовская* непосредственно руководила подготовкой и осуществлением цареубийства 1 марта 1881 года; на процессе «первомартовцев» две женщины — Перовская и агент Исполнительного комитета *Геся Гельфман* были приговорены к смертной казни. 3 апреля 1881 г. 28-летняя Перовская вместе с другими «первомартовцами» была публично повешена, став первой женщиной в России, казненной за политическое преступление. Гельфман, ввиду ее беременности (отец ребенка, народоволец Николай Саблин, застрелился при аресте) отсрочили смертную казнь до рождения ребенка. Этот изуверский приговор вызвал протесты международной общественности и смертную казнь заменили, в конце концов, вечной каторгой. Три месяца спустя после рождения девочки она была отнята у матери, а уже 1 февраля 1882 г. Гельфман умерла в тюрьме.

Еще одной легендой «Народной воли», наряду с Перовской, была *Вера Фигнер*, участница почти всех покушений на царя. Пока очаровательная Вера Николаевна была на свободе, власти не решались провести коронацию, опасаясь покушения на Александра III. Когда император получил известие о ее аресте, он воскликнул: «Наконец эта ужасная

¹ О генезисе террористических идей и террористической практики в России см. «Кровь по совести»: Терроризм в России /Документы и биография. Сост. О. В. Будницкий. Ростов н/Дону: РГПУ, 1994; см. также Будницкий О. В. «Кровь по совести»: терроризм в России (вторая половина XIX — начало XX в.)//Отечественная история. 1994. № 6; его же. Истоки терроризма: 1860-е// За строкой учебника истории. Ростов н/Дону: РГПУ, 1995.

женщина арестована!» Фигнер приговорили к смертной казни, замененной по конфирмации вечной каторгой.

Принимая активное участие в организации и подготовке террористических актов, женщины, участницы народнического движения 1870–1880-х годов сами все же не были особенно часто их непосредственными исполнителями. Кроме выстрела Засулич, можно назвать, пожалуй, покушения входивших в «Народную волю» *Марии Кутитонской* на забайкальского губернатора Л. И. Ильяшевича и *Марии Калюжной* на начальника Одесского жандармского управления полковника А. М. Катанского. Хотя в желающих недостатка не было. Кстати, едва ли не последнюю серьезную попытку возродить «Народную волю» и организовать цареубийство предприняла *София Гинсбург*; однако она была арестована, приговорена в 1890 г. к смертной казни, замененной Александром III на вечную каторгу. Уже в январе следующего года, отбывая каторгу в Шлиссельбургской крепости, Гинсбург, раздобыв где-то тупые ножницы, перерезала себе горло.

В течение почти 20 лет после разгрома «Народной воли» в начале 1880-х годов, попытки русских революционеров возобновить террористическую борьбу неизменно заканчивались неудачей. Однако противостояние самодержавия, не желавшего поступиться хотя бы частью власти в пользу общества, с одной стороны, крайне радикальные настроения «левого крыла» общества, с другой, с большой вероятностью опять вели к «повторению пройденного» в 1870–1880-е годы.

14 февраля 1901 г. бывший студент *Петр Карпович* смертельно ранил министра народного просвещения Н. Ц. Боголепова. Это был ответ на жестокую расправу с участниками студенческих волнений — массовые исключения и сдачу в солдаты. Как и Засулич в свое время, Карпович действовал по собственной инициативе, а не по поручению какой-либо партии. Впрочем, партия не замедлила объявиться. 2 апреля 1902 г. бывший студент *Степан Балмашев* застрелил министра внутренних дел Д. С. Сипягина. Ответственность за теракт взяла на себя Боевая организация партии социалистов-революционеров (БО ПСР). На страну накатила вторая, и гораздо более мощная, «террористическая волна» (1901–1911).

Партия эсеров, сложившаяся в 1901–1902 гг., считала себя преемницей «Народной воли». Признавая террор средством агитации, самозащиты и дезорганизации правительства, эсеры стремились увязывать его с массовым движением. Они боялись повторения народофильской истории, когда вся деятельность партии в конце концов свелась к террору и он подчинил себе все остальные отрасли партийной деятельности. Чтобы избежать этого, эсеры пришли к оригинальному организационному решению — Боевая организация становилась автономной и абсолютно самостоятельной в решении поставленных перед ней задач. ЦК определял объекты покушения, выделял средства — все остальное отдавалось на усмотрение БО.

Внутри БО соблюдалась жесткая дисциплина и централизм; член-распорядитель, стоявший во главе организации, обладал диктаторскими полномочиями. Он же в конечном счете и решал, кого принимать в состав БО. Создателем БО и ее первым руководителем был *Григорий Гершуни*; он же был непосредственным руководителем покушений на министра внутренних дел Д. С. Сипягина, уфимского губернатора Н. М. Богдановича и харьковского — кн. И. М. Оболенского. После ареста Гершуни в мае 1903 г. организацию возглавил *Евно Азеф*, известный в партии своим хладнокровием и организаторскими способностями; обладал он, несомненно, и незаурядными актерскими способностями — к тому времени Азеф уже около 10 лет был платным осведомителем полиции.² Своим заместителем он назначил *Бориса Савинкова*. Под руководством этого дуэта и были осуществлены два самых громких теракта БО — убийство министра внутренних дел В. К. Плеве 15 июля

² См. Николаевский Борис. История одного предателя: террористы и политическая полиция. М.: Высшая школа, 1991. В книге Б. И. Николаевского исследована не только история Азефа, но и эсерского терроризма.

1904 г. (исполнитель — Е. С. Созонов) и вел. кн. Сергея Александровича 4 февраля 1905 г. (исполнитель — И. П. Каляев).

Успешные теракты подняли авторитет эсеров, обеспечили приток новых членов и денежных средств, а прием в БО можно было вполне проводить на конкурсной основе — настолько велико было число желающих в нее вступить. Особый размах терроризм приобрел в период революции 1905–1907 годов. Кроме БО, теперь в стране действовали так называемые летучие боевые отряды, подчиняющиеся областным партийным комитетам, местные боевые дружины. Началась настоящая террористическая война. Всего в период 1901–1911 годов эсеровскими боевиками было совершено 263 террористических акта. Их объектами стали 2 министра; 33 генерал-губернатора, губернатора и вице-губернатора; 16 градоначальников, начальников окружных отделений, полицмейстеров, прокуроров, их помощников, начальников сыскных отделений; 7 генералов и адмиралов, 15 полковников; 8 присяжных поверенных; 26 агентов полиции и провокаторов.³

Эти данные не включали в себя теракты, осуществленные раскольниками-«максималистами», а также осуществленные членами партии, но без санкций партийных организаций. Кроме эсеров, террор широко практиковали анархисты, грешили им, вопреки теоретическому отрицанию его эффективности, и социал-демократы обоих толков, различные национальные партии. В итоге, по подсчетам американского историка Анны Гейфман, в 1905–1907 гг. террористами было убито и ранено около 4500 государственных служащих различного уровня. «Попутно» было убито 2180 и ранено 2530 частных лиц. Всего же в 1901–1911 годах жертвами террористических актов стали около 17 тыс. человек.⁴

Активную роль в эсеровских террористических организациях, вполне в духе народовольческих традиций, играли женщины. Правда, они редко играли «руководящую» роль, однако число женщин среди непосредственных исполнителей терактов заметно возросло. По подсчетам американской исследовательницы Эми Найт, посвятившей специальную статью женщинам-террористкам в партии социалистов-революционеров, среди 78 членов БО, входивших в ее состав с 1902 по 1910 год, было 25 женщин. Всего же ей удалось выявить имена 44 террористок, действовавших в составе различных эсеровских боевых организаций.⁵ По-видимому, число их было несколько больше, однако идентифицировать всех вряд ли сейчас представляется возможным.

Мотивы участия женщин в освободительном движении конца XIX — начала XX века, в общем, понятны. К причинам социальным и политическим, добавлялись и специфические «половые» — женщины не имели возможности поступать в университеты, их профессиональная карьера была ограничена только сферой преподавания и медицины, и то не в полном объеме. Однако, что толкало некоторых женщин братья за бомбы и револьверы? Почему, примкнув к революционному движению, они оказались в прямом смысле слова «на линии огня», ведь были же и другие формы участия в противоправительственной деятельности? Видимо, только социальными причинами этого не объяснишь.

Каждый случай, конечно, индивидуален, однако ответ надо, по-видимому, искать все же скорее в сфере психологии, нежели социологии. Хотя некоторые социологические выкладки могут быть, несомненно, полезны для понимания феномена «женского

³ Гусев К. В. Рыцари террора. М... 1992. С. 34.

⁴ Geifman Anna. Thou Shalt Kill/Revolutionary Terrorism in Russia, 1894–1917. Princeton Univ. Press. 1993. P. 21.

⁵ Knight Amy. Female Terrorists in the Russian Socialist Revolutionary Party//The Russian Review. 1979. Vol. 38. № 2. P. 144. 147.

терроризма» Эми Найт проанализировала биографические данные 44 эсеровских террористок и пришла к выводу, что их отличает более высокое социальное происхождение и более высокий образовательный уровень, нежели их товарищей-мужчин. Так, из 40 террористок, чье социальное происхождение удалось установить, 15 были дворянками или дочерьми купцов, 4 происходили из среды разночинцев, 11 — из мещан, одна была дочерью священника и 9 родились в крестьянских семьях.

На деле социальный статус многих из них был выше, чем это следовало «по рождению». Так, крестьянка Анастасия Биценко и дочь солдата Зинаида Коноплянникова получили специальное образование и стали учительницами. Реально большинство из них принадлежало к тому слою русского общества, который принято определять термином «интеллигенция». Принадлежность к этому то восхваляемому, то хулимому «ордену» объединяла дочь якутского вице-губернатора Татьяну Леонтьеву или дочерей генерала Александру и Екатерину Измаилович с упомянутыми выше крестьянскими и солдатскими дочками.

В «Памятной книжке социалиста-революционера» в 1914 году была опубликована статистическая сводка террористических актов, осуществленных эсерами с 1902 по 1911 год. 20 из 27 женщин, принимавших участие в этих терактах, отнесены составителем к «интеллигенткам». Для сравнения: из 131 террориста-мужчины, упомянутых в этой сводке, 95 были рабочими и крестьянами по роду занятий. Высок был и образовательный уровень террористок — 11 имели высшее образование, 23 — среднее, еще 6 — домашнее, которое вполне могло быть вполне приличного уровня, и лишь 3 — начальное; одна назвала себя самоучкой. Среди террористок было 9 учительниц и 8 студенток и лишь 4 неквалифицированных рабочих.⁶ Средний возраст в 1906 г. составлял 22 года.

Любопытен национальный состав эсеровских террористок — преобладали русские (22) и еврейки (13). Высокий процент — почти треть — евреек среди женщин-террористок нельзя объяснить только вообще активным участием евреев в русском революционном движении. Как показывают наблюдения историков, наибольшее число евреев насчитывалось среди социал-демократов. По мнению Леонардо Шапиро, евреев привлекала интернационалистская доктрина марксизма. К эсерам, более национально ориентированной партии русского крестьянства, примкнуло существенно меньше евреев, чем к РСДРП. Число женщин-евреек среди террористов не коррелировало с общим процентом евреев в ПСР. Эми Найт высказала вполне правдоподобное предположение, что для еврейской женщины, роль которой в семье была жестко регламентирована, разрыв с религиозными и семейными традициями требовал гораздо больших усилий, чем для мужчины, происходил на более глубоком уровне. Возможно, поэтому, ступив на путь революционной борьбы, они выбирали ее самые крайние формы, предполагавшие, среди прочего, готовность к самопожертвованию и тотальному разрыву с обществом.⁷

Возможно, достаточно высокий социальный статус и образовательный уровень подталкивал женщин, вступивших на путь революционной борьбы, выполнить один из заветов П. Л. Лаврова — «вернуть долг народу», посвятив себя делу его освобождения в самой опасной сфере — терроризма? Участие в революционной борьбе — во имя равенства и справедливости — предполагало принесение в жертву личного счастья и личных интересов; где жертва могла быть большей, нежели в террористической борьбе, где на кон ставилась сама жизнь? В литературе уже обращалось внимание на религиозные основы психологик революционеров-народников и их преемников — эсеров.⁸ Изменился объект, но

⁶ Knight Amy. Op. cit. P. 144–145.

⁷ См. Schapiro Leonard. Jews in the Russian Revolutionary Movement/ /The Slavonic and East European Review. 1961. December. Vol. 40. P. 148–167; Knight Amy. Op. cit. P 145. 146.

⁸ См., напр. Пантин И. К., Плимак Е. Г., Хорос В. Г. Революционная традиция в России. М... 1986.

не изменилась структура религиозного чувства. Место Бога занял народ. Религиозный (или квази-религиозный) момент в особенности прослеживается в психологии террористов. Люди, борющиеся за царство справедливости, прибегают к убийствам, причем зачастую лично ни в чем не повинных, а то и просто случайных людей. Оправданием этому может служить лишь то, что они являются искупительной жертвой. Так же, как в жертву приносит, нередко, свою жизнь и сам террорист.

Уже в первой листовке Боевой организации, выпущенной по случаю убийства С. В. Балмашевым министра внутренних дел Д. С. Сипягина, ее автор Гершуни писал, что этот акт докажет, что «люди, готовые жизнью своей пожертвовать за благо народа, сумеют достать врагов этого народа для совершения над ними правого суда».⁹

В. М. Зензинов, видный партийный публицист, одно время состоявший в Боевой организации, свидетельствовал, что на него и его поколение глубокое впечатление произвело то, что Балмашев не сделал попытки скрыться после теракта, принеся тем самым в жертву и себя самого.

«Для нас, молодых кантианцев, — писал Зензинов, — признававших человека самоцелью и общественное служение обуславливавших самоценностью человеческой личности, вопрос о терроре был самым страшным, трагическим, мучительным. Как оправдать убийство и можно ли вообще его оправдать? Убийство при всех условиях остается убийством. Мы идем на него, потому что правительство не дает нам никакой возможности проводить мирно нашу политическую программу, имеющую целью благо страны и народа. Но разве этим можно его оправдать? Единственное, что может его до некоторой степени, если не оправдать, то субъективно искупить, это принесение при этом в жертву своей собственной жизни. С морально-философской точки зрения акт убийства должен быть одновременно и **актом самопожертвования**».¹⁰

Германский, историк М. Хилдермейер справедливо замечает, что в эсеровских декларациях террористические акты получали дополнительное оправдание при помощи моральных и этических аргументов. «Это демонстрировало примечательный иррационализм и псевдорелигиозное преклонение перед „героями-мстителями“... Убийства объяснялись не политическими причинами, а „ненавистью“, „духом самопожертвования“ и „чувством чести“». Использование бомб провозглашалось «святым делом». На террористов распространялась особая аура, ставившая их выше обычных членов партии, по удачному выражению Хилдермейера, «гражданских членов партии».¹¹

У многих женщин-террористок жертвенные мотивы прослеживаются особенно отчетливо. Классический пример — член БО *Мария Беневоля*, верующая христианка, изготовлявшая бомбы и пострадавшая при случайном взрыве; она находила оправдание своей деятельности скорее в Библии, нежели в партийных программах, *Евстолия Рогожинникова*, застрелившая начальника Главного тюремного управления А. М. Максимовского, писала перед казнью, что она вступила на путь терроризма из чувства долга и любви к людям. *Дора Бриллиант* рвалась сама выйти с бомбой на Плевагу или вел. кн. Сергея Александровича; а ведь и в том и в другом случае гибель была практически неизбежной. «Беззаветное самопожертвование, спокойное сознание неизбежности своей гибели — такова была самая яркая отличительная черта всей этой группы», — писала о

С. 226–236.

⁹ Боевая организация партии социалистов-революционеров: «По делам вашим воздастся вам»//«Кровь по совести»: Терроризм в России/Документы и биографии. С. 124.

¹⁰ Зензинов В. М. Пережитое. Нью Йорк. 1953. С. 108.

¹¹ Yildermeier Manfred. The Terrorist Strategiest of the Socialist Revolutionary Party in Russia. 1900–1914//Social Protest. Violence and Terror in Nineteenth-and Twentieth-century Europe. N.Y.-Lnd., 1979. P. 81.

товарищах по БО, женщинах и мужчинах, Валентина Попова в своих, публикуемых в этом сборнике, воспоминаниях.

Интересно сравнить отношение к моральной стороне терроризма революционеров двух поколений — народовольцев и эсеров. Легендарная Вера Фигнер пережила 20-летнее заключение в Шлиссельбурге, вышла на поселение и в конце концов перебралась за границу, где сблизилась с эсерами. «На поклон» к ней приехал Борис Савинков. Фигнер и Савинков, по инициативе последнего, вели дискуссии о ценности жизни, об ответственности за убийство и о самопожертвовании, о сходстве и различии в подходе к этим проблемам народовольцев и эсеров. Фигнер эти проблемы казались надуманными. По ее мнению, у народовольца, «определившего себя», не было внутренней борьбы: «Если берешь чужую жизнь — отдавай и свою легко и свободно... Мы о ценности жизни не рассуждали, никогда не говорили о ней, а шли отдавать ее, или всегда были готовы отдать, как-то просто, без всякой оценки того, что отдаем или готовы отдать».

Далее в ее мемуарной книге, где воспроизведены разговоры с Савинковым, следует блистательный по своей откровенности пассаж, многое объясняющий в психологии и логике не только террористов, но и революционеров вообще: «Повышенная чувствительность к политической и экономической обстановки затушевывала личное, и индивидуальная жизнь была такой несоизмеримо малой величиной в сравнении с жизнью народа, со всеми ее тяготами для него, что как-то не думалось о своем». Остается добавить — о чужом тем более. Т. е., для народовольцев просто не существовало проблемы абсолютной ценности жизни.

Рассуждения Савинкова о тяжелом душевном состоянии человека, решающегося на «жестокое дело отнятия человеческой жизни» казались ей надуманными, а слова — фальшивыми. Неизвестно, насколько искренен был Савинков; человек, пославший боевика убить предателя (Н. Ю. Татарова) на глазах у родителей, неоднократно отправлявший своих друзей-подчиненных на верную смерть, не очень похож на внутренне раздвоенного и рефлектирующего интеллигента. Его художественные произведения достаточно холодны и навеяны скорее декадентской литературой, чем внутренними переживаниями.

Однако он все же ставит вопрос о ценности жизни не только террориста, но и его жертвы и пытается найти политическому убийству (опять-таки, неизвестно, насколько искренне) подобие религиозного оправдания. Характерно, что в его разговорах с Фигнер мелькают слова «Голгофа», «моление о чаше». Старая народница с восхитительной простотой объясняет все эти страдания тем, что «за период в 25 лет у революционера поднялся материальный уровень жизни, выросла потребность жизни для себя, выросло сознание ценности своего „я“ и явилось требование жизни для себя». Неудивительно, что получив как-то раз письмо от Савинкова с подписью: «Ваш сын», Фигнер не удержалась от восклицания: «Не сын, а подкидыш!» Необходимо добавить, что цитируемые воспоминания были написаны до загадочной гибели Савинкова и финал его запутанной жизни был еще неизвестен мемуаристке.¹²

Не мучилась особенно над нравственными проблемами, связанными с терроризмом, другая прославленная революционерка 1870-х — «бабушка русской революции» Екатерина Брешковская, вошедшая в руководство ПСР. В 1905 году со страниц центрального органа партии она призвала к массовому «аграрному» террору. Она писала, что подобные действия на первых порах «едва ли не единственная возможность для крестьян проявить дух протеста, пробуждение человеческого достоинства». Партия социалистов-революционеров «согласует свою тактику с этими лучшими сторонами народной психологии».

Партии нет смысла направлять «более передовые и сознательные народные силы на такие элементы, уничтожение которых, нисколько не ослабив главную крепость — правительство — в то же время вызвало бы бесконечный ряд осложнений, не на пользу, а во

¹² Фигнер Вера. Запечатленный труд. М., 1933. Т. 3. С. 156–157, 160–163

вред восстанию». Однако партия, в соответствии с духом и смыслом своей программы, обязана насаждать среди крестьянства политический террор, воспитывающий «не только необходимый дух борьбы и умение защитить себя от сильного и непримиримого противника, но и сознание причинной связи явлений, знание политической стороны государственного строя». ¹³ Итак, воспитание духа борьбы и политическое самообразование крестьян посредством политических убийств!

Некоторая оголтелость старой народницы произвела впечатление даже на такого последовательного сторонника терроризма и одного из главных его идеологов, как лидер ПСР *Виктор Чернов*. Он вспоминал впоследствии, что «бабушка» «в это время готова была каждому человеку дать револьвер и послать стрелять кого угодно, начиная от рядового помещика и кончая царем, и считала, что ЦК „тормозит“ революцию, желая направить ее по какому-то облюбованному руслу, когда нужно самое простое, во все стороны разливающееся половодье». ¹⁴ ЦК, кстати, отнюдь не «тормозил» и летом 1905 г. в одной из передовиц «Революционной России» было провозглашено, что в разгар гражданской войны партия будет уважать личную безопасность лишь тех людей, которые сохраняют нейтралитет в борьбе правительства и революционеров. «Свинцовая пуля» обещалась теперь не только «столпам» правительства, но и «мелким сошкам». ¹⁵

Мотив самопожертвования, сопровождавший террористические акты, привел американских историков Эми Найт и Анну Гейфман к заключению, что, возможно, многие террористы имели психические отклонения и их участие в террористической борьбе объяснялось тягой к смерти. Не решаясь покончить самоубийством, они нашли для себя такой нестандартный способ расстаться с жизнью, да еще громко хлопнув при этом дверью. Для тех террористов, которые были воспитаны в христианской традиции, расценивающей самоубийство как грех, подобный выход становился едва ли не единственным.

Э. Найт в статье о женщинах-террористках в ПСР пишет, что «склонность к суициду была частью террористической ментальности, террористический акт был часто актом самоубийства». ¹⁶ А. Гейфман посвятила раздел в одной из глав своей монографии этой щекотливой теме. ¹⁷ Проблема действительно существует, но до сих пор не подвергалась в отечественной литературе сколь-нибудь серьезному анализу.

Между тем, некие особые отношения со смертью отмечены у многих террористов обоюбого пола. Известный философ и публицист Федор Степун, комиссарствовавший в 1917 году и в таком качестве близко общавшийся с Б. В. Савинковым, писал в своих мемуарах, что «оживал Савинков лишь тогда, когда начинал говорить о смерти. Я знаю, какую я говорю ответственную вещь, и тем не менее не могу не высказать уже давно преследующей меня мысли, что вся террористическая деятельность Савинкова и вся его кипучая комиссарская работа на фронте были в своей последней, метафизической сущности лишь постановками каких-то лично ему, Савинкову, необходимых опытов смерти. Если Савинков был чем-нибудь до конца захвачен в жизни, то лишь постоянным самопогружением в

¹³ Брешковская Е. Письма старого друга. Письмо шестое// Революционная Россия. № 69. 15.06.1905. С. 5–6.

¹⁴ Hoover Institution Archives. Stanford University. California. USA. Boris Nicolacvsky Collection. Box 206. Folder 6. В. М. Чернов — Б. И. Николаевскому. 7.10.1931.

¹⁵ Memento!//Революционная Россия. № 72. 1.08.1905. С. 1–2.

¹⁶ Knight Amy. Op. cit. P. 150

¹⁷ Geifman Anna. Op. cit. P. 167–172.

таинственную бездну смерти».¹⁸

Приговоренная к смерти в феврале 1908 г. *Анна Распутина*, член Летучего боевого отряда Северной области, говорила смотрителю арестантских помещений Петропавловской крепости полковнику Г. А. Иванишину, что обвинитель в суде, характеризуя их группу, напал на верную мысль, но только неточно ее выразил. Он сказал, что «в этих людях убит инстинкт жизни и поэтому они не дорожат жизнью других»; это не так, заметила Распутина, «у нас убит инстинкт смерти, подобно тому, как убит он у храброго офицера, идущего в бой».¹⁹ Возможно, в чем-то были правы и прокурор, и террористка. Распутина принадлежала к тем «семи повешенным», которым посвятил свой известный рассказ Леонид Андреев. Среди казненных, кроме Распутиной, были еще две женщины — Лидия Стуре и «неизвестная под кличками „Казанская“ и „Кися“ — Елизавета Лебедева. Иванишин отметил у всех „поразительную бодрость духа“.²⁰

Анна Гейфман пишет о *Евстолии Rogozинниковой*, застрелившей начальника Главного тюремного управления Максимовского, время от времени оглашавшей зал судебного заседания взрывами смеха. А ведь дело шло к виселице — и ею действительно закончилось. Обращает внимание Гейфман, так же, как и Эми Найт, на свидетельство современника о том, что застрелившая генерала Г. А. Мина *Зинаида Коноплянникова* „шла на смерть как на праздник“. Думаю, что многие свидетельства современников требуют свежего взгляда и непредвзятого анализа. В то же время делать какие-либо выводы о психической неадекватности террористов надо с крайней осторожностью.

Так, Коноплянникова оказалась второй женщиной, после Софьи Перовской, казненной за политическое преступление. Прецедентов не было 25 лет. Таким образом, идя на теракт, она могла скорее рассчитывать на снисхождение, нежели на виселицу. Или ее отказ подать прошение о помиловании и хладнокровное поведение во время казни: что это, отклонение от нормы или точное следование партийной установке „умереть с радостным сознанием, что не напрасно пожертвовали жизнью“.²¹

Гейфман приводит цитату из недатированного письма *Марии Спиридоновой*, находящегося в архиве ПСР в Амстердаме, в котором она пишет, что хотела, чтобы ее убили на месте покушения и что ее смерть была бы прекрасным агитационным актом. В более известном письме, переданном из Тамбовской тюрьмы, где она находилась после убийства Луженовского, на волю и разошедшимся по всей России, Спиридонова сообщала о своей попытке застрелиться сразу после теракта, о своем призыве к охране Луженовского расстрелять ее на месте, о стремлении разбить себе голову во время конвоирования из Борисоглебска в Тамбов.²² Однако свидетельствует ли это, опять-таки, о склонности к суициду или о попытке избавиться от пыток и издевательств, которые не замедлили последовать?

И все же самоубийства среди террористок были чересчур частым явлением — покончили с собой *Рашель Лурье*, *Эсфирь Лапина*, *Софья Хренкова*, по непроверенным данным, *Лидия Руднева*. Суицидальные мотивы чувствовались, вероятно, в поведении-немалого числа террористов. Партийный кантианец Зензинов, похоже, не случайно счел необходимым подчеркнуть: „Мы боремся за жизнь, за право на нее для всех

¹⁸ Степун Федор. Бывшее и несбывшееся. М. -СПб... 1995. С. 369

¹⁹ Записные книжки полковника Г. А. Иванишина//Минувшее. М.-СПб... 1994. Т. 17. С. 497.

²⁰ Иванишин Г. А. Указ. соч. С. 502.

²¹ Чернов В. М. Террористический элемент в нашей программе// «Кровь по совести». С. 139.

²² Gelfman Anna. Thou Shalt Kill. P. 324; Письмо М. А. Спиридоновой// «Кровь по совести». С. 150, 151. 152.

людей. Террористический акт есть акт, прямо противоположный самоубийству — это, наоборот, **утверждение** жизни, высочайшее проявление ее закона“. Закон жизни есть борьба, пояснял Зензинов, и недаром лозунгом партии эсеров были слова немецкого философа И. Г. Фихте „в борьбе обретишь ты право свое“. ²³

Несомненно, что многие террористки не отличались устойчивой психикой. Другой вопрос — была ли их психическая нестабильность причиной прихода в террор или следствием жизни в постоянном нервном напряжении или, в ряде случаев — тюремного заключения. Во всяком случае, уровень психических отклонений и заболеваний среди террористок был очень высок. Психически заболели и умерли после недолгого заключения *Дора Бриллиант* и *Татьяна Леонтьева*. Умело изображали из себя сумасшедших, будучи в заключении еще до совершения терактов, Рогозинникова и Руднева. Врачи им поверили. Было ли дело только в актерских способностях?

В очерке о Мальцевской женской каторге, печатаемом в этой книге, Ф. Радзиловская и Л. Орестова описывают тяжелые нервные припадки, которым были подвержены многие их подруги по заключению. Если учесть упомянутые выше случаи самоубийств, картина получается довольно мрачная. Повторяю, что какие-либо выводы надо делать очень осторожно, но проблема, при всей ее деликатности, требует изучения.

Фрума Фрумкина объясняла свое не очень мотивированное покушение на начальника киевского жандармского губернского управления, туповатого и неудачливого на своем поприще генерала В. Д. Новицкого вполне рационально: „Террористические акты, — заявила она, — являются пока, в бесправной России, единственным средством хоть несколько обуздать выдающихся русских насильников“. ²⁴ Если же принять за достоверные даже часть сообщений независимых источников, что она намеревалась убить еще до ареста жандармского полковника Васильева в Минске, затем хотела ехать в Одессу, чтобы совершить покушение на градоначальника, при аресте, схватив нож, „сделала движение“ к жандармскому офицеру А. И. Спиридовичу, ²⁵ в Московской пересыльной тюрьме бросилась с маленьким ножом на ее начальника Метуса ²⁶ и прибавить к этому списку покушение на Новицкого, попытку покушения на московского градоначальника А. А. Рейнбота и, наконец, самоубийственное покушение на очередного тюремного чиновника в Бутырках, то обусловленность ее действий только рациональными причинами кажется мне весьма маловероятной.

Российское государство не нашло другого способа защититься от этой маленькой, худенькой и не очень адекватно себя ведущей женщины, чем передать ее в руки палача. Товарищи же по партии издали, на материале ее биографии, очередное революционное „житие“.

Еще одним весьма уязвимым с точки зрения морали моментом было определение „мишеней“ для террористов. Ведь, что ни говори, террористический акт был убийством человека, чья вина не была установлена никаким судом. Не был определяющим и пост, который занимал тот или иной чиновник, хотя наибольшие шансы отправиться на тот свет по постановлению эсеровского ЦК имел министр внутренних дел, по должности возглавлявший

²³ Зензинов В. М. Пережитое. С. 275. Таким образом, право на политическое убийство получало философское обоснование и исходя из приведенных выше моральных оценок, можно было утверждать, как это делал Зензанов, что террористы, «бравшиеся за страшное оружие убийства — кинжал, револьвер, динамит — были в русской революции не только чистой воды романтиками и идеалистами, но и людьми наибольшей моральной чуткости!» — Там же. С. 271

²⁴ Дело Ф. Фрумкиной//Революционная Россия. М 39. 1.01.1904. С. 5.

²⁵ Спиридович А. И. Записки жандарма. М... 1991. С. 134.

²⁶ Ройзман Е. Воспоминания о Фруме Фрумкиной //Каторга и ссылка. 1926. № 7–8. С. 303.

политическую полицию. Были убиты министры внутренних дел Сипягин и Плеве, готовились покушения на А. Г. Булыгина и П. Н. Дурново, отколовшиеся от эсеров „максималисты“ взорвали дачу П. А. Столыпина 12 августа 1906 г., осуществив самый кровавый теракт после народофильского взрыва в Зимнем дворце 5 февраля 1880 г.

Место министра внутренних дел было настолько „горячим“, что даже либеральный П. Д. Святополк-Мирский, по словам одной многознающей дамы, получив известие об отставке в январе 1905 г., пил у себя за завтраком за то, что благополучно, живым уходит с этого поста.²⁷

Но все-таки главным критерием было, по-видимому, общественное мнение о том или ином чиновнике, а не занимаемая им должность. „Жертвы 1902–1904 годов были хорошо выбраны как символы государственных репрессий, — справедливо пишет М. Перри, — ...убийства Сипягина и Богдановича принесли определенную поддержку эсерам в массах“.²⁸

Сложнее стало в период 1905–1907 годов, когда число терактов возросло в десятки раз и когда выбор жертвы уже перестал быть прерогативой ЦК. Теперь, кого казнить, а кого миловать определяли зачастую местные партийные комитеты, „летучие боевые отряды“, боевые дружины. Террор действительно стал массовым, ЦК был не в состоянии контролировать боевую деятельность на местах.

Чем же руководствовались террористы? Говоря о критериях выбора объектов террористических атак, Зензинов разъяснял, что в 1905 году „в партийной прессе все особенно отличившиеся в массовых расправах с рабочими и крестьянами губернаторы и градоначальники были как бы приговорены партией к смерти“.²⁹ Сходные соображения высказывал В. М. Чернов: „мишени террористических ударов партии были почти всегда, так сказать, самоочевидны. Весь смысл террора был в том, что он как бы выполнял неписанные, но бесспорные приговоры народной и общественной совести. Когда это было иначе, когда террористические акты являлись сюрпризами — это было ясным показателем, что то были плохие, ненужные, неоправданные террористические акты“.³⁰

Таким образом, произвол был возведен революционерами в норму задолго до захвата одной из революционных фракций власти. Надо было очень далеко уйти от банальных представлений о нравственности, чтобы провозглашать убийство — великим подвигом, а убийцу — какими бы мотивами он ни руководствовался — национальным героем. Однако своеобразие российской ситуации состояло в том, что убийц-террористов считали героями не только их товарищи-революционеры, но и достаточно широкие слои общества. Общеизвестной героиней считалась Мария Спиридонова. А ведь все имели возможность читать ее разошедшееся в десятках тысяч экземпляров письмо, в котором она рассказывала не только об издевательствах над нею, но и о том, как она хладнокровно, меняя позицию, расстреливала мечущегося по платформе Луженовского, всадив в него в конечном счете пять пуль. Всего, с удовлетворением писала она, нанесено пять ран: „две в живот, две в грудь и одна в руку“.³¹

Нравственный тупик заключался в том, что революционное насилие казалось

²⁷ Богданович А... Три последних самодержца. М... 1990. С. 339–340.

²⁸ Perrie Maureen. Political and Economic Terror in the Tactics of the Russian Socialist Revolutionary Party before 1914//Social Protest. Violence and Terror in Nineteenth — and Twentieth-century Europe. P. 69.

²⁹ Hoover Institution Archives. Boris Nicolaevsky Collection. Box 392. Folder 5. Ответы В. М. Зензинова на вопросы проф. О. Радки о московской ср. организации.

³⁰ Ibid. Box 206. Folder 6. В. М. Чернов — Б. И. Николаевскому, 7.10.1931.

³¹ Письмо М. Спиридоновой//«Кровь по совести». С. 150.

единственным способом противостоять произволу властей. В открытом письме Ж. Жоресу, осудившему террористическую тактику русских революционеров, ветеран-народник Л. Э. Шишко указывал на бессудные расстрелы рабочих-железнодорожников Семеновским полком под командованием генерала Мина, истязания крестьян в Тамбовской, Саратовской, Полтавской губерниях, закончившиеся убийствами тех, кого общественное мнение считало за них ответственными.

Террористические акты в такой же мере вопрос политической необходимости, как и дело непосредственного чувства. Не все люди, на глазах которых совершаются безнаказанно убийства и истязания, способны выносить эти ужасы», — писал Шишко знаменитому европейцу, вряд ли реально представлявшему себе российскую действительность.³²

Довольно далекий по своим политическим симпатиям и философским взглядам от Шишко, известный либеральный юрист и публицист К. К. Арсеньев высказывал сходные мысли: «Можно отрицать целесообразность политических убийств, крайне редко приносящих действительную пользу вдохновляющему их делу, но нельзя не видеть в них последнего, отчаянного, иногда неизбежного ответа на длительное и неумолимое злоупотребление превосходящей силой. Нарушаемое властью священное право на жизнь нарушается и ее противниками; виселице отвечает револьвер или бомба...».³³

Ни власть, ни ее противники не нашли выхода из этого политического и нравственного тупика; впрочем, они его не очень-то и искали, уповая на уничтожение противостоящей стороны. Спираль насилия продолжала раскручиваться; победителей в этой схватке не оказалось.

* * *

В предлагаемой вниманию читателей книге впервые собраны под одной обложкой воспоминания женщин — участниц террористических организаций ПСР. Интересны они, на мой взгляд, не только с исторической, но и с психологической стороны. Несколько слов о текстах и их авторах.

Открывают книгу воспоминания *Прасковьи Семеновны Ивановской Волошенко* (1853–1935). Она родилась в семье бедного сельского священника в Тульской губернии, ее мать рано умерла. Отец уделял детям мало внимания, средств на образование не было. Помог случай: вернувшийся по амнистии из Сибири декабрист М. А. Бодиско приобрел в их селе имение и подружился с отцом Ивановской. При материальной поддержке декабриста она вместе с сестрой смогла поступить в тульское духовное училище.

Дальше — обычная «карьеря нигилистки»: чтение Добролюбова, Писарева, Лаврова; влияние старшего брата, студента Медико-хирургической академии, причастного к революционному движению; жажда знаний, стремление к независимости и равенству. В 1871–1873 гг., вспоминала впоследствии Ивановская «из нашей клерикальной школы — по пословице — „лиха беда начало“ — целой группой учениц было положено начало движению к женскому образованию, женской независимости и раскрепощению».³⁴ Ивановская едет в Петербург, учится на Аларчинских курсах, собирается учительствовать.

Затем — попытки вести революционную пропаганду, переход на нелегальное положение под угрозой ареста, активное участие в «Народной воле». Ивановская вместе с Н. И. Кибальчицем была «хозяйкой» конспиративной квартиры в Петербурге; работала в

³² Шишко Л. Э. Письмо Ж. Жоресу// «Кровь по совести». С. 155.

³³ Цит. по: Гусев К. В. Рыцари террора. М., 1992. С. 35.

³⁴ Ивановская П. С. Автобиография//Деятели СССР и революционного движения в России: Энциклопедический словарь Гранат. М.1989. Стлб. 154.

народовольческих типографиях. Затем — арест; в 1883 г. по «процессу 17-ти народовольцев», связанному с делом о цареубийстве 1 марта 1881 года, Ивановская была приговорена к смертной казни. Смертная казнь была заменена пожизненной каторгой.

Заключение Ивановская отбывала в каторжной тюрьме на Каре Забайкальской области, заканчивала в Акатуе. В 1898 г., поскольку срок заключения был изменен, вышла на поселение в Баргузинский округ. В 1902 г. ее перевели ближе к цивилизации, в Читу. Через год она бежала.

С этого момента и начинаются воспоминания Ивановской. Не буду их пересказывать, обращу внимание лишь на некоторые моменты. Во-первых, поражает революционный темперамент Ивановской. Будучи немолодой по понятиям того времени женщиной, проведя около 20 лет на каторге и в ссылке, более того — побывав уже один раз на волоске от петли, она вновь идет на смертельно опасное дело — террор. И все это без малейшей аффектации и рефлексии.

Во-вторых, это первоклассный исторический источник. Написаны воспоминания в 1912 г., над автором не тяготела мемуарная и историографическая традиция; Ивановская стремилась рассказать, «как было дело» — ее текст не портит литературщина, которой, к примеру, пронизаны воспоминания Бориса Савинкова. Ивановская была причастна к самому громкому делу БО — убийству Плеве, общалась с центральными фигурами эсеровского терроризма; многие ее свидетельства уникальны. Например, только она видела непосредственную реакцию Азефа на известие об убийстве «его» министра Плеве или того же Савинкова на следующий день после покушения.

В-третьих, в ее мемуарах, между делом, нарисованы колоритные картинки повседневной жизни России начала века, в частности, петербургского «дна», на котором она вынуждена была провести некоторое время, пока ее не разыскали «работодатели» из Боевой организации.

Ивановская пережила не только почти всех своих товарищей по «Народной воле», но и по БО. Она без восторга встретила Октябрьскую революцию; ее позиция по отношению к ней была во многом сходна с позицией ее родственника (мужа сестры) В. Г. Короленко. Характерно, что в автобиографии, подготовленной для энциклопедического словаря «Гранат» в 1925 г., Ивановская не стала писать о своей жизни после 1917 г., отделившись фразой: «О жизни и работе уже при новом общественном строе вряд ли есть надобность сейчас говорить».³⁵

Воспоминания Валентины Поповой (Колосовой) «Динамитные мастерские и провокатор Азеф» шире своего названия. Насыщенные информацией, они представляют, по сути, краткую историю эсеровского центрального террора в 1906–1907 годах.

Мария Марковна Школьник (1882–1955), пожалуй, одна из немногих представленных на страницах этой книги эсеровских террористок, чей путь в революцию выглядит вполне логичным. Дочь бедного еврея-колонииста, выросшая в нищете, она совсем с юных лет познала тяжкий труд на фабрике; неудивительно, что семена революционной пропаганды попали, в ее случае, на весьма благодатную почву. Школьник сначала становится бундовкой, но бурный темперамент и жажда борьбы приводят ее в Боевую организацию ПСР. Вот уж в ком совершенно не заметно рефлексии!

Чего стоит только история двух ее побегов из Сибири — в 1905 и 1911 годах. Школьник эмигрировала в США; вернулась в Россию в 1918-м. Как она сама сообщает, после «колчаковщины» произошел ее разрыв с ПСР. В 1927-м Школьник вступает в ВКП(б). По-видимому, в годы «большого террора» неприятности ее миновали. В 1947-м году она становится персональной пенсионеркой.

Полная противоположность предыдущей мемуаристки — *Александра Адольфовна Измаилович* (1878–1941) — дворянка, дочь генерала-артиллериста, она вступает в еще

³⁵ Ивановская П. С. Указ. соц. Стлб. 163.

только формирующуюся ПСР в 1901 г. Что ею двигало? Романтика? Интеллигентские комплексы? Или и то и другое вместе? Если воспоминания Школьник полны действия, то в мемуарах Измаилович преобладают размышления, чувства, в общем, то, что принято называть рефлексией. Написаны они на каторге; простреленный воротник мундира минского полицеймейстера обернулся для Измаилович 11-летним заключением.

Освободила ее, как и других политкаторжан, Февральская революция. Она отправляется в Черниговскую губернию, где работает партийным пропагандистом и организатором. Затем — в Петрограде, принимает активное участие в Октябрьской революции; в ноябре 1917 г. избирается на учредительном съезде партии левых социалистов-революционеров членом ЦК. Измаилович — член левоэсеровской фракции ВЦИК 2–4-го созывов, с декабря 1917 г. член Президиума ВЦИК. В коалиционном правительстве большевиков и левых эсеров намечалась на пост наркома дворцов Республики, но по решению ЦК ПЛСР оставлена на партийной работе.

Измаилович не участвовала в левоэсеровском выступлении против большевиков 6 июля 1918 г., но была «на всякий случай» арестована; вскоре ее освободили. Измаилович открыто критикует политику большевиков; в 1918 г. выпускает брошюру «Послеоктябрьские ошибки», где предъявляет им счет за капитуляцию перед германским империализмом, чрезмерную централизацию и недоверие по отношению к крестьянству. С 1919-го она неоднократно подвергалась арестам и ссылкам.

Мне пришлось держать в руках «общую» тетрадь с рукописным текстом ее воспоминаний, хранящуюся ныне в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки. Тетрадь обгорела; пыталась ли ее сжечь сама Измаилович при одном из многочисленных арестов? В 1937 г. после очередного ареста Измаилович была приговорена Военной коллегией Верховного суда СССР к 10 годам лишения свободы по обвинению в принадлежности к террористической организации. Отбывала наказание она в Орловском центре. Осенью 1941 г., когда немецкие войска угрожали Орлу, Военная коллегия «передумала» и приговорила Измаилович к расстрелу. В сентябре она была расстреляна вместе с другими политзаключенными, содержащимися в Орловской тюрьме.

Вместе с Измаилович была расстреляна легенда русской революции, самая популярная, после Софьи Перовской, женщина-революционерка, Мария Александровна Спиридонова (1884–1941). Спиридонова происходила из дворян; ушла из 8-го класса Тамбовской гимназии, работала конторщицей в губернском дворянском собрании. В 1905 г. вступила в боевую дружину ПСР. 16 января на станции Борисоглебск смертельно ранила пятью пулями губернского советника Г. Н. Луженовского, приговоренного тамбовской организацией эсеров к смерти за жестокое усмирение крестьянских волнений. Сравнительно недавно в литературе высказывалось мнение, что Спиридонова стреляла в Луженовского из ревности.³⁶ Не входя в дискуссию с автором этой версии Е. А. Брейтбарт, замечу лишь, что мне представляется невероятным, чтобы ее товарки по каторге не смогли распознать в ней взбалмошную девчонку, а не идейную террористку.

Спиридонова подверглась избиениям и, по ее словам, насилию со стороны помощника пристава Жданова и казачьего офицера Аврамова — оба они были позднее убиты эсеровскими боевиками. Открытое письмо Спиридоновой, переданное из заключения и опубликованное в газете «Русь», вызвало значительный общественный резонанс. Популярность ее была просто невероятной. Как правильно замечает Измаилович, это объяснялось тем, что в одном лице Спиридонова соединяла «народную заступницу» и «страдалицу». Московский военно-окружной суд приговорил ее к повешению, замененному бессрочной каторгой.

Годы на Нерчинской каторге и описаны в публикуемых ниже воспоминаниях

³⁶ См. Брейтбарт Екатерина. «Окрасился месяц багрянцем», или подвиг святого террора// Континент. 1981. № 28.

«эсеровской богородицы». Но, опять-таки, содержание мемуаров шире названия; в них отражены не только период заключения, но и даны «портреты» коллег по террору и по ПСР. Написан текст, на вполне приличном литературном уровне.

Ее возвращение в Европейскую Россию после Февраля 1917 г. было поистине триумфальным. Она избирается в ЦИК Всероссийского Совета крестьянских депутатов; делегатом 3–5 Всероссийских съездов Советов; членом Президиума ВЦИК 3–4 созывов и т. д. Спиридонова была избрана почетным председателем учредительного съезда партии левых эсеров и, естественно, членом ЦК ПЛСР. Большевики и левые эсеры выдвигают ее на пост председателя Учредительного собрания, но в данном случае она проиграла выборы В. М. Чернову. Спиридонова одобрила роспуск Учредительного собрания и довольно долго сотрудничала с большевиками. В мае 1918 г. она переходит в решительную оппозицию к большевикам. 6 июля 1918 г. она принимает активнейшее участие в левоэсеровском выступлении, в том числе в аресте Ф. Э. Дзержинского.

Затем — арест; трибунал ВЦИК приговорил Спиридонову к 1 году тюрьмы; вскоре последовала амнистия. А за ней — бесконечная череда арестов и высылки. ВЧК не выпускает ее из-под контроля; некоторое время она содержится в тюремной психиатрической лечебнице. Изоляция в Малаховке сменяется высылкой в Самарканд и Уфу. В ссылке Спиридонова вышла замуж за товарища по партии И. А. Майорова; политикой она уже не занималась — работала экономистом-плановиком. В 1937-м Спиридонова вновь была арестована, а в январе 1938 г. приговорена все той же Военной коллегией к 25 годам тюрьмы. Майоров был также арестован и осужден. В сентябре 1941 г., при изложенных выше обстоятельствах, Спиридонова была расстреляна вместе с Майоровым и Измаилович.

Анастасия Алексеевна Биценко (урожд. Камеристая) (1875–1938) — принадлежала к «звездам» эсеровского террора. Однако лавры, по праву причитавшиеся ей, достались Спиридоновой; в самом деле, Биценко занимала неизмеримо более высокое место в партийной иерархии; ее пуля сразила не какого-то губернского советника, а недавнего военного министра, генерал-адъютанта В. В. Сахарова. Измаилович, во всяком случае, заметила ревность Биценко к славе Спиридоновой; к тому же Биценко считала, что Спиридонова специально занимается собственной популяризацией. Возможно, поэтому воспоминания Биценко о своих подругах по террору и каторге проникнуты раздражением. Характерно, что если остальные мемуаристки стремятся подчеркнуть дружбу и взаимопомощь среди политкаторжанок, Биценко пишет о «на редкость недружной шестерке» эсеровских террористок.

Биценко происходила из крестьян; окончив гимназию, училась на педагогических курсах. В ПСР вступила в 1902 г. Входила в партийные комитеты в Смоленске (1902–1903), Петербурге (1903–1904) и Москве (1905). В 1922 г. вошла в состав Летучего боевого отряда и 22 ноября застрелила генерала Сахарова, усмирявшего аграрные беспорядки в Саратовской губернии. Была приговорена к смертной казни, замененной вечной каторгой.

В 1917-м вернулась в Европейскую Россию. В дни Октябрьской революции сражалась на улицах Москвы за советскую власть. На учредительном съезде ПЛСР была избрана в ЦК. Биценко входила в состав делегации на мирных переговорах с Германией в Брест-Литовске; была товарищем председателя Совнаркома Москвы и Московской области; избиралась депутатом ВЦИК. Она не поддержала левоэсеровское выступление 6 июля 1918 г., а в ноябре 1918-го по рекомендации Я. М. Свердлова вступила в РКП(б).

Биценко работала в кооперации, преподавала, была на хозяйственной, советской и партийной работе. В феврале 1938 г. она была арестована по обвинению в принадлежности к эсеровской террористической организации и 16 июня приговорена Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение в тот же день. Царский суд в свое время все-таки заменил Биценко смертную казнь каторгой, несмотря на бесспорно установленную вину — принадлежность к террористической организации.

Судьба?³⁷

Кроме того, в сборник включены воспоминания о женской каторге участницы социал-демократического движения *Фанни Николаевны Парзиловской* (р. 1986) и эсерки *Лидии Павловны Орестовой-Бабченко* (р. 1885), рисующие быт и психологию политкаторжанок, в том числе рассказывающие о знаменитой «шестерке», о Фанни Каплан и других примечательных личностях, содержавшихся в Мальцевской каторжной тюрьме.

Завершают сборник мемуары эсерки-«максималистки» *Екатерины Дмитриевны Никитиной-Акинфиевой* (р. 1885) о беспрецедентном побеге 13 политкаторжанок из Московской Новинской женской каторжной тюрьмы в ночь на 1 июля 1909 г. Дополнительный интерес этим воспоминаниям придает то, что среди беглянок была «максималистка» Наталья Климова, причастная к взрыву дачи П. А. Столыпина 12 августа 1906 г., а к организации побега приложил руку юный В. В. Маяковский.

Тексты сопровождаются кратким научным комментарием. Справки об участниках террористических организаций, постоянно упоминаемых в различных текстах, приведены в указателе в конце книги. В справочных материалах печатается также указатель террористических актов, совершенных женщинами.

О. В. Будницкий

П. С. Ивановская В боевой организации

Глава I Снова на Родине

В 1903 г. я решила бежать из Читы, где кончала свой срок поселения после каторги.³⁸ Слишком двадцать лет, таких тяжело-длительных, не могли вытравить в душе жгучей, неумолкаемо сверлящей боли и вечно тревожащего вопроса: когда же и как мы вернемся туда? Немного было желаний, осуществление которых было бы так дорого, как вновь увидеть родину и все то, от чего мы были насильственно оторваны. Текли годы, сменялось начальство, сторожившее нас, а мы все оставались, как проклятые, за крепкими замками тюрьмы. Разумеется, многие отлично понимали тщету ожидания вернуться на родину, но смотрели на это, как на спасительный самообман людей, отрезанных от жизни.

Отделенные десятками тысяч верст от изгнавшей нас отчизны, от общего дела, от всего там покинутого дорогого, мы были далеки от мира, и Россия, с каждым медленно протекавшим годом, все более уходила от нас, являясь все более в смутном очертании и неясной в своих быстро менявшихся исканиях. Между нашим, старым поколением, с народническим направлением, и новым, молодым, более, как казалось нам, узким, залегла широкая раздельная полоса, мешавшая слиться этим двум течениям в одно русло.

Волнуемая и настороженная неизвестным будущим, я всматривалась туда, откуда с каждым пробегом версты, с каждой убегающей назад станцией, приближалась желанная родина, пугающая своей неясностью, своей, казалось, духовной отдаленностью. Было и радостно и жутко! Сознавалось, что целая большая полоса жизни, большое звено выпало,

³⁷ При подготовке материалов об Измаилович, Спиридоновой и Биценко мною использовались биографические справки, составленные Я. В. Леонтьевым — см. Политические деятели России: 1917. Биографический словарь. М., 1993.

³⁸ П. С. Ивановская была приговорена по процессу «17-ти» народовольцев в 1883 г. к смертной казни, замененной пожизненной каторгой. Отбывала ее сначала в Карийской каторжной тюрьме Забайкальской области, затем была переведена в Акатуй. В 1898 г. вышла на поселение в Баргузинский округ. В 1902 г. переведена в Читу.

ушло безвозвратно много молодых, здоровых жизней, и нельзя этого никогда забыть! Тут, в стране сурового холода, оставлено полжизни, потеряны дорогие люди, ушедшие давно в мир другой, где, будто бы, нет «ни печали, ни слез», и все это нельзя ни вернуть, ни исправить, да и сам уже не тот, каким переступал когда-то пограничную черту на Урале, с отдельным столбом.

Одно поколение сменялось другим со своими новыми исканиями иных путей, иной линии поведения, и в этих поисках иногда слышалось прошлое, но чаще всего иные формы жизни выявлялись искавшими. Порой поиски обращались вспять, к старому, давно забытому. Непротивленство в 1880-х гг., проповедь малых дел, пропаганда чистого экономизма в 1890-х гг., хулиганство и черносотенство в последнее время. Некоторые желали выбросить за борт все то, что было хотя и давно, но, по моему мнению, не могло быть забыто. Многие казались мрачным и безнадежным. Доходили порой вести одна другой печальнее. Один покончил с собой, другой сошел с ума. Но, наконец, после чистого экономизма пришла воинствующая теория или теории, вызвавшие долгий, жестокий спор, который сам по себе вызывал только радость, как все, что возбуждает общественную мысль, и обещал внести — положительно или отрицательно — хотя какое-нибудь прояснение в тогдашнюю путаницу. Стороной, конечно, кое-что и до нас доходило, хотя и с большим опозданием, как от лиц нового направления, так и из литературных новинок. Понятно, это «кое-что» повергало большинство карийских изгнанников в полнейшее изумление. В таких выражениях, как: «от старых теорий камня на камне не осталось», или: «Михайловский разбит вдребезги... Не хочется ему уступить нарождающимся великим силам марксизма, как Туган-Барановский, Струве и Бельтов, первенствующее место».³⁹ Отрицание политической борьбы, значения личности в истории, интеллигенции в революции. Низведение деятельности предшественников к нулю! Если во всем этом значительную долю можно было отнести на счет сравнительно юного возраста и соответственной ему восторженности передатчиков и посредников, а также и случайностям, — то за всем этим все же оставалось очень многое непонятное... В этой боевой полемике была и другая сторона — дух, в котором она велась, тон и направление. Фактическая сторона дела казалась многим гораздо важнее, чем теоретическая отчужденность проповедников «нового слова» от деятелей прошлого времени. Кажется, говорили у нас карийцы, немного нужно иметь исторического и личного опыта, чтобы убедиться, что в большинстве общественных теории это только вывески, фирмы, дающие указания только крайне общего и неопределенного вида о том, что за ними предполагается. Массы людей, общества, — не теоретики, они очень мало заботятся о том, чтобы то, что всеми делается, соответствовало тому, что говорится (ибо это только говорится, а не думается!).

Присмотреться и понять этот быстро менявшийся тогда людской поток, эту бегущую жизнь, довольно резко и, казалось нам вдали, поспешно уже отошедшую от старых своих отцов, — ближе подойти к самой жизни и уловить, быть может, связь нового со старым, пройденным — в этом была в то время моя задача.

Ведь это:

Лес шумел, молодой
И зеленый лес.

Попытки многих из нас осуществить безумное желание видеть опять то, от чего нас силой оторвали и скованных по рукам и ногам разбросали по всей холодной, безлюдной

³⁹ Н. К. Михайловский — один из крупнейших идеологов русского народничества; М. И. Туган-Барановский и П. Б. Струве в 1890-х годах — идейные лидеры русских марксистов (так наз. «легальные марксисты»); Бельтов — литературный псевдоним Г. В. Плеханова. В 1890-х годах на страницах как легальной, так и нелегальной печати шли ожесточенные споры между марксистами и народниками, преимущество в которых первоначально принадлежало марксистам.

пустыне, попытки эти никогда никому не удавались, и расплата за них чересчур дорого стоила каждому из бежавших.

Чтобы понять все эти неудачи, понять наше бездейственное существование или, вернее, прозябание, необходимо сообразности историческую перспективу и самому понять давно ушедшую историческую полосу жизни. С проведением великого сибирского пути, соединившего гиблые далекие места с Россией, Сибирь пошла быстрыми шагами вперед во всех сферах своей жизни и общественности.

Блуждать и прятаться по разным «хоронушкам», как вынуждены были делать раньше наши беглецы, не было теперь уже никакой, необходимости. Поезда ходили по всей Сибири, хотя и довольно медленно, беспересадочно; было нетрудно пересечь всю огромную страну, затерявшись в массе проезжающих, без риска ареста в дороге.

Я ехала из Читы одна, будучи очень немолодой, с разбитым в значительной степени здоровьем и сильно пораненным сердцем. Было грустно и больно; ведь, в этой жестокой стране оставалась добрая половина жизни. Все довелось испытать, пережить. Годами ждали вестей с родины, перебрасывались ими из тюрьмы в тюрьму, знали голод и особенно холод, сидели под замками. без воздуха, прогулок, переживали порою кое-что страшнее смерти. Но у нас было еще и другое, значительное и большое, что поддерживало и давало силу и упорство жить, почти без надежды на будущее. Это — сознание справедливости своего дела, его общей важности для всей великой нашей родины; оно скрепляло нас в одну спаянную семью с одним исходным путем, с одним неизбежным концом.

Среди общего, по временам наступавшего мрака, индифферентизма и дикости наше поколение одно обречено было вынести на своих плечах святое и важное дело; оно почти одно дерзало смело и открыто на весь мир кричать и грудью защищать действительную свободу своей родины, своего народа, необходимую для нее в такой же мере, как хлеб и солнце для жизни. Сорок лет назад с объявлением войны правительству выступили одни революционеры, от которых позорно отреклась тогда страна, отдавая их на съедение бешеным волкам, и довольно равнодушно смотревшая на казни Перовской⁴⁰ и других. Поезд переносил меня издали на родину. На родину! Порой кажется, что поезд стоит на одном месте, не двигается дальше. Среди узкой таежной просеки, между могучими стенами темного леса, движение — осторожное и тихое — походило на то, как будто мы скользим в темном туннеле. А кругом, куда только мог глаз видеть, все сопки да вековая тайга. Это целый неизмеримый океан, конец которого терялся в неведомой дали. Из века в век стоят могучие сосны, красавицы лиственницы и богатыри кедры. Осенью в самую позднюю пору мы приходили в эту тайгу рубить и валить огромные деревья, заготавливая дрова. А лес был такой прекрасно-тихий, тихий, без мелочей мира, целые века никем не ворошимый. Птицы и звери жили своих излюбленных густых зарослях, и не было слышно их гомона. В редких случаях проходил тунгус-охотник, или осторожно, чуть слышно пробирался бродяга, и он норовил держаться ближе к опушке, пересекая тайгу по едва заметной, ему только известной, тропке спиртоносов. Для нас тайга не была с отмеченными границами, с указанием определенного района, переступить пределы которого вменялось в преступление. Мы чувствовали в ней себя вольными птицами и могли уходить далеко вглубь, в самую непролазную чащу. Сколько раз случалось теряться среди колоссального царства, кружась, переваливая одну сопку за другой, не видя никаких признаков человеческого существования...

Теперь мы едем в самую студеную пору; лютый мороз все заковал, и тайга кажется пораженной на смерть вместе с населяющими ее застывшими великанами, с нахлобученными белыми папахами на головах. Это опушенные снегом высокие пни. И над

⁴⁰ Перовская Софья Львовна (1853–1881) — член Исполнительного комитета «Народной воли», непосредственный руководитель покушения на Александра II 1 марта 1881 г. Была повешена 3 апреля 1881 г. вместе с другими «первомартовцами», став первой женщиной в России, казненной за политическое преступление.

этой величавой красавицей куполом опускается суровое черно-синее небо. Там, в Сибири, и люди решительные, суровые, как голые серые сопки, и... простые. — «Кабы не простота-то наша... совсем бы в нашей стране жить народу не можно», — говорят сибиряки. К этим жестоким людям в душе поднималась нежность и глубокая благодарность, и к этой угрюмой тайге. Они приняли нас, изгнанников с родины, и часто поддерживали в борьбе за свои права, за свое существование. Мы, рассеянные во вся языцы, были для них только постояльцами, временными жильцами, пригнанными незнамо откуда и неведомо за что, не сами избравшие для себя новое отечество; но среди них нам удалось сохранить свою идейную независимость и право открыто жить по вере своей. А среди тайги, перед лицом природы, такой спокойной и величавой, власть людей теряла свою силу, чувства и мысли теряли свой болезненный характер. Все до последнего атобыа переполнялось могучими и целительными дарами природы.

И теперь я прощалась со всем этим! Медленно подвигается наш поезд, подолгу задерживаясь на станциях, по горло увязших в снежных сугробах. И кажется порой, что мы никогда не достигнем желанной цели. А из заволакивающего тумана вдруг жгуче всплывает тревога: что если там за такой долгий срок ничего не изменилось и все старое вновь повторится? Но, ведь, жизнь никогда не стоит на одном месте; она вечно и непрерывно движется вперед, прокладывая новые и неожиданные пути, — успокаивает меня сознание. Да, жизнь, действительно, несколько изменилась, — это заметно даже здесь, в Забайкалье, и обнаруживается все резче, по мере нашего движения на запад. Уже за Байкалом, на станциях, пассажиры таежники, более осторожные и менее сведущие в политике, не удерживались больше от непосредственного вступления в разговоры на рискованные темы со встречными западниками. Толковали и судили о томских студенческих беспорядках, некоторые тут же громко декламировали появившееся тогда в честь «бунтовавших» стихотворение.

Разговоры переходили в страстные споры, при которых обе стороны не слушали больше друг друга. Однако, все это еще не была Россия, а, ведь, Сибирь с большим основанием могла считаться «вольнодумной». Подлинная Россия была еще очень далеко, и только много дней спустя, в Челябинске, на станции, впервые за все время путешествия почувствовалось, что начинается подлинное русское, то именно, чего так страшился, от чего отбивался все время пути.

На перроне жел. дор. тесно жалась группа крестьян в рваных заплатанных зипунах, в лаптях, с большими грязными сумами на спине, и казались все они такими корявыми... Они волновались, гомонили, размахивая безнадежно руками, а лохмы их рукавов трепыхались, как птичьи крылья. Все тискались друг на друга, лезли без толку, а их отбрасывали слишком грубо. Там, в Сибири, не встречалось такого убожества, такой унижительной бедности, таких грязных людей. Разве когда прибывала длинная цепь вагонов с переселенцами, подолгу стоявших близ станций, жители городка или ближайших сел сбегались смотреть на невиданное и удивительное зрелище, — на людей-лапотников, сборище нищих, с тучей полуодетых, босых и истощенных детей, Сибиряки рассматривали приезжавших с сострадательным любопытством, смешанным со значительной дозой неприязни, сравнивая вытесненных с родины, из родных гнезд переселенцев с мошкой и комарами, которые, отогрешись солнцем и большими просторами, станут больно кусать их, сибиряков.

От Челябинска сразу началось великое наводнение вагонов нищенствующими детьми, калеками, вымаливавшими подаяние.

Это унижительное явление никому не портило настроения; оно было, видимо, для пассажиров таким бытовым явлением, к которому глаз присмотрелся и чувство притупилось давно.

К концу 15 дневной дороги мы добрались, наконец, до Саратова. Ощущение такое, как будто из темной полосы попал в ярко освещенную местность.

Память сохранила из этой продолжительной поездки два эпизода, тесно связанные с

дорожными знакомствами. Припоминается один ссыльный «павловец»,⁴¹ по фамилии Фарафонтов, возвращавшийся с какой-то работы домой, в Енисейскую губернию. В 1902 году он судился с двумя своими взрослыми сыновьями за разбитие целым селом церкви и отказ брать оружие в руки. Дела «павловцев» в свое время наделало много шума. В судьбе всех осужденных тогда принимал самое близкое участие Л. Н. Толстой. Фарафонтов-отец был осужден в Енисейскую г. на поселение, старший его сын — в каторжные работы на Сахалин, а младший в Мерв, в арестантские роты или батальон. Выйдя из тюрьмы в вольную команду, павловец-сахалинец нанялся в батраки к ссыльнопоселенцу.⁴²

Второй сын Фарафонтова, и тоже за отказ от воинской службы высланный в Мерв, был там, буквально, забит. К нему отнеслось начальство со всей беспощадностью, наказания были жестоки и непрерывны, и он вскоре по взятии на службу скончался на гауптвахте при истязании, все время повторяя своим палачам слова: «любовь» и «я брат твой». Фарафонтов, отец этих двух мучеников, теперь возвращался с какой-то работы домой. Он рассказал всю историю своей загубленной семьи с поразительным спокойствием, как будто это не были факты современности; казалось, он нам передавал давно-давно кем-то пережитое, его ничуть не касавшееся. Евангелическое лицо его, задумчивые глаза, без гнева и суровости, выражали такое удивительное спокойствие, какое встречается только у людей, сверх меры перестрадавших. Это была красивая тоска, не нуждавшаяся в поддержке или чужом участии. Весь вагон в глубоком молчании слушал напряженно эту истинно скорбную повесть.

Под самый конец нашего долгого пути, как-то незаметно к нам подсел новый спутник средних лет, баптист. Очень крепкий, живой, интересный собеседник, пока, впрочем, не касались веры. Он был немного суров и аскетичен, но из-под густо нависших бровей глядели такие загадочно-задумчивые глаза, загоравшиеся часто гневным огнем, что это невольно привлекало к нему внимание. В нем было много своего, самодельного и самостоятельного. Исколесивши всю Россию со своими неотступными порывами отыскать праведную веру, он побывал у субботников, проникал в другие секты, но всюду ему казалось у них мало святости, нет настоящей правды. Опять и опять стучался он к цадикам, отшельникам, пока не утомилась его мятущаяся душа в тщетных исканиях чего-то другого, более широкого, что успокоило бы его ум и сердце. Тщетно потратив много энергии и средств на эти поиски, баптист решил еще поехать к Л. Н. Толстому, который принял его очень ласково.

— Он, Л. Н. Толстой, слишком много думает, — сказал с печалью баптист, — другим мало о чем остается размышлять. Притом же среднему человеку не справиться с тяжестью, возлагаемой его вероучением на наши слабые плечи.

Они долго спорили о вере, день и ночь и другой день и ночь, вели упорные схватки, и, наконец, Л.Н. стал сердиться, говоря с раздражением: — «Вот я старый, смотрите на меня, и глаза уже ослабли, а читаю много; читайте и вы, учитесь, почерпайте мудрость из хороших книг». И ушел от баптиста в свой кабинет, гневно хлопнув дверью. Однако, скоро вновь вышел оттуда со смягченным взглядом и, без заметных неприязненных ноток в голосе, возобновил беседу, стараясь приблизить баптиста к своей вере.

— У меня есть свое, — сказал я ему, — с этим своим я едва справлюсь, как же я могу

⁴¹ «Павловцы» — сектанты, сторонники учения Василия Гурьевича Павлова. За отказ от службы в армии подвергались судебным преследованиям и высылке в отдаленные районы России.

⁴² Судьба этого сына, как я узнала потом, была такова. Когда Сахалин был взят японцами, жителям острова всем без исключения приказали сдать имеющееся у них оружие. Не сдавших, не выполнивших этого приказа, если будет оно у кого найдено, будут подвергать высшей мере наказания. Фарафонтов — павловец, будучи без того противником оружия смерти, несколько раз уговаривал своего хозяина отнести в управление имевшееся у него ружье и револьвер, но, очевидно, расстаться с такой ценной вещью, да еще на Сахалине, было нелегко. Хозяин зарыл его во дворе, поближе к своему соседу. У кого-то одновременно случилась кража, и японцы, делая обыск, обнаружили спрятанное оружие. Все в том доме жившие, не исключая женщин и детей, были обезглавлены, и с ними казнен и Павел Семенович Фарафонтов, осужденный в каторгу за проповедь и отказ держать в руках ружье, за признание заповеди «ни убий».

брать еще такое большое твоё? Представь, у меня есть бочонок, вмещающий пять ведер воды, можно ли в него еще сверх этого налить воды? — говорил баптист.

— Нельзя, — согласился Л.Н. с заметной печалью в голосе и жестким выражением в глазах.

— Вы сорокаведерная бочка, в вас вмещаться может много, а я наполняюсь пятью, только пятью ведрами.

Рассказы баптиста о своих мытарствах привлекли внимание пассажиров всего нашего вагона. Сидевший через лавочку от нас священник все время настороженно прислушивался к свободной речи сектанта, то одобрительно, то негодуя выражал свои чувства. Внимание его значительно возросло, когда речь коснулась Л. Н. Толстого. Глаза его заискрились злорадством, и он громко заметил: «Тоже проповедует, а свое-то богатство, небось, не отдал. Оно, видите ли, неудобно — говорить одно, а жить иначе, и при этом множество людей обращаются к нему за братской помощью.

Вот он и снял ношу сию, тяжелую ношу с плеч своих, передав детям все свое богатство, яко неимущий теперь. Такова очевидная непоследовательность».

— А вы-то, отец, — ехидно заметил баптист, — разве уж очень последовательны?

— Мы не пророки, не проповедуем людям новые царства на земле, — резко сказал батюшка, — мы не зовем людей в новый храм, сооруженный человеческими руками. Мы обещаем царство божие на небе.

Опасение, что мой побег каждый день может быть обнаружен и с розысками обратятся прежде всего к родным, адрес которых начальству был хорошо известен, побудил меня не задерживаться у родных, а ехать на север, вступить в организацию и в меру небольших оставшихся сил отдаться работе, завещанной нашими погибшими братьями.

Мне дали адреса, совет немного отдохнуть и осмотреться, выждать.

Глава II В Петербурге

Из путевых впечатлений запало одно событие, немного меня смутившее. На московском вокзале, совершенно пустом, одиноко маячила незаметной точкой в уголке моя фигура.

Было довольно-таки тоскливо ждать поезда, но вдруг в зал выплыла внушительная жандармская фигура, мерно и властно начавшая шагать из конца в конец. Потом жандарм свернул в мою сторону, внимательно всматриваясь в меня, как будто узнавая во мне свою знакомую. У меня уже созревало намерение переменить свое место, когда жандарм круто повернул прямо ко мне.

— Есть билет? — спросил он, меряя меня бычьими глазами.

Не понимая хорошенько, о каком билете идет речь, я пожалала в недоумении плечами. Тогда он пояснил:

— Взяла, говорю, проездной билет до Питера?

На отрицательный ответ жандарм скороговоркой сказал:

— Не берите, поедете с моим знакомым служащим железной дороги. У него семейный билет, жену и сестру он нашел, а мамашею будете вы.

Мой отрицательный жест к такому лестному предложению очень его удивил, оскорбил даже, и он старался соблазнить меня теми выгодами, которые проистекут от этой сделки.

— Тебе кроме пользы ничего не будет, вместо 6 рублей заплатишь 5 р., понимаешь? Жди тут, сам приду за тобой.

Конечно, пришлось убраться подальше, и потом видно было, как жандарм тщетно разыскивал «мамашу».

Протекшее время с последнего пребывания в Петербурге было так значительно, внесло столько перемен, что невольно смущала мысль, как наилучше устроиться. Впрочем, на петербургском вокзале быстро нашлось разрешение этого немудрого житейского вопроса.

Извозчик отнесся участливо и предложил отвезти в самые дешевые номера, ему хорошо знакомые. Я вручила свою судьбу в его руки.

Номера, действительно, были недорогие, немного странноватые, около самого Николаевского вокзала. Весь огромный дом заполнен был одинаковыми, до мелочей во всем похожими друг на друга, номерами.

Типичнейшая хозяйка-меблированных комнат меня встретила и отвела мне самую маленькую комнауку. Это была женщина уже пожилая, с букляшками на лбу, со сбитыми волосами, подбеленная, неряшливо, грязно одетая, и все-таки во всей ее фигуре, в манере держать голову видно было, что она когда-то знавала и другую обстановку и иную среду. Номера имели сходство со своей хозяйкой; жильцы, как потом выяснилось, состояли из самой сборной публики и вполне загадочных личностей. На все номера была одна довольно жалкая прислуга, мыкавшаяся по всем комнатам и часто вступавшая с хозяйкой в настоящие бои с весьма трагическими последствиями для обеих. Но почему-то она стоически выносила все невзгоды и свое тяжелое, бесправное положение.

Быть может, частые вечерние пиршества служили смягчающим обстоятельством в ее неприглядной жизни. Бог весть, откуда являлись на кухню запоздалые гости, в пузырячатых лаковых сапогах, с гармониками под мышкой, с пивом и водкой. У хозяйки тогда головная боль проходила, прислуга торопилась ставить самовар, начинался пир под руководством самой барыни. Почему-то, между игрой на гармонике и битьем посуды, хозяйка читала по-немецки или говорила фразы на том же языке, а когда это не убеждало гостей в ее превосходстве, она приносила из своей комнаты старые, истлевшие документы, бесповоротно доказывавшие ее родовитость. Так гомонили они в кухне целую ночь.

Ближайшими жильцами двух номеров были батюшки. Один, совсем молодой, с Афона, днем стоял с тарелкой на углу Знаменской и Невского, собирая посылную лепту. Вечером у него собиралась веселая компания пропивать собранные гроши жертвователей, приношение которых часто доходило до ста рублей в день.

Другой поп, занимавшийся тоже сбором, имел угрюмый характер и пил вдвоем с приходившей к нему каждый вечер с гитарой довольно мрачной личностью. Играл он большею частью грустные, заунывные мотивы, и под конец вечера оба горько плакали, кого-то проклиная. Оба эти батюшки никогда не соединялись вместе. Мой молодой сосед говорил, что будто другой завидует ему за большой сбор подаяния.

Жить среди такой компании долго одной было тяжело и опасно. Усугублялось это рискованное положение тем, что каждый вечер хозяйка предупреждала всех своих жильцов о возможности прихода ночью полиции и что в таком случае надо говорить «этим подлецам», как она выражалась. На мою настойчивую просьбу прописать мой паспорт она неизменно отвечала: «Зачем деньги тратить, живи, сколько нужно, так, придет ночью полиция — скажи: сейчас с поезда». По-видимому, у нее были свои, какого-то тайного характера, причины на такое отношение к полиции и к прописке. Впрочем, весь этот многоэтажный дом, как мне стало потом известно, был занят личностями «не вполне чтоб», и порядки в меблированных квартирах были аналогичны с нашими.

Затянувшаяся неопределенность положения, неясность, когда потребуется войти в работу, подсказывали как-нибудь изменить тягостную жизнь. По конспиративным условиям нельзя было никого видеть, тем более посещать знакомых, обстановка же не позволяла даже читать ни книг, ни газет. И вот я решаюсь поехать в Кронштадт, посмотреть и хоть немного понять широкую популярность, движущую причину толпы, осаждавшей тогда известного Ивана Кронштадтского.⁴³ Правда, к тому времени слава его уже начала в народе значительно угасать, часто уже приходилось слышать непочтительные о нем отзывы среди простолудинов. Так, между прочим, одна ехавшая с нами простая совершенно баба, везшая

⁴³ Иоанн Кронштадтский, в миру Иоанн Ильич Сергиев (1828–1909) — протоиерей и настоятель Андреевского собора в Кронштадте, популярный проповедник.

к нему слепую девочку, наставлялась другою вернуться домой, не тратиться зря.

— Говорят, он помощь оказывает, — возражала ей другая, — авось, даст на обратную дорогу.

— Говорят, — заметила скептически и резко оппонентка, — говорят, кур доят, да сисек нету, мы, дураки, всему верим; поезжай, поезжай с богом, он тебе скажет то же, что нашему безглазому Семену: ступай, говорит, к доктору, я не бог, другие глаза не вставлю.

Ехала нас целая группа простых женщин, некоторые из них там бывали уже помногу раз, все знали, и они направили нас с парохода в общежитие.

В громадных зданиях о. Ивана было все расценено до последней ниточки. По одной и той же лестнице, одинаково для всех вонючей и загаженной, направо — рублевые номера, рядом — пяти, по мере подъема вверх, цена понижалась, и, наконец, на самом верху, в общей комнате, плата за ночевку взималась от 10 до 30 копеек. По дороге в Кронштадт, ко мне присоединилось несколько девушек, потерявших места прислуг и направлявшихся туда просто отдохнуть, поразнообразить свою скучную маяту. Мы все поместились в общежитии, с оплатой 10 к. с койки посуточно. Это была большая квадратная комната, сплошь занятая примыкающими друг к другу кроватями, без прохода между ними, так что в средние ряды приходилось перепрыгивать через лежащих людей. Кровати с соломенными тюфяками, в труху перетертыми боками усердных богомольцев, походили на омерзительное гноище. Ни подушек, ни одеял, вовсе не полагалось. Рано, очень рано утром, когда пароход привозил новых усердствующих, все ночующие женщины, полусонные, плохо одетые, выгонялись надзирательницей на улицу, для «порядка». Происходили баталии с надзирательницей за такую бесцельную жестокость, благодаря чему богомолки вынуждались два-три часа оставаться на холоде в ожидании открытия церкви. Более смелые продолжали лежать на кроватях, отказываясь подчиниться безрассудному требованию.

В том же этаже, на одной площадке, в смежной с нашей комнатой, помещалась сапожная и швейная мастерская. В первой работали все мальчики от восьмилетнего возраста до 16–17 лет, во второй — девочки приблизительно в тех же годах. Мастерскими заведывал немец с женой.

Дело было во время японской войны. В мастерских шла спешная работа для армии. Жена немца ездила сама во дворец за получением материала от самой царицы и, если и не считалась там своим человеком, то все же выражалась: «мы с императрицей решили так-то и так-то» Она громко рассказывала о воровствах, как при вскрытии ящиков находили в них камни вместо полотна, передавала множество дворцовых сплетен.

Часов в 10 вечера мы заходили в мастерские. Дети сидели за сапожными столиками, продолжая своими маленькими детскими ручками выполнять большую и трудную задачу. Значительное большинство между ними казались истощенными и хилыми. Из старших некоторые бегали, под предлогом «за утюгом», на кухню, туда же шмыгали девочки подростки с другой половины мастерской, спешно вместе с мальчиками курили; другие тут же при всех обнимались и целовались.

На вторые сутки, среди ночи, мы были разбужены громким детским плачем, доносившимся из чулана, три стены которого врезались в нашу комнату. Рыдание все усиливалось. — Чей это ребенок плачет? — спрашивали пробудившиеся богомолки. — Чай, опять немец измывается над детьми! — отвечала надзирательница. Мастер-немец, и он же начальник мастерской, очень строго расправлялся со своими учениками, не исполнившими свой урок. Он сажал виновника в пустой и темный чулан на целую ночь, а когда ребенок чересчур громко выражал свой страх и горечь, немец врывался сам туда и жестоко хлестал ремнем плачущего. Это были дети богомольцев, оставленные на попечение батюшки. О. Иван, проходя мимо мужика или бабы с ребенком 7–8 лет, трогательно простирал свою руку над головой деревенского мальчика или девочки со словами: «отдай мне его в дети». Отец или мать, пораженные такой неожиданностью, не верили своему счастью, свалившемуся на долю их ребенка, стать сыном святого отца. Нимало не сомневаясь в истинности слов о. Ивана, что он их Гришутку берет себе в дети, они радостно оставляли

ребенка. И что им этот бедный Гришутка, как не лишний рот в голодной семье? Из ребенка, в их нищенской жизни, ничего путного не выйдет. Одет он в лохмотья, обут в лапти, косматый, грязный, лицо зеленое. «Батюшка, не оставь парнишку, доведи до толку», — просят родители, уходя домой, не подозревая, что сынишка их попадает в мастерскую к немцу, ничем не лучшую всякой иной сапожной мастерской. И вся жизнь малыша сведется к сидению около столика, с шилом в руках, весь день до поздней ночи. А для сокращения жажды детских удовольствий его запрут в темный чулан. В этом для него страшном месте он облегчает свое большое горе рыданиями и призывает мать защитить его, взять его домой отсюда.

— Одни безобразия тут и больше ничего не вижу хорошего, — заметила одна из посетительниц при нашем возвращении в Петербург.

По возвращении из Кронштадта, необходимо было занять оседлое положение, определенное место, с пропиской и подготовкой к званию прислуги. Необходимо было стать в самую простую обстановку, изолироваться от всего, не иметь ни с кем связей, а, главное, жить в положении, где бы не падало и тени сомнения, — паспорт у меня был неграмотной прислуги с отметками служебных качеств. С одной девушкой мы пустились на поиски углов или недорогой комнаты. Весь день мы проходили без видимой пользы по грязным и вонючим лестницам; только под вечер, в громадном проходном дворе, поднявшись на 6-й этаж очень населенного дома, наняла я маленькую комнатку без мебели. Хозяйка посулила оставить кровать с голыми досками, на которой при нашем посещении лежала какая-то могучая, мертвецки пьяная фигура. Мы рассчитали так: лучше взять за 8 руб. хотя, и конуру собачью, но отдельную комнату и поселиться вдвоем, чем жить в густо набитом жильцами помещении, тем более, что светлый угол стоил 4—4½ р. Я оставила рублевый задаток вертлявой хозяйке с предупреждением, что переселюсь на утро.

Ранним мглистым утром я поднималась на самый верх, предвкушая удовольствие остаться одной без посторонних глаз и ушей. Но меня ждало тут худшее из худшего. Хозяйка с порога сразу ввела меня в необычную обстановку — в общую комнату. Весело, очень развязно она заявила о совершенной ненужности, даже вреде для одинокой отдельного помещения.

— «Вот тут у окна, — трещала эта сорока, — сейчас освободился светлый угол, чего лучше?» — «Да я же наняла у вас комнату, задаток дала, не так ли? Чего же ради вдруг предлагаете угол?» — «Светлый угол самое подходящее для вас место, — настойчиво повторяла она, — как вы есть одинокая, скучливость одолеет, на людях то-ли дело!

Вот тут у окна столик поставлю, матрасик дам, приладишься, устроишься, так-то хорошо. Хотя бы поговорить или спросить о чем... Дело твое бессемейное — тут всякого народу найдется: и бабы, и девки, тоже почтенные торговцы есть. У меня вежливо, благородно, не бойся. Я прямо скажу, тут вот тебе самое подходящее место, лучше не найти, а комната занята».

Было до очевидности ясно, что никакие резоны, угрозы, ни требование возврата задатка не в состоянии ни чуточки поколебать эту бабу-выжигу. Резониться с этим верченым существом было напрасной и бесполезной тратой сил, а мысль опять с вещами возвращаться в омерзительные номера, снова искать комнату... Бррр... Я взяла угол, светлый угол в общей комнате...

Помещение с углами было небольшое, с очень низким потолком, значительно обвислым, грозившим как-нибудь ночью придавить всех своих жильцов. По всем четырем стенам стояли кровати, т. е. просто-напросто по два ящика, на которые клались две-три доски, сообразуясь с тем, на сколько душ готовилось логовище. Многие вместо кровати пользовались своими сундуками, а случайные ночевщики просто ложились на свободное место на полу. В нашей комнате стояло 8 помостов. От двери на первой кровати муж с женой и крошечным ребенком; рядом с ними по той же стене горничная, молодая девушка, спала на сундуке; дальше судомойка, лет 20 полька; за нею я. По противоположной стене против нас — кухарка с пятнадцатилетним сыном, почивавшим вместе с матерью; за ними — горничная

и затем пряничник 45 лет, с взрослым сыном. Часто в нашу комнату приходил законный муж хозяйки с тремя подростками-детьми. Отец с своими цыплятами все время ютился кое-как и где попало, не имея даже постоянного угла. Все углы и закоулки квартиры имели не менее сгущенное население. В кухне, лишенной совершенно света, жила дряхлая старуха, сапожник, работавший при мерцающем свете копеечной лампочки; иной раз, бросая работу, проклиная собачью конуру, он уходил в кабак. Пропойца-техник являлся по ночам, уходя на рассвете. В нанятой было мною комнате, третьей, помещалась сама хозяйка с двумя спившимися типами; один был ее любовник, другой — ближайший сотрудник и друг любовника. Не было того дня, когда бы число постоянных обитателей спускалось ниже 25 душ обоего пола. Каждый, не будучи даже знаком с угловыми помещениями, может легко себе представить всю обстановку и условия, в каких ютился весь там собранный муравейник.

Так как питание большинства состояло из селедки и черного хлеба, то ночная атмосфера доходила до предельного своего насыщения, вызывая у спящих удушье и головные боли. Приходилось почти каждую ночь нарушать признанное всеми правило общежития не открывать окна; тихонько на один сантиметр отворять раму, и под свежей только стружкой воздуха приходил крепкий предутренний сон.

Для цельности представления постараюсь правдиво описать этих случайно собранных, бесхозяйственных, бессемейных и, в большинстве случаев, безвольных людей. Начну с главы углов.

Муж хозяйки, николаевский солдат, уже старик, служил все еще на железной дороге; он вполне и безраздельно находился во власти жены. Трое анемичных детей знали только отцовскую заботу, когда он, вернувшись со службы, собирал, как насадка, своих ребятишек, кормил их и вместе с ними ложился в одной куче на полу спать. Это было единственное проявление его личности в семье, да еще ежемесячная отдача жене своего жалованья. К жене он относился безучастно, как к предмету чуждому и чужому, детей нежно любил. Очень редко, утаив из жалованья несколько пятак, он являлся домой в развязно-веселом настроении, созывал своих ребят и одевал их пряниками. Тогда же происходила великая «трамбола» между супругами, с весьма, впрочем, маленькими последствиями. «Я твой муж, — дребезжал старческий голос, наступавшего на нее с выпяченной грудью николаевского солдата — не какой-нибудь, живу в законе, зарабатываю, а у нас ни синь пороха, дети без присмотра. Убью! Путаешься в этих грязных свинствах». — «Ну, завелись, — грубо и зло говорил кто-нибудь из уголовников, — кричите, нам одно только причиняете беспокойство». Хозяин, почитая себя как бы пассажиром в этой квартире, умолкал, весь виновато съеживаясь. Хозяйка жила в отдельной комнате с «Рыжим» и его другом. Всегда косматая, очумелая, она бегала, суетилась, забывая про детей, пила с любовником водку, как воду в себя лила, потом они дрались, кричали и все без какой-нибудь надобности, по какой-то душевной раздерганности, «У нее до нитки все пропито, проедено, — судачили жильцы, — даже последнюю икону, ежели никто не помешает, несет в кабак за бутылку водки». — «Сегодня, — оповещал кто-нибудь, — отнесла тюфяк из-под себя, чтобы опохмелить своего „Рыжего“. А „Рыжий“, еще молодой, крепкий мужчина, весь отекающий, не выходил ни одного дня из чада, не оправлялся от пьяного угара. Или в забытьи, вытянувшись во весь рост, он лежал на голых досках кровати, а на полу около него не менее пьяный покоился его друг и соучастник. Или у них всю ночь шла гульба, крики, „нехорошим занимались“, как выражался наш чистоплотный пряничник.

Ночная компания причиняла нам немалые тревоги. Часто слышались истерические взвизгивания, порой хозяйка вылетала в коридор, следом за нею врывался ее „Рыжий“, и начиналась в этом узком и темном туннеле потеха молодецкая, да такая, что расцепиться не могли, как разъяренные собаки. — „Заволоводились“, — брезгливо и громко замечал, кто раньше всех просыпался. Из нашей комнаты выбегали почти все бабы и скучивались у настежь открытой двери. Насладившись даровым зрелищем, давали окрик: — „Да будет вам, кажется бы можно покончить покуда!“ — „Шельма баба, — замечал сапожник, — кошачья порода, точило!“ Зрелище скоро наскучивало, а, главное, все это было видно и перевидено,

и только однообразие однотонного существования поддерживало интерес к дракам. Одни уходили по своим углам, более активные растаскивали любовников или разливали их попросту водой. Спектакль вызывал между угловиками обмен мнений между собой: „Ну, баба, я бы ее!“... — „А чего старик-то смотрит? тоже законный муж“. — „Поди-ка, нашелся храбрый, он, „Рыжий“-то, тебе покажет закон!“

Изредка, на похмельи, этот „Рыжий“ являлся к нам в нашу комнату, одетый в одно белье с распахнутым воротом. Японская война тогда только что началась. Интерес и любопытство волной проникали всюду. „Рыжий“ приносил с собой чурбан для сидения, засушенную, затрепанную газету. Друг его становился у дверной притолки. Начиналось чтение хриплым, пропитым голосом, сопровождавшееся либеральными мудрствованиями. Все это проделывал он, пожалуй, для отвлечения своей пьяной тоски. Его замечания о войне были и метки, и оригинальны. Однако, видя свои слова падающими на каменистую почву, он снимался и уходил со своим другом... пить. Кто они были? Оба пропойцы, не имевшие ничего, даже пары сапог для четырех ног; рубаха и штаны — вот все их достояние, но водка находилась каждый день, да и то сказать, они так пропитались ею, что незначительная доза этой влаги валила их с ног.

В нашей комнате, как раньше было сказано, жильцов самостоятельных, т. е. имевших свою кровать, свой образ на стене, было 11 человек. Первый по порядку от входной двери налево угол занимала, как я уже упомянула, женщина с маленьким ребенком. Любовник ее, хотя не жил у нас, проводил много времени здесь: ел, спал, длинно рассуждал.

Анна, мать ребенка, была незаурядная женщина, с очень серьезным, почти мужским, некрасивым лицом, высокая, как жердь, прямая, с плоской грудью. Она выделялась из всех угловиков. Большие серые глаза искрились добротой и юмором. Всегда сдержанная, спокойная, она любила захватывающее веселье и даже бешеный разгул. К 30 годам она уже перебивала в различных положениях, перепробовала все прелести многообразной жизни. Особенно увлекал ее непосредственный разгул. Острый, хорошо подвешенный язык, красивая речь, пересыпанная меткими пословицами, стихами, особенно из любимого ею Некрасова, создавали ей выгодное положение в компании гуляк. Она была совсем неграмотна, но собрала и вобрала в себя изрядное богатство. Откуда она все знала? — „А где и в каких переделках мне не довелось побывать“, — ответила однажды она. Ее умное молчание и такт поражали, когда пьяный любовник, — что повторялось почти каждый вечер — в тысячный раз „облаживал“ ее будущую жизнь. Он служил раньше хорошо, но, катясь вниз, теперь получал всего 25 р., пропиваемые им ранее полочки, жалованья. По срывавшимся словечкам можно было догадаться, что он служил в охранке.

Еще молодой, с интеллигентной, красивой наружностью, с большими пытливыми глазами, белым с зализанами лбом, он среди нашей кудлатой публики выделялся резким пятном. Сам он рассказывал свою биографию с горькой жалобой на судьбу. Четырнадцатилетним мальчиком он бежал из деревни в Питер, шатался и мыкался по всем углам и баржам, как бездомная собака. Сам учился грамоте, сам доходил до всего с присущей ему любознательностью. Ставши на ноги, служил у больших коммерсантов. Знал весь Петербург, как свои пять пальцев, бывал в палатах, в кабинетах сановников. Им дорожили, как ловким дельцом. — Сейчас я в последней степени деградации» — заканчивал он. Возвращаясь к Анне семь раз в неделю пьяным, он, сидя на кровати жены, заводил пьяную канитель, тягучую, как зарядивший осенний дождик. — «Чего ты, Анна, бездельничаешь целыми днями? Поступай учиться заготовки для сапог делать. С мастером я уже сговорился, три рубля в месяц, ручается в этот срок обучить. Куплю машинку в ломбарде, стану по три рубля на ребенка выдавать ежемесячно, чего же больше? Не хочу больше жить с тобой, надоело, кончено!»

Хотя он очень убедительно старался внедрить в голову Анны красоту трудовой ее будущей жизни, но эти перспективы нимало не соблазняли ее. Не возражая, оставаясь все время молчаливой, она только раз или два ему заметила: «а маленький ребенок как?»

Однажды, среди потока этих надоевших речей, я не выдержала роли простой

слушательницы и возразила: «Однако, ловко! сам получает 25 руб., а жене с ребенком сулит всего три, по какой же это такой правде?» — «А это не ваше дело, почтенная Федосья Егоровна, в наши семейные порядки не путайтесь!» — отвечал он.

— «Не выносите на торжище своих семейных дел, тогда никто не станет и соваться в них».

— «Правильно. Только вы напрасно, уважаемая! У Анны таких, как я, было 25, будет и того больше. Что такое женщина? Воздушный поцелуй, роскошный цветок, через мгновение увядающий. Свободный дух выше всяких привязанностей. Любовь не осуществляется никогда так, как она живет в нашем сердце, а без того семейная жизнь — хомут, ненавистный мне в высокой степени. Любовь к жене, детям — бессознательное самообожание». И долго еще лился поток его и дельных, и беспутных слов на разные темы.

Ребенок у них рос в забросе, хотя Анна очень любила его. Всегда больной, хилый, с головой вылупившегося индюшонка, он вечно скулил писком брошенного котенка. Под конец он заболел воспалением легких, и, праведное небо! кто только не лечил это бедное крошечное существо! Конечно, средства употреблялись самые героические: обливали с головы мочей и невытертого оставляли голым до полного высыхания, поили смесью перца с водкой.

Казалось, тут ему и аминь, ан выжил, остался докучливо скрипеть.

В этих темных щелях дети родятся неведомо для чего и, как блуждающие в степи огоньки, быстро исчезают...

Голова в голову с Анной спала очень молодая, высокая девушка — полька. Довольно миловидная блондинка, необыкновенно наивная во всем, как дитя, и как дитя привязчивая, еще не стряхнувшая с себя деревенщины. Мать ее, вдова, нищетой вынужденная отправить свою единственную дочь с братом на заработки, теперь с великой тревогой звала ее обратно домой. Адель — так звали эту девушку — служила в Питере судомойкой у каких-то богатых господ, державших повара. Этот повар, имевший уже взрослых внуков, сделал эту наивно-простую девушку беременной.

— Любила ты его, что ли? — Какой там любила. Ты посмотри, вот он придет сюда, ведь ему 83 года, и зову-то я его дедкой.

Сидя на постели и сжав обеими руками голову, она порой так жалобно выла, как ночью собака, долго, безумно, вспоминая мать, которую любила больше всего на свете.

— И кого же, как не ее мне больше любить? Она живет на Литве, далеко, далеко отсюда. У нас свой домишко, свой огород, мать много работает. Ежели узнает мой грех, она проклянет меня и умрет с горя.

Брат уже знал трагическое положение сестры и грозил зарезать Адель. Она сбежала с той квартиры, куда ее поместил, по обнаружении положения, повар, и куда уже в отсутствие Адели приходил брат покончить с нею. Поэтому она тщательно скрывала свой адрес, живя без прописки, угождая во всем пьяной хозяйке, трепеща и волнуясь при всяком намеке об отказе ей от угла.

И смотришь на эти скорби людей, на эту юдоль печали и во всей наготе там, в этих темных щелях, во всем объеме видишь болезненные явления нашей искривленной жизни. Только два раза, говорят, паук хватается свои жертвы — в начале и в конце, а эти несчастные в ожидании сего живут и мечутся в тенетах.

Старик повар приходил изредка, урывками к Адели, принося ей то сэкономленный кусочек масла, то щей крошечный горшочек, оставляя еще 5–10 коп. на хлеб. Жильцы угловые встречали его удивленными взглядами, полными недоверия и нескрываемой гадливости. Старый-престарелый, дряхлый, с пожелтевшими, как мох на дереве, клочьями волос, с нависшими жесткими бровями, он был груб и резко держался с Аделью.

— «Как же ты, Адель, сошла с таким?» — «Да, так, однажды ночью пришел, ну»... Прожив все свои заработки, весь скарб, Адель осталась полуприкрытой. Впрочем, она не составляла большого исключения среди нашего населения, разве было на ней немного больше грязи и вшей, да от этого царства паразитов никому нельзя уберечься, как

трубочисту от сажи. По ночам жуткие тени, как лунатики, вскидывались, вставали, трясли свои лохмотья. Особенно была страшна Адель. Высокая, с большим животом, длинными руками, в одной рубаше, она шагала между спящими и через них выходила в коридор, на лестницу, садилась на подоконник, охая, проклиная и стена. В этой же комнате, на глазах у всех, среди неопикуемой грязи, гомона, она разрешилась живым младенцем мужского пола, который вскоре поступил на попечение воспитательного дома. В период послеродового лежания Адели, больше всех внимание проявлял к ней живший в темном углу кухни сапожник. Раньше он заходил к нам во время подвыпития. Тогда у него речь становилась тихой, нежной, какой-то ласкающей, как ветерок в теплую ночь. У него недавно умерла жена в больнице, сильно им любимая, а вслед за ней, через месяц, умерли двое деток. Глубокая пустота и пропасть образовалась вокруг него, пропало то, что было для него выше и дороже его жизни. — «Бог, создавший меня мужчиной, по ошибке вложил в меня женскую душу, привязчивую и однолюбскую. Я держался, как ребенок за грудь матери, за жену и детей, а теперь колосом в поле одиноким остался. Если бы не боялся бога, то отверг бы теперешнюю жизнь мою», — говаривал он. Глубокое горе светилось в его еще молодых глазах, в его голосе, в тихом плаче и во всей его скорбной фигуре.

Среди остальных сереньких жильцов заметной индивидуальностью был ночевщик, которого почти никто не видал, но каждый, хоть раз, ночью слышал. Это был техник с высшим образованием, средних лет, красивый брюнет. Приходил он всегда за полночь, сейчас же валился на сложенную поленницу дров в темной кухне. Одет он был в черный сюртук и брюки изрядного вида, но обувь — на одной ноге обрезок сапога, на другой — дырявая калоша — сильно портила его вид. Уходил он всегда с зарей, почему мы сначала совсем не знали о его присутствии. Долго спустя, притом довольно своеобразно, он обнаружился. Возвращаясь из своих экскурсий ночами, он с некоторых пор стал находить дверь запертой накрепко. Им давался робкий звонок, на который никто не отзывался, звонок постепенно учащался, переходя в отчаянный непрекращающийся трезвон. Хозяйка или старик, крадучись, подвязывали язык звонка. Наступала непродолжительная тишина. Проснувшиеся жильцы с затаенной тревогой и любопытством ждали конца. Видимая неизбежность остаться на лестнице подбодряла техника. Он начинал дубасить кулаками в дверь, присоединяя потом в помощь и ноги. Грохот шел во всей квартире неопикуемый. Кто-нибудь, более милосердный или сильнее спать хотевший, советовал хозяйке впустить. — «Да отвори ему, места не проспит». — «Не пущу, — взвизгивала она, — не платит третий месяц, думает, подлец, улестить обещаниями. Не-пу-щу!», — раздается издали ее крик. Тогда уже начинался настоящий набат: дверь гроыхала, грозя сорваться с петель. Оглушающий шум, наконец, действовал на старика, срывавшегося с своего логовища и быстро открывавшего дверь. Впущенный техник моментально бесшумно валился на дрова, и все затихало. Тянулась эта музыка довольно долго, пока однажды техник не вручил хозяйке полтинника, отдалив на более или менее продолжительное время свои ночные штурмы дверей.

День наш начинался очень рано. Пряничник с сыном всех раньше поднимались. Они становились рядом против чужой иконы и долго усердно молились, шепча тихо молитвы, склоняясь иногда на колени. Сын делал все так, как поступал отец, и чудно было смотреть на эти две здоровые, крепкие фигуры, особенно вечером, при мерцающей лампаде, точно один только двигался, сгибался, а рядом с ним тень его моталась тут же. Бабы поднимались позже, кто шел в трактир, а кто тоже сгибался униженно перед своим богом. Поодиночке и компаниями шли за кипятком, купить что чего. По утрам большинство пило чай с черным хлебом, в обед питались, исключая имевших работу с хозяйскими харчами, все приблизительно одинаково. В 12 часов заходили в лавку приобрести там на 3 коп. кофе, на 3–5 коп. сливок, в ближайшем трактире получали за 1 коп. огромный чайник кипятку, и еще за одну копейку к нашим услугам была плита. Скипятить кофе требовалось не больше пяти минут. Иногда там же обжаривали картофель и даже в масле: это деликатным кушаньем называлось. Дома кофе пили без конца, вновь и вновь кипятя его, а после приходила просить

для себя хозяйка оставшуюся гуцу.

Кое-кто питался исключительно подающими сострадательных жильцов; другие черным хлебом и 3-х копеечной селедкой, делимой на две равные части: с хвостом в первый день, с головой на завтра. На воскресный день Анна варила для своего избалованного ресторанами любовника обед; тогда можно было у нее получить за 10 коп. тарелку супа.

Спать укладывались рано, в надежде — авось, уснешь до событий и нападения врагов. Впрочем, эта общая мечта редко, увы, как редко осуществлялась! То пьяные, то муж Анны, а то слетались тяжкие мысли, у каждого свои...

Под праздники наши довольно-таки циничные и атеистичные жильцы старались соблюсти внешний декорум религиозности, задобрить богов. Каждая женщина зажигала лампаду перед ей только принадлежавшей иконой. Масло, по естественной причине его экономности, воняло, фитили трещали, комната наполнялась густым тяжелым смрадом. Особенно ночью, когда в скупой отпущенной богу порции масла немилосердно чадил сгорающий фитиль.

Угловая жизнь во многом напоминает тюремную, с прибавкой того минуса, что эти вольные обитатели отвратительных гнезд не имеют и того минимума обеспечения, который имеют арестанты в виде арестантского пайка.

Упомяну еще об одной квартире, в которой мне пришлось позже жить, в тот период, когда я торговала семечками и фруктами.

Это помещение на Лиговке, в три комнаты, занимали муж с женой. Хозяйка — совершенно трезвая, пожалуй и домовитая, недурная жена — едва занималась заря, едва брезжил свет, срывалась с постели и бегом неслась на толкучку, скупая там всякую рвань, грязные юбки и пр. Из этих лохмотьев муж стряпал узорчатые одеяла, продававшиеся женой на базаре холостым рабочим по довольно дешевым ценам. Она все утро, без куса хлеба, мыкалась по Лиговке, нагруженная до головы изготовленным товаром. Неудача в купле-продаже настраивала ее очень свирепо. Весь ее гнев выливался тогда на нас довольно грубо: «У меня не дростать, не пачкать! Я люблю чистоту, не какая-нибудь, не во рву валяюсь, чтобы тут заводить всякую нечисть!»

Понять эту придирчивость было нетрудно: хлеб ей доставался весьма нелегко!

Муж — кроткий, тихий, даже нежный, забитый мужик, с детским выражением глаз, сгорбленный, кривоногий, целый день ерзал по полу, разбирая куски вонючей дряни, разрывая пыльные клочья хлопка. Его развлекал и сокращал серые, докучливые дни спившийся купец, жилец угла, когда-то, по словам хозяйки, очень богатый, но обобранный до ниточки своим приказчиком. Будучи пьяным, на похмельи и трезвым, купец этот всегда, без перерыва, читал работавшему хозяину, читал все, читал без устали: евангелие, старую газету, все печатное, что попадалось ему под руки. Если его постоянный слушатель отсутствовал, то он предлагал почитать древней старухе, торговке семечками, часто занемогавшей, кучеру какого-то князя, интересовавшегося одними лошадьми. Мое вселение подвинуло купца дальше и лишило его самых примитивных удобств — спать на кровати. В узком и темном коридоре мы помещались втроем: я и торговка с маленькой девочкой. Через эту темную, сырую дыру проходили посещавшие квартиру гости и пр. Днем с полбеда, так как мы с товаром бродили весь день по городу; ночью же часто проходящие спугивали нередко наш сон.

Густота населения в этой квартире была не менее плотная, но пьяного элемента было несравнимо меньше. А вообще, все угловые общежития мало чем отличаются друг от друга, и по рассказам лиц, работавших тогда на одном и том же революционном деле, живших тоже по углам, исключение составляли жилища извозчиков, сравнить которые безошибочно и без преувеличения можно только с выгребной ямой.

Глава III На конспиративной квартире

Однажды, отлучившись еще из первой квартиры на целый день на дачу П. Ф. Якубовича,⁴⁴ я возвратилась под вечер и сразу заметила в своем муравейнике несколько приподнятое настроение. Перебивая друг друга, женщины передавали: «Приходили, Григорьевна, к тебе господа, в услужение нанимать. Барыня такая красивая, роскошная. А барин чудной, не русский, по всему видать, говорит как-то неладно, морда некрасивая. Обещались завтра придти». Я тоже почувствовала большую радость, что кончается тягостная и уродливая жизнь, мучительная по условиям, жизнь напряженная, с оглядкой, с боязнью обнаружиться, не попасть в тон окружающих обитателей. Главное — не было уже для нее и принудительной необходимости.

Решаю завтра никуда не отлучаться с квартиры, но устроить, однако, так, чтобы моя встреча с «господами» произошла вне общей комнаты. Муж Манны оставался дома, и его острый глаз мог уловить какие-либо обмолвки в наших разговорах, не соответствующие моему званию и положению. Уже странным могло казаться и то, что богатые господа поднимаются на шестой этаж за прислугой сами, и бабы мне не преминули заметить: «Знать ты, Григорьевна, искусная стряпка, сами ишь пришли».

Утром, к приближению назначенного часа, с большим чайником в руках, как бы идя за кипятком, я вышла на лестницу и стала тихо спускаться вниз. Расчет оказался верен. На третьем спуске подымался навстречу очень изысканно одетый молодой господин, каких, вероятно, эта лестница никогда и не видывала на своих ступенях. Приблизившись, он приподнял красивым жестом свою шляпу, спрашивая у меня обо мне. Переговорив быстро о времени явки к ним на квартиру и взяв у «барина» их адрес, я возвратилась радостная в комнату, спеша поделиться со своими сожительницами приятно неожиданностью: «получила-де хорошее доходное место к одиноким господам. Кроме меня у господ будет лакей, жалованье дают достаточное, работа необременительная». Многие жильцы слушали с затаенной горечью, завидуя счастью, без труда свалившемуся мне. Анна даже предлагала уступить ей, давно и тщетно искавшей именно такое место. Адель обещалась приходить раз в неделю, не чаще, дабы не раздражать барыню более частым посещением.

Положение именинницы обязывало угостить вместе живших женщин кофе внакладку и дать обещание не шибко зазнаваться в положении прислуги богатых господ.

На утро, не беря с собой всех вещей, как это принято у поступающих на место, и поручив присмотреть за ними Адели, я налегке отправилась по врученному адресу.

«Господа», которых я раньше не знала, только что переехали из гостиницы в нанятую ими (на Жуковской ул., № 30) хорошую большую квартиру с полной мебелировкой и всем готовым хозяйством. Дама-хозяйка хвастливо уверяла, что она в городе имеет еще несколько квартир, обитаемых по преимуществу графами да баронами. В нашей квартире тоже жили раньше генералы, неожиданно уехавшие на войну. При вечернем освещении, правда, наша квартира казалась нарядной, эффектной, но дневной свет обнаруживал все ее убожество и «поддельную краску ланит». Тут были электрические люстры, зеркала и картины, рядом с бумажными цветами и замызганными коврами, на поцарапанных стенах, просвечивались пятна на полинявших обоях.

Равнодушие и холодность «барыни» к болтливой профессионалке по сводничеству прервали поток ее безудержного вранья о своем благородстве. Она перенесла свое благосклонное внимание на меня, давая множество советов по части угождения «гостям» и рисуя заманчивую перспективу возможности, после некоторого искусства, перейти к ней в качестве экономки. Познакомив с своим прошлым, настоящим, со связями и обширным

⁴⁴ Якубович Петр Филиппович (наиболее известный лит. псевдоним — Л. Мельшин) (1860–1911) — революционер-народник, лидер «Молодой партии „Народной воли“», поэт и публицист. По «процессу 21-го» приговорен к смертной казни, замененной 18-летней каторгой. Вышел на поселение до окончания срока каторги, в 1899 вернулся в Европейскую Россию. Входил в редакцию народнического журнала «Русское богатство». Большую известность приобрели его очерки о каторге «В мире отверженных» (СПб., 1896–1899. Т. 1–2). Принимал активное участие в общественном движении начала XX в.

кругом знакомств, она в конце-концов примостилась завтракать со мной. Отвращение и страх, что эта дама-нахалка станет пытаться проникнуть в нашу жизнь, заставила меня просто грубо оставить ее одну в кухне, уйти будто бы помогать моей «барыне».

«Господа», как уже упоминалось выше, были мне совсем незнакомые люди, и тут, на нелегальной квартире, мы встретились лицом к лицу впервые, с самой определенной целью, с твердым, непреклонным желанием осуществить эту цель — убийство Плеве, — а это сразу сделало между нами отношения хорошими.

В апреле (1904 г.) — не помню числа — квартиру на Жуковской № 30 занял под видом богатого англичанина Мак Куллох⁴⁵ с содержанкой, бывшей певицей «Буффа». «Барин», действительно, выглядел иностранцем, совсем не русским, и характеристика моих угловых людей была правильной. Это был новый человек нового поколения, яркий, с внешностью изящного джентльмена, с нерусским акцентом речи, в безукоризненном костюме, благожелательный в обращении — все эти качества резко его выделяли и делали заметной величиной во всякой среде. Наружность его не была красива: маленькие карие глаза, голова, слабо покрытая волосами, небольшие усики, выражение аристократической надменности в лице, с немного остро выступавшими вперед плечами над впалой грудью, делали его похожим на ватного дворянчика. И, однако, все эти внешние черты в значительной степени стусевывались. В нем, в глубине, было какое-то тонкое «нечто», вызывавшее большой интерес, глубокую привязанность, любовь к даровитой его природе. Он красиво рассказывал, спорил без претенциозности, умно, с какой-то особенной правдивостью высказывал свои мысли и отношения к людям, что часто рисовало его не совсем выгодно для него самого. Да, это был новый представитель молодого поколения, уже сильно и резко отошедшего от своих предшественников, восьмидесятников, все разложившего, переоценившего ценности, выпукло и резко выдвинувшего свою индивидуальность.

Жена «Жоржа» — так звали Мак Куллоха — или, вернее, будто бы «содержанка», с первого взгляда приковывала внимание своими огромными, миндалевидными, черными, как крыло ворона, глазами.⁴⁶ От этих глаз нелегко было оторваться. Какая-то невыразимо глубокая грусть, будто веками пережитая, отражалась в них, и все лицо тонуло в этих, дымкой подернутых, больших, печальных глазах, а между бровями залегла думная морщинка...

Глава IV Е. С. Сазонов («Афанасий»)

На второй день нашего вселения на квартиру было сделано объявление о найме лакея. На самом же деле по объявлению должно было, конечно, явиться к нанявшим квартиру господам знакомое лицо. Эта публикация указывала только адрес явки. Барин дал мне пароль, точные приметы наружности того, кто придет с черного хода, чтобы занять должность лакея. Почему-то явкой он запоздал на несколько дней, а между тем, по объявлению в газете каждый день валом валил народ с предложением готовности поступить на службу. Один из них так настойчиво просил обмануть господ, сказать барину, что будто бы нанятый лакей отказался, дать возможность стать ему на место, что едва удалось от него избавиться. Прошло несколько дней ожидания, когда рано утром кто-то постучался с черного хода. За эту неделю у меня уже установились весьма добрые отношения со старшим дворником и соседками-кухарками. Думая, не дворник ли стучится, я осторожно приоткрыла кухонную дверь. В небольшой просвет скважины глянули брызжущие каким-то особенным лучистым светом глаза. Живое, радостное лицо, немного искривленный нос убедительно

⁴⁵ Б. В. Савинков («Жорж»).

⁴⁶ Дора Влад. Бриллиант.

подтверждали, что за дверью стоял наш лакей «Афанасий»; без всякого пароля было легко его узнать.

Сдерживая смех, он начал было что-то говорить и тут же, вероятно, заметив встречную дружескую улыбку, прыснул от душившего его смеха и перепрыгнул порог кухни. — «Наконец-то я у пристани, на своем посту, какая радость!» — говорил Афанасий.

Афанасий был выше среднего роста, гибкий, подвижной, с быстро менявшимся выражением лица, с выразительными линиями в очертаниях рта, весь трепетавший молодой, радостной жизнью. Непосредственная, жизнерадостная натура резко выделяла его среди нового типа молодежи с шаткой, порой издерганной, опустошенной душой «голеньких». Цельность Афанасия сказывалась во всем, и в малом, и в значительном, и он входил в дело без сдерживающего раздумья, без разъедающих душевных ковыряний. — «Вот этот человек — настоящий, хороший», — говорила о нем простая девушка Адель, которой он оказывал совсем просто маленькие услуги, а, главное, был с ней ласков и внимателен.

— «Хороший парень ваш лакей, — замечали не раз швейцар и дворник, — к каждому норвит подойти он с открытым сердцем, всем поможет».

От его смеющихся глаз, от веселых слов и готовности оказать помощь делалось окружающим легче, радостнее; как бы весенний луч обогреет и вольет бодрость.

Благожелательность, помощь слабому были у него не столько долгом, сколько безотчетным движением его природы. Несколько раз, завидев дворников или рабочих, поднимающихся с тяжестью вверх, Афанасий отрывался от обеда или чтения и шел помогать несущим. Непосредственность выявлялась в каждом его жесте, в каждом движении. Афанасий верил и поступал без раздумья, по вере своей. Он не любил обыденщины, легко выходил из себя от житейских мелочей, но в крупном всегда был тверд, решителен. — «Что решу, то доведу до конца», — говорил он, и даже в самом голосе его слышалась эта непоколебимость. С упорством и самоотвержением он весь уходил в нужное большое дело, внимательно обслуживая его, обнаруживая при этом красивую отвагу борца и нежное сердце. — «Ходит храбро, ступит — под ногами свистит», — заметил однажды дворник. При спорах, довольно часто происходивших у нас на квартире, когда высказывался крайне разъедающий скептицизм, подрывавший упование и веру в общество, в интеллигенцию и многомиллионную массу, в черный народный мир, Афанасий весь загорался негодованием. Как ужаленный, вскакивал он со стула, осыпая говорившего упреками: «Вы говорите, может, и правду, да не всю, а значит и неправду. Видите низость, легкомыслие, предательство, но забываете, не хотите видеть благородства и самоотвержения. В тех же „низах“ были и есть грандиозные порывы беззаветного энтузиазма, геройства, самоотвержения. Мало ли у нас анонимных героев, великих безвестных могил? Наша история полна мучениками, полагавшими душу за други своя». негодование и горькая обида слышались за огульное осуждение без разбора, без внимательного, вдумчивого отношения к огромнейшей стране, к великому народу, не раз выводившему свою родину на путь человеческого существования, на путь настоящей правды и добра. Указывая на своих предшественников, оставивших в нем глубокий и неизгладимый след, на партию «Народной Воли», он говорил:

— Мы воскресим героический период этих борцов, мы будем достойными сынами своих славных отцов.

Эту любовь к народовольческому направлению, к мощной борьбе народовольцев с вооруженным во всех пунктах правительством высказывал он с особенной, чарующей нежностью, любовью искренней, горячей. Афанасий был фанатичен во всем, во что верил, что любил. У него было много своего, им самим приобретенного, самодельного, самостоятельного. Это свое было заложено у него с самого раннего детства. Родившись в крепкой семье староверов, он с юности пережил период глубокого до фанатизма религиозного настроения, исполняя все служебные церковные требы, читал псалтыри, углублялся в духовное писание, молитвы, жития.

По-видимому религиозность им была воспринята от матери, женщины нежной, вдумчивой, бесконечно доброй, с разлитым на ее лице оттенком чего-то скорбного,

страдальческого. Егор Сергеевич Сазонов («Афанасий») очень любил ее и в самые для него трагические моменты вспоминал мать: — «Какая она у меня добрая, хорошая, сколько в ней чуткости!» — говаривал он.

Жили мы на своей аристократической квартире дружно, занятые каждый своими неотложными обязанностями. Быстро вспыхивавший Афанасий также скоро начинал терзаться, искренне сожалея и порицая свою несдержанность, открыто исправляя сделанный им «в сердцах» поступок. Раз только за все наше общее сожительство у него произошла маленькая ссора с «барыней», о чем он потом глубоко сожалел и раскаивался перед ней.

Пыхнул гневно раз и на меня Афанасий, но эта его вспышка еще ярче осветила его красивую душу.

Случилось это вскоре по основании нашей квартиры, до той поры, когда наше близкое знакомство друг с другом еще не вполне совершилось. Шел разговор о неудаче, затяжке дела по каким-то случайным и непредвиденным обстоятельствам. В самых отдаленных уголках громадной России напряженное ожидание конца вызывало недоуменные вопросы. Афанасий при разговоре волновался, огорчался замедлением, казалось бы, хорошо обдуманного плана действия.

Делу, поставленному уже на рельсы, казалось, оставалось бы только катиться по намеченному пути, но все уже подготовленное внезапно, как кривая лошадь, сбивалось в сторону, останавливалось... Сноба принимались облаживать почти оконченное. Одни работники в неудаче черпали новые силы, лишний опыт; другие слабели, падали духом, теряли терпение, считая дело вообще трудным, едва ли достижимым. При обсуждении происходивших неудач, непредвиденных трагических случаев, у меня вырвалось невольное замечание, что, видно, этому делу конца не будет; по-видимому, нет соответствующего настроения, нет надлежащего желания у работников, или же самое это дело не столь важно, несущественно. Афанасий, как подброшенный шар, вскочил на ноги, сразу лицо его побагровело, а через миг сменилось странной, пугающей, мертвенной бледностью... — «Вы жестоки! Мы не хотим! Да как же это могут думать! Если общество не чувствует или рабски переносит оплеухи, унижается, то мы, партия, не можем молчать, оставаясь равнодушными зрителями этого позора страны. Это наше кровное дело, мы доведем его до конца, даже если все до одного погибнем!»...

Наша жизнь как-то вошла сама собой в определенные рамки.

Кухарка вставала раньше всех и шла за провизией. Квартира наша считалась весьма богатой, барин на свою содержанку не жалел денег, сообразно с этим и продукты приходилось закупать не какие-нибудь залежавшиеся, а высокой марки. В первые дни встречались затруднения во многих отделах хозяйственного обихода; незнание разных частей мяса и иных предметов вынуждало меня осторожно выжидать в лавке, прислушиваясь к заказам солидных поварих и поваров, покупавших деликатессы, и к их толкам — у кого лучше найти, дешевле, дороже и т. д. Через неделю весь курс кухарских плутов был пройден мною с успехом. Оказалось, если ежемесячный забор достигал ста рублей, лавочник платил не меньше пяти рублей ежемесячно же забиравшему провизию. Наш суточный забор часто превышал 5–10 р. Вся прислуга нашей лестницы, всегда все знавшая по части объегоривания своих господ, с завистью и с некоторой дозой уважения относилась не ко мне, конечно, а к моему доходному месту. Груня (дверь против двери нашей кухни) — горничная и кухарка двух холостых присяжных поверенных, настойчиво просила передать ей, когда надумаю уйти, такое доходное местечко.

— Мои господа что! Шантрапа! Мяса берут всего по 11/3 ф., которым норвят кормиться два дня. Смотрят, как бы не украли у них, да чего тут украдешь-то? — жаловалась Груня. После утренних закупок из магазинов мы расходились по домам, обогащенные точнейшими сведениями про господ не одной лестницы нашего дома, но и соседних жильцов. Раз как-то в холодный день в мясной лавке обратил общее внимание раньше невиданный там субъект, наружности не весьма порядочной. С этого времени его визиты участились, но к нашему дому его интереса совсем не было заметно. Одна прислуга, жившая

по линии улицы Жуковского, выразилась, указывая на незнакомца, совсем просто: — «Это сыщик. На панели, вишь, в непогоду стоять-то неудобно, ну, он и норовит переждать в лавке. Он тут за Грунькиными господами следит». Это случайное обнаружение цели сыщиковских наблюдений успокоило нас.⁴⁷ Довольно часто при возвращении с покупками домой я встречала на черной лестнице Афанасия, чистящего юбки и камзолы спящих еще господ, а в кухне кипел уже им поставленный самовар. В этот ранний час охотно к нам на кухню заглядывал старший дворник со свежими новостями, а главным образом, попить чаю или кофе, в чем, конечно, он почти никогда не ошибался. Афанасий охотно, весело подставлял ему стул и чашку кофе. Шла Японская война. Афанасий закупил множество лубочных патриотических картин, оклеив ими все кухонные стены. Старший дворник, указывая как-то на одну картину, где японца избивал казак нагайкой, заметил: «Кого они обманывают этим?» — «Но мы побьем, поколотим, беспременно одолеем!» — вдруг свирепо выпалил Афанасий. — «Оставь фигурять, кому одолевать-то?» — возразил мрачно дворник.

С двенадцати до обеда квартира пустела, расходились по делам. Кто шел на свидание с другими работниками, кто для показной видимости уходил куда-нибудь. Часто, не дожидаясь опоздавших хозяев наших, вдвоем с Афанасием мы обедали на кухне, и в эти часы он много рассказывал о своей прошлой жизни, о студенческих годах и погибших друзьях. Не помнится, чтобы он дурно отзывался о ком-нибудь из своих товарищей. Особенно радостно вспоминал он о каком-то старом уфимском друге-наставнике (*Дело идет, по всей вероятности, о В. В. Леонович* ⁴⁸.) и о «бабушке» (*Брешковская Екатерина Константиновна*⁴⁹).

Из-за последней у него вышла серьезная неприятность с отцом, едва не окончившаяся полным разрывом. Когда уводили арестованного Егора в тюрьму, отец, указывая на висевший портрет «бабушки», сказал: «Вот кто виноват, а вы его арестуете». Воспоминание об этом причиняло Афанасию большие страдания. Он любил пылко и страстно своих родителей: когда он начинал рассказывать о них, то весь изменялся: голос становился таким нежным, приглушенным, без резких нот, музыкальным; глаза подергивались задумчивою грустью; все лицо трепетало и чуть-чуть мягко улыбалось. — «А мама моя добрая, добрая и кроткая». И снова, уже перейдя на другой предмет разговора, он вновь возвращался к матери (*Эти чувства ярко выражены в его письмах к матери из Акатуйской тюрьмы, изданных отдельной книжкой Издательством Политкаторжан* ⁵⁰).

Все, казалось, в нем было полно большой и горячей привязанности к ней. Для него тогда порвалась уже почти окончательно нить, связывавшая его с ними, и вновь обнять их никакой надежды не было больше. Раньше, будучи в Питере, исполняя роль извозчика, он иногда стаивал у Знаменской гостиницы. — «Раз у подъезда жду седока, — рассказывал Афанасий, — вдруг вижу из парадной выходит... мой отец... Удар кнута, и я мчался в другую сторону, сам не зная куда. Не думаю, чтобы отец узнал меня».

Проводив в театр господ, вечером Афанасий шел к швейцару на разведки с бутылкой

⁴⁷ По доносу (ложному) Азефа на жившего в этой квартире пом. прис. пов. Грандафилова за домом № 35 по Жуковской ул. было поставлено секретное наблюдение. Это один из трюков Азефа, о цели которого можно лишь догадываться. Он или хотел спугнуть конспиративную квартиру или, в случае ее провала, иметь в руках козырь, что он уже указал на этот дом.

⁴⁸ Леонович Василий Викторович (1875 — после 1928) — видный деятель партии социалистов-революционеров, одно время член ее ЦК.

⁴⁹ Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844–1934) — участница народнического движения 1870-х годов, судилась на «процессе 193-х» (1877–1878); один из лидеров ПСР, страстная пропагандистка террора. Получила прозвище «бабушка русской ренюции».

⁵⁰ Имеется в виду книга «Письма Егора Созонова к родным (1895–1910)». М., 1925.

пива и уворованными якобы барскими папиросами. Швейцар наш был до фанатичности набожен. Все стены конуры его под лестницей сплошь украшались образами, образочками, крестами, святыми картинами, перед ликами которых лился разноцветный лампадный свет. И говорил швейцар много на религиозные темы, что, однако, нисколько не мешало ему иметь двух жен: одну для города, другую для деревни, с изрядным количеством детворы от каждой; а деревенская, как это полагалось в большинстве случаев, предоставлялась им, при том, своей собственной участи. Из этих экскурсий Афанасий возвращался переполненный «всякие скверны». Он отплевывался и с отвращением мотал головой, отказываясь передавать отзывы и суждения швейцара купно с дворником о жильцах дома. «Собственно, порядочные господа во всем доме, можно сказать, одни твои господа, остальное все сволочь, шулера и шантрапа», — говорили они, не обнаруживая при этом ни малейшего намека на какую-либо подозрительность. После обеда в праздничные дни мы, прислуга, вместе выходили за ворота постоять зеваками. Даже мой возраст не удерживал швейцара или дворника от похабного разговора, что заставляло подальше отходить от их компании, ссылаясь на свои годы и греховность слушать такие скверные речи.

— Никогда, — говорил Афанасий, — я не слыхивал столько похабства, как за время общения с набожным швейцаром.⁵¹

Глава V И. Пл. Каляев («Поэт»)

В первые же дни по организации квартиры, «барыня» предложила сходить повидаться с одним из нашей группы, с Иваном Платоновичем Каляевым, известным среди всех работников под кличкой «Поэт». Решительно все относились к нему с самым дружеским расположением и неподдельной, искренней любовью.

Мы шли с Дорой Бриллиант по Владимирской улице в направлении Технологического

⁵¹ Для полноты прекрасного духовного образа, нежной любви к товарищам нашего «Афанасия» я привожу письмо его, написанное им мне в 1906 г., когда его, после суда а Шлиссельбурга, пересылали в далекий Акатуй. «Дорогая, незабвенная наша тетушка!

Я так счастлив, что могу приветствовать Вас. Мне все время, еще в нашей могиле, хотелось обнять Вас крепко и выразить Вам, хотя задним числом, чувства любви и глубокого уважения к Вам, волновавшие меня.

Мне было всегда тяжело вспоминать, что Вы, на основании некоторых эксцессов с моей стороны или, лучше, со стороны моего дурного нрава, быть может, остались при неверном представлении относительно моих чувств к Вам. Мне хотелось целовать Ваши руки, поклониться Вам, что я теперь и делаю... Но будет об этом. Я так рад, что могу писать Вам с уверенностью, что мое письмо дойдет по назначению.

Дорогая! Когда я оглядываюсь назад, на это бранное поле, усеянное головами тех, кто был дорог бесконечно, за кого тысячу раз готов был бы умереть, с кем неразрывно и тесно связывали самые святые чувства, ах, я не могу назвать этого подходящим именем, — тоска гнетет меня; мне кажется тогда, что я жил какою-то особенною, прекрасною жизнью, среди людей, которые странно непохожи на других людей: озаренные сиянием, они в моих глазах вырастают в гигантов. Хочется преклоняться перед ними. Странно, что я жил с ними, видел и осязал их и, хотя любил их, но о моих чувствах и отношениях к ним, этим людям, было слишком много человеческого, низкого. И когда я вспоминаю об этих прекрасных образах — увь! уже образах — меня охватывает смертная тоска; сам я начинаю казаться выходцем с того света, чуждым действительности, и завидую мертвецам.

Дорогая, простите за эти строки; я уверен, что Ваше сердце поймет, какими чувствами они продиктованы. Я хорошо помню: „умереть за убеждения — значит звать на борьбу“, и моя тоска по погибшим претворяется в жгучее чувство мести их палачам и в жажду борьбы, — борьбы против ужасных условий, которые обрекают на гибель прекрасное, доброе, борьбы за идеалы, во имя которых они сложили головы, озаренные сиянием этих идеалов.

Дорогая, глубокоуважаемая! Я теперь узнал, кто Вы, знаю Ваше прошлое и с тем большим чувством уважения преклоняюсь перед Вашим прекрасным образом. Буду верить, что когда настанет же ланное время свободы, я окажусь достойным Вашего объятия и до стойно назовусь Вашим сыном. Желая Вам сил и здоровья с тем, чтоб Вы дожили до победы тех идеалов, на служение которым от дана была вся Ваша жизнь.

Победа близка! До свиданья же, дорогая, незабвенная тетушка
— глубоко уважающий и любящий Вас Афанасий»

института. — «Вот поэт, — указывая глазами вперед, сказала барыня, — посмотрите на него всего».

К нам навстречу двигалась фигура торговца-папиросника, с лотком на ремне через плечо. Заметно было, что тяжесть товара сильно давила ему плечи, он несколько горбился, медленно подаваясь к нам. Большой белый фартук закрывал его грудь и опоясывал пиджак, прикрывая, таким образом, его рваную одежду. Вытертый картузишко и стоптанные сапоги дополняли его костюм, как у всех мелких уличных разносных торговцев. Даже набившие руку филеры не могли бы его признать за переодетого интеллигента. И, однако, его молодое, задумчивое, как бы дымкой подернутое, лицо немного разнило «поэта» от заурядного папиросника. Заметив наше приближение и видимое намерение остановиться, он весь выпрямился и засветился такой детски чистой лаской, лучистые серые большие глаза загорелись радостным и приветливым огнем. Но кругом сновали люди. Иван Платонович быстро овладел своим настроением, приняв повадку профессионала-торговца. Послышались приглашения купить самые лучшие папиросы, кошельки и пр., с этими возгласами он приблизился к нам, развернув весь свой красиво уложенный товар. Торгуясь и рекомендуя купить один предмет за другим, он тут же в промежутках сообщал нужные для других работников результаты наблюдений, тщательно им проверенных, или точно замеченных отклонений от раньше виденных.

С этих пор наши встречи в И. П. происходили в большинстве случаев в обстановке сейчас описанной, где-нибудь на улице; но в праздники он решался на свидание в каком-нибудь плохоньком, третьеклассном трактире. Там мы садились в самый укромный, в самый отдаленный уголок, пили чай вприкуску, медленно, с отдыхом. Когда же приходили другие работники, место в трактире занимали более фешенебельное, как настоящие мещане-торговцы. Шумно и весело велись рассказы самого фантастического характера. Народ был все молодой, жизнерадостный, красивый отвагой и беззаветными жертвенными порывами. Иван Платонович тогда в своей компании больше всех острил и смеялся раскатисто, заразительно. У всех у них была одинаковая приблизительно жизнь в углах, одна работа и одинаковый конец. Иван Платонович всегда вносил в общее настроение значительную дозу бодрости, увлекающей красоты подвига.

Однажды, опять мы «поэта» встретили около Исаакиевского собора, на людной и чистой от «шантрапы» улице. Лоток его на этот раз был уже заполнен фруктами. Красивыми ромбами были разложены персики, горевшие издали ярко-красным цветом. Приблизившись близко, он громко выразил радость встречи непредвиденной, такой для него радостной, и как бы желая подкрепить им сказанное, он пригоршнями начал сыпать нам фрукты, сообщая свою полную победу в изысканиях, свою уверенность близкого конца напряженной и трудной для всех жизни. Между тем, городской уже заметил остановившегося торговца не в указанном месте и быстро направился с окриком: «пошел, пошел». — «Поэт, — предупредила Дора, — на вас устремился блюститель закона, берегитесь».

— «Э, чёрт дери!» — ругнулся поэт, быстро исчезая за поворотом улицы со своими прекрасными товарами.

Глава VI **Е. Ф. Азеф**

Так жили мы до приезда Азефа. В конце мая, но может и позже, помнится, «барин», возвратясь однажды со свидания с наблюдателями, предупредил, чтобы мы укараулили завтра момент прихода к нам Азефа, дабы он проскользнул, никем не замеченный. Роли поделились естественно. Афанасий на «стрему» спустился к швейцару — отвлекать внимание, а черный ход, само собою, стерегся кухаркой.

Наружность Азефа была так необычайна, до такой степени индивидуальна, что раз, всего один только раз встретившись с ним, лицо его, как бы оно потом ни изменялось, не могло уже забыться во всю жизнь, запечатлеваясь властно, навсегда, и нельзя было смешать

его с кем-нибудь другим, ошибиться.

Высокого роста, толстая, широкая фигура его опиралась, несоизмеренно с туловищем, на тонкие ноги. Длинные руки женской формы, вялые, мягкие, вызывали при прикосновении неприятное ощущение чего-то склизкого, холодного, точно прикоснулся к холодной лягушке или слизняку. Глаза у него были карие, всегда бегающие, всегда как бы что-то высматривающие, но в них искрилось много ума и какой-то лукавой сметки. В особенности характерен был рот с эфиопскими толстыми губами, которые часто складывались трубочкой и вытягивались вперед, выражая презрительное недовольство и неприязнь; какое-то странное и не поддающееся объяснению сочетание было в этом типе: соединение добра и зла, нежной ласки, внимания и поразительной жестокости, соединение заботливой дружбы и предательства. В Вильне и Варшаве, вспоминается, как он не пропускал мимо себя ни одного маленького еврейского малыша, продававшего три коробочки спичек, несколько штук иголок и крошечный мешочек сахарного песка. Это трогало и подкупало, это как бы говорило, что при самых серьезных делах, разговорах, Азеф помнил свои обязанности к человеку, обязанности к нуждающемуся.

В виду заметности наружности, никто не должен был видеть его приход в нашу квартирку, а визит Азефа носил чересчур деловой характер.

Наше положение обязывало с возможно большей заботливостью предохранить от провала квартиру, хотя первоначальная цель устройства барской квартиры значительно изменилась. Кроме безопасности для всей группы Б. О., являвшейся скрепой и рулевым для всех работников в деле — так мы понимали в частности ее роль — еще предполагались две существенные функции квартиры: покупка и держание при квартире автомобиля, с которого, быть может, в конечном счете придется с большей вероятностью делать нападение на министра Плеве, и, в ней же, при полной ее чистоте, нашему технику «Павлу» (М. Швейцеру) было бы лучше всего накануне покушения зарядить бомбы. Предполагавшаяся покупка автомобиля не состоялась, пожалуй, по причине начавших выясняться обстоятельств, что покончить дело удастся при помощи одних метательных ручных бомб. Все возникшие во время хода работ вопросы должны были решиться совместно с Азефом теперь, для чего он должен был бстаться на некоторое время у нас.

Азеф нашел нашу квартиру недурной, удобной в конспиративном отношении, строй нашей жизни им был одобрен, но за невыполнение первоначальных предназначений касательно автомобиля он жестоко разнес «барина». Несмотря на твердую позицию, занятую жильцами квартиры, он упорно отстаивал необходимость автомобиля. Споры велись по этому предмету с одинаковым упорством и горячностью с обеих сторон. Азеф горячился, негодовал, был груб, выражался чересчур категорично и авторитетно, упрекая «барина» в самовольстве: — «Вы не имели права отступать от выработанного плана!.. Как вы смели это сделать?»...

Такие выражения весьма коробили присутствующих, но возражать было нелегко: ведь, каждый отлично понимал, что крупное, большой важности дело требовало при тогдашних условиях строгой дисциплины, подчинения раз выработанному сообще плану действия. После долгих прений и обсуждений Азеф уступил, положась на мнение работавших все это время. По окончании деловых объяснений, Азеф становился простым, сердечным, обнимал «барина», боролся с Афанасием, дурил с ним. К последнему, казалось, у Азефа было какое-то особое трогательно-нежное отношение. Он больше чем любил Афанасия — он ежился, заискивал перед ним, становясь до некоторой степени в положение побитой собачонки. Велико, говорят, влияние честности в большом характере. Жил Азеф у нас больше недели, ни разу не выходя из дому. Спал он в одной комнате с Афанасием на полу. Еще один раз за то время, пока он у нас оставался, у него произошла жестокая баталия с Жоржем.

В один из дней поездки Плеве в Царское Село барин тоже решил туда отправиться для наблюдения за ним. В тот же день там происходили скачки, облегчавшие эту поездку. Вернувшись из Царского Села, он рассказал о любопытной встрече на вокзале в ожидании

поезда с какой-то барыней, ехавшей тоже в Царское Село, якобы на скачки. Болтая о том и о сем, она свела разговор на министра Плеве. Весь город, по ее словам, занят событием в Центральной гостинице, его связывают с готовившимся покушением на Плеве. — «Разве он не слышал?» — Ее это удивляет, тем более для иностранца — «каков вы есть, думаю я, это невероятно», — говорила она. Она живет на Морской — там-то... «Иностранец» в свою очередь рекомендует ей и сообщает свой адрес.

Выслушав этот рассказ, Азеф взбесился. Со стороны «барина» это непростительная легкомысленность и неосторожность. До очевидности ясно — дама эта шпионка, квартиру нашу надо считать проваленной. — «Немедленно приступить к ее ликвидации, — сердито повторял Азеф, — иначе все дело погибнет, а данный ею свой адрес наверное фиктивный». Всех жителей квартиры эта оказия очень смутила, хотя и чувствовалось какое-то тут преувеличение со стороны Азефа.

На другой день наш «барин»-иностранец отправился на Морскую проверить, действительно ли там живет его случайная знакомка и по обстановке квартиры определить ее профессию. Вернулся он из своей экскурсии радостный и спокойный. Со смехом передавал подробности своего визита к барыне, жившей на Морской, обстановку жилища, наружность кавалеров, ожидавших в передней своей очереди приема. Все сомнения рассеялись. Она была «одна из многих». Тем не менее, Азеф остался непоколебим относительно упразднения нашей квартиры. Ему стали казаться недостаточными наши наблюдения, разрозненными собранные факты о Плеве. Необходимо стать всем в простое положение, усилить слежку, не найдется ли лучший случай, более простой, с меньшими жертвами. В подтверждение нашей неполной осведомленности, он сообщил о Плеве такой факт: — «Я слышал, что Плеве ходит каждый день по Морской, пешком, один, к своей любовнице. Конечно, эти визиты обставлены весьма таинственно. Раньше он посещал другую даму, уверенный в незнании ею его особы. Но вот после назначения его министром внутренних дел, когда он уходил после одного из визитов от первой содержанки, она ему заметила: — Теперь вы могли бы быть немного щедрее».

— Почему? — вспыхнув весь, спросил ее Плеве.

— Вы уже сейчас большая особа, министр...

Плеве прекратил свои посещения к ней. Как стал известен Азефу такой случай? Он бывает у значительных содержанок, когда приходится туго, когда необходимо следы замести, он ловкий.

Глава VII

Ликвидация конспиративной квартиры. — На улице

Азеф уехал, посоветовав нам скорее ликвидировать квартиру. Началось ее упразднение. Афанасий поехал искать себе новый паспорт, решившись опять стать извозчиком. «Барин», якобы по делам коммерческо-агентурным, отметился в Ростов. Кухарка тоже ушла за город и провела там несколько дней. Оставалась на квартире одна Дора, взяв себе прислугу с рынка. Возвратившись в город, я нашла себе угол на Лиговке, в квартире, о которой упоминала раньше, и занялась торговлей семечками — положение, дававшее возможность проникать всюду, без боязни обратить внимание филеров. Со мной в углу жила еще торговка, от которой много пришлось позаимствовать приемов по части искусства торговать. Желая оформить свое положение, я обратилась к старшему дворнику за указанием, где взять разрешение на право уличной торговли, и сколько это право будет стоить. — «А на какого лешего тебе тратиться?» — резонировал толстый, красный, как бурак, старший дворник. — «Торгуй себе без бляхи, никто не тронет, для тебя три рубля капитал. Тут все безблящные на нашем дворе».

На другой день, приобретя корзинку и семечки, мы с жилицей рано утром отправились промышлять. Моему вниманию сугубо рекомендовалось наблюдение: во-первых, пути по Каменноостровскому пр. вплоть до Карповки и дальше, — местности расположения летней

резиденции Плеве, во-вторых. Балтийский вокзал и путь к нему в те часы, когда эта часть не обслуживалась другими. День наш начинался рано и кончался с заходом солнца. К вечеру брели без ощущения ног, с одним желанием бухнуться и уснуть. Обедали на скамеечке, в парке или дешевой чайной. В ней за пять копеек была возможность получить чашку щей или супу, конечно, самого прискорбного вкуса. Кое-кто примешивал туда на 1 коп. сметаны, но все без исключения в свою миску выливали из судка уксус, горчицу и перец. Были трактиры, в которых кулинария разнообразилась молочными супами и котлетами, но, праведное небо! что это были за блюда, какой прихотливый вкус они имели! Впоследствии предмет торговли пришлось переменить, сезон требовал этого. Корзина наполнялась фруктами, торговля пошла ходче, зато тяжесть значительно прибавилась. За фруктами чуть свет, когда их привозили со станции жел. дор., ходили на Щукин двор. Туда же, значительно раньше, приходил «поэт» тоже за фруктами. Он покупал целыми ящиками, долго и упорно торгуясь с пафосом и пылкой жестикуляцией, выжимая копейки у оптовщика. Казалось, сознание хорошо разыгранной роли мелкого торговца доставляло ему большое удовольствие. Он откладывал мне фрукты, передавал в то же время свои новые наблюдения проездов Плеве, увлекаясь, забывая о всем окружающем, радуясь удаче, браня неуспех, волнуясь без резких слов. Потом мы расходились в разные стороны. За эти дни — недели, до возвращения еще Афанасия, два раза пришлось иметь возможность встретить фон-Плеве. Трудно было не узнать этого бюрократа, только слепой не заметил бы той помпы, которая сопровождала его проезд. Весь его путь, как по волшебству, принимал какой-то театральный вид. От низшего полицейского чина до полицейского высшего ранга, умноженных во много раз, все в блестящих новеньких мундирах, все вытягивались в струнку, одергивая мундиры, поправляя шашки, точно готовясь к осмотру, охорашиваясь, а главное и самое приметное, все они поворачивали, как по команде, головы в ту сторону, откуда должен был ехать Плеве. Между этими вертящимися чинами полиции, в недалеком расстоянии друг от друга, ходили изящные джентльмены с тросточками и с небрежным, независимым видом, — филеры. Живая изгородь вырастала по обеим сторонам тротуаров, внезапно, живой стеной, обеспечивая путь. В первый раз встреча случилась у Балтийского вокзала. Торговка семечками могла идти тихо, по временам останавливаясь, поддаваясь невольно общему настроению, поворачивать голову туда, назад, куда все смотрели. Через пять-десять минут ясно послышался грохот шумно мчащейся кареты. Позади нее, шагах в пяти, на чудном рысаче сидел сыщик еврейской наружности. Сейчас же за мостом, при повороте к Варшавскому вокзалу, карета пролетела так близко мимо меня, что чуть не задела колесами. В окне, подавшись немного вперед, виднелось характерное лицо Плеве. Ошибиться было трудно. Подойдя несколько ближе к каналу, я села, наблюдая копошащихся и шмыгающих филеров, принимавших теперь позы солдат после маневров. Эта встреча и возможность уцелеть среди целой рати шпионов укрепляли и обнадеживали наше решение уличного нападения. Одно войско, революционное, менее многочисленное, станет выбивать более превосходящее по количеству — царское. Возвратившийся Афанасий, одновременно наблюдавший за проездом Плеве в другом пункте и встретивший ту же карету, в свою очередь, без колебания поддерживал уличное выступление. Вполне понятно, что другие встречи и пути изыскивались теперь неохотно. Наблюдение считалось как бы окончанным. Один «поэт» продолжал бродить с лотком в разных направлениях, все думая, авось подвернется случай, более подходящий. Намерения его были ясны: с меньшими жертвами покончить начатое дело. Для его нежной души слишком болезненно было сознание неизбежности гибели не одного его, а и других товарищей.

Глава VIII

Дора Владимировна Бриллиант

В свободные праздничные дни мы навещали «барыню», оставшуюся одинокой на Жуковской квартире. Ей требовалось разыгрывать роль покинутой «другом» и носить на

лице следы глубокой печали при посещениях хозяйки. Эта сводница утешала «барыню» тем, что «барин», хотя она его и не знает, не так уж обворожителен и красив, чтобы стоило о нем убиваться и долго думать. Если «барыня» пожелает, то она, хозяйка стольких богатых квартир, бескорыстно сейчас же найдет ей друга позначительнее и поважнее. «Барыня» в самом деле сильно страдала, конечно, не от потери друга, а от вырешенной ненужности квартиры, где она бесцельно продолжала жить. Ее пугала перспектива остаться надолго без всякой работы. Она стремилась отдать свою жизнь в серьезном и значительном деле, с сознанием, что она не напрасно прожита. К повседневному, тихому существованию она не чувствовала себя способной; для другой работы, например, пропаганды, у нее не было склонности; заниматься техникой — казалось, не хватит сил. Начать учиться теперь, когда сердце переполнено ужасами жизни, а душа полна страданий за загубленных братьев, друзей... Глаза у «барыни» большие, огромные, как бы отражали всю переживаемую ею скорбь; они как бы смотрели на то, что позади жизни. В них светилась грусть глубокая, приковывающая к себе даже посторонних. Однажды мы с ней шли по Забалканскому проспекту. Два студента несколько раз обгоняли и останавливались впереди, рассматривая Дору. На замечание о неприличии их поведения, один ответил: «Ничего ни позорного, ни бесчестного нет в том, что мы останавливаемся перед красотой». Она не была солидно образованной, но природный большой ум, способность ориентироваться в различных положениях делали ее очень ценным работником, приятным другом и верным товарищем, неспособный оплошать или малодушно уклониться. — «Почему, — с горечью спрашивала она часто, — не хотят пустить меня на выход? У меня хватит мужества не скомпрометировать партию. У меня достаточно гордости, чтобы вот так сложить руки, не дрогнуть, не показать врагу самую крошечную слабость, ничтожную робость». И она крепко сжимала ладонь в ладонь руки на коленях и казалась олицетворением спокойной гордости. Физически она была слабая, хрупкая, как растение без солнца, которому одно дыханье утренника несет смерть. Тюрьма для Доры была удушливым газом, который не щадит ничьей жизни; в ней она покончила свою полную горечи и печали жизнь. Сидела она сначала в Петропавловской крепости — этой темной, глубокой могиле, мрачной дыре, поглотившей столько молодых сил. В то время там многие в одну ночь лишались рассудка. Одна девушка, после двухмесячного заключения в этой проклятой волчьей яме, с трепетом души рассказывала мне про свою безумную соседку (Дору). Ночью у Доры внезапно потухло электричество — оно должно гореть целую ночь; неслышно, в одно мгновение что-то звякнуло, дверь с шумом распахнулась. С зажженной свечой ворвались к одинокой заключенной какие-то неясные, дикие фигуры. В первый момент появление света частности ускользали из поля зрения, лишь надвигалась какая-то темная чудовищная масса. Неопикуемый ужас охватил все существо, и нечеловеческий крик пронесся в угрюмых стенах Петропавловки. С этой ночи соседка не переставала оглашать отчаянными криками крепостные своды, пока не увезли ее в больницу (в 1906 г.).

Дора Владимировна Бриллиант родилась весной 1880 г. в городе Херсоне, в зажиточной купеческой еврейской, очень ортодоксальной семье. В Херсонской гимназии окончила 4 класса. Сильное стремление к образованию, не могшее найти удовлетворение, сказывалось с ранней юности. Мешала этой склонности ортодоксальность семьи; по этой же причине курс наук ее продолжался всего 4 года. В 1898 году, после тяжело перенесенной смерти матери, она с большой настойчивостью и усилием воли добилась права продолжать образование. В 1898–1900 гг. она училась акушерству при Юрьевском университете. Часть 1900 года провела в провинции, где подготавливалась к аттестату семи классов гимназии.

В конце 1900 г. переехала в Киев, продолжая заниматься в период студенческих волнений, особенно сильных в Киеве. Первые встречи, первые соприкосновения с не революционными в собственном смысле, а с прогрессивными студенческими кружками. Участвовала в большой студенческой демонстрации в Киеве, была арестована, просидела недолго в Лукьяновской тюрьме, была выслана в провинцию под надзор.

Она местом ссылки избрала Кишинев, но через несколько дней изменила его на

Екатеринодар, в котором оставалась недолго, полтора-два месяца, затем переехала в Полтаву. В Полтаве сильное и исключительное влияние П. Ф. Николаева⁵² (б. каракозовца) и наезжавших в Полтаву «бабушки», Гр. Андр. Гершуни. Эти знакомства окончательно укрепляют ее в эсеровских убеждениях, создают несокрушимую до смерти преданность им и определяют характер всей последующей ее революционной деятельности. В Полтаве Дора принимает очень деятельное участие в местном комитете партии, где архивы и вся техника лежат на ней. Ею же отпечатана была оригинальная прокламация Боевой Организации по поводу убийства Богдановича.⁵³ Ею же выполнялась и вся техническая часть издания «Крестьянской Газеты».

Весною 1902 г., после Толстовской демонстрации в Полтаве в городском театре, Дора Вл. была арестована вместе с другими поднадзорными, проживавшими в то время в г. Полтаве, и просидела в арестантских ротах несколько дней.

Осенью 1903 года оканчивается срок надзора, и Дора Вл. перебирается в Киев, продолжая там в местном комитете работу до весны 1904 г., когда она вступает в ряды членов Боевой Организации, и, таким образом, исполняется ее во все время мирной работы заветная мечта.

Дальнейшая ее судьба следующая:

После дела Плеве — поездка за границу (август 1904 г. по январь 1905 г.). Затем она в Москве работает техником в деле убийства вел. кн. Сергея.⁵⁴ Вторая поездка за границу (сентябрь — октябрь 1905 г.). К первому декабря 1905 г. она возвращается в Петербург, и через несколько дней по приезде ее арестовывают. Крепость, голодовка, болезнь и полное истощение. Ее переводят в Литовский замок, в котором она окончательно заболевает до такой степени, что не имеет сил не только встать с койки, но даже и повернуться, собственными силами. В это время ей разрешается свидание в камере с приехавшей сестрой. Затем Д. В. переводят в больницу Николая чудотворца, где она умирает 27 октября 1906 г. Тело было вскрыто. Похоронена она на Преображенском кладбище. Обвинялась она по 101, 102 и 2 ч. 126 ст.

Дора Владимировна, как стало потом известно, в Петропавловской крепости сошла с ума. Эта гордая девушка умоляла в безумии своих врагов дать ей яду для прекращения жгучих страданий.

Впрочем, все это произошло впоследствии. Раньше было сказано, что по расформировании квартиры на Жуковской, там оставалась одна Дора, маячившая одиноко в больших комнатах. Навещать ее без риска была возможность для одной только старой кухарки, приходы которой к тоскующей, брошенной «барыне» не казались ничуть подозрительными. Однажды, в на редкость прекрасную погоду, я заглянула к Доре и, найдя ее грустно-молчаливой, предложила поехать куда-нибудь так, без цели, просто проветриться. Был какой-то праздник. Извозчику было предоставлено самому избрць маршрут. На углу Б. Морской и Невского образовался невероятный водоворот от скопления пешеходов, карет, извозчиков. Над всем этим гомонящим, ругающимся извозничьим криком слышались бешеные ругательства городских и приставов. Затертые этой живой лавиной в центре, мы и не пытались, и не могли двигаться вперед. В этом ожидательном положении наше внимание

⁵² Николаев Петр Федорович (1844–1910) — участник кружка «ишутинцев», к которому принадлежал Д. В. Каракозов, стрелявший в Александра II 4 апреля 1886 г. Будучи осужден в связи с покушением Каракозова на 20 лет каторги, Николаев почти всю жизнь провел в заключении или в ссылках.

⁵³ Богданович Н.М. — уфимский губернатор, убит 6 мая 1903 г. членом БО Е. О. Дулебовым в ответ на расстрел рабочих-забастовщиков в Златоусте 13 марта того же года.

⁵⁴ Сергей Александрович, великий князь (1857–1905) — дядя Николая II, имевший на него значительное влияние, особенно в первые годы правления молодого царя. Генерал-адъютант, член Государственного Совета, Московский генерал-губернатор. Считался одним из столпов реакции.

привлекла к себе одна карета, медленно хотя, но все же пробивавшая себе дорогу. Наши головы как-то сразу повернулись в сторону кареты. Совсем близко мимо нас, бок о бок двигалась та хорошо знакомая карета, с тем же кучером с крестами на груди, окладистой бородой. У обеих нас в тот же миг вырвалось одно восклицание: «Плеве». Из окна кареты, точь-в-точь как раньше, вперялись в толпу колючие суровые глаза, с напряженным выражением ожидания чего-то внезапного, непредвиденного. Этот тяжелый свинцовый взгляд быстро скользил по толпе сидящих в экипажах. Непродолжительное время наш извозчик держался за ним, а мы, в простоте сердечной, рассчитывали проводить Плеве до его конечного пути, быть может, узнать место, им посещаемое. Разумеется, расчеты эти оказались никчемными. Карета катила с быстротой экспресса и через несколько минут утонула вдали. Такую случайную встречу можно было принять за aberrацию, за обман зрения, так необычайна, проста, близка она была. — «Вот удивительный, редкостный случай, — досадливо заметила Дора, — мы одни могли бы с ним покончить». В эту прогулку Дора много вспоминала и рассказывала про Покотилова,⁵⁵ с которым ее связывала давнишняя дружба, полная взаимности, искренней доверчивости, не носившей случайного характера. В этой дружбе, в их отношениях было много трогательного и высоко привлекательного. Они много работали вместе, жили и обменивались своими настроениями, своими едва родившимися мыслями, составляли как бы одну душу. Когда он болел и лежал в лазарете, страдая мучительно от упорной экземы, Дора всегда была около него, не оставляя одного, заботливо ухаживая, поддерживая бодрость, разгоняя мрачное настроение, удерживая от рокового шага.

И Покотиллов платил ей трогательной братской привязанностью, бескорыстной заботой.

Простота Покотилова в отношении к людям, сердечность были присущи ему так же, как прядение шелковичному червю. Рабочие, безработные, выпущенные на волю из тюрьмы, просто нуждающиеся обращались к нему не то что за помощью или с просьбой, а просто брали у него, как в кассе, и, когда уже не было в Полтаве Покотилова, они справедливо говорили: «Эх, нашей кассы не стало».

Лично мне не довелось встретить этого скромного, в высокой степени привлекательного работника нашей организации, но горячая и трогательная привязанность, овеянная чистой, нежной любовью Афанасия и Доры, печаль других товарищей, долго спустя после его трагического конца, создают прекрасный образ человека-друга в самом неприкрашенном, истинном смысле этого слова. Происходя из богатой семьи, он сам жил более, чем скромно, порой и вовсе бедно, голодно, держа всегда кассу открытой для нуждающихся.

Глава IX 15 июля и после него

В начале июля окончательно решили кончить работу слезки и выступить с нападением. «Барин» привез нам, после состоявшегося совещания в Москве, распоряжение: нам с Дорой уезжать вон из города, непосредственным же участникам выбыть на день-два — кому куда, но чтобы утром 8-го вернуться обратно. Пятого или шестого июля утром я зашла на Жуковскую квартиру попрощаться с Дорой. Глаза ее сугубо заволоклись печальной дымкой и ушли глубоко в себя. Она казалась подавленной большим, неисходным горем.

Укладывая свои вещи, она упавшим голосом промолвила: — «Жестоко решили там, устранив меня от участия и высылая в самый опасный момент отсюда». Она делала догадки и предположения, что против ее участия был, наверное, один «барин» (Жорж). Это была правда, но не вся, что и побудило меня передать ей мнение Афанасия, касавшееся участия

⁵⁵ Алексей Покотиллов, чл. Б. О... погиб при снаряжении, для покушения на Плеве, снарядов в Северной гостинице, в Петербурге, в ночь на 31 марта 1904 г.

женщин, дабы смягчить тем ее неприязнь к «барину».

Задолго еще до окончания обследования путей выезда Плеве, за обедом, перебирая различные способы борьбы с наименьшими жертвами, я высказала уверенность о возможности женского участия и даже неизбежности его, Афанасий очень решительно, весь пламенея, проговорил:

— «Мы, участники, почли бы за позор пускать женщин, когда в работе есть мужчины».

«Поэт», остававшийся на своем посту торговца вразнос, 6-го должен был ликвидировать свое дело и вечером выехать в Псков, а 8-го утром вернуться обратно и занять назначенную ему позицию.

Помнится, Афанасий передал мне просьбу, не помню чью, — «барина» или самого «поэта», поехать с ним вместе и, пробыв в Пскове до вечера, проводить «поэта» обратно. Предстояла необходимость торопиться на свою квартиру на Лиговке и развести туры на колесах со своей хозяйкой, дабы не бросился в глаза мой спешный, беспричинный отъезд. Притом же оставался кое-какой товар: немного земляники, семечки, абрикосы. В глазах угловиков, дорожащих каждым грошем, это составляло целое богатство, и бросить его — значило породить толки не только среди квартирантов, но и целого двора. Перепродав свое имущество такой же уличной торговке, я предупредила хозяйку с радостным видом: «Сегодня на улице неожиданно встретила лакея своих бывших господ, вернулись из-за границы. Наказывали отыскать меня и привезти в имение к ним. Вот лакей и заедет вечером за мной». Мои сожителю по углам и соседи все радовались моему благополучию, нежданно свалившемуся, поздравляли, точно я выиграла по меньшей мере сто тысяч.

Среди огромной толпы народа, в вокзале III класса виднелась задумчиво ходившая фигура «поэта». По внешности он ничем не отличался от мелкого торговца или приказчика неважного магазина. Одежда не отличалась ни новизной, ни опрятностью: сильно потертый «спинджак», рваный, сплюснутый картуз и высокие сапоги. Немного впалые щеки, большие серые глаза, с тихим, задумчивым выражением, и какое-то разлитое во всех чертах поэтическое самоуглубление, по которому нетрудно было угадать с первого же взгляда человека тонкой и хрупкой организации, существо «не от мира сего», пожалуй, немного странное.

Он радостно встретил меня, засуетился со своим узелком, не зная, как и куда его приспособить. В небольшом свертке находился весь оставшийся от торговли товар в виде папирос, спичек и проч. Устроившись на месте, «поэт» со смехом рассказал о своих мытарствах по части ликвидации товара. Он едва не угодил в охранку, заподозренный на толкучке в сбыте воровских вещей. По счастью, привез его свой извозчик, ручательство которого рассеяло подозрение толпы. Ночью «поэт» несколько раз подходил ко мне озабоченный, спрашивался, удобно ли, принес свое замызганное одеяло, составлявшее все его богатство.

Рано утром мы приехали в Псков, которого никто из нас ни разу не видал раньше. Город походил на большой грязный сарай, наполненный рухлядью, навозом и всякой живностью. Редкие встречные вяло, нехотя плелись, как будто бесцельно и бездельно. Избегая возбудить провинциальное любопытство, мы, купив хлеба и земляники на базаре, ушли далеко за город и там на лугу отдыхали довольно долго. «Поэт» тщательно обдумывал, в каком виде наилучше нести бомбу завтра, чтобы ловчее бросить ее и чтобы внешняя обертка как-нибудь не помешала взрыву. Купленная стеклянная банка не казалась ему вполне подходящей формой. Теперь уже не помнится, на чем остановился «поэт», кажется, он решил просто завернуть ее в виде узелка в бельевые тряпки.

Завтра, 8-го, «поэту» приходилось первому идти на приступ и, как ни стремился он бежать от мыслей об этом «завтра», но настроение удержаться было нелегко, оно сказывалось в словах, жестах. Глаза, эти милые, большие, кроткие глаза «поэта», особенно вдумчиво, сосредоточенно задерживались подолгу на предметах, не замечая их, будто скользя по ним. Он заглядывал назад на пройденную жизнь, восторженно и с трогательной нежностью говорил о близких ему лицах, с которыми судьба крепко и навсегда связала его недолгую

жизнь. Чувства глубочайшего восторга и благодарности, восхищения «поэт» питал к Савинкову, пробудившему в нем мысль и красоту подвига жизни.

Завтра он пойдет на верную смерть, но она не пугает, не страшит того, кто сознательно, без колебания, радостно отдает душу за страждущих и униженных.

— Наше место недолго останется пустым, наша смерть — почки грядущих цветов.

И не слышалось в его голосе ни малейшей натяжки, никакой надуманности. — «В последние минуты мои мысли будут принадлежать „бабушке“, беспредельно мною любимой, уважаемой». Часа за три перед тем, как идти на вокзал, мы зашли в чайную, близ станции. В ней не было ни одного посетителя. Попросив письменные принадлежности и заказав порцию чая, «поэт» долго и много писал матери в этом последнем своем прощальном письме. Через его душу, казалось, стремительно неслись разнообразные настроения, вызывавшие то детскую улыбку ребенка при виде матери, то вдруг задумчивую грусть, разливавшуюся по его бледному лицу. Он весь ушел в эти воскресавшие в памяти образы дорогих, самых близких.

«Поэт» сам рисовал образ своей матери, как вечной труженицы, всю свою долгую жизнь работавшей (отец рано умер), чтобы вырастить детей, поставить их на ноги. Ей обязан он был своей любовью к прекрасному, и той мечтательностью, о которой он говорит:

Мечтательный ум мне природа дала,
Отвагу и пыл к порыванью.
А ненависть в сердце так жизнь разожгла
И чуткость внушила к страданью...

В терроре он остался тем же нежным, задумчивым, с теми же грезами романтика и символиста, с чуткой детской, без соринки, душой.

Близился вечер, «поэт» прервал письмо, чтобы идти на вокзал, и там все время, посреди толкучки, он был задумчив, молчалив, бессильный оторваться от охвативших его воспоминаний далеких детских лет, носившихся перед его глазами. Иногда, ничего не замечая около себя, он останавливался перед кем-нибудь, глухой ко всему окружающему.

В самый последний момент отхода поезда, увозившего «поэта» в Питер, он подал мне письмо с просьбой задержать пока или бросить в огонь, смотря по последствиям; потом снял с шеи крест, вынул евангелие и передал со словами: «Возьмите, это спутники моих тяжелых холуйских дней». Еще минута, и через окно вагона показалось вдохновенное лицо человека, как бы отрешенного от всего житейского, преходящего.⁵⁶

⁵⁶ Дальнейшая судьба Ив. Плат. такова. В 1905 г., в Москве, выследив вместе с Куликовским выезды Сергея, 2-го февраля И. П. Каляев один вышел на тот путь, по которому ездил генерал-губернатор Москвы. Был сильный мороз, поднималась вьюга; в 9 часов показалась карета, и Каляев узнал знакомую ему карету, кучера и бросился наперерез экипажу. Он поднял уж руку, чтобы бросить снаряд, но внутри кареты заметил вдруг, кроме князя, его жену Елизавету Феодоровну и двух детей Павла — Марию и Дмитрия. И.П. опустил поднятую с бомбой руку и отошел. Карета остановилась у подъезда Большого Театра. Каляев сказал товарищу: «Разве можно убивать детей?» Он предложил на общее решение Б.О. вопрос: вправе ли организация, убивая кн. Сергея, убить также жену и детей? Организация высказалась, что она не считает себя вправе поступить иначе, чем поступил Каляев.

4го февраля И. П. Каляев один вышел на тот путь, по которому ездил Сергей. Определенный час проезда прошел, и И. П. направился было уже домой, когда слышал топот мчавшихся лошадей — то была карета Сергея.

У здания Суда, на расстоянии четырех шагов, с разбегу Каляев бросил бомбу в карету. Раненый сам, он без сопротивления отдался в руки полиции. Когда его вели, он кричал: «Долой проклятого царя, долой правительство, да здравствует партия с. р.». Его посадили в Якиманскую часть, но вскоре перевезли в Пугачевскую башню, куда через несколько дней явилась к И. П. жена убитого Сергея.

Об этой встрече Каляев писал: «Мы смотрели друг на друга с некоторым мистическим чувством, как двое смертных, которые остались в живых. Я — случайно, она по воле организации, по моей воле, так как организация и я обдуманно стремились избежать излишнего кровопролития. И я глядел на вел. княгиню, но не мог не видеть на ее лице благодарности, если не ко мне, то, во всяком случае, к судьбе за то, что она не

Глава X В Вильно и Варшаве

Час спустя я ехала в Вильно, где на другой день предстояла условленная встреча с Азефом. В Вильно должна была получиться телеграмма при удаче оконченного дела, или приезд самого Жоржа с неблагоприятными вестями. На утро, выйдя пораньше из гостиницы, я пошла прежде всего отыскать сад, назначенный для встречи с Азефом, и побродить по незнакомому городу. Старый город, с кривыми, узкими улицами, до такой степени узкими, что шедшие по разным сторонам улицы могли бы пожать руки друг другу. В такой узкой, темной щели дома походили на осиные гнезда, с такими же маленькими, как в улье, ячейками, открытыми прямо на улицу, и давали возможность видеть густоту населения каждого гнезда и все, что там совершалось.

Трудно передать впечатление от этого кишашего, копошащегося муравейника. Такую ужасающую нищету, убожество, грязь в таком объеме редко можно было видеть. Отец, еврей, бил молотком по дребезжащему листу жести, среди косматой кучи детей. Здесь же распатланная мать на таганце поджаривала детям «фриштек». Трезвон и запах из каждой конуры наполняли всю узкую улицу. Впрочем, как говорил один остроумный еврей, в каждой семье были свои ценности: перина, сальный лапсердак и талес. Чтобы хорошо согреться, обитатели этих улиц как бы жались ближе друг к другу спинами и таким образом защищали себя от холода.

Возвратившись от этой кошмарной действительности в сад, я скоро заметила идущего мне навстречу Азефа. Он казался сильно взволнованным, его глаза бегали еще больше...

— «Условленной телеграммы нет, — сказал он хмуро, опасливо посматривая кругом, — значит, полная неудача или провал. Два раза был на станции, зайду еще раз, — вяло процедил он. — Завтра с приездом „барина“ все разъяснится».

Ночью не спалось; мрачные думы, как черные вороны, отгоняли сон. Утром поскорее хотелось узнать, тянуло в сад, навстречу едущему из Питера.

В широкой аллее ботанического сада, густо набитой публикой к двенадцати часам дня, долго пришлось толкаться, всматриваясь в толпу, и я уже сомневалась в возможности увидеть в этом народном сборище знакомое лицо, когда кто-то вдруг сзади тяжело положил мне руку на плечо. Не «барина», а лицо, залитое горькой улыбкой и смущением, Афанасия увидела я.

— «Вы сердитесь?» — было его первое слово. — «Что вижу вас живого?.. За что же?» — «Опять неудача, — глухо выговорил он, — еще оттяжка по моей вине». — И он, облегчая свою тяжесть, камнем лежавшую у него на сердце, рассказывал подробно, пока мы шли в другой сад, каким образом они перепутали место свидания и упустили Плеве. — «Все-таки они нас не проглотили еще, в следующий раз не упустим», — уверенно и твердо вслух думал Афанасий.

Азеф, слушая доклад Афанасия, серьезничал, крутил головой, нервно передергивал плечами, вытягивал сжатые губы и выражал особое недовольство, что «барин» сам не явился, и опять снова и снова спрашивал: «вы надеетесь на 15?»..., входил с расспросами о самых незначительных подробностях.

На другой день в Вильно приехали остальные участники, которые оставались здесь до 14-го. Жили они в разных местах, не зная, кто где живет. Каждый день сходились в очень красивом густом Гедиминовском саду, расположенном по склонам горы. На самой вершине сохранились массивные развалины замка того же названия. Хорошая погода позволяла всем

погибла».

Это убийство было обвинительным актом против царствующего дома. «Я исполнил только свой долг перед родиной, — говорил Каляев на суде, — и вижу пробуждение и возрождение к новой жизни трудовой России».

10 мая Иван Платонович был казнен в Шлиссельбург-крепости.

оставаться в этом саду почти целый день, и туда же неизменно являлся и Афанасий, перегруженный покупками на обед, живой бодрый, для всех желанный. Эта временная балаганная жизнь, накануне уже витавшей над головою каждого гибели, дружила всех в одну семью, в крестных братьев.

Обсуждались сообща и порознь все могущие встретиться случайности; желательно было предугадать, предусмотреть прискорбные ошибки; самая точная инструкция вырабатывалась для каждого участника в деле; исправлялось и договаривалось упущенное другим, и не было ни обиды, ни раздражения. Там впервые появился между работавшими уже ранее юный, худенький без признаков растительности на лице, тщательно одетый Сикорский. Присутствие столь юного хлопца в серьезном деле не вполне было натурально. Говорил он очень плохо по-русски, прибавляя почти к каждому слову «этта», видимо, вследствие малого запаса слов в его распоряжении. Это был симпатичный юнец и только. Азеф тщательно осматривал его со всех концов, как обнюхивает торговец доброкачественность товара. Почти половина присутствующих была против участия Сикорского, у которого вряд ли имелось надлежащее представление о всех грядущих последствиях. Азеф, как будто, был сам того же мнения, но, однако, в конце концов, заметил: «Его роль второстепенная, наверняка останется цел».

Там же, на Гедиминовской горе, сообща, в присутствии всех работников, был изменен план выступления. Назначенный первым метальщиком «поэт» передвинулся на место Сазонова («Афанасия»). Последний, как более ловкий, сильный и находчивый, становился первым метальщиком и самым серьезным, ответственным лицом этой группы; от удачно брошенного им снаряда спасенными оставались все остальные участники. «Афанасий», по окончательном решении порядка выступления, тотчас же уехал к оставшимся в Петербурге «Павлу» (Швейцеру) и «барину». Там втроем они окончательно должны были, обсудивши все полностью, утвердить виленскую комбинацию.

За день до отъезда участников в Питер, Азеф, знавший отлично все рестораны, сады и окрестности города, предложил на утро собраться подальше от города. В прекрасном большом сосновом лесу сошлись после обеда прибывшие, пришел и Азеф. Обычно неразговорчивый, на этот раз он проявлял преувеличенную речистость, внимание, непритворную сердечность. Подолгу, уклоняясь от компании, в отдельности с каждым он вел беседу, давал указания, спрашивал, нет ли желания кому чего передать, рекомендуя защитника и т. д.

Утомленные к вечеру большой прогулкой и напряженными думами о завтрашнем дне, мы медленно возвращались в город. Азеф посоветовал всем зайти в какой-нибудь ресторан выпить чаю. Но рестораны не встречались, сильно вечерело, и мы вошли в первый встретившийся невзрачный не то трактир, не то кабац, с довольно пакостным видом. Заспанная, вялая прислуга с трудом поняла, чего хотят поздние посетители. В маленькой, тускло освещенной комнате сидели задумчивые обреченные, перекидываясь ничего незначащими словами. Один Азеф казался спокойным, внимательным, преувеличенно ласковым.

Я ушла раньше всех одна, но через пять минут меня нагнал Азеф, говоря, что иду неправильно, и предложил проводить до квартиры. По дороге разговор возобновился о Сикорском, и снова он ответил, как и раньше: «Бояться за него нечего, роль его второстепенная, маленькая».

Недалеко от моей квартиры он указал гостиницу, в которой жил. Мы прошли мимо парадного подъезда, неосвещенного, с плотно запертой дверью, без заметного какого-либо следа жизни, какой-либо человеческой души. Потом Азеф говорил, будто при нашем проходе мимо гостиницы у двери стояла филерская фигура, следившая за ним.

При прощании Азеф сказал, что он возвращается к оставшимся еще посидеть вместе, сократить им эту ночь, а завтра утром он едет в Варшаву, куда и мне было предложено передвинуться. Условившись, в каком месте встретиться в Варшаве, он пошел назад.

Еще из дней ранней юности, по какой-то непонятной причине, моя память сохранила

самый восторженный отзыв нашей начальницы и яркие рассказы ее детям о Варшаве, о ее прекрасных садах.

Поэтому, прибыв через день туда, очень захотелось осмотреть весь город. Путь к действительно красивым садам и паркам легко было отыскать, зато самый город представлялся сильно спутанным, измельченным улицами, улочками и мелюзгой-переулками. Поражала уличная, отельная чистота, выдержка обывателя, деликатность прислуги. Сады с раннего утра до позднего вечера переполнялись самой разнокласной публикой, почти сплошь занятой или чтением, или ручной работой. Масса детворы играла, не мешая матери или бонне отдаваться чтению или вышиванию, изредка поднятием глаз убеждавшимся, что ребенок цел и невредим.

14 июля, не припомню сейчас где, произошла встреча с Азефом, в роскошном ресторане, в саду. Занявши столик, я с любопытством осматривалась кругом, как самая настоящая деревенщина. Обстановка, люди, большой оркестр, наполовину состоявший из барышень, давно невиданное разнообразие лиц, пестрота костюмов отвлекали все внимание, незаметно бежало время, и замедление Азефа нимало не тревожило меня. Внезапно он откуда-то вырос и занял место около меня, у стола, начав объяснять свое запоздание. В этом ресторане шпики свили свои гнезда; они, кажется, таки заметили его при входе, и потому он вынужден был прибегнуть к маленькой хитрости: пригласивши трех барышень из оркестра, он с ними немного кутнул, вот там, будучи скрытым, но все видя. Барышни-немки, прекрасные девушки, сильно жаловались на своего хозяина, жестоко их эксплуатировавшего, скверно содержавшего и т. д. Азеф советовал им поднять бунт, бороться с хозяином, а на вопрос, какими средствами, порекомендовал на первый раз, хотя бы путем гласности, путем печати.

— Кажется, — рассказывал он загадочно и хитро улыбаясь, — они приняли меня за литератора, просили помочь им своим знанием, своей умелостью.

Простота его передачи, самообладание, ловкость подкупали донельзя, хотя чуть-чуть зерно сомнения закрадывалось, и невольно глаза разыскивали тех многочисленных шпииков, про которых так правдиво говорил Азеф. Куда же они сейчас скрылись? не есть ли эти агенты плод его чрезмерной боязни, опасливости? (По сообщению М. Бакая ⁵⁷, за Азефом «Виноградовым» в это время, действительно, следили филеры Варшавского охр. отд.) Мы недолго оставались в ресторане. Перед уходом Азеф спросил, верю ли я в завтрашний успех? Прощаясь, он с тревогой в голосе сказал: — «Что-то ждет нас завтра?».

Весь этот день погода стояла зачаровывающая, не хотелось идти в гостиницу, тянуло в сад, на люди, беспокойная тревога сверлила голову. Да, «что день грядущий нам готовит?»... Мысль уперлась на одном пункте, чувствовалось ощущение какой-то жуткости и неизъяснимой печали... Сна не было. На другой день, 15-го утром, на Маршалковской ул. Азеф встретил меня тем же вопросом. Мы пошли с ним все прямо, пока не вышли за город. Идем медленно, тихо, перекидываясь редкими, малозначительными словами. Дорогой Азеф опять со всех сторон, детально разбирает, правильно ли организовано нападение, все ли выдержат свою роль до конца, не оплошает ли кто? — «Вот Сикорский беспокоит меня, справится ли он?» — За городом, на краю широкой шоссейной дороги, затененной огромными, с пышной зеленью, деревьями, мы делаем привал для отдыха, и тут Азеф поинтересовался моим мнением о «барине» (Савинкове) и о новых, иных чем мы — прежние, не похожих на нас работниках. Потом он долго и распространенно стал передавать про съезд в Москве, на котором были он, Савинков, Егор Сазонов и «Павло» (Швейцер). На этом съезде решался вопрос — кому выходить на Плевелы, в каком порядке и проч. Савинков

⁵⁷ Бакай Михаил Ефимович — участник революционного движения, после ареста раскаявшийся и поступивший на службу в полицию. В период, о котором пишет Ивановская, служил в Варшавском охранном отделении. Затем стал сотрудничать с одним из редакторов журнала «Былое» В. Л. Бурцевым. Передавал ему секретную информацию. Был сослан, бежал за границу. Сообщения Бакая способствовали разоблачению Азефа Бурцевым.

внес там предложение Доры, просьбу ее допустить совместно с другими, а, пожалуй, буде найдут ее способной, предоставить ей первое место при выступлении. Большинство присутствующих на съезде ничего против участия Доры, по существу, не имело, — «если хочет, почему бы нет», — заметил Павел. Очень настойчиво и упорно против высказывался Савинков, и это горячее противодействие, видимо, не было приятно ни Азефу, ни Павлу. — Почему же, — в свою очередь спросила я, — Савинков отклонил предложение Доры: он опасается за ее слабость, неловкость, боится, наконец, неудачливости?

— Кто его знает, — с едва заметной презрительной насмешкой в глазах, ответил он, — на Дору можно положиться вполне: она девушка умная, находчивая, быстро соображает. Савинков убедительно для нас ничего не говорил, только под конец, как наисильнейший аргумент против допущения Доры, было высказано им то, что его мать ему никогда бы не простила, если бы мужчины переуступили женщинам те обязанности, какие лежат на них. Вы понимаете, конечно, разве это убедительный довод? ведь Дора же сама просится.

Среди этого разговора Азеф, подавляемый как будто неотвязной мыслью, несколько раз восклицал: как-то там теперь?

К часу кончится проезд Плеве, телеграф разнесет повсюду весть, если удачно: если нет — участники дадут знать о постигшей их неудаче. Мы направляемся в город. На Маршалковской, недалеко от Венского вокзала, навстречу нам, выкрикивая что-то по-польски звонко, четко, бежали мальчишки с телеграммами. Азеф стремительно выхватил у малыша один экземпляр, прочитал вслух: «брошена бомба в карету министра». И только! — «Брошена бомба, — как то растерянно, смущенно, повторял Азеф. — Неужели неудача?». Торопливо двигаемся дальше. Еще несколько домов — опять неслись газетчики с какими-то непонятными новыми словами. Азеф рванул дрожащими руками новую телеграмму «Zamordowano Plewego», громко читал он, и вдруг он осунулся, опустив свои вислые руки вдоль тела. — «У меня поясница отнялась» — объяснил он.

Громче и чаще выкрикивались эти слова, разносимые, подобно пущенным пушинкам по ветру, по всем улицам, закоулкам, поднимались в высь и звучали, как пасхальные колокола в воздухе. Все наполнилось одним этим звуком, вытеснившим всякие другие. Люди торопились куда-то, другие спешили в рестораны, в кафе с телеграммами в руках, или с этими черными словами на языке, с выражением неудержимой радости на лицах. Во всех витринах магазинов через пять минут, вместо товара, разостлались большие белые листы бумаги с одной черной, крупной, режущей глаза строчкой из двух слов: «Zamordowano Plewego».

Азеф внезапно остановился и, обращаясь ко мне, спросил: — «Что же значит zamordowano? убит или только ранен?»

Какое-то затмение притупило способность понять смысл этого слова. На предложение зайти в любой магазин, спросить точный перевод этого слова, он запротестовал, настоятельно требуя не обращаться ни к кому. — «Сейчас я поеду в какое-нибудь правительственное учреждение, хоть в „Варшавский Дневник“ и там узнаю все подробности. Подождите меня вот здесь». Он уехал. Со стороны Азефа такая излишняя осторожность казалась уже ничем необъяснимым пересолом, это граничило с простой трусостью.

Я зашла в магазин обуви, хозяин которого, к счастью, мало и дурно говорил по-русски. На мой вопрос, что значат выкрикиваемые на улице слова и по какому случаю такое торопливое движение? — он, приняв меня за самую простую провинциалку, совсем просто ответил: — «Это убили министра Плеве, zamordowano — значит убит. А убили его социалисты... такие люди есть. Вы верно не знаете, что значит министр?» — и он начал сложно, беспорядочно определять это звание, сам не находя подходящих слов. Я делаю утвердительные кивки головой, что, мол все поняла. Простой вид, мешанский костюм действует располагающе, не возбуждая ни малейшего подозрения.

Часа полтора спустя вернулся Азеф... Он ходил в банк, потом в одну редакцию. — «Дело сделано чисто, завтра приедет сюда Савинков, — быстро, на ходу передавал он, — явка назначена до 12 часов в ресторане, а в 2 часа на Уяздовской аллее. Запомните,

пожалуйста. К 12 часам я буду в ресторане, необходимо купить вам подходящий костюм, ресторан первоклассный». Передавая разные поручения, просьбы повидать Павла, сказать тому то-то и то-то, он странно торопился, точно собравшись в дорогу.

На другой день к 12 часам мои ожидания были напрасны: Азеф не пришел. Необходимо было торопиться в Уяздовскую аллею встретить Савинкова. Проблуждав без толку по аллее изрядное время, я уже решила вернуться домой, когда неожиданно заметила издали знакомую фигуру. Совсем уже близко глянул на меня человек странный, почти незнакомый. Охваченная сомнением, не ошибаюсь ли, я запнулась, боясь сделать непоправимую ошибку.

Лицо это было и то и не то, как местность после наводнения; оно отражало непережитый еще ужас, наполнявший душу Савинкова. Нужно было внимательно и напряженно всмотреться в мертвенно-бледные черты, чтобы всякое сомнение исчезло.

Мы стояли с Савинковым, как бы на краю засыпавшейся могилы, и он прерывающимся голосом рассказывал конец нашего дела, последние, как мы думали тогда, минуты жизни нашего брата «Афанасия»...

Тут же Савинков сообщил, что Азеф спешно уехал за границу, заметив за собою явную слежку.

Глава XI **Румыния. — Потемкинцы**

В 1904 г., по окончании дела Плеве, все участники «Б.О.» временно были распущены. Большинство из них, утомленное напряженной и нервной работой, уехали за границу на непродолжительный отдых, на свидание с товарищами-центровиками, чтобы там, при более свободных условиях, сообща наметить и обсудить ряд дальнейших работ. Представлялась возможность и мне съездить за границу к брату-эмигранту,⁵⁸ с которым я не видалась более 30 лет. Убежав из тюрьмы, он жил теперь постоянно в качестве доктора в Румынии. Большая, продолжительная оторванность от вольной жизни вызывала естественную потребность повидать старых друзей, разбросанных по разным чужим странам. Хотелось познакомиться с молодым поколением, формировавшимся, как казалось, главным образом в свободных условиях Запада.

При посредстве проживавшего в Одессе Панкеева,⁵⁹ редактора «Южных Записок», и брата Вл. Гал. Короленко, Иллариона Галактионовича,⁶⁰ у которого с Панкеевым были наилучшие отношения, поездка моя быстро наладилась.

Панкеев был «Освобожденец».⁶¹ Свой партийный орган, издававшийся в Штутгарте П. Струве, он и получал при посредстве моего брата Василия Семеновича, эмигранта-доктора, жившего в Румынии, в Тульче.

Брат сам получал нелегальные издания из-за границы, а в Россию переправлял их через

⁵⁸ Ивановский Василий Семенович (1846–1911), был известен также по прозвищу «Василий Великий» — врач, революционер-народник; неоднократно арестовывался, с 1877 г. — в эмиграции. С 1878 г. постоянно жил в Румынии.

⁵⁹ Панкеев Константин Матвеевич (ок. 1860–1908) — публицист.

⁶⁰ Короленко Владимир Галактионович (1853–1921) — писатель, был женат на сестре П. С. Ивановской — Евдокии Семеновне (1855–1940), участнице народнического движения. Илларион Галактионович Короленко (1854–1915) — младший брат писателя.

⁶¹ «Освобождение» — журнал, орган русских либералов, издававшийся с 1902 по 1905 год в Штутгарте и Париже под редакцией экономиста, публициста и общественного деятеля, одного из лидеров либералов Петра Бернгардовича Струве (1870–1944).

капитана болгарского пароходства по Дунаю, совершавшего рейсы от Одессы до Варны, кажется. Только на обратном пути, т. е. из Варны, пароход мог заходить в Тульчу, и тогда капитан получал от брата тючки с «Освобождением», которые по прибытии в Одессу он и относил к Панкееву.

Капитан находился с русским доктором в самых дружеских отношениях.

Поздно вечером капитан (фамилии и имени его не помню) принял меня на свое судно. Поместив в каюту 1-го класса, он убедительно просил меня не выходить из нее, не показываться на палубе, пока мы не минуем черты русских владений, о чем он сам тогда предупредит. Никому бы и не пришло в голову нарушать этот договор: ведь до Галаца, конечного пункта моего пути, был всего 8-ми часовой переход, хотя широкая даль морская, звездное небо неудержимо манили на палубу. Была поздняя осень, на море виднелись белые барашки. Глядя из-под руки вдаль, опытные пассажиры, знакомые с морскими причудами, многозначительно качали головой. И, действительно, едва пароход очутился в открытом море, как очень быстро все почувствовали силу могучей стихии. Судно наше сразу же начало качать; оно, как дельфин, опускалось и поднималось по гребням волн, горами набегавших на наш небольшой пароход. Все пришли в неопишное волнение. Соленая пена, пробивавшаяся сквозь иллюминаторы, врвалась в каюты.

Сквозь этот неумолкаемый визг и треск, в короткие интервалы наступавшего затишья, доносились звуки стройной музыки. Это капитан, большой любитель музыки, музицировал с какими-то бродячими артистами.

В самый разгар бури голова капитана просунулась в дверь нашей каюты, и он громко сказал:

— Вы теперь вне какой-либо опасности, поднимайтесь наверх к нам послушать музыку.

Но до музыки ли было в такой непривычно грозный час?..

Так сильно конспирировавший в начале пути, капитан под конец, на румынской территории, отбросил уже все предосторожности, разбахвалился во всю, и когда мы причалили к пристани Галаца, агенты и еще какие-то молодые джентльмены знали уже о подвиге неустрашимого капитана. По-видимому, он рассказал им, со значительными прибавлениями, небывальщины о своей пассажирке. Румынские «человеки» подходили открыто ко мне с разными предложениями, рекомендуясь почитателями «русского доктора», очень ими уважаемого. Они немедленно вызвали его в Галац.

Брат мой эмигрировал еще в 1877 году, после побега из московской тюрьмы, много лет жил и работал в Добрудже, в Тульче, с населением сплошь почти русским. Он знал превосходно всю страну с ее невероятно испорченным правительством, с темным и гибнущим в нищете народом.

Это маленькое государство после русско-турецкой войны получило очень широкую конституцию, но гарантий приобретенных свобод у населения не было и не могло быть. Народ не имел прав и не умел защищать эти права, дарованные конституцией: он был слишком темен и чересчур забит. Во всем мире, кажется, не существовало более ужасных противоречий, чем в укладе румынской жизни.

С одной стороны — широчайшая конституция, карающая за вскрытие частного письма почтовым чиновником или просто любопытствующим 12 годами каторги; с другой — полная, ничем не прикрытая разнузданность, взяточничество, воровство, как ни в какой другой стране, правительственных чиновников и лиц высокого ранга.

Голодное, нищенское существование, полная неграмотность, земельное закабаление народа у помещиков, отсутствие самой примитивной культуры и малейшего признака сознания своих прав, своего достоинства... «Вол и румын — одно и то же, только вол дороже», — гласила поговорка, определявшая отношение культурной части к народу. Праздные тунеядцы-помещики выжимали из нищего румына решительно все, оставляя ему кусок мамалыги да привычку полуживотного существования.

Вскоре после турецкой войны, в конце 70 г., в Румынии при участии русских

эмигрантов было положено начало социалистическому движению. В деревнях основывались клубы, школы, читальни. Организация распространялась быстро и со значительным успехом. Правительство всполошилось. Начались аресты, высылки; тюрьмы переполнились. Среди селян наступила паника. Движение было разбито вдребезги и задавлено жестокими мерами надолго.

В эту-то убогую крепостническую страну влилась в 1905 г. «Потемкинская армия», многочисленная (восемьсот человек), хорошо дисциплинированная, тесно сплоченная товарищескими узами.

Со сдавшимися в Констанце потемкинцами я познакомилась в 1907 году, во вторичный приезд к брату в Румынию, который вместе с другими румынскими революционерами, присутствовал при сдаче броненосца в Констанце.

Восставший броненосец «Князь Потемкин Таврический», после недолгого блуждания по Черному морю, сдался 25 июня в Констанце, в Румынии, и матросы впоследствии расселились буквально по всей стране. Все это был народ молодой, здоровый, красивый. Они резко выделялись среди приниженого и бедного румынского населения. Значительная часть матросов, зная какое-либо ремесло — портняжное, сапожное, электротехническое, — быстро находили себе места. Кое-кто из них нанимался в плавни — рыбачить. Правда, из них выделилась небольшая кучка «вольнодумцев», которая взяла на себя труд совершать круговые путешествия через всю Румынию, в уверенности, что на их жизнь «дураков хватит», а сами они меньше всего были склонны работать и быть этими дураками. Начинали они свою экскурсию с юга, поднимались на север, спускаясь потом снова на юг. В год они совершали два-три тура по небольшой стране, каждый раз заходя к «дяде», русскому доктору, поделиться с ним своими сказочными приключениями.

Между потемкинцами выделялись очень интересные и самобытные личности, большие умницы, маленькие поэты-мечтатели, художественные натуры и прекрасные рассказчики. Свою революционную эпопею на «Потемкине» некоторые из них передавали так живо, образно, ярко, увлекательно, что у слушателей замирал дух. Самым захватывающим моментом был тот, когда «Потемкин» очутился в окружении черноморской эскадры, и потемкинцы, как один человек, приготовились пробиться или умереть — момент, поистине, полный высокого порыва и энтузиазма.

14 июня, в 10 часов вечера, из Тендровского залива в Одесский порт пришел броненосец «Потемкин Таврический», а 18 числа того же 1905 года появилась эскадра близ Одессы. Вот какой обмен сигналов произошел между ними:

Адмирал Кригер: «Требую, чтобы вы присоединились к эскадре».

Потемкин: «Просим адмирала на борт».

А.: «Сдайтесь, безумные потемкинцы, или примите бой».

П.: «Мы готовы к бою».

А.: «Я не могу его здесь принять, так как при перелете снарядов может пострадать город».

П.: «Иду к вам!».

И стальной гигант-бунтовщик, подняв красный флаг, понесся в разрез эскадре в косом положении, среди шпалер военных судов. На нем все было готово: пушки наведены жерлами на противников; притаившиеся у пушек с протянутыми руками матросы ждали сигнала, чтобы мгновенно нажать электрическую кнопку. Зорко следя за неприятелем, они все были начеку. Единый со стороны эскадры выстрел — так было решено — вызвал бы со стороны «Потемкина» громовой ответ всех орудий такой страшной силы, которая смела бы всю эскадру дочиста, но и сам «Потемкин» со всей своей командой шел на верную, неминуемую смерть... Без захватывающего трепета нельзя было слушать рассказ об этом эпизоде героической борьбы «Потемкина» против целой черноморской эскадры. Сами рассказчики и участники бунта чувствовали, что это самое огромное, важное, величавее чего дальше в их жизни не будет, не повторится никогда.

Главный их организатор, ближайший руководитель, Афанасий Матюшенко,⁶² бывший командир революционного броненосца, сдавшийся вместе со своей командой в Констанце, поехал отсюда в Швейцарию и, побыв в других центрах рабочего движения, вновь вернулся в Женеву, склонившись к анархизму. Его я встретила один только раз в 1907 г. в Женеве.

Придя однажды в малознакомую мне семью, я застала хозяйку за работой в кухне и, не желая стеснять ее своим присутствием, направилась в другую комнату, всегда наполненную детским шумом и возней. На этот раз в ней стояла полная тишина и спокойствие. Перешагнув порог, я остановилась в удивлении. На диване у стены сидел немолодой уже мужчина с темно-русскими волосами, скромно одетый в дешевую пиджачную пару, немного сутуловатый. Неправильное скуластое лицо не красило его, но большие, серые глаза с выражением нежной грусти и большой скорби сразу останавливали внимание. На его коленях сидела трехлетняя девочка, дочь хозяйки, прелестная малютка с личиком херувима, обрамленным волнами чудных золотистых кудрей, спадавших на плечики. Она, как виноградная лоза, обвила своими рученками шею мужчины и прильнула своей пухленькой щечкой к этому полному лицу. Он же тихонько, словно опасаясь спугнуть чудное видение, гладил девочку по золотистой головке, а она лепетала ему едва уловимые, ласковые, ею самой выдуманнные полуслова, и целовала, целовала его лоб, глаза, щеки...

«Кого так любит эта чудная девочка, — подумалось мне, — тот должен быть очень хорошим человеком».

Вскоре мы разговорились с незнакомцем. Это был Матюшенко, глава всех потемкинцев, их брат, неотделимая душа их. Не все они сознательно относились к делу, не все считали его своим кровным, многие из них имели очень смутное представление о социализме, — они просто шли за правое дело, вот и все. Но все без исключения относились к Матюшенко с большим искренним уважением, все любили его и признавали его превосходство, дорожили им и каждый раз, принимая какое-либо решение, уже за границей, не обходились без совещания с ним. «Он смелый, ничего не боится, ничто его не испугает», — говорили о нем в один голос все, даже и те, кто не вполне соглашался с его мнением, и за его всегдашнюю внимательность, бескорыстие и искренность все платили ему самозабвенной дружбой.

Его тронули привезенные мною поклоны от румынских товарищей, а вопросы, как он думает жить дальше, заставили его глубоко задуматься. Среди потемкинцев в ту пору бродили разные смелые, подчас серьезные и полусерьезные планы. Рождались они, конечно, у меньшинства, так сказать, у ядра всей массы живших в Румынии, но нет никакого сомнения, что, если бы навернулось что-нибудь значительное, большое и стоящее, никто из них не отказался бы окунуться в него с головой.

А Матюшенко, побывавший за границей в положении пустой ладьи на волнах, перебрасываемой то туда, то сюда, успел получить чувствительные пробоины в своем прежнем, устойчивом и цельном мирозерцании. Теперь в его лице и голосе чувствовалось что-то скорбное, что связывалось с утратой его веры в главное дело жизни, с недоверием к интеллигенции, с упреками в сторону «генералов», где правда переплеталась с излишними преувеличениями и ложными обвинениями. «Армия, — говорил он, — брала окопы, лезла на редуты, а генералы были далеко от солдат». В его голосе слышалась душевная мука, надорванность, пожалуй, даже отчаяние.

Это душевное состояние Матюшенко закончилось тем, что он вернулся на недружелюбную родину, в Николаеве скоро был арестован с бомбами, судился военным судом и был казнен.

Потемкинцы, чувствуя себя вышибленными из родных мест, инстинктивно держались

⁶² Матюшенко Афанасий Николаевич (1879–1907) — минный машинист на броненосце «Князь Потемкин-Таврический», руководитель восстания, вспыхнувшего на корабле 14 июня 1905 г. В эмиграции сблизился с анархистами-коммунистами. Вернулся в Россию для продолжения революционной работы, был арестован и повешен.

друг к другу, чему помогала их молодость и прошлая суровая дисциплина. Матросы, жившие в одном каком-либо месте, по субботам, после работы, собирались у кого-нибудь из своих товарищей. В Тульче сходились к «дяде» (так звали они брата). Немного чтения, немного воспоминаний, — а порой на собрании поднимались вопросы иного характера, связанные с прошлой деятельностью. От участия в общественной работе они не хотели отказаться, напротив, им казалось, что они еще не выполнили своего дела, не довели его до надлежащего конца, и теперь, оглядываясь назад, ясно видели, в чем была их непростительная ошибка: гордый, хотя и одинокий, «Потемкин» не должен был сдаваться.

Потемкинцев очень охотно брали на работы на фабрики, нефтяные промыслы. Они были молоды, ловки, ориентировались быстро во всех положениях, исполняя работы прекрасно. Через три-четыре месяца большинство из них усвоило настолько хорошо язык, что свободно могло объясняться по-румынски.

Крестьянское движение в Румынии в 1907 г., как много раз и ранее, было вызвано страшной нищетой и закабаленностью безземельных крестьян помещикам; но правительство желало объяснить движение исключительным влиянием революционных элементов, в категорию которых, разумеется, были охотно включены бунтовщики — русские матросы. Значительную часть их тогда арестовали и потом выслали за пределы Румынии. Понятно, что потемкинцы, выбившиеся из-под одной неволи — русского самодержавия, тем более не желали допускать над собой произвола румынских властей. Кое у кого из них происходили резкие стычки со своими непосредственными начальствующими лицами, привыкшими к молчаливой покорности темного, ничем и никем не огражденного от насилия румына. Были «дружеские» предупреждения потемкинцам не вести пропаганды среди невежественного и грубого рабочего класса с которым матросы стояли бок о бок целыми днями в мастерских и на фабриках, за станками. К такой деликатности, по словам администрации, матросов «обязывает»-де оказанное им правительством гостеприимство.

— Что мы, клятву дали, что ли? Вы знали, кого принимаете: если мы там, у себя на родине, бунтовались, то здесь нам фальшить тем паче нет основания, — возражали потемкинцы.

Случались и другого рода «любезные» разговоры — с молоканами,⁶³ давно перекочевавшими из России от преследования за свою веру. Эта секта, когда-то борováшаяся с правительством, теперь часто, в пылу религиозного спора, упрекала потемкинцев за измену белому царю.

— А что же вы, с. с., сюда утекли от этого белого царя? Идите к нему на помощь, чего же не пособляли бить японца, когда он так вам мил? Небось, раньше нас сюда убегли! — отвечали им потемкинцы.

С беспримерной жестокостью расправилось румынское правительство со своими крестьянами, еще раз поднявшимися новой волной в 1910 г., и тогда же не постеснялось оно удалить из своей страны потемкинцев, радостно принятых и обласканных им же в первый момент по их сдаче. Тогда говорили, и не без основания, будто в деле изгнания матросов-потемкинцев роковую роль сыграло русское правительство, приложив к сему делу свою тяжелую лапу.

Впрочем, все эти события развивались постепенно, по мере развития общей реакции в период 1905–1914 г. г.

В 1904 г., как и во все предыдущие годы со времени русско-турецкой войны, жизнь всего якобы культурного, а на самом деле разбойного румынского общества сводилась к неизменно повторявшейся борьбе либеральной партии с партией консервативной: едва у власти появлялось либеральное министерство, как тотчас же начиналась агитация против него, и все и вся были заняты этим, покуда не удавалось свалить либеральную власть. В свою

⁶³ Молокане — религиозная секта протестантского толка. Ее члены отказались от священников и церквей, не почитали иконы, мощи и кресты. Молокане преследовались русским правительством, значительная их часть вынуждена была эмигрировать в Канаду и другие страны.

очередь, консервативная партия подвергалась той же самой участи, и с тем же упорством и последовательностью велась кампания до свержения ее. Воздвигнутая статуя свободы на прекрасной площади против парламента, при избрании министерства консервативного, неизменно каждый раз поворачивалась задом к этому учреждению.

Вся страна, как бы замороженная, лежала в оцепенении; нигде, и тем более по деревням, не чувствовалось ни малейшего признака жизни. Задавленный народ, казалось, перешел ту черту рабства, когда еще давимый имеет некоторое мужество отстаивать свою спину от слишком тяжелой ноши. Румын был только тем фруктом, из которого можно выжимать сок для небольшой извращенной культурной шайки, получавшей в Париже свое образование и возвращавшейся оттуда с излишне преувеличенными аппетитами. Для удовлетворения своих изысканных вкусов кончившие курс наук жертвовали интересами своего народа и забывали свое достоинство. Борьба велась с откровенным цинизмом и беззастенчивостью. За 30 лет существования свободной конституции для народа не было сделано ничего, даже простой грамотности не насадили. Народ бил задавлен экономической нуждой и принижен постоянным, произволом.

Глава XII В Женеве

Сосредоточение довольно значительных русских революционных сил в 1904 г. в демократической маленькой, чистенькой Швейцарии, естественно, создало в ней тот центр, куда непрерывно вливался все расширявшийся революционный круг нелегальных работников. Но главным родником, откуда стекались все эти весенние струйки, была Сибирь. Количество бежавших из тюрем, а еще больше с поселения, с каждым годом, с каждым месяцем весьма заметно возрастало. У каждого из беглецов был свой расчет, свои побуждения бежать за границу. Одни полагали установить утерянные связи. В далекой северной ссылке и глубоких снегах Сибири ссыльные, хотя и не были окончательно отрезаны от родины, где шла отчаянная борьба направлений, но все же эти молодые силы, заброшенные часто среди глухих улусов и тайги, постепенно утрачивали ясное понимание и тесную связь с общим делом. И казалось им, что именно в этом центре, в Женеве, они найдут утерянную связь с вечно бегущим и никогда не останавливающимся людским потоком. Тянуло всех в этот водоворот яркой жизни после скучной и бесконечно бедной впечатлениями, далекой и безлюдной пустыни. Некоторые, как это часто бывает после побега, как бы начинали строить свою жизнь по-новому, сами хотели искать свою дорогу, свободно, без всяких обязательств к кому или чему бы то ни было, взять то, что отвечает их искренним потребностям и их совести. Других манила туда перспектива просто вздохнуть свободно, выпрямиться, уйти от неизбежной опасности на родине — снова попасть в капкан. Молодые, сами еще не видавшие радостей бытия, оторванные, жадно стремились подойти ближе к своему командному составу, к путеводным звездам «первой величины», как тогда выражались. Все стремилось в этот центр неудержимо, как магометане идут в Мекку. За границей думали они присмотреться и понять то новое, которое входило тогда в жизнь. Им всем думалось, что вот там-то именно они найдут все настоящее, необходимо нужное, революционное.

В культурной и спокойной Женеве было тогда (1904 г.) два главных течения, две сильные и большие партии: социал-демократов и социалистов-революционеров, с их ЦК и лицами, к Комитету близко стоявшими. Партия с.-р. имела там свою типографию, экспедиционную контору и др. технические учреждения. Партийный орган «Революционная Россия» выходил довольно исправно. Там же печаталось много и др. изданий для быстро возраставшего в России круга читателей. Партии тогда больше всего расходились по вопросу о терроре, но спор велся так резко, так азартно, как будто было одно желание — во что бы то ни стало сокрушить своего противника. Неприязнь порой доходила до высокого напряжения и страстности. Людям, мало привычным и не видавшим таких взаимных обвинений на

публичных собраниях, эти полемические выступления и взаимные поклепы причиняли боль и вызвали непритворное изумление.

Уже в 1903 г. отчаянная полемика велась на страницах соц. — дем. газеты «Искра». Этот орган проникал довольно регулярно в наши таежные уголки, рассекая ссылку на две резко отличные между собой группировки. И там у нас вызывались каждым новым номером горячие, а порой и бурные споры по поводу статей, но до такой остроты, неприязни друг к другу дело никогда не доходило. Характерно было то, что предметом тогдашних бурных схваток чаще всего был вновь начавшийся террор, много раз потухавший как бы навсегда и бесповоротно. Пауза, однако, длилась уж не слишком долго, ибо причины возникновения его и нарастания оставались неизбытыми. Революционеры много раз строили баррикады и призывали на них борцов, но они, эти сооружения, оставались пока всегда пустыми. Революционеры прыгали, как кто-то выразился, по России, а она сама ни разу тогда еще не прыгнула, не отзывалась на горячие призывы. Не ясно ли, что вызывавшийся террор имел свои чрезвычайные причины?

Живо вспоминается, кстати, как еще в 1899 г., во время пути на поселение в Баргузинскую тайгу, мы остановились на передышку в большом, богатом серным источником, селе Горячинском, летом преобразившемся в значительный лечебный курорт. Наш проезд совпал с происходившими тогда студенческими волнениями. Они начались в Петербурге 8 февраля 1899 г., вслед за избиением студентов, и перешли во всеобщее движение, охватившее 30 учебных заведений, в числе которых был и Томский университет. Семья доктора В. М. Муратова, у которого мы остановились отдохнуть, уже хорошо знала все подробности происходивших в Томске студенческих беспорядков и охотно знакомила нас с ними, тем более, что уже прошли в ссылку партии томских студентов. В конце концов и здесь, за тысячи верст от места борьбы, возник пылкий спор о терроре. Одни, стоявшие как будто ближе к новым течениям русской жизни, соприкасавшиеся непосредственно с участниками массового движения, решительно утверждали, что террор отжил свое время; в данный же момент, при изменившихся условиях, назревают новые пути, и борьба с правительством принимает характер массовый. Оппоненты же возражали на это указанием на исключительную реакцию, массовые избиения и аресты, говоря, что при таком характере борьбы неминуемо и неизбежно снова возникает террор; пока ничего не изменилось в общественных отношениях, пока одна сторона пользуется правом бить, а другая только быть битым, являются люди или организации, защищающие поправные права.

И, действительно, в ответ на «временные» правила 29 июня 1899 г., на основании чего сданы были в солдаты 183 киевских и питерских студента, из которых многие покончили жизнь в казармах самоубийством, явился выстрел П. В. Карповича.⁶⁴

Этот террористический акт был такой же внезапный и непредвиденный для огромного большинства людей, каким был когда-то выстрел В. И. Засулич⁶⁵ после долгого мрачного застоя, нависшего над Россией. Он заставил встряхнуться и почувствовать, что не оскудела земля русская и нельзя безнаказанно глумиться над совестью и честью страны.

В 1904 г., в период общественного подъема, общественного возбуждения и террористической деятельности, уже существовала инициативная группа, называвшаяся «Боевой Организацией» партии соц. — революционеров. Все знали о ее существовании, хотя

⁶⁴ Бывший студент П. В. Карпович, не входивший в какую-либо партийную организацию, но называвший себя социалистом-революционером, 14 февраля 1901 г. смертельно ранил министра народного просвещения Н. П. Боголепова. Выстрел Карповича знаменовал собой возобновление революционного терроризма после почти 20-летнего перерыва.

⁶⁵ Засулич Вера Ивановна (1849–1919) — революционерка-народница, впоследствии одна из основоположниц русской социал-демократии. В январе 1878 г. тяжело ранила петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова в ответ на незаконное применение телесного наказания к политзаключенному. Была оправдана судом присяжных.

она жила замкнуто и обособленно. За границей же работа проходила тогда в приготовлении взрывчатых веществ и бомб, в переправе их в Россию, там же поднимался вопрос о вооружении масс для общего восстания.

В конце 1904 г. в Женеве организовались кружки лиц для работы среди крестьян; аграрный террор намечался в этих кружках как орудие борьбы в деревне. Во главе этой группы стояли молодые, энергичные и решительные люди, как Каин⁶⁶ — других запамятовала; теоретиком их был Евгений Лозинский (псевдоним — Устинов).⁶⁷ Это течение, разрастаясь и втягивая в свои ряды молодые силы, поднимало острые конфликты между стариками и новыми. Партийные руководители М. Гоц, Шишко,⁶⁸ Чернов⁶⁹ и особенно Феликс Волховской⁷⁰ противились такой постановке дела, выдвигая для того момента задачу организации масс и выступления строго организованной силы. У Ф. Волховского происходили несколько раз собрания с вновь народившейся молодой группой. Волховской со всей силой своей диалектики и захватывающего юмора обрушивался на Лозинского. И в его словах к молодежи было много искреннего желания помочь ей нащупать путь, менее болезненный, с менее резкими сдвигами. Он советовал больше всего и прежде всего направить работу на пробуждение массовых выступлений и не только одних рабочих, но и всей крестьянской массы. На собраниях Волховской являлся решительным противником аграрного террора.

На этот раз распри кончились взаимными уступками. Впрочем, хотя ехавшие потом в Россию и давали слово не проводить в жизнь аграрного террора, однако, иные поступки сильнее действуют и увлекают, чем все теории. При тогдашнем общем повышенном настроении скоро нашлись адепты применения аграрного террора: проведение его в жизнь, — говорили они, — откроет глаза народу и покажет ему, кто защищает его интересы..

В конце, помнится, декабря в Женеве ко мне зашел на квартиру Азеф с предложением взять на себя большое и весьма значительное для партии эсеров дело. Для выполнения и оборудования его уже намечены были люди, согласные в любой момент вернуться в Россию, а план тщательно обдуман и принят. Я охотно согласилась.

Всякая удача окрыляет, подымает силы как отдельного человека, так и целых групп, партий. Удача с Плеве усилила желание принимать активное участие во всякого рода партийной работе. Чувствовалось пробуждение широких слоев отечества, признание победы большинством общества выражалось громко и радостно. Как было не увлечься этой сознательной отзывчивостью запуганного до сего времени российского обывателя, впервые рискнувшего проявить громко свои симпатии делу революционеров, признать их работу своим кровным делом? Бездействию и гробовому молчанию наступил конец, даже опасная работа, казалось не страшила больше.

⁶⁶ Каин — Михаил Иванович Соколов (1881–1906), более известный по кличке «Медведь» — сторонник аграрного террора, впоследствии лидер «эсеров-максималистов», организатор взрыва дачи П. А. Столыпина 12 августа 1906 г., ставшего одним из самых кровавых терактов в истории русской революции. Повешен по приговору военно-окружного суда.

⁶⁷ Лозинский Евгений И. (Устинов) — публицист, идеолог «аграрных террористов»; один из основоположников «максимализма». Однако он разошелся с «максималистами» еще до официального конституирования их группы, так как пришел к отрицанию политической борьбы.

⁶⁸ Шишко Леонид Эммануилович (1852–1910) — революционер-народник, с начала XX в. — эсер. Публицист и историк.

⁶⁹ Чернов Виктор Михайлович (1873–1952) — один из основоположников ПСР, ее многолетний лидер и теоретик.

⁷⁰ Волховский Феликс Вадимович (1864–1914) — революционер народник, затем член ПСР. Публицист.

Предложение Азефа заключалось в следующем: для партии было очень существенно снять или перекупить большие, хорошо обставленные номера или меблированные комнаты, не стесняясь расходами на их содержание. При номерах весь персонал служащих — конторщик, горничные и вся прислуга — должен был состоять из своих людей. Для конторы рекомендовалось выбрать сугубо расторопного, ловкого, умелого человека, так как ему придется иметь сношения с полицией. Свой экипаж или автомобиль должен будет обслуживать пассажиров, приезжающих с вокзала. В номерах останавливаться будут не только свои партийные работники, но и вообще пассажиры, паспортами которых легко будет пользоваться, снимая дубликаты с более подходящих. Таким образом, при номерах организуется паспортный стол. Равно отпадала тогда опасность при перевозке партийной литературы, оружия, динамита, — все это под видом багажа гостей доставлялось бы куда угодно. Устроив такую гостиницу, партия обеспечит себя самыми необходимыми и самыми существенными предметами, на добывание которых уходит масса сил и средств, и часто непроизводительно, ибо все это зависит от случайных и ненадежных обещаний, от изменчивой обстановки. Дав чисто практические указания, Азеф предоставил нам самим выбрать лиц из наличного безработного круга, переговорить с ними и тогда же сообща решить окончательно время отъезда в Россию. На дорогу и оборудование номеров средства им вскоре будут предоставлены. Торопиться очень не было необходимости.

В эту зиму в Женеве русские встречали новый 1905 год вместе — в большом общественном помещении. Огромный зал, ярко освещенный, красиво декорированный, наполненный шумной молодежью, гудел, как могучий рой пчел. Сразу ничего нельзя было ни понять, ни разобрать; меня, ослепленную давно невиданным, все поражало. Собралась здесь молодежь со всей почти обширной страны, с ее разновидностями национальными, индивидуальными и классовыми. Конечно, среди этой кипучей, жертвенно настроенной массы много было и таких людей, которым народные интересы были чужды, которые только в силу страха и ошибок напуганного правительства вынуждены были приближаться к социалистам, сами не будучи социалистами. Эта собравшаяся многосотенная свежая молодежь бурлила и хлопотала здесь, как грозный весенний поток, приносящий с чистыми хрустальными струями и мутную накипь и залежавшуюся гниль. Благодаря долгой оторванности от живой жизни, этот праздник казался мне каким-то маревом, чудным сном, — так ярко и свободно было все, так много было огня и движения. Говорились пламенные, дерзкие речи, с вдохновенными лицами, молодежь пела и кружилась в обширном зале. Она еще не израсходовала сил, суровая действительность не коснулась смрадным дыханием этих юных сердец.

В середине вечера ко мне подошел хорошо одетый молодой господин и молча подал живые свежие цветы. Чье это было внимание — не знаю, но оно меня сильно взволновало — ведь это внимание символизировало, что нить, связывающая старое с молодым, не окончательно еще порвана...

Азеф, очень скромно одетый, в самый разгар вечера, подойдя ко мне, стал ходить рядом. Он жаловался на то, что его больно ругают за недавно происходившую конференцию, кончившуюся соглашением с «Освобожденцами», «Дашнаками» и другими партиями. Очевидно, на вечер он пришел уже давно, потерялся среди разнонастроенных людей и схватил их настроение. Его изрядно поносили, как видно, за узы с «Освобожденцами», «либералишками» и открыто и громко бросали ему ругательные упреки.⁷¹

Объединение это тогда вызывало много толков и пересудов не только за границей: споры и суждения об этом перебросились и в Россию, велись со всем пылом и горячностью в тюрьмах. Около этого вопроса образовалась горсть молодежи, ведшая агитацию за разрыв с Ц. К. Азеф вынул из кармана и прочел только-что им полученное письмо-записку (игра в

⁷¹ Имеется в виду конференция революционных и оппозиционных партий, состоявшаяся в Париже в сентябре-октябре 1904 г. Целью конференции была координация действий в борьбе против самодержавия. ПСР на конференции представляли Азеф и Чернов.

почту) от лица, ему неизвестного, в которой называли его подлецом, негодяем — и иными столь же милыми эпитетами, — продавшим партию. Но в его голосе, в выражении лица ничуть не было заметно смущения или гнева, и отношение его к этому казусу было какое-то самоуверенно-снисходительное: ничего, мол, вы не понимаете, совершенно напрасный пыл. Вероятно, ему был известен автор или, по крайней мере, он догадывался, откуда несутся эти ругательные эпитеты и словесные оплеухи: на вопрос, чем и как он думает отвечать авторам, Азеф, вытянув губы трубочкой, произнес с несколько раздражительными нотами в голосе: «Что же и кому отвечать?» Такое равнодушие казалось тогда очень странным, непостижимым, ибо его определенно и персонально обвиняли в продаже партии. Еще можно было понять обвинение в предательстве партии, но в продажности — это было выше всякого понимания.

— Они воображают, — все тем же тоном и, помедлив немного, продолжал Азеф, — будто одна партия в состоянии сделать революцию, добиться чего-нибудь существенного исключительно своими силами. Наша партия, да и никакая из существующих в данное время в России, не так сильна, чтобы без союза, без общих усилий могла свалить могучую организацию самодержавного правительства. Все эти кричащие люди, якобы дорожащие честью партии, меньше всего надежны в смысле твердости воззрений. Через пять, много — десять лет, они будут самыми исполнительными и надежными чиновниками, людьми «двадцатого числа», лучшей опорой нашего деспотического строя. Я мало или почти вовсе не считаюсь с этими крикунами, еще меньше дорожу мнением подобных революционеров.

Глава XIII

Париж — Е. Азеф

Не помню точно, в новый ли год на балу или же потом, когда Азеф заходил ко мне на квартиру, узнав о моем желании побывать в Париже, он настойчиво рекомендовал поехать туда с одним молодым эмигрантом, вполне своим человеком. Для большей безопасности и лучшей ориентировки в непривычных, чуждых условиях, он советовал на первое время остановиться у его жены, чтобы после, при ее содействии, поискать комнату в каком-нибудь небольшом пансионе. В назначенный день мой спутник явился совсем готовым, с двумя билетами на проезд до Парижа. Солидный и приятный с виду, он оказался, моим земляком, писателем, поэтом и прекрасным товарищем.

Очень рано утром, едва пробились первые робкие лучи солнца, мы уже сходили с поезда на перрон Парижского Лионского вокзала. Город лишь только что стал пробуждаться. Огромнейшие фуры, везомые крупными с чепцами на голове лошадьми, с грохотом катились в туманной, предрассветной мгле. И эта туманность делала все предметы значительнее: точно в кинематографе, выдвигались из мглистого воздуха головы животных в увеличенном размере и затем мгновенно исчезали из поля зрения.

Мы зашли в первый невзрачный кабачок или ресторанчик около вокзала, чтобы выпить там чашку кофе и немного отогреться. Хозяин тотчас же угадал нашу национальность и принес порядочную кипу русских газет, среди которых первое место занимало «Новое Время».

При любезном внимании Любови Григорьевны, жены Азефа, мне быстро удалось найти комнату во французском пансионе, весьма приятном и недорогом. Само собой понятно, как все было интересно в этом суетном мировом городе. Целыми днями бродили мы по разным уголкам города, плацам, музеям и садам, богатым памятниками великих событий прошлого. Мы представляли собой того лесного человека, которому неудержимо хочется все ощупать, до всего дотронуться; и часто широко и пугливо открывались наши глаза от разного рода неожиданностей. В конце экскурсии к нам присоединилась прелестная девушка, по происхождению русская, по воспитанию же — вполне француженка. Она весело и охотно водила нас по самым интересным, ей отлично знакомым, частям города, останавливая наше внимание на самом значительном, важном, исторически замечательном. Однажды,

насмотревшись до переутомления на изумительные богатства Парижа, мы зашли отдохнуть на квартиру жены Азефа. У нее мы застали компанию молодых людей, обсуждавших вопрос о возвращении в ближайшие дни на родину, в Россию. Квартира была тесная, маленькая; гости все сгрудились в крохотной гостиной, около небольшого круглого стола; тут же у противоположной стены сидел одиноко Азеф. Он никакого участия в разговоре не принимал, казалось, даже не вникал в его содержание, но как-то особенно пытливо следил за тем, кто говорил и как говорил. Насколько помнится, речь свелась потом на новейшую литературу, на Пшибышевского, Арцыбашева⁷² и др. писателей того же направления. Азеф был ярким противником новой литературы, ее последователей и восторженных поклонников «живого слова». Как бы вызывая его на откровенный разговор, один из собеседников резко и определенно поносил «заплесневелую», всем опротивевшую старую «канитель», скучную и никому теперь не нужную, какую по привычке тянут «оставшиеся старички» (так же выразительно в то время проводилась эта мысль новыми певцами). Некоторые из сидевших вызывающе смотрели на Азефа, но он до самого конца не обмолвился ни одним словом.

Многие считали этого ловкого предателя необычайным честолюбцем, адски самолюбивым чудовищем, с душой, всеми дьяволами наполненной, хотевшим совместить в своих руках всю власть, все могущество, быть «наибольшим» и тут и там, никого не щадя, никого не любя. Быть может, историки, отодвинутые дальше от современности, правильнее понимают мотивы изучаемых личностей, но нам, вместе работавшим с Азефом, кажется, не без основания, что самым сильным дьяволом в его душе была подлая его трусость, ну, и... корысть. Первая, конечно, играла крупнейшую роль, — ведь ни одна страсть не доводит до той степени падения, как трусость: «начнет, как бог, а кончит, как свинья», — сказал наш поэт⁷³ об одном из персонажей своего произведения.

История предателей, ренегатов дает яркие примеры того, до какой степени это подлое чувство помрачает разум человека, доводя его до чудовищного падения и низости. Один штрих, одно мимолетно замеченное обстоятельство часто помогает правильнее и лучше понять побуждения человека, чем продолжительные разговоры и споры.

Таким случаем, пожалуй, является следующее обстоятельство.

По какому-то неотложному делу я однажды зашла на квартиру жены Азефа. Толкнувшись в первую комнату и не найдя там никого, я заглянула в полуоткрытую дверь второй комнаты, рассчитывая там встретить хозяйку. Мелькнувшая перед глазами картина заставила меня быстро попятиться назад; но и в этот краткий момент память успела зафиксировать слишком многое.

На широчайшей кровати, полуодетый, с расстегнутым воротом фуфайки, лежал откуда-то вернувшийся Азеф, хотя было еще не поздно. Все его горой вздувшееся жирное тело тряслось, как зыбкое болото, а потное дряблое лицо с быстро бегавшими глазами втянулось в плечи и выражало страх избиваемой собаки в вверх поднятыми лапами. Это большое, грузное существо дрожало, словно осиновый лист (как я узнала это впоследствии), только при мысли о необходимости скорой поездки в Россию. Это происходило после дела Плеве. Ситуация, им самим созданная, приводила все к большему падению, большей лжи, выпутаться из которых становилось все труднее. Предстоящая перспектива быть открытым становилась для него яснее, а предотвратить это — труднее, невозможнее.

Жена его оправдывала проявленную им тогда подленькую слабость тем, что он очень нервно расстроен, между тем предстоит неотложная необходимость ехать в Россию. Если там его арестуют, то в тюрьме он не выдержит, сойдет с ума, он сам это чувствует, переживая даже здесь мучительное настроение. Он устал, утомлен, за ним гоняются постоянно, непрерывно, поездка равносильна смертному приговору.

⁷² Ст. Пшибышевский, М. Арцыбашев — популярные в начале века писатели-«декаденты».

⁷³ А. К. Толстой.

— Его обязанность отойти от дел, — заметили мы ей на эти lamentации. — Если вы не преувеличиваете действительности, вы должны, хотя бы на время, устранить его от работы.

Тогда думалось, что жена представляет все в несравненно большем размере, чем оно есть в действительности. Но виденная мною жалкая, чего-то молящая фигура, трусливо пакостная, впоследствии объяснилась: он тогда умолял жену уехать с ним в Америку, бросить все, предвидя свое неминуемое разоблачение, свою скорую гибель.

Последующие встречи с Азефом ограничивались разговорами, исключительно до дела относящимися. В боевых работах он видел недостаточную последовательность, планомерность. Все силы Б.О., все внимание необходимо сосредоточить на министрах внутр. дел, снимать их одного за другим, не считаясь ни с характером деятельности занимавшего этот пост, ни с его личными качествами. Бить в этот пункт упорно, настойчиво, раз за разом, доколе не изменится существующее положение, ибо министр вн. дел ответственен за весь строй жизни страны, он поддерживает и охраняет этот строй в России. Об убийствах Азеф говорил как-то слишком упрощенно, как о самой простой, заурядной вещи. Раз кто-то рассказывал при нем о только-что происшедшем случае, когда матрос стрелял в девушку-пропагандистку в организации среди моряков. По счастью, револьвер оказался игрушечный, серьезного поранения не причинил. Вся опасность заключалась в нелегальном положении девушки, что могло бы обнаружиться, если бы началось следствие, да могли пострадать хозяева квартиры, куда пришел матрос. Азеф, не задумываясь, выпалил: «убить сейчас же матроса!». Все присутствовавшие при этом «полевом суде» опротестовали скорое и жестокое решение Азефа.

Хотелось бы уже кончить с этим гаденьким, и потому я забегу несколько вперед. В 1905 г., по освобождении из тюрьмы после «дарованной» свободы, кое у кого из сидевших по делу 17-ти, арестованных 16–17 марта, мелькало неясное, не вполне еще оформленное подозрение, что в выдаче этой группы Б. О. участвовали лица, совсем близко стоявшие к центру. В обвинительном акте, врученном всем членам группы, весь материал, все данные для предания суду были построены на показаниях одних шпииков и филеров. Фамилии их всех были зафиксированы в конце показаний каждого из них. Эту гармонию нарушали два агента (тайных), фамилии которых совсем замалчивались, а между тем их показаниям придавалось особое значение. Теми, кто сидел в Д. П. 3., за время производства следствия было с воли получено уведомление, уже подтвержденное полностью, об агенте Татарове,⁷⁴ прибывшем из Иркутска политическом ссыльном. «А кто же другой?» — пытливно искал ответа каждый из нас. Ни один из сопроцессников не возбуждал ни малейшего подозрения. Военный суд, куда недели за две до 17 октября было направлено наше дело, нашел нужным, за недостаточностью обвинительного материала, прекратить дело по отношению большинства арестованных, кроме пяти. У них при аресте были взяты взрывчатые вещества и, кажется, револьверы. Сами судьи выразились, что они не разбойники, чтобы судить и осуждать только на основании показаний филеров.

Однако, обвинительный акт все же вручили каждому из причастных к делу Трепова.⁷⁵ На другой день по выходе из тюрьмы, в самом конце октября, я случайно встретилась в столовой с Азефом. Он с большим интересом стал расспрашивать, в каком объеме нам предъявляли обвинение и почему из всех 17 обвиняемых оставлены трое в тюрьме. — «Вот обвинительный акт» — сказала я ему, протягивая небольшого формата тетрадь. Он с особенной быстротой выхватил у меня акт, но когда мне захотелось получить его обратно, Азеф промямлил, что обвинительный акт у него украден был кем-то в столовой тогда же. Все

⁷⁴ Татаров Николай Юрьевич, член ПСР, революционер «со стажем», ставший полицейским агентом. Убит по указанию Савинкова членом БО Ф. А. Назаровым в Варшаве, на глазах у родителей.

⁷⁵ «Дело Трепова» — дело о подготовке покушения на Д. Ф. Трепова (1855–1906) — петербургского генерал-губернатора и товарища министра внутренних дел.

эти странности после, когда произошло полное раскрытие его преступной работы, получили иной смысл; тогда же было совестно копаться в подозрениях.

А теперь снова вернемся за границу. Залпы 9 января, расстрелы мирно шедшего к «батюшке-царю» народа громом ударили по голове всей эмиграции и всей русской учащейся молодежи. Без преувеличения можно утверждать, что «кровавое воскресенье» пронеслось призывным набатным звуком для всех организаций за рубежом. Все вдруг ощутили, что Россия поднимается на ноги с преклоненных колен, что ее нужно, необходимо поддержать вооруженной силой. Шумным потоком понеслись на родину одни, другие торопились укладывать свои скудные пожитки. А тем временем вслед за 9 января начались забастовки, широко разлившиеся и быстро охватившие всю Россию, разом перекинувшись в Сибирь и Польшу. 11–12 января с паспортом, врученным мне вместе с маршрутом и многими поручениями к Б.О., возвращалась я обратно на родину.

Глава XIV **Снова в России**

Рано утром 14 числа наш поезд подошел к Венскому вокзалу в Варшаве. Когда он остановился у платформы, перед глазами пассажиров открылось странное и ошеломляющее зрелище: дебаркадер почти сплошь, все проходы и багажное отделение были заняты вооруженными солдатами; из публики же ни души, ни одного носильщика также, никакого начальства нигде... Выгрузив свои вещи, мы растерянно искали кого-нибудь, кто-бы отнес вещи до извозчика или хотя бы в багажное отделение. Торопливо бегавшие мимо нас мелкие чиновники, чем-то перепуганные, решительно отмахивались от наших вопросов и приставаний, указывая рукой на другой путь: там начальство, там могут содействовать... Бросаем без присмотра вещи и направляемся туда, но солдаты берут ружья на перевес и преграждают нам путь. Трогательные речи, просьбы и, наконец, женские истерики смягчают суровость солдат, и они позволяют идти к начальнику. Издали уже было видно, как чрезмерно трудно подступиться к нему. Окруженный крепкими стенами блестящих офицеров, он, как муха в тенетах, бросался во все стороны, намереваясь прорвать кольцо, его замкнувшее. Все кричали, чего-то требовали, лезли друг на друга с выпученными глазами, красные, потные, точно желали проглотить друг друга или, по меньшей мере, перерезать горло кому-то, может быть, даже нам, так как объекта их свирепой злобы тут не находилось... Пассажирам оставалось своими силами выходить из создавшегося тягостного положения. Часа через два, когда приехавшая публика мало-помалу отхлынула и вокзал опустел даже от солдат, крадучись, подошел откуда-то вынырнувший очень бедно одетый мастеровой, обстоятельно и толково объяснивший, что в Варшаве идет грев (стачка), да такая, что среди улицы сбрасывают с извозчиков с багажом, если какой дурак найдется и повезет кого. Он дал слово отнести вещи на другой вокзал, когда станет окончательно безлюдно здесь. Около часа дня он, действительно, пришел, и мы двинулись по безлюдным улицам. На Маршалковской в больших магазинах были разбиты вдребезги зеркальные стекла, и эти зияющие дыры и засыпанные осколками стекол тротуары ясно говорили о совсем недавней схватке старого с надвигавшимся молодым, новым, грозным и неведомым до сего времени. Свернув с Маршалковской в маленькую, узенькую улицу, мы заметили впереди нас группы рабочих, необыкновенно быстро пересекавших улицу и прятавшихся за углом от нагонявших их выстрелов. Дзинь-дзинь-дзинь! — трещит то тут, то там, потом выскакивает взвод обезумевших солдат, бросающихся за рабочими. Около улицы Злато навстречу двигался экипаж с жандармами по обеим сторонам, а все замыкалось конными жандармами с шашками наголо. Внутри экипажа виднелось очень бледное лицо, с беспорядочно включенными волосами на голове. «Матка боска, матка боска», — крестясь и шепча молитву, проходит старушка, напуганная этой дикой кавалькадой.

Ждать поезда приходилось долго. Решаюсь отыскать свою старую знакомую, — когда-то вместе шли по Сибири. Она давно вернулась с поселения и жила с семьей в

Варшаве.

Всюду накрепко заперты ворота, никого из незнакомых не пускают во двор. На мой стук в форточке калитки показалось суровое лицо дворника, заматавшего было отрицательно головой и уже намеревавшегося перед носом захлопнуть форточку, но не по-русски заданный вопрос заставил его открыть калитку. Он сам проводил меня до двери квартиры знакомых и все время недоверчиво осматривал мою наружность.

У знакомых настроение приподнятое, несколько тревожное, разговор, само собой разумеется, сосредоточивается на движении. Через полчаса вбегает с улицы шумная ватага детей с раскрасневшимися щечками, с ярко поблескивавшими глазками; возбужденные, они с завидным порывом радости, спеша и перебивая друг дружку, передают матери, как сняли одну, другую школу, потом еще одну, теперь идут снимать самую упорную. И они улетели, как мотыльки, весело, радостно, вслух обдумывая свой стратегический план подхода к упорным. На эту же квартиру пришел один п.п. с, муж сестры Ф. К., с просьбой передать в Москве членам партии настойчивое желание получить оттуда незамедлительный ответ, может ли п.п.с. рассчитывать на поддержку со стороны п.с.-р., последует ли еще раз общее согласованное действие, или же на это сейчас рассчитывать невозможно и им следует немедленно приступить к ликвидации своего забастовочного движения; забастовка у них шла прекрасно, чрезвычайно дружно, подъем охватил всех рабочих, всю промышленность и все горные округа. Если со стороны русской революционной партии, со стороны рабочих последует новое выступление и косвенная поддержка забастовочного движения, то можно будет задержать подъем на той высоте, на которую он поднялся сейчас, на самом высшем гребне волны, в противном случае необходимо, не истощая понапрасну сил, прекратить немедленно забастовку; удержать или прекратить можно будет в любой момент.

Требовался ответ точный и ясный. Они предлагали и настаивали на приезде двух партийных представителей для выяснения общего положения, выработки сообща согласованных действий в дальнейшем.

Таким образом, мой путь обозначился на Москву, да и зарубежники поручали скорее повидать Савинкова и передать ему настойчивое желание и просьбу стягивать все силы и средства на случай дальнейшей борьбы, начатой массовым выступлением 9 января. Не только заграничники, но и в Варшаве и в самом Петербурге некоторые группы рассчитывали, что подъем рабочих не остановится на этом, возбуждение было заметно общее. Савинков, занятый своим делом, московским,⁷⁶ выслушав все поручения, указы и просьбы, затруднялся их исполнением, и находил наилучшим отвезти их питерцам, — «Павлу» (Швейцеру), работавшему там с вновь организованной группой террористов, — как наиболее знакомым с польскими делами и располагавшим свободными, незанятыми силами.

Выраженное лично Савинкову неудовольствие за его малую активность, малое внимание к уже совершившемуся тогда событию — 9 января — было принято им с должным вниманием, но он жаловался на трудность своего положения, на скудость, недостаточность средств и материалов.

Он сам отлично понимал мизерность оказанной помощи на многочисленные обращения, но события развернулись так быстро, так неожиданно, что технические партийные организации не в состоянии были удовлетворить все эти требования, опять же в силу внезапности движения. Он жаловался на усталость, выглядел сильно изнеможенным. Работа в Москве с Сергеем шла не очень удачно, и со слов его можно было даже заключить, что навряд ли она кончится быстро и успешно.

Хотя «поэт» И. П. Каляев был в это время в Москве, но нам с ним не удалось свидеться. Как когда-то, в деле Плеве, он здесь наблюдал выезды Сергея, как когда-то, на Фонтанке, он и теперь простаивал часами в холодные морозные вечера, бледный, задумчивый, настойчиво поджидая проезда наместника Москвы.

⁷⁶ Подготавливалось убийство вел. князя Сергея.

Не больше двух-трех дней назад, по рассказам Савинкова, проехал через Москву Гапон,⁷⁷ отправленный им за границу, а в данное время им отправляется туда же другой участник народного шествия к царю, бок о бок стоявший с Гапоном за все время работы и народного выступления, П. М. Рутенберг.⁷⁸ Торопливое исчезновение этих крупных деятелей за пределы, казалось несколько... странным, — ведь движение, начатое ими, вызвало движение из-за границы сюда, умножение сил; но объяснялся отъезд тем, что им желательно было, особенно Гапону, ознакомиться и примкнуть к с.-р., обмозговать и построить совместно новые пути подхода к широким трудовым массам, дать новые зажигающие лозунги, вместо убитой окончательно и бесповоротно легенды и веры в царя.

Рутенберг был уже не в первой поре молодости. Он казался серьезным и вдумчивым человеком. Он ярко передавал происшедшее и ознакомил со всеми бывшими перипетиями «Кровавого воскресенья», с подробностями расстрелов. Идея шествия ко дворцу появилась внезапно и овладела массами. От мирной петиции надеялись быстро перейти к революционной борьбе.

По приезде в Петербург, прежде всего, необходимо было повидаться с «Павлом», руководителем группы работников Б. О. Раньше ни разу мне не приходилось встречаться с этим суровым и крайне сдержанным революционером, о котором приходилось много и часто слышать от других. Имя его вызывало у говорившего какое-то выражение восторга и гордости, какое создается в семье к красивому ребенку или большого мужества брату.

«Павел» занимал видное место в организации. На квартире нашей в Питере (на Жуковской ул.) очень часто и подолгу велись беседы о нем. Его имя всегда сопровождалось каким-нибудь лестным отзывом, упоминанием характерного случая из его работы, рисующим эту молодую, очень смелую, ни перед чем не пасующую, спокойную фигуру. Он в ту пору был совсем молод, красив и не по летам солиден.

Глава XV

В Боевой организации

Природа расщедрилась, наделив «Павла» удивительным бесстрашием, никогда ему не изменявшим, при самых опасных положениях, выдержанность и характером точного, аккуратного работника. Эти редкие качества внушали к нему чувство почтительного удивления и нежной бережливости. При изготовлении снарядов для нападения на Плеве он должен был поселиться в нашей квартире на Жуковской, но почему-то предпочел всю работу выполнить в номерах гостиницы, при обстановке крайне рискованной. Накануне выхода он явился в Питер весь опаленный, с обожженными руками, как рассказывал тогда, сильно волнуясь и восторгаясь, Егор Сазонов. У «Павла» при сушке гремучей ртути несколько раз происходили взрывы, причинившие ему ожоги лица и рук, а однажды чуть не кончилось совсем скверно: только быстрая сообразительность спасла его от неминуемой смерти. «Вот какой у нас Павел бесстрашный», — говорил Егор, горделиво поблескивая глазами.

Встреча с «Павлом» произошла в кофейне. Красивая, английского типа наружность, чистое безусое лицо, ясные синие детской чистоты глаза, сильно молодившие его лицо, разлитая интеллигентность во всех чертах его наружности резко выделяли его везде. Но в его

⁷⁷ Гапон Георгий Алоллонович (1870–1906) — священник, руководитель «Собрания русских фабрично-заводских рабочих С.-Петербурга», был связан с полицией. Возглавлял шествие рабочих к Зимнему дворцу 9 января 1905 г. После расстрела манифестации бежал за границу и перешел на крайне революционные позиции. Впоследствии вернулся в Россию, вновь вступил в не вполне ясную игру с полицией и революционерами, закончившуюся его убийством по обвинению в провокации.

⁷⁸ Рутенберг Петр Моисеевич (1879–1942) — инженер, член ПСР. 9 января вытащил Талона из-под пуль и помог скрыться за границу. Он же организовал убийство Гапона 28 марта 1906 г., получив от последнего предложение выдать Боевую организацию за 25 тыс. руб.

движениях, словах, в манере передавать свою мысль, в обсуждении исполнения работы сразу чувствовался человек большой деловитости и характера. Твердая походка, твердое пожатие руки, спокойная, неторопливая речь, без многословия, глубокая обдуманность в мыслях старили его на много лет. Порывистость, так свойственная всему молодому, у него сдерживалась внешней холодностью и даже сухостью. Из немногих слов становилось ясным, что слабость, слюнтяйство он выносил с трудом. К работникам-новичкам отношения его были полны бережности и внимания, но пощады от него было трудно ждать. Как-то раз «Павел» довольно сурово порицал закисавших, безвольных, самих себя не познавших, при чем заметил о Т. А. Леонтьевой: «Вот удивительно хорошая девушка, даже редкое существо среди сейчас жаждущих работы. Не так давно я, изолировав ее от всех и всего, от общения с людьми, предложил ждать без указания срока, точно не определяя этот искус затворничества. Ни одно существо, даже мужчины спокойного темперамента не выдерживают двух-трех недель без напоминания о себе, без жалоб на свое, разумеется тяжелое, тоскливое положение. Леонтьева же полгода так жила, ни разу не прося амнистии, не бунтуя против заточения, стойчески выдержала свой искус. Она, по-видимому, из тех кремневых натур, которые легче ломаются, чем гнутся».

По словам же других, сам «Павел» несравненно более суровую изоляцию выносил безропотно, без протеста, сидя, как сурок, за своей опасной и ответственной работой, требовавшей великого внимания и огромного напряжения нервов.

В двух-трех свиданиях с «Леопольдом», — так звали теперь «Павла», — переговорено было о самом существенном, переданы желания варшавян (кажется, в этом направлении ничего сделано не было), причем выяснилось, что «Леопольд» слишком был занят расширением техники и подготовкой к новым ударам на правительственных лиц, в ряду которых в первую очередь стояли в. кн. Владимир,⁷⁹ Трепов, Дурново⁸⁰ и Булыгин.⁸¹

Оставалось выполнить еще одно и последнее поручение — Михаила Рафаиловича Гоца, который при прощании настойчиво советовал и горячо просил, по приезде на родину, побывать в Одессе, повидаться с вновь прибывшими из Сибири и ожидавшими указаний от Ц. К., куда и к чему им приложить свои силы, свести этих опытных работников с организационными руководителями. С своей стороны, и «Леопольд» поручал разыскать в Киеве Дору Бриллиант (*Д. Бриллиант снаряжала бомбы для И. П. Каляева и др., а в Киеве была уже после 4 февр. 1905 г. (убийство в. кн. Сергея); поэтому она не могла жаловаться на бездеятельное существование, а вероятно, как и раньше, сетовала, что ее не берут в метальщицы. Она жаждала, спасая других, погибнуть первой. Н. Тютчев.*⁸²) и сообщить ей твердое его желание приезда ее в Питер для какой-то спешной технической работы, ею за границей изученной.

Случайно встретив Дору через час по приезде в Киев на улице, я передала ей желание Леопольда. Мы вместе направились на вокзал. Она хотела побыть до отхода поезда в Одессу со мной, а днем позже сама направилась в Петербург.

⁷⁹ Владимир Александрович, вел. князь (1847–1909) — дядя Николая II, генерал-адъютант, командующий гвардией и Петербургским военным округом; по его распоряжению была расстреляна манифестация 9 января 1905 г.

⁸⁰ Дурново Петр Николаевич (1845–1915) — товарищ министра (1900–1905), министр внутренних дел (октябрь 1905–апрель 1906), член Государственного Совета.

⁸¹ Булыгин Александр Григорьевич (1851–1919) — министр внутренних дел с января по октябрь 1905 г.

⁸² Тютчев Николай Сергеевич (1856–1924) — революционер-народник, член «Земли и воли», затем ПСР. С его предисловием был напечатан фрагмент из воспоминаний П. С. Ивановской в журнале «Былое» (1924, № 23); это же предисловие, а также некоторые примечания были воспроизведены в отдельном издании воспоминаний 1928 года, уже после смерти Тютчева.

Мы долго не видались, и у нее горечи душевной значительно прибавилось за этот срок. Она, по возвращении из-за границы, жила, сколько помнится, сравнительно долго без определенной работы, к которой тянулась всеми своими помыслами.⁸³ Откровенно и с горечью высказывала она свое возмущение праздным положением, тяготившим ее до боли; бездельное утомление настойчиво требовало выхода из создавшегося никчемного нелегального ее существования. Активная, действенная природа ее искала выхода из создавшегося принудительного заточения, и она строила рискованные планы самостоятельной работы, лишь бы не оставаться праздной в одиночестве. Категорически отклонять вполне понятное ее желание было на этот раз как-то больно, приходилось отвечать довольно-таки уклончиво и утешать ее тем, что «Леопольд» (Павел) зовет ее теперь на совсем определенную и ответственную работу, которая проглотит целиком ее всю и безраздельно. И все же, садясь в вагон, я видела эти большие печальные глаза на матово-бледном лице тоскливо смотрящими вдаль, и вся маленькая хрупкая ее фигурка одиноко сжалась в суетившейся толпе.

Возвращаясь из Одессы в Петербург и рассчитывая там осесть на продолжительный срок, хотелось иметь свое постоянное жилище, избавляющее от вечной заботы, тягостной зависимости от тысячи непредвиденных обстоятельств, от искания ночевки для отдыха после дневного утомления. Измучившись за день большими переходами, несколькими свиданиями в противоположных концах города, — вечером, как бездомный бродяга, с тревожной болью обдумываешь, куда идти и где безбоязненно примут и пригреют всю уставшую, обессиленную. И весьма нередко, запоздавши из-за дальности расстояния, рискуешь остаться на улице в студеную зимнюю ночь. Многим довелось переживать такое положение. Конечно, для нелегального кочевой образ существования был наиболее безопасен, но, к сожалению, он чересчур выматывал силы, нервировал: всегда на людях, среди незнакомых, к тому же порой боязливых. Одна бежавшая из тюрьмы с.-д. рассказывала мне такой случай: «Прихожу в знакомую семью. Вечерело. Дома одна хозяйка. Она знала, что я нелегальная, я объясняю безвыходность своего положения, выражая категорическое намерение у них ночевать. Хозяйка заявляет столь же решительно свое желание, чтобы я ушла. Как вы полагаете, что я сделала? С твердым видом сажусь на кушетку и объявляю, что идти мне некуда, и я ночь проведу у них. С хозяйкой начинается истерика, но и это меня мало убеждает в том, чтобы следовало из-за дуры угодить опять в тюрьму. И до утра остаюсь у нее»...

19 февраля с Николаевского вокзала извозчик завез меня в прескверные номера на Малой Садовой, а с двадцатого числа, со дня прописки, как потом из обвинительного акта можно было понять, закрутилось колесо, заработала охранка, началась слезка, хотя и «тщательная», но вместе с тем поверхностная. Предательство последовало, очевидно, двустороннее — Татарова и Азефа. Татаров, сейчас же по возвращении из Иркутска осведомленный своим приятелем Г. М. Фриденсоном⁸⁴ о всех и обо всем, торопился использовать доверенные ему ценные сведения. Данный мне еще за границей паспорт, рекомендованный Азефом, как чистый, на самом деле имел весьма испорченную репутацию: он принадлежал умершей женщине, дочь которой сидела уже тогда в Петропавловской крепости по с.-д. делу. Очевидно, вид на жительство матери при обыске был взят у дочери жандармами и оттуда перешел к Азефу. Достаточно было прописать его, и обнаружение лица, пользовавшегося им, совершалось просто, безо всякого труда. До поездки в Одессу, вернее, до прописки, ни свидания с «Леопольдом», ни встречи с нашими извозчиками, ни ночевочные квартиры, — ничто не было обнаружено вовсе.

⁸³ И я склоняюсь к такому же мнению с прибавлением, что Дора слишком тяготилась одиночеством. П. И.

⁸⁴ Фриденсон Григорий Михайлович (1854–1912) — народоволец, затем член ПСР. После каторги, на которую был осужден по народовольческому «процессу 20-ти», жил в Иркутске. Знал Татарова по совместной работе в Иркутской организации ПСР.

В номерном коридоре, по прописке на М. Садовой, под видом владельца комнат неотлучно сидела «вполне независимая» подозрительная особа лакейского вида. Приписывая ее присутствие дурному тону номеров, я решила перебраться в более скромное и спокойное место. Это было на второй или третий день после взрыва в гостинице «Бристоль», когда я перебралась в Столярный переулок. Приблизительно за пять-шесть дней до переезда, на свидании с Н. С. Тютчевым, рассказав ему подробно свою номерную обстановку, я получила от него настойчивый совет немедленно покинуть эти номера: «Поселяйтесь в номерах в Столярном переулке, там свой управляющий, он предупредит заранее, если бы вздумали арестовать».

В это время приехала из провинции Ф. Л. Кап, согласившаяся взять на себя обязанности квартирной хозяйки для редких, исключительных свиданий с членами Б.О. и приезжающими центровиками. На свидания убивалась масса времени, а квартиры хорошей, вполне безопасной в нашем распоряжении не было еще. Приехавшей Кап рекомендовали остановиться в тех же «столярных» номерах, а через несколько дней обнаружился там же и мой хороший знакомый — сибиряк, правда, человек вполне легальный, не принадлежавший ни к какой из существовавших партий, но сочувствовавший с.-р. Мы трое, сталкиваясь в номерах иногда на лестнице или около уборной, никогда не обнаруживали ничем своего знакомства, жили в приятном самообмане на счет своего вполне прочного незаподозренного положения, хотя вскоре стали появляться кое-какие неуловимые и неосознаваемые признаки, как тончайшие паучьи ткани... что-то липкое, смрадное. Отнестись внимательно ко всему неясному в окружающей обстановке не хватало досуга и достаточного спокойствия, да и жили мы там всего около двух недель, в конце которых все было разбито вдребезги. Но ненадолго вернусь еще назад.

Успешно оконченное дело Плеве вызвало общий подъем, сразу принесший много новых работников, вошедших и желавших вступить в Боевую Организацию. Эти малоизвестные искренние люди, девушки и юноши, в огромном строительстве будущего желали быть, в лучшем случае, простыми каменотесами для возведения свободного и нового царства, царства любви и братства. Они стремились по силе своих способностей ускорить выход на вольный, правдой и любовью обвеянный свет, сдвинуть общими дружными усилиями давящую каменную глыбу, так долго и беспощадно приглушавшую в стране все яркое.

Правительство, как желтая лихорадка или чума, сотни лет опустошало нашу скорчившуюся страну. При виде этого чудовищного людоедства, глумления над совестью, чье сердце не дрожало мстительной злобой против этой шайки убийц, законом и глупостью человеческой укрепленных?

Казалось, еще небольшое усилие, еще удар, сильный, громовой, — и народ проснется и выпрямится, как растение в лучах солнца.

Вместе с вновь вошедшими в Б. О. оставались кое-кто из старых уцелевших работников: из них Петруха, «извозчик», как звали его ласково товарищи (Агапов), продолжал самозабвенно тянуть лямку извозчика. Он был еще молод, силен физически, смел и упрямо-настойчив в принятой на себя обязанности. Не раз он замечал о ком-нибудь из своих соратниках по одному делу: «Торопитесь окончанием, ждёт не дождетя конца — невеста ждет, сказывает. А на мой взгляд — какая у нас может быть невеста? Пустое он задумал». Коренастый, плотно сбитый, со «смекалистым» лицом крестьянина, добрыми голубыми глазами, прямой и бесхитростный. Петруха не переносил перебежек с одного поля на другое. Он как-то особенно болезненно переживал потерю старых друзей-братьев, спянных верой и единой опасностью.

Жил он, подобно всем нелегальным извозчикам того времени, тревожно, часто просил выйти на свидание в какое-нибудь указанное им место. Завидя издали идущего к нему товарища, если кругом было безлюдье, Петруха оживлялся весь, широчайшая улыбка расплывалась по его доброму, милому лицу. На виду других извозчиков — он долго торговался. Потом быстро отдергивал фартук и жестом руки приглашал сесть. Мы ехали

куда-нибудь далеко на окраину города, в пустынное место; он оборачивался ко мне и делился своими переживаниями, всеми сомнениями своими, наблюдениями, успехами, конфликтами с полицейскими, указывал чересчур «шпиковские» районы. «Вот тут, — говорил он, — как будто черт их тащил в решете, да и рассыпал в изобилии».

Петр работал дольше других, но никогда не жаловался на действительно пакостную, прямо собачью жизнь, полную скверноты. Непостижимой тайной кажется, как могут люди много лет жить в подобных смердящих извозчичьих квартирах. Квартиры грязные, тесные, за много десятков лет отложившие на полу и стенах всю нечисть, вносимую ногами, одеждой и потными телами. Жилища эти неопишуты, их надо видеть, чтобы понять частые и справедливые жалобы извозчиков на свое скотское, воистину каторжное положение. Спя на голом полу вповалку, нераздетые, они вынуждены порой тут же просушивать мокрые принадлежности своего туалета. Ночные, находя дневных еще спящими, одолеваемые сном, усталостью, валяются без разборки на спящих, сдавливая их, как поленья дров, толкая, давя. «Возвращаешься с одной думкой, одним желанием — застать дома порожнее место для спанья», — слышала я от извозчиков.

Дневной поднимается, ночной торопится во всем своем одеянии втиснуться в освобожденную трещину. «Господь знает, как мы одоуживаем этакую каторгу», — говорил один из обитателей подобной квартиры. Быть может, теперь жилища эти несколько изменились, но в наше время, по словам извозчиков, хозяйские помещения были все на одно лицо, все одного типа, качественно не различались. Для полноты этой «проклятушей жизни» надо прибавить еще неумолкаемый гомон, сутолоку, ругань раздраженных теснотой, ночные вставанья, чтобы задать корм лошадям, и другие прелести бытия.

Совершенно в таких же условиях жили и наши извозчики, с прибавлением еще тревоги выдать себя невзначай высказанным мнением или поступком, несвойственным этой среде. Под конец стало заметно, что силы крепкого Петра падают. Несколько раз, проехавши с заряженными бомбами в экипаже, при любом толчке могшими взорваться, Петр возвращался неузнаваем, с осунувшимся лицом, с глубоко запавшими глазами.

Совсем накануне ареста он сказал: «Мы в кольце шпиков, нас, видимо, выследили, нужно как можно скорее кончать, или же я один со всем этим управлюсь». Арестованный 16–17 марта, он сидел в Петропавловской крепости и там сошел с ума; и в больнице св. Николая потухла эта молодая, хорошая, на редкость чистая жизнь.⁸⁵

При посредстве «Леопольда» тогда же произошло мое знакомство с Т. Леонтьевой, по внешности казавшейся очень изящной барышней, чрезвычайно сдержанной в проявлении своих чувств и скупой на разговоры, можно даже сказать — строго молчаливой. Даже ее красивая внешность замечалась не сразу. Она была среднего роста, стройная, как молодая белая березка, блондинка с большим лбом и чистыми, детскими синими глазами. Узнавши ее хорошо, мало было сказать, что она хорошая девушка; это был превосходный человек, полный внутреннего содержания, красоты, глубокая натура. На другой день после ее ареста в газетах писали: «Вчера при выходе из парикмахерской арестована молодая, очень красивая женщина».

С нею мы видались часто в саду, на улице, и каждый раз наши встречу определялись неотложной надобностью: то она сообщала нужное для «Леопольда» сведение, или работающие поручали ей собрать необходимые информации (поручения всегда исполнялись ею радостно и безукоризненно). Шла тогда подготовительная работа под руководством и при непосредственном участии «Леопольда». 1 марта решено было убить Владимира, Трепова, а если удастся, то одновременно и Дурново и Булыгина.

Определенно стало известно о выезде на первоапрельскую панихиду этих особ в Петропавловскую крепость. На Троицком мосту, между прочим, становились два

⁸⁵ Настоящая фамилия «Агапова» — Дулебов, он убил уфимского губернатора Н. М. Богдановича 13 марта 1903 г. Умер в 1908 г. — Н. Т.

метальщика с бомбами.

Глава XVI Взрыв в меблированных комнатах «Бристоль»

За два дня до 1 марта Леопольд пришел в последний раз на свидание в Летний сад. Со мной и Тютчевым туда же пришла Леонтьева, взявшая от Леопольда к себе на хранение небольшой сверточек. Она скоро ушла. Мы, оставшись втроем, сидели в отдаленном уголку сада, безлюдного в этот час. Погода стояла тихая, полная величавой торжественности, никем не нарушаемой. Медленно падали крупные пушистые хлопья снега, покрывая все вокруг и нас легчайшим тюлевым саваном. В этой безлюдной тишине, однако, чьи-то глаза уже зорко наблюдали за всей нашей компанией.⁸⁶ Решение первоапрельского выступления казалось нам несколько преждевременным, торопливым, недостаточно обслеженным, но Леопольд считал момент наиболее подходящим, сулившим несомненный успех, — другой Факой случай вряд ли представился бы. Его не волновали наши возражения, но и не раздражали ничуть; он оставался твердо спокоен, стоял на неизбежной необходимости использовать завтрашний выезд в Петропавловскую крепость этих лиц, о чем он был предуведомлен раньше из самого достоверного источника. В решительном его тоне, в непререкаемых словах все же чувлось едва уловимое колебание, да и говорил он из сознания долга и печальной необходимости не затягивать дела. Наконец, он поднялся уходить и еще раз повторил: «Завтра успех несомненен! Это будут лучшие поминки первоапрельцам!» Голос его задрожал, в нем послышалось что-то совсем новое, точно говорил не суровый Леопольд... Отойдя недалеко, он повернул назад к нам и, подойдя, опустил опять на лавочку. «Еще с вами немного побуду», — сказал он. Все приумолкли. Промелькнули минуты, Леопольд снова поднялся и пригласил проводить его немного «вон до того поворота». На повороте аллеи к выходным воротам он в последний раз с особенно трогательной нежностью пожал нам руки, и синие чистые глаза его на мгновение подернулись дымкой, но он быстро овладел собой и направился к выходу из сада. Мы долго следили за медленно удалявшимся товарищем. Он шел твердо к своей цели, — и к своему, в сущности, неизбежному концу. Нами овладело тяжелое и беспокойное чувство, хотелось вернуть Леопольда, еще и еще пересмотреть, передумать вместе жуткий и болезненный вопрос, — ведь ночью 26 февраля для 1 марта он станет заряжать бомбы... 26 февраля — праздничный был день — мы с Тютчевым поехали к литератору В. А. М.,⁸⁷ жившему на Каменноостровском пр., в уверенности скорее всего там узнать какие-либо новости. Погода стояла мрачная, неприятно снежная. Едва переступили порог в прихожей, как следом за нами быстро вошел В. А., откуда-то вернувшись к себе. Он со всей точностью стал передавать нам свежий, циркулировавший уже по всему городу, чудовищный слух о взрыве в каких-то номерах и о человеке, разорванном при этом взрыве на мельчайшие куски. Слух быстро разошелся, весь Петербург, оторвавшись от своих маленьких дел, занялся этим происшествием, собирая и перенося во все концы подробности взрыва. Через час называли уже гостиницу «Бристоль» (там жил Леопольд), говорили, что в ней потревожены все заезжие гости, три номера разрушены, окна выбиты и т. д.

В большом деле — что на войне. Всякая операция, действие строго подчиняется ранее выработанному определенному плану, и взявшие на себя обязательства в точности должны выполнять намеченный план работы; часто даже не все резоны ясны для второстепенных

⁸⁶ По наблюдениям филеров за П. С. Ивановской и Н. С. Тютчевым видно, что это свидание не было ими прослежено — И.Т

⁸⁷ Мякотин Венедикт Александрович (1867–1937) — историк и публицист. Член редакции «Русского богатства». Один из организаторов партии народных социалистов.

работников, один руководитель знает их; а у нас так внезапно, так неожиданно выбыл из строя режиссер. Явилась значительная растерянность, неясность — как же и что же дальше?..

Чрезмерное внимание нужно для большого общественного дела, в котором жизнь работников, их судьба поставлены в тесную связь с этим вниманием; а часто упускается мелочь, частность, и эти недосмотры порой ведут к значительным прорухам, к катастрофическим провалам, к гибели дела и людей... Сделаны были совсем маленькие, самые незначительные упущения: первое — большая часть работников могла быть снята с своих постов перед выступлением, второе — совмещение в одном лице и руководства, и серьезного технического исполнителя — весьма опасно.

Но все эти соображения явились после, когда ошибки эти были уже позади. Впоследствии успокаивающим совесть и оправдывающим промахи обстоятельством явилась уверенность, что все же надо считать главной причиной дальнейшего нашего провала (16 марта) появление в Петербурге Татарова, так внезапно узнавшего (неведомо для всей организации — каким путем) работу ближайшей очереди и мой адрес.⁸⁸

В последние предарестные дни темной, подавляющей тучей опустилась над нами какая-то сила, обволакивающая паутина, и невидимый, смутно ощущаемый туман замыкал нас вокруг, а из всего этого выдвигались порой скользкие, неясные типы, про которых покойный Щедрин говорил: «Скажи, скажи, гадина, сколько тебе дадено?» Образовалось тягостное окружение, вырваться из которого не представлялось возможности. Бросить все и кинуться всем врассыпную — мы не могли и не имели права; мы ждали, должны были ждать, а кое-кто из нас продолжал надеяться окончить то, на что было ухлопано изрядно сил и средств. «Мы обязаны довести до конца начатое, кончить игру», — говорили одни. «Наше бегство вызовет крупную катастрофу», — замечали другие. Накануне ареста Петр, с которым мы в привычном месте встретились, заметил, указывая на тротуар: «Садитесь скорее, едем за город! Видите, сколько здесь шпиков набралось?»... Он был сильно встревожен этим обстоятельством, предчувствуя недоброе. Он отверг предложение переменить место встреч, свиданий; этим мы нарушали дисциплину, подвергали возможности провала каждый день могшего приехать Савинкова или другого кого-либо из заграничников. Оставалось ждать...

В составе Б. О. того времени были старые участники террористической работы, вернувшиеся из-за границы, и много новых: Леонтьева, Басов, Шиллеров, Трофимов, Подвицкий, Марков, Загородный, Барыков и др. За Владимиром, Треповым, Дурново, Муравьевым⁸⁹ велись наблюдения с января. Вскоре Муравьев вышел в отставку, и с ним работа кончилась.

Между тем, каким-то самым неожиданным путем появился в Питере приехавший из Иркутска Н. Ю. Татаров. Это был испытанный работник иркутской организации.

Н. С. Тютчев как-то в начале января сообщил мне о приезде Татарова и его желании повидаться со мной.

«А для какой это надобности ему нужно? Не вижу никакой необходимости с ним встречаться, ведь он, надеюсь, к Б.О. никакого отношения не имеет», — заметила я. Татаров в Сибири не пользовался симпатиями со стороны некоторых ссыльных. И. Ф. Волошенко⁹⁰ раза два встречался с ним в Иркутске и составил о нем мнение самое определенное, для

⁸⁸ Татарову не было известно о готовившемся покушении на в. кн. Владимира. Он догадался лишь о покушении на Трепова. Руководство Б. О. после смерти М. П. Швейцера перешло к Моисеенко.

⁸⁹ Муравьев Николай Валерианович (1850–1908) — министр юстиции в 1894–1905 гг.; был прокурором на процессе по делу о царевубийстве 1 марта 1881 г.

⁹⁰ Волошенко Иннокентий Федорович (1848–1908) — революционер-народник, политкаторжанин, муж П. С. Ивановской.

Татарова не вполне выгодное. Конечно, мы в Сибири все знали заочно друг друга, но меня он видел два раза, кроме того, лично, когда из Читы была необходимость нелегально побывать в Иркутске; он знал мою фамилию. Вот почему на другой день наших арестов в газете была пропечатана полностью моя фамилия, хотя я арестована была с чужим, настоящим паспортом. «Кто мог сообщить эти подробности?» — сверлил неумолчно вопрос. Из работавших со мною молодых никто не знал моего прошлого.

11-го января в Сестрорецке произошел арест члена Б. О. Маркова, повлекший за собою арест С. А. Басова, а в ночь на 26 февраля, за два дня до назначенного покушения, произошел взрыв при зарядении снарядов для выступления против в. кн. Владимира и других лиц. Удар этот для Б. О. был слишком чувствителен. Б. О. осталась без испытанного кормчего, терялась сплоченность, единство действия, столькими жертвами приобретенное. Надо было ждать: каждый день ожидали возвращения уехавших за границу Савинкова, Азефа. Первый поехал туда всего на одну неделю, а взрыв в «Бристоле» и смерть Леопольда, казалось, должны были ускорить приезд кого-нибудь из них.

Совершенно естественно и просто все сношения с наблюдателями и разносчиками перешли, главным образом, к старым работникам. Вопрос о ликвидации, помнится, поднимался всеми, но опять же большинство высказывалось в том смысле, что сами мы его решить не можем, не имеем права снять с мест наблюдателей.

К тому же, без сомнения, Савинков поспешит своим возвращением. А в общем, более твердые настаивали на более быстром окончании с выслеженными уже Треповым и Булыгиным. С особенной горячностью высказывался за такой способ Шиллеров. Было и в самом деле жаль бросить доведенную почти до конца работу, а главное — не было полномочий на ликвидацию.

Самую, пожалуй, большую дезорганизацию внесло то, что начал прибывать из разных мест народ, предлагавший свои силы на активную борьбу. Приходилось иметь со всеми свидания, объясняться, давать советы. Откуда-то приехала целая группа (кажется, из Киева), следившая за Клейгельсом.⁹¹ Один из них прямо требовал принять на работу каких-то мужчину и женщину. «Если не примете, то им хоть в петлю», — заявил он.

«А кто же их приглашал сюда? Откуда пришли — туда пусть уходят!» — довольно резко заметил Петруха.

Сохранение всей организации стало трудной задачей.

Татаров через Фриденсона знал мой (и других) адрес в Столярном переулке, с тем же Фриденсоном он приходил на свидание к Новомейскому,⁹² сибиряку, не принадлежавшему к партии, о котором упоминалось раньше. С ним Фриденсон вел конспиративного характера разговоры в присутствии Татарова о доставке динамита партии. Новомейский, будучи горным инженером, мог довольно свободно получать динамит для золотых приисков. И это обстоятельство, т. е. присутствие Татарова при переговорах, обнаружилось по выходе нашем из тюрьмы.

С 15 на 16 марта поздно вечером, может быть за полночь, к жившей со мной в одном этаже акушерке Ф. Л. Кац, намеревавшейся стать хозяйкой конспиративной квартиры для свидания, явилась незнакомая дама и торопливо передала ей, что по телефону получено предупреждение о повальном «заражении» «Столярных номеров». Когда приходившая вестница возвращалась от Кац, сыщики хотели ее задержать и препроводить в охранку, но барыня была в «положении», и ей удалось убедить шпииков, что она забежала к первой попавшейся акушерке, почувствовав себя очень дурно. Шпиики удовлетворились одним тщательным обыском и отпустили ее. Предупреждение это мне стало известно только на

⁹¹ Клейгельс Николай Васильевич — генерал-адъютант, киевский генерал губернатор в 1905 г.

⁹² Новомейский Моисей Абрамович (1873–1861) — инженер, деятель еврейского национального движения, оказывал содействие БО.

другой день, 16 марта. Оно для Б. О. по запоздалости не имело уже никакого значения. Всюду уже появились юркие типы, и доносился едкий запах охранки. Даже при некотором шансе я вряд ли могла бы уйти, хотя слабую попытку сделала (я была больна). Подойдя рано утром к черному ходу, которым иногда пользовалась, я столкнулась на первых ступеньках лестницы с незнакомой личностью в свитке, с развязными ухватками. Преградив дорогу, незнакомый предупредительно заявил: «Тут нет выхода, и к тому же темно, опасно». Других возможностей я не пыталась искать вовсе. Слабость, полное равнодушие, какие бывают при серьезных заболеваниях, окутали меня всю. Целый день 16 числа лежала я пластом, без желания и мыслей. Горничная неотлучно сидела около меня, объясняя свое усердие нежностью сердца к больным...

Глава XVII

В доме предварительного заключения

16–17 марта 1905 г. весь наличный состав Б. О. в Петербурге был арестован, и даже взяты были лица, нисколько не причастные к Б.О., как Новомейский, Шергов и др. Дулебов («Петруха»), Подвицкий взяты были «извозчиками», Трофимов — в виде посыльного. У Леонтьевой при аресте найдены были гремучая ртуть и динамит или пироксилин и др. принадлежности для взрывчатых снарядов, но в количестве весьма незначительном.

Трофимов признал себя сознательным членом Б.О. партии с.-р., Леонтьева — членом Б.О.

В 4 часа, когда Петербург окутывается мраком, в незапертую дверь ко мне постучались, и в один миг комната наполнилась шумной ордой, начавшей беспорядочно метаться по моей маленькой комнате, подобно спущенным голодным псам, все нюхавшей, всюду совавшей свои грязные лапы. И как вся эта картина остается на всю жизнь запечатленной в памяти! В жизни мне не приходилось встречать людей, которые бы к обыску относились безразлично и кто бы не ощущал к процессу обшаривания и к исполнителям этой гнуснейшей работы неимоверной гадливости. Агенты, видимо, были неприятно удивлены отсутствием того, что они наперед надеялись обнаружить в этом помещении. В результате, ничего преступного не оказалось. Часа через два меня везли уже в карете, в сопровождении старика-офицера, в узилище. Какое мне дело, в какой мешок меня опустят и завяжут ли этот мешок надолго? Такое чувство я тогда переживала. Неизвестность, страшная своим мраком, тогда не пугала ничуть, да и ничто не пугало, не было ни тревоги, ни любопытства, одно полное равнодушие, страшное бессилие овладело мною.

Вот и опять, — мелькало в голове, — через столько лет страннической жизни, в ту самую тюрьму, которая когда-то замкнула нас молодыми, когда холод еще не касался наших сердец, много любивших без раздумья и практических расчетов. Все наши тогдашние стремления были направлены к одному — к созданию, завоеванию справедливых форм жизни — политических и экономических. Мы желали одного — скорейшего пробуждения своей отчизны, своего гибнущего во тьме народа.

Я вернулась из страны могил, растерявши там все дорогое, близкое, уже повидавши раннюю гибель юных, прекрасных, и могла с сердечной болью сказать:

«Мой бедный домик разорен —
Почти с землею он сравнен».

За долгое время моего отсутствия тюрьмы еще приумножились, и густота населения их возросла до высшего предела, и эта насыщенность тюрем определила мою дальнейшую судьбу. Карета, по указанию офицера, направилась на Шпалерную.

«О, здравствуй, гроб и вместе храм
И колыбель родной свободы!»

Живой укор ее врагам»...

вырвалось приветствие при входе во двор знакомой, когда-то прославленной, нового образца тюрьмы, впрочем, изрядно состарившейся теперь. Она, как и наше поколение, сидевшее в ней давно, за этот продолжительный срок сильно потускнела, одряхла. Значительно попортившись, покрывшись цвелью и грязью, она потеряла свою выгодную сторону перед другими тюрьмами.

Глубокие морщины, ложбины и впадины попортили когда-то как зеркало гладкий ее пол. Даже на ступеньках железной винтовой лестницы, как на щеках старухи, образовались от бесчисленных шагов выбоины и лунки. Вспоминается не одна погибшая здесь жизнь. Вот в этой и той камере сидели совершенно юные и даже дети... И потом сколько перебивало за этими серыми стенами, в этих тесных клетках узниц, для которых весь мир так-таки и ограничился только этими стенами... Кажется, что по ночам порой тут раздаются подавленные рыдания и жуткие стоны, отзвуки мук многих поколений...

Редкий заключенный в первые дни не походит на пойманную птицу в клетке, он мечется туда-сюда, взад-вперед, пока не найдет точку относительного покоя и утомления. Он подобен слепцу, потерявшему дорогу и нащупывающему все вокруг себя. Чувство тревожное и неутомное побуждает его, искать что-то утерянное, неясно осознанное, но самое дорогое и важное для него. Мечется по камере арестованный до тех пор, пока не явится горькое сознание постигшей его неизбежности. Далее — томление изо дня в день, да воздушные планы, мечты о свободе. Самая мрачная действительность не в состоянии поколебать надежды на разные перспективы. А многим ли суждено было увидеть свободу? Рассеянными во вся языцы, многим ли из них пришлось услышать «высокие песни и собраться в стенах Нового Иерусалима?»...

Для меня в этом «курорте», как называли теперь тюрьму, все было знакомо: старые знакомки-надзирательницы, сильно одряхлевшие, те же, что и раньше, порядки, хотя новшество небольшое вошло в камеры. В первые годы существования тюрьмы было газовое освещение, вносящее некоторое разнообразие в тусклую арестантскую жизнь; сейчас оно заменено было резавшим глаза электричеством; кроме того, газ давал возможность сидящим самим готовить себе ужин, чай в бессонные ночи. «Курорт» — Дом предварительного заключения — был сильно переполнен, идеал заботливой предупредительности правительства вполне был достигнут. И, праведное небо! кто только не перебивал тогда в Д. П. 3! Люди всех возрастов и партий, всех классов, старики, случайные, с разбегу попавшие в капкан, и даже два прелестных существа — две сестры кристальной чистоты, просто пожелавшие на себе испробовать тюремный режим, познакомиться с этой неизбежностью для каждого русского гражданина.

Около двух недель я вела жизнь сурка в своей одиночке, ни разу не поднималась на окно, через которое доносился многоголосый гомон. Сверливший меня вопрос — все ли погибли и по чьей вине? — измучил вконец. В нашей работе накопился уже опыт, и понять фатальность положения в последние дни работы было не очень трудно. На нас двинулась вся охранка, одолеть которую трудно было, но противодействовать было нужно и должно, а тут... вопрос дисциплины...

Понявши, что все кончено, а главное, выйдя из тумана, заслонявшего действительность, и почувствовав, что, кроме меня, втиснуты в этот суровый для огромной части незнакомый мир не мало молодых, вчера еще начавшихся жизнью, я устыдилась своей слабости. Со свежим интересом начала я рассматривать свою келью, письма на стенах, оставленные следы многих поколений, их дум, мыслей, наслоенных год за годом друг на друге... Давнишнее едва выглядывает из позднейшего, как луна из-за облачка, одним краешком. На гладком, полированном подоконнике ярко выступали нестертые рукою тюремщика и временем стихи Полонского, видимо, еще юной рукою выцарапанные когда-то чем-то острым:

«Отойдите, мудрые, что вам до меня?
Я, ведь, только звездочка, полная огня...
Я зову мечтателей, вас я не зову»...

Этот порыв и крик юной души свойственен почти исключительно лишь одной молодости, но старость, хотя осторожна и вдумчива, хотя и с ошипанными суровой действительностью крыльями, все же способна понять все величие этого порыва и красоту его. Не одно только брюзжание свойственно ведь умудренной старости...

Но эти строки сжали до боли сердце. Кто знает, эта звездочка не потухла ли навсегда тут, в этой вот крошечной камере?..

Доносившиеся крики и вызовы с прогулочного двора и обычные в тюрьме вопросы новичку вынудили меня забраться на окно. Через форточку слышались знакомые и чужие голоса, заботливо спрашивавшие о здоровья и дававшие советы не ездить на допросы в жандармское управление. В партийных органах тогда давался категорический совет отказываться от дачи решительно всяких показаний. Для нас в этом ничего ни нового, ни трудного не заключалось. Еще раньше, давным-давно, фактически уже осуществлялось это некоторыми полностью. Да и глубокое отвращение, побороть которое было весьма трудно, к жандармской, прокурорской власти, мораль которых в последнее время роднила их с палачами... Помогая убивать и замуравливать, они часто говорили о своих симпатиях, сочувствии. Они очень любили беседовать с заключенными, порой даже проливали слезу, прощаясь с посылаемым в петлю человеком. Позволяю себе привести здесь мою встречу с Судейкиным, ярким представителем этого типа гадов, гнуснее чего трудно себе представить.

Арестованная в 1882 г. в Витебске, через полтора месяца я была доставлена в Петербург, в охранное отделение на Гороховой улице. На третий день, часов в десять утра, меня два жандарма ввели в небольшой кабинет. За стоявшим среди комнаты столом, спиной к окну, сидел в жандармской форме господин импозантной наружности. Большого роста, атлетически сложенный, широкоплечий, с выей крупного вола, красивым лицом, быстрыми черными глазами, весьма развязными манерами выправленного фельдфебеля — все это вместе роднило его с хорошо упитанным и выхолненным жеребцом. По-видимому, отличная память и быстрая усваиваемость всего слышанного давали Судейкину⁹³ возможность выжимать из разговоров с заключенными пересыльными, которых он в 1879 г. сопровождал из Киева в Сибирь, много полезных знаний для своего развития и своего служебного положения. Сам он говорил, что политические впервые его познакомили с учением Карла Маркса. Изоцрившись в разговорах на самые разнообразные темы, он претендовал на высокую образованность, на «ученость», касаясь таких вопросов, в которых не разбирался достаточно верно и не имел своих мнений. Грубый и лживый по природе, он был лихим дельцом на все руки в деле сыска. По-видимому, как тогда говорили многие, он обладал большой силой воли, благодаря которой и сделал свою карьеру. Через каких-нибудь пять лет службы он перепрыгнул в Питер и работал там азартно, как игрок, не брезгуя никакими средствами, обдывая и обводя вокруг пальца доверчивых людей, а ягнят обдирал безжалостно и еще оставлял их в приятном заблуждении, что они служат делу освобождения родины...

Судейкин трудился самоотверженно день и ночь, пробивая себе широкий путь к славе, может быть, и богатству, соревнуя всеми силами и средствами с другим дельцом — Плеве, таким же выскочкой, как их обоих считали тогда «круги».

Судейкин выслал вон сопровождавших меня жандармов, как-то брезгливо поморщившись в их сторону, предложил сесть в кресло против него и, открыв портсигар, любезно, как давнишний приятель, предложил папиросу. На отказ он заметил: «От жандарма

⁹³ Судейкин Георгий Порфирьевич — инспектор тайной полиции, один из зачинателей системы провокации; убит народовольцами при помощи «соблазненного» Судейкиным СП. Дегаева, «предшественника» Азефа в русском революционном движении.

не хотите брать?»... И без предисловия, не теряя времени, принялся беседовать о предметах самых возвышенных, не имевших даже самого отдаленного касательства к его душегубской работе. Речь неслась, как бурный поток, перепархивая с одного предмета на другой, без всякой связи. Имена великих людей, гениев стремительно неслись из жандармских уст. Упоминались К. Маркс, Маудсли, Дарвин и, наконец, Ломброзо. Последним он пользовался для доказательства той истины, что все люди одержимы безумием, и нет правых и виноватых. «Во главе русского прогресса, — ораторствовал Судейкин, — теперь революционеры и жандармы. Они скачут верхами рысью, за ними на почтовых едут либералы, тянутся на долгих простые обыватели, а сзади пешком идут мужики, окутанные серой пылью, отирают с лица пот и платят за все прогоны»...

Тогда утверждали многие, что якобы Судейкин эту образную картинку списал с показания на допросе одного революционера с прибавкой — «жандармы».

После долго длившегося красноречия, он быстро выдвинул ящик стола и, выбрасывая карточку моей сестры, произнес: «Вот вы кто». И тут же рассказал ее биографию. Она в то время была только что освобождена из ссылки, жила легально в Москве. Минутой позже он с тою же поспешностью показал фотографию Людмилы Александровны Волькенштейн,⁹⁴ как якобы опять же мою, с подробными биографическими сведениями. Под конец, не встречая отзывчивости, он открыл дверь и приказал выросшему точно из-под земли жандарму: «Камеру приготовить и обыскать!» Но и затем не удержался, чтобы не порисоваться: «Вы, верно, думаете, — обратился он ко мне, — какие воловьи нервы у этого человека».

Вспоминается и еще. Привезенная на очную ставку и забытая жандармами, я через дверь слышала, как рядом, в своем кабинете, Судейкин вел допрос очень юной гимназистки. К концу допроса, протекавшего в веселой болтовне, с умными словечками и вставными вопросами, допрашиваемая неприметно влезла, подобно маленькой птичке, в пасть очковой змеи, сознаваясь и выкладывая до позорной наготы свои деяния. Неумело завязая сама, она косвенно запутывала других с намерениями самыми возвышенными, чистыми. Подобные прецеденты и долгий опыт привели к необходимости признать обязательным для всех арестуемых отказываться от показаний, а еще лучше — совсем не ездить на допрос, не иметь никаких отношений с жандармами, хотя этот путь и дорого стоил сидящим.

При тогдашней вольности (в 1905 г.) в Доме пред. заключения, жандармы не могли не знать этого решения, обсуждавшегося всем наличным составом сидящих открыто, через окна. Разнокалиберный, пестрый состав узниц, в то время быстро менявшийся, не давал уверенности в последовательном проведении такого трудного партийного постановления, но он, однако, довольно единодушно, за весьма немногими исключениями, был превосходно осуществлен.

Вниманием доктора вскоре переведенная в больницу, я прикоснулась ко всей тюремной сумятице, подошла вплотную к мало мне знакомой тогдашней работавшей молодежи. Мы, люди старого поколения, выкинутые за черту жизни более чем двадцать лет назад, пребывали вдали целыми годами в неизвестности, жили мыслью — авось кончатся эти болезненные конвульсии... Но из России получались вести об одних трагических событиях.

После 1 марта 1881 г. движение, видимо, затихло. Перед правительством широко распахнулись ворота, и оно вошло грузное, мрачное, жестокое, довольное и беспощадное ко всему, чуждому ему. Кое-кто ожидал проведения им в жизнь новых начал, однако, при общем гробовом молчании, оно ничего не пыталось делать в этом смысле, и вновь начались подземные струи, работа подпольных шахтеров, что порой непредвиденно выявлялось наружу. Новые люди, со старыми и новыми идеями о вопросах строительства общественной жизни, о фундаментальных основах, прибывали и множились, сыщики, как бакланы, высматривали рыбу и рыбешку.

⁹⁴ Волкенштейн Людмила Александровна (1857–1906) — член «Народной воли», по «процессу 14-ти» (1884) приговорена к 15 годам каторги.

Теперь, когда работа стала ясна для всех, правительственные бакланы усилили только свою работу, работу катящегося в пропасть и хватающегося за каждый камешек, за былинку. Все остроги переполнились до чрезвычайности, до полной насыщенности. В продолжение моего 8-месячного сидения сменилось никак не меньше 5–6 очередей арестованных. Большинство засиживалось не больше трех месяцев. Одних выпускали на поруки, других — «за недостатком данных» — освобождали, через две-три недели ввергая вновь в узилище. Дом предв. заключения именовался тогда не без основания «курортом Де-Пе-Зе». Состав пленниц был самый пестрый, причудливый, по меткому выражению одной — «всякого жита по лопате». Сидели иногда лица, такие далекие от нас, столь чуждые, что невозможно было понять, в чем и чем, собственно, они провинились. Одна совершенно простая еврейка, схваченная в никому неведомом местечке, ввергнутая в одиночку, ни слова не говорившая по-русски, едва одетая, целыми днями выла по волчьей и молилась богу без притворства. Она нагоняла на своих соседок невыразимую жуть. Другая — русская женщина, очень смелая, с неугомонным исканием чего-то для нее самой не вполне ясного. Началось, как это часто происходит с простыми людьми, с религии. По монастырям она домыкалась до полного презрения к монахам и святыням. Сейчас она как будто мстила всем и каждому за свою душевную пустоту. Грубо дерзкая во всем, она до исступления ненавидела Л. Н. Толстого (но читала его внимательно!), главным образом, за проповедь «непротивления». Полицию ненавидела за надругательства, за обиды. Не было возможности понять причины ее ареста, так далека она была от нас всех. На своих однокамерниц она смотрела, как на девчонок, у которых «ветер в голове». Она имела легальную типографию и, кажется, печатала в ней с корыстной целью нелегальщину. Сидели барышни «союзницы», «освобожденки», анархистки, бундистки, но главный, подавляющий элемент составляли с.-д. — большевички и меньшевички. Среди нас и раньше были товарищи этого для меня нового направления, но в таком ярко выраженном виде мне их еще не доводилось встречать. С захватывающим любопытством всматривалась я в это молодое, новое, выросшее в других условиях, с иными несколькими потребностями, с новыми песнями. Много было в этом гомонящем улье молодой нетерпимости, отваги, энтузиазма, всегда свойственных юности. Нередко проявлялись ими и смешные штрихи, без всякой надобности резкие, без нужды грубые. Привезут, например, новую партию арестованных, — даже в позднее ночное время, сейчас же из какого-нибудь окна задается вопрос:

— Новенькая, кто вы?

— С.-д., -ответят прибывшие.

— Большевички или меньшевички?

— Большевички.

— Ну, слава богу, — утешается меньшевичка, — не наши...

Происходили и более печальные случаи, когда вопрос касался отношения к людям несколько иных воззрений, не «нашего кутка».

Праздновалось у нас 1 мая.

С утра на решетках у одних развевались красные флажки, у других, за нехваткой материала, красные ленты, цветы. На прогулку из общей камеры вышли с флагом — по красному с белой надписью: «Да здравствует Р.С.Д.Р.П.», на другой стороне: «Да здравствует демократическая республика!»; пели революционные песни.

Мы стояли у большого окна, выходящего в прогулочный дворик-садик, вместе с с.д., которые провозглашали здравицу своей партии, причем кое-кто выкрикивал: «Долой с. — ров, долой серых!» Аналогичные случаи изредка повторялись кое-кем и после, но при спокойном отношении к ним, эти демонстрации не имели серьезных последствий, и самые занозистые потом даже совестились этих выпадов. «В тюрьме, — соглашались они — мы все одинаковы перед начальством, нашим общим врагом».

В общем, разница между людьми прошлого и представителями современного движения (это относится исключительно к побывавшим в одной купели со мной) была и в теоретических взглядах, но еще более она выражалась в психологии. Они были более

«индивидуальны, более узки, по большей части неосердечены». Про значительную часть населявших тюрьму — их прогастролировало за 8 месяцев едва ли не более 400 — надзирательницы говорили: «Какие это социалистки? Им бы для себя побольше удобств, заgreбистые все». В этом была не вся, но значительная доля правды. Два-три месяца считались почти всеми предельным сроком заключения, после чего наши невольницы изнемогали, начинали ныть, хлопотать о поруках, подстегивая родных обивать пороги со слезницами...

— Вы давно сидите? — задается обычно на прогулке вопрос, заменивший «здравствуйте».

— Давно, ох, как давно! Три месяца.

Или с утра в окно идет обсуждение — длинное, нудное, — почему затянулось освобождение и можно ли ждать скоро выпуска на волю... В голосе, в настроении звенит повышенное, нервное раздражение, не допускающее и мысли о том, чтобы оставаться дольше здесь. На чье-нибудь замечание — «другие сидели годами», отвечали: «то толстокожие были». Думалось, что в некоторые исторические моменты эти характерные психологические черты были бы не минусами, а, пожалуй, плюсами.

Крепко вросшая в юные сердца нетерпимость, по счастью, не препятствовала нам всем спаяться воедино в тюрьме. Объединяло нас всего сильнее сознание одного общего врага, один склеп, сомкнувший над нами свои серые стены, и один даже длинный деревянный стол, мозаично испещренный вырезками имен и фамилий прошлых и настоящих узниц, за которым смешивались с. — д., анархистки, с.-р., «союзницы» и многие иные прочие. Мы жили в положении зерна между жерновами на мельнице. Все одинаково ощущали тяжесть, и эта однородность положения принудительно диктовала забыть все наши несогласия и разномыслия. Но таилось и еще что-то глубокое, важное, всех объединяющее, — может быть, это была любовь к родине, к несчастному народу... И все-таки... все-таки всегда при наших беседах сохранялась между нами перегородка, расстояние, смягчаемое культурностью, совестью. Нужно было предоставить каждому идти своей дорогой, говоря иначе — следовать тысячам причин, толкавшим каждого из нас по тому или иному пути.

Новое помещение, куда перевел меня доктор, называлось больницей лишь по недоразумению. Оно носило характер большой проезжей дороги, по которой от зари до ночи двигались пешеходы разного чина и ранга. В освобождавшемся же кабинете доктора, сейчас же примыкавшем к комнате больных, в послеобеденное время арестованные нередко предъявлялись филерам, или велись допросы политическим. Это совмещение в приемной доктора столь противоположных функций внедрялось и нашу больничную обстановку раздражающим элементом, от которого сильно нарушался наш покой и еще больше наши занятия. И порой какая-нибудь из больных, приведенная в ярость присутствием шпигов или жандармов вот тут, рядом, совсем около нас, стуком в дверь и криком выгоняла из кабинета охранников. Некоторые, уходя, грозили расправиться с «больными» по-настоящему...

В первые дни по переводе в больницу там из политических никого не было, и со мной находилась неотлучно уголовная сиделка Домна, чуть ли не в десятый раз отбывавшая наказание за мелкое воровство. Немолодая, корявая, непригожая с виду, имевшая двух взрослых, хорошо воспитанных дочерей, женщина эта была натурой сложной, интересной, необычайно щепетильной, до мелочности честной в период сиденья в тюрьме, чувствительной к малейшему проявлению участия, внимания. В тюрьме она глубоко и сильно страдала. За два года до моего знакомства с Домной она так же и в том же звании сиделки находилась при политической в лазарете. Однажды утром, после уборки камеры, заключенная, не найдя снятых ею вечером двух дорогих колец, обвинила в покраже Домну. Выметенный утром при уборке палаты сор был уже отнесен на мужское отделение, в общую свальную яму. Домна клялась в невинности, но кто же поверит «воровке»? Стоя на коленях перед начальником тюрьмы, Домна призывала все небесные кары на голову свою и своих детей, если это ее грех, просила пустить на двор мужского отделения перетрясти

сор, — все тщетно! «Тогда у меня душа окаменела, сердце застыло, как будто все погибло и сама я пропала навсегда. Но тогда нашелся-таки человек, пожалевший меня. Этого человека я до самого последнего-вздоха моего буду вспоминать, призывать на него господнюю милость», — рассказывала мне эту историю Домна.

То был один из помощников начальника тюрьмы, действительно добрый и душевный Василий Иванович, — простота среди постоянной суровости, заглядывавшая иногда в человеческое сердце ласковым лучом. Он, испросив у начальника разрешение, взял двух уголовных, которые, пропустив сор через большое решето, нашли кольца в присутствии помощника. (На этом месте моя Домна смолкала, подавленная чем-то страшным, ужас и мучительная скорбь заполняли все ее существо). После обнаружения невиновности, Домна лежала долго на постели в полусознательном состоянии, и ей теперь было все равно, все безразлично, одна только мучительная безысходная тоска охватила ее. всю... Потом пришла к ней заключенная и, став на колени, просила простить, забыть. «Пошла от меня, ничего мне от тебя не нужно», — бросила ей Домна.

Эта же Домна знакомила меня с сидевшими раньше нас, с дочерью профессора Мержеевского и с Зинаидой Васильевной Коноплянниковой, убившей впоследствии генерала Мина. Она говорила в особенности о ней часто и много, с какой-то трогательной нежностью, и возвращалась опять и опять к воспоминанию о ней каждый раз с новыми деталями.

— Я видела-таки на своем веку много всяких, но такие редко встречаются, — каким-то тихим, взволнованным голосом рассказывала Домна, — все в ней пригнано, складно, ничего не забыто, наипаче любви и справедливости, внимания к простому народу.

Тюремное начальство, как рецидивистку, не любило Домну, пыталось не раз отправить ее, как уже осужденную, в Литовский замок. Литовский замок... Уже самое название этого старого мешка способно было родить смутное беспокойство, тревогу. Там режим стоял суровее, чем в других тюрьмах.

«Отбывающие» были отягощены продолжительными работами, свидания давались реже, чем в других местах заточения, добыть копейку было очень нелегко. Естественно, что Домна, очень дорожившая свиданиями со своими дочерьми, отбивалась всеми правдами и неправдами, работала не покладая рук, лишь бы избежать отправки в Литовский. Нам, политическим, она не оказывала каких-либо нелегальных услуг, ничего выходящего из ряда своих обязанностей. Она просто с нами была хороша, душевна, много расспрашивала, интересовалась сущностью тогдашних направлений, довольно хорошо разбиралась не в одних людях, но и в вопросах жизни. Между тем, начальство женского отделения непритворно было убеждено в Домниной черной неблагодарности и измене, во всяких противозаконных услугах нам.

Когда-то Домна страдала трахомой; заразительный период, по определению доктора, давно миновал. Но не считаясь с мнением доктора и охраняя якобы Мержеевскую и Коноплянникову, заботливые сторожа решили экспортировать Домну в Литовский замок. Эту предупредительную меру Мержеевская и Коноплянникова находили ненужной для себя, по отношению же к сиделке чрезмерно жестокой, и даже зараза нимало их не пугала. В этот раз им удалось защитить горемычную женщину. В душе Домны сохранилась глубокая, неиссякаемая признательность к скромной и простой Коноплянниковой: — «Она меня, голубушка, отстояла, ведь, ссылку-то отменили. На своем веку я много видела бесчеловечья, но тут она меня, как птица свое дитя, укрыла. Никогда не давала она мне почувствовать мою греховность. Пила, ела вместе со мной, одним полотенцем утиралась», — вспоминала Домна.

Зинаида Васильевна Коноплянникова тогда была освобождена; в 1905 г. она приезжала в Женеву на короткий срок по серьезным делам. 13 августа 1906 г. в деревне Луизино, близ Нового Петергофа, на вокзале тремя выстрелами она убила генерала Мина за беспощадные расстрелы в Москве и на станциях жел. — дор. рабочих.

26 августа того же года, в одной из камер Трубецкого бастиона Петропавловской

крепости происходил военно-полевой суд над З. В. Коноплянниковой. Свою речь на суде она закончила так: «Вы меня приговорите к смертной казни. Где бы мне ни пришлось умирать — на виселице ли, в каторге ли, в застенках ли, я умру с одной мыслью: прости, мой народ! Я так мало могла тебе дать — только одну свою жизнь. Умру же с полной верой в то, что наступят те дни недалекие,

Когда трон, пошатнувшись, падет,
И над русской равниной широкою
Ярко солнце свободы взойдет.

В ночь с 28 на 29 августа Коноплянникова перевезена была из Петропавловской крепости в Шлиссельбург, где утром над ней была совершена казнь. Бодро вошла она на эшафот и сама надела на себя петлю.

Решение не ездить на допросы вызвало сначала со стороны властей самые нелепые и несуразные меры и приемы: то схватят возвращающуюся со свидания к себе в камеру; то вышедшую из бани, едва одетую, подхватят под руки. Выведенная за дверь женского отделения, похищенная вручалась поджидавшим там жандармам. Ничего не достигнув этим, потому что уволоченная таким образом не проронила ни одного звука допрашивающему, они стали тогда лгать, обманывать, а надзирательницы усердствовали вовсю. Особенным старанием отличалась помощница старшей смотрительницы, прескверное, злобное существо (немка), рыжая, со ртом жабы, речь ее походила на чавканье, слова она жевала и как-то злобно тарасила глаза. Тюрьма, или еще что иное, навсегда заморозили ее душу, и она с готовностью старалась превзойти меру жестокости к каждой заключенной и даже к своим сослуживицам. Вскоре после моего ареста она вбежала, запыхавшись, ко мне: „Собирайтесь скорее, собирайтесь, берите все вещи, не забудьте чего... вас выпускают“. В тюрьме часто верится в большую нелепость, а в то неустойчивое время и подавно хотелось верить: а и взаправду не на свободу ли?... Но сейчас же пришло колебание, раздумье. Заметив эту нерешительность, надзирательница стала креститься на икону: „Клянусь вам, клянусь, то правда: выпускают“. Набросив быстро принесенную верхнюю одежду, медленно, неполными шагами спускаюсь вниз. В канцелярии меня окружили незнакомые бабы, прокурор — это оказалось простое предъявление свидетелям, шпикам.

Бывали случаи много подлее. Является смотритель с бумагой, сопровождаемый товарищем прокурора, читается громогласно распоряжение об освобождении такой-то. Какой неверный Фома мог заподозрить обман? Товарищ прокурора важно читал бумагу, смотритель выражал на своем лице благожелательное расположение, надзирательницы помогали укладывать вещи освобождаемой, стягивали корзину. „Все готово. С богом!“ — напутствует товарищ прокурора. Заключенную торжественно ведут и втискивают с двумя жандармами в карету, вещи громоздят на козлы. Из окон женского отделения сотни настороженных глаз внимательно следят, дивясь необычному случаю, посылая для верности прощальные возгласы. Час-два проходит, когда медленно въезжает обратно карета с вещами уехавшей на козлах. С удвоенным вниманием из окон смотрят и ждут. Кто-нибудь из более экспансивных не выдерживает характера, кричит: „Товарищи, это вещи освобожденной вернулись!“. Из остановившейся кареты выскакивает печальная, возмущенная, два часа назад „выпущенная“. Ее вместе с ее потрохами возили всего только на допрос, хотя она ничего не говорила там и давно отказалась от показаний. Жандармы вели эту игру долго, упорно, вплоть до манифеста, до самого дня его объявления. К этой упорной борьбе с обеих сторон придется вернуться еще потом.

Свобода, как волна от камешка, брошенного в воду, распространяется кругом и дальше, шире, начавшись в одной точке, перебрасывается даже через стены тюрьмы. Нигде, кажется, чувствительность к переменам правительственной системы так резко не обозначается, как у стерегущих тюремщиков — от высшего до низшего ранга. Подобно магнитной стрелке, совсем ничтожное движение правительственного ветерка отклоняет их вправо, влево, и

безошибочно по тюремной администрации заключенные могли определять веяние и настроение „верхов“.

В свободный период жизнь Д.П.З. представляла нечто замечательное. Было ли всюду в тюрьмах тогда такое же положение, не могу сказать. И хотя это образцовое учреждение никогда почти не было излишне жестокой тюрьмой, как, например, Крепость, но грубость в нравах была, делались заключенным ненужные неприятности. В описываемое время эта тюрьма была всецело завоевана сидевшими явочным порядком. Приемы борьбы были по существу революционными приемами, принявшими в конце концов форму тюремной конституции. Главная роль в этой неустанной борьбе, инициатива, думается, принадлежала Зине Дешевой, единой почти тогда революционерке по характеру и всему складу своего темперамента, очень умной, твердой воли девушке.

В отношениях начальства к нам заметно проявлялась двойственность, колебание: оно теряло под ногами почву, не так уж было уверено в своей правоте. Что-то треснуло, сломалось, но привычное, долгими годами прижитое, вклинившееся глубоко внутрь еще сохранилось, да и страх еще держался крепко в их душах. Один жандарм как-то выразился в то время: „Дорого бы я дал тому, кто бы мне сказал наверное: есть бог или нет его“. Такой же вопрос возникал тогда и по отношению к начальству. Наша ближайшая, непосредственная власть то ослабляла обычный режим, то вдруг вновь начинала подтягивать, серьезничать.

Сидел у нас прелестный мальчик (еврей), крошечное, нежное, как светлячок, существо; мать его была русская уголовная женщина. Она его привела с собою в тюрьму в лохмотьях и буквально покрытого язвами, коростой. Политические, и особенно Таня и Зина, выпестовали его на славу. Не жалеючи сил, они оскабливали его долго и упорно, пока он стал совсем чудесным, здоровым и веселым ребенком.

Вся тюрьма тогда свергала (словесно, конечно) ежеминутно, ежечасно самодержавие, а с ним весь его служебный штаб. Привозимые вновь арестованные, вызываемые и возвращаемые со свидания, встречаемое начальство, возвращение с прогулки — все вызывало своеобразное приветствие возгласом — „долой самодержавие“. И заключенные из более решительных заставляли даже рыжую немку произносить эти страшные слова.

— А, вот, не скажете этих слов, боитесь! — подступали они к ней.

— И скажу, и нишего не боюсь!

Она, действительно, шепотком произносила одно только слово: „долой“.

Понятно и естественно, что наш умненький, живой мальчик тоже научился „свергать“. Как-то однажды, когда по галерее вместе со зрителем шли прокурор с жандармским генералом, Петя понесся вприпрыжку им навстречу. Подпустив их близко к себе, он звонко начал выкрикивать: „Долой самодержавие, долой жандармов, прокурора, долой! долой!..“

— Кто его научил? — обратились те к помертвевшей и лязгавшей зубами надзирательнице, которая не была в состоянии ответить им от сильнейшего страха. („Все у меня захолонуло“, — рассказывала она потом).

— Кто тебя научил так кричать, мальчик? — вкрадчиво спросил прокурор.

— Зиночка и Таничка всегда это кричат, — отвечал со смехом Петя.

Разумеется, переходившего раньше свободно из камеры в камеру по политическим и жившего всегда с нами Петю унесли тотчас же в уголовное отделение к матери, и долго раздавался его отчаянный крик по всему женскому отделению. Заключенные волновались, некоторые плакали, обсуждая, чем ответить этим негодьям. Вся администрация купно с начальником тюрьмы раньше слушала не один раз выкрики ребенка с улыбкой, кое-кто даже с поощрением, теперь же ими были приняты строгие меры: Петю не выпускали ни на прогулку к нам, ни в коридоры.

Разумеется, разлившаяся широкой рекой вольность претворялась в возгласы, пение революционных песен хором, нарушение прогулочной дисциплины и т. д. Все эти попустительства объяснялись общей правительственной растерянностью, а у маленьких людей, пешек, страхом перед чем-то непонятным, большим. Из предусмотрительности

кое-кто из них, препятствуя кричать, тем не менее пугаясь этих непривычных звуков, говорил: „Как вам не надоест все одно и то же кричать, переменили бы на другое“.

Всего сильнее подвергались этим словесным обстрелам, вылетавшим целыми залпами, дружно, из всех окон, жандармы, злоба которых не унималась до самого конца. Ни один пеший, ни одна карета жандармская, въезжавшая в тюремный двор, не избегали самой шумной встречи, самых лестных эпитетов: „Долой палачей-жандармов, шпионов, долой!“. Были отдельные случаи попыток бросить в них через окна общей камеры чем-либо, что подвертывалось под руку, но эта мера была отвергнута огромным большинством сидевших, в ней не было необходимости, а опасность угодить в голову игравшим детям во дворе была.

Жандармы приняли манеру пробираться наподобие кошки, крадущейся за птицей. Тихо отворялись тюремные ворота, бесшумно, прижимаясь вплотную к стене, отделявшей нас от общего двора, двигалась карета. Лошади, точно слепые, шмыгали ногами, кучер опускал вожжи, сидел вольно, как полагается, когда едет без седока. Но была еще одна общая камера, с окнами на двор, откуда производились наблюдения с большими удобствами, и в надлежащий момент подавался сигнал. Для ошеломляющего эффекта, все окна тюрьмы оставались пустыми, безмолвными, не видно было ни души, ни единой фигуры; полное молчание. Дверцы кареты чуть-чуть приоткрывались, чтобы окинуть беглым взглядом наши окна. Убедившись в безлюдии, вытягивалась уже голова, после чего пробкой выбрасывался жандарм. Подхватив свою шашку и полы, шинели, он опрометью бросался в дверь канцелярии. И все же, как бы он быстро ни улепетывал туда, звонкое многоголосое приветствие настигало его в пору. Картина менялась сообразно характеру действующих лиц. Более злобные, вместо головы, высовывали из кареты здоровенный кулак, с угрожающим жестом в направлении наших окон, и уже вслед за этим стратегическим маневром вылезал и сам жандарм. Нетрудно представить, какие чувства вызывал этот кулак. В такие-то моменты и являлись попытки ответить чем-нибудь посущественнее. С тою же экспрессивной внимательностью принимались офицеры и все чины крупного ранга. Простые рядовые жандармы, возившие на допросы арестованных, не принявших партийных постановлений, с некоторой робостью не то говорили, не то просили: „Само собой, барышни, вы самодержавие-то кричите, ну, а насчет нас — напрасно: себя беспокоите, и нам слушать обидно“.

Неукротимая злоба нарастала против всего женского отделения политиков; и один из офицеров-жандармов, поляк по национальности (фамилию запомнила), без толку явившийся в Д. П.З. для допросов, сказал однажды: „Подождите, мы вас со временем начнем пытаться и драть, тогда посмотрим, откажетесь ли вы давать показания“. При передаче вернувшейся с допроса этих угроз, мы все смеялись, не допуская ни на один миг, что подобное может когда-нибудь случиться...

В августе к прежнему решению — ничего на допросе не говорить, уподобляясь бесчувственной статуе, состоялось маленькое добавление, принятое подавляющим большинством, и это новое дополнение считалось обязательным для всех, даже вновь прибывающих. Не давать показаний еще не значит противодействовать жандармскому сыску это не лишало их возможности обнаружить при помощи шпионов и добровольцев связи, причастность и т. п. Находили более последовательным и целесообразным решительно уклоняться от всяких поездок в жандармское управление, а буде силой начнут брать, — производить оставшимися обструкции во все время, пока увезенную не вернут обратно к нам в Д. П. З. Случай такой не заставил себя долго ждать.

Была суббота, день бани. Мы, сидевшие в общих камерах, ходили в баню партиями в 5–6 человек, одиночки не смешивались с общими. Уход из бани обратно в камеру допускался частичный — кто раньше кончал свое дело. Одну из двух ходивших, перехватив по дороге, поволокли на допрос. Мигом облетевшая всю тюрьму весть вызвала общее негодование и поставила на ноги все камеры. Кто с чем, все бросились к дверям, окнам, производя неопишумый грохот, крик, визг. Кто бил железной тарелкой в решетку, кто — жестяным тазом, кружкой, ножом; другие ухали чем попало в дверь. Смешавшись в общую

какофонию, в общий оглушительный рев, звуки эти разносились по галереям, заглушая все и всех. Бегавшее через двор начальство встречалось испуганным визгом, прорезавшим на далекое расстояние воздух и разносившим даже за стены эти отчаянные вопли. Начальство металось во все места, закрывая наглухо двери галерей: надзирательницы, затыкая пальцами уши, носились с этажа на этаж, упрашивая кончить, наконец, эту музыку. Продолжалась обструкция ровно до того времени, когда возвратили с допроса воровски увезенную. Разбитые, измученные заключенные все молчаливо бродили по камерам, ожидая второго действия. Никто, понятно, не рассчитывал на безнаказанность; ожидалось, что сейчас явятся надзиратели или солдаты, и начнется подлинная бомбардировка.

— Только бы не били по лицу, — закрываясь ладонями, говорила молоденькая, хорошенькая девочка.

Вечером, уже вернувшись из бани, мы, больничные, собрались около крошечного столика; одни лежали, другие сидели, слушая общее чтение. Резкий свет небольшой электрической лампочки освещал усталые лица, с синевой под глазами. У свеженькой, юной Шурочки до неузнаваемости изменилось кругленькое личико, точно она перенесла тяжкую хворь. Было тихо, казалось, все мускулы ослабели и нервы упали. Вдруг дверь прилегавшего докторского кабинета быстро распахнулась, на пороге появился начальник тюрьмы во всех своих регалиях, а позади него, едва вмещааясь в кабинете, сгрудились во множестве надзиратели „при оружии“.

— Собирайтесь! — грубо крикнул начальник.

— Куда? — спросила одна из нас.

— Куда надо! Увидите.

Зачем привели столько вооруженных надзирателей — осталось недоуменным вопросом. Нас всего только развели по общим камерам, без сопротивления и насилия. Нас, больничных, винули в том, будто мы кричали в окна — на двор Окружного Суда, о котором мы тогда не помнили и не думали. Говорили, что болезнь и обструкция — несовместимы. Дней через десять, по настоянию доктора, меня возвратили в лазарет, но уже одну, без милой молодежи, которая так много спорила и горячилась по вопросам дня, — „Бечки“ с „Мечками“, как звались тогда большевики и меньшевики.

Население общей камеры, куда я была втиснута на короткий срок, почти все состояло из с.-д. меньшевичек, очень молодых, детски наивных, „необстрелянных“, которые были весьма неосведомлены о том, что было до них, но с уверенностью отрицали. Кажется, у Пирогова говорится, что молодость даровитая больше, чем посредственная, — заносчива, самолюбива, а еще чаще тщеславна. Для наших новых сожительниц это сидение в тюрьме было первым крещением. Под руководством одной нелегальной, старше их по возрасту и опыту, очень способной женщины, был выработан режим для систематических занятий, целиком, безоговорочно подчинивший всех сокамерниц, никаких отступлений не допускавший. День был разбит на „упряжки“, никаких нарушений они не позволяли ни себе, ни с ними случайной судьбой сведенным. Среди них находилась единственная с.-р., нежная, хрупкая, совершенное дитя, смотревшая мечтательно своими большими синими глазами, по-детски чистыми, обрамленными длинными-ресницами; вся худенькая, еще несложившаяся, гибкая, с узкими острыми плечиками, вытянутой шейкой и длинными-предлинными двумя косами, с гладкой прической.

Это была Лидия Стуре, повешенная потом в числе семи в 1908 г. *(В 1906 году подготовлялось „Летучим боевым отрядом Северной области“ покушение на в. кн. Николая Николаевич⁹⁵ и на министра юстиции Щегловитова⁹⁶. Руководителем, после ареста в*

⁹⁵ Николай Николаевич (младший), вел. князь (1856–1929) — командующий войсками гвардии и Петербургского военного округа (1905–1914).

⁹⁶ Щегловитов Иван Григорьевич (1861–1918) — министр юстиции в 1906–1915.

ноябре предыдущего года „Карла“. „Летуч. боев. отр. Северн. обл.“ стал Марио-Кальвино-Лебединцев. В отряд входили: Анна Распутина, Сергей Баранов, Александр Смирнов, Вера Янчевская, Афанасий Николаев, Петр Константинов и революционерка Катя. К ликвидации отряда послужило указание Азефа. На Михайловской улице были задержаны Стуре и Лев Синегуб, у которых к поясу крючками были прикреплены взрывные снаряды. Из браунинга Стуре успела выстрелить в агента. „Север. отр.“ покончил свое существование. 7 человек были повешены.) . Она спала рядом со мною бок о бок, близ выходной двери. Ворочаясь по-ребячьи беспокойно во все стороны, вздыхая, часто шепча чье-то имя, она проводила ночи тревожно, без сна. Лидия Стуре никому не жаловалась на свое положение, не выражала раскаяния или сожаления по утраченной вольной жизни, но ей, как птичке, не хватало воздуха, вольной стихии. Чтобы не быть схваченной из коридора на допрос, она отказалась от прогулок, при появлении во дворе кареты быстро сбрасывала с себя одежду и ложилась в постель. „Пусть несут меня, сама не пойду, из кареты не выйду, в жандармской не встану“, — говорила она. И никто не сомневался, что вызови ее жандарм на допрос, она бы именно так и сделала.

Регулярный образ жизни, распределенный на „упряжки“, хорош, если счастливая судьба собрала в камере людей схожих и с одинаковыми склонностями; тогда свободно вырабатывается обязательный модус для совместной жизни, своего рода конституция. Иное дело в то время: хлынувший поток движения, а еще больше — растерявшиеся власти смешали чистое и мутное, крупное и мелкое и ссыпали все в один закром. К этому надо добавить еще, что тогда мало кто рассчитывал засидеться долго в тюрьме, все считали себя гастролерами, перелетными птицами: сегодня в Д. П. 3., а завтра на воле. Как тут спокойно заниматься, изучать Маркса... В нашей камере занимавшиеся ложились спать „с курами“, а вставали „с петухами“. С утра до обеда задалбывали Маркса, Плеханова, Каутского. После обеда полагалось легкое общее чтение. С таким распорядком дня Стуре и еще однородная по характеру с Лидией с.-д. заявили свое несогласие и потребовали отмены общего чтения. Бессонные ночи пополнялись для них, хотя отчасти, утренним подкрепляющим сном, и они были не в состоянии подниматься рано вместе с остальными. Для личных занятий Стуре оставался короткий вечер, к тому же общее чтение ее не удовлетворяло, — надо заметить, что в выработке порядка дня участвовали не все. Все говорило за пересмотр устава о внутреннем распорядке жизни в камере. Выраженное этими двумя членами общегития желание большинством было отвергнуто. Тогда Стуре со своей единомышленницей объявили голодовку, до удовлетворения их требований, но, однако, они объявили об этом исключительно в своей камере, с твердым желанием камерной тайны, и в этом смысле взяли слово не разглашать их решение в других камерах и среди публики вообще. Но как же замолчать такую ошеломляющую новость? Противная сторона сначала уступок делать не желала; разрешился этот печальный конфликт чуть ли не на четвертый день голодовки, после вмешательства части заключенных, уступкой большинства. Незадолго до освобождения Стуре, мы с ней повстречались на прогулке. Она стояла по другую сторону забора, делившего наш крошечный прогулочный дворик на четвертушки. В пробитую значительную скважину в заборе хорошо виднелась эта стройная, как фарфоровая колонка, вся светлая, красивая девушка. С грустной улыбкой и омраченным выражением чистых глаз, она рассказывала и оправдывалась в своем необдуманном поступке. Ее волновало и мучило всего сильнее небрежное отношение к сокамерницам. „Вы такая больная, не спите, а они не понимают“, — смущенно добавила Стуре под конец нашего разговора.

Вскоре ее освободили, но в 1908 г. на ее тоненькой шее затянули веревку...

О смягчении ей приговора много хлопотал один член Государственной Думы, но хлопоты не имели успеха, и Стуре все же повесили.

Другая, кончившая еще более трагически, была Ольга Генкина, тоже сидевшая перед революцией с нами в одиночке второго этажа. Ольга Генкина погибла в дни „свобод“, в Сормове. В каждую прогулку ее можно было видеть на окне. Бледное личико, с темными, искрящимися весельем глазами, выдвигалось в окне. Живая, всегда радостная, красиво

говорившая, она во время прогулок привлекала публику своими полными интереса разговорами, остроумными репликами, живою передачею новостей с вольного света, приносимых ею со свиданий. Задолго до манифеста выпущенная на поруки с другой заключенной, они забыли действительность и перенесли за стены тюрьмы „свободу“. Ожидая извозчика у тюремных ворот, они все время кричали: „Долой самодержавие, долой бюрократию!“. Проезжавший мимо них какой-то гвардейский офицер долгом чести почел завернуть в охранку и в качестве любителя-добровольца доложить. При этом он подробно указал приметы кричавших. Через полторы недели Генкина со своей подругой появились у нас опять, приехали к нам на „свободный курорт“. „Кричите здесь, сколько хотите“, — сказал им при этом смотритель. Долго по водворении в узилище никто из нас не видел в окне красивого личика прелестной узницы, не слышал ее серебром звящего голоса. При экспансивности ее характера, это нас всех удивляло. „Стыдно, дурака сыграла“, — ответила она кому-то на вызовы.

В 1906 г. Ольгу Генкину разорвали в Сормове на вокзале черносотенцы купно с жандармами. Карауливший ее офицер и вокзальное начальство, пока жандармы уходили сзывать свою банду, имели достаточно времени и возможности спасти О. Генкину, но не захотели этого сделать и охотно отдали беззащитную девушку на растерзание.

Первая наша обструкция сошла для нас благополучно. На такую безнаказанность никто не рассчитывал. Ближайшее начальство проявляло какую-то внешнюю суетливую суровость. Вскоре оно, однако, нашло некоторое удовлетворение, компенсацию за понесенный престижем власти ущерб, настроивши против нас уголовных женщин, организовав в тюрьме черную сотню, тогда уже по всей России проявившую себя весьма недвуммысленно. К нам она тоже была занесена в виде вспомогательного средства. Для оборудования этой организации была достаточная почва, созданная нашим привилегированным положением, — не нами, конечно, созданным, — и несколько небрежным отношением, свойственным вообще культурному человеку по отношению к „черному брату“. А если принять в соображение слишком молодой тогдашний состав арестованных, их неопытность, то ошибки и промахи в отношениях к уголовным станут весьма понятны. Мы пользовались их услугами, их работой в силу созданных правительством для нас условий, которые большинство сидевших охотно бы изменило, от которых отказалось бы при возможности самим выполнять работу. Но и при созданной не нами обстановке необходимо было помнить, что около нас, тут же рядом, живут чувствующие, равно страдающие люди. Натруженные, усталые, они часто нами, — неумышленно, разумеется, — игнорировались, их самочувствие вовсе не принималось в расчет. Им рано нужно было вставать на работу, а у нас затягивалось пение, разговоры, ночные вызовы привозимых. Чрезвычайная перегруженность уголовных общих камер по мере умножившихся политических арестов едва ли не послужила главным стимулом для образования „черной сотни“. После примирения одна из уголовных коновонок, в оправдание своих гнусностей, приводила это переполнение, как главный мотив. К скученности в камере еще присоединились противоестественные отношения двух уголовных женщин, предававшихся своему пороку тут же, на глазах у всех, даже днем. Камерницы много раз призывали начальство, прося убрать этих двух куда-нибудь и разредить камеру. Начальство указывало, что виновницы скученности — политические, занявшие все камеры, а впереди, быть-может, ждет еще горшее от все возрастающих привозов арестуемых. При таком положении достаточно было бросить в среду уголовных искру, чтобы вспыхнуло пламя. Все теперь принятые нами меры предосторожности, все внимание уже не могли затушить поднятого черносотенного движения. Стоило начать петь в те часы, когда они сами раньше просили и охотно слушали, как поднимался ураган самой отвратительной ругани, самых скверных угроз. Даже дневное пение, разговор с гуляющими заглушались криками и свистом. А тут еще ближайшее начальство подливало горячего материала в огонь по мере своих сил. Происходивший в какой-то осенний праздник крестный ход ходил и по всем нашим галереям. Предупрежденные раньше об этом торжестве, политические галереи хранили полное

молчание, ничем ненарушаемую тишину при шествии духовенства. Но изобретательное начальство не посовестились шепнуть уголовным женщинам о нашем будто бы богохульстве во время хода с „хоругвями и крестами“. Вдруг все женское отделение вспылало жгучими монархическими чувствами и фанатической набожностью.

Упрекаемые в эксплуатации труда арестанток, мы прекратили отдавать в стирку белье, требовали назначить нам день в прачечной, чтобы самим мыть белье. Понятно, начальство отказало в этом, не стесняясь в то же время указывать уголовным на наше барское положение, всю тяжестью ложившееся на их плечи, на скудно оплачиваемый нами их труд. Помимо всей этой лжи, оно сулило в ближайший праздник накормить их пирогами и наградить каждую по 50 коп.

Поход против нас дошел до крайнего напряжения. Однажды в гулявших и певших марсельезу уголовные покушались бросать бутылки с кипятком. Было похоже на то, что им, как казакам, идущим в бой, выдавали по чарке водки. Ничем другим нельзя было объяснить их лютости.

Тянулось это прескверное положение, сколько помнится, не меньше месяца, постепенно стихая, и, наконец, кое-какие из них стали забегать к нашим, особенно к вновь привозимым. „Чего вы сердитесь?“ — говорили уборщицы, — поругались, и вся сказка. В сердцах-то и камень выругается, за глаза и царя бранят». Постепенно черная сотня растаяла, отношения приняли более нормальный характер.

Война с жандармами далеко не кончилась первыми обструкциями. Наши враги начали применять новый метод. Помощник смотрителя, совсем недурной человек, с оравой надзирателей врвался в камеру, хватили требуемого на допрос за руки и волокли в охранку, впрочем, без боя и грубого насилия. Если этот дикий набег происходил в общей камере, то остальные оказывали по мере своих сил противодействие — забаррикадированием двери, заключением в круг «умыкаемой», отбиванием наседающих всеми в камере находящимися предметами. В нашей общей камере один раз только случилась подобная битва. Вслед за уводом захваченной вся тюрьма стоном стонала. Во вторую, помнится, обструкцию кому-то из наших говорили потом, что талантливому прокурору Вуичу,⁹⁷ часто тершемуся в Д.П.З. для пополнения недостававших ему сведений, пришла счастливая мысль — применить воду, как средство умерить пыл обструкционисток...

В самый разгар обструкции на отделявшую наш дворик стену взбирался с водяной кишкой в руках здоровенный парень и, наводя кишку прямехонько на окна камер, пускал сильную широкую струю.

До одиночек вода не достигала, но камеры общие, ближе расположенные к стене, накачивались чудесно. Стоявшие у окон и бившие чем попало в решетку окачивались водяной струей с головы до ног, но они не оставляли своего поста, не прерывая ни на миг адской стукотни и только поворачивая лицо от резкой струи. Скоро, разлившись по камере, вода быстрым потоком уносила вещи, затем падала через галерею пятого этажа вниз водопадом. Этот непредвиденный пассаж вызвал среди администрации неописуемый переполох. Полетели эстафеты о неудаче придуманной и казавшейся такой остроумной атаки. Усмиритель с кишкой, оставляя стену, злобно плевался в нашу сторону.

Хватания силой повторялись и дальше, то ослабевая, то вспыхивая с новой яростью. Нам они дорого обходились: каждая обструкция лишала нас свиданий, писем, передач, из больницы нас загоняли снова в общую и т. д. Прошла последняя обструкция с насилиями, с баррикадами при вызове на допрос. Потом наступила полоса сравнительного покоя. Стали получаться все чаще радостные вести.

Глава XVIII

⁹⁷ Вуич Эммануил Иванович — прокурор Петербургской судебной палаты (1902–1905), директор Департамента полиции (1905–1906), сенатор.

Амнистия

В дни свиданий — пасхальные дни, — полные ликования и торжества, кое-кто из надзирательниц таинственным шепотом сообщал:

— Амнистия, слышно, готовится, всех выпустят.

— А вы-то откуда это знаете? — задавался им вопрос.

— К нашему жильцу приходил писарь канцелярский, сказывал — от верного человека слышал.

Возвращавшиеся со свидания кричали полным тоном: «Амнистия, общая амнистия готовится».

По нашей конституции допускалось и раньше и всегда, что в экстренных случаях кто-либо звонко кричал в окно:

— Товарищи, к окнам! Собирайтесь, товарищи! Десяток голосов повторял этот призыв, и скоро все окна заполнялись головами прислушивавшихся или к чтению газеты, или к свежим новостям. Сообщение об амнистии вызвало обсуждение, общее, через окна — принимать ли ее, если она будет неполная. Большинство высказывалось за принятие только полной, без изъятия, иную отринуть, совсем не принимать. Пускалась в обращение целая кипа писем, прокламаций, объяснения по этому остро царапнувшему всех сидящих вопросу, ставившему для некоторых решительно вопрос выхода или невыхода из тюрьмы.

«Господа, — писали из одной камеры совсем „свеженькие“, на рассвете доставленные в тюрьму, — господа, на воле революция, нужны люди, а вы отвергаете амнистию. Мы не можем оставаться здесь, может быть, конец борьбы зависит от нас».

«Так ежели мы очень нужны там, нас освободят, не торопитесь!» — отвечали на это обращение другие.

Горячие дебаты кончились принятием общей резолюции: не принимать амнистии, если она обойдет хоть кого-нибудь, хоть одного сидящего здесь.

Как ни старались сдерживать горячность и громкие выкрики отдельных камер указанием на близость всегда раскрытых в канцелярии окон, своевременно позволявших начальству знать наши решения, все же резолюция стала отлично известна всей администрации.

В ближайшую субботу, поведенные в баню, мы увидели все полки, лавки, подоконники, часть пола занятыми посудой с водой. — В чем дело? — началась забастовка. После обеда имевшие свидание бурей неслись по крутым лестницам, крича оглашенным криком: «забастовка, забастовка, товарищи! Всеобщая забастовка!».

— Долой самодержавие! Долой! — подхватывали из камер десятки голосов, повторяясь эхом и сливаясь в общий крик, звучавший неизъяснимым восторгом. Все пело, ликовало. На утро мы не получили молока. «Почему?» — хитро приставали к надзирательницам. По всему Д.П.З. шел звон, гудел набат о забастовке, начальство корчилось, как береста на огне. Оно отговаривалось полным незнанием. Одна правдивая надзирательница выразилась о них так: «Слушайте их, дураков. Забастовка идет! И какой в том вред сказать правду!».

Мы и сами знали эту правду, но нам хотелось услышать ее от наших врагов.

Наше тогдашнее настроение напоминало настроение живущих на колеблющейся почве — надежда и страх смущали сердце: осилит ли родная страна, выйдет ли на свет и волю, или потянется опять все прежнее?

На третий день забастовки, вечером, электричество в наших камерах стало притухать и, подобно усталым глазам, стало «моргать» все чаще, а интервалы темноты удлинились... Мигнет и наступает мрак, опять блеснет, и вновь — мрак еще гуще, темней.

— Смотрите в канцелярию, — кричит какая-нибудь из боковых камер, — светится там?

— Что это? — спрашивают голоса в жуткой темноте.

— Это умирает самодержавие! — весело отвечает радостный голос откуда-то издалека.

— Да, самодержавие умирает! — подхватывает целый хор, — смерть ему, смерть навсегда!

Дни менялись тогда быстро, все несло ускоренным темпом, сбрасывалось быстро и смело, как ветхая одежда, все приобретенное годами, прежние мысли, убеждения у многих колебались, рушились. Заведомо не интересовавшиеся ничем раньше, с митингов приходили к нам новыми людьми, заявлявшими себя сторонниками демократической республики. Удивляло это быстрое нарастание республиканских групп, целых кругов с этим направлением. Наши до глупости трусливые надзирательницы, весь мир которых ограничивался острожным двором, у которых при одном хотя бы шутилом намеке принести газету или письмо отправить по заячьим прижимались уши к спине, сделались до неузнаваемости другими, на себя непохожими. Вся эта задавленная, третируемая мелкота внезапно ощутила свое право на какое-то иное, не собачье существование. Теперь они бегали вперегонки на митинги, оживленные возвращались на службу, не стесняясь, громко рассказывали там слышанное, волнуясь и радуясь своему приобщению к общему великому и яркому, делясь на галереях ощущениями, ими испытанными: «Ах, Машенька, все у меня в голове точно перевернулось, хожу и земли под ногами не слышу», — говорила одна. Другие, как бы вдруг прозревшие, грозили уйти, бросить постыдную и подлую службу. Все бывало тогда...

Промелькнуло быстро немного дней, когда на заре наш настороженный сон прерван был неясным, глухим шумом, бряцанием оружия, движением чего-то большого.

Разумеется, мы все стояли у окон. Через наш двор в канцелярию, в комнаты свиданий вливались спешно, толкаясь, значительным током, как гурты овец в загон, вооруженные солдаты. Кажется, это были семеновцы, с белыми околышами, потом пущенные в дело усмирения в Москве. Офицеры, точно взявши сильную крепость, имели вид орлов. Они высокомерно, победителями расхаживали по двору, волоча и гремя по камням саблями. Вслед за их вторжением не замедлило появиться и объяснение этого чрезвычайного явления. Кое-где народ в России сам освободил заключенных. Боялись за нас... Солдаты, спрятанные по комнатам, недолго оставались там. Они, как стрижи, стали выскакивать из своих нор. Выйдет во двор один, закурит папироску и с видом фланера принимается осматривать всю обстановку двора, наши окна. Минуту позже выходят еще и еще много солдат. Их, видимо, интересуется наша стена, наши решетчатые окна, откуда смотрят на них напряженно, с тревогой сотни глаз.

Когда солдат скопилось много, кто-нибудь из окна обращался к ним: «Товарищи солдаты! Не слушайте начальства, не убивайте своих братьев-рабочих, не обгайте руки отцовской кровью»... — «Вы дети рабочих, — опять доносился голос, — когда мы устраивали стачку, мы хотели улучшить положение ваших отцов, матерей, братьев и сестер. Вот почему, когда офицеры прикажут вам палить в нас, не делайте этого, не слушайте их. Нам и вам нужна свобода!».

Произносились и говорились слова самые простые, обыкновенные, но тон и выражение производили потрясающее действие.

Солдаты напряженно вслушиваются в непривычные для их уха слова, они ближе подвигаются к стене, нас отделявшей. Выбегает фельдфебель или сам офицер, машет руками и загоняет солдат внутрь. Проходит пятьдесят минут — снова группа во дворе. Громко, отчетливо звучат слова, проникнутые нежной мольбой, любовью, горячим призывом: «Братья солдаты! Не пятняйте свою совесть, не берите великий непрощаемый грех на душу, не проливайте крови ваших отцов, братьев, матерей... Каждому из вас приходилось видеть на пашне волов, впряженных в ярмо, много пар волов. Управляемые одним погонщиком-подростком, они послушно пахали землю, не смея свернуть в сторону или заупрямиться, самим дорогу выбирать для себя. Со стороны было смотреть как-то чудно и непонятно: огромные здоровые волы послушно, безропотно работали весь день не для себя, и погонщик-мальчик, направлял их куда хотел. Ваши отцы-крестьяне, откуда вы сами вышли, и братья-рабочие долго жили в положении этих послушных волов, слепо повинаясь одному погонщику. Но вот они прозрели, ярмо, надетое на них, им опостылело, им захотелось быть вольными людьми, недохнуть с голоду, учить детей, как учат господ

своих, работать на себя и для себя. Вас, товарищи, братья-солдаты, ослепленных и оглушенных вашим начальством, посылают ограждать это рабство, вас заставляют убивать отцов, братьев. Откройте глаза, прислушайтесь, за что бунтуют крестьяне, чего хотят братья-рабочие. Жизнь их и ваша одинакова, она подобна жизни скота неразумного, диких зверей. Не уподобляйтесь, не походите на Каина, убившего брата!!!».

Вечером, после проверки, когда шум и движение прекращались, устанавливалось непрерывное обращение к солдатам.

На другой день из окна комнаты свиданий, выходящего на наш прогулочный дворик, через небольшую пробитую в стекле дырку, солдаты выбросили записку и устно передали общую их просьбу написать им то, что говорилось из окон; не все ими слышанное им понятно, не все долетает ясно до них. Еще просили они им растолковать, в чем дело, чего хотят рабочие и чего желаем мы, обращающиеся к ним. Одной заключенной, кажется, меньшевичкой, немедленно была написана прокламация; вслух прочитанная и одобренная всеми, прокламация с разъяснением сути и изложением требований, кончавшаяся так: «Надо, чтобы бедность ни из кого не делала холопа с холопской душой!».

В этот же день, когда солдаты искренно желали понять смысл и значение общественного движения, группа офицеров, выйдя во двор, со смехом и циничным глумлением, держа на отлете фуражки, расшаркиваясь, бросала в направлении наших окон: «Да здравствует демократическая республика!.. Ха-ха-ха! Де-мо-кра-тиче-ская рес-пуб-ли-ка!!!». Это повторялось много раз. Из камер, в свою очередь, посылали этим нахам возгласы глубокого возмущения — шумно, страстно.

Утомленные, измученные в этот нервный день мы рано легли спать. Конечно, большинство, тревожимое неизвестностью, не в состоянии было уснуть, но было приятно, вытянувшись, лежать в бездумьи. На всю тюрьму надвинулась тишина, как будто сошла глубокая задумчивость на всех; не слышалось ни шагов, ни слабого шороха от вечно шмыгавших надзирательниц. А, между тем, в этом общем покое, в этом нависшем мраке все чувства тонко обострились, все чего-то ждали, во что-то вслушивались. За полночь, внезапно, чей-то резкий голос прорезал густую тишину: «Слышите, товарищи? Это они»...

— Тише... — сказал другой голос, водворяя снова тишину. Мы напрягали слух, и казалось нам — он проникал за стены тюрьмы, и мы видели шедших к нам избавителей, но мы также видели подстерегающую их опасность и знали эту дикую силу: становилось жутко и стыло сердце...

Издали, едва-едва уловимо, доносились звуки чего-то большого, чего-то могучего; как землетрясение в ночи, они росли, приближаясь; различались уже слова, разливавшиеся плавно — широким потоком, к этим звукам примешивались звуки движения огромной лавины, все сокрушающей на своем пути. Ближе, ближе подходит огромное, уже слышатся переливы стройных голосов: «То наша кровь горит огнем»... разносился целый океан звуков могучей толпы. — «Ответить им?» — спрашивает еще раз одинокий голос. — «Нет» — строго и твердо отвечает одна за всех. Все напряженно ждут... Солдаты во дворе, но их не видно и не слышно. В интервалах между пением долетают тревожные умоляющие голоса, ведутся, ясно, переговоры, и потом пришедшие медленно удаляются.

Это происходило за день, за два до издания приказа о частичной амнистии по политическим преступлениям. Стотысячная демонстрация подошла к Дому предварительного заключения, требуя амнистии.

На другой день мы узнали то, что и сами думали ночью, что солдатам был отдан приказ стрелять в толпу, если она попытается ломать ворота или разрушать бомбами стены. Весь персонал служащих Д.П.З. был также вооружен, к дверям квартир их были поставлены часовые, и, несмотря на все эти предосторожности, наше начальство при звуках гимна почти все уползло в темные подвалы или спряталось за стоявшую охрану. На следующую ночь мы снова пробудились от долетавшего издали шума — раз-раз-раз... едва слышного пения. «Они идут, слышите?», — тихо, чтобы не тревожить мирный сон, спросила соседка. — «Слышим», — ответили мы в тон ее голоса, хотя сон сбежал уже у всех. Насторожились,

ожидая на этот раз освобождения. Хотя со свидания постоянно приносились твердые уверения о готовящейся общей амнистии, но у некоторых не было веры в возможность получить свободу легальным путем. Старшее же поколение достаточно жило и видело, чтобы верить лживому правительству, искренности его обещаний.

17 числа, ранним утром, какие-то дамы-республиканки принесли нам известие о выходе манифеста, тщательно от нас скрытого начальством. Добрая половина заключенных полагала и высказывалась в том смысле, что манифест — «одна словесность», ничего не изменится. Благожелательная надзирательница буркнула: «Дураки-то наши скрывают от вас манифест, а уголовным вычитали давно в церкви».

Протекало еще три дня в кипении; 21 числа стало известно, что издан приказ о частной амнистии по политическим преступлениям. Поздно вечером, проверенные и запертые окончательно, мы сидели за длинным деревянным столом, делясь впечатлениями и обсуждая свежие новости дневной почты. В такой неурочный ночной час к нам зашла неожиданно надзирательница. Она отобрала у всех тетради для выписки из существовавшей при Д. П. З. лавки продуктов. Немедленно полетели во все камеры телеграммы за справками, отобраны ли и у них тетради. Узнали больше того: все взятые заборные книжки отнесены в канцелярию, где идет спешный подсчет заборов. — «Что, теперь верите?» — обратилась к скептикам одна из самых молодых верующих.

— Да, пожалуй, некоторая есть вероятность, но... амнистия частичная.

Возникли опять разговоры, обмен мнений: что делать, если амнистию применят не ко всем? что тогда? За отказ высказываются все в самой категорической форме, если хотя одна останется не освобождена. Выходит слишком красиво, дружно, как один человек, хочется этому настроению верить! Долго еще наш птичник волновался и гомонил, с вечера уже собирая свои необременительные пожитки.

Мы почти эту ночь не спали, она казалась нам необыкновенно долгой. Все в этом бессонном положении рисовали себе фантастические картины в обстановке свободной будущей России, строили планы своих работ, возводили здание чудесных дворцов. Но, прежде всего, примем, в момент объявления амнистии, только общую амнистию и уйдем из тюрьмы все вместе, ни один заключенный не должен остаться в этих стенах. Пойдем с пением свободных песен. От Дома предварительного заключения мы направимся к большой тюрьме — в «Кресты» и, соединившись с тамошними узниками, двинемся к Петропавловской крепости, встречать наших шлиссельбургских братьев-отцов. Мы рассчитывали встретить их на пороге первыми, предвкушая тот счастливый миг, когда отцы и дети сольются в одном возгласе: «Свобода!». Тогда это слово было для нас самым дорогим и столь же необходимым, как кусок хлеба для голодного. Выдвигался мир новый, неведомый, пути иные, перегородки между народом и социалистами рушились, и мы станем к нему вплотную. Так мы мечтали в эту памятную ночь...

Стоял утренний полусвет в тюрьме, когда в неурочное время защелкали замки, захлопали двери камер. Обомлевшие, точно ошеломленные надзирательницы, просовываясь в дверь, выкрикивали: «Одевайтесь все, скорей, скорей, собирайтесь!». Началась горячая, пожарная спешка, каждый быстрее хотел уйти из этих могил, забывая обо всем на свете, забыв резолюции, сговоры, общие решения. Вызывали поодиночке, ряд за рядом, быстро, безостановочно спуская по лестнице одну за другой, не давая передышки. Никому даже не пришло в голову требовать алфавитную очередь. Тюрьма мигом опустела, стихла. Даже в уголовном отделении царило глухое молчание, — будто каким-то внезапным шквалом вымело всю жизнь, всех обитателей. Я сидела, готовая к выходу, в большой камере, только что покинутой шумным молодым роем, ожидая очереди. Наступило затишье и безлюдность; начали всплывать нерадостные мысли. Часы проходили, и становилось очевидным, что меня оставят. Нигде ни шороха, ни звука. Но вот послышались чьи-то быстрые шаги, замок громыхнул, и в мою камеру вошел с бумагой в руках главный начальник тюрьмы. Кося немного в сторону глазами, объявил:

— Вы не освобождаетесь.

— Зачем же вы обманули меня?

— Без обмана нельзя, — не то оправдываясь, не то признавая неизбежность лжи в их положении, твердо ответил он. И тотчас же обратился с удивительной развязностью: — а я к вам с большой просьбой, дайте слово исполнить.

Эта простота, жестокая простота, игнорированье зла вызвали у меня резкий ответ, смотритель удалился. Час спустя он вновь явился с «покорнейшей просьбой» спуститься в канцелярию с ним. Там остаются три амнистированные, не пожелавшие принять эту милость и отказывающиеся выходить из тюрьмы, пока не выпустят последнюю оставшуюся.

— Нам очень больно и нет желания омрачать этот радостный день прискорбными последствиями, которые могут быть вызваны отказом амнистированных добровольно удалиться из тюрьмы. Придется прибегнуть к силе — позвать солдат... Мало ли что может случиться... От вас зависит предотвратить это несчастье. Мы вас не можем, выпустить без распоряжения свыше...

Спускаясь в канцелярию с начальником, я смутно, как через густую дымку, замечала солдат с ружьями в коридорах внизу, незнакомых фешенебельных дам, бегающих джентльменов. В самой канцелярии, полной чиновной мелкотой, в одном из углов, тесно прижавшись друг к другу, стояли мои однокамерницы, дорогие девочки, облитые слезами, с выражением такого отчаяния, что нельзя было не понять всей терзавшей их муки. Мы дошли до выходной двери на вольный двор, обнялись крепко, навсегда, и я вернулась в уже просторную для меня одной камеру.

Наступил тюремный покой, полный неизвестности. Чуть ли не на второй день по освобождении политических, уголовные женщины подняли знамя бунта. Они потребовали помощника начальника и заявили требование освобождения и их, применения и к ним амнистии.

— В церкви читали — всем свобода, для чего же нас держите?

На попытку смотрителя вразумить, растолковать манифест шумевшим женщинам, они бросились на него с кулаками. Вечером сидевшие в одиночках выбили стекла в окнах, порезав себе руки, раскровянив лица, пели революционные песни, поддерживаемые общими камерами, и снова требовали своего освобождения. Конечно, они мало понимали значение манифеста, по которому для них все оставалось по-старому. Их, разумеется, скоро угомонили размещением по карцерам, предоставив им подлинную русскую свободу. Первопричину этого женского бунта начальство отыскивало все в тех же зловердных «политиках»: будто бы амнистированные, уходя на волю, обещали освободить всех арестантов. «Подождите, — будто бы кричали освобождаемые, — мы вас выпустим». Сомнительно, чтобы подобное могло говориться, хотя отдельное какое-либо лицо могло, конечно, сказать при прощании эти приятные слова, — отчего же не порадовать убитого судьбой...

Тюрьма эту ночь, кажется, только эту ночь, оставалась пустой от политических. Ночь стояла темная, кое-где на небе проглядывали минутами одинокие звездочки. За полночь я открыла свое окно, из которого хорошо были видны, как по ту, так и по другую сторону окна пустых камер. При легком звездном свете эти черные дыры казались открытыми могилами, из которых вышли, воскреснувшие. «Действительное ли это воскресение, — думалось, — и навсегда ли останется пустым этот склеп, не вернется ли старое?»...

Как бы в подтверждение моему пессимистическому настроению, в следующую же ночь послышалось привычное отпирание ворот и грохот вкатывавшихся карет. Эти звуки, как барабан солдата, будят всегда заключенного, вызывая в душе какую-то непонятную тревогу, жуткий страх.

«Раз, два, три», — считала я, стоя у окна, всматриваясь напряженно в непривычную пустоту и с бьющимся сердцем решала вопрос: «что это — конец свободе, всему конец? Снова опустошение страны?» Утром доктор, зашедший осведомиться о здоровье, объяснил, что то перевозили из «Крестов» тех, кого собирались судить. Между ними не было ни одной женщины.

В тюрьме много раньше прозорливцы, видевшие на три сажени под землей, предсказывали оправдание пословицы — «Свято место не бывает пусто» и что ничто не изменится. Раздались страшные слова, но вреда от того никому не произошло, и тюремщики продолжали сидеть на своих местах, они крепко держали ключи в руках, поджидая новых или даже прежних пленников. Потом стал циркулировать настойчивый слух, будто манифест взят обратно. Слухи эти упреждали только развернувшиеся потом события и подтвердили верное чутье предсказателей.

Глава XIX

Судьба арестованных 16–17 марта

По нашему делу, по делу арестованных 16–17 марта 17-ти человек, состоялось постановление суда о прекращении дела за недостаточностью обвинительного материала. «Что мы, разбойники, что ли, станем судить на основании одних показаний филеров?» — говорил секретарь суда родным арестованных. И, тем не менее, амнистия пятерых обошла. Меня выпустили полторы недели спустя, по настоянию «Союза Союзов»; Леонтьеву — вследствие психического расстройства, выразившегося в покушении два раза на самоубийство — в Литовском замке и в Петропавловке. Трех — Боришанского, Сидоренко (Трофимова) и Маркова — судили 21 ноября 1905 г. в военно-окружном суде, по обвинению в покушении на жизнь Трепова. У них при аресте были обнаружены взрывчатые вещества и, кажется, револьверы. Суд отнесся к ним не в меру сурово, приговорив всех к долгосрочной каторге.

Леонтьеву выпустили на поруки родителей, которые вскоре повезли ее за границу. Перед отъездом туда она писала своей сопроцесснице:

«Родители мои, извлекая меня из тюрьмы долгими и усиленными хлопотами, везут за границу. Можете сами представить, в каком настроении и с каким душевным отчаянием я туда отправляюсь. Предвижу ясно, до поразительности верно, скучную, монотонную, бездеятельную жизнь, полную пустоты и одиночества. Я испытала уже эту маяту. Еду, покоряясь принудительной необходимости и подчиняясь сознанию не слишком причинять своим отказом страданий старикам-родителям, которые так заботливо относятся ко мне. Однако, покидая родину в такое время, когда начинается самая нужная, самая напряженная работа, не могу там вдали оставаться спокойно. Это выше моих сил и понимания».

И, действительно, не усидела она и там спокойно: она примкнула к партии соц. — револ. — максималистов. В августе 1906 г., в Швейцарии, в Интерлакене, выстрелом из револьвера она убила богатого старика Миллера, приняв его за П. Н. Дурново, бывш. министра внутр. дел. Кстати упомяну, что это, как потом передавали, не было личным делом Т. Леонтьевой. Оно организовано было максималистами, и ответственность не падает на нее одну. В марте 1907 г. Леонтьеву судили в Туне швейцарским судом, приговорили к 4 годам одиночного заточения с обязательным трудом и абсолютным молчанием. На суде она держала себя с большим достоинством и немного вызывающе. Состав судей был для Леонтьевой скорее благожелательным, была склонность ее оправдать, если бы не одна брошенная ею дерзко судьям фраза, вызванная затемненной уже психикой Леонтьевой. На вопрос председателя, не раскаивается ли подсудимая, что убила невинного иностранца, она ответила: «Не считаю преступлением убить одного буржуа». Почтенные судьи и не менее почтенное буржуазное общество издали вопль ужаса, и подсудимую не только приговорили, но одна часть прессы крикливо жалела, что в Швейцарии отменена смертная казнь.

Женевские газеты разделились на две резко противоположные партии. Вторая, меньшая часть, во главе и в согласии с защитником, называла Леонтьеву героиней, необыкновенной душевной красоты девушкой, перед которой невольно хочется стать на колени. Политический азарт, обнаружившийся в прессе, захватил глубоко и широко все группы общества, всю молодежь. Злоба, слепая ненависть ко всему русскому дошли до уродства, вся грязь, все сплетни бросались для посрамления русских.

Выдумывались и приводились факты один другого пошлее, и, наконец, повелась агитация за бойкот всех живших в Швейцарии русских. Стыд заливал лицо при чтении этих позорящих строк, возникала горькая обида за весь культурный слой Швейцарии, утеревший чувство чести и человечности, подчинившись одному из стадных чувств — зверству и ненавистничеству.

Татьяна Николаевна Леонтьева недолго оставалась в условиях тюремного режима. Она окончательно заболела психически и, отданная родителям, вскоре умерла.

Валентина Попова **Динамитные мастерские 1906–1907 гг. и провокатор Азеф**

Глава I **Мастерская в Териоках**

Первые динамитные мастерские боевой организации п.с.-р. были созданы перед делом Плеве в 1903–1904 гг. Возникли они сначала за границей. В одной из них во Франции, в городе Лориан, работал шлиссельбуржец П. С. Поливанов, который желал принять непосредственное участие в покушении на Плеве. Следующая мастерская, организованная в Женеве на rue Saugouge, хозяином которой был Биллит, потерпела неудачу. В ней произошел взрыв.

Из этих мастерских вышли такие техники, как Швейцер, Покотилов, Л. И. Зильберберг, Дора Бриллиант. Центральную роль в организации мастерских играл крупный боевик того времени, член ЦК партии, известный под кличкой «Ивана Николаевича». Это был столь знаменитый впоследствии провокатор Азеф. В то время я еще не состояла членом боевой организации, но Азефа уже хорошо знала по общепартийной работе. Знакомство мое с ним началось с 1902 г. в Петербурге, и мне были известны не только клички, под которыми он тогда фигурировал в партийных кругах, — «Валентин Кузьмич», «Толстый», — но и его настоящее имя. Он как-то дал мне, на всякий экстренный случай, адрес своей службы, контору какой-то электрической компании. Мои отношения с ним по Б. О. начались гораздо позже, когда динамитные мастерские были перенесены в Финляндию. Сделанная перед этим попытка организации их в Петербурге закончилась неудачей. В конце 1905 года две таких мастерских вскоре по возникновении провалились. Тогда «Иван Николаевич» решил перенести их в Финляндию.

В этот период деятельности Б.О. «Иван Николаевич» и привлек меня к работе. В первых числах января 1906 года мне передали его распоряжение немедленно приехать в Гельсингфорс. Я в это время жила в Москве, где с октября месяца работала в крестьянской комиссии при ЦК партии, созданной по инициативе К. К. Брешковской. Еще в сентябре 1905 года «Иван Николаевич», видимо, в связи с организацией динамитных мастерских в Петербурге, предлагал мне вступить в Б.О., но не припомню сейчас точно причин, помешавших мне тогда же принять предложение.

В два-три дня я передала свою работу в комиссии Марии Осиповне Сыщанко, старой партийной работнице, теперь уже покойной, и, получив точное указание, где найти в Гельсингфорсе «Ивана Николаевича», выехала из Москвы.

В Гельсингфорсе, в условный час, на явке (в одном из ресторанов) я застала «Ивана Николаевича». Он объяснил мне, для какой цели вызвал меня. В Териоках была только что оборудована динамитная мастерская для подготовки нового состава техников. Я должна поехать туда и под руководством хозяев мастерской обучиться технике приготовления снарядов. С гибелью Покотилова, Швейцера, с арестом Доры Бриллиант, Б. О. понесла тяжелый урон в технических силах. Необходимо создать новый актив техников.

В Гельсингфорсе к этому времени скопилось много нелегальных разных партий. После первых дней революции 1905 года начались аресты. Первоначально все спасались бегством в

Финляндию, которая проявляла тогда к русским революционерам большое сочувствие. Многие из старых эмигрантов, выехавшие из заграничных центров — Парижа, Лозанны, Женевы, — как Волховской, Шишко, позже Аксельрод,⁹⁸ тоже задержались в Финляндии, не решаясь ехать в Россию при успешных уже измениться политических условиях. Возвращаться так быстро обратно на свои старые насиженные места не хотели и временно выжидали в Финляндии.

«Иван Николаевич» запретил мне с кем-либо видаться. Гельсингфорс, да и вся Финляндия кишели русскими сыщиками, что я уже и сама успела заметить по приезде туда.

«Иван Николаевич» предложил мне проехать с ним на залив (я была в Гельсингфорсе первый раз), а затем на свою квартиру к активистам Мальберг, где он обычно имел приют. Здесь обстановка для разговора была более удобная, чем в ресторане. «Иван Николаевич» сообщил мне, что в ближайшее время предполагается совершить покушение на П. Н. Дурново в Петербурге и на Дубасова⁹⁹ в Москве. Техники, которых надеются подготовить во вновь созданной мастерской, должны будут принять участие и в том, и в другом покушении.

В тот же вечер я направилась в Териоки. На вокзале в Гельсингфорсе шпионы не заинтересовались мной; они находились в большой ажитации, поджидая кого-то, и я даже слышала фразу, сказанную одним из них: «он еще здесь, сегодня приходил, покупал газету».

В Териоки с экспрессом, шедшим в Петербург, я приехала рано утром. Кругом еще все спали, всякая новая фигура в такой ранний час могла обратить внимание. Я переждала немного в буфете за стаканом кофе и, подогнав свой приезд к поезду, приходившему из Петербурга, взяв вейку, поехала на дачу. Она находилась далеко от вокзала, ближе к взморью.

По снежной дороге вейка быстро нес меня, сани раскатывались на поворотах, и не раз я думала, что опрокинусь в снег вместе с моим скудным багажом. Навстречу попадались только школьники на лыжах, с сумками за плечами. Вот и дача. Небольшой сад, немного в стороне от главной дороги, со старыми соснами, опущенными снегом, закрывал ее от посторонних взоров. Я подъехала к садовой калиточке в глубоком и узком проулке и поднялась на крыльцо стеклянной веранды.

Постучала. Быстро вышла немолодая женщина монашеского вида, повязанная платком. Своим внешним видом она удачно имитировала прислугу; думаю, что и более опытный взгляд, чем мой, не уловил бы ничего подозрительного в ее облике. На желтоватом и изможденном лице выделялись и обращали внимание большие темные глаза, глаза человека, ушедшего в себя. Немножко согбенная, худенькая фигура, темное, старушечье платье, мягкие движения послушницы.

Это была Саша Севастьянова.

Ей не первый раз приходилось выполнять роль прислуги на конспиративной квартире. Незадолго перед Териоками, при аресте динамитной мастерской В. Штольтерфорт и Друганова в Петербурге, ей удалось благополучно уйти из квартиры, где она жила тоже в качестве прислуги.

Взяв мои вещи от вейки, Саша внесла их в комнату. Первая комната с веранды была просторная столовая, обставленная как все дачи средней руки: обеденный стол, буфет и пианино. Последнее привезено было уже жильцами. Обитатели дачи еще спали, но, услышав шум и новый голос, «барин» и «барыня» скоро вышли в столовую. «Барин» — небольшой, изящный, хрупкий Лев Иванович Зильберберг и «барыня» — Рашель Лурье. Она была очень

⁹⁸ Аксельрод Павел Борисович (1850–1928) — деятель революционного движения: народник, затем один из основателей социал-демократической группы «Освобождение труда»; с 1903 г. — меньшевик.

⁹⁹ Дубасов Федор Васильевич (1845–1912) — генерал-адъютант, адмирал; в ноябре 1905 — апреле 1906 — московский генерал-губернатор. Руководил подавлением Декабрьского восстания в Москве.

молода, лет 20-ти, не более.

Л. И. Зильберберга я уже видела ранее. В августе 1905 года в Н. — Новгороде, во время ярмарки, происходил съезд боевиков. На одном из свиданий с «Иваном Николаевичем» я встретила и Зильберберга, но эта встреча была мимолетной.

Приезд свежего человека с «воли» временно оживил их до чрезвычайности монотонную жизнь, каковая являлась всегда уделом революционеров, живущих на строго законспирированных квартирах.

На финских дачах в те годы, вообще, проводили зиму многие петербургские семьи, и потому пребывание молодых супругов не привлекало внимания окружающих. В зиму же 1905–1906 гг. число дачников значительно возросло. В столице было неспокойно. Обыватели, напуганные октябрьскими забастовками и последующими волнениями, охотно укрывались в тихих дачных уголках.

Дача, занятая мастерской, оказалась большой и просторной, из шести комнат, с отдельной кухней через сени. Наверху имелось еще 2 или 3 комнаты — летних; низ же был оборудован по-зимнему, две первые комнаты из столовой и коридора занимали «барин» и «барыня». Следующую за ними отвели под мастерскую. В комнате напротив поместилась я, а в последней ближе к кухне, — Саша.

Хозяевам-финнам Саша объявила, что приехала из Петербурга родственница «барыни» — погостить. Сами хозяева дачи ютились в глубине двора, в отдельном флигеле. Их работник каждый день ездил в лавки к вокзалу за продуктами и привозил нам газету. Большею частью мы покупали «Русь», в то время наиболее распространенную среди широких обывательских кругов. *Своих* газет брать не решались, а во время разъездов в вагонах первого и второго класса прятались даже за «Новым Временем». ¹⁰⁰

Здесь, на конспиративной квартире, мы совместно прочитали письмо М. А. Спиридоновой о тех издевательствах, которым она была подвергнута после ареста. Письмо настолько взволновало и потрясло нас, что вслух дочитать его не нашлось сил, и мы кончали его каждый отдельно в своей комнате.

Книг для чтения почти не имели. У всех нас, как нелегальных, не было имущества, кроме необходимого для декорации; книги при переездах составляли лишней и к тому же неконспиративный груз. Обычно, впрочем, о книгах не думали: день проходил за работой, работали много и с увлечением. Подбадривали себя мыслью, чтоб решительный момент не застал кого-либо неподготовленным.

Чуть ли не в первый же день по приезде я, под руководством «Николая Ивановича» (так звали в Б. О. Зильберберга), приступила к работе.

Сопоставляя теперь условия нашей работы в динамитных мастерских с теми, при которых приходилось работать нашим предшественникам-народовольцам (о чем, например, рассказывает А. В. Прибылев в своих воспоминаниях «Динамитная мастерская»), ¹⁰¹ видно, насколько в наше время уже были преодолены трудности, так осложнявшие их работу. Техники Б. О. находились по сравнению с террористами «Народной Воли» в привилегированном положении. В распоряжении Б.О. всегда имелся готовый (фабричный) динамит, гремучий студень. Все это получалось от финнов. Не приходилось готовить их кустарным способом. Следовательно, самая опасная и длительная часть работы прежних динамитных мастерских была устранена. На нашу долю выпадала более легкая, чисто техническая часть: изготовление оболочек для снарядов, умение наполнить и зарядить их. Для того же, чтобы приготовить оболочку, необходимо было всего только научиться паять. К

¹⁰⁰ «Новое время» — газета, издаваемая А. С. Сувориным; считалась реакционным органом.

¹⁰¹ Прибылев Александр Васильевич (1857–1936) — народоволец, в 1882 г. стал «хозяином» динамитной мастерской; по «процессу 17-ти» осужден на 15 лет каторжных работ. По возвращении после каторги и ссылки в Европейскую Россию в 1904 г. вступил в партию эсеров. Автор книги воспоминаний «В динамитной мастерской и Карийская политическая тюрьма» (Л., 1924).

этому, прежде всего, я и приступила. Пяять — работа нетрудная, и скоро у меня из кусков жести начали получаться ровные трубочки, наподобие той детской кухонной посуды, что продается всюду в магазинах.

Всю работу по приготовлению снаряда можно разделить на несколько частей: изготовление запальных трубок, затем — самой оболочки снаряда и начинка ее динамитом. Последний момент работы, это — вложить запалы в снаряд, т. е. зарядить его.

Инструменты для работы были самые примитивные: медный молоток, который нагревали на спиртовке, напильник, ножницы для жести; наждачная бумага, пипетка для наполнения серной кислотой стеклянной трубочки запала, циркуль.

Обычно сначала мы изготавливали запальные трубки, точно вычислив их необходимый размер. Спаяв при помощи медного молотка запальную трубочку из жести, готовили для нее крышку, тоже жестяную, а к оболочке, уже вычисленной и вырезанной из большого листа жести, припаивали в двух местах под перпендикуляром еще две трубочки, также из жести, куда и вкладывались впоследствии запалы. В запальную трубку помещали стеклянную трубочку, наполненную серной кислотой. Эти трубочки особой формы с двумя дутыми шариками на концах мы получали также от финнов, а кислотой наполняли их сами, сами же и запаивали свободный конец. Затем привязывали тонкой проволокой на середину трубочки свинцовый грузик. Он должен был скользить по стержню трубки от шарика к шарика, но не падать резко, чтоб при случайном или неосторожном движении не разбить трубки. На дно жестяной трубки запала помещали патрон гремучей ртути, вставляли трубку с серной кислотой, на наружный конец которой одевали пробковый кружок. Последний придавал ей устойчивость. В запал насыпали смесь бертолетовой соли с сахаром. Закрывали запал крышкой. При падении свинцовый груз разбивал стеклянную трубочку, вспыхивала смесь бертолетовой соли с сахаром, огонь взрывал патрон гремучей ртути, от которого в свою очередь взрывался динамит, наполнявший снаряд.

Таким образом, успех взрыва зависел от тщательного оборудования запала.

Словом, это были такие же снаряды, какие приготовлял еще Кибальчич,¹⁰² — но только значительно усовершенствованные.

Неудобство нашего положения было только в том, что мы не имели возможности производить опыты с целыми снарядами, да они, в сущности, являлись излишними, так как необходимо было проверить только запал. Первый изготовленный мною запал проверял «Николай Иванович». Опыт прошел удачно.

Оболочки снаряда отличались разнообразием своей формы. В каждом отдельном случае внешний вид снаряда приходилось приспособлять к требованиям предполагаемой обстановки покушения. Наиболее удобным являлся обычно снаряд плоской формы, который можно, например, вложить в портфель, или снаряд в виде большой коробки конфет.

Когда заканчивали работу над оболочкой снаряда, внутри выстилали ее парафиновой бумагой, чтобы динамит не соприкасался с жостью. Это делали во избежание процесса разложения в том случае, если бы снаряд почему-либо пришлось хранить в таком виде долгое время. Оболочку наполняли динамитом и плотно закрывали крышкой, которую прикрепляли для прочности тонкой проволокой. Количество динамита, употреблявшегося нами, также зависело от обстановки покушения, например, на снаряд для Дубасова я употребила не менее пяти кило.

Готовые трубки запалов хранили отдельно от снарядов. Их вкладывали перед тем, когда снаряд передавался метальщику. Обычно снаряды вручались метальщикам незадолго, за несколько часов, перед покушением. Если почему-либо снаряд оставался неиспользованным, его немедленно возвращали технику, который разряжал его, т. е. вынимал запалы и разбираал их.

¹⁰² Кибальчич Николай Иванович (1855–1881) — народоволец, «техник» партии; им были изготовлены снаряды, использованные при убийстве Александра II 1 марта 1881 г. Казнен вместе с другими «первомартовцами».

Всякая небрежность в работе запала могла повести к трагическим осложнениям, так как именно с ними технику приходилось постоянно иметь дело.

Жизнь на нашей квартире шла монотонно и спокойно. С утра мы трое, «Николай Иванович», Рашель или «Катя», по ее конспиративной кличке, и я («Екатерина Ивановна»), принимались за работу. «Николай Иванович» руководил нами, сам же большую часть времени проводил за учебниками химии. Саша дежурила в кухне, готовила обед, и для нее утро было самое беспокойное время. С раннего утра под разными предложениями забегала к ней хозяйка-финка; заходил работник Иван. Хозяйку интересовало: «что готовится на кухне?» Иван же явно ухаживал за Сашей. Он был еще молод, но уже вдов. Хозяйке нравилась степенная «Аннушка» (так называли Сашу), и она во время своих визитов дипломатически наводила разговор на Ивана, расхваливала его и соблазняла Сашу большим приданым от умершей жены Ивана, которое хранится у него в сундуках. Все вместе они поругивали «господ», которые, видно, от нечего делать проживаются на даче. Ивана почему-то особенно возмущало количество мяса, которое мы покупаем. — «Ну, и жрут же они у тебя», — говорил он, сдавая Саше купленные продукты.

Недели через две-три после моего приезда наша компания увеличилась. В мастерскую, в качестве учеников, приехали: Мария Аркадьевна Беневская и «Семен Семенович» (нелегальный рабочий). С «Сем. Сем.» раньше, в 1905 г., летом, мне пришлось встречаться на общепартийной работе, в Сормове. Беневскую я не знала. Одной комнаты для наших занятий уже не хватало, я и Саша переселились для работ в свои углы, а двое вновь прибывших занимались под руководством Рашели в прежней мастерской.

Самая неблагоприятная роль выпала на долю Саши, — кухня стала отнимать у нее почти весь день. Помогать ей, особенно утром, в самое горячее для нее время, было невозможно. «Барыню» или гостей могли застать за черной работой врасплох Сашины посетители. При наших попытках помочь ей Саша так энергично протестовала, что нам приходилось уступать. Только вечером, и то лишь поздно, кто-нибудь, вместо нее, мыл пол на кухне.

При слабом здоровье Саши непривычные хлопоты по кухне утомляли ее, да и почти не оставляли времени для занятий в мастерской. Саша, к тому же, была хорошей гравершей и попутно вырезала на аспиде печати для паспортов и штампы для их прописки.

Вновь прибывшая М. А. Беневская с неменьшим жаром, чем я, приступила к обучению. Это была очаровательная и по внешнему и духовному складу молодая девушка. Как-то своеобразно она, как и Наташа Климова, после увлечения толстовством, пришла к признанию террористической борьбы. Пробыла М. А. с нами недолго. Ее вызвали в Москву, где готовилось покушение на Дубасова, и она там поселилась на конспиративной квартире.

Жизнь мы вели, как я сказала, замкнутую, никто, не связанный непосредственно с нашей работой, не имел доступа на дачу, да и о существовании ее, кроме «Ивана Николаевича» и его ближайшего помощника, каким был Савинков, даже в Б. О. почти не знали. Дисциплина среди нас царила суровая. Мы не имели права ни переписываться, ни видаться с кем-либо из знакомых и близких, хотя, быть может, и живущих где-нибудь вблизи. На улицах мы избегали далее случайных встреч со знакомыми. Отрезанные подолгу от всякого соприкосновения с внешним миром, члены Б. О. часто не знали, что происходит даже в организации. Каждому указывался его узкий, специальный круг, за пределы которого он не должен выходить. Направленный в какой-нибудь город боевик жил там в полной изоляции и ждал, иногда целыми месяцами, условного письма или телеграммы для вызова, не смея ни связаться с кем-либо из общепартийных товарищей, хотя бы находившихся тут же, ни оставить своего поста.

История Б. О. знает в этом отношении один классический случай. Во время революции 1905 года, осенью, когда после 17 октября террористическая борьба была временно приостановлена, руководители группы забыли или не смогли снять с работы одного из боевиков. Он вел наблюдение в качестве извозчика, кажется, за Дурново. Оставленный за бортом организации, он продолжал долгое время аккуратно выезжать на явку, пока, наконец, решил бросить конспирацию и пуститься на розыски партийных людей. Существовать за

это время и прокармливать лошадь ему пришлось исключительно на свой заработок.¹⁰³

Повторяю, Мы жили, как в монастыре, крайне изолированно. Даже не рисковали лишний раз выходить на прогулку. А если выходили, то большей частью когда стемнеет, чтобы не быть узанными при случайной встрече с сыщиками, которых так много копошилось во всех дачных местах Финляндии. Впрочем, даже с такими предосторожностями «Ник. Ив» и Саша ни разу, кажется, не воспользовались такой возможностью. Изредка выходила я или одна, или с Беневской, а иногда с кем-нибудь из нас Рашель.

Посетителей у нас тоже почти не бывало. В течение двух месяцев к нам заехал с каким-то поручением один Б. Н. Моисеенко («Опанас»).

Б. Н. был одним из наиболее энергичных и обладавших большой инициативой членов тогдашнего состава Б. О. Почти целиком именно ему принадлежала организация дела убийства великого князя Сергея Александровича.

Вслед за Б.Н. приехал сам «Иван Николаевич», так сказать, для инспекторского обзора нашей обстановки и работы. Кажется, именно он привез Зильбербергу письмо от его жены, которая находилась в то время с ребенком за границей. Помню радостное выражение лица Зильберберга, когда он сообщал нам, что его «дочка уже улыбается», хотя ей было не более месяца!

В этот приезд «Ивана Николаевича» разыгрался любопытный инцидент. Как-раз перед тем среди нас обсуждался вопрос в связи с обысками, произведенными на некоторых дачах в Териоках (о чем мы узнали из газет), что делать нам, если наше убежище подвергнется осмотру, хотя бы даже чисто случайному? Запасы динамита и гремучего студня были у нас значительны, хранили мы их тут же на квартире. Всяких других, материалов для снарядов имелось в наличии тоже достаточно, да вообще хорошо оборудованная мастерская была налицо. В нашем распоряжении имелись и револьверы. По тем временам этого было вполне достаточно, чтоб не только пойти на каторгу, но даже, как, например, тому же Зильбербергу, как «хозяину» мастерской, и на виселицу. Все мы сходились на одном решении: оказать сопротивление и погибнуть с честью.

«Иван Николаевич» приехал, настроенный заботливо и дружески — как обычно; нашел, что у нас все в порядке. Особенное внимание он обратил на Сашу, на ее болезненный вид; отечески журил нас, что мы ее не бережем, что работать ей приходится слишком много. Держался, словом, как товарищ, в полном смысле слова. Решил даже переночевать у нас, а утром ехать дальше. Обрадовал нас сообщением, что вскоре для участия в покушении на Дубасова понадобится наша помощь.

Позже, часов в 11, готовясь ко сну, мы невольно подняли разговор относительно нашего образа действий на случай обыска. К удивлению, «Ив. Ник.» энергично запротестовал против решения взорвать дачу, указывая, что мы не имеем права губить себя и что мы должны, наконец, считаться с тем, что находимся на финской территории. Он доказывал, что, при имеющемся у нас количестве взрывчатых веществ, мы не представляем силы разрушения, которое произойдет, — погибнет не только наш дом, но и окружающие постройки. Мы, стало быть, оплатим черной неблагодарностью всем финнам, не говоря о наших хозяевах. Нас как-то плохо убеждали его доводы, но в то же время мы чувствовали, что как будто нам необходимо подчиниться такому запрещению свыше.

«Иван Николаевич», несомненно, заметил, что надеяться вполне в данном случае на наше послушание едва ли можно. И вот тут произошла вторая неожиданность, еще более странная. Немного спустя после разговора, он заявил нам, что передумал и не останется у нас ночевать. На наши изумленные вопросы: куда он пойдет так поздно; поезда в Петербург подходящего нет; ночевать негде, отель — далеко; наконец, ему опасно там показываться, — на все это он отвечал рассеянно и невпопад. Как мы, однако; ни старались, он заявил, не

¹⁰³ Речь идет о Е. О. Дулебове.

внимая нашим протестам, что в отеле ночью паспорта не спросят; у нас он боится проспать и опоздать к поезду; отсюда утром придется идти пешком, извозчика вблизи не найдешь, и проч., и проч. И хотя стояла уже глубокая ночь, он ушел.

И я сама, и мои товарищи, все мы одинаково недоумевали тогда при таком внезапном решении «Ивана Николаевича».

И еще один характерный эпизод того времени невольно, по антитезе, мне вспоминается теперь.

Вскоре после «Ивана Николаевича» к нам приехал его заместитель «Павел Иванович» (Савинков, Б.В.). Радуюсь каждому посетителю, а тем более таким, как оба эти шефа, мы всячески ухаживали за ними. Особенно старалась Саша. Ей всегда хотелось принять и накормить гостя возможно лучше. Накрыли на стол. Саша соорудила яичницу и подала ее прямо на шипящей сковородке. Увы! к великому смущению кухарки, она оказалась с какими-то черными и грязными разводами. Однако, все были довольны. Даже Савинков, избалованный изысканными обедами в первоклассных ресторанах, где он обычно устраивал явки, забывший о спартанском столе, каким пробавлялись мы, хотя жалел об отсутствии некоторых деликатесов, как вино и проч., вместе с остальными весело уничтожил свою порцию. Он провел с нами весь вечер и остался ночевать, хотя были те же разговоры, как и при «Иване Николаевиче». Но он взглянул на это, как на что-то само собой разумеющееся.

Савинков приехал к нам с тем, чтоб условиться со мной и «Семеном Семеновичем» о поездке в Москву. Он сказал, что к покушению на Дубасова все готово: выезды его установлены. Я должна ждать условной телеграммы, чтобы двинуться в Москву. Савинков указал мне, где и в какие часы я там его найду. Установил точно, какое количество динамита я должна захватить с собой.

Но тут возникло неожиданное осложнение. Таким решением очень огорчилась Рашель. Она давно томилась в ожидании работы, была лучше меня подготовлена и не хотела мириться с мыслью, что ей по-прежнему придется оставаться в бездействии, в этой монотонной конспиративной обстановке. Горе ее было так велико, что она у нас расплакалась. Я вполне признавала законность ее огорчения, и «Павел Иванович» решил, что первую очередь на участие в покушении необходимо оставить за ней. Савинков уехал.

Через несколько дней пришла условная телеграмма. Новая перемена! Из текста телеграммы было ясно, что ехать должна я и «Семен Семенович», а не Рашель.

Азеф аннулировал все распоряжения Савинкова.

Захватив с собой динамит и еще кое-какие принадлежности для снарядов, я выехала в Москву.

Глава II

Поездка в Москву

Члены боевой организации обычно во время своих разъездов не пользовались III классом, а предпочитали брать II и далее I. Кроме того, часто из-за спешности и по другим причинам пользовались экспрессами. В фешенебельной толпе пассажиров скорых поездов хорошо одетому революционеру было легче укрыться, к тому же эти классы предохраняли от излишних встреч и докучных разговоров, неизбежных при проездах в более демократической обстановке. Нам же, техникам, с багажом взрывчатых веществ, особенно был неудобен III класс с его теснотой.

Уже в Териоках я села во второй класс утреннего поезда, шедшего из Гельсингфорса. Мои вещи таможенный чиновник в Белоострове совсем не осматривал. «Семен Семенович», выехавший одновременно со мной, но занявший место в III классе, напротив, подвергся самому тщательному обыску. Осмотрели не только его вещи, но даже карманы пальто: «нет ли там контрабанды».

Остаток дня до вечера я провела в Петербурге, остановившись в каком-то скромном отеле на Невском.

Скорые поезда в Москву отправлялись в 9 и 10 часов вечера. В одном из них я заняла место в дамском купе II класса.

Дорога для меня оказалась тяжелой. Динамит я везла на себе, и у меня к вечеру началась мигрень. Близкое присутствие динамита вызывало у меня всегда сильную головную боль. Обычно, все работающие над динамитом болеют только первое время, затем он никакого действия не производит. Организм привыкает. У меня же оказалась какая-то особенная болезненная восприимчивость, которую до конца я так и не могла побороть. Головная боль с каждым разом, казалось, даже усиливалась, и в следующем, 1907-м, году мне пришлось из-за нее отказаться от этой работы.

Из боевиков, помнится, еще Савинков также страдал от динамита, и хотя ему не приходилось работать, как технику, но даже простое пребывание в комнате, где хранился, динамит, вызывало у него головные боли.

В вагоне я скоро почувствовала недомогание и легла...

По приезде в Москву, я отправилась в гостиницу «Боярский двор». Теперь в этом здании находятся учреждения Наркомзема и общежитие его работников. Тогда «Боярский двор» считался одной из самых больших и дорогих гостиниц Москвы. В каждом этаже целые анфилады комнат, лестницы и коридоры, устланные коврами. Гостиницами, как «Боярский двор» и «Деловой двор», боевики охотно пользовались.

В этот же день часов в 12 утра явилась в условленное кафе на свидание с «Павлом Ивановичем». Когда я пришла, он уже сидел за столиком. Здесь, в городе, он выглядел крайне выгодно для себя в конспиративном отношении. Слегка измятое лицо, завитые усики придавали ему вид жуира, каких так много где-нибудь на Невском или Тверской. Со стороны его свидание в людном кафе, в час завтрака, с молодой дамой не могло вызвать никакого подозрения.

«Павел Иванович» сказал мне, что завтра к 9 часам утра я должна приготовить снаряд, за ним ко мне в гостиницу придет «Семен Семенович», а, сдав снаряд, я должна покинуть отель и снова отправиться в Гельсингфорс к «Ивану Николаевичу».

Миссия моя, не отличавшаяся, таким образом, никакой сложностью, однако, вызывала много затруднений.

Начать с того, что приступить к работе днем, в номере гостиницы, было крайне неудобно. Я только-что приехала, — то лакей зайдет за паспортом, то является горничная с предложением что-нибудь прибрать или подать. Развернуть при таких условиях мастерскую — невозможно. Я ждала вечера, часа, когда утихнет дневная сутолока. Номер нарочито выбрала с маленькой передней, отделявшей комнату от коридора: все же не так слышен шум. Днем, тщательно себя проверив, я закупила все необходимое, чтобы ночью ничто не могло остановить моей спешной работы.

Часов с 10–11, когда все стихло, я принялась за снаряд. Все настраивало тревожно. Как ни старайся работать осторожно, все-таки выходит чересчур шумно. Жесть при резке и сгибании позвякивает и трещит, спиртовка, которую пришлось жечь буквально до света, по временам шипит угрожающе. Парафиновая бумага поднимает шум; так и кажется, — он слышен в коридоре. Несколько раз я осторожно подкрадывалась к двери; прислушивалась — нет-ли кого-нибудь вблизи. Я оставила ключ в замочной скважине, чтоб не могли подсматривать из коридора. Только перед утром снаряд был закончен. Он имел вид толстой книги. Я упаковала его наподобие коробки конфет в красивую оберточную бумагу и перевязала крепкой узкой ленточкой.

Только побывав сама в такой нервной обстановке, я поняла, каким случайностям подвергались техники в самые острые моменты работы, при спешной сборке уже готового снаряда, и как легко бывало тут, в нервном напряжении, прислушиваясь к каждому шороху, сделать неосторожное движение, погубив все дело и самого себя.

Мне потом часто приходило на память, что так, очевидно, и погибли даже такие опытные техники, как Швейцер и Покотилев, один — в «Северной гостинице» против Николаевского вокзала, а другой в «Бристоле» на Морской.

Утром в номер ко мне пришел «Семен Семенович» и взял снаряд.

Это был день 1 марта 1906 г. — 25-летие убийства Александра П. Савинков говорил мне, что боевая организация хотела ознаменовать этот юбилей нападением на Дубасова. Но это не удалось: Дубасов накануне вечером уехал в Петербург, почему-то вдруг экстренно вызванный. Боевики узнали об этом только поздно утром. Отъезд спас его, так как 1 марта он предполагал присутствовать на обычной панихиде по Александре П. Боевики сторожили его на Тверской, около дома генерал-губернатора, ожидая выезда.

Сдав снаряд, я выехала обратно.

Глава III Наши неудачи

Снаряд, который я оставила в Москве совсем готовым, не сразу пригодился: дело с Дубасовым затянулось почти на два месяца. Несколько раз в течение этого времени боевики поджидали Дубасова — с бомбами в руках. Но каждый раз их постигала какая-нибудь неудача. Как будто какой-то рок навис над ними. Казалось, все уже готово, вдруг приходилось сниматься с мест, спасаться от сыщиков. Так, например, Савинков рассказывал, как ему в этот период едва удалось ускользнуть от преследования. Его спас боевик-«извозчик», быстро унесший на своей лошади от шпионов.

В конце марта членов Б. О. взволновало промелькнувшее в «Новом Времени» сообщение о подготовке покушения на Дубасова. Я не помню сейчас точно содержания этой заметки и не могу ее проверить, но там были такие подробности, какие мог дать только человек, близко стоящий к организации, или даже один из ее членов.

Наконец, 23 апреля, в царский день, покушение состоялось, но опять с неудачей.

Покушением руководил Азеф, он находился недалеко от места действия, на Тверской, в кафе Филиппова. Участники, казалось, были размещены удачно. Но у Боровицких ворот оказался боевик, которому по какой-то случайности не хватило снаряда. Как-раз через эти ворота и проехал Дубасов, т. е. там, где его менее всего ожидали. Борис Вноровский в форме морского офицера со снарядом в виде коробки конфет стоял на Тверской против дома генерал-губернатора. Он увидел экипаж Дубасова, когда тот уже повертывал с переулка к своему подъезду, совсем с другой стороны, чем рассчитывали. Вноровскому пришлось бежать, чтоб не пропустить Дубасова, что, конечно, помешало ему бросить снаряд как следует.

Взрывом был убит сам метальщик, адъютант Дубасова — Коновницын, Дубасов же только контужен.

Были у нас и еще неудачи за этот период. В начале апреля произошел трагический случай в конспиративной квартире, хозяйкой которой была М. А. Беневская. Ей доставили готовый снаряд, прося его разрядить. Благополучно вынув запал из снаряда, она стала разбирать его. Но в запале был какой-то дефект, о котором при передаче Марию Аркадьевну не предупредили. Запал от резкого движения взорвался у нее в руках. Взрывом патрона гремучей ртути, находившейся в запале, М. Арне оторвало кисть руки, а на другой повредило палец. Осколками жести поранило все лицо. Беневская при этом проявила редкое самообладание. Перевязав кое-как с помощью товарища, жившего с ней, изуродованные руки, она заставила его забрать все хранившиеся у них уже готовые снаряды и унести в другое место. Сама же ушла последней, повернув зубами ключ в дверном замке. Она поспешила в первую попавшую лечебницу, где благополучно пробыла недели две. Взять ее тотчас же из лечебницы не удалось: израненное лицо слишком обращало внимание. А накануне того дня, когда Б. Н. Моисеенко должен был перевезти М.А. в надежное место, ее арестовали.

Следом за ней арестовали Б. Н. Моисеенко. Это был уже второй его арест. Неудача с Моисеенко кончилась весьма благополучно, но опять-таки при таких условиях, что история с ним казалась очень странной.

Первый арест Бориса Моисеенко относится к марту 1905 года. Тогда в Петербурге произошли крупные аресты членов Б. О. Это те самые аресты, о которых в то время «Моск. Вед.» писали, как о «Мукдене русской революции».¹⁰⁴ Была арестована П. С. Ивановская вместе с другими 17-ю террористами за подготовку покушения на Трепова. Среди арестованных находился и Борис Моисеенко, которого тогда приняли за Савинкова. После октябрьского манифеста их всех освободили. Теперь Б. Н. снова арестовали, и казалось, на этот раз ему грозит серьезное наказание. Тесная связь его с Беневской была ясна для властей, к тому же он был нелегальный. Но какая разница оказалась в их судьбе. Беневская по суду ушла на каторгу, а Моисеенко в административном порядке получил год надзора! Да и выбор места для отбывания наказания предоставили на его собственное усмотрение. Мы радовались за Моисеенко, но чувствовали, что тут есть какая-то неясность, какая-то игра.

Наши неудачи этим не исчерпывались.

В апреле или в конце марта, в качестве техника вместо меня приезжала в Москву Рашель Лурье. Она остановилась тоже в «Боярском дворе». Так как Рашель заметила за собой слежку, то она, оставив в гостинице чемодан с динамитом на хранение, сама поспешила скрыться. К удивлению, чемодан не вскрыли, а его просто отнесли куда-то в чердачное помещение, где хранились оставляемые в отеле вещи. Чемодан поставили слишком близко к трубам. Уже осенью, когда начали топить, от нагревания его взорвало. Жертв, к счастью не было.

Если дело с Беневской и Рашель Лурье можно было объяснить простой случайностью, то заметка в «Нов. Времени», о которой я упоминала, и как бы показная неосведомленность охранки в деле Моисеенко порождали много недоумения. Однако, арестов не было, и дело Дубасова шло своим чередом.

Не могу не упомянуть еще об одном эпизоде того же времени, который я также не могла отнести к нашим удачам. Помню, как он смутил меня. Этот эпизод был связан с убийством Гапона.

Кажется, все в том же апреле, после появления в печати известий об убийстве Гапона, я встретила с Марком Андреевичем Натансоном. В газетах при описании этого дела указывалось, на чье имя была взята дача в Озерках. Я знала, что такой паспорт одно время имелся у нас, членов Б.О., и уже кто-то из моих товарищей им пользовался. Из этого я заключила, что убийство Гапона организовано членами Б. О. Но ЦК никаких заявлений, подтверждающих мое предположение, не делал и даже старался как будто отгородить себя от всякого касательства к этому делу. Воспользовавшись встречей с Марком Андреевичем, я заговорила с ним об этом. М.А. характерным для него жестом замахал на меня руками, а потом сказал: «Пожалуйста, никому об этом ни слова».¹⁰⁵

Объяснение всех неудач Б. О. в этот период и в следующий, вплоть до зимы 1906 г., пришло много позже.

Возвращаюсь к прерванному рассказу.

¹⁰⁴ «Московские ведомости» — газета охранительного направления; в сражении под Мукденом, крупнейшем сухопутном сражении русско-японской войны, в феврале 1905 г. русская армия потерпела тяжелое поражение.

¹⁰⁵ Натансон Марк Андреевич (1850–1919) — революционер-народник, сыгравший ведущую роль в создании таких организаций, как кружок «чайковцев», «Земля и воля»; в середине 1890-х годов один из организаторов партии «Народного права». Член ЦК ПСР. — В деле об убийстве Гапона ЦК ПСР занял двусмысленную позицию, сначала санкционировав этот террористический акт, а затем объявив действия Рутенберга его личной инициативой. Такое поведение ЦК объяснялось опасением, что убийство все еще популярного в определенных кругах рабочих священника при неочевидных доказательствах его сотрудничества с охранкой может повредить репутации партии и привести к столкновениям между рабочими-эсерами и талоновцами. Сыграла свою роль и игра Азефа, стремившегося устранить ставшего для него опасным Гапона, самому при этом оставшись в стороне. См. также прим. 31, 32 к воспоминаниям П. С. Ивановской.

Из Москвы я проехала прямо в Гельсингфорс. «Иван Николаевич» немедленно же послал меня в Выборг разыскать Яковлева («Гудкова»), которого нужно было снабдить для покушения на Римана небольшим снарядом. С Яковлевым мы условились, что снаряд я провезу с собой, и после Белоострова, в поезде, передам ему.

Мне снова пришлось побывать на даче в Териоках. Там было все по-прежнему — тихо, спокойно, но еще грустнее чувствовали себя оставшиеся. Дачу намеревались скоро ликвидировать. Свое назначение, хотя и частично, она уже выполнила. Я взяла имевшийся у них небольшой готовый снаряд для передачи Яковлеву, а им оставила только что вышедшие две первые книжки «Былого».¹⁰⁶ купленные мной с нарушением всех правил конспирации в Петербурге, на пути из Москвы. В них был помещен материал о первомайцевцах с их портретами. Нельзя было без волнения читать эти. первые книжки «Былого».

Уложив снаряд в свой ручной саквояж, я направилась в Петербург. В поезде, после таможенного осмотра в Белоострове, я передала снаряд Яковлеву. Однако, с Риманом боевую организацию также постигла неудача. Когда Яковлев, в форме офицера, явился на прием к Риману, он якобы чем-то вызвал подозрение и был арестован тут же в приемной.¹⁰⁷

Приближалось открытие Гос. Думы, террористическую борьбу, по постановлению совета партии, решено было в период Думы временно приостановить. Покушение на Дубасова было последним.

Глава IV К характеристике Азефа

Лето 1906 года я провела на даче в Финляндии, в знакомой семье. Несколько раз за лето «Иван Николаевич» наведывался к нам на дачу. Приезжал и один, и со своей женой, Любовью Григорьевной. До сих пор мне приходилось встречать и наблюдать его исключительно в конспиративной деловой обстановке. Как я уже писала, мое знакомство с ним началось еще в 1902 году. Это было как раз в такой момент, когда все связи петербургской организации, да и по России, сосредоточивались в руках «Валентина Кузьмича». Мне тогда предложили с ним познакомиться, как с центральной фигурой организации. Благодаря такой рекомендации, я уже заранее отнеслась к новому знакомому с полным доверием. Свидание наше состоялось в квартире Лидии Павловны Бзерской. Она в то время имела зубоврачебный кабинет на Невском проспекте, где-то около Николаевской. Ее квартирой, как местом свиданий, с.-р. широко пользовались. Кабинет зубного врача, да еще на людном Невском, представлял много удобств в конспиративном отношении.

Придя к Лидии Павловне в назначенный час, я застала там уже ожидавшую меня старую знакомую с.-р. М. О. Лебедеву. Именно она и желала познакомить меня с Азефом. Скоро появился господин, наружность которого меня сразу озадачила. Она резко не соответствовала обычному типу революционеров. Плотный, слегка сутулый, с короткой шеей брюнет, с толстыми губами, низким лбом. Какое-то широкое, каменное, точно налитое

¹⁰⁶ «Былое» — первый в России легальный историко-революционный журнал, большая часть материалов которого была посвящена народническому, в особенности народофильскому движению. Журнал имел огромный успех, расходясь невиданным для того времени тиражом 27–28 тыс. экземпляров.

¹⁰⁷ Полковник лейб-гвардии Семеновского полка Н. К. Риман стал объектом покушения как один из руководителей подавления Московского восстания в декабре 1905 г.; по-видимому, террориста постигла неудача в связи с плохим знанием субординации; явившись на прием к Риману в форме гвардейского офицера и отрекомендовавшись князем Друцким-Соколинским, Яковлев, не застав Римана, оставил свою визитную карточку. Это было нарушением этикета — младший по званию не мог оставлять визитную карточку старшему. Предупрежденная Азефом о готовящемся покушении охрана быстро установила, что «Друцкой-Соколинский» не тот, за кого себя выдает и при повторном посещении Римана через несколько часов в тот же день Яковлев был арестован.

лицо. Внешность ростовщика, биржевого дельца. Одет в цилиндр и модное пальто. Сколько ни всматривайся, не найдешь ни одной черты, свойственной русскому интеллигенту. Но ошибки не могло быть, это тот самый «Валентин Кузьмич», который пользуется таким доверием всех старых с.-р.

Разговор велся тоже в тоне, не смягчавшем внешнего впечатления. Он сказал, что знает меня уже по отзывам, что ему удобнее иметь дело со мной непосредственно, чем сноситься через других лиц.

— Ну, а как же вы? Ведь, в нашем деле и к веревочке надо быть готовой... — прибавил он, и при этом провел своей пухлой рукой по короткой шее.

Как-то после его ухода я не могла собрать своих мыслей. Стоя у окна, не оправившись от тяжелого впечатления, я проводила взглядом удалявшуюся по панели грузную, неуклюжую фигуру своего нового знакомого.

Этот жест рукой «Валентина Кузьмича» мне припомнился потом в жандармском управлении, на Тверской улице. В 1903 году после ареста меня тотчас же привезли на допрос к Трусевичу.¹⁰⁸ Он был тогда прокурором при жандармском управлении и специализировался по делам партии с.-р. Улыбаясь галантно, он сказал мне:

— А вы приложили ручку к такому делу, за которое полагается веревочка... — и для большей ясности тоже провел рукой по шее.

После первого знакомства с «Валентином Кузьмичем» мне пришлось с ним часто встречаться, и вскоре он назвал мне свое настоящее имя — Евгений Филиппович Азеф, а также дал свой адрес. Постепенно первое отталкивающее впечатление сгладилось, а доверие к нему укреплялось общим отношением окружающих товарищей. Кроме того, и работа с ним шла как-то гладко и плавно, свои обещания он в точности исполнял. Препятствия как-то легко устранялись им. Обращался он очень дружески, сам брался и за черную работу. Не раз он приезжал ко мне, нагруженный литературой. Однажды при передаче ее сказал:

— Ведь, вот, неудача! Всю зиму посылали в район литературу через рабочего, а он оказался провокатором.

Но до лета 1906 года я видела его исключительно в деловой обстановке. Теперь он приезжал к нам, как к друзьям, у которых ему хотелось просто отдохнуть. И приезжал даже не один, а в сопровождении жены. До 1906 года его жена, Любовь Григорьевна, жила безвыездно за границей. Она была безусловно честным человеком, живо сочувствовала революционному движению и по мере сил оказывала партии с.-р. за границей услуги. Любовь Григорьевна; прожившая с Азефом много лет, безгранично верила в него, как в искреннего революционера. Она последняя убедилась в его предательстве. Теперь могут отнестись к этому с сомнением. Но, чтобы понять ее веру в Азефа, надо принять во внимание, в какой обстановке протекала ее жизнь с ним. Поженились они за границей, когда он был еще студентом. В Россию она до 1906 года не возвращалась, да и на этот раз дальше Финляндии ее Азеф не пустил. За последние 6–7 лет (до 1906 г.), т. е. в тот период, когда он широко развернул свою провокаторскую роль и вошел в самую гущу работы революционеров, она видала его урывками, во время его кратких приездов за границу. Она жила очень скромно, да и вообще была в материальном отношении нетребовательна. Двое детей их воспитывались у швейцарки в деревне, подле Лозанны, где и Любовь Григорьевна проводила много времени. Она могла только видеть огромное доверие и внимание к Азефу со стороны таких людей, как Мих. Р. Гоц, Чернов и другие, — тех людей, жизнь которых протекала у нее на виду и в которых она верила так же безгранично, как в мужа. Она жила в постоянной тревоге за его судьбу, — ведь его роль «революционера», шефа Б.О., была ей известна. Я помню, как она, говоря о своем беспокойстве за судьбу «Ив. Николаевича», сказала однажды:

¹⁰⁸ Трусевич Максимилиан Иванович (1863-?) — товарищ прокурора Петербургской судебной палаты, затем директор Департамента полиции в 1906–1909 гг.

— Иван, ведь, живет с веревкой на шее.

И собственно так, как она, относились и мы все остальные. Мы тоже знали и видели одну только сторону его жизни, его нравственной физиономии. Мы не могли бы даже представить себе, что у него есть еще другая, диаметрально противоположная — и такая зловещая и ужасная — жизнь. Такое совмещение показалось бы нам просто невыносимым. Потому и все, что делал Азеф у нас на глазах, и как он себя держал, мы истолковывали под углом только этих обычных для нас представлений.

За лето 1906 г. у меня осталось в этом отношении особо яркое впечатление от одного из визитов «Ивана Николаевича». В августе, в день взрыва дачи Столыпина на Аптекарском острове, неожиданно к вечеру к нам приехал «Иван Николаевич». Он был очень взволнован, таким я еще не видела его. Не только взволнован, но подавлен и растерян. Сидел молча, не переставал курить, нервно перелистывал ж.-д. указатель. Хотел ночевать, но потом вдруг раздумал и ушел на станцию.

Его волнение мы приписывали, по своей тогдашней наивности, самым лучшим побуждениям, но дело объяснялось, как. оказалось впоследствии, гораздо проще. Так же просто объяснились позже и все наши неудачи и странности в деле Дубасова, о которых я говорила в предыдущей главе.

В годы 1902 по 1905, как мы теперь знаем из истории предательства Азефа, он искусно вел свою двойную игру, далеко не раскрывая всех своих карт перед охранкой. Департамент полиции не знал еще тогда его истинной роли среди революционеров. Об этом можно судить хотя бы по письмам Азефа к Ратаеву, начальнику особого отдела департамента полиции, в распоряжении которого находился Азеф как раз эти годы, а также по письму и донесению Ратаева к Зуеву.¹⁰⁹

Может быть, такая игра Азефа с охранкой и революционерами продолжалась бы долго, если бы в марте 1906 года в Петербурге Азефа не арестовал генерал Герасимов¹¹⁰ (начальник охран, отделения). Об этом аресте подробно рассказывает Н. С. Тютчев в «Заметках о воспоминаниях Савинкова».¹¹¹ О нем говорил и сам Герасимов на процессе Лопухина,¹¹² а также в своих показаниях в 1917 году перед чрезвычайной следственной комиссией временного правительства.¹¹³

По словам Тютчева, при аресте Азефу был поставлен Герасимовым ультиматум: «служить только охранке или... веревка». Само собой разумеется, он предпочел первое.

¹⁰⁹ Ратаев Леонид Александрович — заведующий заграничной агентурой Департамента полиции в 1902–1905 гг.; Зуев Нил Петрович (1857–1918) — вице-директор, в 1909–1912 директор Департамента полиции; донесения Азефа Ратаеву и письмо Ратаева к Зуеву с анализом предательской деятельности Азефа (характерно, что предателем Азефа считали и охранники, и революционеры — каждый смотрел со своей колокольни) были опубликованы в журнале «Былое» (1917, № 1, 2). Недавно письма и донесения Азефа были опубликованы в наиболее полном виде З. И. Перегудовой и Д. Б. Павловым — см. «Письма Азефа. 1893–1917» (М., 1994).

¹¹⁰ Герасимов Александр Васильевич (1861–?) — генерал, начальник Петербургского охранного отделения, фактически руководитель всего политического розыска в стране; в 1906–1909 гг. — непосредственный руководитель Азефа. Мемуары Герасимова «На лезвии с террористами», один из главных источников по истории «азефовщины», вышли в переводе на немецкий и французский языки в 1934 г.; в оригинале, на русском языке — в 1985 г. в Париже.

¹¹¹ Тютчев Н. С. В ссылке и другие воспоминания. М., 1925. С. 124

¹¹² Лопухин Алексей Александрович (1864–1928) — директор Департамента полиции в 1903–1905. Подтвердил В. Л. Бурцеву, а затем специальной делегации эсеров провокаторскую роль Азефа. Был приговорен Особым присутствием правительствующего Сената к 5 годам каторги, замененной ссылкой в Сибирь

¹¹³ Падение царского режима: Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. Л., 1925. Т. III. С. 13–14.

Чтобы замаскировать перед революционерами свое трехдневное пребывание в охранке, Азеф тогда же рассказывал нам, как его проследили и как он принужден был скрываться в течение нескольких дней от шпионов.

Немного спустя Азеф распространял среди нас рассказ еще о другом аналогичном случае: его задержали, по его словам, в Москве, в день покушения на Дубасова, когда он, желая немедленно же узнать о результатах, сидел в кафе на Тверской, недалеко от дома генерал-губернатора. «Но так как у меня, — объяснял он, — был великолепный паспорт, то меня немедленно освободили».

Теперь для нас несомненно, что именно с момента своего ареста Герасимовым Азеф старается всякими способами расстроить им же самим подготовлявшиеся покушения.

При этом он старался действовать так, чтобы не доводить организацию до больших провалов, которые могли бы пошатнуть доверие к нему. Азеф прятал в этом отношении огромное искусство и находчивость; иногда, чтобы прикрыть себя, добивался безнаказанности тех из нас, кто случайно попадал в руки полиции. Так и было, например, с Моисеенко, так же порой случалось и впоследствии. Отсутствие бомбы у боевика, стоявшего у Боровицких ворот, и неожиданный проезд через них Дубасова тоже, конечно, были устроены благодаря его двойной игре. Дубасова, правда, он едва не погубил, — спасла Дубасова случайность, — но если б даже Дубасов погиб, Азеф мог отговориться тем, что это произошло в Москве, не подведомственной Герасимову.

Не то было в Петербурге. Несмотря на тщательно организованную по плану Азефа слежку за Дурново, боевикам не удалось установить его выездов. Все это повторилось в еще более удручающем виде при организации покушения на Столыпина (конец лета и осень 1906 года).

Глава V Уход Азефа из боевой организации

В сентябре мы перебрались с дачи в Выборг. На новом месте «Иван Николаевич» неоднократно появлялся у нас (по дороге из Гельсингфорса в Петербург и обратно). В Выборге за мной началась усиленная слежка. Как-то я вздумала поехать в Петербург по чисто хозяйственным делам; в дороге заметила сыщиков, и весь день в Петербурге они меня не покидали. Преследовали настолько неотступно, что даже бросалось в глаза совершенно посторонним людям. Помню, как при переходе через Гороховую по Садовой, — в то время Гороховая была одной из наиболее оживленных улиц, — я выжидала момент, чтобы перебежать на другую сторону, и какой-то мужчина, проходя мимо, быстро сказал мне:

— За вами двое следят, остановились позади у витрины.

Я была убеждена в неизбежности ареста, но возвратилась домой благополучно, хотя и в сопровождении своих «личардов».

Несмотря на такую слежку, «Иван Николаевич» бывал у нас и даже послал меня на Иматру, где в это время находились два запасных техника: его брат Владимир и жена Зильберберга («Ирина»). Я должна была там остаться, чтобы продолжать свое техническое усовершенствование. Первая моя попытка уехать на Иматру не удалась: за мной неотступно следовали какие-то тени. О своей неудаче я сообщила «Ивану Николаевичу».

— Надо попытаться еще раз, — спокойно ответил он. Попытаться можно было, но я решила при малейшем сомнении дорогой вернуться обратно.

Усилив предосторожности, пробравшись ж.-д. путями с другой стороны в вагон, я уехала на этот раз благополучно.

На Иматре финн-активист¹¹⁴ по фамилии Синериус, хозяин небольшой гостиницы

¹¹⁴ Партия «активного сопротивления» Финляндии была создана в 1904 г. Ставя своей задачей достижение независимости, партия оказывала поддержку революционному движению в России. Из российских партий «активисты» были наиболее близки к эсерам.

«Отель туристов», находившейся совсем близко от вокзала, предоставлял боевой организации в полное распоряжение все свое учреждение. Там хранился динамит, а в одном из номеров располагалась динамитная мастерская. Здесь находили себе надежный приют боевики, если обстоятельства в каких-либо экстренных случаях принуждали их скрыться из Петербурга. Хозяин отеля, любивший рассеянную жизнь, часто надолго исчезал в Выборг. Мы слышали, как жена, разыскав его по телефону обычно в каком-нибудь ресторане, бранила и умоляла вернуться. Прислуга отеля, по свидетельству хозяина, была верная, надежная. Внизу у входной двери дежурил пожилой грузный финн-швейцар. Прислуживала нам белокурая, лет 25–28, горничная, тоже финка. Были и еще лакеи, но с ними нам приходилось соприкасаться меньше. По-русски все они говорили плохо.

Мы чувствовали себя там свободно и в полной безопасности, но это гостеприимство нам впоследствии дорого обошлось.

Брат «Ивана Николаевича», совсем молодой студент-химик какого-то заграничного политехникума, очень походил на него. Но как часто бывает, несмотря на фамильное сходство, Владимир был красивый юноша, в то время как старший брат поражал своей безобразной внешностью. Я провела с ним и с женой Зильберберга около недели; в сущности, работы для меня не было, и я недоумевала, зачем меня сюда послали. К тому же приближался день съезда совета партии, который должен был происходить тоже в «От. туристов».

Вскоре появился на Иматре Савинков, а потом и «Иван Николаевич». Савинков на этот раз приехал из-за границы. Как я сказала выше, дело происходило в октябре 1906 г. В мае Савинков был арестован в Севастополе в связи с покушением на коменданта Неплюева,¹¹⁵ хотя он к нему не имел никакого отношения. Летом он бежал с военной гауптвахты. Побег удался блестяще, его организовал Л. И. Зильберберг с помощью Сулятицкого и Никитенко.¹¹⁶

Таким образом, этот побег вернул Б.О. не только «Павла Ивановича», но и дал еще таких крупных и самоотверженных товарищей, как «Малютка» (Сулятицкий) и «Капитан» (Никитенко), с которыми в дальнейшем мне пришлось работать совместно.

Еще раньше Савинкова и «Ивана Николаевича» я встретила в отеле Рутенберга («Мартына»), но он держался отдельно от всех нас. Рутенберг был мрачен, имел вид почти трагический, что и было понятно. Он приехал на Иматру для выяснения с «Ив. Ник.» и Савинковым своего ложного положения, в котором он оказался после убийства Гапона. Против него была поднята «Нов. Временем» и другими газетами травля, а ЦК партии не брал его гласно под свою защиту.¹¹⁷

Савинков по приезде сообщил нам, что до открытия совета должно состояться совещание, своего рода пленум Б. О. Друг за другом стали подъезжать боевики. Из Петербурга приехали: «Адмирал» (Кудрявцев), «Малютка», Петя Иванов («Михаил»),

¹¹⁵ Покушение на коменданта Севастопольской крепости генерала В. С. Неплюева было произведено местной полусамодельной эсеровской группой. Севастопольский комитет ПСР не дал официальной санкции на убийство Неплюева, однако фактически оказал террористам помощь. Савинков и его товарищи по БО, приехавшие в Севастополь с целью организации покушения на командующего черноморским флотом адмирала Г. П. Чухнина и не имевшие представления о готовящемся теракте против Неплюева, были арестованы и едва не попали на виселицу за чужие грехи.

¹¹⁶ См. об этом в статье С. А. Никонова о Никитенко, напечатанной в № 2 «Каторги и Ссылки» за 1927 года. — 1 Ред.

¹¹⁷ См. прим. 10. В газете «Новое время» в апреле 1906 г. была напечатана статья «Маски», в которой утверждалось, что Рутенберг организовал убийство Гапона на почве конкуренции за деньги охраны. Молчание ЦК ПСР делало положение Рутенберга крайне двусмысленным. Заявление ЦК о том, что партия не сомневается в политической честности Рутенберга было опубликовано только осенью 1906 г.

Зильберберг, Рашель Лурье, Саша Севастьянова и другие — всего человек двенадцать.

В частной беседе со мной и еще с кем-то «Иван Николаевич», к нашему глубокому удивлению, заявил, что он и «Павел» (Савинков) решили сложить с себя обязанности руководителей Б. О. в виду последних неудач. Кроме неудачи с Дубасовым и Дурново, организованная за лето слежка за Столыпиным совсем обескураживала всех, принимавших в ней участие. Несколько раз, казалось, они были у самой цели, и, однако, Столыпин снова и снова ускользал из-под удара. Обстоятельства складывались даже так, что виновным в оплошности, недостатке предусмотрительности, неумение найти верный путь оказался на этот раз (впервые за все время) сам шеф — «Иван Николаевич».

Наши руководители пришли поэтому к убеждению, что полиция прекрасно изучила методы работы Б.О., и, следовательно, старыми приемами ничего не достигнешь; что как ни тяжело сознаться, эти приемы изжили себя, и нужно для успеха работы создать какие-то новые формы. Для этого требуется время, спокойная обстановка, пересмотр всей старой практики. Но как это сделать? Ни Азеф, ни Савинков, по их словам, не знали; они чувствовали только, что не в состоянии что-либо создать в момент работы, не прерывая ее. Им нужно временно отойти, хладнокровно все взвесить и тогда, — выработав что-то иное, какую-то новую систему, — приступить к работе. А пока старое насмарку! Всех товарищей они, поэтому, снимают с работы, сюда же вызвали для того, чтобы изложить перед ними свои затруднения.

— Мы уходим, но может быть группа без нас захочет продолжать работу?!

Приняв все это за чистую монету, я даже выразила свое уважение перед нашими руководителями, которые так глубоко взглянули на положение дела и так безоговорочно приняли на себя всю ответственность за последние неудачи. Никто из нас тогда не подозревал, в чем тут дело!

На общем собрании боевиков «Иван Николаевич» по обыкновению молчал, — говорил Савинков. Он повторял те же аргументы, но только более красноречиво, в присущей ему красивой форме. Настроение боевиков было удрученное. Уйти от работы?! Несмотря на всю безнадежность нарисованной нашими шефами картины, не все на это согласились.

Сложить оружие было психологически невозможно. Свирепствовали военно-полевые суды, виселицы, диктатура Столыпина была в полном расцвете. Мы верили в силу террора и необходимость его в тот момент. После некоторого обсуждения из нас создалась небольшая группа, которая решила продолжать борьбу на свой страх и риск. Наиболее опытным среди нас, как прошедший более долгий срок в Б. О., был Зильберберг, который к тому же являлся инициатором создания нового боевого отряда; он же и стал во главе его. ЦК партии тоже из всех боевиков ближе знал и больше ценил как раз его, Зильберберга. Еще свежо было воспоминание, как минувшим летом он, по поручению ЦК, организовал и удачно выполнил побег Савинкова.

В состав нового отряда вошли: Зильберберг, его жена — «Ирина», Петя Иванов, Кудрявцев («Адмирал»), Сулятицкий, я, немного позже М. А. Прокофьева, Никитенко, студент Петербург, университета Синявский («Кит Пуркин») и Сергей Ник. Моисеенко (брат «Опанаса»).

Так организовалась группа, получившая название Центрального боевого отряда партии с.-р.

Рашель Лурье и Владимир Азеф отошли от работы и вскоре уехали за границу. Кроме них отошло еще несколько человек, фамилий которых я не помню.

ЦК санкционировал создание нашей группы. В средствах нас, однако, ограничили; паспортов для нас у ЦК не оказалось. Зильбербергу пришлось их добывать самому. Это последнее обстоятельство имело для нас в будущем большое значение.

Правда, мне «Иван Николаевич» дал паспорт. Перед моим отъездом с Иматы он позвал меня к себе. В это время «Иван Николаевич», тяжело больной, лежал в одном из номеров той же гостиницы «Отель туристов». У него образовалась флегмона, и от опухоли в горле он чуть не задохся. Слег он после нашего совещания и не мог участвовать в

открывшемся совете партии. К больному вызвали профессора-хирурга из Гельсингфорса, при нем безотлучно находилась его жена. Марк Андреевич Натансон проводил у него все свободное от заседаний время, посвящая во все решения совета партии. Несмотря на болезнь, «Иван Николаевич» внимательно следил за ходом всех работ. Опасность для жизни больного скоро миновала, и я увидела «Ивана Николаевича», когда ему было уже лучше. На дверях его комнаты, во втором этаже отеля, висело объявление: «Здесь больной, просят соблюдать тишину». И Марк Андреевич, крайне озабоченный болезнью такого крупного «боевика», осторожно, бесшумно подходил к дверям комнаты, чтобы поделиться с ним впечатлениями от заседаний.

В один из таких моментов зашла к «Ивану Николаевичу» и я. Он указал мне на ящик маленького столика около кровати и сказал, правда, еще хрипло и с трудом:

— Там два женских паспорта. Один вы можете взять; вы берите себе какой более подойдет.

Я взяла паспорт на имя Анны Казимировны Янкайтис. Конечно, в этот момент я и не подозревала, какую опасность для меня представляла эта «товарищеская» услуга Азефа.

Затем я простилась с ним. Я чувствовала на себе его упорный гнетущий взгляд. Было какое-то недовольство и раздражение в этом взгляде, для меня столь непривычном. Он был мне непонятен. «Что же, неужели он так раздражен на то, что мы не признали его аргументов и без него решаемся продолжать работу?», — думалось мне после этого визита.

Глава VI В группе Зильберберга

С Иматры наша группа разъехалась по разным местам, мы условились встретиться в Петербурге. «Николай Иванович» просил меня не задерживаться в Выборге, выехать временно в Таммерфорс и там ждать от него телеграммы с вызовом в Петербург. Ехать прямо из Выборга представлялось неудобным: меня легко могли проследить. В Таммерфорсе же я могла установить, следят за мной или нет. Я прожила там дней 5–6. Был уже конец октября или даже начало ноября. За эти дни в гостинице, где я остановилась, я приготовила два снаряда, решив провезти их с собой в Петербург. Я рассчитывала, надеясь на свой опыт, что на границе таможенный чиновник не будет придирчиво осматривать мои вещи. Один из снарядов я намеревалась провезти на себе, под платьем, а другой в вещах. Для этого, обтянув снаряд легким слоем ваты и цветным шелком, я наклеила еще украшения, какие обыкновенно встречаются на коробках конфет. В Петербург я приехала благополучно.

С «Николаем Ивановичем» я увиделась в тот же день в одном из ресторанов, где у него была явка. До приискания комнаты я заняла номер гостиницы где-то на Лиговке, подле Невского.

Комнату я нашла по объявлению «Нового времени» в Кузнечном переулке, у вдовы генерала с какой-то украинской фамилией. Квартира была в 3 или 4 этаже, с парадной лестницей и швейцаром. Моя комната прямо из передней отделялась глухой стеной от следующей какой-то необитаемой проходной, за которой находилась кухня. Кроме самой генеральши, в квартире жила старуха-прислуга, важная, полная, всегда враждовавшая с хозяйкой. Сама генеральша, которой было далеко за сорок, видимо, стремилась еще пожить. В ее распоряжении оставались три просторных комнаты, меблированные с большой претензией. Большую часть дня генеральша проводила в своей спальне, из которой появлялась не раньше двух часов. Показываться при дневном освещении она не любила, а вечером, действительно, производила впечатление хорошо сохранившейся женщины. Секрет ее долгого пребывания в своих внутренних покоях мне открыла старуха-прислуга, скоро со мной сдружившаяся. Там оказался целый «институт красоты».

Когда по приезде я устраивалась на новоселье, то обратила внимание на странную деталь, бросившуюся мне в глаза как уже специалисту своего дела. В гардеробе, на дне пустого ящика, в уголке, закатилось несколько блестящих шариков. Мне показалось, что это

ртуть; я вынула их, рассмотрела. Но оказалось, что это были кусочки сплава, какие всегда остаются при паянии. Кто же тут жил до меня?.. Ознакомившись с прислугой, которая отличалась большой словоохотливостью, я расспросила ее, сдавали ли комнату до меня, кто жил. Старуха рассказала, что до меня жила здесь молоденькая барышня, должно быть, богатая, хорошо одевавшаяся, и описала внешность этой «барышни». Мне стало ясно, что тут жила Рашель; а затем я получила подтверждение своей догадки через кого-то от самой Рашель.

Чтобы придать в глазах хозяйки легальность моему проживанию в Петербурге, я записалась на частные курсы иностранных языков на Невском, и иногда заходила туда. Я сказала ей, что приехала подучиться языкам, чтоб затем поступить где-нибудь в провинции на место.

Работа моя в группе сводилась пока исключительно к технике. В этот период в Петербурге параллельно действовали, кроме нашей, еще две боевые группы: одна, в центре которой стояла «Бэла» (Татьяна Лапина), и другая — северный летучий боевой отряд, группа «Карла» (Грауберга).

Наш отряд, по плану Зильберберга, решил не сосредоточивать своих сил исключительно на организации слежки; к тому же в первый месяц для этого нас было слишком мало. Мы поставили себе целью использовать те информационные связи, которые остались от прежней Б. О., и попытаться расширить их; самим же заняться проверкой сведений, которые удастся получать. Все мысли по-прежнему были устремлены на Столыпина, хотя параллельно с ним выдвигался также вел. князь Николай Николаевич, реакционное влияние которого в этот период значительно усилилось. Мы помнили также, что именно Николай Николаевич, в качестве главнокомандующего войсками Петерб. военного округа, утвердил смертный приговор над Зинаидой Васильевной Коноплянниковой, первой женщиной, погибшей на виселице после 1 марта 1881 году.¹¹⁸

Группе «Бэлы» было поручено дело фон дер Лауница,¹¹⁹ тогдашнего петербургского градоначальника. Отряд же «Карла» готовил покушение на военного прокурора Павлова.¹²⁰ С первой, т. е. с группой «Бэлы», мне пришлось поддерживать самые тесные отношения. В качестве техника я обслуживала и их. В группу «Бэлы» входили: Роза Рабинович, Сергей Ник. Моисеенко и рабочий по кличке «Александр».

Несколько раз «Бэла» назначала день покушения, но дело не удавалось: то градоначальник проедет не в тот час, когда они ждут его, а то и совсем не выедет. Это напоминало историю с Дубасовым. Бывали и странности. Помнится, «Бэла» мне рассказывала о каком-то загадочном случае, происшедшем с Моисеенко. Он следил за градоначальником в качестве торговца-разносчика. Его арестовали на улице, привели в участок, а затем, почти без всяких расспросов, отпустили. Сергею Николаевичу показалось даже, что кто-то в соседней комнате сказал: «не надо, еще рано».

Свидание «Бэла» назначала мне обычно где-нибудь в кафе или в читальне Черкесова, выдавшей в своих стенах еще террористов-народовольцев. Свидания с ней были тяжелы. Нервная, с неестественно худым лицом, лихорадочно горящими глазами, она говорила каким-то глухим шепотом, быстро и возбужденно. Нарядный костюм мало подходил к ней, бросался в глаза, и окружающая публика невольно начинала оглядываться на нас. Как бы

¹¹⁸ О вел. кн. Николае Николаевиче см. прим. -13 к воспоминаниям П. С. Ивановской; З. В. Конопляникова была повешена 29 августа 1906 г.

¹¹⁹ Лаунц фон дер, Владимир Федорович (1855–1906) — тамбовский губернатор (1902–1905), петербургский градоначальник (1905–1906).

¹²⁰ Павлов В. П. -генерал-лейтенант, главный военный прокурор (1905–1906); речь Павлова на заседании Государственной Думы 1 июня 1906 г. в защиту смертной казни вызвала негодование либерального общества, не говоря уже о революционерах.

полным контрастом ей являлась Роза Рабинович, — с ней чувствовалось проще, без напряженности. Скромно одетая, спокойная, она держалась с большим тактом и нечем не выделялась из окружающей толпы. После «Бэлы» на свиданиях с Розой я отдыхала. Роза начала свою работу давно, еще при Гершуни, побывала в ссылке, откуда бежала, и теперь, как все мы, жила нелегально.

Много раз мне пришлось в своей комнате у генеральши заряжать и разряжать привезенную с собой из Таммерфорса бомбу. Зарядив утром, я несла ее для передачи, большею частью через Розу, метальщику, а затем в условленном заранее месте, зная уже, что покушение не состоялось, я снова находила Розу со снарядом в руках, с которым и возвращалась домой, чтобы разрядить его. Сама Роза, как мне казалось, довольно скептически относилась к постановке дела в своей группе.

Наконец, я стала побаиваться, чтобы швейцар не обратил внимания на мои частые путешествия — то с ручным баулом в руках, то с большим плотным свертком. Но пока все сходило с рук. Скоро и сама «Бэла» решила, что у нее ничего не выходит. Приблизительно тогда же ко мне зашел «Александр» и рассказал о своем желании выйти из партии с.-р.: он чувствовал себя ближе к анархистам. Он просил указать ему кого-либо из знакомых, чтобы связаться с анархистами. У меня был под руками адрес одного моего давнего приятеля-анархиста, к которому я и направила «Александра». Так мало-помалу группа «Бэлы» распалась, а сама «Бэла» уехала за границу. С. Н. Моисеенко вошел в наш отряд, а Роза Рабинович перебралась в Москву.

После «Бэлы» дело Лауница тоже оказалось в наших руках. Но оно являлось для нас не главным, его мы должны были исполнить попутно, наряду с другими. Основными нашими задачами оставались Столыпин и вел. князь Николаей Николаевич.

В это время Зильбербергу удалось получить связи с железнодорожниками Царскосельской дороги, — с кем именно, в точности не знаю.

Боевая работа этого периода вообще отличалась одной характерной чертой. По конституции Б. О. времен Плеве террористическая борьба организационно ставилась вне общепартийной работы, но по существу находилась с ней в самой тесной связи. В отрядах Зильберберга и «Карла» постановка дела подверглась изменению: здесь часто строили свои планы как раз на сведениях, получаемых от периферии партии. Свои люди у партии находились тогда всюду, особенно в низах, в гуще рабочей и служилой массы, а также среди военных. Сведения о поездках намеченных нами лиц давали рабочие железнодорожного батальона, — солдаты и военные писаря; даже царский дворец в этом отношении не являлся исключением; словом, сочувствие и помощь в низах были, без преувеличения, повсюду. Порой эта помощь была незаменимой, как, например, в деле военного прокурора Павлова. Сведения о предполагаемом выезде Столыпина или Николая Николаевича в Царское Село Зильберберг получал заранее. Наша задача заключалась в проверке точности такой информации и изучении внешнего вида экипажей и автомобилей, которыми пользовались Столыпин и Ник. Ник. Но Зильберберг, не уверенный в том, что нашей группе удастся легко одолеть Столыпина, старался не упускать из вида и тех, в деле которых мы надеялись на более скорый успех. Таковыми являлись для нас Дурново и Лауниц. Мы знали адрес квартиры Дурново на Моховой, но надо было проверить, действительно ли он там живет. Помню, я добыла рекомендации к князю П. М. Толстому, жившему в том же доме, что и Дурново, и по той же лестнице. Под каким-то предлогом я направилась к Толстому. При входе, в вестибюле лестницы, кроме швейцара, я заметила двух агентов, подозрительно ощупывавших глазами каждого входившего. Поднялась к Толстому; его не оказалось дома. Присутствие агентов как будто подтверждало, что Дурново живет именно здесь, — кого иного могли охранять тут сыщики?

Нам стали также известны некоторые интимные стороны жизни Дурново. Он имел свою *petite femme*¹²¹ и часто посещал ее. Жила она тут же на Моховой, недалеко от его

¹²¹ Любовницу (франц.)

квартиры, ходил он к ней пешком. На этой его слабости мы и строили свои планы. Дело Дурново ограничилось, впрочем, только разведками. Зато с Лауницем оказалось серьезнее.

Я не знаю, при чем содействии были добыты входные билеты на открытие Института экспериментальной медицины имени принца Ольденбургского на Лопухинской ул. На торжественное открытие был приглашен Столыпин; несомненно, должен был присутствовать и градоначальник Лауниц. Билеты меж собой распределили «Малютка» и «Адмирал». Последний особенно горячо оспаривал свою кандидатуру в деле Лауница. Он был родом из Тамбовской губернии, сын сельского священника. Жестокое усмирение Лауницем и Луженовским крестьянских беспорядков в 1905 г. происходило в Тамбовской губернии на его глазах. Луженовского убила М. А. Спиридонова, с которой был близок. «Адмирал» по работе; на очереди оставался Лауниц, и «Адмирал» заявил, что он его никому не уступит. «Малютка» брал на себя Столыпина. Еще при Азефе, осенью 1906 г., «Малютка» под видом уличного торговца следил за Столыпиным, поджидая его катер на Дворцовом мосту. Столыпин тогда уже перебрался в Зимний дворец; катер ему подавали к пристани на Зимней канавке, и на нем он ездил в Петергоф с докладами к Николаю И. С этого именно поста «Малютку» снял Азеф, вызвав на съезд боевиков на Иматру, о котором я уже говорила.

Накануне покушения я встретила в моем обычном кафе с Сергеем Моисеенко и передала ему от «Николая Ивановича» браунинг для «Адмирала».

На другой день, — это было 21 декабря 1906 г., — придя в кафе часа в три, я услышала за соседним столиком, как один из посетителей тихо сообщал другому об убийстве Лауница. Как это произошло, я узнала немного позже из вечернего выпуска газет. «Адмирал» двумя выстрелами из браунинга убил Лауница на площадке лестницы, ведущей в зал института, на глазах многочисленной публики. Следующим выстрелом «Адмирал» покончил с собой, и ему, уже мертвому, какой-то офицер тут же на лестнице рассек саблей голову. Столыпин на торжество не прибыл, и «Малютка», убедившись, что Столыпина не будет, не вызвав ни у кого подозрений, уехал с открытия, оставив там «Адмирала».

Террористы переживают сложное чувство во время своих удачных выступлений. Радость успеха поглощается гнетущим чувством утраты близких людей. Среди них никто не думает о своей собственной гибели и обреченности, испытывая только боль за гибель другого.

Вслед за Лауницем последовало убийство военного прокурора Павлова, — опять в обстановке, которая произвела большое впечатление. Охранка терялась от неожиданности выступлений, никаких точных агентурных указаний относительно этих двух отрядов она не имела. Азеф был за границей и не мог дать детальных сведений.

Убийство Павлова было совершено матросом Егоровым из группы «Карла». Павлов довел охрану своей особы до крайних пределов. Он переехал в здание суда на Мойку; зал заседания соединили дверью непосредственно с его квартирой. Он никуда из здания не выходил, жил как заключенный, позволял себе только прогулку во двореке суда. Вход в этот дворик охранялся часовым. В таких же условиях пленника жил тогда и Столыпин, о чем я расскажу ниже. Несмотря на всю изоляцию, Павлов не смог укрыться от революционеров. У них нашлись верные друзья среди охранявших прокурора. И когда 27 декабря 1906 г. Павлов вышел на свою обычную прогулку во дворик, дежуривший в канцелярии военный писарь из окна подал условный сигнал Егорову, поджидавшему на набережной Мойки. Егоров, в форме солдата, с разною книжкой в руках, вошел во дворик. Часовой пропустил рассыльного беспрепятственно. Здесь во двореке и был убит Павлов.

Еще до убийства Лауница и Павлова партии с.-р. удалось совершить покушение на графа Игнатьева¹²² в Твери, главу придворной реакционной партии, так называемой

¹²² Игнатьев Алексей Павлович (1842–1906) — граф, генерал, член Гос. совета; в 1905 председатель Особых совещаний об охране государственного порядка и по вопросам веротерпимости, член Особого совещания по обсуждению законопроекта о Государственной Думе.

«Звездной Палаты». Его убил 9 декабря Сергей Ильинский, член Московского областного отряда. Полиция была бессильна в борьбе с террористами, если она не имела среди них своих агентов. Уход Азефа из Б. О. и временное удаление его вообще от партийных дел сразу повысили успех боевой деятельности.

Глава VII Столыпин и Николай Николаевич

Уже из эпизода с торжественным открытием Института экспер. медицины, куда Столыпина приглашал сам принц Ольденбургский и он все-таки не приехал, можно видеть, как недоступен и трудно уловим был Столыпин. После взрыва максималистами его дачи на Аптекарском острове он переехал в Зимний дворец. Столыпин почти никуда не выезжал из дворца, за исключением неизбежных поездок с докладом в Царское Село к Николаю II. Но время этих выездов и обстановка были крайне изменчивы. Даже получив указания, когда приблизительно он проследует, мы не могли решить, проехал ли он и в каком экипаже.

Систему слежки, применявшуюся до сих пор боевой организацией, Зильберберг совсем отбросил. Среди нас уже не было ни уличных торговцев, ни извозчиков. Получив предупреждение о выезде Столыпина, мы мобилизовали все свои силы. Сверяли точно свои часы и распределяли наблюдение меж собой, примерно, так: в направлении от Морской на Миллионную должен был от 3 часов до 3 час. 10 мин. проходить такой-то член группы, от 3 час. 10 мин. до 3 час. 20 мин. на площади должен был быть другой, со стороны Адмиралтейского проезда к Морской, следующий — опять с Морской, следующий — опять с Морской на Миллионную, еще один — с Миллионной на Невский просп. и т. д. Так удавалось в течение часа-полутора держать подъезды Зимнего дворца и площадь под непрерывным наблюдением.

Перед моими глазами и теперь ясно встает, как я медленно выхожу из-под арки на Морской и пересекаю площадь направо к Миллионной, стараясь придать себе возможно беспечный вид. Ни на момент я не выпускаю из глаз подъезда Зимнего дворца. Сыщики реют по площади и буквально пожирают глазами каждого прохожего. На площади, к первому подъезду от Адмиралтейства, подана карета, стоит плотно-плотно у дверей под аркой; кучер обращен лицом к Адмиралтейству. Если даже смотреть сбоку, то нельзя видеть, кто в нее входит. В сторону к Миллионной, за решетчатými воротами, внутри дворцового двора, стоит закрытый черный автомобиль (каких много в Петербурге). Он подан тоже к самому подъезду. Ворота вдруг распахиваются, и автомобиль несется по площади под арку на Морскую.

В то же время я успеваю заметить, как сыщик на площади, со стороны Адмиралтейства, быстро вынимает из кармана что-то ярко-белое, вроде платка, один момент держит в руке, и карета так же быстро отрывается от подъезда и несется вслед за автомобилем. Схватить взглядом, кто находится внутри за стеклом, нет возможности. Столыпин проехал — это несомненно, но где же он был, в автомобиле или в карете?

На курсы языков я заходила редко, хотя старалась в одни и те же часы не бывать дома, чтоб на квартире не заметили моего «неглижирования» занятиями. Иногда ко мне заглядывала хозяйка, чтоб показать платье какого-нибудь нового фасона или поболтать о пустяках. Под конец месяца она совсем расположилась ко мне и обещала, если мне понадобится заработок, дать рекомендацию в знакомые семьи для занятий с детьми.

— Я так рада, — сказала она мне в минуту откровенности, — что нашла спокойную жилищу, а то теперь такое время, даже комнаты сдавать опасно. Бог знает, кто может поселиться! Вот, недавно у нас же на Кузнечном был такой случай: приехали к барышне с обыском, а у нее оказался чемодан с бомбами. Ужасно жить в одной квартире с такой особой!...¹²³

¹²³ В газетах, действительно, было сообщение о подобном факте.

Откровенность генеральши совершенно успокоила меня. Но, увы, скоро это мирное существование было нарушено. Мне спешно передали, что пришло предупреждение о том, что вся серия паспортов, среди которых был и мой, провалилась, и я должна немедленно поменять паспорт. Что случилось, я не знала, но пришлось спешно проститься с генеральшей, наговорив ей кучу небылиц о причине моего внезапного отъезда. Я даже оставила у нее часть вещей, так как генеральша решила ждать («она очень боится сдавать комнату новым людям») моего якобы скорого возвращения.

Я не очень жалела о генеральше, так как по ходу дела Зильберберг уже просил меня поселиться около Царскосельского вокзала: для проверки выездов Николая Николаевича в Царское Село необходимо было кому-нибудь наблюдать за подъездом вокзала. Я вспомнила, что, будучи курсисткой, жила в меблированных комнатах на Рузовской, на шестом этаже, окна которых выходили как раз на царский подъезд. Я надеялась, что за четыре года старая прислуга сменилась, да и кто уже так запомнил меня, чтобы узнать прежнюю курсистку в модно одетой даме.

Одна из комнат, очень удобно расположенная прямо против подъезда, — оказалась свободной. С паспортом на имя Людмилы Николаевны Завалишиной, слегка изменив свой костюм, я перебралась на Рузовскую. Прислуга при номерах оказалась уже новой, швейцар — прежний. Квартиранты — главным образом, служащие ж.-д. управления и два-три студента-технолога. Они жили изолированно, совершенно не интересуясь друг другом, в большинстве даже не поддерживали меж собой знакомства. О моей профессии меня никто не спрашивал, так что задумываться над этим мне особенно не приходилось.

В то время на Литейном была какая-то свободная художественная студия, которую мог посещать каждый желающий учиться рисовать; никакой регистрации в ней не велось. Этой студией, как ширмой, я и решила воспользоваться. Я разложила на вид кое-какие краски, тушь, рисунки. В случае надобности, я могла выдать себя за ученицу студии.

Но случайных посетителей у меня не было, а прислуга относилась ко всему безучастно. Помещалась она далеко, на кухне, два раза в день подавала кипяток и при мне же утром подметала пол. В контору я вносила месячную плату, — этим ограничивалось мое общение с администрацией.

Чтобы лучше наблюдать, я приобрела бинокль. Из окна моей комнаты я видела много раз, обычно днем, — карету Николая Николаевича с бородатым кучером на козлах; иногда — мелькнувшую высокую фигуру самого князя. Ко мне приходил изредка «Малютка», и тогда мы вместе следили за приездом на вокзал вел. князя.

Пока я жила на Кузнечном, динамит хранился у меня только в снарядах, плотно закупоренных. При переезде на новую квартиру я получила от Зильберберга целый запас динамита и гремучего студня, завернутого простое бумагу. Мне пришлось его тщательно укупорить в парафиновую бумагу, чтобы предохранить от порчи. Эта работа снова вызвала сильную головную боль. Да и присутствие динамита, не закупоренного герметически, я стала чувствовать с особой силой. Пряный запах, который выделяет динамит, похожий на запах миндаля, для посторонних, конечно, был незаметен, но мною ясно ощущался. Начались хронические головные боли. Несмотря на зиму, я старалась держать форточку почти постоянно открытой; уходила бродить по городу. Это мало помогало, по ночам часто начинались рвоты. Но куда я продолжала свою работу техника, совмещая также и обязанности наблюдателя.

Мы, участники группы, видались между собою почти исключительно на явках, адресов друг друга не знали. Только мой адрес, в виду того, что моя помощь могла понадобиться неожиданно и экстренно, некоторым из боевиков был известен. Ежедневную явку каждый из нас назначал в каком-нибудь ресторане или кафе, где неуклонно проводил определенный час.

На этих явках мы успевали обмениваться всем необходимым. Помню, долгое время для

меня таким местом служило кафе-столовая на Литейном, почти против Бассейной. С Зильбербергом я встречалась на В. О. в ресторане, в конце 1-й Линии. С М. А. Прокофьевой — в одном из ресторанов на Морской; с ней время от времени сходилась также в Гостином дворе у витрин магазинов. С Никитенко — в столовой на Казанской и проч. Устраивали свидания на выставках, в музеях.

Для более обстоятельных разговоров собирались на частных квартирах, у сочувствующих, например, у одной художницы на Звенигородской улице. Связь эта была получена через П. Ф. Крафта, в то время члена ЦК, через которого и поддерживались наши отношения с ЦК. Эта художница вообще оказала нам ряд неоценимых услуг.

Она не была партийным человеком, но порой исполняла чрезвычайно рискованные поручения. Помню, мы сошлись с ней как-то в Гостином; она взяла у меня большой сверток динамита и отвезла его одному домовладельцу на Конюшенной, также оказывавшему услуги Б. О. Он хранил наш динамит в кладовых своего большого дома.

У Пяти Углов на Разъезжей было еще одно надежное пристанище в квартире одного домовладельца. Внизу нас встречал швейцар, увешанный орденами, а наверху хозяин уступал нам свой кабинет. Здесь я впервые увидела Б. Н. Никитенко, присоединившегося в конце ноября к нашей группе. Высокая, мужественная фигура, лицо энергичное, открытое, ясное. Он уже своим внешним видом располагал к себе. Держался Б.Н. сначала немного застенчиво, но скоро освоился с нами. Он был полон сил, жажды броситься с головой в самое рискованное дело. Его чистой натуры еще не коснулись никакие нудные партийные мелочи. С его образом, а также и с образом «Малютки», у меня связывалось представление о народовольцах-террористах. Как жаль, что они оба погибли, едва прикоснувшись к работе.

В течение конца декабря и января, до ареста Зильберберга, группа сосредоточила свои силы на деле Столыпина и Николая Николаевича. Относительно Столыпина у Зильберберга скоро создался план напасть на него во время выездов в Царское Село. Помимо тех сведений, о которых я уже говорила, нам стало известно, что Столыпин садится в поезд где-то в пути, за Обводным каналом. Однако его приезды туда были столь изменчивы по времени и внезапны, что застигнуть его на этом пути представлялось делом трудным.

Другой план выдвигал Никитенко. Столыпин жил во дворце как пленник, даже выходил гулять только в сад дворца, который был в то время обнесен чугунной решеткой на высоком гранитном постаменте. Дворец, однако, только по внешности казался таким непроницаемым. Как это ни странно, но зараза проникла и туда. У Зильберберга был во дворе *свой*, преданный человек из числа низших служащих. Этот неизвестный и безмянный помощник соглашался дать условный знак, когда Столыпин выйдет на прогулку. На такой возможности получить сведения о времени выхода Столыпина и базировался план Никитенко. Он предлагал покончить со Столыпиным в саду, забросав его с трех сторон (с площади, Адмиралтейского проезда и набережной) бомбами, а сам вызывался, мгновенно перекинуться туда, зацепив веревочную лестницу за решетку. Как морской офицер, он привык к подобного рода упражнениям; как я упоминала, его звали в нашей группе «Капитаном».

У Никитенко был также прекрасный случай покончить с Николаем Николаевичем. Никитенко жил легально, имел некоторые связи в обществе и доступ в Английский клуб, который посещал также и вел. князь. Как-то раз Никитенко был одновременно с ним в клубе и говорил, что ему стоило больших усилий удержать себя от выступления. Никитенко и предлагал ЦК использовать эту возможность, но ЦК, к сожалению, наложил тогда veto, заявляя, что Никитенко должен пока беречь себя и постараться открыть доступ в клуб кому-либо другому. Предлагалось ввести в клуб «Малютку». Сделать это оказалось не так легко, к тому же вскоре последовал арест «Малютки».

Январь мы все продержались и работу свою продолжали. Как-то в январе Зильберберг отдал мне распоряжение спешно приготовить два снаряда: в эту ночь Столыпин возвращался из Царского Села. Было уже не менее 4–5 час. вечера. Я тотчас же забрала свою походную мастерскую и направилась на конспиративную квартиру, — не помню, где именно, но за

Клинским проспектом, к Обводному каналу. Квартира находилась как раз на пути Столыпина. В ней под видом супругов жили Петя Иванов и М. А. Прокофьева.

Это была небольшая квартира, комнаты в три, обставленная на мещанский лад, с дешевенькими олеографиями по стенам. Хозяин Петя — за большим столом, для видимости заваленным какими-то счетоводными книгами и большими счетами. Я разгрузила свой багаж, принесенный мною частью в ручном саквояже, частью на себе. Один снаряд был готов еще раньше, — тот самый, с которым столько раз выходили на Лауница. Но другой, большего размера, приходилось спешно готовить заново. Я ушла в кухню и заперлась там. В случае какого-нибудь несчастья, все же двое других были подальше и могли уцелеть. Не ранее, как к 11 часам, если не в полночь, мне удалось закончить всю работу. Метальщики, Никитенко и Синявский, уже пришли к нам и ожидали меня. Я передала им снаряды, и они, не мешкая, отправились навстречу Столыпину. Меж нами было решено, что, если мы услышим взрыв, то подождем некоторое время: быть может, уцелевший из метальщиков вернется со снарядом, который необходимо будет разрядить. Затем мы бросаем квартиру и все направляемся в Финляндию.

Время томительно тянулось. Час ночи, два, третий... Наконец, шаги на лестнице. Голова моя уже мучительно болела. Вернулись оба — Столыпин не проезжал. Был автомобиль, и в нем старик военный, которого они ясно видели. Поднимаясь к нам по темной лестнице, Синявский споткнулся и еле удержал снаряд. Я была еще в состоянии разрядить принесенные снаряды. А затем слегла. Синявский и Никитенко ушли. Всю ночь до утра продолжалась со мной рвота. Марии Алексеевне пришлось также не спать — возиться около меня.

Только днем на другой день я смогла подняться и направиться к себе. Продолжительное отсутствие при нашем положении было неудобно. Мы вообще в образе своей жизни тщательно избегали всего, что могло бы привлечь излишнее внимание окружающих.

Этот случай повел к тому, что группа решила освободить меня от технической работы. Я могла причинить организации много бед, могла свалиться от головной боли в самый ответственный момент, мог произойти несчастный случай при работе, требующей самого напряженного внимания и выдержки.

Освободить меня было тем более, легко, что имелся свободный техник в запасе — жена Зильберберга, жившая в Финляндии.

Так и сделали. Вскоре я передала весь динамит, имевшийся у меня, частью через художницу, о которой я уже упоминала, на хранение домовладельцу на Б. Конюшенной, а часть Н. Филипченко, молодой девушке, привлеченной Зильбербергом к работе в Б. О. Был у нас и еще один склад для хранения — в одной из лабораторий университета, у лаборанта Завадского, который впоследствии был привлечен к процессу Никитенко.

На этом, однако, не кончилось ни мое участие в группе Зильберберга, ни, в частности, мое отношение к работе в динамитных мастерских, ни вообще та или иная связь с тогдашними боевиками, во главе которых вскоре стал, вместо Зильберберга, Никитенко.

Но тут начинается самая тяжелая часть моих воспоминаний, так как она касается периода, для многих из участников закончившегося гибелью.

Глава VIII

Арест Зильберберга и мой побег из Петербурга

Пока развивались события, на нас надвинулись черные дни.

Я говорила уже, что наша группа, как и другие действовавшие параллельно с нею, образовалась после роспуска Азефом боевой организации. Почти все то время, пока мы находились в Петербурге, Азеф (а также Савинков) жили за границей, в Аляссио в Италии, на берегу Средиземного моря. Азеф рассчитывал, что боевая деятельность без него замрет сама собой. Случилось, однако, иначе, и вдобавок, мы все вышли из-под его контроля.

Точных сведений о нашей группе он не имел, паспортами мы пользовались своими, а не получали через ЦК, где и как мы жили, он знать не мог. И хотя он, как стало известно теперь,¹²⁴ в конце 1906 года сообщил Герасимову из-за границы о том, что в Финляндии есть группа лиц, замысливающих покушение на градоначальника Лауница, и хотя охранка знала, что эта группа жила на Иматре, тем не менее, не имея детальных указаний внутренней агентуры, охранка оказалась бессильной что-либо сделать, чтоб помешать убийству Лауница.

Активная роль по раскрытию нашей группы переходит в тот момент к двум случайным агентам, только что перешедшим на службу в петербургскую охранку. Выступают на сцену тот швейцар и горничная из «Отеля туристов», о которых я говорила. Охранка сумела их соблазнить, вероятно, высокими окладами, и они исчезли из отеля. Скоро швейцар стал появляться на Финляндском вокзале, зорко осматривая выходящих из вагонов пассажиров.

Возможно, что он и горничная проследили Зильберберга и Сулятицкого. Они оба были арестованы на улице, Сулятицкий в конце января, а Штифтар-Зильберберг — 9 февраля. В их лице были захвачены центральные фигуры группы.

Теперь из документов, напечатанных в «Красном архиве» (т. II. 1925 т.), известно, что сообщал Герасимов департаменту полиции по делу об убийстве Лауница. «21 декабря прошлого года, во время освящения нового помещения отделения института экспериментальной медицины, неизвестным молодым человеком выстрелом из браунинга был убит с. — петербургский градоначальник, свиты его величества генерал-майор фон дер Лауниц. По поводу вышеупомянутого убийства ЦК партии с.-р. была издана прокламация с извещением, что казнь генерал-майора фон-дер-Лауница была приведена в исполнение членом боевого отряда ЦК партии с.-р. по приговору последнего. Принятыми мерами расследование, с целью выяснения состава лиц, входящих в состав боевой организации, и преступной ее деятельности, дало следующие результаты. В начале декабря месяца прошлого года в гостинице „Сирениуса“, на Иматре, поселилось несколько лиц, входящих в состав боевой организации и проживающих нелегально, из них один под именем иоганишкельского мещанина Теодора Симеона Гронского, второй — преподавателя древних языков Владимира Федоровича Штифтара,¹²⁵ третья — неизвестная женщина, которую называли „товарищем Ирина“, и четвертый — неизвестный, впоследствии ставший убийцей генерал-майора фон дер Лауница. 21 января Гронский и 9 февраля Штифтар, по прибытии в Петербург, были задержаны агентами вверенного мне отделения и при отношении от 28 февраля с. г. за № 4299 переданы в распоряжение судебных властей, как соучастники убийства генерала Лауница и как входящие в состав боевой организации».

Личность покончившего с собой «Адмирала» была установлена якобы швейцаром и горничной из «Отеля туристов». Они опознали в нем одного из тех, кто жил при них в отеле. Этот швейцар и горничная послужили хорошим прикрытием для роли Азефа в деле Зильберберга.

Если допустить даже, что Азеф не дал точных указаний относительно Зильберберга и Сулятицкого до их ареста, то во всяком случае после ареста он осветил Герасимову всю их деятельность и тем подвел к виселице. Гибель их после ареста становилась неизбежной.

В феврале Азеф уже появляется в Финляндии на Таммерфорском съезде партии¹²⁶

¹²⁴ «Падение царского режима», т. III, стр. 14.

¹²⁵ В то время в Финляндии никому не нужно было предъявлять никаких паспортов, а тем более в «Отеле туристов», где террористы имели постоянный приют. Ни Сулятицкий, ни Зильберберг ни в каком случае не могли жить там под этими фамилиями, на которые имели паспорта, уже прописанные ими в Петербурге. Очевидно, Герасимов знал об этом из какого то другого источника.

¹²⁶ Таммерфорская конференция ПСР проходила с 12 по 15 февраля в Финляндии в связи с открытием II Думы, в которой партия имела 37 депутатских мест; конференция решила временно ослабить террор

вместе с Гершуни и Брешковской.

Никитенко после ареста Зильберберга, узнав, что Азеф в Финляндии и снова готов вернуться к боевой деятельности, решил обратиться к нему за помощью. Но Азеф отказался иметь дело с группой, заявив, что не может доверяться новым, не проверенным им людям, и даже высказывал предположение: «Может быть, среди них есть провокатор». Заместителем Зильберберга пришлось стать Никитенко, как самому ближайшему его помощнику по делам группы.

Во второй половине февраля произошел случай, который и меня заставил бежать из Петербурга.

Некоторые сыщики знали меня давно и очень хорошо. Я помню, как в августе 1905 г., после свидания в Н.-Новгороде с Азефом, меня преследовал до Петербурга низенький, толстый, пожилой сыщик. Не раз мелькал он предо мной и в Выборге в 1906 году. В Н.-Новгороде был назначен во время ярмарки съезд боевиков. Азеф просил меня повидаться с ним, назначив свидание на ярмарке, в саду с открытой сценой. Там же в саду за столиком я нашла Савинкова и Зильберберга. За боевиками следили, о месте съезда знала охранка, благодаря этому свиданию я попала, или сознательно была подведена Азефом, под наблюдение.

Около Царскосельского вокзала сновало всегда много сыщиков. Особенное обилие их было на углу Гороховой. Мне же часто приходилось проходить мимо Царскосельского вокзала. Как-то в половине февраля я направлялась домой и, подходя к углу Гороховой по Загородному, увидела того сыщика, который меня знал еще с ярмарки. Отступать было поздно, приходилось прямо идти на него. Сыщик выдвинулся на панель и даже на момент как-то вскинул руками, как будто хотел задержать меня, но посторонился. Я прошла, зная, что теперь начнется преследование. Квартира моя находилась недалеко, но именно за квартиру я всего более боялась. У меня на всякий случай хранились кое-какие принадлежности для работы над снарядами, которые могли мне во всякий момент понадобиться, если бы вновь потребовалась моя помощь. Желая увести сыщиков в сторону от главной опасности, я направилась дальше по Загородному к Технологическому и по Забалканскому свернула на Садовую. Однако, вижу: за мною следуют двое. Мне не раз приходилось попадать под неотступное преследование. В такие моменты мысль начинает лихорадочно работать, просыпается какое-то сильное упорство, побуждающее во что бы то ни стало уйти от погони. Так должен чувствовать себя затравленный зверь. На Садовой я устремилась в первый проходной двор, который я знала, но меня постигла неудача — двор оказался закрыт. Наняла извозчика, поехала на Покровскую; сыщики за мной, тоже на извозчике. С площади мне удалось пройти проходным двором на Канонерскую, где снова я взяла извозчика. Погоня как будто прекратилась. Чтобы проверить, я побывала и на В. О., и на Петербургской стороне, несколько раз вновь прибегая к проходным дворам. До часа явки я оставалась все время на улице. Увы, на явку никто не пришел, стало быть, надо ждать следующего дня. Я не могла уехать из города, не предупредив товарищей: кто-нибудь, из них мог зайти ко мне на квартиру. Решила вернуться к себе, рассчитав, что за вечер и ночь установить мой адрес не смогут.

В то время наружное наблюдение в Петербурге было поставлено очень широко. Кроме наблюдения за каждым политически неблагонадежным лицом и его квартирой, существовало наблюдение по кварталам. Каждый сыщик своего квартала должен был знать всех, в нем живущих; таким образом, охранке удавалось быстро устанавливать всех «подозрительных», — где живет заинтересовавшее их лицо или в каком районе чаще появляется.

К себе я вернулась благополучно, подле дома никого не было. Утром вышла из квартиры — кругом спокойно. Но опять неудача: никого не видала за день. Рискнула еще одну ночь провести дома. На следующее утро мой дом был буквально окружен. Внизу вместе со швейцаром стоял старший дворник. В противоположных воротах Семеновских казарм прятался сыщик, на углу Загородного меня ждал еще агент. Попыталась пройти

проходным здесь же на Рузовской, за мной следовали по пятам. Я долго металась в этот день по городу, мои уловки ни к чему не вели. Наконец, проходной двор на Преображенской спас меня. Убедившись, что я вышла из окружения и меня более не преследуют, я решила немного изменить костюм: купила себе в одном из модных магазинов меховую шапочку, оставив свою шляпу на хранение «до завтра».

Никитенко как раз на этот день дал мне адрес новой явочной квартиры — присяжного поверенного Чиаброва. К несчастью, адрес оказался передан неточно — по лестнице, которую мне описывал «Капитан», квартиры Чиаброва я не нашла. В раздумьи я задержалась на площадке, соображая, что делать дальше. Здесь, на площадке, меня застал Никитенко, — он также искал квартиру Чиаброва, и вместе с ним мы так и не нашли ее. Не теряя времени, тут же на лестнице я переговорила с ним и решила немедленно уехать из Петербурга в Финляндию.

На извозчике я добралась до Удельной, там захватила уже последний ночной поезд, шедший в Териоки.

Однако, мои мытарства на этом не кончились, неудачи меня преследовали. В Териоки я приехала часа в два ночи, почти в пустом поезде. На платформе сыщик, — неизбежная фигура в то время при каждой финляндской станции. Сошли с поезда. Ночь. Идти некуда. Отель «Бельвю», на который я рассчитывала, версты две от станции. Отправилась — сыщик за мной.

Кругом пустынно, темно, на дороге — лишь я и он. Стало жутко.

Прохожу мимо небольшой гостиницы, кажется, какая-то «Звезда», в которой укрывался перед убийством Герценштейна «Сашка» Половцев.¹²⁷ Чтобы избавиться от сыщика, решила переночевать в ней. На мой стук спустилась прислуга — финка. Через дверь она сказала мне, что все комнаты заняты, места нет и отказалась впустить.

Финка с трудом говорила по-русски, и я перешла тогда на финский язык, который немного знала. Объяснила, что дача, на которой я живу, далеко от вокзала, извозчика нет, я боюсь ночью идти, мне не нужна комната, лишь бы пустили, я и в передней согласна провести ночь. Утром уйду к себе. Сыщик все время стоял в нескольких шагах от крыльца. Финка, наконец, уступила моим просьбам и провела меня в буфетную, даже принесла свою подушку.

В буфете было холодно, не топлено. Я расположилась на диване, но уснуть не могла. Скоро послышался стук внизу и опять голос финки. Дверей она, однако, не открыла. Стук в течение ночи повторялся несколько раз, финка спускалась, и голос ее становился все раздраженнее. Она говорила с кем-то через дверь, по-русски. Я догадывалась, кто там стучит.

Когда начало светать, я поднялась, соображая, куда направиться? Сыщик, несомненно, где-то тут, близко, и последует за мной. Финка рассказала мне, как ей не давал спать всю ночь какой-то русский, который пришел вслед за мной и требовал, чтоб его тоже пустили в гостиницу.

Надо было уходить. Расплатившись за ночлег, я вышла на крыльцо. Смотрю — слева у крыльца, как раз в сторону вокзала, развесистое дерево, все опущенное снегом. Сквозь ветви вижу фигуру своего ночного спутника. Он стоял спиной к крыльцу, но вдруг быстро повернул и нырнул куда-то за здание. Около гостиницы была небольшая площадь полукругом, в глубине ее мелочная лавочка. Хозяин как раз открывал двери, и сыщик соблазнился возможностью погреться, проведя всю ночь на улице. Пока он шел, я быстро пересекла за его спиной этот кусок дороги, самый опасный для меня. Дальше начинался забор, который скрывал меня от сыщика.

Добежала до станции как раз к моменту прихода поезда из Петербурга. Из окна вагона

¹²⁷ Герценштейн Михаил Яковлевич (1859–1906) — экономист и общественный деятель, один из основателей партии кадетов, депутат 1-й Гос. Думы; был застрелен 18 июля 1906 г. черносотенцами; одним из убийц был А. В. Половнев («Сашка Косой»), десятник Путиловского завода.

мне была видна вся улица до гостиницы «Звезда». И на ней никого. Сыщик продолжал греться.

Через полтора-два часа я была в Выборге.

После моего отъезда из Петербурга, приблизительно через неделю, группе удалось все-таки устроить покушение на Николая Николаевича. Никитенко, благодаря связям с железнодорожниками, проник с Обводного канала через боковую калитку, закрытую всегда на замок, на полотно железной дороги, недалеко от вокзала. Ему удалось беспрепятственно, перед самым отходом поезда, в котором следовал Николай Николаевич, положить на рельсы большое количество динамита. Когда Б. Н., уже возвращаясь, подходил к калитке, то железнодорожный сторож заметил его фигуру, мелькнувшую в темноте. Бросился за ним, но он успел скрыться. Сторож поднял тревогу, поезд задержали. Осмотрели путь, и динамит был найден.

Глава IX

Снова в динамитной мастерской

В первой половине марта 1907 г. Азеф вызвал меня в Гельсингфорс. Я поехала, не зная в точности причины вызова. У Азефа я застала также Григория Андреевича Гершуни. Они оба вызвали меня для того, чтобы направить во вновь организованную динамитную мастерскую около Або. Туда уже уехал химик, но не имелось опытного техника. Необходимо было показать приемы работы как химику, так и находившемуся там ученику. Григорий Андреевич, кроме того, очень интересовался постановкой работы в Б.О. Делясь с ним своими наблюдениями, я сказала, что думала и раньше и о чем говорила в свое время с Натансоном, что еще по работе с «Иваном Николаевичем» и Савинковым у меня осталось впечатление, что в Б. О. слишком подавляется инициатива отдельных членов и работники воспитываются в духе пассивного повиновения. Г. А. мне горячо возражал, говоря, что к сожалению встречается мало способных организаторов и что «Иван Николаевич» много раз ему жаловался на трудность выбора.

Путь в мастерскую лежал через Або. Там я разыскала активистку-финку, жену местного судьи, молодую милую женщину, которая снарядила меня в дальнейший путь. Она отвела меня на постоялый двор и нашла там знакомого возницу. Вместе с ней мы взгромоздились на высокий и неудобный экипаж и поехали к какому-то финну, где перепрягли лошадь в одноколку. Не скажу, чтоб наша поездка по городу, где, как и всюду в Финляндии, были русские сыщики, выглядела конспиративно. Но я была в чужом монастыре и отдала себя в полное распоряжение моих новых друзей. С активисткой — моей спутницей — мы простились при новой пересадке, и затем я поехала дальше в одноколке уже одна с финном.

Мой возница, очень высокий, пожилой финн, со щетинистыми усами, не выпускал изо рта трубки. К сожалению, он говорил только по-шведски и объяснялся со мной знаками; я была совсем беспомощна. Мы ехали куда-то, помнится, на север, не менее трех часов. Дорога становилась все более снежной, на колесах продолжать путь стало трудно. Мой спутник остановился на каком-то хуторе, видимо, также у своих людей. Здесь пересели в сани. В санях наше путешествие продолжалось недолго — час-другой; скоро перед нами показалась вода. Вышли из саней, коня финн привязал, на берегу была причалена лодка. Вода еще не совсем очистилась от льда. Перебрались на противоположный берег, когда уже совсем стемнело. Берег острова, к которому мы пристали, был покрыт глубоким рыхлым снегом, недалеко виднелся лес; к нему мы и направились. Тропинки не было, знаками финн показал мне, чтоб я шла за ним. Я с трудом попадала в его следы, он был такой высокий и так широко шагал, что я часто проваливалась в рыхлый снег. Шли с полчаса. Но вот на чистом пригорке показался домик; в нем светился огонек. В домике нас приветливо встретили две женщины, говорившие тоже только по-шведски. Я продрогла и по колени промокла. Тут только я. обнаружила, что, ныряя за проводником, я потеряла одну из галош.

Одна из женщин-хозяек куда-то исчезла и скоро возвратилась с товарищем-боевиком. Это был «Фор» (Лазаркевич), которого я увидела впервые.

Путешествие мое кончилось, я оказалась на каком-то островке в шхерах, где единственными обитателями были наши хозяева. Недалеко от дома хозяев, в десяти минутах ходьбы, находился небольшой флигель из двух-трех комнат, в нем помещалась новая динамитная мастерская. Кроме Лазаркевича, недавно бежавшего из Киевской тюрьмы, в мастерской жил еще один товарищ, которого я раньше не встречала и потом более ни разу не видела. Жили они совсем, как Робинзоны, с внешним миром не имели сообщения и сами были недоступны для него на этом необитаемом острове. Одну из комнат предоставили мне, а в другой поместились сами. В ней же мы и работали. Два раза в день мы ходили к хозяевам на завтрак и обед. Чай по вечерам пили у себя дома. С хозяевами объяснялись больше знаками, хотя «Фор», живой по характеру, пытался с ними вступать в более продолжительную беседу, но эти попытки были неудачны и кончались обоюдным смехом.

Задача моего пребывания в мастерской заключалась в том, чтобы приготовить показательный снаряд, а мои ученики должны были усвоить принципы устройства снаряда и технические приемы работы. Как и следовало ожидать, после заполнения снаряда динамитом я слегла от головной боли. Мои товарищи уже без меня пошли на берег острова, подальше от хозяев, пробовать запал с патроном гремучей ртути. Запал, упавший даже в рыхлый снег, взорвался. По готовому образцу они могли теперь продолжать работу. Я прожила с ними несколько дней, как уславливалась с Азефом, и могла возвратиться к себе в Выборг. На сцене появился прежний финн, с которым я и проделала обратный путь.

После меня в этой мастерской побывали многие товарищи, которых Азеф направлял туда для обучения. Среди них был М. М. Чернавский,¹²⁸ который упоминает в своей «Автобиографии»¹²⁹ о работе в этой динамитной мастерской.

Несмотря на такое уединенное место, недоступное для слежки (по дороге к ней каждый не местный житель бросался в глаза), впоследствии эта мастерская подверглась обыску. Правда, с обыском приехали поздно, когда мастерская уже закончила свое существование и вне зависимости от этого обыска. Ее обитатели и не подозревали о надвигавшейся на них опасности. Несомненно, указание на мастерскую было сделано Азефом, он все еще пытался продолжать свою двойную игру с охранкой и революционерами.

Мастерская подле Або успела выпустить целый ряд работников-инструкторов по обращению с динамитом и по изготовлению снарядов.

Глава X **Судьба товарищей**

В заключение мне хотелось бы остановиться на судьбе товарищей, с которыми мне пришлось соприкоснуться по работе в боевой организации. Большинство из них или погибло тогда же, или немного позднее. Уцелели единицы и уцелели большею частью благодаря не какой-либо счастливой случайности, а той системе выдач, которую практиковал Азеф.

Начну с Ал. Ал. Севастьяновой, той «Аннушки» на нашей даче в Териоках, которая встретила меня на пороге моего вступления в боевую организацию, в первой динамитной мастерской. Ее, как и многих других, Азеф по целому ряду причин, которые трудно учесть, не выдавал, до поры до времени даже оберегал, но она продержалась лишь до конца 1907

¹²⁸ Чернавский Михаил Михайлович (1855–1943) — революционер-народник, затем член ПСР. Работал в динамитной мастерской в Финляндии, после разоблачения Азефа участвовал в попытке Савинкова реанимировать БО

¹²⁹ «Энциклопедический словарь». Изд. Русск. Библиогр. Института Гранат, т. 40. вып. 7–8, стр. 573.

года. В ноябре этого года Севастьянова бросила бомбу в Москве в генерала Гершельмана,¹³⁰ главнокомандующего Московским военным округом. Гершельман остался жив, она арестована и приговорена к смертной казни. Севастьянова до конца не назвала своего имени и погибла, как «неизвестная женщина».

Рашель Лурье («Катя») отошла от работы в 1906 году, после ухода Азефа и Савинкова из боевой организации. Она покончила самоубийством в Париже в 1908 году.

М. А. Беневская, отбыв неполный срок каторги в Мальцевской тюрьме, сокращенный в виду ее инвалидности, вышла на поселение. После Февральской революции возвратилась в Европейскую Россию.

«Семен Семенович», настоящая фамилия которого для меня так и осталась неизвестной, исчез бесследно в том же 1906 году, т. е. в год своего вступления в Б.О. О нем, как о без вести пропавшем, упоминает также Савинков в своих воспоминаниях.

Лев Иванович Зильберберг («Николай Иванович»), арестованный под фамилией Штифтара, был приговорен к смертной казни. Суд над Зильбербергом и Сулятицким происходил в помещении Трубецкого бастиона 12 июля 1907 года. На суде в качестве свидетельницы выступала Ида Ванханен, та финка — горничная из «Отеля туристов», о которой я уже выше говорила. В Петропавловской крепости, куда были заключены оба подсудимых с момента ареста, Л. И. занимал камеру рядом с В. О. Лихтенштадтом¹³¹ (№№ 61 и 62), до конца перестукивался с ним, и запись об этих последних днях Льва Ивановича сохранилась в дневнике Лихтенштадта, который находится теперь у его матери, Марины Львовны.

Почти накануне казни, 13 июля, Л. И. подал коменданту Петропавловской крепости для передачи физико-математическому факультету Петербургского университета решение задачи: «Деление всякого угла на три равные части» и чертеж от руки, исполненный тщательно и искусно. Эти документы пролежали в департаменте полиции до Февральской революции. Теперь они напечатаны во II томе «Красного архива» за 1925 год.

Митрофан Васильевич Сулятицкий («Малютка»), арестованный под фамилией Гронского, судился вместе с Зильбербергом. Оба обвинялись в организации убийства Лауница. Казнены вместе 16 июля 1907 года на Лисьем Носу.

Евгений Федорович Кудрявцев («Адмирал») погиб при покушении на Лауница. Он первым выбыл из нашей группы. «Адмирал» не задумывался над вопросом о собственной жизни, до конца его озабочивала только участь других товарищей. Хорошо помню, что мы как-то однажды рискнули с ним прогуляться вдвоем по пустынной Французской набережной. У каждого из нас являлось непреодолимое желание поговорить друг с другом в более свободной обстановке, вне тех связывающих условий ресторанных явок, на которых мы обычно виделись. Был холодный, декабрьский вечер, улицы, затянуты туманной дымкой. «Адмирал», уже тогда наметивший для себя роль исполнителя в первом же террористическом предприятии, которое нам удастся организовать, держал себя так, как будто даже вопрос о неизбежном конце не стоял вплотную перед ним. Его беспокоило одно: чтоб не пострадал кто-нибудь теперь же, при случайном аресте. Он даже решал, что при таком аресте никому из группы не грозит суровое наказание. «Ведь при нас ничего не найдут, вот вы — другое дело: у вас на руках техника. Столыпин вешает теперь и за одно это!». И мне казалось, что он своим ласковым вниманием хочет смягчить рисующееся ему мое тяжелое положение. Но события разыгрались иначе.

Борис Николаевич Моисеенко («Опанас») до разоблачения Азефа жил в Чите. После

¹³⁰ Гершельман Сергей Константинович (1854–1910) — генерал-лейтенант, московский генерал-губернатор и командующий московским военным округом (1906–1909).

¹³¹ Лихтенштадт Владимир Осипович (1882–1919) — эсер-максималист, «техник». Работал в динамитной мастерской максималистов. В 1908–1917 — в заключении в Шлиссельбургской крепости.

разоблачения, в начале 1909 года, департамент полиции прислал распоряжение об его аресте. Счастливая случайность спасла Б.Н. и на этот раз: он бежал за границу. В 1912 году, по поручению ЦК, он направился в Сибирь для освобождения Е. К. Брешковской, которая после побега из Киренска находилась в Иркутской тюрьме. Очевидно, о цели приезда Моисеенко департамент полиции был осведомлен: в Иркутске его арестовали. Это был уже четвертый арест Б. Н. Его отправили в административном порядке в ссылку в Якутскую область; оттуда он бежал, кажется, с пути. До Февральской революции жил за границей. Столько раз счастливо ускользая от опасности, Борис Николаевич трагически погиб уже после революции. В октябре 1918 года он был захвачен в Омске шайкой офицеров. Б.Н. состоял в это время казначеем кассы членов Учредительного собрания. Офицеры надеялись, захватив Моисеенко, овладеть кассой. Добиваясь от него указаний, где она находится, подвергли его пыткам. Не получив сведений, убили его, а труп спустили в Иртыш.

Яковлев в 1906 году ушел на каторгу. Выйдя на поселение, бежал за границу незадолго до войны. Во время войны поступил волонтером во французскую армию. Погиб под Верденом.

Владимир Азеф от работы отошел после ухода своего брата из боевой организации. В 1909 году, когда старший Азеф был разоблачен, выехал в Америку. Вместе с ним уехала также и жена Азефа с детьми.

Теперь перейду к группе «Бэлы».

Сама «Бэла» — Татьяна Лапина — после роспуска своей группы выехала за границу. Там «Бэла» сделалась жертвой ужасной ошибки во время расследования дел по провокации в партии с.-р. Вслед за разоблачением Азефа поступило неясное указание о какой-то женщине-провокаторе среди с.-р. Предупреждение исходило, с одной стороны, со слов директора департамента полиции Коваленского, занимавшего этот пост короткое время, а с другой — от Меньщикова.¹³² В первом предупреждении говорилось о женщине, принимавшей участие в последних террористических предприятиях, выдержавшей во время заключения вместе со всеми 14-дневную голодовку. Указанные приметы в некоторой части подходили к «Бэле», хотя в дальнейшем, при тщательной проверке, непричастность «Бэлы» с полной очевидностью была установлена. Однако, после разоблачения Азефа, когда никакая безупречная работа в партии, никакой продолжительный революционный стаж никого не гарантировали от подозрений, комиссия сочла себя обязанной проверить и «Бэлу». В комиссию ее вызвали, как свидетельницу, но «Бэла» уловила скрытый смысл вызова. «Бэла» уже и так была с расшатанной нервной системой; разоблачение Азефа, с которым она до конца поддерживала близкие дружеские отношения, совсем потрясло ее. Недоверие, которое она почувствовала при разговоре в комиссии, окончательно подавило ее. Это был последний толчок к трагической развязке: «Бэла» покончила с собой весной 1909 года, кажется, в Ницце. После самоубийства «Бэлы» вскоре было установлено, что предупреждение относилось к Жученко,¹³³ которая и была опубликована, как провокатор.

Роза Рабинович в 1907 году была арестована в Н.-Новгороде. Ушла на каторгу, которую отбывала в Виленской тюрьме в крайне тяжелых условиях. Конец своего срока провела в Мальцевской тюрьме, откуда и вышла на поселение. После Февральской революции возвратилась в Европейскую Россию.

Рабочий «Александр», по наведенным мною еще в 1907 году справкам, действительно перешел к анархистам и был отправлен ими куда-то на юг. Дальше его след теряется.

Сергей Моисеенко, брат «Опанаса», уцелел при разгроме группы Никитенко.

¹³² Меньщиков Леонид Петрович (1869–1932) — участвовал в народовольческих кружках в 1885–1887 гг., после ареста дал откровенные показания и поступил на службу в охранку. Стал крупным чиновником Особого отдела Департамента полиции. В 1909 г. уехал за границу и выступил с разоблачением провокаторов.

¹³³ Жученко Зинаида Федоровна — агент полиции с 1893 г. Член Московского областного комитета ПСР с 1905 г. Разоблачена В. Л. Бурцевым в 1909 г.

Впоследствии принимал участие в неудачной попытке Савинкова после разоблачения Азефа вновь организовать покушение на Николая II.

Судьба Никитенко была также очень трагична.

Вместе с М. А. Прокофьевой, Синявским и другими лицами, привлеченными к процессу «О заговоре на царя», Никитенко был арестован 31 марта в Петербурге.

Я бежала из Петербурга гораздо раньше, в половине февраля; таким образом, вся последующая деятельность группы протекала в мое отсутствие. За этот краткий период мне пришлось только однажды снестись с Никитенко.

В марте, в тот момент, когда я возвратилась из Або из динамитной мастерской, в Финляндию приехал также и Никитенко. Он направил ко мне своего товарища с письмом, не решаясь, видимо, из конспиративных соображений сам зайти ко мне. В письме «Капитан» просил меня вернуться в Петербург, где ему необходимы были работники. Но я уже в то время взялась выполнить еще одно поручение Гершуни и Азефа, оно связывало меня на длительный срок. Мне пришлось отказаться от предложения «Капитана». Зная, что он ждет ответа в Финляндии, я рискнула написать ему несколько слов. Впоследствии из обвинительного акта я узнала, что моя записка сохранилась у него до ареста и цитировалась на суде с добавлением, что автор остался невыясненным.

Лично мне за этот период ни с кем из группы не приходилось встречаться, но я знала, что вместо Зильберберга связь группы с ЦК поддерживал Никитенко, так что группа по-прежнему находилась под контролем ЦК.

Несмотря на это, в последние свои дни и на суде Борису Николаевичу пришлось пережить тяжелые минуты. ЦК отказался признать открыто, что им была санкционирована попытка группы подготовить покушение на царя. Этим отказом не только Никитенко, а и все участники дела были поставлены в ложное положение. Прошло уже двадцать лет со времени гибели Б. Н. Никитенко, и в печати только раз был поднят вопрос о его взаимоотношениях с ЦК. Сами участники процесса продолжают хранить молчание. В моем распоряжении нет материала, который придаст бы убедительность моему личному мнению по этому делу. Но я думаю, что Б. Н., также и остальные члены группы, имели полное основание считать, что они действовали с согласия ЦК.¹³⁴

Уже по истории встречи Никитенко с великим князем Николаем Николаевичем в Английском клубе, которую я приводила раньше, можно видеть, что он высоко ставил авторитет ЦК и что для него являлось недопустимым какое-либо выступление без санкции партии, за свою личную ответственность.

Я не могу рассказать, как вел работу Борис Николаевич, оставшись во главе группы после Зильберберга. Повторяю, что большинства из участников процесса я не знала; за время моей работы мне не приходилось с ними встречаться. Их ввел в группу Никитенко на смену выбывшим. Он сменил и явочные квартиры. О смене явок я заключаю хотя бы по квартире присяжного поверенного Чиаброва, которая впервые появляется на сцене только в половине февраля. До этого и сам Никитенко Там не бывал. Это обстоятельство и спасло наши прежние связи, никто из них, кроме Завадского, не был привлечен к процессу. Остались неоткрытыми также и склады динамита, что на суде затрудняло роль обвинения. Пред судом оказалась группа лиц, которой на основании показаний Ратимова приписывался заговор на жизнь царя.¹³⁵ Никаких конкретных доказательств, никаких данных, подтверждающих это обвинение, кроме разговоров подсудимых, да и то в передаче Ратимова, в распоряжении суда не оказалось.

Не знаю, как удалось бы охранке организовать этот процесс, несмотря на роль в нем

¹³⁴ См. об этом в статье С. А. Никонова о Никитенко в № 2 «Каторги и Ссылки» за 1927 год. — Ред.

¹³⁵ Ратимов — казак, служивший в императорской охране. Сыграл провокационную роль в деле о «заговоре на царя» (Б. Н. Никитенко и др.).

конвойца Ратимова, если бы ее опять-таки не выручил Азеф, т. е. не дал соответствующих указаний. Сам Азеф на свидании с Бурцевым во Франкфурте-на-Майне в 1912 году признал,¹³⁶ что он указал охранке на Никитенко.

Об этом говорил и генерал Герасимов в своем показании пред Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства: «В 1907 году он (т. е. Азеф) дал сведения о том, что узнал от одного своего знакомого, что проживающий в Петербурге лейтенант Никитенко ищет связей и организует покушение в Царском Селе посредством охраны».¹³⁷

Как раз на февраль 1907 года падает обращение Никитенко к Азефу за помощью, после ареста Зильберберга.

Следовательно, Азеф указал Герасимову центральную фигуру организации. Наблюдение за Никитенко давало возможность генералу Герасимову выяснить остальных участников, а легальное положение, на котором Никитенко оставался до конца, еще более облегчало слежку за ним.

По процессу «О заговоре на царя» Б. Н. Никитенко, Синявский и Наумов были приговорены к смертной казни. Их всех вместе казнили 21 августа 1907 года на Лисьем Носу.

М. А. Прокофьева ушла на поселение, но в том же году бежала из Сибири за границу и там в 1912 году умерла от туберкулеза.

Жена Зильберберга («Ирина»), указанная Азефом, как участница группы, еще в конце 1906 года спаслась благодаря случайности. Дворник дома, где она жила вместе с Никитенко под видом его сестры, предупредил их за день-за два до ареста о том, что за ними следят. «Ирина» успела скрыться в Финляндию и вскоре выехала за границу, откуда более в Россию не возвращалась.

Я же своим спасением обязана исключительно каким-то соображениям Азефа. Установить автора записки, найденной у Никитенко, охранке при помощи Азефа не стоило никакого труда, тем более, что, возвратившись осенью из Сибири, куда я ездила с ведома Азефа, я снова поселилась в Петербурге. Но Азеф в этом случае предпочел поступить так, как он поступал неоднократно и прежде: некоторых из нас он оберегал, на давая о нас сведений. Это служило для него ширмой. При возникавших подозрениях и указаниях на Азефа, как на провокатора, всегда выдвигался и ряд дел, и ряд революционеров (а таковых находилось немало), которые должны были бы неминуемо погибнуть, если бы охранка получала сведения от него.

Теперь перейду к судьбе Пети Иванова, этого необычайно скромного и кроткого товарища. В феврале, после ареста Зильберберга, он с М. А. Прокофьевой ликвидировали свою конспиративную квартиру в Петербурге. М. А. перешла тогда в качестве прислуги к Никитенко. Петя же выехал в Финляндию и приютился в «Отеле туристов». Вместе с ним укрывался также террорист, убивший Гудима, начальника Дерябинской каторжной тюрьмы в Галерной Гавани.¹³⁸

За этот период жизни Пети на Иматре произошел эпизод, чрезвычайно характерный для отношения к нам финнов. В Выборге в конце февраля получились сведения, что охранка выехала из Петербурга на Иматру для обыска в отеле Сирениуса. Меня немедленно

¹³⁶ Бурцев Владимир Львович (1862–1942) — историк революционного движения и публицист. Разоблачил Азефа и десятки других провокаторов в различных революционных партиях, организовав «революционное сыскное бюро» в Париже.

¹³⁷ «Падение царского режима», т. III, стр. 14.

¹³⁸ Убийство 30 января 1907 г. начальника временной тюрьмы в Петербурге Гудима было организовано группой «Карла» (А. Д. Трауберга).

отправили, чтоб предупредить товарищей об опасности. Я приехала поздно. Войдя в отель, увидела финских полисменов в передней, а из следующей комнаты выглядывали русские сыщики. У финна-лакея отеля, который знал меня, я спросила комнату, и он тотчас же провел меня наверх. Здесь он сказал, что русских революционеров они до обыска успели перевезти в безопасное место. Тот же лакей проводил меня обратно к выходу. В дверях одной из нижних комнат стоял Статковский, видный охранник того времени. Он впился в меня взглядом, но принужден был беспрепятственно пропустить. Ведь дело происходило в конституционной Финляндии.

Недаром впоследствии говорил генерал Герасимов: «В Финляндии мы не могли наблюдать. Финские власти нас выгоняли».¹³⁹

Вскоре после обыска я повидалась с товарищами, финны водворили их на прежнее место. Перед обыском финны-активисты успели очистить отель от динамита, который хранился там, а Петю Иванова и его товарища укрыли поблизости на хуторе, где им оказали радушный прием хозяева. Обыск не дал никаких результатов.

И все это произошло на вполне законном основании. Когда русские охранники направились на Иматру, им необходимо было, согласно финляндской конституции, выполнить в Выборге целый ряд формальностей. Например, получить наряд финских полисменов, без которых они не имели права явиться к финскому гражданину. Финны под разными благовидными предложениями задерживали Статковского в Выборге, пока в отеле не привели все в порядок. Статковский, как рассказывали, «рвал и метал» во время этой волокиты.

Обыск на Иматре ясно указывал, что действиями охраны руководит уверенная рука. Тогда мы относили этот обыск на счет бывших швейцара и горничной отеля. Теперь же известно, что об этом убежище боевиков генерал Герасимов знал со слов Азефа еще в конце 1906 года. Думаю, что ему было также известно, что в отеле по-прежнему, как было при нем, находится мастерская и хранится динамит. Для меня несомненно также, что Азеф точно знал, кто в данный момент скрывается в «Отеле туристов». Именно от его имени меня просили передать террористу, убитому Гудима, предложение выехать временно за границу.

На этот раз наших товарищей спасли от гибели финны. Иначе еще две виселицы прибавились бы к тем пяти (Зильберберг, Сулятицкий, Никитенко, Синявский и Наумов), которые Азеф воздвиг летом 1907 года.

Осенью того же года Петя Иванов был казнен в Пскове. Он убил Бородулина, начальника Алгачинской каторжной тюрьмы, приехавшего в Псков из Сибири.

Теперь небольшой общий итог. Все упоминавшиеся мной боевики погибли в самом цветущем возрасте. Самому младшему из них было 22 года, самому старшему — 27 лет. Несколько старше была только одна Севастьянова.

По своему социальному положению они, — главным образом, разночинцы, за исключением Беневской, которая происходила из аристократической среды — дочь генерал-лейтенанта, родственница князей Белосельских-Белозерских. Всех без различия объединяли одни и те же убеждения, одни и те же стремления.

Из всех них не было ни одного, который бы даже перед перспективой смерти изменил своим убеждениям. Беззаветное самопожертвование, спокойное сознание неизбежности своей гибели — такова была самая яркая отличительная черта всей этой группы. Идеалом же революционного борца являлись в их представлении, если не у всех их, то у самых ярких по своей индивидуальности, террористы-народовольцы.

М. М. Школьник **Жизнь бывшей террористки**

¹³⁹ «Падение царского режима», т. III, стр. 14.

Глава I

Маленькая деревушка Боровой-Млын, в которой я родилась, состояла приблизительно из тридцати хат — низких деревянных строений с соломенными крышами. (Стены их с внешней и внутренней стороны были оштукатурены и выбелены известкой). Все хаты стояли в один ряд и образовывали единственную в деревне улицу. Здесь проходила широкая, пыльная дорога — место для собраний кудахтающих, хрюкающих и лающих членов общины. Дальше было расположено общинное пастбище — длинная, узкая полоса земли, идущая вдоль высокого берега маленькой речушки Окены. Позади хат находились маленькие огороды, окруженные низкими плетнями, а за ними далеко — как только мог окинуть глаз — тянулись поля.

Наш дом стоял на самом краю деревни. Это была старая, полуразвалившаяся хата. Два маленьких окошка находились очень низко над землей, и в зимнее время снег ложился высоким сугробом против них, заслоняя слабый свет, проникавший сквозь двойные рамы. Большую часть года разбитые стекла заменялись картоном для защиты от пыли, которая поднималась облаками и проникала в дом каждый раз, когда по дороге проезжала телега. Соломенная крыша почернела и продырявилась от старости. Когда шел сильный дождь, вода протекала насквозь и образовывала лужи на глиняном полу.

Как все крестьянские жилища, наша хата разделялась темным проходом на две половины. Одна половина служила для жилья, другая была сараем, где находились лошади, коровы, земледельческие орудия и продукты. Комната для жилья была большая, квадратная. Один угол был отгорожен длинной красной занавеской. Это была спальня родителей. Там стояли две кровати и люлька. Убранство остальной части комнаты составляли большой стол и скамейки, стоящие вдоль стен. На другом столике стоял медный самовар и пара серебряных подсвечников — единственные ценные предметы в нашем доме. Огромная печь, сложенная из кирпича, занимала значительную часть комнаты. Кроме обычного назначения, эта печь имела еще другое: в холодные зимние ночи она служила теплой постелью, и дети нередко дрались за привилегию спать на ней. В этой комнате я в один сентябрьский день 1885 года впервые увидела свет. В этом доме я провела первые четырнадцать лет моей жизни.

Шестнадцать десятин скудной, большей частью глинистой земли и крытая соломой хата — таково было имущество, которое мой дедушка оставил своим пяти сыновьям и двум дочерям.¹⁴⁰

Я не знаю, как наследники поделили меж собой это «богатое» наследство, но со временем отец и один из моих дядей остались единственными владельцами пятнадцати десятин. Они были старшими сыновьями и были уже женаты. При позднейшем дележе восемь десятин и дом перешли во владение моего отца.

Наше имущество, кроме земли, состояло из двух коров, одной или двух лошадей и дюжины кур. Когда урожай был хорош, восемь десятин приносили зерна и картофеля столько, что хватало на весь год. Но вследствие примитивных способов обработки, которыми пользовался мой отец, или недостаточного удобрения, или засух, которые нередки в нашей стороне, хорошие урожаи были скорее исключением, чем правилом. Я помню молитву, которой меня выучили, когда мне было четыре года: «Боже, пошли нам дождя, ради маленьких деток». Каждое утро перед нашим скудным завтраком мы складывали ручонки и повторяли эту молитву. Но бог оказывался жестоким: засуха сжигала наши поля, и

¹⁴⁰ Мой дедушка поселился в Боровом-Млине, деревне Виленской губернии, в 1851 г. Правительство давало еврейским колонистам-земледельцам некоторые привилегии, в том числе освобождение от воинской повинности. В то время воинская повинность отбывалась в течение 5 лет, и жизнь солдата была страшно тяжелая. Немногие возвращались на родину. Чтобы спасти своих сыновей от военной службы, мой дедушка стал крестьянином.

всю округу постигал голод. Тогда отец уводил нашу любимую корову в город и продавал ее там. Вслед за тем такая же судьба постигала и другую корову, и тогда-мы оставались без молока.

Однако цены на необходимые продукты были так высоки, что вырученных таким образом денег не хватало. Тогда отец уходил искать работы и целую неделю жил не дома. В субботу вечером семья с нетерпением ждала его возвращения. Комната принимала праздничный вид: стол покрывался белоснежной скатертью, горели свечи, в углу стоял только что вычищенный самовар. Но отец садился, не говоря ни слова, на лице его не было обычной ласковой улыбки, и мы понимали, что он ничего не заработал и был этим огорчен. Молча мы садились вокруг стола, на котором мать готовила ужин. Но на этот раз на ужин не было мяса, как это бывало обычно по субботам.

Действительно, было крайне необходимо заработать хотя бы немного денег, чтобы покрыть скромные расходы нашего хозяйства. Несколько десятин земли, которыми владел крестьянин, не приносили достаточно дохода, чтобы прокормить большую семью и платить налоги. Наша деревня находилась на расстоянии, приблизительно, двух верст от маленького городка Сморгони, где имелись кожевенные заводы, портняжные мастерские и другие предприятия. В нашей среде ребенок в восемь лет считался уже работоспособным, и его посылали на работу в город. Он обучался у портного или сапожника или даже поступал на завод. Немногие имели возможность посылать своих детей в школу. Приходская школа, которая должна была просвещать обитателей, могла похвалиться не больше, чем десятком учеников. Их обучал деревенский священник, который был очень мало сведущ в делах воспитания. Кроме того, он был занят другими, более важными, обязанностями и не мог уделять много времени обучению молодежи. Таким образом, пройдя четырехгодичный курс, ученики не умели ни читать, ни писать. Но этот недостаток вполне вознаграждался умением петь псалмы, которые они знали наизусть. Наши мальчики ходили в еврейскую школу, начиная с шестилетнего возраста. Мой брат Вульф «окончил» свое образование, когда ему было десять лет. Девочки не учились совсем. Я оставалась неграмотной до тринадцати лет. Многие оставались неграмотными и дольше. Многие крестьяне, наши соседи, жили еще в большей бедности, чем мы. Их взрослые сыновья и дочери не уходили жить в город и оставались в семье. Они не посылали детей и в мастерские. Их маленький земельный надел, который облагался большими налогами, не мог прокормить так много «душ». Возле их земли находилось большое помещичье имение. Оно простиралось на несколько сотен десятин земли, большая часть которой оставалась необработанной. Таким образом, крестьяне были лишены возможности заработать хотя бы немного на поденной работе.

Одно обстоятельство, я помню, приводило меня в большое недоумение, несмотря на то, что я была тогда еще очень мала. У нашей деревни был очень маленький выгон, и стадо часто возвращалось голодным. Рядом с нашим находилось огромное пастбище священника, который давно оставил церковь и даже не жил в своем имении. Луг охранялся человеком, который жил буквально на наш счет. Он собирал с нас по рублю за каждую лошадь или корову; которая заходила на его землю. Если не платили денег, он запирали скотину в свой сарай и держал ее там, не давая корма. Одну корову из нашего стада он заморил до смерти. Когда приходила зима, прекрасная трава на лугу священника засыпалась снегом, в то время, как наши сараи были пусты.

Густой лес окружал деревни, а у нас не было достаточно дров, чтобы нагреть наши хаты. Лес принадлежал государству. Крестьянам было предоставлено замерзать или воровать дрова из леса. В результате тюрьма ближайшего города была всегда переполнена. Некоторые оставались там в течение двух лет — только за попытку украсть полено, чтобы согреть холодную хату.

Когда мне было шесть лет, нашу семью постигло большое несчастье: моя мать упала с чердака и разбила себе голову. Она болела почти целый год. Четыре месяца она лежала в полусознательном состоянии. Она никого не узнавала и отгоняла нас, когда мы подходили к ее постели. Я не знаю, что было бы с нами, если бы у нас не было нашей сестры Ревекки.

Она ухаживала за нами, как мать, следила за тем, чтобы мы были сыты и одеты. Ей тогда было одиннадцать лет.

Болезнь матери разорила нас окончательно. В нашей семье она была единственным человеком, который умел управлять домом и, как говорят, сводить концы с концами. У отца не было этой способности. Кроме того, болезнь матери сильно увеличила наши расходы. Для оплаты докторов и рецептов пришлось продавать коров и лошадей, даже земля была заложена.

Было лето, и отец работал в поле. Ревекка и я оставались дома и смотрели за годовалым ребенком. Мы вставали с зарей и, не покладая рук, работали весь день. Ревекка доила коров (они были проданы позднее, зимой), я выгоняла их на пастбище. Помню, с какой серьезной физиономией я отвечала своим приятелям, когда они звали меня поиграть с ними:

— Мне некогда играть. У меня мама больна.

Одно происшествие, случившееся во время болезни матери, произвело на меня такое впечатление, что до сих пор оно живо сохранилось в моей памяти. Это было во время сенокоса. Отец находился на поле, мать лежала в постели, мы с Ревеккой сидели на пороге нашего дома, отдыхая после трудового утра. Вдруг на улице появился фургон, запряженный двумя лошадьми. Мы тотчас же узнали его и поняли, что приехал сборщик податей. У него была деревянная нога и длинная, черная борода. Деревенские ребятишки боялись его ужасно. Периодическое появление в нашей деревне сборщика податей, которого прозвали «одноногий черт», было всегда причиной многих бедствий. Он остановился против нашего дома. Мы страшно испугались его. В другое время мы убежали бы от него и спрятались бы где-нибудь в амбаре, но этот счастливый период нашей жизни уже прошел. Мы чувствовали большую ответственность, возложенную на нас, и остались. Мы встали и храбро встретили непрошенного гостя. «Никого нет дома», — сказала Ревекка, когда сборщик подошел к нам. Но он не обратил на нее никакого внимания и прошел прямо в дом, производя страшный шум своей деревянной ногой. Мы пошли за ним. Осмотрев имущество, находившееся в комнате, он остановился перед столом, на котором стоял самовар и подсвечники. Мы, затаив дыхание, следили за каждым его движением. Он постучал в окошко своей палкой. В дом вошел молодой парень с большим мешком, и раньше, чем мы могли понять смысл происходящего, наш самовар, гордость и украшение нашего дома, исчез в грязном мешке. За ним последовали подсвечники. Мы остолбенели и стояли, глядя на мешок, и не могли произнести ни слова. Будучи не в силах двинуться с места, мы видели, как он подошел к двери и вышел из комнаты. Когда мы пришли в себя, на улице раздался стук уезжающей телеги. Ревекка села возле опустевшего стола и заплакала. Через несколько минут и я присоединилась к ней. Без самовара и подсвечников комната выглядела мрачнее, чем обычно.

Наконец, отец решил пригласить доктора из Вильны. Его визит стоил нам пятьдесят рублей, но этот доктор действительно помог матери, и она начала понемногу поправляться. Когда мать оправилась от болезни, Ревекку отослали в город работать в портняжной мастерской, и я сделалась главной помощницей матери в доме. В долгие зимние вечера я щипала перья для подушек, которые должны были составить часть приданого Ревекки. Ей шел тогда тринадцатый год.

Прошло два года. Наша бедность в это время была неопишима. Весь заработок уходил на покрытие долгов и на уплату процентов. Чтобы заработать немного денег, мать решила продавать овощи в городе. Каждое утро она уходила в город и возвращалась вечером. На меня были возложены все заботы по хозяйству и по уходу за моим одиннадцатимесячным братом.

Смерть моей тетки, молодой замужней женщины лет тридцати четырех, заставила меня задуматься вообще о нашем положении. Было время уборки хлеба, и моя тетка поехала в ближайшую деревню, чтобы нанять там поденщиков. Она отправилась перед заходом солнца. Прошло несколько часов, приближалась ночь, а она все не возвращалась. Около полуночи вернулась лошадь с пустой телегой. Мы подняли тревогу, пошли в деревню, но

тамошние крестьяне, которые все хорошо знали мою тетку, сказали, что она сегодня в деревне не была. Наконец, после поисков, продолжавшихся всю ночь, она была найдена зарытой в яме возле дороги, еще живая. Ее лицо было неузнаваемо. Все тело ее было избито и носило следы насилия. Прибыла полиция, и началось следствие.

Наш двор был наполнен крестьянами из соседних деревень. Там были и молодые, и старые. Каждого из них подводили к постели, на которой лежала моя тетка с неопишимым выражением лица. Она не могла говорить, но ее глаза были полны страдания и немного упрека. Каждый раз, когда к ее постели подводили крестьянина, она медленно качала головой. Следствие продолжалось два дня. Все время моя тетка пыталась сказать что-то, но все наши усилия понять ее были тщетны. Полиция потеряла уже всякую надежду найти виновника ужасного преступления. Моя тетка совершенно ослабела, и доктор не мог поддержать в нас никакой надежды. Вдруг она ясно произнесла слово «барчук» и умерла. Барчук! Слово пронеслось в толпе крестьян, они перекрестились. Теперь они знали, кто совершил преступление.

На небольшом расстоянии от деревни, куда отправилась моя тетка, находилось помещичье имение. У помещика был сын, который обычно проводил лето в деревне. Он был проклятием соседних деревень. Когда он появлялся в деревне, крестьяне прятали своих дочерей, но он находил возможность оскорблять их безнаказанно. На него моя тетка указала, как на своего убийцу. Он был арестован. Все крестьяне давали показания против него. Но через три месяца он был освобожден. Помещик подкупил следователя, и дело замяли.

Как я уже говорила, меня не посылали в школу. Когда мне исполнилось одиннадцать лет, мать нашла мне место в бакалейной лавке в городе. Лавчонка была так мала, что, когда два покупателя хотели зайти в нее, то один должен был ожидать своей очереди на улице, где была разложена большая часть товара. Я исполняла очень много обязанностей: выносила на улицу товары и вносила их обратно, подметала лавку, выдавала покупки и выполняла разные поручения. Жалованье мое было пятнадцать рублей за зиму, там я впервые познакомилась с цифрами и научилась сложению и вычитанию. Мое положение приказчицы требовало некоторых познаний в арифметике. Сначала хозяйка учила меня. Потом мой брат Вульф руководил моими занятиями этой наукой, в которой он был весьма силен.

Но месяцы проходили, а я не подавала никаких надежд сделаться настоящей приказчицей бакалейной лавки. Моя хозяйка была очень недовольна мною. Она часто упрекала меня за мое неумение обращаться как следует с покупателями и называла меня «мужичкой». Я не понимала, чего от меня хотят, и очень терзалась этим. Но я очень гордилась тем, что я приказчица и зарабатываю деньги.

Каждый вечер я ходила домой. В городе был трактир, где рабочие из нашей деревни собирались обыкновенно часам к девяти. Там, идя домой, я обыкновенно находила себе попутчиков.

Перед пасхой хозяйка рассчитала меня. Она нашла другую девочку, которая умела обращаться как следует с покупателями. Это было для меня большое несчастье, но мать старалась утешить меня, говоря: «Не огорчайся, я помещу тебя в мастерскую к портному, как Ревекку. Это решено».

Прошло лето. Когда наступили холода, мать отвела меня в город, и я начала свою новую карьеру — ученицы в портняжной мастерской. Мастерская не очень привлекала меня. Я привыкла к свободе, к чистому воздуху полей. Самые суровые морозы и бури не могли нас, детей, удержать дома. Мы никогда не чувствовали холода, хотя и не всегда бывали одеты по сезону. Здесь же я должна была сидеть целый день взаперти, в душной комнате. Иногда мои обязанности задерживали меня там до полуночи. Мой хозяин и не думал учить меня шитью. Большую часть времени я была занята двумя маленькими детьми, которых моя хозяйка оставляла на мое попечение.

Так я «проучилась» там два года. Было условлено, что меня отпустят домой на время полевых работ. Договор был такой: первый год я должна учиться бесплатно, за второй год получу двадцать пять рублей. Но судьба сыграла со мной одну из своих шуток. К концу

второго года, когда я мысленно то и дело принималась считать деньги, которые должна была скоро получить, произошли неожиданные события, и я никогда не увидела своих тяжелым трудом заработанных денег.

Весной 1898 года рабочие Вильны начали борьбу за десятичасовой рабочий день. «Бунд»,¹⁴¹ тайная еврейская рабочая организация, возникшая незадолго до того, руководил стачкой. Он выпустил нелегальную прокламацию, озаглавленную «Восьмичасовой рабочий день», и распространял ее по всем соседним городам и местечкам. Одна из этих прокламаций нашла дорогу и в нашу мастерскую. Работники нашей мастерской обсуждали ее потихоньку. Была устроена сходка рабочих всех портняжных мастерских, на которой было решено перед пасхой объявить забастовку и требовать десятичасового рабочего дня. Меня не посвящали в эти секретные дела, потому что я была слишком молода или потому, что не считали меня настоящей работницей, так как лето я проводила обычно в деревне. Но мне без большого труда удалось проникнуть в скрываемую от меня тайну. С большим нетерпением я ожидала забастовки. Возвращаясь домой после работы, я рассказывала моим подругам о важных событиях, готовящихся в городе. Наконец, назначенный день настал, и рабочие Сморгони забастовали. Я тоже, к большому удивлению всей мастерской, отказалась работать.

Забастовка продолжалась только несколько часов. Хозяева решили уступить, так как это было перед пасхой — самый горячий сезон в году. Они согласились на все требования рабочих. Но после пасхи их всех рассчитали и предложили работать на прежних условиях. Я же не была принята обратно. Это обстоятельство произвело большое впечатление на рабочих, которые смотрели на меня, как на пострадавшую. Когда я теперь думаю об этом и о том, что из этого последовало, я глубоко благодарна судьбе, хотя с этих пор я стала источником несчастий и мучений нашей семьи.

Рабочие, разочарованные неудачей забастовки, стали искать новых путей сократить рабочий день. Они стали организовывать кружки самообразования, где они читали о жизни рабочих за границей и об их борьбе за права и свободу. Я была принята в один из таких кружков.

Однажды дочь раввина из Сморгони зашла к нам в дом. Само собою разумеется, что на раввина у нас смотрели как на богатого человека и аристократа. Его дети получали образование в Вильне и были известны у нас в деревне, как «свободомыслящие». Естественно, что появление его дочери в нашем скромном жилище возбудило любопытство обитателей нашей деревни. Окна нашего дома были немедленно осаждены целой толпой любопытных. Соседкам вдруг понадобились различные хозяйственные принадлежности, за которыми они заходили к нам, оставаясь на минутку, чтобы посмотреть на дочь раввина, у которой были стриженные волосы и пенсне. Ее звали Ганна. В то время, как соседки толковали по поводу ее появления, она шепнула мне:

— Приходите к нам в будущую субботу после обеда. Никому не говорите об этом.

С нетерпением ожидала я следующей субботы. «Что я там увижу?» — спрашивала я себя, и мое воображение рисовало мне картину одну прекраснее другой. Наконец, желанный день настал. Закинув за плечо свои башмаки, я быстрыми шагами отправилась в путь.

Подойдя к городу, я одела башмаки, без чулок, и продолжала путь уже более медленно. К моему большому стыду я должна сознаться, что, когда я стала подходить к большому дому раввина, мое сердце стало усиленно биться, и я вдруг утратила мужество. Картины, в которых я видела себя героиней дня, стали бледнеть. Моя приятельница Ганна, которая, очевидно, поджидала меня, увидела меня в окно. Она вышла и провела меня в слабо освещенную комнату, где уже собралось несколько девушек. Шторы на окнах были опущены и дверь заперта. В комнате было почти темно.

— Сестры, — начала Ганна, — прежде всего вам нужно знать, что вы не должны

¹⁴¹ Бунд — Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России, социал-демократическая партия еврейских ремесленников и промышленных рабочих; основан в 1897 г.

никому говорить о том, что здесь делается.

Все молчали. Ганна взяла маленькую книжку и стала читать: «Жили-были четыре брата...» Эта книжка, озаглавленная «Четыре брата», была запрещенная. Она рассказывала историю о четырех братьях, которые родились и жили в лесу. Они решили путешествовать и отправились в разные стороны. Когда они вернулись, они рассказали друг другу о многих случаях жестокости и несправедливости, которые им пришлось видеть на свете, и принялись обсуждать меры, как бы установить справедливость и равенство в мире.

После чтения мы разошлись, условившись встретиться в следующую субботу. Эти субботние чтения открыли мне новый мир. Прежде я никогда не задумывалась о больших городах, о том, как люди живут в них; теперь мое желание учиться росло с каждой неделей.

Кроме чтения запрещенной литературы, Ганна учила нас истории и географии. Она читала, а мы сидели и слушали, часто прерывая ее вопросами. Все это было так неожиданно и чудесно, что я решила во что бы то ни стало учиться, чтобы иметь возможность самой читать эти чудесные книги. Я сказала об этом Ганне, и она принялась учить меня. Каждую пятницу вечером я отправлялась в город, и Ганна учила меня читать и писать. Я держала свои занятия втайне даже от отца, так как у нас считалось смертельным грехом писать в пятницу вечером. Я уже делала успехи в моих занятиях, когда новые события заставили меня отказаться от них на некоторое время.

В Вильне была объявлена стачка чулочниц. Условия их работы и оплаты труда были таковы, что они не могли больше продолжать работать на прежних условиях. Они не могли заработать достаточно для удовлетворения самых насущных своих потребностей. Но хозяева решительно отказывались от какого бы то ни было увеличения платы. Они имели чулочные мастерские в каждом маленьком городке губернии и получали оттуда товар по еще более низкой цене, чем им приходилось платить за работу в губернском городе. «Бунд», тайная организация, упомянутая выше, решил организовать стачку чулочниц во всей губернии. С этой целью в Сморгонь приехала молодая женщина — агитатор.

Однажды вечером, когда вся наша семья сидела за ужином, Ганна и приезжая агитаторша зашли к нам.

Отец был очень польщен их визитом и принял их очень радушно. Был поставлен самовар, чего мы никогда не делали для себя. Мать раздобыла даже печенье и варенье. Они сели и стали разговаривать. Никто не знал о причине их посещения. Когда они стали уходить и я пошла проводить их до дверей, Ганна сказала мне:

— Ну, как вы думаете? Можно будет у вас в доме устроить тайное собрание? Как на это посмотрят ваши родители?

Подумав минуту, я решила, что лучше будет собраться в лесу. Я знала там каждую тропинку. Они согласились. Тогда, там же, стоя в темных сенях, мы выработали план завтрашнего собрания. Мы решили собраться утром, когда обитатели деревни будут на полях.

На следующее утро высокие дубы скрывали от нескромных взоров нескольких девушек, которые осторожно пробирались по лесу.

Место, выбранное для собрания, было хорошо знакомо мне. Еще недавно я играла там в прятки со своими деревенскими подругами. Но как все изменилось с тех пор!

Организаторша произнесла речь. Она говорила о жизни чулочниц в Вильне. Некоторые голодали, другие были посажены в тюрьму. Их требование было увеличение платы на одну копейку за пару чулок. Но она не только рассказывала нам об их бедственном существовании, она говорила и о грядущей победе.

— Настанет день, — говорила она, — когда не будет ни бедных, ни богатых: все будут равны. Мы добьемся этого. Для этого нам нужно только объединиться в борьбе.

Она произносила эти слова почти с религиозным вдохновением. Они произвели на меня потрясающее впечатление. Моя вера во все то, что говорила она, была так велика, что я уже рисовала себе мысленно нашу скромную деревушку, изменившейся до неузнаваемости. Хаты исчезли. На их месте выросли великолепные строения, в которых счастливый народ

жил счастливой жизнью. Устроить такую перемену казалось мне совсем не трудным делом.

«Мы объединимся и отнимем землю у богатых помещиков, — думала я. — Они владеют ею, но не пользуются, а потому земля для них, должно быть, не имеет значения. Мы же в ней очень нуждаемся».

Я так была погружена в составление плана превращения нашей деревушки в настоящий рай на земле, что не слышала, как девушки решили послать агитаторов в города Слоним и Ошманы, чтобы призывать там чулочниц к забастовке. Мои размышления были прерваны Ганной, которая спрашивала у меня, хочу ли я поехать с ней и помочь ей организовать там забастовку.

— Да, конечно, — поспешила я ответить.

Около полудня мы разошлись, и я обещала Ганне прийти к ней на следующий день.

Ганна, по-видимому, не понимала, что значит для меня бросить посередине недели работу, уйти из дома и отправиться в город. Я даже не знала, где этот город находится. Я никогда не бывала дальше Сморгони. Но впечатление, произведенное на меня речью девушки, было таково, что я даже не подумала о том, как я уйду и что я скажу моим родителям.

«Какое это имеет значение? — решила я потом. — Все равно скоро наступит конец нашей бедности».

Когда после моего возвращения домой мать стала выговаривать мне за то, что я не работаю в поле, я отвечала ей:

— Милая мама, если бы ты знала, какое великое время наступит скоро! Не будет больше ни богатых, ни бедных!

— Что за чепуху ты городишь! — закричала мать. — Откуда это ты взяла такие глупые мысли? Должно быть, эта философка научила тебя такому вздору.

Мать намекала на Ганну. Меня очень огорчило, что моя мать так невежественна и не может понять такой простой вещи, но я утешала себя мыслью, что она все поймет, когда придет время. Все же я не отважилась объявить о том, что я пойду в город.

Наступило утро. Мои родители ушли из дому. Я оделась в свое лучшее платье и, сказав сестрам: «Передайте маме, что я ушла к Ганне», убежала из дома, боясь, что кто-нибудь придет и задержит меня. Повозка уже ожидала нас во дворе раввина. Старенькая лошаденка, понукаемая длинным кнутом возницы, лениво тронулась, и мы поехали. Наша телега качалась и подсакивала на неровной дороге. Облака пыли поднимались от копыт лошади. Солнце нещадно палило. Я смотрела на пустынные поля, и чувство грусти наполнило мою душу.

«Как неприятно будет отцу, когда я не вернусь к ночи домой», — подумала я, но не поделилась этой мыслью с Ганной. Я не хотела уронить себя в ее глазах. Она, очевидно, считала меня более самостоятельной, и такое мнение обо мне давало большое удовлетворение.

Таким образом мы путешествовали, останавливаясь на ночь в крестьянских хатах. Около полудня на пятый день мы приехали в Слоним, где остановились на постоялом дворе. Дав распоряжение нашему вознице ждать нас здесь, мы отправились посмотреть на город. План наших действий был очень прост. Мы решили заглядывать в каждый дом через окно и входить туда, где увидим чулочную машину. Ганна пошла по одной стороне улицы, я по другой. После долгих поисков я увидела, наконец, девушку, сидящую у машины. Я вошла. Женщины и дети столпились вокруг меня и стали меня спрашивать, кто я и что мне нужно.

— Я послана «Бундом» организовать забастовку чулочниц, — сказала я и немедленно принялась описывать то великолепное время, которое должно было скоро наступить.

— Не будет больше ни богатых, ни бедных, — закончила я торжественно. Я искренно верила в то, что я говорила.

После моей речи мои слушательницы пригласили меня раздеться и поесть. Ганна тоже зашла туда.

Мы послали девушку созвать других чулочниц. Не прошло и часа, как дом был уже

полон. Ганна встала на стул и неожиданно для всех начала убеждать их бороться против несправедливой системы. «Пусть не будет ни богатых, ни бедных. Пусть все будут равны».

Вечером нас с Ганной провели на место общего собрания всех чулочниц — большое, старое здание, оказавшееся еврейской синагогой. В ней царил полумрак и было много девушек различных возрастов. Ганна объяснила им требования, которые они должны были предъявить своим хозяевам на следующее утро, а я уже готовилась произнести речь, когда кто-то крикнул: «городовой!» Ужас охватил всех. Кто-то догадался потушить свечи. Произошло большое смятение. Толкая и давя друг друга, все кинулись к двери. Некоторые упали. Но тишина была полная. В темноте можно было услышать только тяжелое дыхание испуганных девушек. Постепенно комната опустела. Ганна взяла меня за руку, и мы вышли.

— Нам нужно уехать из города немедленно, — сказала она мне, — иначе мы будем арестованы.

В тот же вечер мы выехали в Ошмяны. Этот город произвел большое впечатление на меня. Я никогда до того времени не видала таких красивых домов, так хорошо освещенных улиц. «Это настоящий рай», думала я про себя.

У Ганны здесь было много друзей, и дело устроилось быстро. Скоро все чулочницы присоединились к стачке. Выполнив свою задачу, мы с Ганной вернулись домой. С бьющимся сердцем я приближалась к нашей деревне.

Наша невзрачная хата с ее разбитыми оконными стеклами предстала моему взору, и при виде ее меня охватила тоска по прекрасным домам города.

Глава II

Несколько дней, которые я провела вне дома, и первое знакомство с городом вызвали во мне определенные мысли. Там жизнь была лучше, чем наша; эту лучшую жизнь можно было найти только в тех высоких домах, на тех ярко освещенных улицах. Эти мысли преследовали меня, где бы я ни была, что бы я ни делала. Моя мать меня била. Она сжигала книги, которые я читала потихоньку. Она была неграмотная и считала чтение потерей времени, но я мужественно переносила притеснения моей матери и старшей сестры, и ничто не могло убить во мне желание узнать ближе эту жизнь. В будние дни я не могла читать, так как работа утомляла меня до такой степени, что я засыпала тотчас же, как освобождалась вечером от работы, но в субботу я целый день проводила за чтением. Я собирала девочек-подруг, и мы запирались в амбаре. Я читала им «Четырех братьев» — единственную книгу, которую я знала хорошо и которую могла бы, вероятно, рассказать наизусть. Я делилась также с ними и теми мыслями, которых я набралась при общении с Ганной.

С братом Вульфом мы прибегали ко всяким уловкам, чтобы выгадать больше времени для чтения. Он любил читать путешествия и романы. Прочитав какую-нибудь книгу этого сорта, он воображал себя ее героем и действовал сообразно этому.

В пятницу вечером мать ради экономии наливала немного керосину в лампу: считалось большим грехом гасить свет в этот вечер, и лампа должна была погаснуть сама собой. Мы с Вульфом поджидали, пока все уснут. Тогда мы подливали побольше керосину, садились так, чтобы свет не был виден, и читали до поздней ночи. Никто в доме не догадывался о нашей хитрости. Но однажды отец неожиданно проснулся и увидел нас сидящими за столом с книгой в руках. Не говоря ни слова о страшном грехе, который мы совершили,¹⁴² он заметил:

— Вы испортите глаза, читая при таком свете. Идите лучше спать.

Мы послушно легли, оставив наши книжки на самом интересном месте.

¹⁴² Имеется в виду нарушение одной из основополагающих заповедей иудаизма — соблюдения субботы. «Шесть дней ты можешь трудиться и делать все работы свои, день же седьмой — суббота, посвященная Г-споду, Б-гу твоему; не делай никакой работы... поэтому благословил Г-сподь седьмой день и освятил его», — говорится в Священном Писании.

Однажды ночью мы были разбужены ржанием и топотом лошадей возле нашего дома. Мы подбежали к окнам и увидели около дюжины жандармов и полиции верхом на лошадях, въезжавших в наш двор.

— Что это значит? — спросил мой отец дрожащим голосом.

Я побежала за печку и вытащила связку книжек. Это были запрещенные издания, данные мне Ганной на хранение. Я была уверена, что жандармы явились именно за этими книгами, и была готова защищать их всем моим существом.

— Что у тебя там в этой связке? — спросил отец.

— Книги.

— Дай мне их. Я их спрячу.

Отец спрятал книги в карман сюртука и снова взглянул в окно.

— Они ушли, — сказал он, — но их лошади привязаны у нас на дворе.

Скоро жандармы вернулись, сели на лошадей и умчались, не заходя в наш дом. Когда они уехали, отец отнес связку моих книжек в поле позади нашего огорода и зарыл ее глубоко в землю.

На следующее утро мы узнали, что жандармы арестовали незадолго перед тем приехавшего из Вильны сына старосты синагоги за его сношения с нелегальной организацией. Это событие привело нашу деревню в состояние тревоги и большого возбуждения на несколько месяцев. Моя мать, которая часто говорила отцу, что я делаюсь «нигилисткой», что я веду знакомство с «нигилистами», теперь почувствовала себя вполне правой. Преследования, которым я подвергалась за чтение и за частые отлучки в город, теперь сделались еще более суровыми.

Однажды, когда отец и я остались одни, он сказал мне:

— Маня, ты должна быть благоразумной. Я знаю, что ты не сделаешь ничего дурного. Но ты бы лучше вернула эти книжки тем, у кого ты их взяла. Их нельзя держать в доме.

— Папа, дорогой папа, — начала я возбужденно, — отпусти меня в большой город. Я хочу учиться и сделаться... Тут я остановилась, так как сама не знала, чем я хочу сделаться. Отец посмотрел на меня своими ласковыми, ясными глазами и погладил меня по голове.

— Я не в силах больше видеть нашу бедность, — продолжала я, — я хочу уйти и узнать, как можно сделать нашу жизнь лучше. Вы увидите, какой образованной я к вам вернусь. И тогда мы уже не будем бедными.

Отец ходил взад и вперед по комнате, слушая меня в задумчивом молчании.

— У тебя есть дядя в Одессе. Он добрый и образованный человек. Я напишу ему о тебе и, если он согласится, я пошлю тебя в Одессу. Он мой любимый брат, и ему я могу доверить моего ребенка. Но ты должна быть хорошей девочкой и слушаться его.

Весть о том, что Маня, дочь Мордуха, едет в Одессу, облетела всю деревню с быстротой молнии. Наш дом был постоянно наполнен женщинами. Моя мать показывала им длинное коричневое платье, — мое первое длинное платье, — которое было сшито ради этого случая, а также три подушки. Три подушки и перина были необходимыми принадлежностями приданого еврейской девушки.

— Хотя она сейчас еще слишком молода, — говорила мать каждой посетительнице, — но кто знает? Может быть, она не захочет скоро вернуться домой, вырастет и найдет там свое счастье: город большой.

Поезд уходил в четыре часа дня, но я была готова с раннего утра. Я одела мое новое коричневое платье и вплела красную ленту в волосы. Три подушки, несколько грубых полотенец — работа моей матери — кусок домотканного полотна были упакованы в большой чемодан, и мои приготовления были закончены.

С тяжелым сердцем прошла я по полю и лесу, прощаясь с каждым уголком, с каждым кустиком и тропинкой. «Увижу ли я вас?» — думала я, глядя на зеленые луга.

Все пошли на станцию в Сморгонь, чтобы проводить меня: мои родители, братья, сестры, соседи и даже чужие. Ганна тоже пришла и принесла мне письмо к одному из ее приятелей в Одессе.

Прощаясь со мной, отец сказал мне:

— Я верю, Маня, что ты будешь счастлива.

Мать плакала и долго целовала меня. Старший брат, Иохим, приехавший в отпуск домой, — он служил в армии, — дал мне свои последние пятьдесят копеек.

Наконец прозвучал третий звонок, и поезд медленно тронулся. Скоро все исчезло в клубах дыма. Не видя никого вокруг себя, кроме чужих, я села в угол и горько заплакала.

На третий день я приехала в Одессу. Когда я вышла из вокзала и увидела длинный ряд извозчиков с блестящими козырьками у шапок, мое сердце наполнилось радостью: «Как красиво здесь все одеваются», — подумала я.

Я подошла к одному из них и сказала:

— Пожалуйста, не отвезете ли вы меня к моему дяде, господину Школьник?

— Конечно, барышня, — отвечал он, покосившись на меня, — дайте его адрес.

Я была очень удивлена тем, что он не знает, где живет мой дядя. Я вынула из кармана моего платья кусочек бумаги и протянула ему.

— Хорошо, барышня, — и движением руки он пригласил меня сесть в его экипаж. Когда мы тронулись, он спросил, откуда я приехала. Я рассказала ему, зачем я приехала в Одессу, и он, усевшись боком на своем месте, слушал меня и одобрительно качал головой.

После долгого переезда мы остановились перед старым кирпичным зданием.

— Вот здесь живет ваш дядя, — сказал извозчик.

Разочарованная, смотрела я на грязный, поврежденный бурями дом. Как я узнала позднее, мой дядя жил в самой бедной части города, называвшейся Молдаванкой.

Я стала подниматься по темной, грязной лестнице, сопровождаемая извозчиком, который нес за мной мой чемодан. На одной из дверей четвертого этажа я увидела карточку с надписью: «Самуил Школьник. Учитель». Я позвонила. Дверь открыл человек немного выше среднего роста, худой, с длинной бородой и блестящими глазами. На минуту я подумала, что передо мной мой отец, так велико было сходство. Это был мой дядя. Он очень тепло поздоровался со мной и, заплатив извозчику 45 копеек, провел меня в свою квартиру. Моя тетка и двоюродные братья и сестры окружили меня и рассматривали с видимым любопытством, заметив, что я пришла с непокрытой головой, тетка сказала:

— Нужно будет купить тебе шляпу.

Мой дядя был учителем русского языка в еврейской школе. Он зарабатывал 60 рублей в месяц. Несмотря на такой небольшой заработок, он сумел, все же дать хорошее воспитание своим детям — шести сыновьям и одной дочери. Один из его сыновей был гражданский инженер, другие учились в гимназии. Впрочем, дети сами зарабатывали себе на учебу, иначе оно было бы невозможно. Но их заработок был нерегулярный, и часто случалось, что вся семья жила на 60 рублей, зарабатываемые отцом.

В то время, когда я приехала в Одессу, революционные организации уже достигли прочного положения среди рабочего населения города. Во главе их были социал-демократы. Работа тайных организаций в то время состояла, главным образом, в организации просветительных кружков среди рабочих и в печатании и распространении запрещенной литературы, — преимущественно прокламаций. Это распространение производилось разными способами. Поздно ночью, когда все крепко спали, десятки молодых мужчин и женщин расклеивали их на фонарях и телеграфных столбах, на стенах домов и на заборах, разбрасывали их по улицам, по которыми обычно рабочие проходили на работу, подкидывали их во дворы фабрик и заводов. В театрах, в самый интересный момент действия, целый дождь листовок сыпался вдруг с нескольких сторон. Это было царство бумажного террора, и полиция была бессильна против него. Прежде, чем она могла собрать и уничтожить прокламации, публика успевала прочесть с жадностью эти непрошедшие через цензуру слова, вопреки распоряжению губернатора, запрещавшему это под страхом шестимесячного тюремного заключения. Едва ли есть необходимость говорить о том, что прокламации горячо нападали на царский режим, объясняя рабочим, что никакое улучшение их экономического положения невозможно при политическом строе, запрещающем стачки и

не допускающем свободы слова и свободы собраний.

Письмо, которое Ганна дала мне при моем отъезде, было адресовано к одному из лидеров революционной организации, социал-демократу. Когда я пришла к нему и заявила, что хочу учиться, он немедленно дал мне несколько прокламаций и обещал прислать кого-нибудь, кто мог бы учить меня.

Вернувшись домой, я дала дяде и двоюродным братьям прочесть некоторые прокламации. Я была уверена, что дядя, так же как и его дети, разделяли мысли, изложенные в них, но как велико было мое удивление, когда все эти люди, на которых я смотрела, как на очень образованных, пришли в ужас от моих запрещенных листовок.

— Эти вещи ведут в Сибирь, — кричали они хором. Дядя разорвал прокламации пополам и затем обратился ко мне:

— Это не деревня. Не ищи правды здесь, потому что это заведет тебя в тюрьму.

Я растерялась и не знала, как понять слова дяди.

— Что вы хотите сказать? — спросила я. — Я оставила отца и мать, я ушла из родной деревни и явилась сюда, чтобы узнать правду, а вы запрещаете мне это. Как я могу согласиться на это?

— Ты еще дитя и мало понимаешь в таких делах, — сказал он. — Я имею взрослых сыновей, и ты не должна носить таких вещей в мой дом. Кроме того, ты приехала ко мне, и я отвечаю за твое благополучие. Здесь нет больше никого, кто мог бы позаботиться о тебе. Мы все любим тебя и желаем тебе счастья. Несмотря на то, что я бедный человек, я хочу помочь тебе. Но ты должна быть очень осторожна.

Дня два спустя после этого разговора девушка, посланная тов. с. — д., пришла ко мне, чтобы позвать меня на тайное собрание, которое должно было состояться ночью. Ничего не сказав дяде, я ушла с нею.

Кружок, в который я была принята, состоял из девяти рабочих и одного интеллигента, который читал рабочим политическую экономию. Я была счастлива и гордилась тем, что они приняли меня к себе. Этот кружок позднее сыграл значительную роль в революционном движении Одессы.

Было уже поздно, когда я вернулась домой с собрания. Мой дядя не спал и, по-видимому, ждал меня.

— Где ты была? — спросил он, и я ему все рассказала.

— Ты не должна иметь ничего общего с этими людьми, — сказал он. — Если ты еще раз так уйдешь, я буду вынужден послать тебя обратно домой.

Я очутилась в затруднительном положении. Я не могла отказаться от книг и от людей, которые учили меня, но, с другой стороны, я не желала ехать домой, ничему не научившись. Несколько дней я провела в недоумении, не зная, что мне предпринять. Наконец, я нашла выход из создавшегося положения: я решила оставить дом моего дяди. Я рассказала о своем намерении одной девушке, члену нашего кружка, и она предложила мне поселиться с нею, обещая найти работу на фабрике, где она работала сама. В тот же день я принесла к ней некоторые из своих вещей из дома дяди и поселилась с этой девушкой.

На конфетной фабрике «Братьев Крахмальниковых», где работала моя приятельница, было несколько отделений. Несколько сотен девушек были заняты там заворачиванием конфет в заранее нарезанные бумажки. Работа была очень не сложна, и часа через два я уже умела делать это.

К концу дня кончики пальцев у меня на руках стали до того чувствительны, что прикосновение к жесткой бумаге причиняло мне ужасную боль. Капли крови просаживались сквозь стертую кожу. Я с отчаянием смотрела на мои руки, не зная, как продолжать работу. Девушки старались ободрить меня.

— Не пугайся, это всегда так бывает в первые дни. Это пройдет.

Рабочий день на фабрике продолжался от семи часов утра до семи вечера, с промежутком в один час для завтрака. Девушкам платили гроши. Были девушки, которые в течение дня успевали завернуть целую кучу конфет: они зарабатывали 30 копеек. Это

считалось очень большим заработком, и немногие могли работать так быстро и зарабатывать так много. Около семи часов все несли свою работу на верхний этаж для взвешивания. К моему великому удивлению, я завернула только полпуда. Когда мы выходили с фабрики, нас обыскали. Это меня очень смутило. Такой обыск производился каждый вечер. Если у девушки находили конфеты, ее немедленно увольняли.

На этой фабрике я проработала больше шести месяцев. Концы моих пальцев стали твердыми, как пергамент. Обыски больше не смущали меня. Бывали дни, когда и я вырабатывала по 30 копеек, к большому удовольствию нашего кружка.

Из семи человек у нас образовалось нечто в роде коммуны. Это были: Женя, фабричная девушка 22 лет, которая была очень пылким агитатором и организатором стачек; Сема — фабричный рабочий; Давид — приказчик; Аарон Шпайзман — переплетчик, до того уже сидевший в тюрьме за распространение нелегальной литературы; Николай — живописец, ставший социалистом и присоединившийся к нашему кружку после освобождения из тюрьмы, куда он был посажен за проповедывание толстовского учения; Израиль — единственный интеллигент в нашем кружке и я. Редко случалось, чтобы все мы имели работу. Иногда бывало так, что весь кружок существовал на заработок одного или двух. Случалось, что и никто из нас не имел работы. Тогда мы все ждали вечера, когда придет Израиль и выложит свои последние медяки на стол. Тогда мы садились за «завтрак».

Но такие пустяки не смущали членов нашего кружка. Все они принимали активное участие в революционной работе и все были увлечены ею. Они организовали тайную типографию и печатали и распространяли прокламации целыми тысячами. Они устраивали новые агитаторские кружки и вели пропаганду в мастерских и на фабриках. Конечно, каждый из них сознавал, что их неизбежно ждала тюрьма, одиночное заключение и ссылка, но это не могло остановить их. Несмотря на то, что они ждали ареста в любой час дня или ночи, свободное время они проводили так весело, как-будто ничего особенного не могло с ними случиться.

Я недолго оставалась «зеленой» среди них. Скоро они открыли мне глаза на окружающую действительность. Я все еще мечтала о лучшей жизни, но теперь я сознавала, что осуществление ее возможно только в далеком будущем. Я тогда уже входила в с.-д. организацию, а позднее стала членом «агитаторского кружка».

С юношеским пылом я принялась агитировать фабричных девушек, предлагая им провести стачку за увеличение заработной платы. Старший мастер скоро обнаружил это и уволил меня. Я нашла работу на конверточной фабрике, но так как и там продолжала агитацию, то вскоре была вынуждена искать другого места.

В таких переходах с одной фабрики на другую прошло два года. Наш маленький кружок значительно увеличился и стал известен в революционном движении под названием «южной группы». Из старых членов, кроме меня, оставался только Шпайзман. Женя и Израиль были в тюрьме. Давида забрали на военную службу.

Однажды члены нашего кружка направились распространять прокламации. Я и несколько других товарищей пошли в театр. Мы разместились на галерее в разных углах и стали ждать конца представления. Как только занавес опустился, каждый из нас бросил вниз по две пачки прокламаций. Весь пол партера покрылся ими. Полицейский, дежуривший в здании театра, немедленно побежал на галерею. Швейцар, стоявший у двери, видел, как я бросила прокламации. Он схватил меня за плечо и стал звать полицию. Но галерея была переполнена рабочими и студентами; все они сочувствовали нам. Дюжина рук схватила меня и вырвала из рук швейцара. Началась драка. Кто-то накинул большой платок мне на голову. Прибежавшая на галерею полиция заперла дверь и стала искать «преступников». Швейцар, сопровождаемый полицейским, тщетно искал меня. Я уже сидела на другом конце галереи, с виду совершенно равнодушная к происходившему вокруг. Серый платок скрывал мое лицо от глаз сыщиков.

Работа в Одесской с.-д. организации того времени не соответствовала моему революционному настроению. К тому времени с.-р. развили большую активность в Одессе, и

я под влиянием их литературы перешла к ним.

Одной из насущных нужд нашей группы было устройство типографии. Литература, присылаемая из Киева, получалась нерегулярно и подвергалась большому риску. В Одессе устроить типографию нашли невозможным, так как жандармы уже следили за нами. Некоторые члены нашей группы уже были арестованы. Поэтому решено было устроить типографию в Кишиневе, который находится в нескольких часах езды от Одессы.

С полным набором шрифта и различных типографских принадлежностей я приехала в Кишинев. Там я встретила группу товарищей, среди которых были Яша Гринфельд, Гриша Кофф, Аарон Шпайзман и другие. С их помощью я устроилась на квартире у Бронтмана, которая служила убежищем для нелегалов. Мой чемодан со шрифтом был зарыт Бронтманом в его сарае.

Устроившись таким образом и найдя себе работу как белошвейка, я стала ожидать обещанного наборщика и материала. Революционное настроение в Кишиневе тогда уже начинало проявляться. Скоро после моего приезда туда мне удалось принять участие в демонстрации, устроенной рабочими и студентами перед домом губернатора в связи с высылкой одного студента в Сибирь.

Проходили дни и недели, а обещанный материал все еще не появлялся. Я писала письмо за письмом, не получая никакого ответа. Наконец, я решила сама отправиться в Одессу на разведку. Но непредвиденное обстоятельство помешало мне привести в исполнение мое намерение.

Глава III

В начале февраля 1902 года ночью мы были разбужены громовым стуком в дверь. Прежде, чем старик Бронтман успел снять крючок, раздался треск, и дверь распахнулась. Комната наполнилась жандармами и полицией. Не говоря нам ни слова, они принялись осматривать дом — квартира состояла из двух комнат и кухни, начался долгий и тщательный обыск. Каждая вещь в доме была перевернута вверх дном. Они разрезали подушки и матрацы, разрывали подкладку в старых шапках, заглядывали за картины на стенах. Но ничего подозрительного не было найдено. Разочарованные жандармы собирались уже уходить, когда один из них взял в руки мое платье, которое лежало на стуле. Он пошарил в кармане и вытащил несколько букв шрифта. Это были заглавные буквы, которые я раздобыла у одного знакомого наборщика с целью увеличить мои запасы. Лица у жандармов мгновенно изменились. Каждый из них тщательно осматривал злополучные буквы. Они обращались с ними с большой осторожностью, точно это были не маленькие металлические буквы, а разрывные снаряды.

Жандармский офицер сел и начал писать протокол. Он только спросил меня:

— Это платье принадлежит вам?

— Да.

— Вы арестованы. Одевайтесь.

С этими же словами он обратился к тов. Шпайзману и к хозяину квартиры. Жена его и девочка начали плакать. В большом волнении я пыталась объяснить офицеру, что Бронтман ничего не знает относительно букв, которые найдены в моем кармане, но он грубо прервал меня:

— Разговаривать не полагается.

По команде офицеров, жандармы окружили нас и вывели из дома. Хозяйка рыдала. Девочка, которая с плачем кинулась за отцом, была грубо отброшена назад.

Ночь была темная и холодная. Окруженные со всех сторон жандармами, мы пошли посередине улицы. Мы шли молча, и это молчание было ужасно для меня. Я не могла разобрать, в чем была моя вина перед тов. Бронтманом, но чувство вины все росло во мне. Я совершенно забыла о том, что иду в тюрьму. Вид этой седой головы, склоненной перед жандармами, заслонял мысли о моем собственном положении.

Наконец мы пришли, и тяжелые ворота тюрьмы захлопнулись за нами. Нас провели в контору. Там нас обыскали. Начальник тюрьмы записал наши фамилии и приказал одному из надзирателей отвести нас в камеры.

Надзиратель остановился в полуосвещенном коридоре и открыл одну из дверей. Я вошла, и он немедленно закрыл за мною дверь и повернул ключ в замке. Я остановилась возле двери, прислушиваясь к звуку его удаляющихся шагов.

Я стояла в этой полутемной камере, не имея желания двинуться с места. В голове была одна только мысль о том, что дверь заперта и я уже не могу уйти отсюда.

Слабый свет наступающего дня начал проникать сквозь двойные решетки, и я смогла рассмотреть окружающие меня голые стены. Дневной свет как будто разбудил мою энергию. Моей первой мыслью было — выглянуть в окно. Серые каменные стены, которые окружали тюрьму, казались совсем невысокими с места моих наблюдений.

«Я убегу отсюда, — решила я немедленно. — Я не могу оставаться в этой дыре».

Несколько дней спустя меня вызвали на допрос.

Жандармский полковник встретил меня весьма радушно. Его широкое лицо улыбалось, и маленькие, серые глазки смотрели вкрадчиво:

— Садитесь. — Он указал на стул, стоявший у стола. — Как ваше имя? Фамилия? Сколько вам лет?

Я сказала ему.

— Вы слишком молоды для того чтобы сидеть в тюрьме и мне будет очень приятно выпустить вас. Хотя все зависит от вас.

— Каким образом? — спросила я, удивленная.

— Вам стоит только сказать, — при этом он вынул из ящика стола буквы шрифта, которые были найдены у меня в кармане, — кто дал вам это, и я немедленно вас освобожу.

— Я отказываюсь давать показания, — ответила я.

— Это было бы очень неблагоразумно с вашей стороны, — сказал полковник. — Вам будет плохо и вы об этом пожалеете.

Я молчала. Жандармский полковник пододвинул ко мне бумагу и сказал:

— Подпишите эту бумагу.

— Я отказываюсь давать показания, — повторила я.

— Тем хуже для вас, — сказал он, сразу меняя тон. Он встал, открыл дверь и позвал надзирателя.

— Допрос окончен. Отведите заключенную в камеру.

Приятное сознание, что я не попала в ловушку к жандарму, наполняло меня. Я стала ходить по камере, не зная, как найти выход наполнявшим меня чувствам.

«Возможно, что меня долго продержат здесь», — подумала я. Мне тогда не было еще полных 17-ти лет. Жизнь только начала раскрываться предо мной. Все в мире казалось мне прекрасным и привлекательным. И вдруг каменные стены тюрьмы надвинулись и заслонили весь мир.

Долго я не могла поверить, что мне придется остаться здесь. С утра до вечера я мечтала о том, как откроется моя дверь и надзиратель скажет: «Вы свободны!».

Три раза в день он приходил, принося мне пищу, и каждый раз, когда я слышала его шаги возле двери, мое сердце наполнялось надеждой, что сейчас он произнесет эти магические слова: «Вы свободны». Но проходили дни, недели, месяцы, а надзиратель по-прежнему, вместо свободы, приносил мне хлеб и кашу.

Темнота и сырость камеры стали оказывать на меня свое влияние. Я начала страдать бессонницей. Двадцатиминутная прогулка на тюремном дворе была для меня пыткой. Солнце так ярко светило за стенами тюрьмы, а я была лишена света и свободы, без которой, — я чувствовала, — я не могу жить.

Сначала я была одна в женском отделении, так как все другие политические женщины

находились в мужском корпусе. Там содержались уже многие товарищи: Леон Гольдман,¹⁴³ один из активных деятелей с.-д. партии. В его доме найдена была тайная типография «Искры». Вместе с ним были арестованы его жена, Маня Гольдман, Феня Корсунская, жившая у них под видом прислуги, и Гриша Элькин. Там же находилась Нина Глоба, арестованная по делу Кишиневской демонстрации, как одна из организаторов ее; она также привлекалась по делу о сношениях с киевской группой «Искры».

Я недолго оставалась одна. Скоро начались аресты, и ко мне в камеру посадили еще двух женщин: Жёнго Годлевскую и Розу Розенблюм. Последняя сейчас же после ареста объявила голодовку, требуя освобождения. Несмотря на то, что в мужском корпусе не все были согласны, мы все присоединились к голодовке, которая продолжалась целую неделю. В результате этой голодовки Розенблюм освободили.

После голодовки все политические женщины были переведены в наш корпус. В нашу камеру тогда поместили Нину Глоба, Феню Корсунскую, Маню Гольдман с маленьким ребенком и нескольких других. С Ниной Глоба я особенно подружилась. Это был ярко выраженный тип революционерки. Она прямо-таки горела ненавистью к своим тюремщикам и не пропускала ни одного случая заявить им это открыто. Несмотря на ее молодость — ей тогда было 18 лет — она внушала начальству уважение к себе своей сильной волей. Она часто служила посредником между нами и тюремным начальством, и мы были уверены, что она наши интересы защитит до конца, вплоть до карцера и голодовки. Благодаря ей, мы имели постоянную связь с волей. Ее мать и сестры сочувствовали нам и приносили нам не только письма и записки от товарищей, но даже нелегальную литературу.

Вообще мое пребывание в Кишиневской тюрьме памятно мне, как сплошная борьба с администрацией. К нам применялись жестокие репрессии за малейшие провинности, вроде переговаривания с товарищами в другом корпусе. Однажды два товарища, Вася Броска и Хаим Нахманберг, за это были вызваны в контору, жестоко избиты там и брошены в карцер. Когда мы узнали об этом, мы подняли бунт. К нам в камеру ворвались надзиратели, чтобы тащить нас в карцер. Когда надзиратель хотел взять Маню Гольдман, она отказалась идти, говоря, что не может оставить ребенка. Тогда начальник распорядился взять ее силой. В сопровождении нескольких солдат он вошел в нашу камеру. Гольдман держала ребенка на руках, прижимая его к своей груди.

— Солдаты, — обратилась она к ним, — неужели у вас настолько нет сердца, что вы отнимете меня от моего ребенка?

Ребенок, испуганный видом чужих людей, кричал во весь голос, солдаты отступили назад и не смели приблизиться к ней. Тогда к ней подошел сам начальник, схватил ее за руки и сжал их выше локтя. После борьбы, продолжавшейся несколько минут, ребенка вырвали из рук матери.

-Возьмите его, — сказал начальник солдатам, — и унесите его отсюда.

Нина Глоба и я схватили поленья, лежавшие возле печки, и начали швырять ими в начальника, который отскочил назад. Он приказал взять и нас обеих в карцер.

Когда нас вели в карцер, вся тюрьма бушевала. Шум от бросанья мебели, стука и криков был оглушительный. Уголовные тоже присоединились к протесту политических.

Скоро приехал прокурор. Он обошел все камеры и уверил всех, что товарищи Броска и Нахманберг будут выпущены из карцеров. Действительно, через несколько часов нас всех выпустили. В мужском корпусе все политические были переведены в карцер на две недели.

Пришла пасха 1903 года — вторая в тюрьме.

На второй день ее необычные звуки достигли до нашего слуха. То громче, то тише, они, казалось, проникали в нашу камеру со всех сторон. Надзиратель стал все чаще пробегать мимо нашей двери. Мы все встревожились: что может это означать? Мы спросили у надзирателя. Он смотрел на нас несколько мгновений и затем прошептал:

¹⁴³ Гольдман Леон Исаакович (1877–1939) — в революционном движении с 1893 г., член РСДРП.

— Приказано убивать жидов, вот что это значит.

Кровь бросилась мне в голову при этих словах. Я осталась стоять у двери, не будучи в силах сделать ни шагу.

Странное зрелище предстало нашим глазам, когда нас вывели на прогулку. Весь двор тюрьмы был покрыт перьями, которые ветер занес из города. Это были перья из еврейских подушек и перин, разорванных погромщиками.

Два дня и две ночи продолжалось избиение евреев, и их отчаянные вопли слышались в нашей тюрьме. Только на третий день начали арестовывать громил.¹⁴⁴

Спустя некоторое время к нам в тюрьму привезли Давида Ройтерштерна. У него нашли мои письма и арестовали где-то в Польше, где он находился на военной службе. Эти письма послужили самой серьезной уликой против меня, так как в них я самым определенным образом высказывала свои взгляды на царизм и обсуждала меры борьбы против него.

Через несколько дней меня вызвали на допрос. Жандармский полковник встретил меня с торжествующим видом.

— Признаете ли вы эти письма, — при этом он вынул связку моих писем к тов. Ройтерштерну, — найденные у рядового Ройтерштерна и написанные по-еврейски, вашими?

— Я отказываюсь от показаний, — ответила я. Полковник тогда сказал:

— Предварительное следствие по вашему делу закончено, и по распоряжению его высокопревосходительства, министра внутренних дел Плеве, вы будете преданы суду.

Допрос был окончен, и меня отвели в мою камеру. После этого допроса для меня стало ясно, что меня нескоро выпустят.

Весть о том, что Гольдманы, Корсунская, Гриша Элькин, Шпайзман и я будем преданы суду, дошла до товарищей на воле. Этот поворот от практиковавшейся долгое время системы административной ссылки вызвал большой интерес среди либеральных кругов России. Несколько известных адвокатов — Маклаков, Кальманович, Ратнер и другие — написали прокурору, предлагая выступить в качестве наших защитников.

Наконец, нам вручили копию обвинительного акта. Статья, по которой мы обвинялись, карала каторгой от 8 до 12 лет.

Суд был назначен на 6 октября 1903 года. За несколько дней до суда я была вызвана в тюремную контору. Вместо жандармов, которых я ожидала встретить, я увидела двух мужчин в штатском. Надзиратель назвал им мою фамилию и вышел. Первый раз со времени своего ареста я оказалась наедине с свободными людьми без неизбежных жандармов.

Один из посетителей обратился ко мне:

— Я — Кальманович, присяжный поверенный, а это мой коллега — Ратнер. Мы приехали вас защищать. Вы действительно автор тех писем, которые упоминаются в обвинительном акте?

— Да, конечно, — отвечала я.

— Сколько вам было лет, когда вы писали эти письма? — спросил Ратнер.

— Шестнадцать.

— Ужасно, ужасно! — воскликнул Кальманович. — 8 лет каторжных работ за письма, написанные в 16 лет!

Он принялся ходить взад и вперед по комнате, глубоко задумавшись. Потом вдруг остановился, как будто вспомнив о моем присутствии, и сказал:

— Но вы не беспокойтесь. Вы увидите — вы будете оправданы.

— Нет, — сказала я, — едва ли возможно, чтобы я была оправдана. Вам наверное известно наше общее решение не защищаться перед царским судом. Вы знаете, когда я писала эти письма, у меня совсем не было определенных намерений. Но после того, как меня

¹⁴⁴ Еврейский погром в Кишиневе разразился в дни христианской Пасхи 6 апреля 1903 г. Открытая антисемитская агитация на страницах местной печати, а также пассивность властей привели к всеобщему убеждению в том, что погром санкционирован «сверху». В дни погрома было убито 49 человек, ранено 586, разгромлено более 1,5 тыс. еврейских домов и лавок.

продержали в тюрьме эти долгие месяцы, мои мысли сложились определенно, и ничто не может изменить их. И я намереваюсь сказать это открыто царскому суду.

— Мы вполне понимаем вас, — сказали они. Простившись со мной, они ушли, обещав повидаться со мной еще раз до суда.

Наконец долгожданный день суда наступил. Но, узнав, что среди сословных представителей, которые должны были нас судить, находится городской голова Синадино, один из главных организаторов Кишиневского погрома, мы заявили отвод против него, и суд постановил отложить наше дело и перенести его в Одессу.

В отдельном вагоне, в сопровождении жандармов, нас отправили в Одессу. Там нас встретили солдаты и казаки и отвезли в тюрьму. Обстановка Одесской тюрьмы далеко не походила на нашу кишиневскую. Нас рассадили по одиночкам, которые не отличались большими размерами. Сквозь маленькое отверстие в двери можно было видеть висячую лампу в коридоре. Эта лампа освещала также и мою камеру. Узкое окошко с двойной железной решеткой было сделано высоко в стене.

В этой тюрьме мне пришлось провести многие месяцы и перенести тяжелые репрессии, в роде связывания рук, таскания в карцер и т. п.

Наше дело слушалось в начале ноября 1903 года. Тюремная карета ожидала нас возле ворот. Два жандарма с саблями наголо уселись по бокам. Окруженная казачьим конвоем, карета быстро катилась по пустынным улицам и, наконец, остановилась перед зданием суда. Жандармы отвели нас в комнату обвиняемых и заперли там. Вскоре дверь открылась, и наши защитники вошли один за другим. Они были больше взволнованы, чем мы, так как ожидали сурового приговора для некоторых из нас. Они даже предполагали, что приговор был предreshен самим Плеве, и чувствовали тщетность своих усилий спасти нас.

В 10 часов жандармы с обнаженными саблями отвели нас в зал суда. Публики там не было. Кроме двух-трех наших родственников, в зале находились только жандармы и шпики.

Судьи вошли, заняли свои места, и суд начался. Секретарь прочел обвинительный акт. Мы обвинялись в устройстве тайной типографии, в печатании «Искры» и возбуждении к бунту.

В ответ на вопрос председателя: «Признаете ли вы себя виновными?», мы все отвечали «нет». Тов. Шпайзман и я заявили, что не имели отношения к изданию «Искры», которая является органом с.-д., и что мы состоим членами партии с.-р.

Все свидетели дали благоприятные показания, кроме официального переводчика моих еврейских писем, местного раввина. Он утверждал, что одно из моих выражений гласило: «Я не успокоюсь до тех пор, пока не пролью крови вампира», хотя другой, неофициальный, переводчик говорил, что это выражение значит: «Я не успокоюсь до тех пор, пока не прольется кровь вампиров». Раввин утверждал, что спорное выражение было написано ясно и правильно и что он перевел его точно.

На второй день были речи обвинения и защиты. Прокурор требовал максимального наказания — 12 лет каторжных работ — для всех нас. Когда нам предоставлено было слово, тов. Гольдман произнес блестящую речь, продолжавшуюся полтора часа. Она произвела на судей очень сильное впечатление. Впоследствии речь эта была напечатана и распространена организацией с.-д.

Мой защитник Ратнер сказал в своей речи:

«Частные письма не могут служить уликой для суда, особенно в том случае, когда в них говорится об общих идеалах и убеждениях. Такие письма имеют отпечаток индивидуального настроения и, следовательно, не могут иметь значения точных улик. Можно ли выбрать произвольно одно заявление и отбросить другое? Верить одному и не верить другому? Мы должны верить Школьник, когда она заявляет, что она социалистка-революционерка, и вторичное утверждение прокурора, что она социал-демократка, совершенно непонятно. Между социалистами-революционерами и социал-демократами большая разница.

Рабочий орган, который, как говорит в своих письмах Школьник, она намеревается

издавать, ни в коем случае не может быть „Искрой“. Всякий прекрасно знает, что этот орган издается за границей и стал выходить гораздо раньше того времени, когда Школьник писала свои письма, следовательно, она не могла иметь в виду „Искру“, когда писала о намерении своим и своих друзей выпустить газету...

Что же касается слова „вампир“, то, оставив в стороне сомнительную добросовестность перевода, рассматривать его, как обдуманное намерение совершить террористический акт, — юридически невозможно. Это просто поэтическое выражение террористического настроения, которое охватило в настоящий момент, в силу обстоятельств, не одно молодое сердце в России. Было ли написано „вампир“ или „вампиры“, для нас не имеет никакого значения, так как в письме выражено абстрактное желание, а за такие желания не наказывал еще ни один суд. Главная мысль обвинения заключается в том, что обвиняемая имела определенные мнения, убеждения и общие намерения, и это понятно, если внимательнее взглянуть на ее жизнь. Работница с пятнадцати лет, живая и смелая, она задумывалась над странным контрастом между положением ее и ее сотоварищей, с одной стороны, и положением заказчиц — с другой, хотя ее собственное умственное превосходство над этими разряженными дамами не могло быть для нее секретом.

Логически рассуждая, не связанная предрассудками, которые не имели на нее влияния, она пришла к определенным выводам. Встречаясь с людьми, более развитыми, она под их влиянием приняла сначала социал-демократическое учение. Но ее свободный, воинствующий дух не мог остановиться на этом и, ознакомившись со взглядами социалистов-революционеров, она присоединилась к ним. На ее месте каждый из нас, несомненно, жаждал бы освобождения и возможности лучшей жизни для себя и для других. Следует заметить, что, несмотря на специфические притеснения, которым она подвергалась, как еврейка, обвиняемая не присоединилась к узко-националистической борьбе. У нее были более широкие взгляды, и интересы всего человечества были для нее дороже. Это талантливая натура, способная на все хорошее. В какой-нибудь другой стране она была бы счастлива, но здесь, среди нас, — увы, это невозможно. Суд может, конечно, осудить ее, но это едва ли будет торжеством правосудия. Это будет еще один плохо продуманный, несправедливый приговор, которых история знает немало».

После двух томительных дней суда был объявлен приговор: мы были приговорены «к лишению всех прав состояния и ссылке на поселение в Сибирь».

Глава IV

Мысль о том, что я буду выслана в Сибирь, не пугала меня. Желание уйти из этих ненавистных стен было так велико, что я была бы рада уйти не только в ссылку, но хотя бы в самый ад. Но проходили день за днем, месяц за месяцем, а мы все еще оставались в Одесской тюрьме. На все наши протесты и настойчивые требования отправки тюремная администрация отвечала одно:

— Относительно вас и ваших товарищей мы ждем специальных распоряжений из Петербурга.

Чувство злобы наполняло мою душу, и я не могла говорить спокойно с администрацией.

Противоречивые слухи о войне с Японией стали достигать наших камер. С каждой победой японцев администрация все более ослабляла суровую дисциплину. Терпя поражения, правительство начинало трепетать не только перед внешним, но и перед внутренним врагом. Ослабление тюремного режима, купленное ценой гибели тысяч русского народа, павших в битве, делало нашу жизнь немного легче. Надежда, что японцы помогут нам освободиться от деспотического правительства, давала нам новые силы терпеть и ждать.

В июле 1904 года министр внутренних дел Плеве, этот столп реакции, хваставшийся, что он «очистит Россию от революции», был убит бомбой, брошенной в его карету Егором Сазоновым, членом боевой организации партии социалистов-революционеров. Эту

радостную весть к нам в тюрьму принесла сама администрация. Не только народ, но даже и подчиненные ненавидели его. Назначение Святополк-Мирского министром внутренних дел положило конец — правда, на короткое время — репрессиям, которым подвергались политические.¹⁴⁵

Вскоре после убийства Плеве мои товарищи и я неожиданно были назначены в партию, которая должна была быть отправлена в Восточную Сибирь. Раньше, чем выйти из тюрьмы, мы узнали, что значит быть лишенными всех прав состояния. Нас вызвали в контору и велели переодеться в арестантскую одежду. Эта одежда меняла человека до неузнаваемости. Когда нас привели назад в камеры, товарищи не могли нас узнать. Я сама испугалась своего вида, когда в первый раз увидела себя в зеркале в этом костюме. В этом было что-то страшно унизительное.

Я ходила по камере, с трудом переставляя ноги в огромных, отвратительных котках. И чувство ненависти к угнетателям росло в моей душе.

На следующее утро моих товарищей и меня выстроили с партией уголовных, осужденных в ссылку в Сибирь за грабежи и убийства, и по четыре в ряд мы пошли по середине грязной дороги к вокзалу.

В последний раз я взглянула на большой город, куда я пришла искать знания и счастья.

«Прощай, родная сторона»... — запели уголовные хором, когда тронулся поезд. Печальная мелодия этой песни, которой аккомпанировал звон цепей, произвела на меня неизгладимое впечатление.

Грязный арестантский вагон был переполнен до последней возможности. Арестанты устраивались поудобнее и так свободно чувствовали себя в этой обстановке, что было очевидно, что не в первый раз им приходилось совершать это путешествие. Кормовых, выдававшихся арестантам, хватало только на хлеб с селедкой. Но крестьянки, — главным образом, уже в Сибири, — встречали поезда и подавали милостыню арестантам, передавая им хлеб, молоко, пироги и проч.

Когда мы приехали в Киев, нас поместили в пересыльную тюрьму. Мы спали на грязном полу, подстелив свои халаты. Нас продержали там два дня и не выпускали даже на прогулку. В нашей камере было пятьдесят человек — двадцать пять женщин и столько же детей. Некоторые дети заболели, и их родители жили в постоянном страхе, что они умрут от недостатка воздуха. Гольдман просила начальника тюрьмы позволить ей вынести ее больного ребенка на несколько минут во двор, но единственным ответом начальника было:

— Пересыльных не полагается выводить во двор на прогулку. Завтра вас отправят.

Из Киева мы были перевезены в Курск, а оттуда отправились в Воронеж. Меня, таким образом, переполненный арестантский вагон на пересыльную тюрьму и пересыльную тюрьму на арестантский вагон и останавливаясь в каждом большом городе, мы переехали, наконец, через Урал и после трехнедельного путешествия остановились в сибирском городе Тюмени.

Джордж Кеннан,¹⁴⁶ известный американский писатель, описывает пересыльную тюрьму в Тюмени такими словами:

«Я осмотрел камеру. В ней не было никакой вентиляции, и воздух был так отравлен, что я с трудом мог дышать. Мы обошли одну за другой шесть камер или одиночек, совершенно похожих одна на другую, и в каждой из них нашли заключенных в три и в четыре раза больше того количества, для которого они предназначались, и в пять и в шесть раз больше того, сколько полагалось соответственно ее кубатуре. В большинстве камер не

¹⁴⁵ После убийства 15 июля 1904 г. министра внутренних дел В. К. Плеве членом БО Е. С. Созоновым, правительство отказалось от откровенно охранительной политики и министром внутренних дел был назначен кн. П. Д. Святополк-Мирский (1857–1914), пользовавшийся репутацией либерала.

¹⁴⁶ Кеннан Джордж (1840–1924) — американский публицист, автор книги «Сибирь и ссылка», в которой он, на основе личных впечатлений, дал подробное описание сибирских каторжных тюрем и мест ссылки.

хватало приспособлений для спанья для всех заключенных, и многие спали по ночам на грязном полу, под нарами и в проходах между нарами и стенами»...

В этих бараках нас продержали три месяца. Там свирепствовали тиф и другие эпидемические болезни.

Уже началась зима, когда мы снова отправились в путь. Арестантский вагон был еще более грязен и переполнен, чем в Европейской России. Жестокий сибирский мороз делал нашу поездку еще более трудной. Здесь были те же обычные остановки на один или два дня в пересыльных тюрьмах, то же хождение туда и обратно в полуразорванных башмаках по дорогам, покрытым льдом и снегом.

Здесь мы узнали место нашего назначения. К моему ужасу я была назначена одна в село Александровское, Енисейской губернии. Я стояла перед начальником, слушала его и не могла поверить, что я буду разлучена с товарищами и отвезена одна в далекую пустынную деревушку.

Из Красноярска нас перевезли в Канск. Мы пришли в тюрьму вечером. Барак, в котором нас поместили, не отоплялся, очевидно, в течение долгого времени, так как лед и снег лежали на полу и по стенам. Мы попросили у надзирателя дров и развели в печи огонь. Когда дрова сгорели, мы закрыли трубу и улеглись спать. Ночью раздался плач ребенка. Некоторые из нас слышали его крик, но не могли двинуться с места. Привлеченный криком ребенка, надзиратель подошел и окликнул нас; не получая ответа, он открыл дверь. Тут он понял причину нашего молчания: камера была наполнена угаром, и все мы лежали без памяти. Немедленно он позвал надзирателей, которые вывели нас на снег и подали первую помощь. Как только мы пришли в себя, нас отправили на место назначения. Гольдманы были отправлены в село Рыбинское, Енисейской губернии. Сначала отправили их. Затем забрали меня.

Два солдата сопровождали меня до первого этапа и сдали под расписку уряднику. Урядник позвал сельского старосту и приказал ему достать лошадь. После долгих споров крестьяне дали старую лошаденку, и я под охраной деревенского стражника отправилась в Александровское. В каждой деревне, которую мы проезжали на нашем пути, крестьяне, особенно женщины, с любопытством смотрели на меня. Узнав, что я ссыльная, они кормили меня: в одной деревне крестьянка дала мне даже пару валенок, так как все время я страшно страдала от холода.

Наконец, мы приехали в волость, к которой принадлежало Александровское. Там урядник и волостной писарь вскрыли бумаги, которые стражник вез в запечатанном конверте.

— Здесь имеются специальные инструкции относительно вас, — сказал мне писарь.

— Что же это за специальные инструкции? — спросила я.

— Здесь сказано, что вы должны находиться под особым надзором, — ответил он.

Эту ночь я спала в доме писаря, а на следующий день он отвез меня в Александровское, которое находилось верстах в 18 от волости. Деревня состояла приблизительно из тридцати хат и была населена большей частью переселенцами из России. В доме старосты, куда меня сначала отвел писарь, собрались крестьянки и крестьяне и стали обсуждать вопрос о том, как меня устроить. Женщины стояли, сложив руки на груди, и сочувственно качали головами. Некоторые из них предлагали поместить меня в своем доме. Один старик-крестьянин, который стоял, задумчиво пощипывая свою длинную седую бороду, сказал:

— Я понимаю так, что она прислана к нам на всю жизнь и мы можем делать с нею, что хотим. Правильно я понял? — обратился он к писарю, который объяснял крестьянам, как нужно обращаться со мной.

Наконец, после долгих споров, было решено, что я буду жить в доме церковного сторожа. Урядник приказал стражнику являться каждый день ко мне, чтобы удостовериться в моем присутствии. Уезжая, он предупредил крестьян:

— Помните, что вы все за нее отвечаете.

Крестьяне гурьбой проводили меня в дом церковного сторожа.

Долго еще женщины продолжали мне выражать свое сочувствие и симпатию, говоря: «Несчастливая сиротка».. Их горячее сочувствие объясняется тем, что они сами были из России и видели во мне «землячку», свежего человека с их родины, по которой они сильно тосковали. Наконец, я осталась одна. Когда они называли меня «сироткой», я и в самом деле чувствовала себя очень одинокой, совсем одной в целом мире. Я села, безнадежно оглядываясь вокруг, и чувство жалости к самой себе наполнило мою душу. Но окружающее не дало возможности этому чувству разрастись. Я жила в одной хате с хозяевами, и крестьяне не оставляли меня ни на минуту в покое.

Мой хозяин, седой как лунь старик, подошел ко мне и спросил:

— Ты умеешь читать?

Получив утвердительный ответ, он вытащил из кармана письмо. Оно было от его сына, солдата манчжурской армии.

Весть о том, что я умею читать, быстро облетела деревню. Крестьяне подбирали каждую бумажку, на которой было что-нибудь написано или напечатано, и несли мне, чтобы я им прочла. Они окружали меня со всех сторон и слушали с большим вниманием каждое сообщение о войне. Они были кровно заинтересованы в этих сообщениях, так как почти каждый из них имел на полях сражений сына, мужа или брата, от которых они не получали ни слова в течение месяцев, и были в отчаянии.

Вскоре ко мне стали приходиться женщины, принося кувшины с молоком, кринки с маслом и с другими приношениями, и стали просить меня писать письма их сыновьям и мужьям. Слушая скорбные речи этих старых матерей и молодых жен, которые в отчаянии хватались за всякую надежду, что их любимые не убиты, а только ранены и изувечены на всю жизнь, глядя на маленьких сирот, которые уже знали, что не увидят никогда своих отцов, я забывала о себе и думала только о том, что я могла бы сделать, чтобы облегчить их тяжелое горе. Но, к моему большому огорчению, я не могла придумать, чем бы я могла быть им полезной: все, что я могла сделать, это писать письма людям, которых, может быть, уже не было в живых.

Спустя несколько времени после моего приезда, ко мне пришел деревенский священник. Это был с виду крепкий человек веселого нрава и, должно быть, большой любитель выпить. Он заговорил со мной отеческим тоном:

— Вы только не отчаивайтесь. Ничего нет вечного на этом свете, — ответил он на мое заявление о том, что я сослана сюда не на определенный срок, а на всю жизнь.

— Моя дочь собирается выйти замуж, — продолжал он, — и здесь нет никого, кто мог бы ей сшить платье, и потому вам лучше было бы перейти к нам и помочь ей в шитье.

Я согласилась, потому что рада была заработать как-нибудь себе на хлеб.

Я была уже не в тюрьме, не видела тюремных стен, но я не чувствовала себя свободной. Бесцельная жизнь в отдаленной сибирской деревне казалась мне еще хуже, чем в тюрьме. Крестьяне вместе с священником пьянствовали обычно в течение двух-трех дней в неделю. Они оставляли все свои деньги в казенной винной лавке, а когда у них не было больше наличных денег, закладывали все, что попадалось им под руку в доме. Казалось, только водка и дает им возможность забыть нищету их жалкого существования. В эти «пьяные» дни я забивалась в угол, чтобы никто не мог меня видеть, и смотрела на снежные сугробы, которые отделяли меня от всего остального мира.

«Надо бежать, надо бежать отсюда», — все более и более настойчиво раздавался во мне внутренний голос.

Волостной писарь, урядник и стражник были единственные люди, на которых была возложена обязанность стеречь меня. Но они, по-видимому, довольно небрежно относились к своей обязанности. Как видно, они думали, что огромный, густой лес был для меня самым лучшим сторожем.

«Бежать, бежать», — повторяла я себе в длинные, бессонные ночи, глядя в темноту и строя планы один фантастичнее другого.

В это время весть о «кровавом воскресенье» достигла нашей деревни. Дрожащими

руками держала я письмо и читала крестьянам, как рабочие в Петербурге, руководимые Гапоном,¹⁴⁷ пошли просить своего царя улучшить условия их жизни, как они шли со своими женами и детьми, неся иконы и портрет царя, и пели патриотический гимн; как они были вдруг, без всякого предупреждения, обстреляны, как казаки топтали их своими лошадьми и били шашками и нагайками, как улицы Петербурга превратились в поле битвы, где валялись сотни убитых и умирающих... Здесь крестьяне остановили меня:

— Возможно ли, — сказали они, — чтобы царь мог сделать это? Уж не виноваты ли его министры?

Подумав, они снова просили меня читать им все сначала. В этот день их вера в царя была разбита, и они открыто высказывали свою симпатию ко мне, непосредственной жертве его деспотического правления.

Для меня тот факт, что петербургские рабочие пошли просить царя об улучшении их жизни, имел совсем другое значение. Я видела в этом пробуждение масс трудящихся и смотрела на эти выступления, как на предвестие великой революции, которая должна была потрясти царский трон.

«Не может быть, чтобы кровь детей, пролитая на улицах Петербурга девятого января, осталась неотомщенной», — думала я. Я видела, что русский народ не может дольше сносить гнет царского ига, что в России готовятся большие перемены, и я твердо решила бежать и присоединиться с оружием в руках к борьбе за свободу моей угнетенной страны.

Волостной писарь был интеллигентный, добрый человек и открыто проявлял свою симпатию ко мне. У меня явилась мысль просить его достать для меня разрешение у урядника съездить в Канск. Я надеялась найти там товарищей, которые могли бы оказать мне помощь деньгами и паспортом.

— Да, — сказал он в ответ на мою просьбу, — я достану вам это разрешение. Но если вы убежите, ответственность падет на меня, так как я уверен, что урядник постарается доказать так или иначе, что я с вами был в заговоре.

— Вы знаете, что я отец четырех детей, — продолжал он, — но если вы мне дадите честное слово, что вы вернетесь, я постараюсь убедить урядника дать вам разрешение поехать в Канск на несколько дней.

Мне было трудно принять его предложение. Если я дам ему слово, я должна буду вернуться, а между тем единственной целью моей поездки был побег. Два дня я старалась найти выход из этого затруднения, но в конце концов решила согласиться на его условия. Было абсолютно необходимо съездить в Канск и достать денег и паспорт, без которых мне нечего было и думать о побеге.

Мы пошли к уряднику, и после немалых расспросов он согласился пустить меня в Канск на несколько дней.

В начале февраля 1905 года я покинула деревню, отправившись в телеге с крестьянином, который ехал в город по своим делам. У меня не было никакого адреса, я даже не знала, есть ли политические ссыльные в Канске. Крестьяне Александровского уверяли меня, что там мало «господ». Как я позже узнала, политики назывались там «господами».

Мы приехали в Канск. За две копейки встречный мальчик свел меня к кузнецу. Высокий мужчина в синей рубахе, с руками и лицом, покрытыми сажей, принял меня с дружеской улыбкой. Я назвала ему себя, и он повел меня в свой дом. Я объяснила ему цель своего визита.

— К сожалению, — сказал товарищ, — едва ли вы чего-нибудь добьетесь в нашем городе. Здесь есть только шесть человек политических и все они голодают. Единственное, что мы можем здесь сделать для вас, — это дать вам рекомендательные письма к иркутским товарищам. Их там теперь много, и наверное они вам помогут.

¹⁴⁷ См. прим. 31 к воспоминаниям П. С. Ивановской.

Несколько часов спустя в доме этого товарища собралась вся колония ссыльных Канска. Они принялись обсуждать дело и решили, что мне нужно ехать прямо в Иркутск. На свои последние деньги они купили мне билет туда, и в тот же вечер я села в поезд с рекомендательными письмами в кармане.

После двух дней езды я приехала в Иркутск. Когда извозчик остановился против богатого дома на главной улице, я поколебалась с минуту. «Что, если меня не впустят?» Я позвонила. Хорошенькая молодая девушка открыла дверь; она попросила меня присесть в приемной. Скоро вышел пожилой человек невысокого роста. Он спросил меня, кто я и что мне нужно. Убедившись в том, что я действительно та, за кого выдаю себя, он пожал мне руку и предложил мне пройти к его жене и детям.

Этот товарищ К. был старый революционер, высланный в Иркутск много лет тому назад. Несмотря на свое «прошлое», в то время он занимал в Иркутске большую должность. В этот же день он вручил мне сто рублей и паспорт, в котором значилось, что я «дочь купца». Такой паспорт для Сибири был так же хорош, как и настоящий, так как документы там не подвергались особенно тщательному просмотру. Жена товарища К. помогла мне переодеться в платье ее дочери и подарила мне часы. Одним словом, я стала неузнаваема.

Необходимо было вернуться в Александровское. Я знала, что писарь будет беспокоиться по поводу моего долгого отсутствия. Я не хотела пока думать о том, как я уйду после моего возвращения: затруднения казались мне непреодолимыми, но я дала честное слово и должна была вернуться.

С грустью в душе я попрощалась с милыми товарищами. Один из сыновей К. поехал со мной до Канска, так как они боялись, чтобы меня не арестовали по дороге.

В отделении вагона — мы ехали вторым классом — было два армейских офицера. Они подружились с моим спутником и угощали его водкой и папиросами. В их поведении не было ничего такого, что могло бы возбудить у нас подозрение.

Когда наступила ночь, я улеглась на своей скамье. Мысль о том, что я еду назад, в эту заброшенную деревню, не давала мне покоя. Вдруг я почувствовала, что кто-то дернул цепочку, на которой висели мои часы. Я открыла глаза и, к великому моему ужасу, увидела того самого офицера, который был так любезен со мной несколько часов тому назад. В одной руке у него была моя сумка, в которой лежало сто рублей и паспорт. Я громко вскрикнула. Офицер схватил меня за горло и стал душить. Я потеряла сознание.

Когда я пришла в себя, моя первая мысль была о том, что деньги и паспорт пропали. Я слышала, что возле меня говорят люди, но не имела желаний смотреть на них.

«Зачем они не дали мне умереть? — думала я. — Что я буду делать без денег и паспорта?»

Я не могла пошевелить головой, мне казалось, что пальцы все еще сжимают мне горло.

На первой же станции нас отвели в жандармское отделение. Те два офицера были уже там. Оказалось, что это беглые уголовные каторжане с Сахалина, перерядившиеся офицерами.

— Почему вы хотели меня убить? — спросила я. — Разве вы не видели, что я небогата?

— А зачем вы кричали? — был ответ.

— Мне нужно было спасти себя.

— В конце концов я же не задушил вас на смерть.

Сумка с деньгами и паспорт были мне возвращены.

Своим спасением я обязана была сыну К., который первый кинулся ко мне, когда бродяга начал душить меня. После долгого отсутствия я вернулась в Александровское. Волостной писарь и урядник были в восторге при виде меня.

— А мы уже думали, что вы не вернетесь, — сказал мне урядник, улыбаясь.

Вопрос о том, каким образом мне убежать, не оставлял меня ни на минуту. Единственные люди, от которых я надеялась получить необходимые сведения, были Гольдманы, которые жили в селе Рыбинском, и я решила держать путь в этом направлении. Я боялась просить о помощи крестьян, несмотря на их расположение ко мне. Кроме того, я

знала, что если начальство узнает, что кто-то отвез меня в Рыбинское, то бедные крестьяне будут отвечать за мой побег. Мне оставалось только одно, — пройти пешком расстояние в 70 верст, которое разделяло эти два села. Дорогу в Рыбинское я знала довольно хорошо.

Через несколько времени после моего приезда из Иркутска, в сумерки, одевшись как могла теплее, с несколькими кусками хлеба, завязанными в платок, я отправилась по дороге в Рыбинское. Вся деревня уже спала, но мне казалось, что сами хаты следят за мной. Каждый звук заставлял мое сердце биться сильнее, и я оглядывалась по сторонам, ожидая увидеть погоню. Скоро я дошла до края деревни. Гладкая, серебристая дорога простиралась передо мной. Я выпрямилась, вдохнула полной грудью чистый морозный воздух и ускорила шаг. Страх мой исчез. Спокойно смотрела я на покрытый снегом лес, который стоял по обе стороны дороги, и шла все скорей и скорей, мечтая о свободе для себя и для моей родины.

Не знаю, как долго я шла. Помню только, что острое ощущение голода прервало мои мечты. Я принялась уничтожать свой хлеб кусок за куском, не замедляя шагов. Вдруг я услышала стук лошадиных копыт за собой. Не останавливаясь ни на минуту, чтобы подумать, я повернула к лесу, но сани были уже возле меня раньше, чем я успела скрыться в лесу.

— Куда вы идете? — спросил меня голос. Я оглянулась. Это был крестьянин из ближней деревни. Он хорошо знал меня.

— Я иду в Рыбинское, — отвечала я безразличным тоном, — у меня не было денег, чтобы нанять лошадь.

— Садитесь, — сказал он. — Я тоже еду туда и могу вас подвезти.

Через несколько часов я была уже в доме Гольдманов. Маленькие ручки ребенка обнимали меня.

— Я тебя не пушу больше от нас, — говорил он, глядя меня по щеке.

Когда я им сказала, что решила бежать, они обрадовались за меня.

— И нам следует во что бы то ни стало выбраться отсюда, — сказал Гольдман. Он прошелся по комнате, не будучи в силах совладать с охватившим его волнением.

— Как вы можете бежать с ребенком? — сказала я. — Вас сейчас же узнают.

— Да, только это и удерживает нас здесь, — ответил Гольдман.

Я мысленно жалела о том, что такой активный работник, как Гольдман, должен оставаться в глухой деревушке из-за ребенка, и счастливая мысль вдруг осенила меня.

— Слушайте, — обратилась я к Гольдману, — я возьму вашего ребенка с собой, а потом уедете и вы. Полиция будет искать меня одну, а вас с ребенком, и такая перемена ролей спасет нас всех.

Мгновенно их печальные лица озарились надеждой.

— Боря, — сказала я мальчику, — хочешь поехать со мной к бабушке?

— Да, хочу, — отвечал он с решительным видом, — Я поеду, и мама поедет, и папа поедет. Я не хочу быть здесь: здесь холодно.

Через несколько часов дело было устроено. Я должна была отвезти ребенка к его бабушке в Вильну. Гольдманы должны были бежать, получив от меня извещение о том, что все обошлось благополучно.

Вечером Гольдман нашел крестьянина, который согласился отвезти нас в ближайшую деревню. Следующий день мы провели в приготовлениях к отъезду. Как только стемнело, возница пришел за нами.

Мать обняла своего ребенка в последний раз.

— Скорей, скорей, — торопил нас возница. Гольдман взял ребенка на руки, поцеловал плачущую жену, и мы вышли. Ночь была тихая и холодная. Снежные сугробы покрывали землю. Мы быстро шли, и снег скрипел под нашими ногами. В конце деревни стояли наши сани. Лошади нетерпеливо рыли копытами снег.

Сани быстро катились по гладкой дороге. Лошади бежали, возчик напевал песню. Я прижала ребенка к груди, прислушиваясь к его мерному дыханию. Скоро возница вылез из саней и побежал рядом с лошадьми, стараясь согреться. Я не решалась двинуться, боясь обеспокоить ребенка, который скоро уснул.

В 4 часа утра мы приехали в деревню и постучали в дверь крестьянской избы. Нас впустили. На вопросы, откуда я и куда я еду, я жалобным голосом отвечала, что ребенок остался сиротой и я везу его к его бабушке и дедушке в Россию.

Остановившись таким образом ночевать в крестьянских избах, мы, наконец, благополучно прибыли на станцию Ольгинск, где я села на поезд.

Долгая поездка в Вильну прошла без серьезных событий. Ребенок служил мне великолепным прикрытием от внимательных глаз жандармов. Шпионы, которые шныряли на каждой большой станции, не обращали на меня никакого внимания. Они, очевидно, не могли додуматься до возможности такой комбинации. Раз только Боря меня чуть не выдал. Я не хотела исполнить какое-то его желание, и он вдруг громко заявил мне: «Если ты не сделаешь, как я хочу, тогда я тебя буду звать Маня Школьник, а не Саша» (По паспорту я была «Саша»). После этого мне пришлось сдаваться на его требования и не слишком выводить его из себя.

Когда мы приехали в Челябинск и пересели в другой поезд, наш вагон вдруг заперли, начали выводить пассажиров поодиночке и проверять паспорта. Я держала ребенка на руках, и жандармы пропустили меня, не задав мне ни одного вопроса.

В начале марта я приехала в Вильну и, вручив ребенка его бабушке и дедушке, отправила условную телеграмму Гольдману. Находясь на небольшом расстоянии от моего родного дома, я решила повидаться с родными. Мне так захотелось их видеть, что я бросила все рассуждения об осторожности и благоразумии. В тот же самый день я отправила к ним товарища с письмом, и через несколько дней они явились ко мне. Радость свидания, казалось, заставила нас забыть все прошлые горести.

— Я больше не отдам тебя им, — повторяла моя мать, не пытаясь даже утереть слезы, которые бежали ручьями по ее лицу.

Отец вынул 50 рублей и сказал мне:

— Я занял эти деньги. Возьми их и поезжай за границу. Там ты будешь в безопасности.

— Отец, я не могу сделать этого. То, что сделали со мной и с тысячами других, не должно оставаться безнаказанным. Я не могу этого так оставить.

Отец взял мою голову в свои руки и посмотрел мне прямо в глаза.

— Боже мой, что они с тобой сделали? Ты даже не плачешь, и в твоих глазах так много ненависти, которая не исчезает даже в присутствии твоих старых родителей.

— Я не могу, я не могу, — повторяла я.

Руки отца прижимали меня все крепче и крепче к его груди.

— Смотри, — сказал он со слезами в голосе, — каким седым сделали меня три года твоего заключения. Что с нами будет, если ты снова попадешь в тюрьму?

На следующий день отец и мать уехали домой. Я села в поезд, идущий на Минск.

Оттуда контрабандист-еврей проводил меня к австрийской границе. Просидев три дня в маленьком пограничном местечке, я благополучно перешла границу в Бродах.

Глава V

Я решила ехать за границу. Я слышала, что лидеры боевой организации нашей партии находились в то время в Женеве. Моим намерением было войти в боевую организацию и стать террористкой. Моя собственная жизнь и жизнь моих товарищей привела меня к убеждению, что мирные методы борьбы с самодержавием больше невозможны.

Стать членом террористической организации было делом довольно трудным. Принимались только люди с установленной революционной репутацией. С сомнением в душе я приехала в Женеву. К счастью, я нашла там тов. Шпайзмана, который бежал из Сибири на несколько недель раньше меня и успел уже связаться с людьми, имевшими близкое отношение к боевой организации. С его помощью я добилась свидания с Савинковым и Азефом.

Своей таинственностью и заговорщическим видом они произвели на меня удручающее

впечатление. Богатая обстановка, в которой они жили, давила меня. Она не соответствовала моим понятиям о революционерах.

Скоро Савинков назначил мне свидание с Азефом. Азеф пришел ко мне на квартиру. Я жила в очень крошечной и бедной комнатке, и его крупная фигура особенно выделялась там. Толстый, высокий, с маленькими бегающими глазами, он почти внушал мне страх, и я чувствовала к нему некоторое чувство брезгливости.

Таинственно помолчав немного, он обратился ко мне с вопросом:

— Почему вы решили вступить в боевую организацию?

Я стала горячо доказывать ему необходимость активной борьбы с самодержавием.

— Вы хорошая агитаторша и этим путем вы можете больше сделать.

Он расспрашивал о моей личной жизни, о моих родных и ушел, оставив меня в полном недоумении и неизвестности насчет приема меня в боевую организацию.

Через несколько дней Савинков послал меня в Париж к Азефу. Азеф жил на одной из лучших улиц, занимал роскошную квартиру. Его жена произвела на меня очень благоприятное впечатление. Я провела у них несколько дней, а затем она поместила меня в пансион. В эти несколько дней я видела Азефа очень редко. Дома он оставался таким же молчаливым, как и вне дома.

Наконец, приехал Савинков и сообщил мне, что Шпайзман и я приняты в боевую организацию. Всю подготовительную работу по нашей поездке в Россию мы вели с ним.

Первым в Россию поехал Шпайзман. Он вез с собою бомбы и револьвер. На границе он был задержан. Его обыскали и, несмотря на то, что у него нашли бомбы и оружие, отпустили. Через несколько дней я отправилась, тоже имея при себе бомбы и револьвер, и благополучно перешла границу. В Вильне я встретила тов. Шпайзмана, и он рассказал мне эту странную историю на границе.

Я поселилась в Друскениках, где должна была ждать Савинкова. Когда он приехал и я рассказала ему инцидент с Шпайзманом на границе, Савинков заподозрил последнего. Вскоре я получила приглашение явиться в Нижний Новгород для свидания с Азефом. Наша встреча произошла на скачках. Он сейчас же начал говорить об истории с Шпайзманом, высказывая явные подозрения на его счет. Несмотря на мои горячие уверения о том, что Шпайзман — преданный революционер, что я его знаю уже несколько лет, он твердил, что Шпайзмана нужно устранить, так как «дело выше всего». Мне с трудом удалось отстоять тов. Шпайзмана.

Только лишь после открытия предательства Азефа мы поняли, что история с Шпайзманом была не более и не менее, как хитрый маневр Азефа на случай каких-либо подозрений на него. Это был не единственный случай такого рода.

Нашим первым делом предполагалось покушение на генерала Трепова, петербургского генерал-губернатора.¹⁴⁸

Первым и главнейшим условием жизни террориста было строжайшее воздержание от сношений с друзьями. Террорист не должен был даже ни с кем переписываться. Единственным основанием этой осторожности была необходимость оградить невинных от правительственных преследований в случае ареста одного из членов организации. Бывали случаи, когда людей ссылали в Сибирь или приговаривали к долгосрочной каторге за одну только записку, которую они написали террористу или сами получили от него.

Эта изоляция и сосредоточенность на одной мысли подействовали на меня особенным образом. Мир не существовал для меня. Фотография Трепова была для меня символом всех несчастий России, и его смерть — единственным средством против них. Моя мысль не могла представить ясную картину того, что неизбежно ожидало меня. Тот факт, что я жертвовала собственной жизнью не имел для меня никакого значения. Я даже не думала о своей смерти. Но мысль о его смерти, о смерти того, кого я считала причиной тысяч смертей, никогда не

¹⁴⁸ Трепов Д. Ф. (1855–1906) — петербургский генерал-губернатор и товарищ министра внутренних дел.

покидала меня.

Наконец, после целого месяца томительного ожидания товарищ принес мне неприятную весть о том, что Трепов каким-то образом узнал о намерении боевой организации и принял чрезвычайные предосторожности: он никого не принимал и почти не выходил из дому. Исполнительный комитет решил отложить покушение до тех пор, пока не представится более удобный момент.

Нам с тов. Шпайзманом тогда поручили организовать покушение на киевского генерал-губернатора Клейгельса,¹⁴⁹ который жестоко подавлял всякое проявление недовольства среди крестьян, рабочих и студентов, организовывал еврейские погромы и сделался ненавистным всем.

Было решено, что мы поселимся в Киеве, тов. Шпайзман как уличный разносчик, а я — как продавщица цветов. Эти занятия давали нам возможность быть все время на улице, не вызывая подозрений. С 7 часов утра до 8 вечера я сидела на камнях на углу Крещатика и Фундуклеевской улицы, поджидая Клейгельса. Место тов. Шпайзмана было на противоположном углу. Прошла неделя, другая, третья, а Клейгельс все не появлялся. Однажды мимо меня промчались, два верховых казака; за ними следовала закрытая карета, за каретой еще два казака на лошадях. Карета остановилась за церковью, я спряталась за углом. Наконец, Клейгельс появился, но с ним были его жена и сын. Мой взгляд упал в этот момент на Шпайзмана, который стоял у самого входа в церковь. Лицо его выражало отчаяние. Клейгельс, должно быть, знал о том, что Каляев рисковал своей жизнью, но не убил великого князя Сергея, потому что княгиня была с ним, и он тоже воспользовался своей семьей, как щитом. Для нас это представляло непреодолимое препятствие.¹⁵⁰

Таким образом, и вторая наша попытка была осуждена на неудачу.

К тому времени политическое возбуждение страны достигло неслыханных размеров. Частичные забастовки на железных дорогах и в других общественных и частных предприятиях слились в одну великую всероссийскую забастовку. Весь механизм великой империи остановился. Власти совершенно потеряли голову, и в течение некоторого времени столица управлялась советом рабочих депутатов, избранным рабочими Петербурга. Это открытое и всеобщее восстание принудило царя уступить, и 17 октября 1905 года он издал знаменитый манифест, даровавший России «конституцию».¹⁵¹

Ничего не подозревая, я вышла утром с цветами, как обыкновенно, намереваясь продолжать свое наблюдение за Клейгельсом, когда мой слух был поражен громкими выкриками газетчиков: «Царский манифест! Свобода!». Вскоре улицы заполнились ликующей толпой. Бросив свою корзинку с цветами, я присоединилась к толпе, шедшей с красными флагами.

На следующий день после опубликования манифеста черная сотня, состоявшая, главным образом, из отбросов городского населения, при содействии тайных агентов полиции, переодетых жандармов и шпионов завладела Киевом. Они грабили и убивали беззащитных обывателей на глазах у солдат и полиции, которые не только не мешали им, но даже помогали.

¹⁴⁹ Клейгельс Николай Васильевич — генерал-адъютант, киевский генерал-губернатор в 1905 г.

¹⁵⁰ Школьник имеет в виду эпизод 2 февраля 1905 г., когда И. П. Каляев не бросил бомбу в карету вел. кн. Сергея Александровича, поскольку с ним были его жена и дети вел. кн. Павла. В. В. Савинков, однако, считал, что неудачи Школьник и Шпайзмана в деле покушения на Клейгельса объяснялись романтическими причинами. Влюбленный в Школьник Шпайзман не позволял ей выходить на слежку, опасаясь, что покушение кончится для нее виселицей. — См. Савинков В. Воспоминания. М.: Московский рабочий., 1990. С. 161–164. Позднее революционный темперамент Школьник, по-видимому, сломил его упорство.

¹⁵¹ В царском Манифесте 17 октября 1905 г. объявлялось о созыве народных представителей (Государственной Думы), провозглашались гражданские свободы и политическая амнистия.

Чтобы защитить население от этих хулиганов, рабочие организовались в дружины обороны. Я вступила в одну из этих дружин и с револьвером в руках разгоняла пьяную толпу. После двух дней такой работы мое положение в городе стало небезопасным. За мной уже следили. Так как боевая организация с.-р. растерялась после манифеста и на время фактически перестала функционировать, я решила уехать в Москву. В Москве я оставалась недолго. Я повидалась с Александром Ивановичем Потаповым и Абрашей Гоцем, которые тогда стояли во главе центральной боевой организации,¹⁵² и они решили, чтобы я поехала в Чернигов совершить покушение на губернатора Хвостова, отличавшегося особой свирепостью в усмирении восставших крестьян. Со мной вместе ехала Нина Глоба, которая посылалась дружиной для того же, но в виду конспирации ни она, ни я не были осведомлены, на что другая посылается.

Прибыв в Чернигов, мы вошли в сношения с местной боевой дружиной, во главе которой был тов. Николаев, старый революционер-каракозовец.¹⁵³ Местный комитет вынес решение, чтобы Нина Глоба и тов. Шапиро, тоже посланный из Москвы, пошли работать в деревню, а я оставалась в городе для совершения покушения на губернатора. Тогда я предложила привлечь тов. Шпайзмана к этому делу; товарищи согласились.

В продолжение некоторого времени я встречалась с Ниной Глоба и тов. Шапиро, которые мне передавали об ужасном состоянии крестьян после усмирения. Один из их рассказов особенно запечатлелся в моей памяти. Привожу его почти дословно.

«К вечеру мы пришли в ближайшую деревню. Мы вошли в одну из изб, и хозяин встретил нас очень радушно.

— Поставь самовар, — сказал он жене, которая качала ребенка в колыбели, подвешенной к потолку.

— Ну, Ваня, почему вы так долго к нам не приходили? — спросил хозяин, обращаясь к моему товарищу.

— Я был в Москве, — отвечал Ваня.

— Чтб они там порешили? — спросил он. Но вдруг его ласковое, улыбающееся лицо потемнело, и, не ожидая ответа, он сказал:

— Вы слышали, что случилось здесь у нас?

— Да, я слышал, — отвечал мой товарищ, — но я хотел бы услышать всю эту историю от вас.

— Подождите, парни придут, и мы поговорим обо всем, — сказал хозяин. — Принесли вы каких-нибудь книжек? — спросил он.

Мы спустили занавески и выложили на стол принесенные нами брошюры. Хозяин благоговейно стал перебирать их, читая заглавия вслух.

Вскоре изба наполнилась молодыми и старыми крестьянами. Были даже женщины с детьми на руках. Все они хорошо знали Ваню и дружески здоровались с ним.

— Видишь, сколько не хватает наших, — сказал старый крестьянин с белой бородой. — Это после манифеста-то!

— Расскажи Ване все, — сказала сразу несколько голосов.

Старый крестьянин оперся скрещенными руками на стол и начал:

— Когда мы услышали про манифест, мы его поняли так, что нам разрешается взять излишек хлеба у помещиков. Мы собрались всей деревней, пошли к дому помещика, вызвали его и сказали ему:

¹⁵² Александр Иванович Потапов, член ЦК ПСР, не входил в состав ВО; Абрам Рафаилович Гоц (1882-М40) — вступил в ВО в 1906 г. Однако это не исключает, что первый, как член ЦК, и второй, как один из лидеров Московской организации ПСР, могли санкционировать покушение на Черниговского губернатора А. А. Хвостова. В период революции 1905–1907 гг. в отношении терактов в ПСР царила достаточно широкая «демократия».

¹⁵³ См. прим. 10 к воспоминаниям П. С. Ивановской.

— Царь издал манифест; там сказано, что мы можем взять у тебя зерно. Дай нам ключ. Мы справедливо поделим и тебя не забудем.

Помещик стал на нас кричать и убежал назад в дом. Мы ждали, но он не выходил. Наконец, мы решили, что он ничего не слышал о царском манифесте. Тогда мы сломали замок, разделили зерно между собой и ушли домой. Это было утром. К вечеру мы услышали шум, собаки залаяли. Мы вышли на улицу и видим: едет важный чиновник, а вокруг него казаки. Мы подумали, что он приехал, чтобы прочитать нам царский манифест. Мы вышли к нему навстречу с хлебом-солью и низко кланялись ему. Он приказал нам собраться на площади. Когда мы собрались, он закричал:

— Кто из вас первый вздумал бунтовать и идти против помещика, выходи вперед.

Мы все отвечали ему хором:

— Ваше высокоблагородие, мы не бунтовали, это в царском манифесте сказано, что мы можем взять у помещика хлеб.

— Я вам покажу, — заорал он, подсакивая к нам с нагайкой. — Я покажу вам, что значит царский манифест. Давайте розги! розги!

Первого они схватили Андрея и так секли бедного парня, что он так и остался лежать в грязи. Его несчастная жена плакала, а казаки били ее нагайкой по лицу и ругались. Женщины и дети стали громко плакать. Казаки окружили нас со всех сторон и не позволяли нам расходиться. Они высекли розгами десять человек, и после этого чиновник сказал:

— Теперь отнесите хлеб назад в амбар помещика.

— Этого мы не сможем сделать, выше высокоблагородие, — отвечали мы. — В царском манифесте сказано, что мы можем взять хлеб себе.

— Расстрелять этих собак! — закричал он своим казакам, и они выстрелили залпом. Восемь человек было убито и много ранено. После этого казаки пошли по домам и стали грабить нас. Они оскорбляли наших жен и дочерей, а Савичеву дочку искалечили на всю жизнь.

Пока он говорил, седая голова его тряслась и иссохшие руки дрожали. Мне казалось, что целая вечность прошла с тех пор, как он начал свой печальный рассказ.

Получив от тов. Николаева все необходимые сведения и деньги, я наняла дом и устроилась недалеко от губернатора. Хвостов жил в конце города. Его дом стоял на пригорке и был окружен садом.

Мой особняк был слишком велик для меня одной, и, чтобы предотвратить подозрения, я сказала домовладелице, что ожидаю приезда моей матери и сестры из Варшавы. Я отослала для прописки в полицейский участок мой паспорт учительницы-польки, и он через несколько дней благополучно вернулся. Тогда я телеграфировала тов. Шпайзману. Он был ранен во время еврейского погрома в Одессе после опубликования манифеста и недавно вышел из больницы. Через несколько дней тов. Шпайзман приехал в Чернигов и поселился напротив Благородного Собрании. По имевшимся у нас сведениям, губернатор иногда бывал там.

Сидя у моего окна, я изучала ежедневный порядок жизни губернатора. Я знала, когда он встает и когда ложится спать. Я знала, когда и кого он принимает у себя. Знала даже час, когда он обедал. Целую неделю губернатор не покидал своего дома. Он выходил только на прогулку в сад. Одна с моими мыслями, я ходила взад и вперед по пустому дому. Я проводила много времени, составляя список жертв губернатора. Я собирала, как сокровища, имена тех, кто был им убит или засечен на смерть. Я читала и перечитывала тысячу раз простые рассказы крестьян об его ужасных преступлениях.

Наконец, нам точно стало известно, что губернатор в день Нового года к двенадцати часам выедет в Благородное Собрание, и мы решили убить его на обратном пути.

Был канун Нового года. Я сидела у окна и смотрела на покрытую снегом улицу. Одна только мысль была в моем мозгу: он должен умереть. Все сомнения исчезли. Я знала, я чувствовала, что это случится.

В полночь я осторожно вынула трубку из бомбы,¹⁵⁴ высушила порох и вновь зарядила бомбу. Я положила четырехфунтовый жестяной ящик в хорошенький, специально для этого купленный ручной мешочек; привела все в порядок, написала письмо и положила деньги для домовладелицы. Потом легла спать: «Я должна спать», повторяла я себе и, действительно, заснула.

Стук в дверь разбудил меня. Я открыла глаза, и сознание того, что должно было случиться, наполнило мою душу. Послышался второй стук в дверь. Я поднялась и взглянула в окно. Группа замаскированных ребятишек стояла у моих дверей. Я поняла, что они, вероятно, пришли меня поздравить и, согласно обычаю, бросить пшена в комнату. За это обыкновенно они получали несколько копеек.

Я приняла их и с лихорадочной поспешностью стала отдавать им все, что попадало под руку. Непреодолимое желание побыть еще хоть немного в обществе этих детей охватило меня, и я стала просить их снять маски и выпить со мной чаю. Они колебались, но когда старший мальчик снял маску, все последовали его примеру. Я приготовила чай и усадила детей за стол. Они становились все смелее и скоро беззаботно болтали и с любопытством разглядывали меня и все, что было в доме.

Самовар весело шумел на столе, дети громко смеялись, солнце ярко светило в мое окно. На момент я забыла о том, что должно было случиться через несколько часов. Вдруг мимо дома промчались казаки, за ними карета. Я узнала ее. Дети продолжали смеяться, но я уже не слышала их.

— Идите, идите, дети, уже пора! — воскликнула я. — Но сначала давайте попрощаемся.

Они смотрели на меня с удивлением. Их милые лица омрачились сожалением, их худенькие, невымытые ручки потянулись ко мне.

— Не забывайте меня, дети! — сказала я.

Они покрестились на угол, пожелали мне счастливого Нового года и спокойно пошли домой. Я поспешно оделась, взяла свою ручную сумочку и вышла на улицу.

День был ясный и холодный, на небе ни облачка. Улица была почти пуста, только изредка появлялись прохожие, направлявшиеся в церковь, недалеко от моего дома был мост, на котором стоял городской. Держа в руке мою сумочку, я прошла мимо него. Скоро, однако, я вернулась назад и начала ходить взад и вперед недалеко от моего дома, несколько минут спустя я увидела издали товарища Шпайзмана, идущего медленными, размеренными шагами ко мне. В руке он держал ящик, перевязанный красной лентой: это была бомба. Он прошел по мосту и остановился в 70 или 80 шагах от меня. Я поняла, что он хочет бросить бомбу с того места, где он остановился. Я продолжала ходить взад и вперед недалеко от дома губернатора. Товарищ Шпайзман нагнал меня и прошептал, проходя мимо:

— Я вижу его. Помни, держись подальше от меня, чтобы случайно не разорвалась твоя бомба, когда разорвется моя.

— Хорошо, — прошептала я в ответ.

— Прощай, — сказал он и быстро пошел на свое прежнее место.

Я проводила его глазами, слегка обернувшись. Улица по-прежнему была пуста. Вдруг показались казаки верхом на лошадях и между ними карета. Товарищ Шпайзман немедленно сошел с тротуара. В этот момент карета поравнялась с ним. Он поднял руку и бросил бомбу к карете. Бомба упала на снег и не разорвалась. Полицейский чиновник, который ехал впереди губернатора, прыгнул к товарищу Шпайзману, и я услышала револьверный выстрел. Карета остановилась на момент; но, очевидно, поняв положение, кучер начал стегать лошадей и пустил их галопом ко мне навстречу. Я сошла на середину мостовой и бросила бомбу в окно кареты. Страшный удар оглушил меня. Я почувствовала, что поднимаюсь на воздух.

Когда я пришла в сознание и открыла глаза, я стояла возле извозчика, и меня

¹⁵⁴ Бомба эта была начинена каким-то составом, который был доставлен нам Азефом.

поддерживала какая-то женщина. Она говорила что-то извозчику, но я ничего не могла расслышать. Она посадила меня в сани, и извозчик поехал. Он проехал мимо моего дома, переехал через мост, где всегда стоял городской, но в этот момент его там не было. Мы проехали вдоль всей улицы и не встретили ни одного живого существа.

«Что это значит? Где же все люди?» — подумала я.

Извозчик повернул в какую-то улицу и остановился перед домом. Вывеска больницы моментально привела меня в полное сознание. Я поняла, что каким-то чудом уцелела при взрыве и что меня везли не в тюрьму, а в больницу. Я заплатила извозчику, подождала, пока он скрылся за углом, и пошла дальше. Я шла долго, совершенно не зная, ни где я нахожусь, ни куда я иду. Я чувствовала, что силы оставляют меня и что скоро я упаду среди улицы. Случайно я увидела открытые ворота. Я вошла во двор и села на снег. Мысль о том, что я спаслась, не утешала меня. Я знала, что всякий, кто захотел бы скрыть меня, погибнет вместе со мной.

Чтобы остановить кровь, струившуюся из раны на голове, я положила снегу в носовой платок и приложила его к голове. Это немного освежило меня. Тогда я сняла с себя меховое пальто и легла на него. Я почувствовала страшную слабость во всем теле, и тяжелое оцепенение охватило члены. Я не знаю, долго ли я лежала там, как вдруг я почувствовала, что кто-то меня дергает за рукав. С трудом я открыла глаза. Возле меня стоял юноша. Он наклонился близко к моему уху, и я ясно расслышала:

— Это вы убили губернатора? Вы?¹⁵⁵

Юноша поднялся, взглянул еще раз на меня и ушел, не сказав ни слова. Не прошло и пяти минут, как он вернулся назад вместе с согбенным стариком. Они подняли меня и внесли в дом. Теплый воздух и холодная вода, которой они смочили мне голову, совсем привели меня в сознание. Я сообразила, что эти бедные евреи подвергают себя опасности.

— Я должна уйти отсюда, — сказала я старухе-хозяйке, которая уговаривала меня лечь на их единственную кровать.

— Но мой сын просил, чтобы мы позаботились о вас, — отвечала она.

Юноша — это был Яша Лейкин, а старики — его родители — вернулся откуда-то сильно взволнованный и сказал, что полиция проследила меня по кровавым следам и скоро, вероятно, будет здесь.

— Ох! ох! — застонала старуха и в ужасе стала бегать по комнате. Я подошла к двери с намерением уйти, но старуха закричала:

— Что вы делаете? полиция увидит вас, и мы все погибнем.

Вдруг она открыла потайной шкаф, толкнула меня в него и заперла дверцу. Подавленная и обессиленная, я прислонилась к дверце шкафа, не смея дышать. Отдаленный шум достиг до меня. Он становился все ближе и ближе. Я слышала топот многих ног недалеко от того места, где меня спрятали. Мои колена согнулись, и я потеряла сознание.

Поздно ночью я нашла себя сидящей за столом. Комнату освещала одна свеча. Старуха шептала мне на ухо:

— Благодаря бога, мне удалось спровадить их.

Я не могла понять, о чем она говорит. Я чувствовала острую боль в голове; все тело мое горело. Я ни о чем не думала и желала только покоя.

Вошел Яша Лейкин, неся в руках солдатскую шинель и шапку; они одели меня и, поддерживая под руки, вывели во двор. Они посадили меня в сани, Лейкин сел возле меня, и мы поехали. Мы долго ездил по городу, проезжая кое-где мимо патрулей из солдат и полиции.

Наконец, мы благополучно выехали из города и к утру приехали в Городню. В этом маленьком городишке, где я должна была сесть на поезд, мы были остановлены полицейским приставом с солдатами. Они забрали нас в полицейский участок и держали там

¹⁵⁵ Хвостов не был убит взрывом, а только ранен.

до прихода отряда казаков. Меня посадили в закрытую карету и повезли обратно в Чернигов. Мы приехали туда вечером. В камере полицейского участка, куда сначала поместили меня, было совершенно пусто. Я легла на пол. Жандарм с обнаженной саблей стоял около меня. Как только я начинала засыпать, жандарм будил меня и спрашивал:

— Кто ваши соучастники? Как их зовут?

Несмотря на мою слабость и полное изнеможение, этот вопрос всегда приводил меня в сознание. Я отлично знала, зачем жандарм спрашивал это, и молчала.

Такая пытка продолжалась недолго. Жандармы поняли, что их ухищрения не могут достичь цели, и перестали будить меня.

При допросе у прокурора я не отрицала факта покушения, но отказалась назвать себя и предстала перед судом, как «неизвестная». Скрыв свое имя, я надеялась оградить моих родителей от страданий за дочь, которая должна умереть на виселице, и товарищей от ареста.

Вскоре я была переведена в военную тюрьму. Мне объявили, что на следующий день меня будет судить военный суд. В 10 часов утра тов. Шпайзман, Яша Лейкин и я предстали перед военным судом. Когда нас ввели в зал суда, он был наполнен жандармами и полицией. В углу сидели несчастные старики, родители Лейкина. Кроме них, публики не было.

Церемония суда продолжалась недолго. Нам предложили сказать наше «последнее слово». Тов. Шпайзман и я, подтвердив свою принадлежность к боевой дружине с.-р. и покушение на Хвостова, категорически заявили, что Лейкин никакого участия в покушении не принимал и не имел никакого отношения к боевой дружине. Лейкин виновным себя не признал.

Прокурор в своей речи требовал смертной казни для всех троих.

После этого суд удалился совещаться о приговоре, а нас увели в камеры. Ужас охватил меня при мысли, что они могут повесить Лейкина. В течение нескольких часов я шагала по своей камере. Солнце село. Стало темно, а судьи все еще совещались. Часы пробили полночь. Кто-то тихо открыл дверь.

— Пожалуйте в судебный зал.

Жандарм говорил шепотом. В коридоре был полумрак. Слышался звон шпор, бряцание сабель и шум торопливых шагов. Жандармы и полиция были повсюду. Зал суда был слабо освещен, и лица судей выглядели утомленными и угрюмыми. Наконец председатель суда, старый генерал, стал читать приговор:

— «Неизвестный» ¹⁵⁶ приговаривается к смертной казни через повешение. «Неизвестная» приговаривается к смертной казни через повешение. Яков Лейкин приговаривается к каторжным работам на 10 лет.

Мы почувствовали себя так, как будто огромная тяжесть свалилась с наших плеч. Мы стали поздравлять Лейкина и прощаться с ним.

— Десять лет каторжных работ! — сказала я громко. — Вы и года не отбудете, как Россия будет свободна.

Судьи глядели с удивлением на наши оживленные лица, а один жандарм прошептал другому:

— Они, вероятно, не расслышали своего приговора.

Нас отвели назад в наши камеры.

«Это смертный приговор? — спрашивала я себя, оставшись одна. — Но почему на душе у меня так светло? Почему я не чувствую того, что случится через 24 часа?» — Я заглядывала в каждый уголок моей души, я прислушивалась к самым сокровенным ее движениям и мыслям, но не находила там признака смерти. Наконец, я забылась...

— Одевайтесь! Одевайтесь!

Этот голос сразу привел меня в сознание.

— Неужели прошло уже 24 часа? — невольно спросила я жандарма. — Который час?

¹⁵⁶ Тов. Шпайзман тоже судился, как «неизвестный».

— Шесть часов утра, — отвечал он.

«Несколько часов раньше или позже повесят меня, не все ли равно», — подумала я. Солнце еще не всходило. А мне так хотелось увидеть солнце!

— Где это будет? — спросила я жандарма, но он смотрел на меня в смущении и не отвечал. Вдруг я вспомнила о письме, которое я приготовила для родителей; это было мое последнее слово к ним. Я оглянулась кругом. Никого не было, кроме этого жандарма.

— Послушайте, — сказала я ему. — Я не могу спокойно пойти на виселицу, не отослав этой записки моим родителям. Это последнее желание женщины, идущей на смерть, и вы не можете ей отказать. Кто бы вы ни были, у вас есть или были родители, и вы должны понять их горе.

Я вложила письмо в его руку. Он спрятал письмо и сказал:

— Хорошо, я отошлю его. Но сейчас я повезу вас не на место казни, а в тюрьму.

— Они там меня повесят, — уверяла я его.

Позже я узнала, что мои родные никогда не получали этого письма. Но, во всяком случае, он был славный, этот жандарм, потому что мысль о том, что мои родители получают мое последнее слово, придавала мне много бодрости, и я могла умереть спокойно.

В закрытой карете я была отвезена в городскую тюрьму.

— Я должна буду ждать здесь целый день, — думала я. День прошел быстро и наступила ночь. Я легла на койку, не раздеваясь. С тревогой прислушивалась я к шагам надзирателей в коридоре.

Медленно тянулись часы. Все время слышались шаги; часто они приближались к моей двери, но каждый раз проходили мимо. Наконец, я заснула.

Когда я проснулась, солнце было высоко. Необузданная радость жизни охватила меня. Я ощущала свои руки и ноги, и счастливое сознание, что я жива, было сильнее смертного приговора, который висел надо мной. Каждый звук, который я могла уловить, радовал меня. Крошечный кусочек неба, который я видела сквозь решетку, притягивал меня к себе. Я прошла по камере, и мои мечты унесли меня далеко от тюремных стен. Великое чувство любви к жизни, любви ко всему живущему все больше и больше выросло во мне и побеждало смерть.

«Они повесят тебя сегодня ночью», — старалась я убедить себя, но эти слова казались мне бессмысленными. Они не могли победить во мне веру в жизнь, во все живущее. Мои тюремщики больше не раздражали меня. В моей душе не было больше ненависти к этим обманутым людям.

Целый день я находилась в этом состоянии, а к вечеру я снова стала готовиться к смерти и ждать. Шесть дней прошло таким образом в ожидании смерти.

На седьмой день послышался стук в стену. Мое сердце радостно забилося у меня есть сосед.

— Кто вы? — простучала я; и последовал ответ ясный, безошибочный:

— Шпайзман.

«Неужели? — воскликнула я, — он здесь, его еще не повесили?»

Вскоре мы были уже глубоко погружены в разговор. Выяснилось, что он провел все это время в военной тюрьме, и его только что перевезли сюда.

— Это последний день, — простучал он.

— Да, я уверена, — отвечала я.

Мы торопились поделиться друг с другом всеми мыслями и чувствами, всем, что мы пережили за годы нашей дружбы, которую не порвали ни тюрьма, ни изгнание.

— Я не хочу, чтобы ты умерла, — стучал Шпайзман. И чувство, глубоко скрытое до сих пор в душе его, в этот час смерти свободно выразилось словами.

Я не могла больше стоять у стены. Совершенно обессилев, я бросилась на койку. Час проходил за часом. Наступила ночь. В коридоре раздался необычный шум. Я удерживала дыхание и прижимала руки к сердцу. Я слышала, как открылась дверь соседней камеры. «Они пришли за Колей», — подумала я. Я прислушалась. Кто-то приблизился к моей двери.

— Прощай, моя любимая. Прощай, моя дорогая!

— Коля! Коля! — закричала я, но толстые стены заглушили мой слабый голос. Я прижалась в угол и слушала. Звук шагов становился все тише и тише и замер наконец. Я прислонилась к стене, через которую разговаривал Коля. Там его уже не было.

Кто-то осторожно открыл мою дверь и вошел в камеру. — «Наконец», — подумала я и, вскочив, повернулась лицом к моим палачам. Начинаясь рассвет, и маленькая лампочка, освещавшая мою камеру, едва мерцала в свете нарождавшегося дня. Начальник тюрьмы подошел и стал смотреть мне в лицо, не говоря ни слова. Было что-то злое в его взгляде. Я поняла, что он пришел с места казни. Он простоял так минут пять и вышел.

Я лежала с открытыми глазами на постели. Тюремные часы пробили десять. Дверь моей камеры широко распахнулась, и вошел какой-то чиновник.

— Я принес вам высочайшее помилование. Вам дарована жизнь, — сказал он и ушел.

Медленно проходили часы. Я лежала неподвижно на койке, стараясь постичь огромное значение этого факта. Но во мне образовалась внезапная пустота. Я ничего не ощущала в своей душе. Оборвалась нить моей внутренней жизни, и я тщетно старалась собрать утерянные концы.

Глава VI

Скоро началась моя новая жизнь, столь любезно подаренная мне царем. Меня вызвали в контору, и начальник тюрьмы предложил мне подписать бумагу, в которой значилось, что смертный приговор мне заменен пожизненной каторгой. Затем он объявил мне, что я буду закована в кандалы. Торжественное выражение его лица, с которым он мне сказал это, показалось мне смешным. Какое значение могут теперь иметь для меня кандалы?

Доктор осмотрел меня для проформы и заявил, что я «гожусь». Скоро все ножные и ручные кандалы, какие могли быть только найдены в огромной тюрьме, были принесены в контору и примерены на меня, но все оказались слишком велики и спадали с моих рук и ног. Наконец, начальник нашел выход из затруднительного положения: был вызван кузнец, мои кисти и щиколотки были измерены, и скоро новые кандалы были готовы. Не знаю, по ошибке или с умыслом, они были сделаны такими узкими, что на второй день мои руки распухли. Это причиняло мне мучительную боль. Я старалась изо всех сил скрыть это обстоятельство от начальника, так как была уверена, что кандалы были одеты по его личному желанию и мои страдания только доставили бы ему удовольствие.

Через несколько дней меня повели на вокзал и посадили в поезд, идущий на Москву. В дороге солдаты конвоя, — их было четверо, — на свой риск и страх сняли с меня ручные кандалы. В этом же вагоне, в другом отделении, сидел конвойный офицер. Каждую минуту он мог войти и увидеть, что мои наручники сняты. Я просила солдат снова одеть их на меня, но они не хотели об этом и слышать. И только когда мы уже подъезжали к Москве, они снова заковали меня.

Когда меня привели в контору московской пересыльной тюрьмы — Бутырки, начальник очень удивился, увидев меня в кандалах. Он обменялся многозначительным взглядом с секретарем и что-то шепнул ему. Через три дня кандалы были сняты.

Вскоре после моего прибытия в Бутырки, туда было привезено пять женщин-революционерок. Александра Измаиловна,¹⁵⁷ дочь генерала, который тогда еще не вернулся с Манчжурской войны. Она покушалась на жизнь минского губернатора во время еврейского погрома в этом городе. За это она была приговорена к смертной казни, которая была заменена вечной каторгой. Анастасия Биценко, которая убила в Саратове генерала

¹⁵⁷ Ее сестра, Екатерина, стреляла в адмирала Чухнина после его расправы с солдатами и матросами черноморского флота и легко ранила его. Она была расстреляна без суда, немедленно после покушения, во дворе дома Чухнина; адмирал сам командовал стрелять.

Сахарова, одного из пяти генералов, посланных царем для подавления крестьянского восстания. Она была приговорена к смертной казни, которая была ей заменена бессрочной каторгой. Лидия Езерская, которая покушалась на жизнь могилевского губернатора Клингенберга за его активное участие в еврейском погроме в этом же городе. Она была приговорена к ссылке на каторгу на тринадцать лет. Ревекка Фиалка, которая была арестована в Одессе, судилась за лабораторию бомб и приговорена к десяти годам каторжных работ. И, наконец, Мария Спиридонова, которая убила в Тамбове губернского советника Луженовского, когда он возвращался с казаками с карательной экспедиции по деревням. Она была приговорена к смертной казни, которая была заменена бессрочной каторгой.¹⁵⁸

Пересыльная тюрьма была страшно переполнена. В камерах, которые были выстроены для 25 человек, помещалось по 65 и даже по 100 человек. Каждый день по 200 и 300 политических отсылались в разные части Сибири, но каждый день столько же, если не больше, привозилось в Бутырки новых. Казалось, что вся Россия скоро будет выслана, но несмотря на то, что революция была подавлена, заключенные так глубоко верили в скорое освобождение России, что с легким сердцем шли на каторгу и в ссылку.

— Вы можете смеяться над вашими бессрочными приговорами, — кричали наши товарищи через оконные решетки. — Вам недолго придется оставаться там до того времени, когда *свободный* народ встретит вас в *свободной* России.

В конце июня, вечером, помощник начальника пришел к нам и сообщил, что все шесть каторжанок будут в тот же вечер отправлены, и велел спешно готовиться в путь.

Нас отвезли на вокзал в закрытой карете и посадили в отдельный вагон, прицепленный к скорому поезду, отправлявшемуся в Сибирь.

Когда нас отправляли в Сибирь, революционное движение там еще не было подавлено. Рабочие организации городов, которые мы должны были проезжать, узнавали каким-то образом о нашем проезде и организовывали демонстрации в честь нас. Особенно трогательная демонстрация, насколько мне помнится, была в Омске. Омские рабочие узнали от своих железнодорожных товарищей о дне и часе нашего прибытия и нетерпеливо ожидали нас на станции. Когда об этом стало известно местным властям, они приказали отцепить наш вагон в нескольких верстах от города и поставить на запасный путь, намереваясь, очевидно, привезти нас в Омск ночью или же отправить наш вагон отдельно, не останавливаясь на станции, как они потом стали делать с нами, боясь демонстраций. Но кто-то в поезде выдал замысел властей рабочим, собравшимся на станции, и последние потребовали, чтобы нас доставили в Омск.

Тысячи народа встретили нас на станции криками восторга, все громко требовали нашего появления на площадке вагона. К счастью, начальник нашего конвоя позволил нам выйти и обратиться с речью к толпе. Как только мы появились на площадке, все стихло. Мы просили толпу не пытаться освободить нас, так как не желали быть свидетельницами кровопролития. Мы говорили им, что уверены, что нам недолго придется побыть на каторге. В конце концов они согласились предоставить нам продолжать наш путь.

Долгое время толпа следовала за нашим поездом с красными знаменами, распевая революционные песни. Крестьяне бросали свою работу на полях и бежали смотреть на это необычайное зрелище. Они бросали нам в окна цветы, и скоро вагон был переполнен ими.

Был уже поздний вечер, когда звуки последних приветов замерли вдали. Такие же демонстрации — только в более скромных размерах — происходили и в других местах.

Наконец, мы доехали до Сретенска. Отсюда мы должны были идти этапным порядком. Около 300 верст мы ехали с шиком на тройках. В середине июля 1906 года мы достигли места своего назначения.

¹⁵⁸ См. подробнее о перечисленных терактах и их исполнительницах в Указателе террористических актов, совершенных женщинами — участницами боевых организаций ПСР.

Акатуйская тюрьма находится в маленькой деревушке Акатуй. Она пользуется известностью в истории революционного движения в России. Еще некоторые декабристы были сосланы туда. Туда же ссылались польские повстанцы 1863 года. Одно время тюрьма была необитаема, но в 1889 году она была перестроена, и с тех пор в ней перебивало немало политических заключенных.

Когда нас привезли в Акатуй, режим там не был суров. Волна реакции, которая прокатилась по России вскоре после октябрьского манифеста, еще не докатилась до этого забытого богом места, и местная администрация все еще верила в то, что в русской жизни началась новая политическая эра. С нами обращались очень хорошо. Нам было позволено носить собственную одежду, получать книги и пользоваться другими подобными привилегиями. Выходя на прогулку, мы свободно разговаривали с другими заключенными и говорили о делах далекой России. Но месяц проходил за месяцем, и вести из России стали приходить все реже и реже и эти вести не могли поддержать наших надежд. Страна была подавлена торжествующей реакцией, и цепи самодержавия становились все тяжелее и тяжелее. Режим в тюрьме становился все хуже и хуже, и к концу 1906 года мы уже были лишены всех привилегий.

Мысль о побеге никогда не оставляет заключенного. Мы начали искать возможности бежать. Группа товарищей принялась рыть подкоп. Эта работа продолжалась в течение целого месяца, и подкоп довели уже до наружной стены, когда администрация открыла его. В течение нескольких месяцев несколько раз начинали снова рыть подкоп, и каждый раз администрация открывала его. В конце-концов мы отбросили мысль выйти на свободу таким путем. Видя, что массовый побег невозможен, группа товарищей, во главе которой был Григорий Гершуни,¹⁵⁹ решила искать возможностей бежать поодиночке. Гершуни, самый полезный и способный член нашей группы, был выбран первым для побега.

Из многочисленных планов, обсуждавшихся среди нас, остановились на следующем: Гершуни должен бежать в бочке, в которой ставили капусту на зиму. Погреб, в котором помещалась капуста, находился за воротами тюрьмы. Капусту заготавливали заключенные, после чего бочку вывозили за ворота в погреб. Это счастливое обстоятельство и дало нам возможность удачно провести наш план.

Для того, чтобы Гершуни не задохнулся в бочке, в дне ее просверлили две дырочки, в которые были вставлены резиновые трубки. Трубки эти служили единственным источником воздуха для него. Он уселся в бочке, согнувшись чуть ли не пополам, так как она была слишком мала для такого рослого и плотного мужчины. На голову ему положили таз, чтобы предохранить ее от штыка часового, стоявшего у ворот и протыкавшего им бочку, чтобы убедиться, что из тюрьмы не вывозится никакой контрабанды.

Утром все было готово. Товарищи, которые должны были отвезти бочку в погреб, объявили старшему надзирателю, что капуста готова, и он распорядился, чтобы открыли ворота. Из погреба уже был прорыт ход, ведущий в открытое поле, и лошади уже ждали Гершуни в соседнем лесу. Все приготовления к дальнейшему побегу были сделаны Марией Алексеевной Прокофьевой, невестой Егора Сазонова, специально для этого приезжавшей в Акатуй, с помощью других товарищей на воле.

Чтобы скрыть его отсутствие на два-три дня и дать ему возможность отъехать за это время как можно дальше, мы сделали чучело, одели его в одежду Гершуни и положили на его койку. Когда надзиратели пришли вечером на поверку, товарищи стали разговаривать с чучелом и надзиратели ушли, уверенные в том, что Гершуни на своем месте.

Когда надзиратели пришли в нашу камеру и мы увидели их спокойные лица, мы поняли, что все обошлось благополучно. Наша радость была неопишима. Мы уже

¹⁵⁹ Один из организаторов боевой организации ср. Его обвинили в подготовке покушения на министра внутренних дел Сипягина, губернатора Богдановича в Уфе и в покушении на губернатора Оболенского в Харькове. Он был осужден к смертной казни, которая была заменена вечной каторгой. Он был привезен в Акатуй из Шлиссельбургской крепости в 1906 году.

представляли себе торжество партии и горячо обсуждали вопрос о том, где будет Гершуни к утренней поверке, но не прошло и часу, как мы услышали шум на дворе. Несколько надзирателей в большом волнении вбежали к нам в камеру и стали заглядывать под кровати. Мы поняли, что кто-нибудь донес об отсутствии Гершуни, так как сама администрация могла заметить это только на следующее утро.

В страшном волнении мы ждали, что Гершуни поймают. Но так как дни проходили, не принося ужасной вести, наши страхи улеглись. Мы знали, что, если он не был схвачен в первый день побега, то позднее у администрации было меньше шансов поймать его.

Побег Гершуни послужил поводом для репрессий. Правительство снова почувствовало свою силу над залитой кровью страной, и первые, на ком оно хотело выместить свою злобу, были, конечно, политические заключенные. Многих разослали по другим тюрьмам. 50 человек были переведены в Горный Зерентуй. Чтобы подвергнуть нас всем строгостям каторжного режима, власти решили перевести нас в другую тюрьму.

В феврале 1907 года начальник каторги Метус телеграфировал начальнику Акатуйской тюрьмы Зубковскому, что политические женщины должны быть немедленно переведены в Мальцевскую тюрьму. Мария Спиридонова, которая еще не оправилась от мучений, которым она подверглась при аресте, была нездорова. Я тоже лежала больная, схватив воспаление легких. Путешествие среди зимы через Акатуйские горы могло грозить нам смертью. Этапные пункты, выстроенные много лет тому назад, представляли собой развалины, и провести в них ночь было все равно, что переночевать на улице.

Когда товарищи узнали о намерении администрации перевести нас немедленно, их негодованию не было границ. Они постановили силой сопротивляться отправке Спиридоновой и меня. Даже тюремный начальник и доктор не хотели нас отправлять. Зубковский телеграфировал Метусу, что двое из нас больны и что жизнь наша будет подвергнута опасности, если мы пойдем этапом в такую погоду.

Несколько дней спустя начальник тюрьмы велел четверым из нас — Биценко, Измаилович, Езерской и Фиалке — готовиться в дорогу. С тяжелым сердцем мы попрощались с ними. Это было печальное расставанье, так как мы не знали, когда опять увидимся с ними.

Оставшись одни в нашей опустевшей камере, мы думали и о наших товарищах. Была поздняя ночь, но мы не спали. Спиридонова чувствовала себя очень плохо после волнений этого дня. Она начала метаться и бредить, и я перешла на ее койку. С большим трудом мне удалось разбудить ее.

— Не спи, дорогая, не спи! — просила я ее, боясь, что припадок бреда снова овладеет ею, если она уснет.

Крепко обнявшись и прижавшись друг к другу, мы сидели молча, охваченные чувством крайнего одиночества и незащитности.

— Как долго еще до рассвета! — вздохнула Спиридонова; вдруг она стала прислушиваться.

— Слышишь? — спросила она.

— Нет, я ничего не слышу. Это ветер воет в горах, — попробовала я успокоить ее.

Но скоро снаружи послышались шаги и скрип открываемых дверей.

— Они пришли! — воскликнула я невольно.

Мы слышали, как открылась дверь нашего коридора. Мы завернулись в наши одеяла, обнялись еще крепче и ждали. Тяжелые шаги раздались в коридоре. Они все шли, шли и, казалось, конца им не будет. Несколько человек подошло к нашей двери. Мы затаили дыхание.

Дверь с шумом открылась, и офицер с бумагой в руке стал возле нашей постели:

— Я — начальник Алгачинской тюрьмы Бородулин. Прислан сюда начальником каторги Метусом, чтобы перевести вас немедленно в Мальцевскую тюрьму. Я сделаю это, если бы даже пришлось вас взять голыми и расстрелять всю тюрьму. При первом сопротивлении с вашей стороны я употреблю силу, — и он указал по направлению к

коридору, где стояли солдаты в полной готовности.

Я посмотрела на его свирепое лицо, на его белые перчатки, и трепет пробежал по всему моему телу. Спиридонова закрыла глаза, и я почувствовала, что она снова впадает в бред.

— Хорошо, — сказала я Бородулину. — Оставьте нас, чтобы мы могли одеться.

Он подумал с минуту и затем вышел, закрыв за собою дверь. Мы поспешно оделись и открыли дверь. Бородулин вошел.

— Вы готовы? Я больше не буду ждать.

В этот момент послышался стук в стену. Наши товарищи услышали громкий голос Бородулина и стали беспокоиться. Вся тюрьма проснулась. Стук повторился.

— Подождите, — простучала я им.

— Слушайте, — обратилась Спиридонова к Бородулину, — они не дадут нас увезти. Но если вы позволите нам объяснить им положение, они согласятся ради нас.

— Это против правил, и я не могу этого сделать, — отвечал Бородулин.

— Тогда позовите нашего начальника, — сказала я. Позвали Зубковского, который в это время находился на дворе.

— Что могу сделать для вас? — спросил он. Он знал, что трагедия неизбежно разразится, если мужчины подумают, что нас увозят силой.

— Убедите Бородулина дать нам, свидание с Сазоновым и Карповичем,¹⁶⁰ — сказала Спиридонова. — Они одни могут повлиять на товарищей и уговорить их не устраивать протеста.

Бородулин стоял тут же и спокойно рассматривал свои перчатки.

— Пойдемте, — сказал ему Зубковский, и они вышли. Несколько минут спустя Сазонов и Карпович были введены в нашу камеру. Сазонов был бледен, как привидение, и не мог выговорить ни слова. Он схватил руки Спиридоновой и держал их, глядя все время на солдат. Карпович весь дрожал.

— Вы не уедете, вы не уедете, — повторял он, скрежеща зубами и сжимая свои сильные кулаки. Его глаза были налиты кровью, лицо было багровым. Один момент я подумала, что он кинется на Бородулина, который отступил на несколько шагов, видя его в таком ужасном состоянии. Карпович действительно намеревался тогда убить Бородулина.

— Оставьте их на минуту, — сказал Зубковский Бородулину, и они вышли в коридор.

Когда мы остались одни, Спиридонова начала горячо убеждать их не сопротивляться нашему отъезду. Они молчали. Бородулин и Зубковский вошли, и Бородулин объявил уже гораздо более мягким тоном, что он возьмет с собой фельдшера и что мы не будем останавливаться в этапках. Зубковский смотрел вопросительно на наших товарищей.

— Мы готовы, — сказала Спиридонова.

Сазонов взял Карповича за руку, и они пошли к двери. Прежде, чем выйти, они еще раз обернулись и посмотрели на нас, по-видимому, все еще не решаясь оставить нас в руках Бородулина.

Было около четырех часов ночи, когда мы, поддерживаемые солдатами, вышли на тюремный двор. Мороз был такой сильный, что мы с трудом могли дышать. Сани стояли у ворот, и мы отправились в сопровождении Бородулина, фельдшера и нескольких солдат.

Рано утром мы приехали в Александровскую тюрьму и там нашли наших товарищей-каторжанок. Они были уверены, что мы избежим этого ужасного путешествия. В нескольких словах мы рассказали им о событиях последней ночи и сообщили им, что с нами приехал Бородулин.

Мы провели целый день в этом холодном нетопленном бараке, не видя никого из администрации. Во время вечерней поверки начальник объявил нам, что Бородулин вернулся в Акатуй и отдал ему распоряжение отправить нас рано утром обычным этапом.

¹⁶⁰ Петр Карпович убил министра народного просвещения Боголепова в 1901 году. Он был перевезен в Акатуй из Шлиссельбургской крепости в 1906 году. Окончив срок каторги, он был сослан в Забайкалье и бежал оттуда за границу.

Мы пробыли в дороге несколько дней, останавливаясь на ночь в отвратительных дырах, называемых сибирскими этапами. Наконец мы добрались до Мальцевской тюрьмы.

Старая Мальцевская тюрьма была переполнена уголовными женщинами. Всех шестерых нас поместили в одну камеру. В камере было два окна, из которых мы могли видеть каменную стену.

Холод, сырость нашей камеры и пища, состоявшая из черного хлеба, «баланды» и чая без сахара, еще сильнее расстроили наше здоровье. Лидия Езерская совершенно заболела. При тюрьме не было больницы, и мы уговорили начальника вызвать врача из Горного Зерентуя. Доктор приехал.

— Что я могу сделать? — сказал он. — Все зависит от начальника каторги Метуса. Вызовите его и просите перевести больных в одиночные камеры. Они теплее и суше.

Мы немедленно послали заявление Метусу, который жил в Горном Зерентуе. Недели через две он приехал. Войдя к нам в камеру, он не поздоровался и стоял не глядя на нас. В ответ на нашу просьбу перевести больных в одиночки он грубым тоном буркнул что-то и вышел. После этого мы никогда больше не вызывали его (*Метус был послан в Нерчинскую каторгу со специальным заданием «дисциплинировать» политических каторжан. Режим, который он установил, был невыносим. За малейшую провинность заключенных били, сажали в карцер на целую неделю и заковывали в кандалы. Последние годы политических не подвергали телесным наказаниям, и в этот период он первый стал применять к нам розги. Позднее он и Бородулин были убиты по приговору партии с. р. Метус был убит в Чите, и толпа укрыла стрелявшую от полиции. Бородулин был убит возле своего дома в Алгачах* 161. *После этого режим на каторге стал много лучше и оставался таким до 1910 г.*).

Время в Мальцевской тюрьме тянулось медленно. Дни, месяцы и годы протекали в тяжелом однообразии. Сначала нас было только шесть политических, но постепенно это число увеличилось вновь прибывавшими с разных концов России, и скоро нас стало много. Прибытие новых каторжанок было единственным событием, нарушавшим монотонность нашей жизни. Но новости, которые они приносили, и их собственное настроение скоро блекли в атмосфере тюрьмы, и они, в свою очередь, начинали ждать прибытия новых, которые могли бы оживить их умирающие надежды.

Те, которые были осуждены на определенный срок, считали дни и месяцы. Они знали, что если только они вынесут эту жизнь, дождутся окончания срока каторги, они увидят луч свободы, — если можно назвать свободой жизнь в отдаленном уголке Сибири.

Вера в скорое освобождение России постепенно уничтожалась тягостными сомнениями, наполнявшими наши души. Бродила ли я бесцельно по нашему тюремному двору на прогулке, или ворочалась долгие ночи без сна на своей жесткой постели, эти мысли мучили меня беспрестанно.

Но каково бы ни было наше положение, положение уголовных каторжанок было еще хуже. Сибирская администрация боялась до некоторой степени делать с политическими то, что она делала с несчастными уголовными женщинами. Напротив тюремной стены стоял барак, где жили уголовные вольно-командки, отбывшие тюремный срок. Одна половина этого барака была занята солдатами, которые, следуя примеру своего начальства, совершали всяческие насилия над беззащитными женщинами. В течение последнего года моего пребывания там две женщины умерли почти одновременно вследствие такого обращения с ними. Бывали случаи, когда женщин убивали, если они сопротивлялись. Одна татарка, имевшая двухлетнего ребенка, была задушена в первую же ночь по ее выходе из тюрьмы.

Я не знаю ни одного случая, когда администрация или солдаты были бы наказаны за эти преступления. Мы доносили о таких случаях губернатору, но он ни разу не назначил

161 Метус был убит 27 мая 1907 г. в Чите неустановленным террористом; первое, неудачное, покушение на Бородулина было совершено 30 мая 1907 г. в Иркутске — начальник каторжной тюрьмы остался невредим, неустановленные террористы скрылись; 28 августа того же года он был застрелен в Пскове членом ВО Петром Ивановым. Террорист был казнен.

следствия, и я уверена, что наши жалобы не шли дальше тюремной канцелярии. Эти ужасы страшно мучили нас, и мы всегда жили под их впечатлением.

Самое тягостное время для нас было, когда высшее начальство приезжало осматривать нашу каторгу. Эти посещения не приносили нам ничего хорошего; чтобы показать, что в тюрьме проводится строгая дисциплина, мы должны были одевать к приезду начальства кандалы, прятать книги и т. д. Единственное преимущество для нас от этих визитов было то, что за несколько дней до их приезда наша пища обычно улучшалась, так как в это время местная администрация боялась присваивать деньги, которые отпускались на содержание тюрьмы. Обкрадывание заключенных в сибирских тюрьмах было традицией и практиковалось в большой мере. Начальник Мальцевской тюрьмы Покровский продавал не только полотно и одежду, предназначавшиеся для заключенных, но даже пищевые продукты и дрова. Для ремонта тюрьмы присылались значительные суммы, но мы продолжали мерзнуть, так как начальство предпочитало прикарманивать эти деньги, вместо того, чтобы производить ремонт.

Было одно только светлое пятно на мрачном фоне нашей безрадостной жизни, это — горячее дружеское чувство, которое мы питали друг к другу. Это чувство поддерживало нас в часы горьких испытаний.

Глава VII

Летом 1910 года я заболела. Из Горного Зерентуя был вызван доктор, который нашел у меня аппендицит. Товарищи стали посылать заявление за заявлением начальнику каторги, прося его перевести меня в Зерентуйскую больницу, но ответа не получали. Мое положение казалось безнадежным. Я не могла есть тюремную пищу, и мне грозила медленная смерть от истощения. Как раз в это время приехал из Петербурга тюремный инспектор Сементковский для ревизии нашей тюрьмы. Когда он спросил у товарищей, не имеют ли они каких-нибудь заявлений, все они ответили, что единственная вещь, о которой они просят его, это — отправить меня в больницу. Несколько дней спустя начальник объявил нам, что Сементковский распорядился о переводе меня в Горный Зерентуй. По нашей просьбе начальник Мальцевской тюрьмы разрешил одной из наших каторжанок, Паулине Метер,¹⁶² сопровождать меня.

Два солдата вынесли меня и положили на носилки. Товарищи стояли около меня, и каждая из них старалась сказать мне несколько ободряющих слов. Но их глаза и лица были печальны и говорили мне о другом.

Долго еще я могла видеть группу товарищей, которые стояли на тюремном дворе и махали мне платками.

Солдаты шли быстро, и скоро мы пришли в Горный Зерентуй. Я и товарищ Метер были помещены в одну из больничных камер. Я пролежала там несколько недель. Тюремный доктор один не мог совершить операцию. Я попросила начальника тюрьмы Чемоданова пригласить еще других врачей, и он с готовностью согласился и взялся устроить это. Два дня чистили какую-то камеру, которая должна была служить операционной, но когда все было готово, вплоть до кипячения инструментов в самоваре, один из приехавших на консилиум врачей, молодой казачий доктор, высказался против операции в обстановке нашей тюремной больницы, чем сильно напугал нашего тюремного врача, и операция не состоялась.

Видя свое безвыходное положение, я решила просить Чемоданова хлопотать о моем переводе в Иркутск. О Чемоданове у меня были определенные сведения от Егора Созонова, и я знала, что ему можно вполне довериться.

Когда я изложила ему свою просьбу, Чемоданов возразил, что послать меня обыкновенным этапом немислимо в моем состоянии, а послать специально он может только

¹⁶² Очевидно, речь идет о Меттер-Вяткиной Павле Францевне (р. 1883) — работнице, политкаторжанке.

одну тройку, которой недостаточно для моего эскорта. Я заявила ему, что у меня имеются деньги для того, чтобы нанять другую тройку. Деньги у меня действительно уже были на руках. Они были переданы мне Егором, который, предвидя возможные осложнения, заранее достал у своих родных.

Через несколько дней Чемоданов получил от начальника каторги разрешение отправить меня в Иркутск, и мы выехали.

Было начало октября, и начинались уже холода. Я была истощена постоянной лихорадкой и голоданием. Отправиться в Иркутск в таком состоянии казалось совершенно невозможным. Но я была рада этому, видя в этом лучший исход.

Три конвойных, надзирательница и фельдшер сопровождали меня. Чем дальше удалялась я от тюрьмы, тем все больше выросло во мне желание жить. Я вдыхала чистый горный воздух, любовалась природой, и силы постепенно возвращались ко мне. С каждым днем мне становилось лучше.

Наконец, я прибыла в Иркутск. За стенами этой тюрьмы не было ни темных лесов Акатуя, ни голых Мальцевских гор. Я слышала за ними суету городской жизни, и возможность побега отсюда дала мне новые надежды.

Когда товарищи узнали о моем приезде, они стали строить всевозможные планы для побега. Особенно активными в этом отношении были товарищи Исакович (Крамаров)¹⁶³ и Нахманберг. Они подкупили тюремного фельдшера, который передавал мне записки от них и мои ответы им. Кроме того, они передавали мне вещи и адреса через нашу тюремную фельдшерицу, которая сама предложила содействовать моему побегу. Она это делала совершенно бескорыстно. К сожалению, фамилию ее я забыла.

Сначала товарищи предполагали освободить меня посредством подкопа, который должен был быть проведен с воли. Затем они намеревались отбить меня от конвойных, которые повезут меня обратно. Планы эти стали известны охранке, за тов. Исаковичем была установлена слежка, и в конце концов он был арестован. Деньги, найденные у него и предназначавшиеся для устройства моего побега, были конфискованы.

Иркутская тюремная больница также оказалась непригодной для операции. Я пролежала там 8 месяцев. Товарищи хлопотали о разрешении сделать операцию в одной из городских больниц. Обращались даже в Петербург в главное тюремное управление, но все хлопоты были безуспешны. Разрешения не дали. Тогда товарищи сговорились с частными врачами, которые выхлопотали разрешение видеть меня, но, осмотрев нашу тюремную больницу, они отказались сделать операцию в этих условиях. Администрация уже подумывала, было, отправить меня обратно. Тогда я написала иркутскому доктору Михайловскому, прося его сделать операцию. Я писала ему, что мне легче будет умереть сразу, чем умирать медленной, мучительной смертью от истощения. Доктор Михайловский понял мое положение. Он пришел с двумя коллегами, принес с собой инструменты и все необходимое. Я пошла на операцию с твердой уверенностью, что выздоровлю и убегу.

9 дней спустя после операции я узнала от тюремного фельдшера, что через четыре дня я буду выслана назад в Мальцевскую тюрьму. Ехать обратно туда было выше моих сил. Я не могла уйти от живых звуков города. И я решила бежать во что бы то ни стало. Я с особым вниманием начала осматривать двор и тюремные стены, окружавшие его. Я заметила, что ворота имели подворотню, и несмотря на то, что ворота охранялись часовым, я решила бежать через подворотню. Выполнить этот план помогла мне одна уголовная по имени Маша. Она служила уборщицей во дворе, так как ее срок заключения уже подходил к концу. Я посвятила ее в свою тайну, и она обещалась подкопать доску под воротами, чтобы ее легко можно было удалить. Она это сделала, пока другие уголовные женщины разговорами отвлекли внимание часового. Мне до сих пор неизвестно, знали ли они о нашем плане. Через

¹⁶³ Крамаров (Исакович) Григорий Моисеевич (р. 1887)— член РСДРП, деятель молодежных революционных организаций на Дону, Северном Кавказе и в Петербурге.

два Дня Маша сообщила мне, что доска подкопана, и только слегка засыпана землей.

В подушке у меня была спрятана мужская одежда и парик, присланные мне тов. Крамаровым. Не хватало только башмаков. Я решила одеть свои собственные.

Я послала записку товарищам в город, прося их о том, чтобы в субботу от 9 до 10 часов (время моей прогулки на тюремном дворе) меня ждал извозчик. Но будет ли он меня ждать? Получили ли товарищи мою записку, которая была отдана в не вполне надежные руки? Эти вопросы я беспрестанно задавала себе. Но я должна была бежать. Я твердо решила на это. Я знала, что успех много зависит от моего самообладания. Задача была очень простая, но малейшая ошибка могла быть роковой. Необходимо было действовать с математической точностью. Я должна была бесшумно отодвинуть доску и пролезть под воротами, не производя ни малейшего шороха. Я должна была сделать все это раньше, чем часовой успеет повернуться лицом ко мне; затем пройти некоторое расстояние прямо и повернуть направо; идти медленно. Но глубоко в душе я чувствовала смутную, едва уловимую мысль: сделаю ли я это? Хватит ли у меня мужества всунуть голову прямо под ноги часовому? И тогда мне казалось, будто кто-то душит меня...

Переходя таким образом от надежды к отчаянию и от отчаяния к надежде, я провела четверг и пятницу. Вечером прошла проверка, и меня заперли на ночь. Только ночью я была одна, днем же надзирательница всегда находилась возле меня.

Была полночь. Всюду царили сон и тишина, можно было слышать только мерные шаги часового под моим окном. Этого часового поставили после ареста тов. Исаковича. Тихо, не поднимаясь с постели, я распоролла свою подушку и вынула мужское платье. Я одела на голову платок и поверх мужской одежды натянула тюремный халат; одетая таким образом, я улеглась. Я не могла и не хотела спать. Я думала, что мне осталось жить всего несколько часов, но я предпочитала умереть от пули солдата, чем вернуться назад в тюрьму.

В шесть часов утра я встала. Солнце светило в окно ясное и улыбающееся, но в моей душе были мрак и неуверенность. Проходили минуты, часы. Мое сердце застыло и временами почти совершенно переставало биться.

Когда я вышла на двор на последнюю свою прогулку, мерный стук топора достиг до моего слуха. Сквозь щель в стене я увидела двух арестантов за работой. Они строили лестницу к вышке часового. За ними наблюдал надзиратель. При виде этого я потеряла всякую надежду.

Я стояла возле стены, у которой раздавался стук. Вдруг в моем мозгу зародилась мысль. Я попросила надзирательницу, которая была со мной, сходить за книгой ко мне в камеру, и она отправилась исполнять мое поручение. Я постучала в забор. Стук прекратился.

— Братец, послушайте, братец!

— Что вам надо? — спросил грубый голос.

— Где надзиратель, который стережет вас?

— Он ушел на минутку. Он не боится за нас, мы не убежим. У нас осталось всего три дня срока.

— Братцы, — сказала я, — с вами говорит вечница. Сейчас я убегу. Не выдавайте меня. Не кричите, когда увидите меня на улице.

— Беги, беги, — недоверчиво ответили они.

Одним прыжком я очутилась возле ворот. Я сбросила арестантский халат, вытащила доску из-под ворот, не производя ни малейшего шума, и пролезла под воротами. Я поднялась с земли как раз в тот момент, когда часовой, пройдя до конца своего поста повернулся ко мне лицом. Я увидела пролетку, стоявшую на углу. Я знала, что мне нужно идти медленно. Но секунды казались мне вечностью, и короткое расстояние между мной и пролеткой превратилось в бесконечное пространство. Мне казалось, что я совсем не двигаюсь, а стою, как будто прикованная к месту. Скоро я была уже в пролетке, и мы скрылись из виду, завернув в один из переулков. Чувство величайшего счастья, счастья свободы наполнило все мое существо. У меня кружилась голова. Моя пролетка мчалась с ужасной быстротой и уносила меня все дальше и дальше от тюрьмы. Я, как будто сквозь туман, видела лица

прохожих, и мне казалось, что они мне улыбаются и вместе со мной торжествуют мою великую победу.¹⁶⁴

Наша пролетка остановилась перед великолепным домом, в котором жил присяжный поверенный А. И. Туманов. Я спрыгнула и позвонила. Старый лакей отпер дверь. На мой вопрос, дома ли Тумановы, он отвечал, что все уехали и не вернуться раньше вечера. Моя пролетка уехала, а я знала, что не должна терять ни минуты времени, так как меня могли найти здесь. Я не знала города и, кроме того, не могла показаться в моем наряде на улице, не возбуждив подозрения. Я должна войти в этот дом, подумала я, иначе я погибла. Я взглянула на безжизненное лицо старика-лакея, который стоял передо мной и держался за дверь, повторяя, что никого нет дома.

— Слушайте, — начала я женским голосом, — я должна войти сюда, я не могу уйти отсюда в таком костюме. И вы должны помочь мне.

Я вошла в переднюю, закрыла дверь и взяла его за руки.

— Нам нужно торопиться, так как полиция и жандармы могут прийти сюда каждую минуту.

Старик-лакей смотрел на меня в крайнем недоумении и не мог произнести ни слова. Я думала, что он лишился речи от испуга. К счастью, на квартире у Тумановых в то время жила Е. К. Николаева, жена каторжанина. Она помогла мне переодеться. Мое мужское платье было там же сожжено.

Переодевшись, я решила сейчас же уйти на другую квартиру, к тов. А. А. Тюшевскому.

Было 12 часов. Прошло только два часа с момента моего побега. Тюшевский запер меня в своем кабинете и пошел посмотреть, что делается на улице. Только тогда я поняла, какая трудная задача предстояла мне. Когда я была в тюрьме, меня занимала одна только мысль: как уйти из нее? Я не могла заставить себя думать о тех затруднениях, которые должны явиться передо мной, когда я выйду из нее и буду на свободе. Куда мне спрятаться, куда идти — вот вопросы, требовавшие немедленного ответа. Тюшевский вернулся и принес мне новое платье.

— Я думаю, — сказал он, — что для вас лучше было бы оставить этот дом. У меня есть очень хороший план, но дорога, по которой мы должны проехать, идет мимо тюрьмы. Можете вы заставить себя проехать мимо нее?

— Хорошо. Едемте.

Я оделась во все белое и надела белокурый парик. День был прекрасен, и солнце снова улыбалось мне. Мы приблизились к тюрьме, и в моем воображении ясно встала картина всего пережитого мною в ней. Вот тюремная больница — камера, в которой я пролежала целых восемь месяцев. Там стоит операционный стол. Я вспомнила лица докторов, которые были единственными милыми мне людьми, милыми, потому что они были из потустороннего мира, свободные люди. Даже тюремные надзиратели смотрели на меня тогда с сочувствием: они были уверены, что я не переживу операции. Я вспомнила каторгу, где я провела шесть лет, моих товарищей, которые оставались еще там...

Коляска проехала мимо тюрьмы и через минуту оставила ее далеко позади. Но я не могла отогнать мысли о тюрьме. Я чувствовала, что все, что я пережила в эти шесть лет, привязало меня к этим местам, где жили скованными тысячи людей. Я была свободна, но только внешне свободна, так как я знала, что никогда не смогу освободиться от мыслей о моих товарищах, которые оставались в тех мрачных стенах.

Мы подъехали к даче Тумановых, которая находилась далеко за городом, по ту сторону реки Ушаковки. Туманова не знала, кто я, так как не имела никакого отношения к революции. Ей сказали, что я ссыльная, и она охотно согласилась принять меня, так как была очень либерального образа мыслей.

¹⁶⁴ Администрация никогда не узнала, каким образом я бежала, так как Маша, находившаяся во дворе во время моего побега, поставила доску на свое место и сожгла мой халат. Это было заранее условлено между нами.

Было 11 часов вечера. Гости разошлись. Я сидела с хозяйкой в моей комнате, когда кто-то вызвал ее и сообщил ей ужасную для меня новость: соседний дом был окружен полицией. Нужно было действовать быстро. Я открыла Тумановой свое настоящее имя, и она решила отправить меня на другую квартиру. Сын ее пошел со мной. Мы долго шли по полям и вошли в город с противоположной стороны.

На моей новой квартире обо мне ничего не знали. Я поселилась там, как обыкновенная квартирантка. Хозяева мои были настоящие обыватели.

Прошло три дня, и мои хозяева по-прежнему ничего не знали обо мне. Я начинала надеяться, что все кончится благополучно. Но в полдень пришла навестить меня Туманова. Она была очень взволнована. Она рассказала мне, что город положительно терроризован, что полиция делает повальные обыски и арестовала массу совершенно невинных людей. Тюремные надзиратели, знавшие меня в лицо, посланы были в город искать меня. Туманова не была уверена, что за ней не следили, и думала, что самое лучшее для нее было бы уехать из города на некоторое время; она дала мне денег и распрощалась со мной.

На четвертый день моего пребывания на этой квартире я заметила, что хозяева начали поглядывать на меня тревожно. Они начали подозревать, что я та самая женщина, о которой газеты печатали всякого рода истории, и испугались. Не говоря мне ничего, мой хозяин придумал какую-то фамилию и, занеся ее в домовую книгу, как фамилию своей жилички, понес для прописки в полицию. Таким путем он надеялся отвлечь подозрения от себя. Я сидела в своей комнате и ничего не подозревала. Вдруг моя хозяйка вбежала в комнату и очень взволнованно стала рассказывать о том, что сделал ее муж. Моим первым движением было — бежать. Но пока я ломала свою голову над вопросом, куда мне идти, хозяин вернулся и сообщил, что не прописал меня, так как в участке по случаю праздника никого не было.

Это было большое счастье. Но едва прошло полчаса, как раздался звонок, и моя хозяйка, бледная, как смерть, вбежала ко мне, шепча: «Полиция, полиция, бегите!».

Я выбежала на кухню, оттуда на двор и спряталась в сарае, в котором хранились дрова. Я забилась в угол, держа в руке заряженный револьвер. Через несколько минут дверь сарая открылась и вошла старуха, мать моей хозяйки.

— Городовой ушел, слава богу. Он приходил спрашивать, зачем сын был в полиции, и мы ничего не сказали ему про вас.

Для меня было ясно, что оставаться с этими людьми мне нельзя. Они могли выдать мое присутствие у них в доме просто из страха. Но куда мне идти?

В этой же квартире, в другой комнате, хозяин и его приятель играли в карты. Мой хозяин, взволнованный посещением городского, сказал ему, что, по его мнению, женщина, бежавшая из тюрьмы, находится у него в доме. Это заявление возбудило любопытство приятеля, он пришел посмотреть на меня и тут же выразил готовность помочь мне.

— Не тревожьтесь, — сказал он мне, — я честный человек, хотя и веду непорядочную жизнь. Никто никогда не заподозрит, что вы скрываетесь у меня в доме. Я живу с мальчиком и часто привожу женщин в дом.

Я откровенно сказала этому человеку, что его ожидает, если меня арестуют в его доме. Но он продолжал настаивать на том, что в его доме не может быть никакой опасности. Когда стемнело, я пошла с этим совершенно неизвестным мне человеком.

Нам открыл мальчик лет пятнадцати с очень милым лицом.

— Будьте как дома, — сказал мой хозяин. — Вы видите, комнату не чистили здесь целых 4 месяца. Здесь была женщина на прошлой неделе, но она еще больше ее загрязнила.

Он лег спать в одной комнате с мальчиком, уступив мне свою спальню, все убранство которой заключалось в поломанной кровати. На следующее утро он сказал мне, чтобы я двигалась тише, так как мои шаги могут быть слышны в нижнем этаже. Я могла оставаться здесь три или четыре дня, и никто не будет подозревать, что в доме находится женщина. Он ушел, заперев мою дверь с внешней стороны, и я осталась одна. Вечером он вернулся домой пьяный, но говорил толково и не забывал своей роли. Он стал рассказывать мне о себе.

— Я инженер и хороший механик, и у меня золотые руки. Но некоторые умеют склонять голову и слушаться начальства, а я не умею этого. Уже почти год, как я без работы. Я продал все, что было дома. За квартиру не уплачено, мой мальчик в лохмотьях и не может ходить в школу. У меня есть еще двое детей в деревне; старуха, у которой они живут, грозит прислать их назад, так как я давно уже не платил ей.

Рассказывая мне свою историю, он продолжал пить то пиво, то водку из большого стакана, и к 12 часам он совершенно опьянел и начал придирается к сыну. Он приказывал мальчику говорить бессмысленные слова и, когда тот колебался, он нещадно бил его. Я мучилась ужасно и старалась защитить несчастного ребенка. Вдруг мысли пьяницы обратились ко мне:

— Ты видишь, — кричал он мальчику, — эта женщина святая, она не похожа на тех, которых ты видел здесь раньше. Если тебе придет в голову выдать ее, то ты ответишь мне своей головой. И он заставил мальчика поклясться не выдавать меня.

В два часа ночи мне удалось уложить его. Я не спала всю ночь. На следующее утро хозяин просил у меня прощения, а вечером повторилось то же самое. Я знала, что мне нужно уйти из этого дома, что я не могу оставаться в таких условиях; но я не знала ни одного места, куда бы я могла пойти.

На третий день мой хозяин ушел, заперев меня, как обычно. В 12 часов я встала, намереваясь приготовить чай. На полу возле окна стояла спиртовка и бутылка со спиртом. Зажигая фитиль, я локтем опрокинула бутылку и спирт моментально вспыхнул; я едва успела отскочить.

Пламя охватило занавеску, и огонь мог быть виден с улицы. Комната наполнилась дымом, а дверь моей комнаты была заперта. Один момент мне казалось, что настал конец. Но, опомнившись, я стала кидать на пламя все, что могла найти в своей комнате, и с большим усилием мне удалось погасить огонь. Я боялась, что внизу могли услышать шум моей борьбы с огнем, и сидела в страшной тревоге. Наконец, пришел мальчик, и я решила послать его к товарищам. Мысль об этом уж давно занимала меня, но было очень рискованно вверить свою жизнь в руки ребенка. Кроме того, мне нужно было уйти из дома так, чтобы его отец не мог знать ничего о моей дальнейшей судьбе: я чувствовала, что не могу больше полагаться на пьяницу. Но раньше, чем я успела отправить мальчика, явился его отец. Он был так пьян, что едва мог держаться на ногах. Он даже не заметил следов пожара. Он подошел к окну, открыл его и начал кричать прохожим, сопровождая свои слова страшными ругательствами:

— Знаю я вас! Шпионы, шпионы вы все!

Я оттащила его от окна. Тогда он уселся возле меня; я чувствовала его горячее дыхание на моей щеке. Его глаза были налиты кровью. Я видела, что этот человек совсем потерял рассудок. Я встала. Он схватил мои руки и начал целовать их. Я старалась освободиться и началась борьба. Мальчик услышал шум в комнате и вбежал к нам. Его внезапное появление остановило пьяницу, который выпустил меня и принялся колотить мальчика. Это было ужасное зрелище; все мои усилия вырвать мальчика из рук отца были напрасны. Наконец, пьяница упал на пол и скоро, к великому нашему облегчению, заснул. На рассвете я разбудила мальчика и попросила его. отнести записку к тов. Тюшевскому. Мальчик понимал серьезность миссии, которую он принимал на себя. Прежде, чем идти с моим поручением, он взглянул на своего спящего отца и спросил меня:

— Вы не боитесь оставаться с ним?

После нескольких часов тревожного ожидания я получила ответ: за мной явится офицер. Вскоре он пришел. Это был И. Е. Колосов, брат Евгения Колосова,¹⁶⁵ известного

¹⁶⁵ Колосов (Дм. Кузьмин, Марк Горбунов) Евгений Евгеньевич (1879–1937) — член ПСР, публицист и историк. Избирался в ЦК ПСР. В 1905 г. организовал убийство начальника Нижегородского охранного отделения. Резко критиковал литературные произведения и мемуары Б. В. Савинкова. Расстрелян по приговору «тройки» НКВД.

с.-р. Сначала я подумала, что это один из товарищей, переодетый офицером, но оказалось, что это настоящий офицер местного гарнизона.

— Вы знаете, — сказал он, — полиция очень энергично ищет вас. Они даже выписали знаменитую ищейку «Рекс» из Киева. Вообще в городе о вас ходят самые разнообразные и интересные слухи. Говорят, что в день побега вы скрывались в доме генерал-губернатора.

Он повез меня на квартиру своего товарища офицера, А. М. Рыбакова, которая находилась недалеко от тюремной больницы. Не могу не отметить здесь геройского поступка этих двух офицеров, которые вполне понимали, что им грозит в случае моего ареста. По их настояниям, я часто ходила по вечерам гулять с ними.

Раз Рыбаков приходит домой и говорит мне:

— Вы слышали? Говорят, что вы уже уехали в Швейцарию.

Он рассказал мне, что под каким-то предлогом пошел к жандармскому полковнику и завел с ним разговор обо мне.

— Как объясняете вы тот факт, — спросил он жандармского полковника, — что Школьник еще не арестована?

— Очень просто, — отвечал тот. — Она давно уже в Швейцарии, и мы ждем известия о ней от наших заграничных агентов.

Я провела около 10 дней в обществе этих офицеров. Было небезопасно дольше оставаться у Рыбакова из-за денщика. Несмотря на строгое приказание не говорить никому о «даме — из Вены», которая остановилась в их доме; несмотря на всегда готовый ответ: «так точно, ваше благородие», ему нельзя было доверять: искушение поделиться интересной новостью с товарищами солдатами было слишком велико. Поэтому меня перевели на другую квартиру по указанию Ф. Н. Мерхалева, служившей фельдшерницей на переселенческом пункте. С ее помощью товарищи Тюшевский и Нахманберг составили план отправить меня в качестве сестры милосердия в переселенческом поезде, шедшем на Дальний Восток, и Мерхалева взялась выполнить его. Деньги для моей поездки за границу достала А. Е. Тюшевская.

Поезд на восток уходил в 8 часов вечера. Я пришла на станцию за несколько минут до отхода (поезда) и прошла прямо в вагон. Эти несколько минут показались мне вечностью. Наконец, был дан последний звонок, и поезд тронулся.

В Манчжурии я встретила с тов. Нахманбергом, который должен был помочь мне перейти границу. Мы поехали в Харбин, где тов. Нахманберг достал настоящий паспорт фельдшерницы санитарного отряда. Несмотря на все наши предосторожности, на станции Куанченцзы за нами увязался шпион, но мой белокурый парик и деланный вид легкомысленной особы вывезли меня и на этот раз, и мы благополучно перешли границу.

Мы отправились в Дайрен. У меня не было достаточно денег, чтобы отправиться в Европу, и мы оставались 3 недели в Дайрене, пока не получили денег из России.

За эти 3 недели мое здоровье значительно поправилось. В эти чудесные дни, когда солнце востока согревало меня своими ласковыми лучами, я думала, что не было счастья счастливее меня... Я была свободна, свободна от цепей. Только тяжелым камнем давило душу воспоминание не о лично пережитом, даже не о наших общих неудачах на революционном фронте, а о том, что позади меня там, в страдающей от деспотизма России, юсталась большая часть моего сердца, моей жизни — мои товарищи, с которыми я проходила наш общий путь самоотверженной борьбы и скорбный путь невыносимых страданий. Они оставались еще в каторжных тюрьмах, в лапах царских палачей Метусов и Бородулиных.

Как хотелось скорее вырвать их из этих ненавистных лап!

И я поехала в Европу с твердым решением отдать все свои силы на их освобождение.

В этих новых переживаниях, в охватившей меня новой радости и жажде жить и бороться, я черпала новые силы и бодро пошла вперед, навстречу желанным дням борьбы.

Я. Измайлович Из прошлого

Когда я оглядываюсь на то время, я поражаюсь тому, как различно мерялось время тогда и теперь: за иную неделю тогда, а то и день, больше думалось, чувствовалось и переживалось, чем теперь за целый ряд месяцев. Выпукло и ярко запечатлелись те дни в душе. Так же выпукло и ярко живут они и сейчас перед глазами, так ярко, что иной раз действительность кажется перед ними сном, только в противоположность настоящим снам, — более будничным, серым. Тянет руку к бумаге, так сильно хочется пережить, перечувствовать те дни еще раз...

Жестоким кошмаром прошли первые два дня и ночь после нашего неудачного покушения на минского губернатора Курлова¹⁶⁶ и полицмейстера Норова,¹⁶⁷ в темной камерке участка, освещенной только крохотным оконцем в двери. Побои, раздевание до рубашки десятком городских, жестоких и наглых, их издевательства, плевки в лицо под одобрительные замечания приставов и околоточных... Когда я уже была заперта в темной камерке и забралась в самый дальний угол ее, они и тут нашли себе потеху: подходили к дверному оконцу, — плевали в него со вкусом и изощряли свое остроумие, пересыпая его отборными, виртуозными ругательствами. В конце концов, они прозвали меня «нечистой силой» и с этой кличкой обращались ко мне все два дня.

Гремел замок моей двери. Я настораживалась и ждала гостей. Это приводили ко мне или для опознания или престо для интересного представления. Помню одного робкого человечка. Городовой чиркнул спичку и грубо подставил ее вплотную к моему лицу. Тот испуганно залепетал: «Нет, ей-бог не знаю... Никогда не видал... Вот крест не знаю...»

Пришел раз какой-то офицер, когда уже установили мою личность. Осветили меня спичкой. Должно быть мое опухшее лицо с затекшим глазом, с запекшейся местами кровью, доставило ему самое живейшее наслаждение. Галантно поклонившись, приложив руку к козырьку, он провозгласил с неподражаемым юмором:

— Как изволите поживать, ваше превосходительство.

Приходили и просто так, для того только, чтобы плюнуть в упор в лицо, так как через дверное оконце редко мргли попасть в цель.

Запомнилось мне лицо одного городского с длинной черной бородой. Он всё время с самого моего прихода и до конца уговаривал остальных не бить меня: «Не надо, оставьте, судить все равно будут, не трогай». Когда отпирали мою дверь и приводили любопытных, он неизменно ворчал: «Зачем отпираешь. Не надо...» Но он был один, их же было 10–15, а может быть и 20.

Вася¹⁶⁸ сидел в смежной с моею камерой, такой же темной. Я вспомнила свои скудные познания по тюремной азбуке (я никогда не сидела в тюрьме) и начала перестукиваться с ним, медленно, неуверенно, он отвечал. Кругом галдели, хохотали или ругались, хлопали дверьми, было трудно слышать ответный стук, и мы замолкли. Наступила временная тишина, и мы опять стучали. Я узнала, что он был избит еще больше моего — он совершенно не мог лежать, так болела спина и болели бока. Он постучал мне, как около его

¹⁶⁶ Курлов Павел Григорьевич (1860–1923) — жандармский генерал, минский губернатор (1905–1906), товарищ министра внутренних дел и командир отдельного Корпуса жандармов (1909–1911).

¹⁶⁷ Норов Д. Д. -минский полицмейстер. Измайлович прострелила воротник его мундира, другая пуля пробила воротник пальто находившегося поблизости чиновника особых поручений. Другого ущерба ее выстрелы не нанесли.

¹⁶⁸ Вася — партийная кличка И. П. Пулихова, бросившего бомбу в Курлова. Бомба попала губернатору в голову, но не взорвалась, так как была обезврежена в московской охране, куда ее, прежде чем передать по назначению, принесла агент охраны З. Ф. Жученко

двери городские рассказывали, как его бомбу положили среди сквера на Соборной площади, где было покушение, обложили соломой, оцепили всю площадь и подожгли солому; бомба взорвалась с большой силой. О том, что тяжело угнетало нас обоих, о нашей неудаче, мы не говорили — было это без слов понятно, и было слишком еще больно касаться этого.

На второй день утром (15 января) нас вывели для опознания дворниками во двор участка, сначала Васю, потом меня.

Особенно живо помню я эту сцену. Меня поставили на дворе перед длинной шеренгой дворников. Должно быть я своим видом произвела на них отвратительное впечатление. Нижняя юбка в лохмотьях (верхнюю порвали на мелкие клочки при раздевании и побоях), растрепанные волосы, все лицо избитое, опухшее, один глаз сплошной синяк. Жадно глядели на меня десятки глаз. Кроме острого любопытства и даже злобы, я ничего не могла тогда прочесть в них. Одной рукой я поддерживала лохмотья юбки, другой закрывала глаз. Но какой-то бдительный городской, боясь очевидно, что так меня не узнают, отдернул мою руку:

— Стой, как следует, нечистая сила.

Сначала стояли молчаливой стеной, угрюмой и враждебной. Потом стена местами стала изрыгать ругань и издевательства.

Меня узнал дворник дома, где жили мои родные. Вася был узнан каким-то полицейским из части, куда он был препровожден из смоленской тюрьмы после манифеста 17 октября.

Вечером на второй день мы были допрошены следователем по особо важным делам и отправлены в тюрьму. Был уже темный вечер, шел мокрый снег. Нас вели посередине улицы под большим конвоем городских и солдат под командой офицера. Шествие наше освещалось факелами. Мне вспомнилось, как два года тому назад, поздним вечером я с Катей¹⁶⁹ и еще с другими товарищами — беспечно веселой компанией — встретили по Захарьевской улице такое же молчаливое, торжественное шествие с факелами и кучкой арестантов. Тогда это шествие произвело на меня какое-то зловещее впечатление — ночь, факелы и люди, куда-то ведомые другими людьми, вооруженными. Помню, потом вся наша компания очутилась в светлой, шумной комнате, но и там, среди смеха и шуток, меня преследовало это ночное шествие. Теперь так же вели меня. Но не было во мне уже этого впечатления чего-то зловещего. Напротив, мягкий воздух оттепели так приятно ласкал после спертой камеры участка. Не было больше опротивевшего хлопанья дверьми, шарканья ног и тяжелой, давящей темноты. Над головой серело небо, освещенные факелами мелькали снежинки и так мягко и славно падали на горячее лицо.

Мы шли рядом с Васей. Факелы не освещали как следует убожество наряда и безобразие наших лиц. Видно было только, что на голове у Васи вместо его шапки был белый шарф — шапка сгинула куда-то вместе с моими часами, сорванными с меня. Мы шли и мирно беседовали о нашем суде, о том, кого мы увидим в тюрьме.

Я показала Васе одного городского, особенно измывавшегося надо мною (у меня и сейчас стоит его лицо перед глазами). Тот услышал, что говорю о нем, и стал ругаться.

— Мало еще собака получила? Еще могу прибавить.

— Не разговаривать, — скомандовал офицер городскому, и тот должен был ограничиться всю дорогу зловещим шипеньем себе под нос по нашему адресу.

Вошли в ворота-арку тюрьмы. Вася вдруг пошатнулся и чуть не упал лицом вниз — это мой городской поддал ему от всего своего сердца прикладом на прощанье.

Конвой был оставлен в воротах после окрика офицера на неудержавшегося городского. Мы очутились в ярко освещенной конторе только с тюремной администрацией и одним из допрашивавших нас в участке судебским.

— Вы, говорят, два дня ничего не ели, — обратился к нам высокий полный тюремщик,

¹⁶⁹ Екатерина Адольфоана Измаилович покушавшаяся на адмирала Чухнина.

как потом мы узнали — начальник тюрьмы, — вам сейчас подадут чаю.

Мы с Васей удивленно переглянулись. От чаю не отказались. Нас усадили за один из столов конторы и поставили перед нами два стакана чаю, сахар и мешок с булками. Ужасно приятны были первые глотки горячей жидкости для наших, давно уже пустых желудков. Мы, не спеша, прихлебывали чай, рассматривали друг друга, улыбаясь нашей «красоте», осматривались по сторонам и тихо говорили о том, что теперь уже долго, до самого суда, мы, вероятно, не увидимся.

Каким-то необыкновенным уютом и тихим покоем веяло от всей окружающей обстановки. Мерно тикали часы, ярко горела лампа под абажуром на другом большом столе, за которым тихо переговаривались начальник тюрьмы и судейский; молча, с сонными лицами, стояли надзиратели, облокотившись на барьер, отгораживавший наш стол от другой половины конторы. Там, далеко, остались ненавистные полицейские, хлопанье дверьми, плевки... Почему-то верилось, что больше этого не будет.

Меня повели, наконец, в самую тюрьму. Горячо простились мы с Васей. Тяжело загроыхала внутренняя железная калитка, и я с двумя провожатыми очутилась на небольшом дворе перед длинным корпусом с башнями по углам. Почти все окна светились. Мы обогнули корпус и пошли параллельно ему. Вся тюрьма жила. Из окон несло сплошное гудение голосов. И такое родное, близкое почудилось мне в этом гудении, такое слово любимое, так бесконечно-бесконечно далекое от тех зверей, что вся моя душа затрепетала и рванулась им навстречу. Сумасшедшая мысль, вбитая мне в голову прикладами, сапогами и плевками тех, что нет родных мне по духу людей, что все товарищи, с которыми я вместе шла одним путем к одной цели — мираж, больная фантазия, что кругом только дикие звери с человеческими лицами, и я всегда-всегда буду с ними, эта безумная мысль была отброшена и сменилась бурной реакцией горячей веры, страстной любви и самой светлой, неудержимой радости. Я никогда не забуду этой минуты. Я ее ставлю наравне с теми днями и часами, когда я ждала казни. Помню, я подняла голову ко всем этим светлым окнам и улыбнулась широкой радостной улыбкой.

Меня ввели в нижний этаж и стали открывать одну из дверей, выходящих в коридор. Из форточки противоположной двери меня позвало несколько женских голосов:

— Саня, Саня, здравствуйте.

Я объяснила им, откуда и по какому делу привели нас с Васей, передала им привет от Кати, бежавшей две недели тому назад из женской тюрьмы, откуда после этого перевели женщин в тюремный замок.

— Она уже находится в безопасном месте, — сказала я.

— Да, в безопасном, — сквозь зубы проворчал провожавший меня надзиратель с суровым лицом, — каждый день денщик в тюрьму обед носит.

Эта фраза старшего надзирателя поразила меня своей дикостью, но проверить у товарищей я не успела, так как дверь из коридора уже захлопнулась за мной. Фонарь, который надзиратель нес в руках, осветил узенький коридорчик, под косым углом идущий от большого коридора. Сыростью и холодом нежилого помещения пахнуло на меня. Открыли еще дверь и вошли в камеру. Зажгли лампу, притащили деревянную кровать и ушли, оставив первую дверь в коридорчик растворенной. Я осмотрелась. Совершенно круглая камера с одним большим окном, с низким широким подоконником, кровать, фонарь с лампой на стене и высокая круглая железная печь направо от двери. Вероятно, давно уже здесь никто не обитал — холодом веяло от железа печки и всех стен. Но на душе было тепло от мысли, что здесь, рядом со мною, столько близких людей.

Я улеглась, не раздеваясь, на мешок с соломой, укутавшись меховой кофтой и казенным одеялом. Трудно было уснуть от холода, и я кое-как дождалась утра.

Утром загремел замок. Пришли помощник начальника, суровый старший и уголовный с охапкой дров. Из коридора послышались непрерывные голоса товарищей:

— Господин помощник, надо дать воды для умыванья... Белье, чай, передайте вот...

Я только тут заметила, как пошаливает у меня одно ухо. Когда открылась дверь и

девицы зашумели сразу, в ухе поднялся такой перезвон и ветер, что трудно было различить голоса и слышать. Заперли и ушли. Ярко пылали дрова в печке! Я с наслаждением умылась, переделалась и стала пить чай на окне. В замочную скважину звала меня «Милектриса Кирбитьевна» (как окрестила ее Катя), с-рка, недавно появившаяся у нас в Минске и арестованная месяц тому назад, чудачка и предмет наших острот.

— Я нарочно вчера говорила, что мы ничего не знаем. Мы в тот же день знали все.

Я спросила ее, что значат слова старшего о Кате. Она меня успокоила:

— Врет он все... Саня! Знайте! — торжественно ходульным тоном начала она. — Когда я выйду на волю, я непременно последую вашему примеру.

Тон ее был так мелодраматичен по обыкновению и так наивен, что я обрадовалась, что нас отделяет непроницаемая дверь.

— Идет, кажется, надзиратель, пока до свиданья. Она отскочила. Через минуту опять загремел замок в моей двери — принесли мне стол и ушли. Я поставила кровать перед печкой, посреди камеры, головой к стене, между печкой и кроватью стол. Быстро нагревшаяся печка распространила приятное тепло по всей камере. Она стала совсем не похожа на вчерашнюю темную, холодную конуру.

Под окном послышались голоса, тихие, неуверенные. Я подошла к окну. Высокая белая стена сажени 4 от окна, часовой вдоль стены и кучка людей под стеной. Снимают шапки, низко, низко кланяются. Узнаю среди них Михаила — с-ра, агитатора.

— А мы вас еще в пятницу ждали, — говорит он. Подходят еще и еще. Среди многочисленных лиц всех возрастов мелькают знакомые лица, особенно милые теперь.

— Господа, разойдитесь, не стойте здесь. Нельзя, из окон конторы увидят, — смиренно просит часовой-надзиратель с умным лицом.

Другие два надзирателя, вставшие теперь под мое окно, присоединяются к нему. Тогда публика начинает прохаживаться по двору. Мне виден только кусочек двора. Когда они проходят в поле моего зрения, мои знакомые по воле бросают мне отдельные фразы. Я отвечаю им.

Вот Степа, один из наших самых сознательных рабочих, молодой, горячий, уже не первый раз сидящий в тюрьме. Он обещает мне устроить доставку газет и книг. Вон остановился у стены красивый брюнет с черными насмешливыми глазами и спрашивает меня, узнала ли я его. Где я его видела? Ах, да помню. Он приходил к нам в самом начале почтово-телеграфной забастовки, как представитель почтово-телеграфного союза и просил нас, с-ров, помочь им деньгами. Он должен был прийти через два дня еще раз, но не пришел — был арестован.

Медленно проходит, заложив руки в карманы шубы, доктор К., сионист, по какому-то недоразумению попавший в тюрьму, как и многие среди этой сотни с лишним людей. Кланяется тоже. А вот милое, детское лицо, круглое и розовое, с лукавыми и задорными карими глазками и беспорядочной растительностью на подбородке. Быстро шагает, размахивая руками, в какой-то страшной кацавейке.

— Хохол, здорово, — улыбаюсь я ему.

— Бывайте здоровеньки.

Этот, никогда ни унывающий и всегда веселый «хохол», месяц тому назад в декабрьскую забастовку поздно ночью пришел к нам впервые еще с несколькими телеграфистами. Они ходили рубить телефонные столбы, рвать и путать проволоку. В первую же ночь хохол обратил свое внимание двух товарищей с-ров, ходивших с ним, своею смелостью и находчивостью. С ним познакомились поближе. Все, что ему поручали, он выполнял умело и толково. Мне с ним часто приходилось встречаться этот месяц. Он вносил во все такую струю молодого, здорового задора, такой неисчерпаемый запас остроумия, что его невольно все полюбили, как младшего братишку. Уморительно рассказывал он, как он «был эсдеком»: его позвали на эсдековскую массовку, дали билет для входа и стали с тех пор считать эсдеком.

— А бис их возьми, с их билетом, — ругался он.

Раз в 12 часов ночи он явился к нам с твердым решением идти сейчас же ночью в квартиру одного злостного черносотенника, чиновника Ш., и убить его.

— Дайте мне бомбу, сейчас пойду.

Печальный простился он с нами, когда мы не дали ему ни бомбы ни револьвера.

Теперь он стоял перед моим окном, такой же румяный, улыбающийся, только в улыбке его была какая-то трогательная печаль.

Проходили незнакомые мне пожилые люди в шубах, вероятно железнодорожники, не из мелкой сошки, и почтительно снимали шапки.

А вон идет вдвоем с одним знакомым инженером-железнодорожником, эсерствующим Г., с.-р. комитетчик Карл. Этот мне ближе всех проходящих. Частенько приходилось мне на воле сражаться с ним из-за его необыкновенно пылкой фантазии и самых несбыточных планов.

Он не останавливается, как Михаил или как хохол, а молча снимает шапку, проходит и не возвращается больше.

Прогулка кончается. Я хожу по камере. Перед глазами все продолжают вереницей проходить знакомые лица. Но что это Карл? Так быстро прошел и даже не спросил о Кате, которую, я знаю, он серьезно любит... — Вероятно, конспирирует: рассчитывает сидеть недолго и не хочет пачкать себя знакомством со мной и с Катей.

Не успела кончиться прогулка, как в потолок моей камеры стали стучать. Я вооружилась лучинкой и спросила «Кто стучит?»

— Я, Степа. Курлов, говорят, заболел после бомбы не то воспалением кишок, не то сумасшествием.

У меня сердце запрыгало. Неужели то, чего не сделала наша проклятая бомба, доделает слепая болезнь... Но я сейчас же охладила себя. Уже самое сопоставление воспаления кишок с сумасшествием показывает, что это только простая обывательская сплетня.

Пауза. Опять призывный стук и мой вопрос.

— Я — Михаил. Сейчас прочел в газете, что Катя арестована на границе в Белостоке.

— Чепуха, ей там нечего делать.

Опять пауза. На этот раз долгая. Стук опять.

— Кто?

— Карл. Не можете ли дать мне деньжонок немного?

— У меня только восемнадцать копеек.

Стук прекращается. Я остаюсь в недоумении.

Что стало с чутким, щепетильным до смешного Карлом?... И неужели он не понимает, что меньше всех я-то в настоящую минуту могу помочь ему в его просьбе. Больно как-то запечатлевается у меня в мозгу вульгарное «деньжонок». Получил отрицательный ответ, и больше ни слова.

Когда мне приносят обед, опять товарищи-женщины переключиваются со мной. Я узнаю, что их я не увижу на прогулке: они гуляют в другом конце двора, видят окно башни, где сидит Вася. Передают мне от него привет.

Проходят часы в абсолютной тишине.

Она не гнетет, а, напротив, как-то невыразимо приятна. Я лежу в полудремоте на кровати перед остывшей уже печкой или хожу по диаметру башни и думаю о товарищах, оставшихся на воле, о делах, при мне начатых или только предполагавшихся начаться. Приводят ко мне тюремного доктора. Он оставляет какие-то примочки и уходит апатичный и грубый, с лицом скопца. Опять тишина. Начинает смеркаться. Тишина и сумерки сливаются в один аккорд какого-то безграничного покоя. Я лежу в полузабытьи. Вдруг разом встряхиваюсь и спешу к окну, к открытой форточке.

Нет больше тишины и нет как будто сумерек. Как будто из другого мира врезаются в это безмолвие могучие, полные отваги и силы слова хоровой песни: «Вихри враждебные...» Стенам, решеткам и штыкам под решетками бросался грозный, властный вызов: «Но мы поднимаем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело...» Как будто окрыленные светлой

надеждой, что так должно быть и так будет, высоко поднимались голоса: «...знамя великой борьбы всех народов...» Но сейчас же опускались, уверенные и сильные, на землю, которую они завоюют «...за лучший мир».

Кончилась одна песня. Началась другая: песня за песней, и все такие же светлые, бодрые, сильные. Сотни раз слышала я их на студенческих вечерах в Петербурге и в тесных кружках близких товарищей, и в лодке на реке, и в лесу... но нигде они не говорили мне так много, как сейчас за стенами и решетками.

Где-то пробил звонок. Слышно было, как товарищи расходились с пением Марсельезы. Мимо окна прошел уголовный с горящим факелом, красноватые блики запрыгали по снегу, белой стене, сверкнувшему штыку часового и пропали. Опять сумерки, уже совсем густые, и тишина.

Через полчаса приблизительно загремел замок в двери моего коридорчика. Пришли с проверкой. Мне опять принесли чаю с разными вкусными вещами от политических женщин. Зажгли лампу и ушли, заперев уже, вместо одной, две двери — и дверь моей камеры, и дверь коридорчика.

С этих пор меня держали неукоснительно на двойном запоре, и переговоры с политическими женщинами стали невозможны. Я осталась опять одна со своей тишиной. Слышны были только шаги над головой. Кто-то ходил равномерно по камере. На прогулке я узнала, кто обитает над моей головой: два буржуа — доктор К. и еще один почтенный господин, архибуржуй.

* * *

Потекли дни. Отсутствие книг и газет неособенно чувствовалось. Наблюдения и разговоры из окна с гуляющими товарищами, их вечернее пение, треск дров в печке, изредка краткие, отрывочные перестукивания с товарищами — все это развлекало. В промежутки же между этими развлечениями так хорошо думалось, что не было и тени какой-нибудь скуки.

Один или два раза водили меня в контору для опознания меня свидетелями и для чтения мне их показаний. Уморительные были некоторые из этих показаний. Так, один свидетель — по просту шпик — говорил, что я особенно в хороших отношениях была с курсисткой такой-то, живущей на такой-то улице (я в первый раз слышала о существовании такой курсистки от этого «свидетеля»), что я такого-то числа, в таком-то часу, уехала в Гомель и там жила вплоть до акта у доктора такого-то, гомельского «президента» в дни свободы. Разинув рот, слушала я следователя, монотонным голосом читавшего эти фантастические показания забавного свидетеля.

Один городовой, отставной артиллерийский солдат, бывший в доме отца в качестве ординарца, показывал: «... услышал я выстрел, обернулся, увидел женщину в платочке с револьвером в руке. Я подумал: да ведь это барышня генерала Измаиловича.¹⁷⁰ Но сейчас же решил, что это мне так показалось. Зачем дочь генерала будет стрелять в полицмейстера?

Это „зачем“ было великолепно.

Большое удовольствие, так сказать профессионального характера, доставили мне следующие строки: „Имею честь просить избавить меня от обязанности выезжать в тюрьму в виду того, что жизнь моя подвергается опасности при каждом моем выезде“. Это полицмейстер Норов отвечал следователю на вызов его в тюрьму, как свидетеля.

В числе свидетелей была сестра Маня и горничная наша Татьяна. Когда я прошла через первую комнату конторы во вторую, где сидел свидетель, мне пришлось пройти совсем близко мимо сидящих Мани и Татьяны. Маня улыбнулась мне. Татьяна отвернулась и потупилась. Я объяснила это в ту минуту ее неодобрением моего поступка: она любила

¹⁷⁰ Отец мемуаристки, генерал А. Измаилович, находился в это время на театре боевых действий русско-японской войны. До войны был начальником артиллерии корпуса.

слушать воскресные человеконенавистнические проповеди соборного попа — ярого черносотенника — и часто спорила с нами, ссылаясь на него. Но после, на свидании с сестрами, я узнала от последних, что Татьяна не могла удержаться от слез при виде моего избитого лица; плакала она и дома обо мне и только не могла Васе простить бомбы: „Ведь сколько бы народу погибло“.

Когда следователь записывал показания Мани, что я действительно такая-то, я перемолвилась с Маней несколькими словами.

Маня мне сказала, что по первой версии, которую они, услышали, я была убита на месте, так как кто-то видел, как меня везли на извозчике с окровавленным виском. У них был обыск на другой день, продолжительный, усердный. Осмотрели весь дом, службы и сад — искали везде бомб, но, увы, ничего не нашли.

Через несколько дней, после поверки Карл постучал мне в потолок, что он поселился теперь в башне с доктором вместо выпущенного на волю второго буржуя, что мы теперь будем иметь возможность каждый вечер перестукиваться, и он этому ужасно рад. У него уже были планы освобождения нас с Васей, о сущности их он мне не говорил, сказал только, что дело может выйти. Я вспомнила о богатстве его фантазий, но на этот раз ничего ему не возразила.

Через неделю приблизительно, утром, после поверки в окно мое вдруг ударились корка черного хлеба. Смотрю, перед окном стоит уголовный с шапкой набекрень, с раскрытой грудью, лицо в муке, серые глаза искрятся целым фонтаном веселого лукавства.

— Откройте окно.

Открываю. В окно летит один сверток, другой, третий, а часовой с умным лицом и большими усами дергает его за рукав:

— Уходи, тебе говорят, скорее, — увидят.

Все три свертка у меня, и он уходит.

Коробка с печеньем, монпансье и сверток в газетной бумаге. Быстро разворачиваю его: сборник „Знание“, 2 номера „Руси“ и записка от Карла. Пишет, что теперь доставка газет мне будет постоянной. Жадно, проглатываю газеты и швыряю их в зажженную печку: поведут меня опять зачем-нибудь в контору и опять будут рыться без меня во всем, тот раз я нашла всю постель перерытой.

Этот сборник „Знание“ был у меня в руках на воле. Не читала я только тогда „На острова“. Помню начала его, да показалась мне стихотворная форма тяжелой и скучной, и я бросила читать. Открываю его теперь. С первых же страниц упиваюсь красотой образов и революционностью самого произведения.¹⁷¹ За окном голоса. Неохотно кладу книгу под тюфяк и иду к окну. Не идти не могу — товарищи стали бы беспокоиться. Все так же сообщают мне газетные и городские новости Степа, Михаил и „хохол“. Заговаривают новые знакомцы, мимоходом кланяется Карл и исчезает.

После прогулки читаю опять. Гремит замок — несут обед. Прячу книгу и как ни в чем не бывало прохаживаюсь по комнате. Вынимаю и опять читаю. Вот плывут они смельчаки, волны разъяренные бросаются на них, русалки зовут к себе в бездну, обещая наслаждения. Они плывут все вперед, презирая опасность, наслаждения, все, видя только свою цель впереди... Начинаю читать вслух, но мой голос так странно и ненужно нарушает тишину, что мне делается как-то неловко, и я замолкаю.

Вечером передвигаю, как и всегда, стол к стене, закрываю нижние стекла окна обрывками своей верхней юбки (пригодились они мне здесь), вооружаюсь лучиной, взбираюсь на стол и выстукиваю дробь в стену за печкой. По уговору Карл ждет моего зова, так как не знает, когда я останусь одна. Стучу ему, что не понимаю его скверного настроения и ворчания на надоевшую публику общих камер. Не понимаю его пессимистического ответа

¹⁷¹ Поэма «На острова» польского писателя Густава Даниловского была напечатана в рус. переводе в сб. «Знание» (СПб., 1905. Кн. 7). Для произведений Даниловского характерны романтическая приподнятость образов, тяготение к символизму.

на мой вопрос, обращает ли он достаточно внимания на многочисленную публику, полусознательных с. — р. и беспартийных. По-моему, данная тюремная обстановка удивительно благоприятная, как для стремления к собственному росту, так и для помощи другому в его росте: здесь время, впечатлительность и восприимчивость обостряются во много раз. Привожу в пример мое упоение поэмой Густава Даниловского, мои бесконечные думы в тишине, когда мысль льется легче, чем когда-нибудь. Карл возражал, что общие камеры, с их вечным гвалтом, шмыганьем из камеры в камеру, большим процентом „буржуев“, с их индивидуальными кофеем, какао и прочей ерундой далеко не то, что моя полная одиночка. Я возражала. Тогда я еще не понимала того, что понимаю теперь...

В один прекрасный день провели Ольгу, самого близкого мне товарища в Минске. Я стала у окна. Она шумно поздоровалась со мной, хохоча над тем, что вот и она очутилась здесь. На другой день вместе с газетой и с запиской от Карла я получила записку от Ольги. Она писала мне о своем аресте. Катя вызвала ее в Смоленск, чтобы узнать обо мне и Васе. Сутки они пробыли вместе, потом разъехались — Оля обратно в Минск, Катя к Чухнину.¹⁷² Явилась Оля с вокзала на квартиру, а там обыск, и ее ждут.

Скоро привели еще одного товарища — Семена, в качестве кучера участвовавшего в освобождении Кати. К нему тоже пришли с обыском, нашли какие-то пустяки и тоже взяли.

Разговоры через окно оживились сообщениями о последних новостях на воле, о товарищах. Все это передавалось намеками, эзоповским языком. Карл перестал прятаться на прогулках, останавливался и беседовал, как и другие.

Надзиратели, стоявшие, кроме часового, на прогулках, вдруг были заменены двумя солдатами с винтовками. Стало несравненно хуже. Некоторые из них были невозможно грубы, толкали прикладами гуляющих за одну только попытку снять перед моим окном шапку, ругались и изощряли свое остроумие надо мной. Иногда приходилось совершенно отходить от окна. Были такие, что позволяли только кланяться, но не разговаривать. Были и такие, которые были даже лучше надзирателей, не только позволяли разговаривать, но даже бросать в окно записки и прочее.

Таких было только двое — один маленький, худенький с болезненным лицом и умными серыми глазами; другого лицо не помню. Когда они оба стояли первый раз, кто-то из товарищей бросил мне записку, бросил неудачно, она упала под окно к ногам солдата. Высокий поднял ее, маленький с умными глазами пробормотал: „оставь“. Тот бросил ее опять на прежнее место. Товарищи подняли и бросили мне записку опять. Я поразила поведением солдат. Карл объяснил мне по-французски, что маленький солдат наш с.-р. Приходил один вольноопределяющийся с фатоватым глупым лицом. Этот, вместо того, чтобы стоять неподвижно под окном, всю прогулку позировал у стены со своей винтовкой, садился на снег и чуть не кувырчался, не обращая ни малейшего внимания на гуляющих и на меня. Другой солдат смеялся его выходкам. Эти две смены были удобнее всех для нас.

Раз, поздно вечером, когда я, сидя на столе, разговаривала со стеной, т. е. с Карлом, мимо окна раздался скрип снега под многочисленными ногами. Мы бросили стучать. Прогремел замок. Открылась моя дверь, и вереницей вошло несколько полицейских. Мелькнули среди них два знакомые по участку лица приставов. Постояли несколько секунд молча, как истуканы, глядя на меня, и ушли. Все то отвратительное, кошмарное, что было связано с ними, ворвалось внезапно и нагло в мою тихую башню, резко прервало нашу беседу с Карлом и ушло в ту же темноту, откуда появилось, оставив в душе отвратительную мусть и горечь.

Скоро объяснились и этот ночной визит и замена надзирателей. Как-то, после свидания с сестрой, Карл простучал мне, что по городу ходят слухи о готовящемся побеге нас с Васей,

¹⁷² Сестра А. А. Измаилович Екатерина отправилась в Севастополь, чтобы совершить покушение на командующего Черноморским флотом адмирала Г. П. Чухнина. Чухнин «заслужил» особое внимание террористов после подавления под его руководством восстания на флоте в ноябре 1905 г. и последующих репрессий.

передают точные подробности плана, бог весть какими путями дошедшие. Карл был обескуражен и поражен. Я отнеслась к этому довольно равнодушно, так как и раньше не верила в возможность осуществления его фантазии. По словам Карла, Курдов распорядился поставить в тюрьме военный караул и ввел ночные обходы тюрьмы полицейскими. Теперь приходилось по вечерам настораживаться, чтобы не застал обход за стуком. Стучать вообще не мешали. Раз или два у меня под окном кто-то крикнул: „Эй, перестаньте стучать — воспрещается“. После я узнала, что это кричал старший надзиратель, обманувший меня в первый вечер насчет Кати. Да раз, как-то другой старший, добродушный и толстый, контраст первому — сухому бородатому старику со злыми глазами, стоя в камере, пока уголовный топил мою печь, лукаво поглядел на поковыренную стену, за печкой и сказал: „Барабаните“...

До мельчайших подробностей помню я вечер 29 января. Я вызвала Карла и стала ему говорить о своих дневных думках, о своем настроении. Помню почему-то мне в тот день было как-то страшно тоскливо и как-то не по себе, что ужасно не вязалось с моим ровным светлым настроением этих дней. По создавшейся мало-помалу привычке делиться с Карлом каждой мелочью моей жизни в башне, я говорила ему о своей маленькой тоске.

— А причины нет никакой? — спросил он. В тот миг я не поняла этого вопроса.

Я говорила ему еще что-то. Он слушал, по крайней мере, после каждого моего слова он делал один удар в знак того, что понял. Когда я кончила, он простучал мне:

— Чухнин тяжело ранен.

Как электрическая искра пронзила мой мозг, и горячая радостная волна разлилась по всему моему существу.

Радость была не только потому, что Чухнин был ранен. Ведь ранил его я знала кто. Она мне была гораздо больше чем сестра, она была самым моим близким товарищем по работе, любимым другом. Быстро барабанной дробью со всей силой ударяя в стену, я простучала — ура...

— В газете сказано так, — продолжал Карл, — молодая дама, назвав себя дочерью такого-то лейтенанта, пришла к Чухнину с прошением о пенсии и, пока он читал, выстрелила в него три раза, попала ему в плечо и в живот. Он залез под стол, и последние два выстрела она стреляла туда...

Пауза. Затаив дыхание, я сидела перед стеной и ждала. Пауза продолжалась.

— Дальше, — с сердцем простучала я.

— После выстрелов она вышла из его кабинета... Последовал быстрый нераздельный стук. Я не поняла его и простучала частой дробью в знак непонимания. Повторения не было. Мне слышно было, как задвигался над потолком не то стул, не то стол и раздалась тяжелые шаги. Я вскипела. Что он нарочно испытывает мое терпенье?

— Дальше...

— Я все сказал.

Я злилась все больше.

— Что она?

— Я сказал.

— Повторите.

Пауза. И потом стук, медленный, зловещий, тяжелый, так, верно, заколачивают крышку гроба:

— Ее нет больше.

Как во сне слышала я стук упавшей палки над потолком и опять шаги и соображала: Что значит нет? Как нет?... Как это нет?... Почему нет?.

Стена молчала, а я все глядела на нее в упор, как будто она могла мне объяснить, что значит „нет“. Долго я сидела так и ждала чего-то. Наконец постучала:

— Что с ней сделали?

— Чухнин велел ее расстрелять. Ее вывели на двор и расстреляли.

Долгая томительная тишина, должно быть, такая же тяжелая наверху, как и у меня.

Простое, ясное, привычное понятие „есть“ борется со страшным, чужим, дико непонятным „нет“. Острыми клещами с громадной болью впивается в мозг это „нет“, но в ушах звенит этот смех, перед глазами стоит вся она, молодая, полная радости жизни, со смеющимися глазами... И ненужное, дикое „ее нет больше“ со злобой отбрасывается прочь. Отбрасывается затем, чтобы опять вернуться и с новым острым мучением вонзиться в голову. Эта бешеная схватка длилась долго и горячо, всю почти ночь. Наверху наверное было то же, что и внизу. Утром на прогулке каждый товарищ спешил сообщить мне последнюю радостную газетную новость. Подробно, газетным языком, пробасил Михаил.

— Чухнин ранен неизвестной женщиной, — выкрикнул Степа, как всегда, приложив руки трубкой ко рту.

— Околеет собака, — широко улыбнулся хохол. Карл молча прошел, пытливо глядя мне в лицо. Я отвечала, как всегда, на вопросы, заговаривала сама, смеялась, а в душе ждала страстно конца прогулки. Только трое знали, кто была Мария Крупницкая, — Карл, Вася и Ольга.

После прогулки пришел ко мне этот самый номер газеты. Как будто надеясь найти еще что-нибудь новое, я бросилась жадно читать и перечитывать газетное сообщение о покушении на Чухнина. С газетой Карл прислал мне письмо, полное огромной тоски, отчаяния и проклятий — слепых, безумных проклятий, какие могут сходить с уст человека, обезумевшего от горя. Я вдруг, поняла, что я сильнее Карла. Он писал: „Зачем ей нужна смерть?.. Кому она нужна?.. Разве Чухнин, тысяча Чухниных стоят ее одной, светлой, прекрасной?..“ Я почувствовала, что я не могу задать такого вопроса: „Зачем и кому нужна ее смерть“. И не позволю задавать его ему, который молится одному богу с ней, дышит тем же, чем дышала она. Не могу позволить ему оскорблять ее последние минуты, ее последние мысли о том, за что она умерла. И я послала ему большое письмо. Помню, голова горела, когда я писала его, вся душа трепетала, и слезы, вдруг хлынувшие, мешали писать. Но чем дальше я писала, тем легче делалось мне. Большая глубокая радость за нее, знавшую, зачем жила и зачем умирает, счастье при мысли о той светлой радости, с которой она умерла, гордость за нее, твердую и гордую... все это могучим потоком нахлынуло на меня и вызвало у меня не письмо, а светлый торжествующий гимн ее и моему богу и богу Карла. Я потребовала от него взять назад все его проклятья и понять все счастье, всю красоту ее смерти.

Я написала на волю сестрам коротенькую записку о Кате. Через несколько дней мне дали первое свиданье с ними. Первыми словами был вопрос: „Ты наверное знаешь, что это Катя?“ — У них была крохотная соломинка, за которую они цеплялись все эти дни от получения моей записки до свидания. 27-го января они получили от Кати открытку со штампом „Ромны“ и на этом строили невозможность ее выступления 27-го, как будто открытка непременно должна была быть написана того числа, когда получена.

* * *

Карл и я, мы оба горячо любили Катю, оба тосковали по ней, оба одинаково не хотели и не могли понять, что „ее больше нет“. Вечерние часы перестукивания стали для нас отрадой. Больше, они стали необходимы для нас, как воздух. Когда начинало смеркаться, слушая у открытой форточки пение товарищей, я с нетерпением ждала проверки. Зажигали лампу, приносили чай и уходили, оставляя меня на всю ночь одну, т. е. вернее нас двоих — Карла и меня. Быстро проглотив чай, я звала его. Он уже ждал и моментально отвечал. Первой моей фразой на многие дни стал обычный вопрос: „Что еще в газетах о Чухнине?“ Мы оба страстно хотели, чтобы он умер: так хотелось, чтобы ее дело было довершено до конца. Но он жил с пулей в животе, получал телеграммы от Николая, отвечал на них и упорно не хотел умирать.

Мы говорили о ней. Я подробно рассказала про ее побег из тюрьмы за 25 дней до ее смерти.

Катя была арестована в середине декабря в Минске. Осталась как-то ночевать дома, пришли ночью и арестовали. Из общей тюрьмы, где сейчас сидели мы, скоро после Катиного ареста всех женщин перевели в новую женскую тюрьму на окраине города. Это было очень некрепкое учреждение: внутри тюрьмы 2–3 надзирателя и несколько надзирательниц, деревянная ограда, снаружи никакого караула. Не бежать оттуда нужному человеку было даже как-то зорно. А Катя была нужна. Она тогда уже была намечена Б. О. исполнителем акта над Чухниным. Во время их прогулок я ходила в прилегающий к тюрьме пустынный двор какого-то склада, не то дровяного, не то керосинного, и через забор сговорила с Катей о побеге. Решено было, что уйдут двое — Катя и Цива (не помню фамилии), арестованная незадолго до того с типографией. Остальные политические сидели не серьезно.

Вечером 2-го января в условленный час (в 5.30) Катя и Цива должны были выйти на тюремный двор (их выпускали к водопроводу за водой), и если ситуация хороша — дежурит во дворе обычно один надзиратель — они должны затеять игру в снежки и выкрикнуть что-то о снежках. А товарищи, дождавшись с той стороны условной фразы, должны были позвонить в ворота. На вопрос надзирателя должны были ответить: „привели арестованных“. А минут за 5 до тюрьмы, на Захарьевской, куда выходил переулочек, где стояла женская тюрьма, должна была стоять лошадь.

Так и было сделано. Лошадь с санками дал нам один сочувствующий. За кучера был товарищ Семен. В санях ждала я. Товарищей пошло 5 человек. Одеты они были в солдатскую форму. Дежурить в этот день в тюрьме должен был очень здоровый рослый парень. Были предварительные репетиции, как сразу, не допустив до крика, свалить надзирателя и связать, не прибегая к оружию — пятерым на одного оружие было не нужно. Но товарищи почти все были очень молодые, неопытные, и дело сошло далеко не гладко.

Я сидела на санях и с трепетом ждала. Вдруг раздался выстрел. Что это?... Значит дело дошло до этого?... Кто и в кого стреляет? Удалось ли?... Спустя некоторое время, показавшееся мне бесконечностью, из переулка быстро вышла группа людей и направилась к нам. Все пятеро и с ними Катя и Цива. Все возбужденные, нервные и радостные, все, кроме Кати. Она расстроена: зачем стреляли? Впятером не могли свалить одного. Он сразу упал, а они выстрелили из браунинга. А когда они проходили по двору, он слегка приподнял голову. (Он умер через несколько часов.)

Радость побега была тяжело омрачена у Кати этой ненужной жертвой. Надзиратель энергично боролся, а потерявшие нужное хладнокровие товарищи валили его, очевидно, в разные стороны.

Простившись с освободителями, мы домчались до квартиры Агаповых, старший сын которых, Толя, был с.-р. (убит в 1907 г. в Кронштадте царским правительством). Там Циву, худенькую и стриженную, переодели мальчиком, а Катю барыней в ротонде. Сделано это было лихорадочно быстро. Я повела переодетых уже пешком в назначенную квартиру к одной сочувствующей. Но там нами овладела тревога — могли прийти туда. Я съездила на другой конец города к инженеру К., тоже сочувствующему, не отказывавшемуся даже прятать бомбы, и спросила его, может ли он приютить беглянок. Он согласился. В тот же вечер они были там.

Через день или два я навестила их. К. боялся, как бы не сболтнула чего их прислуга. Цива нервничала. Я решила взять их к себе на „Северный полюс“. Так звали мы нашу конспиративную квартиру против дома Курлова, откуда мы следили за ним. Оригинальная квартира: чердак был не над ней, а на одном уровне с ней, примыкал с трех сторон, и одно из слуховых окон чердака выходило как раз визави подъезда губернаторского дома. Холод там был невероятный, мы не согревались ни днем ни ночью. Снимали квартиру по фальшивкам — муж и жена — товарищ „Николай“ (нелепо утонувший на лодке недавно) и я, его жена по паспорту. Жил у нас без прописки, совершенно не выходя из квартиры, Вася, который должен был пойти на Курлова. Такое совмещение — квартира, откуда следят, и приют для беглых из тюрьмы противоречило всем правилам конспирации. Но, с другой стороны, более надежного убежища для них не было. Выехать из Минска нельзя было — на всех вокзалах

была чрезвычайная слежка. На улице останавливали юношей 16–18 лет спрашивали и оглядывали — решили, очевидно, что они переодеваются мальчиками. Глубокой ночью я провела Катю и Циву на „Северный полюс“. Вася, живший абсолютно затворником, был ужасно рад.

Десять дней они прожили у нас. Цива — нервничая и труся, Катя — спокойная и ровная. Затем мы отправили их — Циву старой еврейкой на балаголе куда-то в местечко, Катю нарядной барышней в компании двух кавалеров на тройке на первую от Минска станцию ж. д. все с тем же Семеном-кучером. Я отвела Катю опять к К. и отдала с рук на руки двум ее спутникам — офицеру и франту-студенту. На станции они должны были изображать из себя веселую компанию, возвращающуюся из гостей от соседнего помещика. Мы нарумянили всю бледную Катю, подвели ей глаза, завили, нарядили. Она хмурилась, стыдясь своего вида, и торопилась с отъездом. Я долго стояла на углу двух улиц на окраине города, глядя вслед „веселой“ тройке. Это было 12-го ноября. Не прошло 2 недель, и ее не стало.

Последний, кто видел из нас Катю, была Ольга. По моей просьбе она написала все подробности своего свидания с Катей в Смоленске, и мы с Карлом делились, как бедняки жалкими крохами, этими подробностями, маленькими, но бесконечно дорогими для нас.

Я рассказала ему, как Катя узнала, что он ее любит. Я давно уже смутно подозревала это, хотя он никогда ничем не показывал ей своего чувства. Рассказывала ему с мельчайшими подробностями, как незадолго до ее ареста, Катя, Ольга, Вася и я раз поздно вечером сидели дома и как у нас почему-то зашел разговор о любви. „Я знаю, кого Карл любит“, сказала Ольга. В этот миг я впервые поняла ясно и определенно, что он любит Катю. Катя, смущенная и рассерженная, вскочила и сказала только одно: „Какие глупости“. Она никогда не чувствовала и не понимала абсолютно никакого другого чувства, кроме чисто товарищеских отношений. Товарищем она могла быть самым любящим, трогательно-нежным и заботливым, но и только. Помню, как мы все трое с улыбкой глядели на ее смущение и досаду. Больше никогда не говорили о нем с Катей. Но она, видимо, стала избегать его и стала как-то холоднее и строже относиться к нему. Все это я говорила теперь Карлу, болея за него, не нашедшего отклика в ее душе.

Помню, какое тяжелое впечатление произвели на меня следующие несколько строк мелкого шрифта в „Руси“: „Передают, что Спиридонова, стрелявшая в Луженовского, умерла от побоев в Тамбовской тюрьме“. Это были первые газетные строки о Марусе, после телеграммы об ее акте. Они были ужасны. Я простучала Карлу, насколько ужаснее я нахожу эту смерть, в сравнении со смертью.

Кати, расстрелянной тут же на месте. Карл соглашался со мною, что эта смерть несравненно ужаснее.

Выяснили и мы друг другу наше отношение на воле и здесь. Карл объяснил, что с первого же дня нашего знакомства в тесной каморке одного местного с.-р., я очень заинтересовала его, но потом, за два года отрывочной работы с ним и мимолетных встреч он, присматриваясь ко мне, решил, что я очень сухой человек, живущий исключительно головой, человек без души.

— Были случаи, — стучал он, — когда я хотел взять назад свое мнение о тебе (мы перешли на ты), но потом ты опять становилась как будто человеком-зверем, и я относился к этим случаям с недоумением.

Я от души смеялась над этим „человеком-зверем“. Он смеялся теперь не меньше меня над собой. Иногда в шутку я стала подписывать свои записки к нему — „зверь“. Он привел мне те случаи, когда я не была „зверем“ и этим приводила его в недоумение. Я работала в Питере, он сидел там в тюрьме. Был выпущен под залог без права оставаться в Питере и нашел меня. Помню, я пришла вечером к себе в комнату и застала его у себя. У меня в то время в Питере совершенно не было близких друзей. Один очень близкий товарищ, такой же близкий, как Катя, был только что арестован. Понятно, что я очень горячо встретила Карла. Мы с ним много и долго говорили в тот вечер. Ему некуда было идти ночевать, и я уступила

ему свою кровать, а сама устроила себе постель на корзинах; квартирные хозяева, разумеется, не знали о его ночевке. Утром он ушел. Увиделась я с ним после этого почти через год, после 17 октября, в Минске, на работе. Здесь нам вечно приходилось сталкиваться из-за разных взглядов и мнений о делах. Раз выпал у нас свободный вечер — Карл, я и еще один с.-р., Родя Б., до поздней ночи беседовали о философских вопросах. Говорили о Спенсере, о Михайловском. Я говорила об учении Авенариуса, с которым чуть-чуть была знакома. Они же ничего не читали ни о нем, ни его самого. Потом мы перешли уже на отсебятину. Пришли Катя и Ольга, что-то говорили нам, но мы с досадой отмахивались от них и с необыкновенным жаром и горячностью наступали друг на друга и защищали каждый свою истину. Это не помешало нам опять после этого довольно холодно встречаться, сражаться уже на практической почве и даже злиться иногда друг на друга. Помню, последнее время перед арестом Карла я чувствовала против него, вероятно, от постоянных размолвок с ним на работе, какое-то глухое раздражение. Все это вспомнилось теперь и говорилось. Визит его ко мне в Питер и наша философская беседа втроем в Минске, оказалось, были для Карла загадкой, которая не укладывалась в составленное им обо мне мнение.

Как-то я спросила Карла, почему он конспирировал первое время, как меня привели, а потом перестал.

— Как конспирировал?

— Не подходил к окну, не разговаривал через окно.

— Неужели ты так могла понять меня?

— Что же здесь плохого? Ты работник. Ты должен беречь себя.

Но он не принимал моих возражений, и в его вопросах, в мертвом стуке мною чувствовалась такая большая горечь, такая обида, что я вдруг почувствовала, что оскорбила его.

— Но почему же ты избегал меня?

— Когда я услышал о тебе и о Васе, я только тут как-следует понял, как дороги вы мне оба. Я узнал, что над вами издевались, что вас били. Я мучился за вас. Вас привели. Я увидел твое обезображенное лицо. Мне стало нестерпимо больно. Пойми, что я не мог подходить к окну и глядеть на тебя, как глядели все они. Пойми, что я болел за тебя. Пойми, что я не мог видеть твоего лица.

Меня как будто что-то толкнуло разом выяснить все.

— А почему ты в первый день просил денег?

— У кого? Каких денег?

— Ты простучал: „Я Карл. Одолжите мне деньжонок“.

В эту ночь мы в первый раз нарушили условие, поставленное Карлу сожителем — стучать только до 12 час, ночи — и долго не давали спать бедному доктору. Карл ужасался при мысли, что я должна была думать о нем: он конспирирует, он трусит, он в первый день просит у меня „деньжонок“. Кто-то назвался его именем, какой-то „политический“ (кого только не хватала полиция в эти дни своего безумия) назвался в надежде поживиться рублем-другим.

— Что ты должна была думать обо мне? Почему ты раньше не сказала мне этого? Чем я могу поручиться, что ты и дальше будешь понимать меня? Как ты могла!

В эту ночь Карл впервые показал мне во всю величину свою нежную, впечатлительную душу, не выносящую ни малейшего грубого прикосновения. Я грубо прикоснулась сейчас к его душе и беспомощно стояла перед взрывом горечи, обиды, упреков, которые передавала мне моя стена.

Случай с просьбой денег от имени Карла надоумил нас иметь пароль, чтобы не нарваться еще раз на что-нибудь похуже. Я предложила „Боже царя храни“. Карл должен был его выстучать после моего вызова. Мы, вероятно, были самыми оригинальными и самыми усердными молещиками за царя!

Как-то утром, услышав голоса под окном, я подошла к окну и увидела спину

удаляющегося офицера и у стены часового-надзирателя. До меня только долетели слова часового „вот здесь“... Говорилось, вероятно, обо мне, по крайней мере надзиратель показывал рукой на мое окно. Это был самый скверный из трех надзирателей, дежуривших по 6 часов у стены. Единственно он никогда не подпускал моего почтальона-уголовного к окну. Сейчас он стоял перед окном, с тупым, толстым лицом, свиными глазками, рыжий, жирный и нагло ухмылявшийся, глядя на меня. Потом сказал:

— Скоро будет тебе расплата, собака. Через пять дней повесят.

Эти „пять дней“ привели меня в недоумение: никаких признаков такого скорого суда не было. Я рассказала о словах любезного часового Карлу. Он отнесся к ним, как к абсолютной ерунде. Но я почувствовала, что ко мне приближается то большое и важное, о чем я так много думала наедине с тишиной.

Еще оживленнее и дольше стали наши беседы с Карлам: ведь надо было все сказать, всем поделиться, ведь было страшно некогда. Помню, первый раз я рассмеялась, когда подумала: „некогда, нужно поспешить“. Непривычно было как-то под такое простое, обычное слово „некогда“ представлять такое необычное содержание.

Сотни раз мои губы произносили „некогда, надо идти в кружок“... „некогда, надо идти на собрание...“ И теперь так же просто подумала: „Некогда, надо будет скоро умереть“. Странно и смешно как-то стало, когда поймала себя на этой мысли в первый раз. Потом она стала обычной, только содержание ее до последней минуты, когда она отошла в прошлое, оставалось неизменно серьезным, важным, глубоким, огромным.

Пять дней прошло. Меня не вешали, и я все еще жила так же тихо и спокойно. Прогулок ни для меня ни для Васи не существовало. Говорят, Курлов, сам лично, боясь, как огня, нашего побега, распорядился, чтобы нас не водили ни на прогулку, ни в баню. Товарищи советовали и мне и Васе требовать прогулок, вызывались требовать сами и поддерживать свое требование голодовкой. Но я умоляла Карла отговорить товарищей от каких бы то ни было требований для меня. Помимо нелепости протеста ста с лишком товарищей из-за каких-то прогулок двоих, мне так не хотелось нарушать мир моей души какими бы то ни было эксцессами. Такими маленькими и ненужными казались мне всякие протесты об удобстве внешней жизни, когда впереди было такое большое дело, а настоящее было так хорошо... Вася был вполне со мной согласен, и всякие требования провалились.

От Васи я получила несколько записок и отвечала ему. Он писал, что у него хорошо на душе, что он ждет суда, как светлого праздника. Он, как и мы с Карлом, не мог примириться с тем, что Кати нет больше.

Несколько записок я получила и от Ольги. Я ее видела урывками, когда она ходила в контору и в баню. Иногда она, из какого-то невидимого мне окна, переговаривалась со мной. К нам присоединялся обыкновенно и Карл. Он кричал откуда-то с верхнего этажа, из общих мужских камер, но там в камерах так шумели, что он не слышал обыкновенно моих слов и Олиных, но тем не менее просил меня вызывать его в стену, когда я говорю с Олей.

— Хочу слышать твой голос, — мотивировал он свою просьбу. Откуда-то из подвального этажа, из хлебопекарни, кажется, отзывался иногда на наши разговоры наш почтальон — уголовный пекарь.

— Получили? — многозначительно спрашивал он (он стал иногда поручать передачи одному из часовых, самому молодому, с глуповатым добродушным лицом деревенского парня, и тот вызывал меня обыкновенно ночью легким прикосновением штыка к стеклу и передавал газеты и записки на острие штыка). Почтальон кричал, как из какого-то подземелья, и я прозвала его „сатаной“. Да и весь он вообще, проворный, смелый, с умными, насмешливыми глазами, похож был на сатану. Такие наш?! беседы через окна бывали обыкновенно раз в день, да и то не каждый день минут 15–20; Ольге не всегда удавалось выторговать у надзирательницы несколько минут разговора со мной.

На столе моем лежали три книги: „Анна Каренина“, которую я хотела перечесть, Ибсен и Луначарского „Критические и публицистические этюды“. Первых двух книг я не раскрывала. Луначарского прочла всего, а некоторые места подчеркнула и перечла

несколько раз и даже беседовала по этому поводу с Карлом. Начальник, зашедший как-то ко мне, предложил переменить эти книги на другие три, принесенные для меня сестрами в контору. Я ему ответила, что не прочла еще эти. Вероятно, он удивился: сидит одна и не читает. Что же она делает?

Приходили ко мне раза три сестры на свиданье. Меня водили в контору. Когда я проходила по женскому коридору, женщины звали меня к дверному окошечку общей камеры. Я подбегала на миг и видела их лица. Ольга бывала всегда впереди. А раз уж, после суда, надзирательница их как будто нечаянно не заперла в камеру (они ходили весь день свободно по коридору и закрывались только, когда проводили меня), и они шумно набросились на меня всей гурьбой. Тщетно зывали помощник и надзиратель. Когда я шла в контору и обратно, из всех окон тюрьмы глядели на меня товарищи-политические и даже уголовные и здоровались со мной.

Свидания давались получасовые. Близко-близко садился помощник и не спускал с нас глаз, шептаться не запрещали. Сестры передавали мне газетные новости, а я мимикой и шепотом говорила им, что знаю уже сама из газет, чем удивляла и смешила их. Помню, они принесли мне показать портрет Маруси из приложения к „Руси“, а я уже видела его и читала ее письма. Сестры старались быть веселыми, но видно было, какой тяжестью навалилась на них одна смерть позади (а у Мани их было даже две — незадолго до моего ареста у нее умер муж от чахотки) и другая — возможная — впереди.

Раз они привели с собой Маниного сынишку, трехлетнего Гарьку. Он принес с собой игрушечную обезьянку и плетку и изображал из себя очень талантливо мальчишку-болгарина, виденного им. Вся комната хохотала над его уморительными шутками.

Во время свидания в моей камере делали неизменный обыск, но ничего не находили. Газеты я сейчас же по прочтении сжигала, бумагу и карандаши прятала так, что никогда не находили, а несколько жестянок от конфет забросила на печку. Беспокоила меня стена, совсем исковыренная. Я попросила Карла прислать мне мелу. Сатана доставил мел, и я натертым мелом с водой забелила злополучную стену. Теперь была другая беда: бросалось в глаза чистое белое пятно на грязном фоне стены. После свидания обыскивали меня лично. Приводили надзирательницу, и она шарила по мне в задней комнате конторы.

* * *

Через месяц моего сиденья, в одно сверкающее морозное утро, ко мне пришли несколько человек в военной и гражданской форме. Это был председатель военного суда, военный прокурор, защитник по назначению и еще какие-то господа. Они объявили мне, что через несколько дней будет суд. На свидании сестры сказали мне, что они выписали еще одного защитника для меня и для Васи Соколова.¹⁷³

В эти дни, перед судом, я впервые узнала от товарищей, что в тюрьме сидит юноша, по фамилии Оксенкруг, которого будут судить в нашу же сессию; обвиняют его в покушении на полицмейстера Норова в декабре месяце.¹⁷⁴ Как громом поразила меня эта весть. Я знала, кто бросил невзорвавшуюся бомбу в полицмейстера. Это был товарищ с.-р. Он бежал. Несколько дней мы скрывали его, потом отправили на лошадях в одно место. Я сама проводила его до места, где ждали его лошади. И вдруг теперь, оказывается, обвиняют какого-то Оксенкруга. Мне рассказали о нем подробно. Он работал в качестве подмастерья у одного булочника, в квартире которого, после первого покушения на полицмейстера, нашли

¹⁷³ Возможно, речь идет об известном петербургском адвокате Николае Дмитриевиче Соколова.

¹⁷⁴ Первое покушение на минского полицмейстера Д. Д. Норова было совершено членом местной эсеровской боевой дружины 17 декабря 1905 г.

куртку.

Полицмейстер и его кучер узнали по этой куртке бросившего бомбу. Арестовали хозяина булочной и Оксенкруга, за эти три дня до обыска только поступившего в булочную. Оксенкруга через несколько дней выпустили, а через три дня опять арестовали, показали полицмейстеру и его кучеру. Последний говорил, что не помнит лица, бросившего бомбу. Норов же утверждал, что это Оксенкруг покушался на него. Тюремная администрация видимо не знала, как быть с ним: он сидел то в общей с уголовными, то с политическими, то в одиночке, в такой же башне, как Васина и моя. Товарищи говорили, что он производит впечатление очень малосознательного, называет себя бундовцем, но бундовские комитетчики и рабочие, сидящие в тюрьме, не знают его. Ведет он себя очень странно: читает все какую-то еврейскую священную книгу и по целым часам молится. Скоро мне пришлось увидеть его самого, на прогулке с уголовными. Он был совсем юноша, с симпатичным детским лицом.

Суд был назначен на 16 февраля. Ко мне пришли: защитник по назначению и Соколов. Дали мне прочесть обвинительный акт, поговорили со мной и посоветовали вызвать свидетелей расстрела мирной толпы войсками и полицией 18 октября, так как этот расстрел был одной из главных причин нашего покушения. Я назвала фамилии Карла, железнодорожника Г., Михаила и одной девицы на воле. Но я не решалась вызвать их без их ведома. Звала Карла в стену, чтобы посоветоваться с ним, но наверху в этот момент, вероятно, никого не было, и я в конце концов записала их фамилии. Васю, меня и Оксенкруга должны были судить в один день.

Вечером я рассказала Карлу о разговоре с защитниками. Ни Г., ни Михаил (Карл их тут же спросил стуком) ничего не имели против. Карл же был в восторге от одной мысли, что он может присутствовать на суде. Суд, конечно, отказал в вызове всех этих свидетелей. Накануне суда я набросала на бумаге то, что хотела сказать на суде.

Вечером, конечно, мы говорили с Карлом... Мы говорили, что любим друг друга горячо и нежно, говорили о том, как хороша жизнь, борьба, как сказочно-прекрасна наша любовь. Вспоминали в мельчайших подробностях весь ее рост. Согнутые, но не сломленные тяжестью горя — смертью Кати — мы робко подошли друг к другу, ища взаимного участия. Нам надо было говорить о Кате, которую мы оба любили... Мы говорили, мы страдали, мы находили утешение... протягивая друг другу руки самого нежного участия, руки трогательной дружбы. Когда тюрьма замирала на ночь и только часовые шагали под стеной, мы, разделенные крепким, непроницаемым потолком, шли навстречу друг другу и открывали свою душу. На воле, неотгороженные никакими решетками и стенами, мы прошли мимо, равнодушные и ненужные. Здесь ничто не могло отгородить нас. Взаимная поддержка и участие таили в себе зародыш нежного чувства. В тиши безмолвных вечеров выросла волшебная сказка нашей любви. Мы так и звали ее „сказкой“.

Как смеялись мы над стеной! Построенная для того, чтобы разделять, она соединила нас. Как от прикосновения волшебной палочки, холодная и мертвая, она оживала, когда мы только хотели этого. Камни превращались в звуки. Не было больше стены. На ее месте вырастала целая поэма. Мы смеялись над решетками, над штыками. Помню, в лунные ночи, когда я тушила лампу, от решетки ложились голубоватые тени на полу, таинственным кругом белели стены. Не нужно было лучшей декорации для нашей „сказки“. А когда дежурил ночью „наш“ часовой, наша беседа прерывалась легким стуком в мое окно. Я открывала окно, штык поднимался к моим рукам и подавал мне письмо.

Карл ждал над головой. Я объясняла ему одним словом: „штык“, прочитывала его письмо и отвечала ему стуком.

Но иногда мы проклинали нашу стену. Это тогда, когда не мы, а она смеялась над нами. Хотелось по временам много-много сказать друг другу. Нахлынет вдруг целая бездна мыслей и чувств, а она — такая неповоротливая, такая неживая, медленная, холодная, так издевается над нами своею властью. Хотелось тихо говорить... глядя в глаза друг другу, понимая один безмолвный взгляд, одну улыбку, без слов. А она стояла и смеялась над нами. О, как мы

ненавидели ее тогда... проклинали ее... Мы ломали голову тогда, чем заменить стук? Карл вечно придумывал разные штуки. Так мы прикладывали вплотную, каждый к своей стене — один — рот, другой — уши, и громко и отдельно говорили что-нибудь невинное, вроде — „который час“. Стена передавала нам звук наших голосов, и мы радовались этому, как дети. Карл придумал еще провести через трубы наших печей телефон. Долго он возился, но ничего не выходило: шнурок с привязанной к нему коробочкой не хотел опускаться в нашу трубу. Он был неистощим на выдумки. Начал буравить свой пол, чтобы через крохотную дырочку в нем провести ко мне телефон. Но пол был очень толст, у Карла не было подходящего инструмента, и эта затея так и осталась неоконченной.

В ночь перед судом мы очень долго говорили. Доктор вышел на волю, на его место поселился эс-дек, не ставивший Карлу никаких условий, и мы часто говорили до 3-х часов, а то и позже. Когда очень хотелось лечь и усталость давала себя чувствовать, я придвигала кровать обыкновенно к стене и ложилась. Я обыкновенно засыпала с палочкой в руке и во сне что-то стучала несвязное. Просыпалась и слышала, как Карл выстукивал: „Ха-ха, ты какую-то плясовую по стене сейчас разыгрывала“... После упорной борьбы со сном я сдавалась наконец, и мы расставались, пожелав друг другу спокойной ночи.

Эту ночь мы проговорили до 2-х часов, не вставая с места — некогда было.

Мы полагали, что на суд нас повезут часов в 9 утра. Карл обещал в 7 часов изо всей силы стукнуть поленом в пол, чтобы разбудить меня. У меня не было часов, и я боялась проспать.

Я проснулась от какого-то шума. Открыла глаза — темная ночь. В моей последней двери гремит замок. Что бы это могло быть? Открылась дверь. Вошла надзирательница, за дверью мужской голос:

— Одевайтесь скорее. Мы ждем.

В полном недоумении, но, по привычке, не вступая с ними ни в какие переговоры, я стала одеваться. Мне почему-то упорно не приходило в голову, что меня разбудили, чтобы вести на суд: не вязалось как-то вместе — глухая ночь и суд. Но странно, не думая о суде, я в то же время не делала ровно никаких предположений. Пришла было на миг мысль „казнь“, но сейчас же ушла. Как это так будут казнить без процедуры суда? Было какое-то странное состояние недоумения, нечувствования. Помню только, что голова была как свинцом налита, ведь только, казалось, легла.

Вышли во двор — начальник, помощник, надзиратель, надзирательница и я. Я посмотрела в окно Карла, и мне почему-то ужасно больно стало, что он утром проснется, станет будить меня, а меня не будет... Там будет пусто, и он один...

Привели в контору. Часы показывали 4 часа. Надзирательница обыскала меня, как будто это было нужно: она не спускала с меня глаз, когда я одевалась. Обыск был самый тщательный, с раздеванием. Когда я вторично оделась, меня увели в первую комнату, и там еще молодой пристав с большими тараканьими усами обшарил меня всю своими руками с головы до ног. Этот полицейский был мне знаком по участку. Теперь он был корректен и извинялся, шаря по мне.

— Извините. Служба заставляет.

Он далеко не таков, как в участке.

Меня усадили в заднюю комнату конторы. Тихо тикали часы. Ярко горела лампа. Сон отошел от меня окончательно и сменился приподнятым, возбужденным состоянием. Такое чувство бывало у меня в детстве на Рождество, когда мы, дети, бывало, сидели в детской с бьющимися сердечками — ждали — вот позовут нас, откроют двери зала, и ослепительно засверкает перед нами яркая, нарядная елка.

В первой комнате конторы началось какое-то движение, топот ног. Стихло. Меня повели во двор, вывели за ворота. Из темноты выступали освещенные фонарем у ворот морды лошадей и угрюмые чужие лица всадников, кажется, казаков. Когда я вышла, какие-то сани быстрр отъехали от ворот, и послышался топот многих лошадиных копыт. Меня посадили в подъехавшие другие сани, усатый пристав крепко схватил под руку и

крикнул: „Поезжай скорее“. Мы быстро помчались по темным спавшим улицам. Кругом, со всех сторон скакала целая стена казаков. Что-то невыразимо приятное было в рассекаемом быстрой ездой холодном воздухе, в звонком и частом щелканьи копыт. Через несколько минут мы остановились. Сплошной стеной сгрудились фыркающие лошади. Мы стояли перед артиллерийским собранием. В передней я догнала Васю и Оксенкруга. Лицо Васи осветилось радостной улыбкой. Мы крепко пожали друг другу руки. Всех нас троих повели с обнаженными шашками по ряду комнат. Привели в просторную комнату, слабо освещенную одинокой лампой на столе, рассадили нас по трем стенам далеко друг от друга. Около каждого из нас стали два солдата с шашками наголо. Прямо против меня была дверь настежь открытая. За дверью в огромной комнате-сарая масса солдат. Они сидели, лежали на скамьях, ходили из угла в угол, как сонные мухи. Оттуда до нас доносился глухой, неясный шум. У нас была мертвая тишина. Мы пробовали с Васей переговариваться, но солдаты, нерешительно переглянувшись, заметили:

— Нельзя разговаривать.

Раз вошел офицер.

— Господа, не разговаривайте, пожалуйста, — вежливо сказал он.

Солдатам, стоявшим около нас, вероятно, тоже было запрещено разговаривать. Они стояли молчаливые и неподвижные, как истуканы, с тупыми сонными лицами. Их сменяли несколько раз. Так просидели мы, прикованные к стульям, с 5 ч. утра до 11.

Вася сидел направо от меня в углу. С того времени, как я его не видела, он заметно побледнел и оброс. Мы встречались взглядами и улыбались. Иногда мы переговаривались с ним мимикой и чуть заметными знаками.

Оксенкруг сидел налево от меня около двери, все в одной и той же позе, слегка согнув спину и держа шапку между коленями. Я смотрела на его лицо, желтовато-смуглое, худощавое, безусое, с грустными черными глазами и думала о трагичности его судьбы. Что ждет этого мальчика, ничего решительно не имеющего общего с революцией, но волею минской полиции превращенного в террориста? Неужели он пойдет на виселицу? Он будет плакать, может быть, сегодня на суде, когда ему прочтут приговор... Будет плакать, идя на казнь... Какой ужас...

Черный мрак за окнами начал сереть. В лампе догорали остатки керосина. А мы сидели так же неподвижно. Так же неподвижно стояли солдаты около нас. Иногда клонило ко сну, и голова, не слушаясь, опускалась на грудь, то у одного, то у другого из нас. В такие минуты шаги солдат в другой комнате казались мне стуком Карла, и я мысленно считала удары, но, внезапно очнувшись от дремоты и вздрогнув от холода, вероятно, нетопленной комнаты, снова видела бледное лицо Васи, желтую куртку смуглого мальчика и неподвижные фигуры солдат, охранявших троих людей, назначенных к изъятию из жизни.

В 10 часов пришел Соколов, распорядился, чтобы нам дали чаю. Часов в 11 нас с Васей повели на суд. Большой светлый зал, с портретами по стенам, ряды стульев, длинный стол перед нами для судей и два небольших стола по обе стороны его для защиты и прокурора. Около прохода, в одном из рядов стульев сидела моя сестра Маня. Она встала, когда нас проводили мимо, и улыбнулась нам. Около нее стоял старик с печальными глазами. „Отец“, шепнул мне Вася.

Нас посадили впереди около стола защитников. Вошли судьи. Уселись. Стали вызывать свидетелей. Для нас с Васей интереснее всех свидетелей были, конечно, Курлов и Норов, особенно первый. На Норова налегла вся защита с Соколовым во главе. Ее целью, судя по вопросам, было заставить Норова признаться, что он стрелял в меня, уже обезоруженную, сбитую с ног, уже в бесчувственном состоянии лежащую на земле. Комично было слушать осторожные, но вместе с тем ехидные вопросы Соколова и путанные ответы Норова, сознавшего, очевидно, что он попал в смешное положение. Соколов своим красивым голосом отчеканивал, слегка нагибаясь к Норову и сверкая белой манишкой с галстуком:

— Итак, господин свидетель, вы говорите, что подсудимая лежала обезоруженная на земле и ее держали трое полицейских за руки?

— Да, но я заметил, — запинаясь и не находя сразу слова, отвечал Норов, — что она шарила у себя рукой на груди... у нее мог быть еще один револьвер.

— Но вы говорите, господин свидетель, что ее держали трое городских. Значит, она была так сильна, что они не могли справиться с ней?

Уморительно было видеть смущение и досаду Норова. Мы с Васей не могли удержаться от улыбки.

Совсем не то было с Курловым. Для него поставили кресло перед судейским столом, вероятно, для почета, как губернатору, но он стоял, как и все свидетели. Видно было, что он чувствовал себя неловко, смущался, но его смущение было прикрыто большой выдержкой. Мы с Васей глядели на него во все глаза. Как влюбленные жаждут свиданья, так страстно мы ждали, бывало, на воле, его выезда. Целые дни напролет следили мы за его подъездом, оставаясь сами невидимы ему и его охране. Теперь он стоял в трех шагах от нас, он, наш желанный, наш долгожданный. Теперь мы были его пленные, он — победитель. Так было физически, но не было так психологически.

— А скажите, господин свидетель, — как светский дэнди тянул слова Соколов. Дальше следовал какой-нибудь незначительный вопрос, и Курдов отвечал как-то изысканно корректно.

— Я ничего больше не имею спросить у вас, господин свидетель, — небрежно кивнул головой Соколов.

Курлов повернулся, чтобы выйти. Несколько шагов он должен был пройти лицом к нам, совсем близко. Мы смотрели ему в глаза. Помню, я почувствовала на своем лице улыбку. Недобрая, должно быть, была эта улыбка. Все время, пока он стоял перед защитником, он упорно прятал глаза свои, ни разу не взглянул ему в лицо. Теперь он шел, все так же пряча глаза, и вдруг, как будто не в силах противостоять нашему упорному взгляду, он встретился с нашими глазами. Это был только один миг, страшно короткий и замеченный нами, вероятно, только тремя. Взглянул и мгновенно забегал глазами. Этого короткого мгновенья было достаточно для нас: мы прочли в его взгляде молнией пробежавший чисто животный испуг и жалкую растерянность. Не он был победителем!

Кроме Норова, рассмешил нас еще один свидетель — чиновник особых поручений при губернаторе. Рослый, широкоплечий, с тупым откормленным лицом, он напоминал Митрофанушку, затаятого в сюртук. Этот ни капли не смущался и не путал. Оказалось, что он тоже стрелял в меня на площади.

— Скажите, пожалуйста, господин свидетель, — спрашивает Соколов, — зачем вы стреляли в подсудимую?

„Митрофан“ быстро повернулся всем корпусом к Соколову.

— То есть как это зачем?! Они в нас стреляют, а мы будем молчать? — В его тоне было такое глубокое возмущение вопросом защитника, такая неотразимая логика, такая убежденность, что он положительно тронул нас.

Нам ужасно было весело с Васей сидеть и слушать и обмениваться тихими замечаниями. Один раз мы с ним заговорились и не слышали какого-то вопроса председателя. Пришлось кому-то из защитников подтолкнуть Васю.

Оглядываясь по сторонам, я вдруг застыла от неожиданности. Это была бы настоящая ирония судьбы. Над нашими стульями на стене висел портрет моего отца — начальника артиллерии корпуса в Минске. Я шепнула об этом Васе и ближайшему защитнику, минскому присяжному поверенному.

Был объявлен перерыв, и нас повели опять в прежнюю комнату. Мы опять видели Маню и Васиного отца. По требованию защитников нам принесли обед. Мы уселись обедать все трое — Вася, я и Оксенкруг, все это время просидевший на прежнем месте. Прежний офицер часто подходил и любезно заговаривал с нами.

— Вам принесут два блюда, — и он объяснял, какие именно блюда принесут нам. Нам с Васей было так хорошо сидеть рядом и разговаривать полным голосом, не торопясь. Мы рассказали друг другу о своей жизни за этот месяц, о своих мыслях, о Кате.

— Не думал я, — говорил Вася, — что она будет первая из нас троих. Вася говорил, что не хочет, чтобы меня повесили теперь:

— Вы не должны умирать ни за что. Я так хочу, чтобы вы остались жить и отдали себя за что-нибудь большее.

Заговаривали мы с Оксенкругом. Обнадеживали его, что все обойдется благополучно. Я обещала ему сказать на суде, что знаю действительно бросившего бомбу.

Нам подали первое блюдо. Мы с Васей почти не притронулись к нему.

— Сейчас вам подадут котлеты, — подскочил офицер. Смешно все это было — и котлеты и офицер... Все это так не вязалось с тем большим, светлым, важным, чем полны были наши души, что росло все выше, все шире и заслоняло от нас всю маленькую обыденщину, жалкую и смешную. И мы смеялись всему — котлетам, показаниям свидетелей, любезному офицеру, председателю, по словам Соколова, сказавшего про Маню: „Тоже такая же, должно быть, как и сестра — видел я как переглядывалась с Пулиховым...“ Смеялись как-то радостно, как смеются, должно быть, ребята маленькие солнцу и щебетанию птичек. Не было у нас ненависти сейчас ни к тому, кто не выдержал нашего взгляда, ни к убежденному лакею самодержавия, стрелявшему потому, что „они“ стреляют, ни к кому на свете. Ведь все это было такое крохотное, ничтожное, жалкое, все это оставалось позади. Впереди же было только одно солнце, такое сверкающее, прекрасное, что сердце билось от радости. Это солнце была наша идея. Она всегда жила в нас, но жила как-то абстрактно. Теперь же она была здесь, перед нами, в нас. Она и мы это было одно. Она и мы — это было одинаково и равно. Нам с Васей не нужно было говорить об этом друг другу. Мы без длинных слов — по улыбке, по блеску глаз, по радостному беспричинному смеху, по коротким отрывочным замечаниям — понимали друг друга. Пришел какой-то из защитников:

— Пообедали? Сейчас начнется заседание. Мне пришла в голову блестящая мысль:

— Нет еще, нам сейчас принесут второе блюдо, — серьезно заявила я. Я видела, как у Васи запрыгала в глазах улыбка.

— Сейчас подадут, — подбежал офицер.

Защитник ушел. Мы остались втроем — Вася, я и наше солнце. Темным пятном был у нас на душе сидевший с нами рядом Оксенкруг. Этот не знал, куда он шел. Он не видел солнца перед собой. Его, как обреченного быка, тащили на убой. Пришел наш офицер.

— Господа, нельзя больше сидеть. Там суд уже собирается.

— А где же котлеты? Мы ждем их, — опять серьезно сказала я. Офицер ушел. Через пять минут опять пришел.

— Невозможно, господа. Суд уже на местах, а подсудимых нет.

В это время как раз подали котлеты, и мы, удовлетворенные, со смехом поднялись, разумеется, не притронувшись к ним.

Опять мы сидим около отцовского портрета. Он со стены строго слушает, как его дочери уже скрепляют готовый приговор. Соколов придирается к каждому поводу, чтобы требовать отложения рассмотрения дела.

— Нет такого-то свидетеля и он не представил причины своего отсутствия. Это законный повод для отложения суда... В составе суда находятся офицеры...ского полка, расстреливавшего толпу 18 октября... их следует удалить, как заинтересованных лиц, и т. д. и т. д. Мы с Васей только диву давались, как неистощимы были его „крючки“. Почти после каждого такого его заявления суд удалялся на совещание и возвращался с неизменным ответом:

— Заседание суда продолжается.

Говорили защитники. Васин защитник по назначению старался бить на чувства и выгораживал Васю иногда такими путями, что нас коробило, и Вася еле усидел. Мой защитник по назначению предоставил всю защиту всецело Соколову. Последний защищал сразу нас обоих. Он обложил весь стол перед собой томами законов и сыпал через каждую фразу „такая-то страница, такой-то том“.

Давали мы свои показания (от последнего слова мы отказались): Вася, а потом я. Говорили о действиях Курлова, Норова, о расстреле 18 октября.

— Вы заметили, как часто председатель менял караул во время речей ваших? — шепнул нам Соколов во время одного из маленьких перерывов. Это был факт. За 15–20 мин., когда мы говорили, он успел переменить караул несколько раз. Боялся, вероятно, что еще, чего доброго, наберутся крамолы.

Говорил прокурор, громко, отчетливо, отрубая каждое слово. Говорил он очень мало. Закончил эффектно, особенно громко и энергично:

— По закону полагается подсудимым только один вид наказания: смертная казнь.

Последние слова он выкрикнул, как провинциальный трагик. Суд удалился.

— Ивану Пулихову за такое-то преступление, предусмотренное такой-то статьей, — смертная казнь через повешение.

— Александре Измаилович за такое-то преступление, предусмотренное такой-то статьей, — смертная казнь через повешение.

— Уведите подсудимых.

Я шепнула Соколову о своем намерении. Соколов встал.

— Подсудимая Измаилович хочет дать свидетельское показание по делу Оксенкруга.

Председатель сморщился:

— То-есть, какое это показание?

— Я знаю того, кто бросил бомбу в полицмейстера Норова. Оксенкруг не имеет к бомбе никакого отношения.

— А вы назовете нам фамилию настоящего виновника? — отвратительно ехидным тоном спросил председатель.

— Я могу назвать только его имя (еще на воле мне удалось узнать, что полиция случайно знает его имя). Его зовут Самсон. Фамилии его я не назову. Оксенкруга же осудят заведомо невинного.

— Тогда ваше показание не имеет никакого значения. Уведите подсудимых.

И он удалился со всем составом для составления приговора в окончательной форме.

Нас увели опять туда же. Так эффектно выкрикнутые прокурором слова „смертная казнь“ имели видимо свое действие: тупые равнодушные раньше лица солдат и офицеров, мимо которых нас проводили опять, теперь были не те. Во все глаза глядели они на нас с Васей, и в этих глазах было что-то новое, не то ужас, не то жалость, не то уважение. Когда мы проходили опять мимо Мани, она посмотрела на меня опять с улыбкой и сказала:

— Вздор. Не повесят.

Чего стоила ей эта улыбка, каких громадных, нечеловеческих усилий. Она, эта улыбка, вышла такая бесконечно печальная, что у меня сжалось сердце и так бесконечно захотелось ее обнять и поцеловать. Ее фраза была ужасно трогательна, но она ничего не могла дать нам. А мы, жалкие, нищие, по мнению всех тех, кто смотрел на нас, с застывшим ужасом в глазах — ведь у нас отнимали наше последнее достояние — жизнь, — мы были богаче всех их... Мы были величайшими обманщиками в тот миг. Нам подавали милостыню, а мы были горды своим богатством. Ведь у нас было то, чего не было ни у кого из них, жалеющих нас — у нас было наше солнце...

Привели опять. Прочли опять то же о смертной казни, только подлиннее и потуманнее. В передней мы крепко расцеловались с Васей и пожали друг другу руки — думали, что это в последний раз.

Опять страшно быстрая езда по городу со скачущими со всех сторон казаками и конными городовыми. Только теперь светлый день. — Было, кажется, часа четыре. Не было на тех улицах, где мы проезжали, ни прохожих, ни проезжих: все вокруг суда и по дороге из суда в тюрьму было оцеплено. Странно было видеть днем как бы вымерший город, а мы еще проезжали по самым оживленным улицам. Я видела, как из лавки вышел какой-то юноша и сейчас же должен был спрятаться туда же, так как конный городской подскочил к нему и повелительно махнул рукой. Во многих окнах я видела прильнувшие к стеклам лица,

серьезные и какие-то испуганные.

Помню только одно лицо улыбнулось мне хорошей, светлой улыбкой, то было лицо девочки лет 15–16, поклонившейся мне.

Подъехали к тюрьме. В конторе сидел Вася, ехавший впереди меня. Не знаю почему, но вышло так, что мы с Васей пробыли в конторе вместе минут 10–15.

Мы слышали, как пристав, просивший меня в участке, „как человека“, сказать ему мою фамилию, говорил тюремной администрации:

— Сдаю вам их с рук на руки. Поместите их в прежних камерах.

У меня сердце екнуло при мысли, что нас могли поместить не в прежних камерах. Пристав подавал дежурному помощнику бумагу:

— Вот разрешение сестрам Измаилович и отцу Пулихова на три свидания.

Удивительная гуманность. Говорят, они всегда гуманны к приговоренным к смерти. Пристав вполголоса рассказал дежурному помощнику и еще какому-то высокому с угрюмым лицом в полицейской форме о приговоре.

— Очень хорошо, — громко заластил высокий, взглянув на нас, — бомбой сколько людей могли искрошить...

— И ведь не нас одних убиваете, — запел Лазаря красноносый пристав, — у нас у всех есть семья, уу, убили бы вы меня, а у меня пять человек детей. Что им, с голоду умирать прикажете?

Я уже не в первый раз слышала эту песню, ту же песню он пел на все лады в участке, упрасывая меня назвать свою фамилию в надежде, вероятно, заработать лишний грош для своих пятерых детей.

— Перевешать бы их всех, — говорил сумрачный высокий. Один плакался, другой злился, а мы прощались, как будто бы не было рядом этих людей из другого враждебного мира.

— Интересно знать, через сколько дней нас повесят, — со спокойной задумчивостью говорил Вася. — Я все-таки думаю, что они нас не повесят. Знаете, Саня, милая Саня, когда я буду умирать, последние мои мысли будут о вас и о Кате. Вы и не знаете, как я любил вас обеих.

Это уже не был всегдашний Вася, застенчивый, говоривший о работе, о хорошем стихотворении, о философии Канта... о чем угодно, только не о своих чувствах. Я замечала не раз на воле, что в его глазах светилось хорошее большое чувство ко мне и Кате, но никогда не сказал он о нем ни слова...

Теперь говорили не только его глаза, говорил он сам, говорили его руки, крепко сжимавшие мои, говорили его губы, крепко прижавшиеся к моим губам...

Его звал помощник идти в камеру. А он все жал мою руку и шептал:

— Саня, милая Саня, живите...а мне хорошо... Его увели... Больше я его не видела.

Минут через пять повели и меня. Почти все были у окон.

— Какой приговор, — крикнул кто-то.

— Обоим веревка, — ответила я. Карла не было у окна.

Моя башня за полсуток моего отсутствия, успела принять нежилой вид. Печка была холодная. Книги, полотенце, подушка и прочее было куда-то вынесено. Тюфяк лежал скомканный.

— Думали, что вас поместят еще где-нибудь, — пояснил мне старший.

Все принесли. Стучу. Мне выстукивается необычный вопрос: кто стучит? Отвечаю. — Не верят: — пароль? Этого никогда не было. Всегда я требовала пароля, а не он. Выстукиваю все три слова: „Боже, царя храни“. Только когда я кончила третье слово, мне поверили. Тихий апатичный стук сменяется нетерпеливым. Он думал, что меня не приведут больше в мою башню, что нас разлучат, что он будет один... но были опять вместе, и он был безумно рад.

Я отдала ему краткий отчет обо всем, бывшем на суде, откладывала подробности до письма.

Карл говорил о том, что по странной тишине внизу он догадался, что меня увезли на суд. Говорил о том, что не по себе чувствовали себя все товарищи на прогулке. Пустое окно было, как покойник.

Суд ничего не изменил в наших предположениях. Мы знали вперед, какой будет приговор, и мы говорили по-прежнему о любви, о счастье, о том, что такая смерть, которую умираем мы, революционеры, тем прекраснее, чем больше, сильнее любишь жизнь...

Вечером, после поверки, Карл простучал мне, что привезли Оксенкруга. Ему — тоже смертная казнь. Это было страшно.

* * *

Полились дни, именно полились, как бездонной глубины река плавно и сильно льет свои воды под солнцем, сверкающим на голубом, праздничном небе. Это был сплошной праздник. Великий праздник...

Не было ни в душе, ни в мыслях ничего пошлого, мелкого, сорного, будничного. Было ясно и безоблачно хорошо. Постоянно ловила на своих губах улыбку. Она, эта улыбка, казалось, не хотела сходить с лица во сне.

Внешне жизнь шла по-прежнему ровно и однообразно, не сопровождаясь никакими событиями. Так же гуляли мужчины, и я разговаривала с ними через окно. По вечерам, перед поверкой, Оля стала разговаривать со мной из своего окна каждый день. Так же по вечерам мы беседовали с Карлом часов до 3–4 утра. Ходила на свидания к сестрам в контору.

Они старались быть непринужденными и даже веселыми, но плохо у них выходило.

Прежнее сознание, что конец близок, что некогда, выросло. Надо было спешить. И все, что я делала, о чем думала раньше, освещенное этим сознанием, стало во сто крат ярче, сильнее, выразительнее. Казалось, что нервная система моя переродилась в другую, высшего порядка, несомненно более тонкую. В душе явилась необыкновенная громадная любовь ко всем товарищам, ко всем людям, ко всему миру.

Это она, эта любовь прорывалась у меня в улыбке, не сходящей с лица, в сладком сжимании сердца, ощущаемом физически, в захвате дыхания от какого-то безотчетного восторга, находившего временами на меня.

Казалось, что я перенеслась в другую атмосферу, свойство которой увеличивать во много раз звуки, краски, сравнительно с атмосферой воздушной. Я никогда не любила так жизнь, как в эти дни „щюсияния“. Никогда не говорило мне так много солнце, голубое небо, верхушки деревьев за стеной, резко вырисовывавшиеся на вечернем лиловатом небе. Любовь, переходящая в тихий восторг, в сияние души, была основным настроением. От нее не отделялась грусть, но какая-то особенная грусть, какая-то безмятежная, кроткая: эти деревья зазеленеют весной, они будут жить, думала я, а я не увижу их, я не увижу больше жизни. Это было грустно не увидеть их расцвета и уносить их с собой мертвыми.

Читали газеты. Подвиги семеновцев на Николаевской жел. дор., десятки трупов на снегу...¹⁷⁵ Я ясно видела, как резко чернеют они на сверкающем белом снегу... Смертная казнь за газетную статью... Победоносное шествие Ренненкампа и Меллер-Закомельского по Сибири...¹⁷⁶ Письмо Спиридоновой...¹⁷⁷ Все это до ужаса не вязалось с содержанием

¹⁷⁵ Имеются в виду бессудные расправы солдат и офицеров Семеновского гвардейского полка с лицами, заподозренными в участии в Декабрьском восстании в Москве.

¹⁷⁶ Генералы П. К. Ренненкампф и А. Н. Меллер-Закомельский командовали войсками, подавившими революционные выступления в ряде городов Сибири.

¹⁷⁷ Речь идет о письме М. А. Спиридоновой, переданном на волю из тюрьмы и опубликованным в газете «Русь», а затем и в ряде других изданий. В письме рассказывалось об избиениях и издевательствах, которым подверглась Спиридонова после покушения на губернского советника Г. Н. Луженовского

последней страницы газеты, в которой все так же, как в 5–10-15 лет тому назад печатали, какие пьесы пойдут в каком театре, кто как одет, кто играл в таком-то концерте...

Хотелось знать, кто победит. Хотелось знать, когда и какая будет победа или поражение. Хотелось дожидаться, видеть, праздновать ее. Хотелось знать, скоро ли пожрут себя сами такие великолепные экземпляры вида *Homo sapiens* с головой, иначе мыслящей, чем обыкновенный человек, с сердцем, иначе бьющимся, — такие выродки, как Ренненкампф, Закомельский, Риман...¹⁷⁸

Хотелось видеть, во что обратятся все негорячие и нехолодные с серым пятном вместо лица, те, которые, как и два года тому назад, ходят в Мариинку и к Немецки и досадливо отмахиваются от революции, из подполья вышедшей на улицу, заполнившей все газеты, журналы, книги. Где они будут? С кем они будут. Загорятся ли огнем веры и силы или вымрут незаметно и тихо?

О третьих, тех, для кого строились виселицы и работали пулеметы, — я не спрашивала. Я знала, что за ними все — и закон развития, и нетронутая сила, здоровая, неизвращенная мысль, и ярким огнем горящая вера. Уверенность, что они победят, ни на одно кратчайшее мгновение не колебалась во мне. Верилось в скорую, в страшно скорую победу. И хотелось видеть ее, ощутить на секунду опьянение победой. Хотелось уйти, унося с собой не серые сумерки, молчание, голые деревья, мертвый снег, а уйти, упившись, хотя на один миг, блеском солнца, ликованием победы и людей и природы. И было грустно уходить, не зная, когда и как совершится долгожданное. Ночью, в самом прямом смысле этого слова, не хотелось уходить. Хотелось умереть при свете солнца. От увоза нас с Васей на суд ночью у меня осталось впечатление чего-то отвратительного, воровского. Хотелось умереть не среди мрака, а среди света жизни, чтобы смерть слилась в один аккорд с жизнью, а в жизни моей, последние годы, солнце светило всегда, даже в самые темные минуты. Карл не верил, что меня повесят.

— Пожалуйста, не воображай, — старался он шутить, быть второй Перовской. Этого не будет. Ты будешь жить.

Тогда еще никто из женщин не висел в петле после Перовской. Еще не было тогда Коноплянниковой, Бенедиктовой, Мамаевой, Шерешевской.¹⁷⁹

Прочли в газете о суде над бросившими бомбу в черниговского губернатора. Мужчина был повешен, женщине смертная казнь была заменена бессрочной каторгой.

Раз вечером раздается стук в мой потолок. Я настораживаюсь и не отвечаю: стук, очевидно, не Карла, а кого-то другого — он никогда не стучит так громко и резко. Еще и еще призывный стук. Молчу.

Начинают выстукивать какие-то слова, громко и со страшной быстротой. Я останавливаю и стучу — пароль. В ответ поднимается ужаснейший стук, он все растет и растет. Кажется сейчас потолок треснет и упадет:

— Черт царя бери.

— Это ты, Карл?

— Я, я, я.

— Ты с ума сошел. Стучи тише. Не унимается.

— Да, я с ума сошел от радости. Ты будешь жить.

— Тебе приснилось.

— На поверке помощник сказал, тебе казнь заменена каторгой. Это факт.

— Если ты будешь так бесноваться, я не стану говорить с тобой.

¹⁷⁸ Полковник Н. К. Риман — один из руководителей подавления Декабрьского восстания в Москве.

¹⁷⁹ В феврале 1906 г. С. Л. Перовская, руководившая покушением на Александра II 1 марта 1881 г., все еще оставалась единственной женщиной в России, казненной за политическое преступление; далее мемуаристка перечисляет женщин-террористок, казненных в последующее время. Справки о них см. в Указателе.

В ответ целый град ударов бестолковых, тяжелых, как будто разбивают потолок. Так и не удалось мне уgomонить в этот вечер обезумевшего. Я с минуты на минуту ждала, что ко мне или к нему явятся узнать причину грохота. Раз десять бросала разговаривать. Он начинал стучать обыкновенно, но потом опять прорывалось его беснование.

О Васе ничего не было известно. Обо мне были какие-то частные слухи, но достоверные, как говорил Карл.

На другой день у меня было свиданье с сестрами. Оказалось следующее. Женя ездила в Вильно к командующему войсками просить обо мне. Его она не видела, но видела какого-то адъютанта, который обещал передать ее просьбу. Она вернулась в Минск и получила от этого адъютанта извещение, что смертная казнь мне заменена каторгой. Она мне рассказывала об этом, робея... с предисловием, чтобы я не сердилась на них, что я должна войти в их положение.

Я понимала, что мое возвращение к жизни было заранее предусмотрено, что поездка Жени в Вильно ничего фактически не изменила. Но мерзко стало на душе от их преступления. Это был первый ком грязи, который жестоко вывел меня из моего волшебного мира, но вывел все-таки не совсем. У меня нашлись силы отделить мое „я“ от поступка Жени. Я не хотела этого. Я не думала о том, что они могут сделать. Я думала, что Катина смерть и то, что пережили они за дни моего суда, сделает их сильными и выросшими. Действительность посмеялась надо мной. В моем мире все было так прекрасно, так гармонично. Они обманули мою сказку, меня. До боли было грустно сознать, что они еще не выросли. Грустно было за них. Они оскорбили сами себя передо мной. Меня же лично они не могли оскорбить.

Понятие „смерть“ сменилось понятием „жизнь“... В первые минуты я мало увидела разницы между ними. Ведь когда я представляла себе смерть, я, собственно, думала о жизни. Смерть представлялась мне в виде последних мгновений жизни, интенсивнейших, страшно остро-сознаваемых, в которых, как в фокусе, сгустилось бы все пережитое и понятное мною. А ведь это был апофеоз жизни. Это же не была смерть. А после всех этих величайших мгновений наступает тьма, небытие — это само по себе мне не нравилось. Я ведь хотела жизни, я ведь любила жизнь, я ведь поклонялась жизни в ее различных проявлениях — от лучезарной идеи до зеленого леса, уснувшего над рекой. Катя умерла, но для меня она не была мертвой. Я видела ее такой, какой она стояла перед пулями, я переживала за нее то великое, что переживала она в последние свои мгновенья. Смерти не было, когда я думала о Кате. Не было ее и передо мной. Когда опускается занавес, перед очарованным зрителем, то он не плачет, что нет больше того, чем он наслаждался. Нет, он весь полон тем, что было, он радуется бывшему и продолжает еще жить им. Так должно было быть и со мной. То, что я переживала, было такое большое и яркое, что оно закрывало собой ту мысль, что оно будет последним и больше ничего не будет.

Я осталась жить и благословляла жизнь. Благословляла жизнь, благословляла деревья, которые распускаются, и я увижу их, благословляла горячее солнце, которое будет еще ласкать меня, те души людей, которые встречу еще, благословляла солнце, наше солнце, которое будет продолжать светить мне, как светило сейчас. В дни ожидания смерти я написала карандашом на стене слова русалки из стихотворения Бальмонта... Вот она выплывает из своей глубины наверх, встречает восходящее солнце и, умирая, говорит (помню приблизительно слова):

— Я видела солнце. Что после, не все ли равно.

Теперь я думала, что это „после“ у меня не будет. Что солнце всегда будет со мной. В безумной гордыне я возомнила, что солнце не уйдет от меня, что я „просияла“ на всю жизнь, что тот праздник, который переживала я, будет у меня всегда. Я забыла, абсолютно забыла о существовании мелочной жизни, о пыли, грязи, тине... Только свет, слепивший глаза, был передо мной. Только чудный гимн звучал у меня в ушах. И я со страстностью, с упоением благословляла жизнь. — Это было давно...

* * *

На другой день, после своего беснования Карл простучал мне, что занимается устройством Васиного побега.

— Твоя жизнь уже факт: Васю же могут повесить, и его надо вырвать, — стучал он.

Через несколько дней после этих слов я, вернувшись из конторы со свидания с сестрами, нашла в своей башне следы особенно тщательного обыска, видно было, что даже лазили на печку. Над головой я услышала топот ног и какую-то возню. Вечером Карл простучал мне:

— Все пропало.

Оказалось, что Вася должен был в этот день вылезть через дыру в своем потолке в камеру уголовных и, переодевшись уголовным, уйти сейчас же, кажется, с Сатаной и еще одним уголовным каторжанином, каким угодно путем. В последний момент сообщники Васи проломали дыру в его потолке. Васе оставалось только подняться. Зашел совершенно случайно надзиратель. Дыра была замечена. Все погибло. Сейчас же явились ко мне с обыском, затем наверх к Карлу. Карл говорил, что особенно тщательно осматривали они стену — непосредственное продолжение моей избитой стены. И, видимо, остались удивлены, что она не тронута (как будто у Карла не было пола).

Карл был убит, подавлен. Он с головой ушел за эти дни в подготовку свободы и жизни для Васи. Успел уже поверить, что Вася будет свободен, и вдруг эта проклятая, ужасная случайность. Зайди надзиратель на полчаса позже, и он нашел бы уже Васину камеру пустой.

* * *

Помню, был солнечный зимний день перед закатом, 24 февраля. В открытую форточку ко мне доносилось веселое щебетанье воробьиного хора. Они как будто встречали весну, еще далекую, но уже чувствуемую ими. На душе у меня была обычная для всех этих дней ясная, прозрачная безмятежность. Помню, я ходила по башне и слушала свои мысли. Вдруг тишину и воробьиное щебетанье пререзал громкий знакомый голос:

— Товарищи, сейчас на свиданьи отец сказал мне, что мой смертный приговор утвержден.

И опять тихо. Но казалось, что тишина повторяет последние четыре слова — „мой смертный приговор утвержден“ — так отчетливо и звонко отчеканивалось каждое слово в морозном воздухе.

Мы уже начинали думать, что Вася останется жить — 8 дней прошло со дня суда, а за ним все не приходили и ничего не было известно о нем. В этот день только Оля сказала мне через окно:

— Когда мы узнаем, что Васю не повесят, тогда мы отпразднуем сразу вас обоих...

В этот вечер мы говорили втроем с Карлом — я и сосед Васи, один из обитателей общей камеры, смежной с Васиной башней. До меня, впрочем, долетали только обрывки стука последнего, но Карл передавал мне, что говорил последний, а через него Вася. Вася говорил о том, как он встречает смерть, как он силен и счастлив сейчас.

Этот последний стук был напечатан через несколько дней, отдельным листком минским комитетом с. — ров.

— В горящем доме разбитых стекол не считают, — так сказал Дурново,¹⁸⁰ — стучал Вася. Я только одно из этих стекол в многоэтажном здании самодержавия и капитализма. Пусть будет так, но я счастлив тем, что, пока я жил, сквозь это стекло проникал хотя тусклый свет во внутрь здания. А здание горит... Пусть моя жизнь сегодня оборвется, но сквозь

¹⁸⁰ Пулихов цитирует высказывание тогдашнего министра внутренних дел П. Н. Дурново.

разбитые стекла, я верю, ворвется внутрь порывистый ветер, еще ярче раздует горячее пламя — и старое здание, наконец, рухнет.

Я счастлив. Клянусь вам, я не лгу. Как горячей волной смыло с меня в эти минуты мысль о вас, моих близких, дорогих. Прощайте...

Карл рассказывал об импровизированном свидании его с Васей. Когда Васю вели из конторы после свидания с отцом, все камеры в их коридоре заперли, как и всегда.

— На меня нашло безумие, — рассказывал мне Карл. — Я стал стучать в свою дверь настойчиво и требовал, чтобы меня открыли. После долгих уговоров и ворчания, я своим безумством заставил их открыть мою дверь. И вот проводят Васю после того, как он крикнул во дворе о результатах своего свиданья. Я стою около самой двери в коридоре. Он подошел ко мне, положил мне руку на плечо, смотрит мне в глаза, улыбается, как-то весь улыбается, особенно как-то хорошо, говорит мне: „Как хорошо, брат Карлуша“... А помощник, который его провожал, стоит поодаль, ничего не говорит. Как благодарен я был ему. Стояли мы так минуты две, наверное. Он сказал, что ему обещали дать свидание с тобой... И все улыбается... Крепко расцеловались мы, и его увезли...

Я радовалась не меньше Карла этому неожиданному свиданию...

* * *

Понять не могу, почему я и Карл, мы оба, как-то по-дурацки, без всяких оснований были уверены, что в эту ночь еще Васю не возьмут от нас. Мы как всегда, легли поздно, что-то около 2-х часов. Пробуждение было ужасно. Проснулась я от сплошных стонов, рыданий. Совершенно темная ночь и, кажется, это она, ночь, стены, решетки, темнота стонут и дико вскрикивают. В один миг мне стало все ясно. Подбежала к окну — слабый отблеск фонаря на снегу, шагает часовой... Зачем-то спрашиваю его, — что это такое? — Молчит... Шагает...

Из общего хаоса ужаса и смятения начинаю различать женские стоны, истерические рыдания и какие-то странные отрывистые фразы, выкрикиваемые мужскими голосами. Нельзя было разобрать, что они кричат — делились ли они друг с другом ужасными подробностями или в безумном бессилии гнева и отчаяния посылали в ночной мрак бешеные проклятия. Самое ужасное это были выкрики. Стоны и истерические рыдания рядом с ними были обыкновенны. В них, в этих беспорядочных отрывистых выкриках до боли чувствовалась вся громадность ужаса сознания бессилия в минуту, когда сердце разрывается от огненной ненависти, когда душа рвется помешать совершиться позорному, страшному делу, рвется... и видит свое бессилие...

Помню, у меня не было ни единой слезинки, только дрожала я всем телом, как в сильнейшей лихорадке. Душа же была, как холодный камень.

Утром на поверке спросила надзирателя:

— Пулихова повесили?

Он молча, не глядя на меня, кивнул головой.

Скоро после утренней поверки торжественно и печально мужчины запели: „Вы жертвою пали...“. Тут вдруг моя окаменелость исчезла, из глаз брызнули слезы.

Они dokonчили весь похоронный марш и опять запели конец: „Прощайте же, братья, вы честно прошли...“. И много, много раз повторяли это скорбное „прощайте“. Кто-то стал говорить громко и горячо. Я узнала голос Михаила. Что он говорил, я не слушала. Пели опять похоронный марш. Потом замолчали на минуту и запели где-то в противоположном конце корпуса. После я узнала, что перед тюрьмой собралась толпа, и товарищи выкинули из окон тюрьмы черные флаги. Я видела, как прошел начальник мимо моего окна, как часовой смотрел на все верхние окна. Ольга крикнула мне в окно:

— Сегодня у нас объявлена голодовка. Вечером мы не будем зажигать огня.

Я стучала несколько раз Карлу, он отвечал, но потом сейчас же замолчал, почему, я не знаю.

— Прощайте же, братья... рыдали звуки еще и еще со скорбной настойчивостью, и, казалось, тот, кого уже не было, с кем они прощались, слышит их рыданье. Мне вдруг стало горько, что никто не пел, когда умерла Катя, что мы с Карлом, прячась от всех, потихоньку оплакивали и похоронили ее. Захотелось крикнуть: „Вася не один, они взяли еще Катю, пойте им обоим...“. Они пели, а мертвые пришли ко мне, только они были живые — они сверкали своей жизнью. Их было теперь трое — Катя, Вася и юноша Гиршкевич — с чистой, нежной душой ребенка. Одну пристрелили, как бешеную собаку, двоих удушили...

Вот Вася, молчаливый, застенчивый, правдивый... Только вдвоем с собеседником он делается разговорчивым. Тогда он говорит долго и много. Он редко выскажет свою мысль готовую, почти всегда он покажет всю ее от момента ее рождения до момента расцвета, в полной определенности и законченности. В этом есть какая-то своеобразная честность. Может быть, эта черта появилась у него потому, что он почти всю свою жизнь был один и говорил о серьезных глубоких вещах только с собой. Он был старший в огромной семье всех возрастов. Мать умерла, отец женился на другой. К прежней семье присоединилась еще новая. Здесь, в семье он был совершенно один. Семья кое-как перебивалась в крохотном собственном» домишке в грязном переулке на грошовое жалованье отца-землемера. Что-то с 3-го или 4-го класса Ваня (это было его настоящее имя, но мы всегда его звали Васей, так крепко привилась к нему эта конспиративная кличка, как и к Карлу его конспиративное Карл) начал давать уроки. С шестого класса он уже порядочно зарабатывал и жил отдельно от семьи. Судьба натолкнула его на старого революционера: он нанял комнату у одного бедного чиновника, идеалиста и революционера. Тот открыл ему глаза на все. Из квасного патриота Вася стал красным. В 7-м классе он решает заняться языками, чтобы поступить в университет. Всегда примерный, старательный ученик, он демонстративно забрасывает все учебники, говорит какую-то дерзость преподавателю и выходит сам из реального училища и едет в Питер. Университет рисуется ему настоящим храмом наук, куда входят с обнаженной головой и чистым сердцем. Он идет туда с благоговением. Разочарование тяжело. В Питере он страшно бедствует. Пока были земляки-товарищи, он кое-как перебивался с их помощью. Но летом, когда они разъехались, ему пришлось плохо. Ночевал в садах и скверах, — не раз городские стаскивали его со скамеек, — или в ночлежном доме. Дни проводил в публичной библиотеке. Раз он пришел в библиотеку совершенно измученный от голода и бессонных ночей, вооружился большим фолиантом и под защитой его заснул. Книга с шумом выпала из рук, и он сам чуть было не упал. Сгорел было со стыда, но спасла счастливая мысль: изобразил обморок. Рассказывал он о своих питерских злоключениях всегда весело, с улыбкой, в шутилой форме. В Питере он сел по пустячному делу в предварилку. Просидел, кажется, 8 месяцев. С удовольствием вспоминал он библиотеку предварилки.

— Грустно было уходить отсюда — не успел кончить Маркса «Капитал», — с улыбкой вспоминал он, — ведь наша доля такая — только в тюрьме и читаешь.

Оторвав от Маркса, его выслали на родину в Минск, Здесь он жил уроками. Зарабатывал по-нашему много, рублей 60 и почти все деньги отдавал с. — ровскому комитету, как и все время, свободное от уроков. Здесь я познакомилась с ним на работе.

Помню, как раз зимнею ночью мы возвращались с ним откуда-то и он, как всегда, когда бывал вдвоем с человеком, к которому успел привыкнуть, разговорился по душе:

— Я не могу считать себя членом партии, — говорил он. — Я признаю в теории террор, но могу ли я сам выступать, как террорист, не знаю.

Помню, он говорил это взволнованно, с тоской. Видно было, что его страшно мучит такой разлад между его теорией и практикой.

— Я не могу представить себя убивающим человека. Я не могу не видеть человека в том, кого мы убиваем. А человек ведь это так много. Может быть, я перешагну со временем через это — вырасту... не знаю... Но сейчас я не террорист.

Прошло два года после этого. Вася шел на Курлова.

Похоронный марш смолк давно. Мое бесконечное шаганье по диаметру башни прервали — принесли обед. Я отправила его назад.

Перед вечерней поверкой Оля крикнула мне в окно:

— Не отправляй назад чай — голодовка кончилась.

— Почему?

— Так, потом скажу.

Спустились сумерки. Отворяется дверь в обычный час поверки. Но на этот раз поверка необычайная. Вваливаются помощник, старший и несколько надзирателей. Один из них с зажженной свечей прямо идет к моей лампе зажигает ее. Я гляжу молча на эту контрдемонстрацию и прежде, чем они выходят из камеры, тушу эту лампу. Они делают вид, что не замечают, а может быть, правда, не видят и уходят.

Я никогда не видела Карла таким, как в этот вечер. Этот день для него был невероятно тяжел. В его сегодняшнее горе вторглась пошлость окружающих маленьких людишек, доведшая его до белого каления.

— Зажги лампу, — стучал он мне. — Позорно участвовать в этой бесстыдной комедии. Я сейчас зажгу. Я не хочу быть вместе с ними.

Оказалось, что голодовка была прекращена потому, что порядочная часть «всякой сволочи», по выражению озлобленного Карла, роптала, ела потихоньку и, наконец, стала есть открыто. Во время утреннего пения разыгралась отвратительная сцена. Народ все прибывал к стенам тюрьмы. Тюремная администрация пришла в смятение и явилась к певшим отбирать флаги и прекратить пение. Те не хотели отдавать флагов. Тогда к тюремщикам присоединилась благонамеренная часть «товарищей» и помогла отнять флаги.

— Я не был там, — говорил мне Карл, — я знал, что произойдет что-нибудь с нашими буржуями. Если бы ты видела их трусливые физиономии. Брр-р-р-р... Мне больно за Васю. Что общего между Васей и ими!...

Я спросила Карла, почему он сегодня несколько раз прерывал свой стук на полуслове.

— Я не мог, — ответил он, — когда умерла Катя, у меня не было слез, сегодня же я плакал, как ребенок.

* * *

На другой день уголовные (они уже давно стали заговаривать со мной на своей прогулке) рассказывали мне, что они тоже вечером сидели без огня и часть их тоже голодала.

— А политические — не все настоящие, есть совсем плохой народ у них... — пренебрежительно вздернув плечами, говорил смуглый юноша с интеллигентным лицом и задумчивыми карими глазами, «Володька», как звали его все уголовные. Когда я была уже в Москве, в минской тюрьме произошла стычка между несколькими уголовными и администрацией, в результате которой уголовный один был тяжело ранен, ему ампутировали ногу, а через несколько дней он умер... Это был «Володька». Его первого я разглядела из общей массы уголовных, он резко выделялся из них интеллигентностью своего лица и манер.

— Почему вы не боитесь идти на смерть, а они всего боятся? — угрюмо спрашивал он.

К нему присоединились другие. К окну вдруг близко подбежала небольшая, юркая фигурка «варшавяка» с всегда напوماженной и расчесанной на пробор головой. Быстро и горячо стал он говорить с сильным польским акцентом, что он знает, кто был палачом Васи.

— Это старший, Олейчик. Он еще толкнул Пулихова в воротах, наши видели. Он и петлю затянул. А другой надзиратель лампу держал.

— Проходи, чего болтаешь, — сумрачно кинул часовой. Варшавяк подскочил к нему. «Чего болтаешь. Правда это».

Теперь он стоял, окруженный еще несколькими и все они, перебивая друг друга, говорили, что кто-то из них видел на стене арки между внешними и внутренними воротами, где вешали Васю, кровь, ругали Олейчика отборными словами, рассказывали, как прогнали

его сегодня с поверки, как будут теперь всегда гонять.

— А политические принимают его, говорят: «надо проверить раньше», — жаловался варшавяк.

В этот день и в следующие я не раз слышала, как из окна слышались злобные голоса: «А, палач, кровопийца...» и т. д. вплоть до нецензурной ругани. Это провожали Олейчика, когда он шел мимо окон.

На другой день Олейчик, старик с суровым лицом, с маленькими злыми глазами (это он, когда я только что пришла в тюрьму, наврал мне про Катю), в один из своих обычных приходов остановился около двери, не уходил почему-то. Я, не обращая внимания на него, ходила по камере. Он нерешительно начал:

— Вам уже успели наговорить на меня... Неправда это, врут...

Я остановилась и в упор глядя ему в глаза спросила:

— Вы повесили Пулихова?

Он как-то затрясся весь и плачущим голосом зачастил:

— Не я... не я... провалиться мне на этом месте. Да мне кусок в горло не идет, как я узнал, что его повесили... Да чтобы я... двадцать пять лет служу. Дети у меня малые есть... А я вдруг...

Несколько дней после этого он не появлялся ко мне и совсем не был в тюрьме, говорили. Уголовные объясняли его отсутствие страхом:

— Мы сказали, что убьем его, а не пустим к нам. Приезжал прокурор и как будто бы дал честное слово, что Олейчик не был палачом. Страсти утихомирились, и старик опять появился в тюрьме. Не знаю, правы ли были его обвинения. Карл думал, что Олейчик легко мог быть палачом. Уже здесь на каторге, совсем недавно я прочла в партийной с. — ровской газете корреспонденцию из Минска о порядках в тюрьме. В ней фигурирует Олейчик: политическому была передана во время свиданья записка, стража увидела. Олейчик, ведя его со свиданья, разжал ему рот, когда тот хотел проглотить записку, и избил его по лицу связкой ключей.

На другой день после казни Карлу передали последнюю Васину записку к нам обоим. Записка осталась у Карла. Он только простучал мне ее содержание. Не помню точно ее. Помню только, что совсем коротенькая, она была вся полна любви и нежности к нам обоим...

* * *

Протекли опять дни. Оксенкругу заменили казнь 15-летней каторгой. Из тюрьмы было послано в газету «Русь» заявление о невинности Оксенкруга за подписью, кажется, 140 политических. Результат был один. В тюрьму приехал прокурор навести справки, каким образом заключенные могли передать из тюрьмы письмо в «Русь». И только.

Все было по-прежнему, только Васина башня была пуста. Ольга не ходила на прогулку много дней подряд. «Не могу, — писала она мне, — всегда говорила с Васей, а теперь пусто».

Через несколько дней после казни в тюрьму привели несколько гимназистиков. Они на перемене ходили по гимназии с черным флагом и пели вечную память Васе. Потешен был один карапуз лет 13, розовый, пухлый, но страшно важный. Карл на прогулке привел его к моему окну и, улыбаясь во весь рот, слушал, как тот детским крикливым голоском рассказывал мне, что он знал, что его арестуют, и несколько ночей не ночевал дома; наконец, раз остался дома на ночь, и за ним пришли.

— Я думал, будут бить в участке, но ничего, обошлось корректно, — рассказывал он.

Ужасно было трудно без улыбки смотреть на несоответствие между детским личиком и его недетской речью.

Через несколько дней после его ареста, перед вечерней поверкой, тишину прорезал звонкий, детский, громкий голосок:

— Товарищ Измаилович, меня выпускают и моих товарищей тоже, до свиданья.

Это уходил милый карапуз, не забыв на радостях «товарища Измаилович». О, какой гордостью, вероятно, он был полон и какой детской радостью, когда шел из тюрьмы домой, он, узнавший в свои 13 лет, что такое нелегальное существование («ночевал не дома несколько ночей»), и побывавший уже в тюрьме.

Уголовные уже не ограничивались одними разговорами со мной на своих прогулках, а передавали мне через окно подарки. Оригинальны были эти подарки и немало смешили меня: носовой платок с цветной каймой, красные бантики, а «варшавяк» подарил мне ярко-желтые подвязки. К подаркам обыкновенно прилагалась записка с именем, отчеством и фамилией дарившего. «Сатана» был уже не только моим почтальоном, но и корреспондентом. Его длинные, безграмотные письма были наполовину заполнены откуда-то выкопанными трогательными стихотворениями, наполовину планами своего будущего действия.

Он мечтал о том, что, когда я и он будем на воле, он вступит в мою боевую дружину и будет «грабежами» богачей доставать деньги для моей партии. Он исключительно своей головой додумался до тактики, в настоящее время черным пятном пачкающей дело революционеров. Если он бежал в конце концов (он был уже тогда приговоренным на каторгу), он, наверно, выступал в качестве экспроприатора.

* * *

Наступил день, которого я не хотела, которого боялась. 8 марта на свиданьи сестры сказали мне, что, может быть, сегодня же или через неделю меня отправят в Москву. Они со свиданья пошли справляться где-то, кажется, у вице-губернатора точно о времени моей отправки (тюремная администрация сама не знала).

Через несколько часов после свиданья надзиратель принес мне вещи от сестер и сказал мне, что отправка произойдет вечером и сестры зайдут еще раз проститься. Значит, надо было расстаться с Карлом, оторваться от того, что стало таким родным, близким, и отправляться куда-то одной со своими думами и переживаниями, делиться с которыми с родной душой стало так же необходимо, как дышать воздухом. Тяжело было нам обоим. Вероятно, мое лицо приняло весьма нерадостное выражение, когда сестры сказали мне об отправке. По крайней мере, они рассмеялись.

— Тебя смертный приговор, кажется, не так опечалил (как далеки они были от меня), как отправка!

На днях я уже просила свиданья с Карлом, и он в свою очередь тоже просил. Начальник ответил, что это зависит не от него, а от прокурора. Теперь я повторила свою просьбу. Карл тоже. День прошел в необычном волнении и спешке. Обменялись последними письмами. Когда уже смеркалось, меня позвали на прощальное свиданье с сестрами.

— Еще приду, прощусь — крикнула я товарищам-женщинам, прильнувшим к форточке своей двери.

В конторе суетня, готовятся к отправке партии. У стола сидят сестры. Разговор у нас нервный, перебегает с предмета на предмет. Спрашиваю проходящего начальника, почему же он не дал мне свиданья с Карлом. Он что-то бормочет и улыбается. Остаюсь в недоумении, вдруг дверь открывается, и передо мной вырастают две высокие фигуры. Едва верю глазам — Карл и инженер Г. Смущенно улыбаются и жмут руки.

— Я, как представитель всей нашей коммуны (он был староста), — объявляет Г.

У Карла глаза горят, лицо, обыкновенно бледное, залито румянцем.

Мы ждали оба этой минуты так страстно, а теперь, у нас нет слов, как будто мы с ним знали только язык стены.

Так странно... Тысячи раз встречались мы с ним на воле, равнодушно жали друг другу руки, равнодушно смотрели друг на друга. Теперь впервые встретились после долгого промежутка... И все уже другое. Мы стали родными. Мы целую бездну горя и счастья

пережили вместе, так много, что у нас сейчас нет слов. Что мы будем говорить, когда рядом с нами сидят другие люди.

Они ведь ничего не знают. Они не знают нашей сказки, не знают моего солнца, которое я увидела здесь, которое видел Вася... И вот мы молча смотрим друг на друга и почему-то смеемся оба.

Говорит Г. Он рассказывает в шуточной форме, как завидовали ему товарищи другие, когда он шел на свидание со мною, как на глазах даже у некоторых были слезы, у хохла особенно. Не знаю, сколько времени сидели мы оба, что-то страшно мало, как мне показалось.

— Ну, идите господа, а то проверка уже началась, — сказал начальник. И они ушли. С сестрами я сидела еще порядочно. Старший принес какой-то мешок и вынимал оттуда казенные вещи для меня, торжественно показывая мне их:

— Шуба... кафтан... юбка...

Мы смеялись с сестрами. Сейчас должна была произойти церемония пожалования меня в мое новое звание ссыльнокаторжном, лишенной всех прав и состояния.

Сестры ушли. Они должны были приехать на вокзал. Меня повели в заднюю комнату конторы одеваться. У меня сердце упало.

— Как... Ведь все же мои вещи остались в камере...

— Вы туда больше не пойдете... Вам принесут все...

Я почувствовала острую обиду, как будто меня нагло обманули, как будто насмеялись надо мной. Значит, я не прощусь с Ольгой и другими, значит, я не увижу еще на мгновение свою милую башню... Карл не крикнет мне еще раз в окно: «прощай».

Молча я пошла переодеваться в сопровождении надзирательницы. Только белье да кофточку оставила свои, а сверху облачилась во все казенное — суконную юбку, халат, овчинную шубу, белую косынку. От тяжести всего этого трудно стало двигать ногами и руками. Вышла в контору уже преображенная. Принесли мои вещи. Я подошла уложить их в мешок (привезенную корзину с бельем и книгами начальник конвоя отказался брать).

— Куда лезешь, — крикнул на меня один из надзирателей, всегда верх корректности. Другой надзиратель что-то шепнул ему, и он, взглянув мне в лицо, рассыпался в извинениях.

Каторжная шкура давала себя знать.

Вывели всех, предназначенных к отправке, на улицу.

Суматоха, тьма, факелы, обнаженные шашки конвойных.

— Требуйте подводы для себя, — шепнул мне кто-то.

Оборачиваюсь, конвойный с обнаженной шашкой. Ничего не отвечаю. Меня сажают на высокую с вольносидящими женщинами и со стариком. Впереди загремели кандалы и тронулись подводы. И вдруг лязг кандалов, стук колес (несмотря на зиму почему-то были колеса), топот многочисленных ног конвойных и полицейских... все это заглушилось громким, протяжным, многоустным криком...

Из тюрьмы политические провожают... объяснил мне конвойный, шедший рядом с повозкой.

И пока мы ехали по этой улице до угла Захарьевской, все время слышались крики прощания, то хоровое пение Марсельезы. Я так и не отворачивала лица от оставшейся сзади тюрьмы, пока мы не повернули за угол. Расставался ли кто с тюрьмой с таким теплым, почти нежным чувством, как я?

Ехали по длинной Захарьевской. Два месяца тому назад, в такой же темный вечер мы мчались здесь, вырвав Катю из тюрьмы, в такой же темный вечер...

Сейчас плелись шагом под звон кандалов с тусклыми факелами. Конные городовые только суетились все. Я видела, как один из них подскакал к мирно стоявшему на углу извозчику и тот уехал в переулок. По краю улицы нас перегнали какие-то санки.

— Здравствуй, Саня, — раздался громкий голос Мани. Я ей крикнула что-то в ответ.

— Молчать, — проревел конвойный.

Конные городовые подскакали к саням сестер и те быстро уехали вперед.

На вокзале масса полиции и жандармов. Нас ведут какими-то закоулками, далеко от зала I класса. Всматриваюсь в освещенную платформу. Куча людей, стиснутых полицейскими стенами, и среди них больше угадываю, чем вижу, сестер. С трудом взбираюсь в вагон (суконная юбка узка, и трудно раздвинуть ноги), на площадке вагона оборачиваюсь и кричу громко и весело: «До свиданья, скоро вернемся».

Тронулись. Сажу в конце вагона. Рядом со мной женщина и конвойный, напротив тоже конвойные... В другом отделении вижу Оксенкруга. Узнаю, что с ним едет только фельдфебель, офицера нет. Жду всяких грубостей от конвоя, начиная с «ты». Конвойный, сидящий против, встает:

— Вы ложитесь, а мы найдем себе места.

Я отказываюсь. Но они встают, кладут мой мешок с подушкой на свою скамью. Я с наслаждением снимаю тяжелую, вонючую, с лезущей шерстью шубу и усаживаюсь удобнее.

— Эх, как жалко, что бомба ваша не разорвалась, — слышу я.

Смотрю на говорящего: конвойный с миловидным лицом и умными серыми глазами, приглашавший меня лечь. Он продолжает:

— Мой товарищ был на площади. Проходил мимо, когда бомба лежала. Страсть, говорит, хотелось ее шашкой толкнуть чтоб разорвалась.

Подходили другие конвойные. Одни с тупыми, апатичными лицами, другие с мыслью в глазах; все корректные, вежливые и даже услужливые. Выделялись двое из них интеллигентностью своего лица и разговора — один, жалеющий о неразорвавшейся бомбе, с нашивками унтер-офицера, другой ефрейтор с речью сознательного рабочего, революционера. Этот шепнул мне, что они оба были раньше в кружке у П. (назвал фамилию одного из минских эсдеков, сидевшего в это время в тюрьме). Они говорили мне, какое впечатление произвел суд и наши речи на бывших в карауле солдат (сами они не были), говорил о настроении своей команды, ругал фельдфебеля и при входе его замолчал. Так я почти не заснула в эту ночь. Иногда я чувствовала полнейшую иллюзию, как будто я сижу с товарищами рабочими. Обнаженная шашка часового у дверей, погоны других, возвращали меня к действительности и заставляли радостно улыбаться. Ждала грубых, тупых зверей, нашла товарищей.

В поезде было два арестантских вагона. В другом ехали 8 политических каторжан — гродненских артиллерийских солдат за бунт после октябрьских дней. Карл в своей последней записке писал мне о них, как о хороших ребятах (они сутки пробыли в Минской тюрьме по дороге из Гродно). Одного он знал раньше на воле.

Утром в Смоленске была пересадка. Мои конвойные посадили меня с Оксенкругом в один вагон с артиллеристами.

В Смоленске конвой должен был перемениться — московский конвой, кажется, черносотенцы — пугал меня унтер. Но нового конвоя не хватало, тогда фельдфебель предложил нескольким из старых доехать до Москвы. Ефрейтор, унтер-офицер и еще несколько с удовольствием остались.

— Надо Москву посмотреть, какая она стала после революции, — заметил ефрейтор.

Живо помню, как при моем входе в новый вагон загремели кандалы, и рослые каторжники с широко улыбающимися и приветливыми лицами протянули мне навстречу руки и крепко пожали мою. Скоро очень мы были уже друзьями. Они наперерыв рассказывали мне о своем деле, о работе в своей батарее. Конвойные тут же сидели и стояли рядом с нами, слушали, вставляли соответствующие замечания. Как хорошо мне было слушать их и глядеть в их лица. Бывший фельдфебель, теперь каторжник, с бледным, тонким лицом, похожим на Сенкевича, бывший писарь с насмешливыми глазами, рядовой, которого зовут «женихом», причем, его широкое веснучатое лицо нетронутого деревенского парня, с милыми, детскими голубыми глазами, все вспыхивает ярким румянцем, как у красной девицы. К нему в Москву должна приехать невеста, и они думают обвенчаться в тюрьме. Еще и еще, почти все хорошие, открытые лица. Смешит нас Оксенкруг возней со своими кандалами, которые не дают ему спать, и своим рассказом, что отец и мать хотели женить его

перед отправкой, «чтобы половина срока перешла жене», но он боится, что его дело пересмотрят и его освободят. «Куда тогда я жену дену, на что она мне?» — наивно обводит он всех слушающих своими детскими черными глазами.

Конвойные приносили нам газеты. Читали вслух. Пили чай без конца. А вечером, при огарках, данных нам товарищами конвойными, писали письма домой. Я написала общее письмо сестрам и Карлу о дороге, о товарищах, о своем хорошем настроении и попросила одного из конвойных отнести это письмо на квартиру сестер (он аккуратно исполнил поручение).

Приехали в Москву. Простились с конвойными.

— Возвращайтесь скорее свободными, — говорили наши охранники, крепко пожимая нам руки.

Большая, мрачная сборная со сводами, масса шмыгающих надзирателей, щелкающий шпорами высокий помощник фатоватого вида и мы, — каторжане в выжидательных позах около мешков. Началась приемка казенных вещей.

— Скидывай штаны... женщины юбки... — раздалась команда.

Мы переглянулись. Потом артиллеристы сбились в кучку в отдалении от меня и, гремя кандалами, стали исполнять команду. Мне бросилось в глаза красное, как кумач, смущенное лицо «жениха» и крепко стиснутые губы и злые глаза одного из прежних писарей. Принимали вещи около длинного стола и в то же время в противоположном конце сборной стригли под гребенку каторжан. Ко мне подошел Оксенкруг. На его лице было возмущение.

— Как же это и вас будут стричь?... Да ведь женщина без волос это... это...

Его детское лицо было так уморительно в своем возмущении, что я от души расхохоталась.

Наконец, нас увели из сборной по разным лестницам. Меня привели на женское уголовное отделение. В огромной камере, сплошь уставленной кроватями, на меня уставились со всех сторон любопытные глаза. Каторжанка коридорщица, высокая полная финка, которой сдала мои вещи надзирательница после того, как у меня было отобрано все цветное и черное и сдано в цейхгауз, очистила для меня кровать, повела умываться и дала мне кипятку.

— Ну, ты, вшивая, подальше уйди, вшей напустишь, — крикнула с сильным акцентом финка на пожилую женщину с глупым любопытным лицом, присевшую ко мне на койку.

Ужасно неловко было пить чай под градом любопытных глаз. Большинство смотрело молча, некоторые делали попытку вступить в разговор.

— Ишь, какая чашка красивая.

— Вы за мужа, тетушка¹⁸¹ (как знаком теперь мне этот вопрос, «за мужа», а тогда я не сразу поняла его)?

В этом же коридоре была общая камера для политических ссыльных. Финка, прислуживавшая нам, привела их ко мне, и они потащили меня к себе. Я облегченно вздохнула, избавившись от полусотни чужих, любопытных глаз. Политические (их было двое, да на другой день пришли с партией еще трое) сообщили мне, что в одиночках для политических сидят две каторжанки — Школьник (бросившая бомбу в черниговского губернатора Хвостова) и Фиалка (за лабораторию бомб в Одессе), что в Пугачевской башне, которую я увижу на прогулке, сидят шлиссельбуржцы — Гершуни, Карпович, Сазонов, Сикорский и Мельников.¹⁸²

Через несколько часов повели уголовных каторжанок на прогулку и меня с ними... Политические дали мне подробные указания, в каком конце двора Пугачевская башня и как я

¹⁸¹ Подразумевалось — за убийство мужа, что было достаточно распространенным преступлением среди уголовных женщин-каторжанок.

¹⁸² Справки об участниках террористических организаций см. в Указателе.

должна вызвать шлиссельбуржцев. Уголовные с шумом рассыпались по длинному двору, кричали в окна большого корпуса, растянувшегося во всю длину двора. Им отвечали из окон первого этажа мужчины уголовные. Бросали записки. Визг, смех, ласки и ругательства.

— Дунька, когда рубаху вышьешь?

— Ванюшка, миленький, поцелуй прими от меня.

— Эй, ты кукла, гляди у меня, я тебе покручу... Я со своим красным тузом на спине, с надписью на нем, сделанною одним из товарищей-артиллеристов: «Да здравствует революция» совершенно затерялась в общей массе крутивших женщин. Я видела Пугачевскую башню, подходила к ней, но вызвать ее обитателей, конечно, не решалась: мой вызов так слился бы с общим тоном, что вряд ли захотели бы на него отозваться вызываемые. Не дождавшись конца прогулки, я ушла от этого гама в пересыльную камеру. Там я узнала час прогулки Школьник и Фиалки и в этот час ждала их у окна умывальной, выходящего на дворик политических женщин. Скоро вышли они в платочках на голове, в больших платках на плечах.

Мы отрекомендовались друг другу. Помню, мне сразу бросилась в глаза красота и милая детскость лица Фиалки — к ней так шло это имя. Она молчала. Говорила Школьник.

— Требуйте непременно, чтобы вас перевели к нам в одиночку, — крикнула она мне ломаным русским языком.

Через два дня я была в одиночке. Узкая длинная камера с асфальтовым полом, окном под потолком, привинченными кроватью и столом. Она мне показалась раем после тесноты и сутолки уголовного отделения. Так хорошо было опять очутиться одной под замком с мыслями о том, что осталось позади. Все новое, что окружало меня теперь здесь, было для меня чужое, далекое, ненужное. Шли по коридору мимо моей двери на прогулку обитательницы одиночек и каждая считала своим долгом откинуть форточку моей двери и поговорить со мной. А я совсем одичала. Не было слов, не было желанья видеть людей, хотелось спрятаться от всех.

Гуляли мы втроем — три каторжанки. Обитатели мужских одиночек почти все были на окнах и перекликались с нами. Я отмалчивалась и предоставляла за себя отвечать Школьник и Фиалке, к тому же я плохо слышала, что говорили из окон — ухо мое все еще пошаливало.

По вечерам устраивались собрания, чем теплее становилось, тем чаще и чаще карабкались на окна наши и мужские одиночки и вели собрания, как птицы в клетках. Вопросы в большинстве случаев были маленькие, скучные — выбор старосты, улучшение пищи. Но всегда находили, что говорить, всегда спорили, перебивали друг друга, потом собирали голоса. Вызываемые по номерам камер односложно отвечали «да» или «нет» или «воздерживаюсь». Иногда я, давно спустившись с окна изнутри своей камеры, слышала, как доходила очередь до меня — второй. Ответ редко следовал и перекличка шла дальше.

По четвергам приходили партии пересыльных и каторжан оттуда, из моих краев. Это были мои дни. Привозили мне записки, письма и бесконечные приветствия оттуда. От Карла письма были полны самой трогательной, нежной любви. Положение его все еще было неопределенно: крепость, ссылка, или еще что. Мечтал, что увидимся в Бутырках.

Весна быстро завоевала свои права. Окна тянули к себе. Каждый вечер, если не собрание — то импровизированный концерт, декламация, чтение вслух газеты и рассказов из новых журналов, просто разговоры. Были хорошие голоса, солисты среди мужчин одиночек.

Партии пересыльных — почти все административных — шли и шли со всех концов России, все в большем и большем количестве. Каждая такая партия на несколько дней останавливалась в Бутырках и шла дальше, а ей на смену приходила уже в этот день другая, третья, без конца. Прошла партия из Минска — Ольга, Семен и еще несколько человек — в Туруханский край.

Кого только в своих стенах эта населеннейшая гостиница в мире в те дни не видела... Беспечные молодые рабочие, и учащиеся с фуражками и шапками набекрень, неутомимо взбирались на все заборы, брали приступом также угрюмую Пугачевскую башню с ее пятью затворниками, кричали, приветствовали, вдохновенно шагали огромной толпой по длинному

двору из конца в конец его с флагами и громким пением революционных песен... и шли дальше в разные Нарымские и Туруханские края с беспощадной иронией в душе и улыбающихся глазах, с громкими прощальными криками: «До свидания, товарищи, в свободной России». И та же улыбка, те же надежды были у тех, кто отвечал им из-за решеток.

Степенно молчаливо расхаживали бородатые крестьяне в пестрядиных рубахах, взятые прямо от сохи. В их глазах было то жадное, молчаливое любопытство, то задумчивая и какая-то таинственная сосредоточенность. Никакое приветствие не было так трогательно, как их молчаливый поклон. Бывало, встанет шумная, волнуемая толпа перед нашими окнами:

«Вызовите товарищей-каторжанок». Начнутся шумные, восторженные приветствия. А где-нибудь совсем стиснутый в сторону, молча торжественно кланяется в пояс серый мужичок... Незаметно появлялись они среди толпы шумливой молодежи и так же незаметно исчезали.

Мелькали там и сям на дворе чиновники, потертые пожилые люди неопределенной профессии, откормленные господа с брюшками, священники даже. Проходили целые партии кавказцев. Горловыми дикими голосами пели они «кавказскую марсельезу», и целый взрыв аплодисментов, криков «браво», «еще, еще» несся из-за решеток. Прошел один казачий офицер. Как гордилась им шумливая толпа. Брала его в свои ряды — высокого, стройного, так непонятно одетого и ходила с ним улыбающаяся, с торжествующим пением по двору из конца в конец. Прошел один рабочий, глухонемой. Его усердно демонстрировали перед окнами.

— Смотрите, товарищи, это глухонемой, за агитацию на заводе высылается в Архангельскую губернию. Он расскажет, за что его взяли.

И толпа предупредительно отступала, выдвинувши вперед скромного человечка средних лет. Делалось тихо наверху и внизу. Глухонемой энергично и выразительно жестикулировал. Дополняемая воображением зрителей его жестикуляция была почти понятна и необыкновенно трогала сердца всех. Сыпались остроты без конца по адресу тех, кого все ненавидели, над кем так много смеялись.

Почти каждая партия вводила какую-нибудь новую, свою собственную штуку. Служились молебны священниками и прочим клиром в импровизированных рясах с акафистом Амфитеатрова «Сергею Юльевичу Витте».¹⁸³ Пускался огромный красный змей с надписью: «Да здравствует революция. Долой самодержавие». Высоко взлетал он и отпускался «на волю».

Добродушно смеялись жандармские солдаты — внутренняя стража, улыбались надзиратели, старались не видеть дежурные помощники. Казалось, в те дни обе воюющие стороны — правительство и народ — странно и нелепо обманывали друг друга. Правительство притворялось властью имеющим, победителем, мстящим своему недавно сильному врагу тюрьмой, ссылкой, каторгой. Народ, со своей стороны, притворялся подчиняющимся в силу необходимости осилившему противнику.

— Высылай, — казалось говорили все эти тысячи проходящих через Бутырки, — что ж мы прокатимся на твой счет, убогатим тебя... А завтра... — И притворство свое они, оторванные от родной среды, брошенные на другой конец России, сопровождали лукавыми улыбками и целым каскадом острого презрения к тем, кто притворялся, что властен и силен над ними. Казалось, тюремная администрация знает, что и те и другие играют комедию и молча поддерживает ее, вперед зная, чем она кончится. Отсюда их смотрение сквозь пальцы на настоящие революционные демонстрации в стенах тюрьмы и их любезная

¹⁸³ Очевидно, имеется в виду сатирический «Акафист Сергею Каменноостровскому и стихиры» популярного прозаика и фельетониста Александра Валентиновича Амфитеатрова (1862–1938). Инициатор издания Манифеста 17 октября и глава первого «конституционного» правительства России С. Ю. Витте, один из главных персонажей «акафиста», жил на Каменноостровском проспекте в Петербурге.

предупредительность, их трусливое прятанье.

Дума, открывшаяся в апреле с выступлениями Родичевых и Аникиных и с ее криком Павлову и прочим: «Вон, палач, убийца!»...¹⁸⁴ Дума только пополняла эту картину всеобщего притворства.

Правда, не всем в Бутырской гостинице было так позволено. Мы, политические каторжане, были первыми ласточками, и с нами пока церемонились. Мужчины же, политические каторжане, уже насчитывались десятками (скоро их уже были сотни). Они жили в общих камерах с уголовными и разделяли их режим. Как не похожи были их прогулки на вечные демонстрации административно высылаемых.

Тихо в это время на дворе. Только кандалы звенят угрюмым, мрачным звоном. Среди кандалников гуляли и мои знакомые артиллеристы с Оксенкругом. Я разговаривала с ними из окна. Оксенкруг все ждал свободы, писал куда-то прошения о пересмотре дела. В начале апреля их отправили на колесную дорогу. Представляли ли они себе, уходя, хоть десятую долю того, что их ожидало там.

Постепенно, незаметно для самой себя, я перестала дичиться людей и стала жить этой неугомной, шумной жизнью гостиницы. Не было особенно близких отношений ни у кого из нас, 20 обитателей женских одиночек. Их заменяло общее благожелательство. И эта атмосфера благожелательства широко разливалась кругом не только у нас 20-ти, она господствовала и в отношениях каждого к каждому и каждого ко всем, во всем этом многоголосом улье. Сходиться близко, привязаться друг к другу было некогда. И те, кто останавливался здесь на несколько дней, и те, которые насчитывали уже месяцы своего пребывания здесь, все чувствовали себя остановившимися на минуту. Это была не жизнь, а только так, препровождение времени в ожидании воли, Туруханского края, каторги... О занятиях нечего было и думать. Некоторые, большей частью ожидавшие воли или короткой тюремной отсидки, пытались все-таки. Они требовали от товарищей назначения определенных часов для разговоров через окна, пения и прочего шума. Собирались даже собрания у нас — мужских и женских одиночек — по этому поводу, назначались часы молчания, но в результате ничего не выходило. Ведь те-то, которые шумными волнами вливались к нам и катились дальше, освободивши место для других, таких же шумных волн, они-то не могли ждать часов нашего молчания: им ведь очень нужно было узнать, не сидят ли здесь их земляки и по какому они делу. Им необходимо было вызвать к окну или к забору имеющихся каторжанок, таких редкостных птиц тогда, чтобы во все любопытные глаза поглядеть тогда на них и сказать им: «До свиданья, дорогой товарищ, в свободной России...». Посердившись, поворчавши, отрывались наиболее упорные от книг и, махнув рукой, взбирались тоже на окна и присоединяли свои голоса к общему рою. Мы-то трое даже и не пытались заниматься. Некогда было прочесть газету иногда за целый день. Широкая внутренняя переписка и связи почти со всей тюрьмой, частые свиданья с волей отнимали почти все время.

Проснешься бывало утром, уже лениво переговариваются через окна вставшие раньше других одиночки, уже поют на большом дворе пересыльные, уже зовут к окнам... И так весь день... Ложишься в 1 час, в 2 ч. ночи, а в мужских одиночках еще льется песня кого-нибудь из солистов. Некоторые из мужчин даже постель свою перенесли на окна и спали там в неудобных, скорченных позах, а ночи были такие хорошие, светлые, теплые, было так хорошо прислушаться в редкие минуты тишины к замиравшей жизни города. Издалека откуда-то глухо долетал стук колес, протяжно кричал где-то совсем близко свисток поезда. Бодрый и радостный кризис чудился в нем, и в ответ ему в душе рождалась тихая грусть по той жизни, кипучей, деятельной, полной риска и огня, которая оставалась там за стенами. А ночной воздух, влажный и теплый, небо, усеянное звездами, какой-то неуловимый весенний

¹⁸⁴ Родичев Федор Измаилович (1856–1932), кадет и Аники Степан Васильевич (1869–1919), трудовик — депутаты I Госу дарственной Думы; главный военный прокурор В. П. Павлов был подвергнут обструкции после его выступления с объяснениями в Думе; в декабре 1906 г. он был убит.

аромат говорили о спящих полях, таинственном темном лесе, тумане над рекой. Далеко, далеко уходила мысль в такие ночи...

У меня и у Фиалки были постоянные свидания два раза в неделю с «двоюродными сестрами». Они снабжали нас газетами и всеми литературными партийными новинками, которых тогда так много выходило легально. В конце марта ко мне приезжала на несколько свиданий сестра Женя. Кроме того, ко мне заходили в разное время несколько старых товарищей и знакомых, бывших в Москве проездом или по делам.

Накануне моего отъезда у меня был отец, теперь только возвратившийся с войны. Ему дали долгое свидание (собственно, мы сами кончили его) и посадили нас в отдельную комнату, совершенно пустую. Он был очень грустен и, видимо, поражен моим веселым настроением. Спрашивал о Кате. Он ничего не знал, но подозревал, и подозрения его были близки к истине. Я не сказала правды, так как сестры, не надеясь на мое умение произвести эту операцию, взяли ее на себя. Через несколько дней он должен был узнать от них... Уехал на войну, а за его спиной внутренняя война отняла у него двоих — одна убита, другая в плену...

С Маней Школьник и Ревеккой Фиалкой у меня установились простые, товарищеские, ровные отношения без особенной близости. Я не успела даже их узнать как следует в Бутырках. Рива, например, казалась мне жизнерадостным ребенком, а это было так страшно далеко от действительности. В 18 лет она была уже твердым, сильным, самостоятельным человеком, вдумчивым и глубоким. Маня, старше ее на 6 лет, была под ее влиянием и слушалась ее. К Маниной необыкновенной экспансивности, горячности, нервности я долго не могла привыкнуть. Первое время, когда я пряталась от людей, мне просто физически трудно было долго быть с ней. Мне хотелось тишины, молчания, а она вертелась, как живчик, в один миг загоралась от малейшего повода и наполняла все кругом резким, непрерывным смехом, порывистыми движениями, быстрой, громкой, всегда взволнованной речью.

По мере того, как я приходила к окружающей меня жизни, я приходила и к Мане и переставала бояться ее нервной порывистости.

Живая, искренняя, отзывчивая, как струнка, на чужую радость и чужое горе, без всякого образования, едва умеющая читать и писать, но жадная к знанию, на лету хватающая каждую новую мысль — она быстро завоевала себе все симпатии, напоминала она Наташу Ростову в ее первом хорошем периоде.

С шлиссельбуржцами у нас троих была переписка. Писал собственно Григорий Андреевич «каторжной тройке», как он называл нас, и подписывался неизменно «за всех Г.».

В самые первые дни по приезде, когда все еще вокруг меня было чужое и непонятное мне, Г. прислал мне первую свою записку. Она была согрета таким теплым чувством, так хорошо говорила о близости, о кровном родстве всех нас, спаянных одной идеей, что я на миг почувствовала себя там, в моей светлой радостной башне.

Раза два-три удалось нам видеть друг друга, всякий раз несколько коротких мгновений, когда нас водили в баню мимо Пугачевской башни или когда их водили на свиданье.

Иногда вечером, сейчас после поверки, в самый тихий час дня, когда дневная суматоха уляжется, а ночная еще не начиналась, мы ухитрились переключаться — мы трое с Пугачевской башней. Расстояние было очень большое, хотя и по прямой линии, приходилось кричать во весь голос, отрывисто и раздельно. Ограничивались всегда двумя-тремя незначительными фразами. Но приятно было сознание, что мы «разговариваем».

Мы, конечно, не могли узнать друг друга. Что могли дать коротенькие записки, обмен газетами, вечерние переключения? И все-таки мы как-то сжились, привязались друг к другу, не как отдельные личности, мы даже не научились, как следует, отличать одного от другого, нет, а как две части одного целого, которые должны были соединиться.

В апреле привезли Биценко, убившую Сахарова. Ее посадили в Полицейской башне, смежно с нашими одиночками. Года два тому назад я встречала ее раза 2–3 на воле в Питере. Теперь я могла разговаривать с ней через калитку полицейского двора на прогулках.

Несколько раз мне пришлось полусмеясь, полусерьезно ругаться с ней по поводу ее невозможных отношений к товарищам. Она была тоже каторжанка, да еще убийца Сахарова. Естественно, что все жаждали увидеть, поговорить с ней. Стали усердно лазить на забор дворика Полицейской башни и заговаривать с ней. Она не могла понять психологию всех этих больших детей (а то и самых настоящих детей по возрасту). Ее сердило их «нелепое любопытство», их «надоедливость». Кроме того, в ней чувствовалась постоянная боязнь «выдвинуть личность впереди дела». Сначала она отмалчивалась и показывала им спину, потом перестала выходить на прогулки в часы прогулок пересыльных, а раз даже и отчитала кого-то. А те принимали ее поведение как проявление гордости, и обижались на нее.

И шлиссельбуржцы, и мы четверо смотрели на свое пребывание в Бутырках, как на короткий эпизод. Все — серьезные занятия, более тесное знакомство друг с другом, все это откладывалось «на каторгу». И все-таки, она, эта таинственная незнакомка, пришла к нам внезапно, как гром с ясного неба. Церввыми отправили шлиссельбуржцей.

Хорошо я помню тот вечер 11 мая. Как всегда почти, все были на окнах. Пели, осужденные за восстание, солдаты какого-то московского полка, разговаривали, смеялись. Вдруг снизу из противоположного корпуса торопливый голос:

— Товарищ Измаилович!

Тон этого голоса так не подходил к мирному настроению нашего вечера, что все сразу смолкли и насторожились. Я узнала голос одного из моих знакомых уголовных (почему-то я у них пользовалась особой популярностью).

— Что?

— Сейчас повели Гершуни и остальных из Пугачевской башни в сборную и все их вещи потащили.

Молчание сменилось спутанным говором, вопросами, догадками. Какой-то бестактный фидлеровец громко сказал:

— Вздор, уголовные всегда врут.

И, конечно, тут же был обруган, и весьма внушительно, принесшим весть.

Заволновались, закопошились. Один из мужчин, пользовавшийся особым расположением дежурного надзирателя, выбрался из-под замка своей одиночки в коридор, окна которого выходили на улицу и тюремные ворота, а мы тем временем, из женских одиночек, наблюдали за видными нам окнами сборной, делились своими наблюдениями со всеми товарищами. Там была заметна необычайная в такой час — было часов 10 вечера — суетня. Видно было, как протащили по сборной вещи. Прошли в арестантских халатах несколько человек. Вернулся наш дозорный с докладом:

— Только что отъехали от ворот несколько экипажей.

Дело было ясно.

— До свиданья, товарищи, шлиссельбуржцы, — зычно крикнул кто-то. Крик подхватили все. Но ответа не было: они были, вероятно, уже далеко. Сразу стало необычно тихо. Не думали возобновлять прерванных разговоров. На светлом фоне окон — прямоугольником, вытянутым в длину, за черными переплетами решеток резко вырисовывались такие же черные, как эти решетки, фигуры в разнообразных позах. Неподвижно сидели и молчали. Молчали, потому что не нужно было говорить, потому что и так понимали друг друга. Каких-нибудь полчаса тому назад беззаботно болтали, пели, наслаждались теплым весенним вечером, забыв, что сидят в клетках. И вот чья-то властная рука неслышно подкралась и ловким приемом опытного ночного вора выкрала из нашей среды лучших товарищей. Выкрала и увела куда-то в таинственную жуткую темноту...

Огонь, светившийся в Пугачевской башне, погас. Башня, еще недавно полная жизни, товарищеского общения, быть может, очень близких людей, полная мыслей, начинаний, надежд, притягивавшая к себе толпы восторженных пересыльных, теперь была пустая, темная, молчаливая, мертва...

Долго не слезали с окон...

И все молчали. Редко кто проронит слово, догадку о том, куда именно их повезли.

Говорили пониженным тоном, точь-в-точь так, когда рядом лежит покойник. Доносился до нас свисток поезда, и нам казалось, что это они мчатся куда-то от нас и прощаются с нами...

* * *

Пугачевская башня стояла пустой недолго. 25-го мая привезли Спиридонову и поместили туда. Конечно, сейчас же, как только она приехала, вся тюрьма узнала об этом. Но ее ухитрились провести так незаметно в Пугачевскую башню, что мы понятия не имели, кажется что-то около суток, куда именно ее дели. Узнали опять-таки с помощью уголовных.

Опять Пугачевская башня бралась приступом, только еще энергичнее, еще восторженнее. Опять забегали с записками туда и обратно на своей прогулке «забастовщики» (так звали почему-то всех следственных политических, сидевших в общих камерах) из конца в конец своего длинного двора — от нашего дворика к Пугачевской башне. Кто-то из мужских одиночек посылал фантастические корреспонденции в газету «Путь»... «Спиридонова очень больна, не может ни сидеть, ни стоять, ни ходить»... Что-то в этом роде.

Между нами четырьмя и Спиридоновой завязалась переписка, почти исключительно деловая — о здоровья, заботы о снаряжении на дорогу и т. п.

Она писала всегда на жалких, крохотных обрывках бумаги и в коротенькие записки к нам, которых она не знала, но чувствовалось, уже любила, как членов одной партии, она вкладывала неуловимую ласку. Не в отдельных определенных словах была эта ласка, а в общем тоне записок. О болезни своей Спиридонова просила больше не спрашивать.

— А то я рискую, — писала она, скоро обратиться в старушонку, вечно жалующуюся на свои болезни.

Места записок, имеющие общий интерес, я обыкновенно прочитывала вслух всему нашему одиночному корпусу. Слушали всегда, затаив дыхание.

Каждый старался все самое лучшее, что получал с воли, сейчас же посылать Спиридоновой. То и дело бегали запыхавшиеся «забастовщики» от нашей калитки к ее башне со всевозможными свертками.

Тюремная администрация мучила ее своими придирками и бесконечными посещениями. Целыми вереницами, начиная с тюремного инспектора, кончая помощником, заведывавшим Пугачевской башней.

То и дело делали у ней обыски и отбирали у нее платья и книги. Хотели заставить ее одеться в арестантский больничный халат (в то время, как мы все ходили в своем); отберут, а через какой-нибудь час к ней снова летят свертки.

Мы думали, что ей тяжело будет с глазу на глаз только с надзирателями и больничной сиделкой. Настя решила добиваться перевода своего к ней в башню. Писала ей об этом. Но Спиридонова просила ее этого не делать: ей хотелось хоть некоторое время побыть одной.

Один раз по дороге из бани нам удалось увидеть Спиридонову в замочную скважину ее калитки и даже пожать ее руку сквозь узкую щель под калиткой. Я видела только глаза, показавшиеся мне огромными, в половину лица, я почувствовала в своей руке ее крошечную, совсем детскую ручку. Мы успели только сказать друг другу несколько незначущих слов.

* * *

Один из надзирателей намекнул нам, что нас на днях могут выслать. Мы спросили начальника тюрьмы. Он ответил, что решительно ничего не знает о дне нашей отправки. Но надзиратель теперь указывал нам день — или в среду 21-го июня, или в пятницу. Мы спешно начали запасаться книгами и всем необходимым. Наступил вечер среды. Мы мирно сидели, как всегда на окнах, довольные, что среда прошла благополучно: так не хотелось уезжать отсюда, где мы так близко соприкасались с волей, в неведомую даль и глушь. Надвигалась гроза. Там и сям вспыхивала молния, далеко и глухо рокотал гром. Мы так любили из-за

решеток глядеть на ночные грозы. Чем сильнее гремел гром, сверкала молния, лил дождь, тем веселее становилось у нас на душе. Кричали, пели, смеялись, просовывали руки за решетки под струи дождя... Но голоса наши заглушались шумом разыгравшейся стихии... Гроза приносила нам размах и простор воли, и мы радовались ей, как светлому празднику... В этот вечер мы тоже ждали грозу и заранее радовались ей.

— Товарищ Измаилович, — протяжно крикнул один из «забастовщиков» Орлов из дальнего конца своего корпуса.

Приложив руки ко рту рупором, я также протяжно и громко крикнула: — Что?

— Спиридоновой сейчас сказали, чтобы она сейчас собиралась в партию. Сказали, что поедете и вы и все каторжанки.

Обычное волнение во всех одиночных клетках, переспросы, о чем кричат, мое объяснение всем, две-три минуты переговоров нас четырех (Езерская уже приехала и сидела с нами в одиночках), и я опять кричу:

— Товарищ Орлов.

— Слушаю.

— Скажите Спиридоновой, пусть не выходит из башни, пока мы не крикнем ей через вас, что мы тоже едем.

Прошел час, другой. Мы были в неизвестности. Вдруг открылась дверь из сборной в наш дворик, и через дверь быстро прошел дежурный помощник в Полицейскую башню. Очень скоро он вышел и направился к нам.

— Измаилович, Школьник, Фиалка, Езерская, собирайте свои вещи, через полчаса поедете.

— Кто поедет еще?

— Биценко и Спиридонова.

— Почему нам не сказали раньше? Мы не успеем в полчаса собраться.

— Торопитесь.

Он ушел. В один миг я была на окне, вызвала Орлова и передала ему, с чем приходил к нам помощник. Надо быстро собираться, а товарищи в одиночках засыпали нас вопросами и советами. Помню, что кто-то насмешил и рассердил меня фразой:

— И вы поедете, и вы не будете протестовать?!

Мы быстро, беспорядочно собирались. Настояли, чтобы нас открыли, и бегали по всем камерам трех этажей, прощаясь и забирая свои книги. Настя Биценко уже собралась и пришла к нам помогать укладываться. Выходим мы с вещами на двор и останавливаемся пораженные: все окна мужских и наших одиночек иллюминированы выставленными на окна лампами, из некоторых, окон летит зажженная бумага, все окна гудят — прощаются.

В сборной мы были довольно долго: начальник конвоя, полковник, проверял наши статейные списки, а одиночки, по-прежнему иллюминированные, все время пели хором, но теперь их голоса почти заглушались поднявшимися вихрями и близкими уже сильными раскатами грома.

Мы стояли посреди сборной и о чем-то перекорялись с полковником, когда в глубине сборной открылись железные решетчатые двери и показалась маленькая, тоненькая женская фигурка в белом платочке на голове.

— Спиридонова, — шепнула мне Маня и рванулась вперед.

Я тоже инстинктивно сделала несколько шагов к ней, но так же инстинктивно отшатнулась, взяв ее за руку. Светлые глаза, обрамленные поражающими своей величиной и чернотой кругами, два ярко красных пятна на щеках, плотно сжатые губы, и во всех чертах лица холодная, чужая далекость, особенно во взгляде, смотрящем куда-то мимо, не видя нас. Поздоровалась с нами, отвечала на вопросы конвоира и все одинаковым холодным тоном, сквозь стиснутые губы, не поворачивая головы, глаза в пространстве. Ни одной искорки жизни не светило в этих неподвижных глазах со сдвинутыми бровями. Но в то же время они не были мертвы — в них виднелась какая-то большая тайна, только она была глубоко, глубоко запрятана. Эта я прочла, отошедши от нее, и глядя на нее исподлобья, из-за свода

сборной.

Помню, чужое далекое выражение ее лица отозвалось во мне горечью и оттолкнуло меня от нее не на один лишь миг, а на много-много дней...

Нас всех шестерых усадили в карету с двумя конвойными. Там было нестерпимо душно и темно. Тронулись, и со всех сторон нашей кареты застучали копыта — это скакали, кажется, драгуны.

* * *

Первые дни нашей дороги нас встречали на станциях только маленькие группки — еще не знали, но потом перегонявшие нас пассажиры и посылаемые ими телеграммы сделали свое дело, и наш путь обратился в настоящее триумфальное шествие. Выходило так, будто не «лишенных всех прав и состояния» везли под конвоем на каторгу, а мы сами ехали с целью по всему длинному пути от Москвы до Сретенска собрать ряд массовок и произвести таким образом смотр революционным силам. И этот смотр давал блестящие результаты, о которых не думалось раньше, не представлялось...

Первая крупная «массовка» была в Сызрани. Там стоял во время прихода нашего поезда целый поезд солдат, главным образом, запасных, едущих с Дальнего Востока домой. Они огромной кучей столпились между нашим и своим поездом. Слушали нас, расспрашивали, отвечали дружным, сочувствующим гуденьем, несколько раз старшие чины пытались разогнать их, но они встречали эти попытки глухим ропотом и стеной стояли перед нашими окнами. Мы начали с того, что назвали свои фамилии и объяснили им, за что каждая из нас идет на каторгу. В их глазах, самым популярным актом было, конечно, убийство Сахарова, поэтому Биценко они встретили долгим несмолкаемым «ура»... Спиридонова и Биценко говорили, просили их там на родине рассказать про все темное и несправедливое, что они видели на войне, открыть глаза своим темным землякам и пойти рука об руку с бойцами за «Землю и Волю» для всего народа. Когда после двухчасовой (или около этого) массовки наш поезд тронулся от моря солдатских шинелей, был уже темный вечер. Спиридонова прильнула к решетке окна и, как могла, громко крикнула им:

— Товарищи солдаты, не стреляйте в своих братьев мужиков.

Оттуда, из темноты ответили нестройными, долго несмолкаемыми криками. И такая могучая сила чувствовалась в этих ответных криках, что радостно билось сердце при мысли, что все они, так отвечавшие, разбредутся по всей матушке-России и посеют, быть может, во многих глухих углах семя ненависти к произволу и насилию и веры в светлое будущее.

То, что было в Кургане, прямо ошеломило нас своей грандиозностью. Еще не доезжая до вокзала, мы видели, как из всех железнодорожных мастерских поспешно выбегали закопченные рабочие, и, размахивая фуражками, с приветственными криками бежали к нашему вагону.

— Стой!... Стой!... -кричали они кому-то, очевидно, машинисту. И, повинувшись их приказанию, вагон нагл остановился, не доезжая до платформы.

Они сгрудились черной толпой с расстегнутыми воротами, с засученными рукавами и, сверкая белками глаз на черном от сажи лице, замахали в воздухе, как один человек, засаленными картузами.

— Спиридонова... Спиридонова... Да здравствует Спиридонова!... Привет Спиридоновой!

— Наши идут, — выделился из общего гула голосов один звонкий, молодой голос.

И все головы повернулись в одну сторону. А оттуда надвигалось что-то большое, темное и над этим темным что-то колыхалось в воздухе и сверкало на солнце... ближе... ближе...

И вот уже здесь, около нас громом падает: «Отречемся от старого м-и-р-а»... развеваются красные знамена, и торжественно и медленно надвигается на нас огромная пестрая толпа. Сколько... может быть тысяча, может быть две.

Вот уже можно разобрать надписи на знаменах: «Да здравствуют товарищи соц. — демократы в Государственной Думе»... «В борьбе обретишь ты право свое», надпись, приветствующая Спиридонову, что-то еще. Остановились. Стройно, как один человек.

— Спиридонова... Привет товарищу-борцу Спиридоновой.

Начался грандиозный митинг. Полились речи одна за другой. Говорила Спиридонова, как всегда, удивительно легко, просто, красиво и сильно — ни малейшего волнения не слышно в голосе, ни малейшего искания слов. Плавно и красиво льется речь, как выразительная музыка.

Говорили соц. — демократы (эсеров, по всей Сибири, кроме Красноярска, где они преобладали, нам приходилось встречать меньше чем социал-демократов). Говорили взволнованно и страстно.

Как всегда, протягивали к окнам бесконечные коробки с конфетами, апельсины, печенья (всю дорогу сплошь мы были засыпаны сладостями), газеты, цветы без конца, деньги, — от медных двухкопеечных до золотых пятирублевых. Сколько раз на всех станциях мы говорили встречающим, что нам не нужны деньги, что мы — шестеро — ни в чем не нуждаемся. Шапки со сборами продолжали усиленно ходить по рукам и передавались нашему полковнику.

— Не вам, так другим товарищам на каторге понадобятся.

Курьезно иногда выходило. Стоит поезд несколько часов, и нас спрашивают, не надо ли чего купить нам в городе. Нам нужен, например, пузырек с чернилами или чашка, и мы просим принести, причем, наученные опытом, убеждаем, что нужна нам эта вещь только в одном экземпляре. Ничего не помогает и неизменно появляются шесть чашек, шесть пузырьков с чернилами, шесть катушек.

Курганская демонстрация, очевидно, встревожила кого следует, и наш вагон перед большими станциями начали отцеплять от поезда и останавливать на ближайшем полустанке, не доезжая станции, быстро промахивая затем станцию.

Первый опыт такой был, кажется, в Омске, но не удался.

Остановили наш вагон в 8-ми верстах от Омска. Кроме наших 12 конвойных в вагоне у нас откуда-то появилось еще вероятно столько же солдат с винтовками. Постояли мы очень недолго и тронулись вперед «царским поездом» (так мы называли нашу езду, когда наш вагон отцеплялся от поезда и быстро летел с одним только паровозом). Конвойные объяснили нам, что из Омска рабочие «требуют» по телеграфу, чтобы нас немедленно привезли на станцию.

— Что-то будет в Омске? Говорят, народищу там страсть. Освободить там будут, сказывают. Передавали нам конвойные и в голосах их слышалась тревога.

Смеялись они над своим подкреплением: один из севших здесь солдат лег под лавку перед омской перспективой. Этот слух, что там-то нас будут освобождать, после Кургана стал неизменно появляться перед каждой большой станцией, варьируясь на все лады. В Омске освободят рабочие, в Красноярске должны освободить солдаты. Но никакой слух, так упорно не сопровождал нас, вплоть до этого пункта, как слух про Читку, где приготовились непременно нас освободить забайкальские казаки.

Когда наш «царский поезд» прикатил на всех парах в Омск, там стояла толпа тысяч. в пять наверное. Не было той стройной организованности, которая поразила нас в Кургане, да и не могло ее и быть при возбужденности тысячной толпы, а возбуждена она была долгим ожиданием и переговорами с жандармерией о том, чтобы наш вагон привезли на станцию крайним. Потребовали у нашего конвоира всех нас выпустить на площадку вагона, и он должен был удовлетворить это требование. Одна за другой выходили мы на площадку вагона, отвечали на приветствия, говорили с ними, называли себя, свое дело и свою принадлежность к партии эсеров. Потом вызвали всех вместе на площадку вагона и снимали группу. Мы на лесенке вагона, около нас только полковник и совсем перед нами, рядом, восторженная толпа, каждую минуту готовая вырвать нас из рук струсившего конвоя и спрятать, сомкнув свои ряды. Но что было бы потом с этой толпой (мы-то были бы

свободны)?

Говорили, что где-то недалеко от вокзала были спрятаны войска на случай нашего освобождения. Полковник, ярый монархист, но и джентльмен в то же время, говорил нам:

— Если бы вы в Омске вошли в толпу, я застрелился бы на месте.

Говорят, эта омская карточка потом была широко распространена по всей России, и полковник, вышедший тоже на ней сбоку лесенки, был за нее уволен со службы.

Поезд должен был уезжать, но победительница-толпа не отпускала его и все говорила и говорила с нами. Наконец, полковник обратился к нам с просьбой сказать «им», чтобы они отпустили нас, не задерживали бы целый пассажирский поезд.

Но и наша просьба «отпустить» нас была исполнена далеко не сразу. Наконец, вняли просьбе, но возбуждение ничуть не улеглось, а, напротив, все росло и росло. Отцепили вагон и повезли его руками. Мы воспротивились этому и опять еле-еле уговорили их прицепить вагон. Тогда, приказав машинисту ехать шагом, часть толпы пошла с нашим вагоном, шли рядом, сидели на крыше вагона со знаменами, стояли на площадках вагона и так до первого полустанка верст 8–10.

Еще на станции кто-то из толпы протянул нам листик бумаги с просьбой дать свои факсимиле и теперь в окна то и дело просовывались руки с бумажками: «Напишите, пожалуйста... напишите... напишите...»

Особенно часто, часто просовывались руки с крыши вагона, помню вымазанное в саже лицо рабочего юноши, свесивавшееся то и дело с крыши вагона, такие же закоптелые руки с бесчисленными бумажками и охрипший голос: «Сестры, напишите, сестры — еще... еще...» Мы писали свои фамилии и акт каждого. Часть из нас так и сидела, не разгибая спины, с карандашом и писала нечто вроде коротких прокламаций.

Помню высокого, бородатого старика в рубахе и высоких сапогах. Он все эти 8–10 верст бежал без шапки с растрепавшимися по ветру длинными седыми волосами и то и дело брал на руки, то одну, то другую свою внучку — маленьких девочек лет 7–8, рвавших полевые цветы, и подносил их нам:

— Нате возьмите, милые, цветочки от моих внучек, пусть они всю жизнь помнят кому они цветы рвали...

Они, наконец, окончательно простились с нами, и мы остались одни в вагоне, сплошь завешенном и заставленном венками, гирляндами, букетами садовых и полевых цветов, измученные пятью-шестью часами непрерывных демонстраций.

Заправлявшие нашим передвижением были, очевидно, порядком напуганы Курганом и особенно Омском. По крайней мере, теперь после Омска они всюду пустили и свою хитрость и силу. Отцепляли наш вагон неукоснительно перед большими станциями и пригоняли уже не десяток добавочной охраны, а целую роту солдат с офицером во главе. А от Иркутска почти вплоть до Сретенска рота солдат с офицером ехала с нами в поезде, так что «царский поезд» наш состоял уже не из одного вагона, а из трех.

На остановках, на полустанках, когда солдаты окружали наш вагон со всех сторон, мы все время разговаривали с ними и усердно их агитировали. Вероятно, потому их часто меняли. Из всех только одна рота была безнадежна — угрюмо глядела на нас, не отвечала, была груба с встречающими.

На станциях же распускали предварительные ложные слухи, что мы уже проехали в такой-то час. Публика, поверив, расходилась, а нас через несколько часов или на другой день марш маршем провозили насквозь мимо уже пустой станции. Лучше всего удалось им это в Чите, которой они больше всего боялись. Там нас встретила всего только одна девушка эсерка. Торопливым, взволнованным голосом на ходу поезда она успела нам сказать, что нас ждали накануне и разошлись ни с чем, обманутые.

Не всегда правда, удавался им обман. Иногда толпа не шла на обман и упорно не расходилась. Провозили нас, наконец, без остановки, но наш вагон сходил с рельс. Помню первый раз мы были напуганы неожиданным сильным толчком и внезапной остановкой на полном ходу, а кругом бежали взволнованные улыбающиеся рабочие и кричали нам в окна:

— Не пугайтесь, товарищи, все идет как следует...

Тяжелая встреча была в Красноярске. Остановили нас минут на 15–20. Громадная толпа, стиснутая многочисленными солдатами и жандармами, глухо волнуется. Кое-как протиснулись ближе. Солдаты цепью стали вплотную около вагона. Начались речи. Какие речи!...

Помню одного с.-р. с бледным изможденным лицом и впалыми горящими глазами. Он заговорил горячо, нервно, с скрытыми рыданиями в голосе. Не выдержал, заглушённые, рыдания вырвались из груди. Страшным усилием подавил их в себе и кончил страстным призывом к борьбе, а кругом много, много таких же горящих глаз. Слышатся рыдания...

Оттиснули толпу опять, и поезд тронулся. Тут начался ужас. Толпа прорвала цепь и с криком побежала. Около самого вагона бежало несколько рабочих с смертельно бледными лицами, с ненавистью в глазах. Они бежали с поднятыми вверх судорожно сжатыми кулаками, бросали камнями в паровоз и стиснутыми злобой голосами кричали машинисту:

— Стой, мерзавец... останови поезд... подлец... собака... А с прорвавшейся толпой бегут солдаты с тупыми, зверскими лицами... Вот ударили со всего размаха прикладом винтовки рабочего, почти мальчика... Вон бьют еще и еще... Вон в крике бешенства и проклятья толпы врывается громкий сухой треск... Стреляют... Убили, быть может, кого-нибудь из этих обезумевших мальчиков...

Мучительно тяжело было стоять нам, отгороженным от прикладов и пуль решетками и стенами вагона и бессильно смотреть на эту дикую травлю.

После мы узнали, что выстрелов не было, — это лопались петарды под поездом, положенные рабочими с целью задержать поезд. Но к машинисту были приставлены солдаты с винтовками, и он должен был ехать под угрозой пули (начиная с Красноярска, на каждой большой станции практиковалось это с машинистами).

Никогда не забыть Ачинска. Я проснулась среди ночи от какого-то движения и шума в вагоне. Взглянула на часы. Час ночи. По вагону бегают и суетятся наши конвойные. Увидав, что я проснулась и сижу на своем верху, ко мне подбегает один из них.

— Александра Адольфовна, прощайте! Нас меняют здесь на ачинский конвой. Так неожиданно!...

Мало-помалу просыпаются все остальные. С грустью прощаемся мы с нашими ребятами. Мы успели привыкнуть к ним за длинную дорогу от Москвы.

Вдруг, как электрическая искра, заставляет нас всех повернуться к окнам, затаив дыханье.

Что это?... Этого мы никогда нигде не слышали, это не пение... То кто-то рыдает со всей силою, никогда незаживаемой скорби... Но ничего жалкого, унижающего нет в этом рыданье, а только великая красота и сила скорби.

— «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Я слышала эту песню десятки раз. Слышала ее над свежей могилой Васи. Но разве когда-нибудь было в ней это раздирающее душу рыданье и в то же время такая великая, трагическая красота, властно подхватившая нас и унесшая высоко-высоко над землей в царство великой скорби.

На тускло освещенной платформе стояла перед нашим вагоном группа людей — человек 15 и пела. Они пели, мы, прильнув к решеткам, слушали их. Так как будто бы было. Но на самом деле в эту минуту не было отдельных этих чужих нам людей и нас шести с разнообразными переживаниями, чувствами, настроениями, быть может мелкими и нехорошими... Осталось только то, что вечно толкает человека к высокому и прекрасному, что ослепительной молнией сжигает в душе его без остатка всю пошлость жизни, весь животный эгоизм и на крыльях поднимает в царство экстаза, где нет отдельных маленьких «я», а есть только одно большое и общее.

И это оно — лучезарное — вылилось из нашей общей груди в эти скорбные и дивно прекрасные в своей скорби звуки.

Они говорили и слова их были такие же как и их песня, — полная великой печали... Прощались с нами так, как будто отправляли нас в темную бездну, откуда нет возврата.

Говорили тихими, глухими голосами, закрывая по временам глаза рукой, и в этом детском жесте и в их голосах, видно было, как плакала их душа.

Перед Иркутском мы стояли на полустанке что-то около суток с ротой солдат вокруг, как всегда, начиная с Иркутска. Под вечер, уже в сумерках, пришла из города целая компания молодежи.

Оттого, что их было немного, и оттого, что они были почти все эсеры, эта встреча носила особенный характер тесного товарищеского кружка, устроившего пикник на полотне железной дороги среди леса.

Мы стояли у окон вагонов, они перед окнами. Беседовали, пели — они хором и Биценко соло... Они научили ее петь: «Беснуйтесь тираны, глумитесь над нами...». (У них выходило это необыкновенно сильно и красиво.) И потом в Акатуе не раз тихий морозный воздух и спящие горы кругом, оглашались звучным голосом Биценко: «И стыд, и страх, и смерть вам тираны...».

Они страшно хотели пить после длинного путешествия по жаре, и мы послали им с конвойным ведро холодной воды и имевшиеся у нас бутылки фруктовой воды. В один миг все было опустошено, не исключая и ведра с водой. Кормили их бутербродами с колбасой и конфетами. Такая необычная в дороге, для нас шестерых, роль гостеприимных хозяек немало развлекала и нас — хозяев, и наших гостей, и даже конвойных, бегавших к ним с угощениями.

Несколько раз железнодорожные рабочие значительных станций составляли сами для себя поезда и ехали к нам вдогонку или навстречу. Вообще они часто пользовались своим фактическим правом хозяев в дороге. Когда еще наша охрана не догадалась приставить к машинисту солдат с винтовками, они — машинисты — обыкновенно не уезжали со станции, не спрося нас, всем ли мы запаслись на станции и можно ли ехать уже.

Помнится мне станция Зима, т. е. не сама станция, а опять-таки полустанок за нею, где стояли мы. Кругом глушь, тишина. Вдруг свисток паровоза. Резко останавливается примчавшийся поезд... и мгновенно исчезла тишина перелеска. Перед нашими окнами, как из под земли, вырастает группа возбужденных, радостных рабочих.

— Привет Марии Александровне. Привет другим товарищам...

— Мы посланы от рабочих станции Зима.

— Нас сто человек... Взяли поезд...

Перебивают один другого. Сверкают глаза и улыбки. Со смехом рассказывают, как забрали себе целый поезд и уехали из-под носа жандармов. Высказывают с беспечным смехом опасения, что на обратном пути будут арестованы. Говорят о революционной работе в Зиме. Один из группы, самый передовой из них, по-видимому, говорит приветственную речь. Маруся отвечает ему и говорит еще и еще, как всегда красиво и сильно. Она развивает перед ними простым и ясным языком программу партии соц. — революц., говорит много о социализации земли. Слушают с жадным вниманием.

— А мы до сих пор ничего не слышали о программе эсеров — слышатся отдельные голоса. (Недавно, уже в Мальцевской, нам попались в хронике эсеровской «Сибирской Газеты» несколько строчек об успехах работы эсеров на многих пунктах Сибирской железной дороги и в том числе на станции Зима, после лета 1906 г.).

Маруся кончила. С-дек, произнесший приветственную речь, делает остроумное соединение.

— Итак, товарищи пролетарии всех стран, соединяйтесь, чтобы в борьбе обрести право свое... 185

Они уехали так же шумно и весело, как и приехали. Через несколько дней в дороге мы узнали от встречавших нас на следующих станциях финал этой встречи. Они не успели

185 Оратор «объединил» девизы РСДРП — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и ПСР — «В борьбе обретешь ты право свое».

доехать до Зимы, их встретил посланный за ними поезд с солдатами. Они были все арестованы. Остальные железнодорожные рабочие, узнав об аресте своих делегатов, всей массой пошли к месту их заключения требовать освобождения:

— Они так же виновны, как и мы — мы их послали.

Требование, в конце концов, было исполнено. Освобожденные и освободители устроили на обратном пути настоящую демонстрацию.

* * *

Это было время великого энтузиазма и горячих надежд. Еще упивались победой октябрьских дней. Казалось только еще вчера воздвигались баррикады в мятежной Москве. Подвиги семеновцев, Ренненкампа и Меллер-Закомельского были только отдельным эпизодом на общем фоне светлых надежд. Проезжая по Забайкалью, на каждой станции почти мы слышали скорбный отчет. Здесь Меллер-Закомельским расстреляно четверо... Здесь убиты два телеграфиста... Здесь 5 человек... — И хотя здесь, в Забайкалье, не было громадных встреч-демонстраций, но не было и трусливой усталости, приниженности, апатии. Перечисляя расстрелянных товарищей, они, казалось, блеском своих глаз, выразительными жестами и мимикой, бросаемыми на ходу поезда, отрывистыми фразами говорили: «Мы еще повоюем. И очень скоро».

Встречали Спиридонову. Террорист, объявивший беспощадную войну всему, что не давало жить, дышать, расти просыпающемуся народу, соединялся в ее лице с «мученицей», «страдалицей» за этот народ. Как террорист, она шла в первых рядах, рядом с теми, кто должен был трупами своими проложить дорогу вперед, и несла в своей груди ту новую силу, которая еще не совсем понятна и страшна для двух третей народа, даже в это время всеобщего энтузиазма. Но она была не только гордым мстителем за страдания народа. Она, как и он, придавленный, замученный вековым угнетением, выпила до дна горькую чашу унижения. Далеко не для всех еще был понятен тот огненный гнев террориста, что поднимал его руку «как будто бы все-таки на человека». Но муки были для всех понятны. Соединенные со слабостью, они создали бы ту великую жалость, которая стоит на границе с любовью, легко переходит в нее. Соединенные же с силой и мощной красотой духа, они должны были вызывать и вызвали целый океан обожания, поклонения.

Нас остальных не знали. Слыхали только во многих местах, что едет та, которая убила генерала Сахарова, но и тут наиболее темная масса соединяла этот акт с известным ей именем Спиридоновой. Но кто не знал последнего имени? Были, правда, такие глухие местечки, где не все знали его, но и там все-таки слышали хоть краем уха и, не зная действительности, создавали легенду. Так на одной станции еще до Урала одна из встречавших передала нам слова своей прислуги перед нашим приездом: «Говорят, едет та, которая убила Спиридона».

Бе имя стало знаменем, объединившим под своею сенью всех, кипевших святым недовольством — социалистов-революционеров, социал-демократов, кадетов, просто обывателей. Она принадлежала не только к партии соц. — рев. Она принадлежала всем им, носившим ее в своей душе, как знамя своего протеста.

Передавая встречи в отдельных местах, я была не в силах нарисовать всю яркость, всю бурную страстность того экстаза, с каким они приветствовали ее — свое знамя. Нет красок у меня для этого.

Каждая остановка днем, вечером, ночью (они стучали в окна и будили Марусю) — восторг толпы до самозабвения. Радость видеть ее, любовь к ней, как к своему знамени, так переполняли существо этих десятков или сотен тысяч, что выливались в тихие слезы восторга, а иногда в безумные рыдания, потрясающе действовавшие на нас. Не зная, как выразить то, что кипело и горело у них внутри, они осыпали ее цветами. Оборванные рабочие протягивали руки, дрожащие от волнения, к окнам вагона с медными пятаками; женщины, продававшие на станциях молоко, совали конвойным — «для них, батюшка,

возьми для барышен» — горшки с молоком, дамы снимали с себя кольца, солидные господа — часы. Помню матроса без ноги на костыле, возвращавшегося с войны, просившего, как милостыню, взять от него насколько папирос и медную монету. Помню монашку, принесшую дивный букет полевых цветов с трогательной запиской: «Страдалице-пташке от монашек Н-ского монастыря».

На всем пространстве от Москвы до Сретенска только два темных пятна. Кажется в Сызрани, где была наша первая «массовка» с запасными, какая-то пожилая барыня, не то помещица, не то купчиха, крикнула тоном злобной иронии: «Как же, героини! В историю попадете...»

Да где-то на маленькой станции Сибири пожилой рабочий с угрюмым лицом, долго стоявший перед окнами среди других восторженно приветствовавших, вдруг злобно процедил: «За шею бы повесить!» Со всех сторон потянулись к нему руки, и он тут же был вытолкнут из группы встречавших.

Две злобных фигуры среди десятков тысяч других. А сколько бы их было сейчас, уже не отдельных лиц, а целых отрядов, по полтиннику на брата, организованных союзом русского народа. Закидали бы вагон камнями, а то просто перестреляли бы из-за угла всех шестерых и первую, конечно, Спиридонову.

* * *

Конвой от Москвы до Сретенска переменялся у нас только раз — в Ачинске. Первый конвой, провожавший нас от Москвы — казанский, был, вероятно, специально подобран из самого бессознательного элемента (московский конвой, по словам многих товарищей, носил на себе достаточные следы частых сношений с «политиками»). Первые дни они смотрели на нас с тупым любопытством, как на невиданных ими зверей, следили за каждым шагом; когда кто-нибудь из нас брался за перо или бумагу, подходили и останавливали, немного смущаясь:

— Нельзя писать, не приказано допускать...

Мы поговорили с полковником. Корректный, официальный полковник указал им границы, и они перестали ловить каждый наш жест, каждый взгляд.

Первые дни полковник просил нас не подходить к окнам, грозил их запереть совсем, но скоро он, вероятно, сам убедился, что не ему с 12-тью солдатами бороться против тысячных толп.

Мы начали заговаривать с конвойными, научились отличать их друг от друга, а через несколько дней мы уже знали индивидуальные особенности каждого, и между нами и ими установились простые непринужденные отношения старших товарищей к младшим.

Было среди них несколько безнадежных тупиц, которым было невероятно трудно связать два слова; зато эти были самыми идеальными исполнителями «служебного долга». Был один трусливый, хитрый и глупый, всячески старавшийся втереться к нам в доверие с самыми сладкими словами на устах и маленькими подлостями на деле. Это был старший из всех, унтер-офицер. Было несколько серых мужичков с нетронутой чистой душой, наивных и искренних: Был один талантливый комик и остряк, с милым детским лицом.

Этот иногда выкидывал уморительные шутки. Так наслушавшись речей встречающих и наших и разговоров, — он, стоя на часах перед вагоном, на некоторых станциях, с трудом выговаривая новые для него слова, убеждал соц. — дем. отойти подальше, а соц. — рев. подойти ближе. «Потому они больше уважают соц. — рев.»

А на одной большой станции, чуть ли не в Кургане, он, передавая нам от толпы цветы и конфеты, громогласно заявил всей публике:

— Спасибо. Этого у них довольно. А вот в деньгах они шибко нуждаются. Помогите, товарищи.

Мы, помню, помирали тогда от смеха и стыда, а блюстителю наших интересов был строгий выговор после этого от полковника не вмешиваться не в свое дело и не

разговаривать с публикой.

Они вообще старательно соблюдали наши интересы. Особенно отличался этот же комик. Покупая на станции для нас что-нибудь из еды, он всегда старался делать так, чтобы публика видела, что он покупает для нас. Достигал своего и с торжествующей улыбкой приносил нам с покупкой и все наши деньги обратно. Ужасно трудно было уговорить его не делать этого.

Мы им читали вслух газеты и бывшие у нас брошюры, беседовали с ними. В дороге мы узнали про убийство Чухнина¹⁸⁶ и отпраздновали его, вместе с конвойными, речами и пением.

Конвой этот должен был довести нас до Сретенска, но полковник, встревоженный бурными встречами и перспективой нашего насильственного освобождения, стал усиленно хлопотать о смене конвоя. Его просьба была исполнена, и в Ачинске к нам сел новый конвой.

Первые дни мы не заговаривали с новыми и только присматривались к ним. С первого взгляда нам бросилось в глаза, что они совсем не похожи на казанских: у этих были лица гораздо интеллигентнее. Они часто читали какие-то книжки, которые доставал из своего сундука ефрейтор; были несравненно опрятнее первых. С нами были предупредительны и как-то застенчиво вежливы. Не было упорного, любопытного глазения на нас, напротив, даже стоя на часах, они старались смотреть в окно вагона или в пространство, только не на нас. С ними не так скоро познакомились, как с теми: ведь те были малые ребята, дикари, эти — взрослые люди. Но зато мы гораздо больше могли понять друг друга, чем с прежними, когда, наконец, познакомились. Первыми из нас шести, как и первый раз, подошли к ачинцам Маруся и я. Самые далекие, по-видимому, друг от друга, тут в отношениях к конвойным мы с ней сближались и чувствовали свое родство. Нам с ней был интересен каждый из тех серых мужичков, и каждый из этих затронутых частью культурой солдат. Часто мы с ней ходили к ним в отделение и часами разговаривали. О чем мы только не говорили: о том, за что каждая из нас идет на каторгу, о том, что делается сейчас в России, о Думе, о терроре, о семеновцах, о Ренненкампфе и Закомельском, о соц. — рев., о социализации земли и... о том, почему бывает день и ночь и времена года, что такое планеты и звезды...

Из всех 12 выделялись интеллигентностью своего разговора, манерой держать себя, даже лиц двое — ефрейтор Швецов, серьезный, вдумчивый, застенчивый юноша, уже с любовью и пониманием относившийся к книге, и его товарищ Водянов, чуткая поэтическая натура, любивший по вечерам глядеть в открытое окно на звезды и знавший их народные названия.

Бывало поздней ночью, когда спят наши четверо и отдежурившие конвойные, Маруся, я, Швецов и Водянов, а иногда еще кто-нибудь из конвойных стоим около открытого окна и тихо, чтобы не будить спящих, беседуем, вдыхая свежесть летней ночи... С нами ехал их начальник, старый полковник, бывший почти всю дорогу навеселе, и фельдфебель. Распоряжался собственно фактически последний, человек средних лет, с неслышной походкой и мягкими кошачьими движениями... Он первый из всех стал заговаривать с нами. Много говорил с Лидией Павловной Езерской, причем высказывал взгляды самые либеральные. Потом, когда конвойные подошли к нам, они открыли нам глаза на него — черносотенца по убеждениям, хитрую лису, зорко смотрящую за благонадежностью своей команды. Всю дорогу с нами он был притворно любезен.

Подполковник Ачинский был совершенно другого типа, чем прежний. Тот джентльмен, но сухой формалист, служака престолу и отечеству не только за страх, но и за совесть. Этот добродушный веселый старичок без всяких по-видимому, убеждений, но любивший свою

¹⁸⁶ Адмирал Г. П. Чухнин был убит 28 июля 1906 г. матросом Я. С. Акимовым; террорист благополучно скрылся с места покушения.

команду, как детей. Он много раз нам хвастался, что он устроил своей команде библиотеку, по воскресеньям кормит их котлетами и следит, чтобы их подушки были в чистых наволочках и у них самих чистые рубахи (они действительно были необыкновенно опрятны).

— Это не конвойная команда... Это институт у меня, — с улыбкой говорил он нам.

Любил заставлять их петь хором, причем сам им руководил. Был очень доволен, когда мы хвалили пение. Солдаты относились к нему хорошо, но с легким оттенком насмешливости. Фельдфебель же, которого они ненавидели и боялись, не одобрял его, особенно его отношения к нам.

Нам-то с этим чудачком было несравненно гораздо удобнее, чем с первым. Так, первый только один раз разрешил нам устроить коротенькую прогулку минут 5–10, когда наш вагон стоял почему-то даже не на полустанке, а в поле. Прогулка обыкновенно устраивалась для нас на полустанках, около больших станций. Мы бродили по лесу в сопровождении конвойных и возвращались в свой вагон перед приходом нашего поезда с полными руками цветов, сосновых и березовых веток; мы ими украшали вагон внутри и решетки снаружи.

Таким образом, мы могли не только в окна наслаждаться красивой природой, но и сами быть среди нее — пробираться к частому лесу, валяться в густой траве, взбираться на сопки... Удивлялись, почему так мало знают в России о красотах Сибири, особенно Забайкалья с его Байкалом (мы ехали на пароходе, причем наш вагон ехал с нами в трюме), с бесконечно лесистыми сопками, быстрыми речками, каменистыми скалами.

В Сретенске на другой день нашего приезда на этап Швецов и Водянов приходили еще раз попрощаться с нами. Вот уже скоро два года как мы на каторге, а до сих пор приходят изредка ототкрытки, а то и письма нам. В Акатуй он писал, что ему удалось познакомиться с партийными людьми, и он ходит в кружок. В. писал несколько раз в Акатуй.

Широким кругом бежала мимо окон яркая, сочная зелень полей, лесов, повороты реки, то сверкающей на солнце, то скрывающейся за кудрявой каймой холма, поросшего кустарником. Потом картина резко менялась. Перед окнами вырастало волнующееся море голов — все лица направлены в ту сторону, все глаза горят одним огнем, во всех голосах звенит и переливается одно чувство. Это вне... А внутри клетки-вагона — смолистый запах от всюду растыканных сосновых и березовых веток — дань широкой воле — мы шестеро, спаянные одной идеей, идущие одной дорогой к одной цели.

В вагоне, оправившись от тяжести первой встречи, Маруся подошла к нам приветливая, спокойная, ласковая, открытая. К ней сразу подошла Маня со своей порывистостью и любящей простотой. Лидия Павл. с первой же минуты окружила ее каким-то романтическим обожанием, Настя и Рива были сдержанно приветливы... А я... я совсем не подходила к Марусе. Трудно мне разобраться теперь, почему я была так далеко от нее. Может быть потому же, почему меня никогда не тянуло смотреть на картину, о которой очень много кричали. Какое-то полусознанное предубеждение всегда отталкивало меня от всего того, о чем говорят так много, что, в конце концов, все отзывы обращаются в готовые заученные формулы. И здесь, как всегда, еще не видя Маруси, я боялась в глубине души, сама того почти не сознавая, встречи с ней. Тот чужой взгляд холодных, далеких глаз при встрече в Бутырской сборной сделал тоже, вероятно, свое дело в том, что я сторонилась Маруси.

Не у одной меня было предубеждение против нее. Постоянная боязнь Насти «выдвинуть личность вперед дела» здесь могла найти себе почву. Еще в Бутырках у Насти явилось подозрение, насколько здесь сама Маруся популяризирует себя своим письмом после акта и прочим. Отсюда скоро выросло то серьезное, большое, что стеной стало между Марусей и Настей.

Начались встречи на станциях, то грандиозные митинги, демонстрации, то теплые товарищеские беседы, то полные молчания рыдания, такие скорбные, как отпевание горячо любимого человека. Маруся была у окна и днем, и ночью, по первому зову встречавших. Как пласт лежащая на ходу поезда, тут она оживала. Жар, кровохарканья, нервные подергиванья лица, ничего не удерживало ее, и она шла к ним. Пряча дергающуюся часть лица незаметно платком, харкая кровь незаметно в носовой платок, она говорила с ними, улыбалась,

отвечала им на бесконечные вопросы и то горячей страстностью звенел ее голос, то тихой лаской.

Мы видели, как после каждой встречи еще зловещее горели на щеках два красных пятна, видели, как сплошь покрывались кровью ее платки, как плясала вся сторона ее лица, как неподвижно лежала она после встреч. Но мы видели также, какая огромная любовь, какой огонь горел в ее глазах. Мы не знали, что делать — позволять ей говорить с ними или не давать ей гореть.

Мы не понимали, почему она так сердится, когда мы неохотно подходили к окнам и ее отговаривали, например, вставать ночью и идти к ним. Мы не понимали, почему она так рвется к ним и, не жалея себя, дает им себя. Нехорошие мысли появлялись у нас. Поклонение толпы, ее страстное обожанье — это необходимая сфера для нее, как утренний туман исчезает при первых лучах восходящего солнца, так излечиваются все терзанья души ее перед лицом толпы.

Ведь мы не знали тогда Маруси нашей. Не знали, что она в своем служении идее с беспощадной жестокостью вырывает у себя все личное и с мучительной радостью бросает все к ее ногам. Она назвала бы изменой своему делу, если бы ее личное взяло верх над этим большим, общим. С громадной любовью к застенчивым, оплеванным мужикам, ко всем поруганным и униженным она шла на акт. Два чувства трепетали в ней, когда она была в грязных руках зверей с человеческими лицами: ужас перед тем, что человек может быть таким, как те, и любовь к ним, за кого она шла, любовь, переходящая в экстаз, в каком умирали, вероятно, христианские мученики, сжигаемые на кострах. Содрогалась душа от ужаса перед зверем в человеке, но неслись уже гимны светлой любви к человеку, к людям, любви, побеждающей все муки. И теперь эта любовь, в силу своей действенности, требовала от Маруси не прятаться от толпы, а идти к ним, вынести все взгляды благоговейные и полные любви. Она не должна была закрываться перед всеми этими взглядами, не должна была отворачиваться от нечутких жестоких вопросов. И Маруся все выносила. Она брала муку на себя и им несла горячую веру в светлое будущее. Она чувствовала, что мы не понимаем ее. И не только чувствовала, она видела, какими непонимающими, какими враждебными глазами часто смотрели мы на нее. Она слышала не раз наши чересчур громкие разговоры о ней и писала нам в таких случаях — «говорите тише... я все слышу...». Мы были жестоки в своем непонимании, и эта жестокость спугнула Марусину приветливость, ее детскую простоту и ласковость. Нет слов представить тяжелую драму, в которой мы являлись палачами, разбившими детскую веру Маруси в человека, палачами жестокими и безжалостными по неведению, потому что мы не понимали, оплевывали как раз то, что было для нее чистейшей святыней, потому что как раз в нас она искала встретить родных, близких.

В Сретенске, конечном пункте железной дороги, мы провели дней пять, и за это время от забайкальского военного губернатора из Читы, успело прийти несколько телеграмм о немедленном продолжении нашего пути. Мы ждали тут на этапе личных обысков и всевозможных грубостей, наслышавшись от наших конвойных и встречающейся публики о зверском нраве начальника сретенской конвойной команды Лебедева. Но нас встретило совершенно другое. Лебедев был временно удален. Его место заступил еще молодой интеллигентный офицер.

Нас навещала сретенская интеллигенция и окружала нас самыми трогательными заботами.

Прошла через Сретенск в эти дни небольшая партия политиков-анархистов и три эсера. С некоторыми из них мы были уже знакомы по Бутыркам. Встретились мы с ними как с близкими товарищами, так давно мы не видели никого из нашей братии. Они пробыли сутки и пошли дальше — часть в Акатуй, часть — беспартийные матросы и солдаты — в Алгачи. Только тут мы узнали, наконец, окончательно, что нас везут в Акатуй и что шлиссельбуржцы там. От нас уходила как-то мысль, что едем на каторгу — ведь впереди была встреча с любимыми, правда, пока только издали, товарищами, но которых мы еще сильнее полюбили

вблизи. Нам передали наши гости телеграмму из Акатуя от них: они радовались, что мы едем к ним.

Один из сретенцев дал нам на дорогу два поместительных тарантаса. Весь крохотный Сретенск высыпал на улицу, когда мы торжественно в допотопных рыдванах двигались в сопровождении массы солдат. Махали платками, шапками, поминутно передавали нам через конвойных жестянки с ананасами, цветы, конфеты, деньги. Рабочих здесь не было. Преобладали солидные господа, нарядные барыни, подростки-гимназисты.

Два или три станка нас сопровождал офицер, затем переменялся новый конвой, и офицер со сретенскими солдатами поехал назад. Без офицера нам стало гораздо свободнее. Мы вволю могли насладиться диким привольем бесконечных сопки и цветущих степей. С этапа отправлялись часов в 5–6 утра. Около полудня располагались в каком-нибудь хорошем местечке, обыкновенно около речушки, и здесь часа три валялись на траве, купались, разводили огонь и готовили себе чай. Конвойные без боязни отпускали нас далеко. Куда мы могли уйти без помощи с воли, без лошадей, не зная дороги?

Никто из нас шестерых не пользовался так, вовсю, этим коротким пребыванием на лоне природы как я. Ведь через несколько дней за нами опять должны запереться тяжелые ворота, быть может надолго. Я шла первые дни целые станки пешком, сбросив обувь, и купалась в каждой речке. Скоро пришлось сдаться и сесть в экипаж, ноги, обожженные горячим песком, натертые и исколотые, сильно давали себя знать.

Марусе было очень трудно проводить целые дни в неудобной позе в тарантасе под горячими лучами солнца. Она не жаловалась, конечно. Молча и неподвижно лежала она рядом с Л. П. и против меня, когда я присаживалась, и только по крепко сжатым губам и сдвинутым бровям видно было, как болело у нее все тело.

В Кавыкучи-Газимурах на дневке начальник газимурского конвоя, принимая нас, объявил, что нас отправляют в мальцевскую женскую каторжную тюрьму.

— Как в мальцевскую? В Сретенске нам объявили, что было от губернатора распоряжение послать нас в Акатуй.

— Я ничего не знаю. Я должен вас отправить в единственную женскую тюрьму — в мальцевскую.

— Справьтесь у губернатора. Мы не поедem дальше, пока не будет получен ответ.

Начальник конвоя запросил телеграммой не губернатора, а начальника Нерчинской каторги, жившего в Горном Зерентуе. Нам это было не с руки: начальник каторги мог, как и газимурский капитан, не знать о таком распоряжении губернатора, хотя такое действительно было, но мы чувствовали здесь какое-то недоразумение, конечно, весьма счастливое для нас. Грустно было думать, что недоразумение это будет рассеяно... О мальцевской мы уже слышали. В Сретенске нам передали письмо от Фрумкиной, бывшей в то время в Чите. Она очень энергично убеждала нас «беречься мальцевской», которую она знает по личному своему опыту, и употребить все старания, чтобы попасть или в Акатуй или в Горный Зерентуй.

Судьба нам улыбнулась... Ответ гласил: «Отправить Акатуй»...

Ближе, ближе к Акатую. Рисовали себе местность Акатуя, расположение тюрьмы, жизнь за акатуйскими стенами... И делились друг с другом своими фантазиями.

От последней остановки (Александровский завод — 18 верст до Акатуя) места стали некрасивые, однообразные... голая степь и невысокие голые сопки. Недовольные, мы смеялись над мечтами друг друга.

За несколько верст до Акатуя мы встретились с мужчиной и женщиной, ехавшими в тележке, судя по виду, интеллигентами. Они, поравнявшись с нами, остановились, пристально оглядели нас, молча поклонились и вдруг, круто повернувшись назад, быстро покатали назад к Акатую.

Мы ничего не поняли и только рассмеялись от неожиданности.

Въехали в деревню Акатуй. Отсюда осталось до тюрьмы версты 2 — 1,5. Два унылых ряда изб, задами своих служб упирающихся в голые сопки, широкая каменистая дорога в

гору между ними, по которой страшно трудно было тащиться усталым лошадям, и над всем этим немилосердно палящее солнце. Избы были почти все хорошие, солидные, совсем непохожие на покосившиеся хаты великорусской деревни. Но отсутствие зелени и полное безлюдье на улицах — не видно было даже ребят — придавали унылый, вымерший вид деревне.

В Сретенске мы узнали, что Карпович выпущен в вольную команду и живет в деревне. Теперь мы старались угадать, в какой именно избе живет он. Ждали, что вот-вот где-нибудь в воротах покажется его рослая бородатая фигура.

Проехали деревню с великим трудом. Моя лошадь совсем не хотела идти (я была за кучера на одной из подвод), как я ее ни понукала. Дорога шла легче, ровнее между веселым перелеском. Сверкали молодые березки под солнцем, пестрели цветы на траве. Мы жадно глядели вперед. Акатуй открылся перед нами неожиданно, весь сразу, как по знаку волшебника. Прямо перед нами церковь, вся в зелени деревьев, мне бросился в глаза не серый, как обыкновенно, а какой-то красноватый оттенок бревен, необыкновенно красиво оттенялась зелень на красноватом фоне. С обеих сторон горы, (снизу доверху покрытые лесом, они идут двумя цепями далеко вперед, а там исчезают в таинственной синеватой дымке.

— А вон тюрьма, — показывают конвойные, давно слезшие с подвод и чинно шагающие со всех сторон наших экипажей с винтовками на плечах, как будто так они шли всю дорогу.

Белые, не очень высокие стены резко выделяются среди зеленой поляны и зеленых же гор. Вот мы у ворот. Здесь нас подхватила живая шумная волна, увлекла за собой, оглушила криками приветствия и громом революционных песен, осыпала цветами... Как сквозь сон, широко открытыми, ничего не понимающими глазами глядели мы на раздвинувшуюся перед нами завесу, в каком-то заборе, украшенную цветами и громадной надписью: «Добро пожаловать, дорогие товарищи». Она раздвинулась, и мы очутились в каком-то дворике среди нескольких десятков мужчин, женщин, детей. Они что-то кричали нам, широко улыбались, пели. И детишки впереди, маленькие, загорелые, в ярких рубашонках и платицах, пели тоже и бросали в нас цветами. Кругом везде со всех четырех сторон маленького дворика, деревья, гирлянды цветов, флаги, красивые надписи без конца: «Да здравствует социализм», «В борьбе обрешь ты право свое», «Да здравствует партия соц. — рев.»... А в одном уголке особенно красиво убраны гирляндами зелени и цветов на полотне фамилии нас шестерых и наверху слова «Слава погибшим... Живущим свобода»... Всего этого, конечно, сразу мы, оглушенные и ослепленные неожиданностью, не могли разобрать, рассмотреть, а уже только потом рассмотрели, когда пришли в себя немного. Мы стояли под звуками Марсельезы и дождем цветов, смущенные, растерянные. Я совершенно не знала, куда деться со своим облупившимся от солнца носом, пыльными босыми ногами, лыком, вместо давно потерянного пояса.

Все это до смешного не шло к устраиваемым нам овациям. Оправившись немного, я стала искать в толпе знакомых товарищей. Их не было впереди. Еле-еле я нашла где-то в самом конце выглядывавшего Гершуни и где-то сбоку Сазонова. Они все подошли к нам, когда смолкло пение, и расцеловались с нами. Повели нас в наше помещение: отдельный коридор и пять крохотных каморок. Все это, как и дворик, примыкавший к этому помещению, было украшено срубленными лиственницами, березами и флагами.

Мужчина и женщина, встретившие нас за несколько верст перед Акатуем, оказались каторжанином Кларком и его женой. Они посланы были коммуной на разведку, едем ли мы, чтобы быть готовыми к встрече, причем им строго было воспрещено товарищами разговаривать с нами. Могло ли нам, ехавшим на каторгу, при встрече с ними прийти в голову, кто они?

Как сон прошел весь этот день. Какие-то дамы, как потом мы узнали, жены каторжан, повели нас в баню, потом кормили обедом, снимали. Григорий Андр. водил нас по всем общим камерам и знакомил нас со всеми товарищами. Потом в том же дворике за длинными

столами среди зелени цветов и флагов все вместе пили чай.

Сейчас же по приезде нашем заходил к нам начальник тюрьмы. Расшаркивался, пожимал руки и все спрашивал, удобно ли будет нам в этих каморках.

С каким смехом вспоминали мы свои опасенья за деньги и письма при приемке.

1908 г. тюрьма мальцевская.

* * *

На этом были оборваны мои записки, набросанные в 1908 г. в мальцевской тюрьме. С первой оказией они были отправлены нелегально на волю. Ко мне они попали через 10 лет, в 1918 г., но тут же скоро пропали при первом разгроме партии левых соц. — рев. интернационалистов. Только теперь попала ко мне сохранившаяся копия. В данное время у меня нет ни объективной, ни субъективной возможности продолжать начатое.

В те дни, о которых пишу, царская реакция еще далеко не развернулась. Волны первой революции 1905 г. не улеглись еще, а реакция действовала неуверенно и несмело — не собралась еще с силами. Город был уже задушен, а деревня еще была объята восстанием, все разгоравшимся. Горели и громились помещичьи усадьбы, трусливо прятались помещики, земские начальники, урядники — все вековые угнетатели мужика. Войско, воспитанное японской войной — этой вопиющей авантюрой, расшатало свою железную дисциплину и во многих своих частях подало свою братскую руку рабочим и крестьянам. Отсюда несмелость и известная робость царского правительства. Отсюда агитационные выступления первой Думы. Отсюда та странная неразбериха в стране: строились уже виселицы, расстреливались рабочие из пулеметов, а с пленными еще церемонились, и тюрьма и каторга были похожи более на университет или на вольную коммуну, чем на карательное учреждение. Мои заметки относятся именно к этому периоду неразберихи.

Очень скоро этому был положен конец. Лично для нас, каторжанок, он начался внезапным переводом нас в мальцевскую тюрьму, через 6,5 месяцев после приезда нашего в Акатуй. Перевод этот среди зимы в тяжелых условиях пешего тракта (нас везли, конечно), с ночевками в полуразвалившихся этажах с большой Марусей, был одной из типичных жестокостей царского правительства.

Для товарищей мужчин новая полоса началась еще агрессивнее. Утром на следующий день после нашего увоза из Акатуя все акатуйцы были переодеты, закованы и заперты. Затем 15 человек, особенно не понравившихся гастролеру-усмирителю Бородулину (в их числе Егор Сазонов), были отправлены в Алгачи, где Бородулин был начальником.

Началась долгая, тяжелая полоса каторжной жизни, продолжавшейся вплоть до революции 1917 г. Ежедневная упорная борьба за тот минимум, который давал бы возможность перенести каторгу и выйти на волю работоспособным революционером, — за человеческое достоинство, за книги, за возможность заниматься хотя бы 2–3 часа в сутки. Вехами на этом длинном сером пути были переводы из одной тюрьмы в другую (нас, женщин, через четыре года таскали еще раз из мальцевской в Акатуй, ставший уже женской тюрьмой, под начало тупого и жестокого самодура Шматченко) и смены одного начальника другим (при одном можно было дышать и заниматься, другой жал и бессмысленно урезывал во всем, третий феноменальным воровством держал тюрьму в холоде и голоде и т. д.).

Для нас, женщин, существовала «привилегия» пола — мы не подвергались телесному наказанию. Привилегии этой товарищи мужчины были лишены, отсюда те трагические эпизоды (в Кутомаре, в Горном Зерентуе, в Алгачах), которые почти все кончились самоубийствами отдельных товарищей.

Светлыми вехами для всех нас были террористические акты с воли над нашими палачами (убийство начальника каторги Метуса, начальника Алгачей Бородулина), получение нелегальной почты с воли, побеги отдельных товарищей из тюрьмы.

Очень редкие случаи нелегальных сношений с волей давали нам возможность прикоснуться к отдельным эпизодам общественной жизни. Азэфовщина, психологическая

реакция последних черных 1908–1911 гг., не говоря уже о политической, расцвет столыпинской земельной политики, покушавшейся на социалистические институты русского крестьянина — все это переживалось нами остро и глубоко. Бургфриден первых лет мировой войны, социал-соглашательство казались нам (хотя не всем из нас), при полном почти отсутствии информации с воли у нас в то время, глубочайшим кризисом социализма, погружавшим перспективы и пути социализма в глухую безнадежную) тьму. До нас, запряганных в далекой каторге, не достигал совершенно отсвет близкой зари. Мы видели только более густую, чем когда-либо тьму мировой реакции.

П. С. Ивановская **Покушение на Чухнина**

27 января 1906 г., по приговору боевой организации партии с.-р., Екатерина Адольфовна Измаилович стреляла в главного командира черноморского флота адмирала Чухнина.¹⁸⁷

Немедленно, без суда, тут же во дворе дома адмирала Измаилович была расстреляна. Об этом чрезвычайном событии, происшедшем в Севастополе, рассказывал ныне умерший Михаил Антонович Ромась,¹⁸⁸ слышавший о нем от чухнинского палача. М.А. служил в то время в севастопольской городской больнице в качестве заведующего хозяйственной частью. Каждое утро он в одном из лучших магазинов забирал для больных предметы ежедневного потребления. Самым ранним утром М.А. приходил в магазин, когда торговцы только еще просыпались, отбирал нужные ему продукты и уходил с ними из магазина раньше, чем в нем появлялись другие покупатели. Никогда он не встречал там никого, кто бы привлекал особенно внимание его. 28 января 1906 года, в тот же самый ранний час, как всегда, Антоныч пришел за покупками. В магазине покупателей не было, но около прилавка сидела новая фигура, сразу же возбудившая значительное любопытство в Антоныче. Она, видимо, была знакома хозяину: недаром он юлил около нее. Небрежно, несколько откинувшись на спинку стула, с сигарой в зубах, сидела никогда не виденная Антонычем личность. Изысканность одежды не смягчала резко выступающих отвратительных черт этого человека. Крупное красное лицо, толстая кабанья шея ярко были покраплены крупными веснушками. Густые короткие волосы, точно огневой парии, покрывали его срезанную верхушку черепа, делаю его похожим на крупного орангутанга с низким лбом. Густо покрытые волосами громадные и тоже веснушчатые руки делали этого небрежно развалившегося раннего посетителя фигурой слишком заметной. Казалось, его толстые пальцы служат ему отличным орудием, чтобы сдавливать горло. При виде этого, важно выпускающего дым сигары и порой пробовавшего вино из угодливо подставляемых хозяином-торговцем бутылок вин, посетителя, М.А. сразу пришла в голову мысль: не палач ли это? С напряженным вниманием Антоныч стал прислушиваться к его рассказу, поражавшему своей циничной простотой. Предмет этого рассказа заинтересовал, видимо, и хозяина. Антоныч, притаившись, подался ближе к покупателю, не заметившему даже нового посетителя. Рассказчик, как начал улавливать суть разговора Антоныч, делился с хозяином, подобострастно глотавшим каждое его слово, сведениями о необычайном событии, разыгравшемся позавчера поутру на приеме адмирала.

— Говорит, хочу видеть адмирала. Доложили. Принял без задержки. Только эдак через минуту-две — вдруг: бах, бах, бах! Как мы всегда неотлучно были при адмирале, вот первый

¹⁸⁷ Чухнин Григорий Павлович (1848–1906) — вице-адмирал, с 1904 г. командующий Черноморским флотом; усмиритель севастопольского восстания в ноябре 1905 г.

¹⁸⁸ Ромась Михаил Антонович (1859–1920) — революционер-народник, в 1880 г. был сослан в Сибирь; в середине 1890-х вошел в партию «Народного права», по делу которой был вновь сослан.

я и вбежал. Стоит эта самая барышня одна, плюгавенькая, дохленькая и вся белая-белая как снег, стоит спокойно, не шевельнется, а револьвер на полу около ее ног валяется. — «Это я стреляла в Чухнина, — говорит твердо: за расстрел „Очакова“». ¹⁸⁹ Смотрим, адмирала тут нет, только из другой комнаты выбежала жена его, кричит, как бы в безумии: «Берите ее мерзавку... скорей берите». Я, конечно, позвал своего постоянного подручного. И что бы вы думали? Смотрим, а наш адмирал-то вылезает из-под дивана. Тут он уже вместе с женой закричал: «Берите скорей, берите ее!». Ну, вот мы ее сволокли во двор и там покончили быстро... И что вы думаете: вот уже много лет мы около него неотлучны. Ходили в поход, часто генерал подвергался большой опасности быть убитым, стоял, могу сказать, на вершок от смерти, ближе чем вчера — и ничего. А тут какая-то плюгавка, совсем из себя невидная, и так напугала... Уму непостижимо!

В то же день М. Антоныч, после обхода больных доктором зашел к нему в дежурную комнату. Наклонив низко голову, весь сторбившись как бы от тяжести, доктор сидел, мрачный и молчаливый, в своем кресле. Антонычу никогда раньше не доводилось видеть его в таком угнетенном состоянии. — «Вы верно слишком утомлены, доктор, приемом больных; разве сегодня их было много?» Доктор поднял утомленную голову, и у Антоныча защемило сердце от светившейся в глазах доктора глубокой скорби. — «Нет, — ответил доктор, — я не устал. Меня жестоко потряс необычайный случай, подобного которому я не видел за всю свою жизнь. Рано утром была привезена двумя дюжими матросами молодая, по-видимому, девушка. Это не был труп, скорее был мешок, наполненный толчеными костями. Легко было догадаться по циркулирующим в городе слухам, что привезена на вскрытие стрелявшая в Чухнина».

Да, то действительно была Екатерина Измаилович.

Неудачное покушение молодой энтузиастки заставило Чухнина окружить себя особой охраной. Тем не менее 28 июля 1906 года он был убит на собственной даче «Голландия» матросом Акимовым. Стрелявший скрылся. ¹⁹⁰

М. Спиридонова Из жизни на нерчинской каторги

Глава I Из жизни на Нерчинской каторге

1900–1906 гг. дали русской революции целую плеяду революционеров, замечательных и единственных в своем роде. Почти никто из них не дожил до нашего времени, и немногими уцелевшими из знавших их давно чувствуется необходимость записать хотя бы начерно и хотя бы часть фактического материала, имеющегося о них и с ними связанного. От попытки воссоздать в целостности и живости их образы пока что приходится отказаться.

В 1906 г. политические каторжане на Нерчинской каторге были собраны вначале только в одной Акатуйской тюрьме. К лету 1906 г, там было больше сотни человек. Разделение их на группы в основных чертах могло бы быть сделано на категории партийных, беспартийных и невинноосужденных. Партийными были с. — ры, анархисты и с. — деки.

Самой значительной по количеству (чел. 25–30) и влиянию фракций в Акатуйской тюрьме была группа партии с.-р., большею частью террористы. А особенным влиянием

¹⁸⁹ «Очаков» — мятежный крейсер, командование которым принял на себя возглавивший восстание лейтенант П. П. Шмидт. Крейсер был расстрелян артиллерийским огнем по команде Чухнина.

¹⁹⁰ Застреливший Чухнина матрос Я. С. Акимов перемахнул через забор адмиральской дачи и скрылся. Его воспоминания «Как я убил усмирителя Черноморского флота адм. Чухнина» см. в журнале «Каторга и ссылка». 1925. № 5. С. 150–155.

среди них пользовались шлиссельбуржцы — Гершуни, Сазонов, Карпович. (Шлиссельбуржец Мельников скоро сбежал, Сикорский был нездоровый, задерганный тяжким сиденьем человек и стоял в стороне от общественно-политической жизни каторги).

Анархистов было в Акатуе немного. Все молодежь. С.-деков совсем мало. Мне помнятся три-четыре человека из них — Кунин, Ясинский, Файфер.

Самый многочисленный контингент составляли беспартийные революционеры-массовики: рабочие, матросы, солдаты, забайкальские казаки, представители интеллигенции — инженеры, техники, железнодорожные и почтовые служащие, доктора, учителя и пр., выдвинутые волной политических беспорядков 1905 г., митингов, демонстраций и забастовок. В Акатуе в 1906 г. собралось больше всего участников знаменитой сибирской ж.-д. забастовки, которая в сибирских городах приводила к захвату власти социалистическими партиями, радикальной интеллигенцией и революционной частью рабочих. Значительная часть деятелей этого грандиозного массового движения, необычайного по страстности подъема и организованности, была перебита Ренненкампом и Меллер-Закомельским¹⁹¹ при усмирении. Остальные, помилованные от смертной казни, попали в Акатуй на бессрочную или 15–10-летнюю каторгу.

В этой беспартийной массе выделялось землячество человек в 30 забайкальских казаков (посланных на каторгу с их военной службы). Все — из-под смертной казни, получившие взамен бессрочную или 20 -15-летнюю каторгу. Все — молодец к молодцу на подбор. Веселые, рослые, пышущие здоровьем, удалые, они судились чуть ли не гуртом, приехали все вместе и пели оглушительными глотками тоже всем составом. Большая часть из них была осуждена за освобождение политических заключенных из Акатуя же во время революционного движения 1905–1906 гг.

Были осуждены не только те, кто освободил заключенных (несколько матросов-каторжан с бунтовавших броненосцев черноморского флота), но и все те, кто был на сходке, постановившей это освобождение, и даже тот сторож, который служил в военной канцелярии, где митинговали служащие. Этот сторож (Шишкин) был в эпоху революционного братания выведен из своего «сторожского» состояния. Его стали звать «товарищем», уравниали в жаловании и обращении, но он не успел ничем этим насладиться, как попал сначала под смертную казнь, потом на каторгу. Держался этот огромный, красивый, всегда улыбающийся детина замечательно и на каторге стал сознательным человеком, как и многие другие.

Трудовые массы, почти впервые в России поднявшие голову, выдвинули из себя ряд героев и подвижников дела, слова и мысли. Огромная часть этих инициаторов дела народного освобождения, беззаветно преданных своей цели людей, погибла в самом огне борьбы. Другая часть ушла на каторгу.

Массовики-рабочие, крестьяне, солдаты, матросы в период революционного взрыва красивы, сильны и готовы на смерть, как герои. Они отдают все без расчета, душа их горит счастьем борьбы и веры в золотое будущее. Ничто не может быть святее, могучее и прекраснее революционной массы, встающей за свои права во имя инстинктивного и сознательного общественного идеала. Но после взрыва революционных волн и духовного взлета в массе, в соборном ликовании и страдании, наступила индивидуальная расплата за революцию разьединенных повстанцев, каждому за себя и за всех. И, выхваченные из своего класса, товарищеской среды, из общего коллектива, сильные прежде воплощением, отражением всей бунтовавшей стихии, в отдельности в своей массовики зачастую падали духом и не имели сил донести на плечах всей тяжести правительственного возмездия. В них много было обывательщины, они были взяты из своих семей, прямо из обыденной жизни, службы или работы. Революция в их буднях была коротким праздником, к расплате за

¹⁹¹ Генералы П. К. Ренненкампф и А. Н. Меллер-Закомельский руководили подавлением революционных выступлений вдоль Транссибирской магистрали в конце 1905 — начале 1906 г.

который они вовсе не были так приготовлены предварительной профессионально-революционной борьбой с правительством, как все мы, партийные революционеры.

Были тенденции к резкому оппортунизму, были даже случаи всяческого падения, но всегда одолевало направление, заповеданное старыми поколениями борцов за свободу, и почти всегда соблюдался в каторжном быту и каторжном режиме необходимый минимум: минимум товарищества, принципиальной жизни и соблюдения при несении гнета от тюремной администрации революционно-настороженного человеческого достоинства.

Этот минимум товарищества ясен без объяснений, а минимум соблюдения достоинства имел свой настоящий устав, неписанный, но от того не менее вечный. Конвойные Сазонова, серьезно им спропагандированные, приняв целиком его политико-социальное credo, говорили ему, что им «тяжело идти в его партию», так как партия «не позволяет ни пьянствовать, ни в карты играть, ни в дома ходить». Симпатичнейшие, товарищески настроенные, смелые ребята останавливались перед этими препятствиями всерьез. Это морализм требовал от них полного отказа от всех привычек своей среды и обычного времяпрепровождения, требовал преображения личности за один взмах. Неписанный устав в тюрьме не позволял подавать прощения о помиловании, давать бить себя и товарищей без протеста, петь «Боже, царя храни» и «Спаси, господи», не позволял фамильярничать с властями или пользоваться привилегиями при отсутствии таковых у других товарищей и т. д. Сюда же относилась и другая неписанная форма быта (напугавшая конвойных Сазонова), главными пунктами которой были отказ и полное воздержание от употребления вина, карточной игры, разврата с уголовными женщинами, драк и т. д.

Такой морально-политический минимум устанавливался не без трений и страданий для самолюбия людей, загоняемых, кроме тюрьмы, еще на какую-то колодку. Несомненно, это являлось лишним угнетением личности. Нельзя не признать этого. И в то же время было совершенно невозможно отказаться от этого морализма, признать обратное — неприкосновенность косности. Невозможно было соглашаться на сохранение нетронутыми всех пошлых и грубых привычек среды, приносимых массой с собой в тюрьму. Пьянство, карты, драки и разврат в тюрьме совсем не то, что те же занятия и качества на воле. Там все это разрежено и оздоровлено сменой впечатлений, разнообразием жизни и простором; в тюрьме — сгущено, извращено и проклято.

Не один только определенный кодекс морали и личный и общественный идеал предлагает установление некоторого аскетизма для тех, у кого есть известные вкусы и привычки. Инстинкт самосохранения коллектива и каждого его члена в частности, повелительно диктует абсолютную необходимость такого ригоризма, если только подобный примитив жизненного «благообразия» может быть назван ригористичным. Большинство скоро начинало понимать не только моральную привлекательность принципиального очищения своего быта, но и прямую выгоду, так тсак администрация очень часто щадила наше достоинство прямо пропорционально развитию его внутри каждого из нас и внутри нашей каторжной коммуны.

Когда Достоевский говорит в своей книге о каторге,¹⁹² что интеллигентам труднее сидеть, чем «простым» людям (представителям физического труда), то он, наверное, имеет в виду сидение одного-двух политиков в общей уголовной камере, где простой человек попадает все же в свою среду, а интеллигент в чужую. Вернее было бы сказать, что политику, кто бы он ни был — «простой» ли человек или интеллигент, — все равно очень трудно сидеть без своего товарищества в уголовной казарме, и нужна огромная сила, чтобы выдержать долгое сидение. Мучительство возмездия достигается в данном случае с наибольшим успехом. Эта рассадка политических по уголовным камерам практикуется периодически решительно всеми правительствами. Но если брать политическую каторгу,

¹⁹² «Записки из Мертвого дома».

отбывание наказания в своей среде, вместе со своими, то, мне думается, интеллигенту высидеть гораздо легче, чем «простому» человеку. Говоря об интеллигенте, я разумею Лавровское определение:¹⁹³ это тот, кто мыслит критически или начал учиться так мыслить, кто имеет убеждения и с твердостью отстаивает их, несмотря ни на что, и кто имеет умственное и нравственное развитие и интерес к нему. Таким интеллигентом может быть хотя бы неграмотный человек с мозолистыми руками, полный невежества, но, вместе с тем, и огня к знанию и жизни в правде. Таких товарищей — интеллигентов в высшем смысле этого слова — мне посчастливилось видеть, уважать и любить на каторге не один десяток. Они учились со страстью, они ночь обращали в день, чтобы в покое учиться и читать, они росли на глазах, таяли физически от страдания проснувшейся мысли и напряжения недисциплинированного мозга. И такие гораздо меньше замечали специфический гнет каторги, бесцельность существования в ней и пр.

Простой трудящийся человек (по терминологии Лаврова «пасынок цивилизации») или образованный из буржуазно-интеллигентской среды (по Лаврову «дикарь высшей культуры»), всего нахватавшийся, но без серьезных запросов — это большие мученики при долгом сидении. Они-то и составляют основной контингент тех, кто тратит себя, свою скучающую душу и свое незанятое время на бесконечные «общие собрания», фракционные распри, расколы на «интеллигенцию» и «массу», суды, свары, пересуды и всякие тюремные пакости.

Рабочему, малоразвитому человеку, труднее сидеть, мне кажется, потому, что ему нужна смена впечатлений и просто самый процесс жизни, который в тюрьме до того искажен и изуродован, что и за жизнь-то не может считаться.

И вот начинается неизбывная тоска. Не во всех каторгах была работа, да и при ней политических не выпускали за ворота; значит, выбор работ очень невелик и неинтересен, и оттого целые десятки товарищей становились совершенно больными людьми. Когда удавалось некоторым товарищам из солдат и рабочих в 1909 -10 гг. выбраться на работавшие каторжные золотые прииски, они оттуда писали счастливые письма. Там они на настоящем воздухе, а не в узком, заставленном надзором дворишке, делали хоть и принудительную, но целесообразную работу и, главное, всегда имели возможность приработать для себя, а это в каторге очень ценится. Конечно, правительство умело сделать для своих пленников из всяких работ, — перенагружением или тяжестью других условий, — сплошное мучительство, но вообще, каторга с работой легче переносима, чем без нее: человек физически меньше разлагается. Без работы невозможно было бы, как бы ни голодал желудок, есть всегда одну и ту же омерзительную баланду и синюю размазную-кашицу. Без работы и без направления энергии в книги и на умственные задачи труднее выносятся лишения всего того, чем заполняется естественная жизнь. Из Зерентуя с проклятием писали нам об одном заключенном, который ночью сделал нападение на спящего товарища. Его выкинули из коллектива, осрамили, осудили, но каково же, значит, ему было, если он решился на такую проделку, заведомо обреченную на неудачу. Можно только угадывать, до чего должен был доходить половой инстинкт здоровых, полных сил и молодости парнях с наивным мышлением. И они-то должны были сидеть десятков слишком лет! И можно ли их осуждать за то, что разлагались, ссорились?!

Товарищи, которые являлись элементом, постоянно препятствующим неразумному времяпрепровождению, у кого самосознание стояло на высокой ступени или у кого, был прирожденный счастливый и чистый характер, по моему, тоже были не совсем нормальны. В тюрьме нельзя быть здоровым. Тюрьма — это пытка. Можно ли под пыткой быть нормальным и здоровым? Да и что такое нормальный человек? На воле таковых тоже мало. Но в тюрьме все это вскрывается, подчеркивается, интенсифицируется.

¹⁹³ Здесь и далее Спиридонова пересказывает положения, соржавшиеся в «Исторических письмах» Петра Лавровича Лаврова (1823–1900) — философа, публициста, социолога, одного из идейных вождей народничества.

В первый период расправы с революцией, в связи с неулегшимся движением в стране, и в тюрьме было нервно-повышенное настроение, а в каторгу слался тогда весьма разнокалиберный элемент — многие, часто даже в воображении своем незнакомые с тем, чем встретила их правительственная кара, и почти все, только что ушедшие из-под смертного приговора. Ни для кого в течение ряда последующих месяцев этот приговор не обходился незаметно. Для готовых на него и слишком знающих, за что умирают, зачастую состояние под смертной казнью бывало полно нездешнего обаяния; о нем они всегда вспоминают, как о самой яркой и счастливой полосе жизни, когда *времени не было*, когда испытывалось глубокое одиночество и в то же время небывалое, немислимое до того любовное единение с каждым человеком и со всем миром вне каких-либо преград. И, конечно, это уже самой необыкновенностью своей, биванием между жизнью и могилой, не может считаться нормальным, и возврат к жизни зачастую встряхивал всю нервную систему. У тех же, кто иначе переживал это время, не отрываясь от жизни, или кто просто был не «готов» и никогда и не думал готовиться, а был-таки поставлен к столбу, — встряска была несомненно чрезвычайной.

И вот всех таких, точно с того света взятых, нередко во всем крайне разных, сбили в одну кучу. Тюрьма тем и характерна, что туда не добровольно собирают, а набивают и принудительно коллективизируют почти всегда слишком неподходящий друг к другу человеческий материал. Отсюда и жестокость взаимного сживания, острота методов перевоспитания и реакции на них.

Глубоко неправ будет тот искренний ненавистник революции и ее участников, который радуется откровениям о внутренних трудностях тюремного общежития, как лишнему доказательству его утверждений о несостоятельности революционной идеи и действия. Те же самые люди, которые под давящим тюремным гнетом распыляли свою душу в волынках или в малодушии, были настоящими людьми и работниками на воле, в нормальных условиях давшими народу максимум лучшей своей личности.

Невозможно поднять руку с камнем на тех заключенных товарищей, которые в своем малодушии доходили до самого позорного конца — до подачи прошения о помиловании.

Падение их, если не оправдываемо перед судом революционной совести и перед лицом стольких замученных за свою стойкость пленников, свое смягчающее объяснение, конечно, имеет. Надо только представить себе, что выделявало над каторжанами, начиная с 1907 и кончая 1917 годом, правительство, надо проследить год за годом ужасы и издевательства над живой душой и телом человеческим, чтоб взглянуть иначе на всех сдавшихся, опустившихся, павших, чтобы сразу потерять уверенность в своих собственных силах и перестать требовать терпения от тех, у кого, может быть, сил было меньше или страданий больше.

Надо удивляться обратному: огромности выдержки, молчаливому долготелюму страданию без помощи и надежды сотен и тысяч людей, донесших до конца безропотно свой крест.

* * *

Но самым трагическим мне всегда казалось положение в тюрьме тех, кто ни сном, ни духом не участвовал в революции.

У нас нередко на каторге отсиживали огромные сроки товарищи, формально невинные, т. е. совершенно невиновные в приписываемом им по суду преступлении; вообще же они были «винны» в революции, в неоткрытых делах или хотя бы в том, что они — всем существом революционеры. И они тянули общую лямку, мало задумываясь о своей «невинности». У всех нас — партийных и беспартийных, интеллигенции и массы, — то, за что они сидели, было самым дорогим и священным. Такое сознание много значит.

Но на сибирских каторгах было изрядное количество настоящих невинно осужденных. Их-то и надо причислить к 3-й категории. Ренненкамф и Меллер-Закомельский при усмирении революционной Сибири или, вернее, сибирского железнодорожного пути,

хватали направо и налево, соблюдая только некоторое процентное отношение — с большой станции человек 15–20 ж-д. служащих и рабочих — расстрелять, запороть на рельсах или осудить на каторгу, с маленькой — 5–10. К приходу карательных поездов обоих усмирителей все живое, т. е. все наиболее виновное в революции или забастовке, большей частью успело уже убежать и хорошо спрятаться. В этом Меллеры не разбирались и арестовывали подряд.

На каждой станции происходили вопиющие насилия и злодейские убийства совершенно непричастных людей. Один железнодорожник, большой пьяница, пьянствовал всю забастовку, пьянствовал и усмирение, ничего не боясь. И так его сонно-пьяным и схватили и притащили на рельсы, где истязали нагайками и расстреливали его сослуживцев. Он был тут же приговорен к смертной казни, на коленях ползал, бился в ногах Меллера и меллерят и выпросил себе 15-летнюю каторгу. Был у нас в Акатуе. Железнодорожные мастера, которых рабочие во время забастовки колотили и вывозили на тачках, конечно, не боясь Меллера, оставались в депо и тоже попадали на каторгу; мы застали их в Акатуе. Вся эта абсолютно посторонняя вспыхнувшему в Сибири огневому массовому движению публика, схваченная Меллерами, вымаливала себе смягчение участи ползанием на коленках, писанием прошений, доносами на действительных участников движения, и вся она очутилась в Акатуе в качестве политических бессрочных и 20–15-летних каторжан.

Они были чужды всему духу политической каторги и всему укладу нашей общей жизни. Один из них начал заниматься в тюрьме выделкой фальшивых монет, другой мечтал по окончании срока открыть дом терпимости, от третьих из них нас остерегали, как от заболевших сифилисом в этапных похождениях; еще один нещадно всех обворовывал. Другие проводили вечера в рассказах грязных анекдотов и серьезно трактовали вопрос о «свободе любви».

— «Черт возьми, коммуна, так коммуна! Почему это они, наши товарищи женщины, не исполняют этого?»... и т. д.

Запертое в чужую ненавистную среду, принужденное выдерживать какой-то чуждый и тоже ненавистный тон, это хулиганье или мещанство, попавшее сюда якобы тоже «за революцию» — какие это были своего рода страдальцы и до чего скрежетали зубами они на эту самую революцию, на всех нас, и до чего исподличались, ища себе спасения и выхода! Они производили отвратительное и крайне жалкое впечатление, эти жертвы столыпинской скорострельной юстиции. И им все-таки пришлось перестрадать долгие годы каторги, и только одиночкам удалось доказать свою невинность и быть помилованными.

* * *

В 1906 г. в тюрьмах было вольное житье. Они походили скорее на клубы, в которых вроде добровольно и временно до улажения некоторых политических осложнений, «соглашались» посидеть социалисты и анархисты, чтобы, конечно, скоро выйти на волю и даже в случае чего крупно посчитаться с теми, кто стал бы «угнетать» их в тюрьмах. Воля шумела свободной печатью, протестами и митингами. Аграрные беспорядки прокатывались по стране грозными волнами. Настроение у заключенных было бодрое, счастливо повышенное, почти праздничное.

Режим на каторге до начала 1907 года был очень либерален. В Акатуйской тюрьме, где пока были сосредоточены все политические каторжане, было полное приволье. Выпускали гулять на честное слово далеко в лес, человек по 60 за раз, на весь день. А в деревушке за две версты от тюрьмы жило несколько десятков семей заключенных — жены, дети с целым домашним скарбом и хозяйством, даже с коровами. Отцов и мужей отпускали к ним с ночевкой. Они просто там жили дома со своими и являлись в тюрьму только показаться. В самую тюрьму на весь день тоже приходили дети, жены и матери и толкались по двору и камерам, как равноправные члены одной большой тюремной коммуны.

Внутри стража заходила только на поверку. В пределах каменных стен жизнь каторги

пользовалась полной автономией.

Ко времени нашего (6 каторжанок — Биценко, Езерской, Измаилович, Спиридоновой, Фиалки, Школьник) приезда (в конце июля 1906 г.) число семей в деревне Акатуй сократилось до 17; прогулки в лес по несколько десятков человек были прекращены; некоторые льготы были урезаны. Но все же режим был свободный.

Глава II Петро Сидорчук

В связи с внутренней жизнью каторжного общежития больше всего выделяется в памяти фигура Петро Сидорчука. Но он также неотделим в нашей памяти и от Егора Сергеевича Сазонова, с которым он был связан крепчайшими узами любви-дружбы.

Мы увидели его 23-летним юношей. Мне самой был тогда только 21-й год, но обоим нам с А. А. Измаилович он казался мальчиком, и все время мы были ему старшими сестрами, которых он уважал, любил и которым беззаветно подчинялся. Таким же любимым младшим братом был он у Егора и почти сыном у Григория Андреевича Гершуни.

Мы беспрестанно ловили себя на тайном любовании им, которое сверху прикрывалось укоризной или любовными насмешками. Это был вихрь, вечная буря, а не человек. У него ни в чем не было половины, ни в чем меры. Если любил, то любовь его поднималась до неба. Если ненавидел, ненависть его была страшна. Чистота отношений, безэгоистичность дружбы, страстное самоотдание и самоотвержение — и все это полно простоты, безотчетности, полно заботы и ухода за любимыми, и все это бурно, быстро в обстановке полнейшей правдивости и искренности. Он не думал и не помнил о себе ни в чем, никогда. Он всегда думал, жил и горел, трепетно горел идеей и теми друзьями, кто, по его мнению, хорошо ее представлял, почти символизировал. Он ненавидел зло, грязь, нечестность мысли и действия и обрушивался на них с такой яростью, что было страшно на него глядеть. Ненависть его была столь ярка и напряженна, что не могла сдерживаться никакими условностями. Он не мог находиться, напр., в одной комнате с «подлецом», шваркал стулом, хлопал дверью и уходил со свирепым видом.

Допустить при себе совершиться или сказаться какой-либо гадости он не мог ни за что и вступал в ратоборство с кем и когда угодно по поводу любого посягательства на чью-нибудь личность или право. Мы не помнили дня, чтобы не было какой-либо «истории», где виновником не являлся бы непременно Петро. Он мучительно содрогался при виде неправды всякого рода, мещанства и пошлости и шел против них во всякую минуту напролом. Часто нельзя было не сердиться на него, но нельзя было и не восхищаться им. Он напоминал «неистового Виссариона» причем мы добавляли, что неистовость его в кубе. Только русская действительность, кажется, могла создавать такие типы.

С детства он был непримирим со злом, непреклонен в своем выявлении и на редкость силен в выдерживании всех последствий своего фанатизма. Он, как скрипичная струнка, отзывался на всякое колебание воздуха, на всякую обиду и несправедливость, и во всей его короткой жизни красной нитью проходит эта оригинальнейшая и разнообразнейшая его работа — непосредственное утверждение в каждой детали справедливости и правды.

Одиннадцатилетним ребенком он бросился бить и кусать отца, в нетрезвом виде обидевшего мать. На другой день он отказался подойти к отцу и оставался с ним непримиренным все годы. Отец, забитый нуждой человек, бесконечно оскорблялся гордой неприступностью сына, делал подходы, пытался сломить строгостью. Петро обособлялся еще больше.

Когда Петро втянули в революционную работу, отец потребовал отказа от нее. Произошел бурный спор, отец поднял на сына руку. Петро кинулся к подушке, схватил оттуда браунинг и повернулся с ним в упор. Помертвевший от оскорбления отец упал на стул, закрыл лицо руками:

— Как... в меня, в отца, в отца своего!.. — и зарыдал.

Петро бросил наземь револьвер и вышел. Больше он домой не возвращался.

Мать он обожал, она его любила так же сильно, и он виделся с ней украдкой. Когда после своего акта Петро был приговорен к смертной казни, мать умоляла его принять на свидание к себе отца. Петро отвечал отказом. Отец сам прислал ему просьбу принять его, чтобы проститься с ним перед казнью. Петро опять отвечал: «нет».

— Как мог ты! — накинулись мы с Измаилович на него. — Как может быть в тебе такая жестокость и злопамятство, когда ты жалеешь всякую обиженную букашку?

Петро потемнел:

— Я не мог... Я не забыл, я не мог притворяться из жалости.

И вокруг рта легло у него в эту минуту, наверное, то же выражение жестокой фанатической непреклонности, с которой он говорил плачущей матери свое «нет».

Очень скоро он был изгнан с тройкой по поведению из того средне-учебного заведения, где начал учиться. Вцепился в горло скверному учителю, кого-то очень обидевшему. Кое-как был принят в другую школу. Побил там директора за «гнусные и гадкие дела», как кратко и мрачно формулировал он всегда свои «подвиги». Поместили его еще в какое-то училище. Разругал весь совет непередаваемой бранью за угнетение учащихся и за воровство. Топал на них ногами, орал и пр. Вывели и изгнали с позором.

За несколько лет Петро приходилось ездить в несколько городов и городишек, чтобы доучиться. Везде кончалось диким скандалом, избиением какого-нибудь «негодяя» и изгнанием Петра. Наконец, его учебная карьера была исчерпана. Нигде его не принимали. Надо было добывать средства к жизни, Он начал служить.

Служил в земстве, в суде и т. д. Отовсюду был изгоняем с позором. Председателя земской управы назвал вором и мерзавцем; уходя, так хлопнул стеклянной дверью, что она рассыпалась в дождь осколков. Кажется, побил кого-то в суде и т. д. В довольно короткое время он, очень способный и дельный работник, легко приспособившийся ко всякой работе, ничего не мог найти для себя, так как его боялись всюду, как огня. Весь город начинал знать его.

Идет он по улице вместе с матерью. Мать была очень моложава и выглядела скорее его сестрой. Встреченная ими группа гимназистов отпускает любезность насчет ее. Петро повертывается: раз, раз, — все шарахаются от пощечин, крик, шум, свалка, городские составляют протокол.

— Он, — передает Петро, задыхаясь и злясь, будто не 6–7 лет назад было событие, а вчера, — он, подлец, посмел сказать сальность!

Идет Петро один, т. е. не идет, а мчится, сломя голову. Навстречу плывет какая-то важная военная фигура. Сбоку тротуара головой к нему и ногами в канаве лежит пьяный-распьянный мужик, блаженно улыбается, раскинув руки и спит. Важная фигура, брезгливо покосившись, отодвигает ногой голову мужика в канаву и плывет дальше. Петро вмиг схватывает чина «за грудки» и трясет, рвет красный отворот. Кричит диким голосом.

— Негодяй, мерзавец!.. Ногой, ногой... помешал тебе! Ты надерешься коньяку, на пуховике дрыхнешь, а его в канаву, в канаву... Вот тебе, вот тебе...

Сбегается народ. Городовые торжественно под руки ведут Петро, до того свирепого и яростного, что даже у городовиков нет смелости бить его. Составляется протокол, вызов к мировому судье и т. д. Таких историй без конца.

И вместе с тем столько деликатности, застенчивой доброты и заботы о людях, столько ежеминутно безотчетно творимого тайного добра.

Во многом, особенно в иступленной жажде благообразия, он напоминает героя Достоевского «Подросток», только абсолютно без подполья того подростка, без карамазовщины и чего-либо паучьего.

Об его отношении к любви, к женитьбе нельзя было слушать без смеха. Он не допускал к любимой женщине «таких» отношений: «подлец тот, кто смеет себе позволять это». Возражения о продолжении рода человеческого встречали такую бурную отповедь плевков, ругательств и, наконец, под гнетом общей логики, почти отчаяния, что его оставляли в

покое.

Когда разразился в родном его городе Житомире страшный еврейский погром (весной 1905 года), Сидорчук потребовал от местной организации пустить его на террор. Не обошлось без споров, и он сильно перемучился из-за них, так как каждый час, не только день, замедления прибавлял сотни новых жертв погрома. Организация колебалась, так как Петро был у них лучшим и нужнейшим работником. Наконец, он вырвал разрешение. Он подстерег очень скоро на улице пристава Куярова,¹⁹⁴ главного организатора-руководителя 4-дневного погрома, убил его из браунинга одним ударом и побежал. Время было тревожное, погром только что начал стихать, но еще там и сям вспыхивал заново. За убегающим Петром понеслась целая толпа. Случилось трагическое недоразумение. Столпившиеся евреи вообразили, что бежит погромщик, кого-то сейчас убивший. И они с отчаянным шумом и гамом преграждали ему дорогу. Он, подняв револьвер, стрелял в воздух, прокладывая себе среди моментально разбежавшейся публики путь, и бежал, не помня ног. Сзади схватил его один из шпионов, сопровождавший Куярова. Сидорчук выстрелом свалил его. Сбежавшиеся на шум полицейские схватили его спереди. Он убил одного и снова бежал, наводя панику уже пустым револьвером, пока на него накинулись целой оравой, не обезоружили и не оттащили в участок.

Там к нему в камеру скоро вошел толстый огромный с большими рыжими усами городовик с плетью в руках. Прищуривая один глаз и прицеливаясь, он размахнулся ловким хлестом. Петро, как тигренок, прыгнул в угол, где раньше видел какую-то забытую дубинку, и кинулся на полицейского. В миг он был окружен в своем углу 4-мя здоровыми городовиками. Но он один так яростно и так долго боролся с ними, что они справились с ним, когда уже сами были изрядно покалечены. Всем 4-м пришлось потом прибегать к хирургической помощи: одному отняли руку, другому вынули глаз и т. д. Ни один не догадался пустить в ход револьвер, хотели справиться с этим на вид мальчиком врукопашную. Но этот мальчик был гибок и силен, как стальная пружина.

Его обессилила потеря крови из выбитого глаза, и он упал в обмороке прямо им на руки. Тут уж с ним наигрались досыта. Когда его принесли в тюремный лазарет, он представлял собой какой-то сверток из крови, лохмотьев, мяса и костей. Глаза выходили из орбит; один потом удалось вылечить, другой пришлось вынуть. Обе руки и ноги, были вывернуты «на изнанку», так что пятки приходились наперед, пальцы ног назад и т. д. Весь был исколот штыком, изорван и иссечен плетью, вся голова была в поранениях.

В лазарете Сидорчук попал к врачу-еврею, который лечил его с величайшим вниманием; заложил руки и ноги в лубки, оперировал глаз, залечил все раны и поднял силы в очень короткий срок.

П. Сидорчук был первым русским, выступившим с террором на погромщиков, и еврейство всего города было в страшном волнении. Население тех улиц, где он бежал и где его они своими руками ловили, было в отчаянии, присылало просить прощения и совершенно гласно собирало деньги на организацию его побега.

Здоровье приливало к Петру быстро. Назревал побег. Обеспокоенное чрезвычайным сочувствием к Петру всего города, правительство поторопилось с судом, и в тюрьму за ним явился конвой. Но за время болезни и выздоровления Петро успел перезнакомиться со всеми заключенными уголовными. Они не только полюбили его, но воспылали обожанием, чуть на него не молились. Его геройское сражение с 4-мя их врагами-избавителями покорило их сердца. Они резко воспротивились увозу его в суд. Петро объяснял, доказывал, — все было тщетно. Надзиратели были вытолкнуты, двери забаррикадированы. Администрацией были введены войска в коридоры, и началась злодейская и подлая стрельба в запертых, как в мышеловку, людей. Арестанты падали в крови, убитые и раненые. Другие не сдавались. Петро кидался от одного заправилы к другому, умолял, почти с рыданиями, рвался к двери.

¹⁹⁴ Пристав Куяров был застрелен Сидорчуком 24 апреля 1905 г.

Они его связали по рукам и ногам, положили на нары и стали готовиться к рукопашной по взломе дверей. Стрельба, сопротивление и обструкция длилась несколько часов, пока, наконец, конвоем не удалось вырвать Сидорчука.

На суде Петро не признал за «наемными продажными судьями» и пр. и пр. права судить его, отказался с ними разговаривать и говорил в таком резком, оскорбительном тоне, что его вывели. Он сопротивлялся, его тащили силой, зажимали рот, но он успел сказать все, что полагалось. Все повскакали с мест, бледные, пораженные. Петро кричал свои обличения, вырывая свои неистовые уста из зажимающих их жандармских ладоней.

Он был приговорен к смертной казни. Его сразу же увезли в другой город — в Острог, в крепость, где он ждал смерти три месяца. Казнь задержалась из-за добывания неимевшегося в наличии палача, а потом началось осеннее предреволюционное общественное оживление, и, должно быть, этим надо объяснить замену смертного приговора каторгой.

В газетах же, между тем, уже промелькнуло сообщение, что он казнен. Мать кинулась в городок Острог, не веря своему горю. Приехав в тюрьму, застала в конторе по какому-то случаю прокурора и другие власти. Сразу же истолковала себе их сборище только что выполненной казнью над сыном. Машинально отдала свои бумаги; слова не повиновались ей. Начальник, удивленный, поторопился позвать к ней сына. Тот вбежал и остановился вкопанным.

— Мама, почему у тебя волосы белые и что с тобой, На него в упор смотрело помертвевшее серое лицо с округлившимися от ужаса глазами. В эти короткие минуты ожидания окончательной вести мать из красивой молодой женщины стала седой старухой.

По отмене смертной казни Петро из крепости города Острога был привезен в Москву, в Бутырки. В Бутырках в это время не признавали деления каторжан на политических и уголовных, и Петро бритый, закованный и переодетый, был помещен в общей камере с уголовными каторжанами. Он — прирожденный массовик. Его горячее в любви и ненависти сердце сказывается с первой минуты знакомства. Уголовные скоро его полюбили, слушались его, организовали самозащиту от произвола мелкого надзора и скоро во всем каторжном коридоре наступила какая-то новая полоса — доснимались кандалы, завязались связи с другими камерами, прекратился мордобой без отпора. Петро среди осужденных на каторгу сыскал много матросов — политических каторжан. Он начал лекции. Всю ночь он, сам небольшой знаток наук, готовился, а днем читал в уголку то одной, то другой кучке товарищей лекции по политической экономии и истории. Лекции удавалось хранить в секрете, но новый дух нельзя было спрятать. Надзиратели злились, пробовали побороть своим судом «каторжную тварь», потом донесли начальству. Начальник Бутырской тюрьмы был царь и бог. Его приход в тюрьму был событием. Трепетали не только арестанты, но и надзор и конвой. Все тянулось в струнку, подбиралось, пряталось. Он ввалился со свитой надзирателей.

— Где здесь одноглазый дьявол (у Петра был выбит глаз при аресте), который мутит мне всю тюрьму? Подать его сюда!

Каторжане, предвидя изоляцию от Петра и всякое худое с ним уже наперед, не позволили ему показаться начальнику и запрятали его, маленького, худенького человечка за свою могучую шеренгу. Начальник стал грозить камере. Петро нельзя было удержать.

— Вот я!

— Ты что ж это, подлец, делаешь! — заорал начальник. Петро побелел и затрясся.

— А ты кто такой, что смеешь лезть ко мне на ты и подлецом звать. Ты сам подлец и палач, и кровопийца...

Начальник обомлел, ему перехватило дыхание. Он топтался на ногах, мычал, потом раздался не крик, а рев:

— В кандалы!.. Розог!.. Запорю!..

Петро рвался к нему и кричал одно оскорбление за другим. Его схватили и потащили. Закованный по рукам и ногам — и так тесно закованный, что руки ничего не могли

делать, — он был брошен в Пугачевскую башню. Там он ждал. Каждая минута его жизни в эти страшные три дня была трепетом ожидания. — Как, как покончить с собой?.. В конце смотрят, ни руки, ни ноги не шевелятся широко, повеситься невозможно. Голову о стену разбить не дадут...

И все таки он знал, что он не позволит прикоснуться к себе. У него душа умирала в эти дни, и светлой точкой была только надежда, что ему удастся себя убить.

Вдруг начались какие-то странные звуки в городе, будто стрельба, шум; в самой тюрьме движение, тревога. Невозможно было угадать. К башне, наконец, застучало много сапог. Весь напрягся, сердце вырывалось из груди — за мной?..

Дверь открылась. Молча сняли с него кандалы, молча отвели назад в камеру. Там он узнал, что начались дни «свободы» — 17 октября, манифест, демонстрации на улицах; подхождение к тюрьмам и пр. и пр. И он, и Куликовский, сидевший в это время тоже в Пугачевской башне (с.-р., убивший московского градоначальника Шувалова¹⁹⁵), называли потом происшедшее с ним чудесным избавлением.

Вскоре после этого Петро был привезен в Нерчинскую каторгу. По дороге на этапах, в тюрьмах, при остановках он был на своем посту. Невозможно пересказать несчетное количество его выступлений и походов всегда определенного направления. Товарищи обожали его. Власти ненавидели до корч, он отвечал им тем же.

По переводе Петра из Александровского завода в Акатуй началась для него совсем иная жизнь. Он и Куликовский были там, кажется, единственными профессиональными революционерами, революционерами по призванию, стремящимися критическую мысль сочетать с нравственными убеждениями и, главное, с действенным проведением их *личной* и общественной жизни. Многие пережитки среды многим приходится переломать в себе и переделать, чтобы хотя чуточку быть достойным тех начал братства и равенства, в борьбе за которые социалистические партии зовут умирать. Петро не задавался никакими большими целями, но он без колебаний и рефлексий всегда инстинктивно *знал*, что он должен и может сделать, и от других требовал того же. Знал, *что* оскорбляет идею революции и *что* ее возвышает. Он только не умел сообразоваться с различием людей и не видел меры отпущенных каждому сил. Он уважал человека вообще, уважал каждого отдельно, а, видя в нем унижение образа человеческого, переходил в ярость и почти зубами и ногтями тащил его к лучшей части души в нем самом же.

Тех, кто называется представителями «массы», Петро любил восторженной любовью. Да он и сам был тот же представитель массы, только с красивой гипертрофией нравственного начала. И вот он застал эту массу в периоде его глубокого падения. Он не узнавал своих друзей матросов, которым он в углах Бутырской камеры под угрозой общей порки читал политическую экономию, у которых глаза загорались при открытии научного обоснования своего бунта, когда целые вечера проходили в толковании прибавочной стоимости или в задушевных беседах об искании правды и установлении справедливости. Попав в небольшом количестве в общий котел с уголовными и невинно осужденными «политиками», большинство приняло привычки уголовного каторжного бытия. Шел повальный картеж, пьянство, поножовщина. Пропивалось и проигрывалось все имущество. Личности стирались в дыму, угаре, похабной брани и бездельническом шатаньи и валяньи. Петр Александрович Куликовский, умный и крупный работник, один не мог стать сдерживающим началом, благодаря своему характеру необыкновенной мягкости, деликатности и скромности, почти робости. Петро с ним и Семеном Фарашьянцом принялись сразу же за организацию небольшой тесно сплоченной группы, и она, воодушевляемая пылом Петра, стала бороться с развалом.

Семен Фарашьянц, убивший елизаветпольского губернатора Андреева в 1904 году, кажется — первый по временам террорист после Карповича. Это — интересная фигура.

¹⁹⁵ Московский градоначальник гр. Шувалов был застрелен П. А. Куликовским 28 июня 1905 г.

Боясь не выполнить основной задачи записок, ограничусь немногими словами о нем.¹⁹⁶

На Семене Фарашьянце особенно легко можно было бы проследить рост и усложнение процесса развития и расширения личности. Он был проявлением гнева и самозащиты народных масс, революционером инстинкта, стихийной мести. Сделал свое дело хорошо, держался при всех послеактовых мытарствах замечательно, был настоящим героем, твердым и смелым до конца. И в то же время он был совершеннейший дикарь, почти ребенок, упорно державшийся всех мещанских причуд и предрассудков своей среды и быта. До того дикарь, что выделялся из всех. Измаилович и я были очень дружны с ним и, должно быть, порядком увечили его, торопясь начинить его всякой премудростью знания и нашей «научной» веры.

Он иногда остро страдал. Так, участвуя в кружке, где Прошьяном читались лекции по естествознанию, и дойдя путем заключения до догадки о несовместимости новых знаний с имевшимися в его голове наивными религиозными преданиями, в одно из чтений как-то сразу все понял и *почувствовал* и... вдруг здоровый кавказский детина с черными глазами и могучим голосом побледнел, встал во весь рост и, втянув кудрявую голову в плечи, трясаясь, будто в испуге, спрятал лицо в стену. Все замолчали, кто уже понимая, кто удивляясь. Потом ушел, отвертываясь от всех, и несколько дней выглядел больным и подавленным.

Так страстно и остро переживал потерю многих своих верований и понятий. Он рос на глазах. Хорошо было глядеть на него. Сильная его воля при нашей помощи преобразовала не только его ум, но весь характер. Согласно кавказской традиции, он за всякую обиду лез с кинжалом, а за неимением его в рукопашную. С негодованием отвергал наши возражения. Потом сдался и в этом.

После 6 месяцев совместной жизни нас развезли по разным тюрьмам Нерчинской каторги, и я видела его 2–3 дня в Горном Зерентуе почти через год после разлуки уже значительно иным. Он перестал быть ребенком, сохранив искренность и силу впечатлительности. Там он был активнейшим участником затеи нескольких (человек 12–15) товарищей, решивших протестовать своей смертью за увоз наш с Езерской из Зерентуйской больницы.

Семен почти единственный товарищ-акатуевец из нашего тесного кружка, оставшийся в живых, которого я увидела после каторги, когда он приехал ко мне в апреле 1917 года в Читу. Его изрядно напутал мой интернационализм и «ставка на социалистическую революцию». В спорах со мной он уже отнюдь не признавал слепо моего авторитета, как раньше, а умел силой и весом отстаивать свое оборончество и правое эсерство. Какова его дальнейшая судьба, внутренняя и внешняя, не знаю.

Семен Фарашьянец с меньшим, чем у Петра, жаром помогал ему в установлении иных порядков в Акатуйской тюрьме. Общие собрания шли одно за другим. Петро выступал с обличениями безобразных поступков. Он просил, умолял, грозил, кричал иступленно:

— Что вы делаете!... Что делаете!... Знамя, знамя революции нашей, залитое кровью, вы топчете, заплывиваете, волочите по земле, знамя...

Голос у него прервался слезами, и он, стыдясь их, прятался за Семена, безудержно плача. Многие были тронуты тогда. Настроение поднялось, сразу же в группу пошло несколько новых десятков. Петро, Семен, Петр Александрович и др. ковали железо горячим. Открылись кружки грамотности, общеобразовательные и т. д. Куликовский был замечательный преподаватель, настоящий артист. Он умел втягивать в самые скучные занятия. Публика зашевелилась в лучшую сторону. Другой лагерь еще не сдавался. Борьба была упорная. Петро был недопустимо груб и резок, обижал с плеча тех, кого надо и можно было образумить совсем иначе. И многие, даже обращенные им к более сознательному образу жизни, хорошие искренние ребята, затаивали обиду на него и даже ненависть.

Когда приехали в Акатуй шлиссельбуржцы и защита «знамени» перешла к ним, Петро

¹⁹⁶ Фарашьянец (Фарашян) Семен Беглярович (1882-?) — рабочий, участник революционного движения.

вздохнул освобождение.

С увеличением числа политических заключенных уголовных увозили в другие тюрьмы Нерчинской каторги. Тюрьма приняла характер политической, и мы, шестеро каторжанок, застали в ней сравнительное благообразие. Группа невинно осужденных «политических» каторжан, конечно, еще продолжала идти «против течения». Скандалы продолжались тоже, но они уже приняли локальный характер. Майдан, пьянство, свары и потасовки происходили только под сурдинку, все же сильно разлагая окружающую неустоявшуюся молодежь или безмерно раздражая вполне сознательную ее частью.

Как-то под вечер один пьяный «товарищ» (Гершуни прозвал таких «товаришками») погнался за нами, не то попугать, не то сказать любезность. Надо было видеть, как несколько казаков кинулись к нему, с каким лицом и жестом руки, направленной в пояс будто за кинжалом, выбежал Прошьян.¹⁹⁷ Другой раз человек 9 пьяниц подрались и в ответ на унимание стали стрелять из откуда-то добытого револьверишка. Что сделалось с ребятами! Кинулись во двор выворачивать оглобли из под бочки с водой, и плохо бы пришлось безобразникам, если бы не сбежались «старики» — Григорий Андреевич, Петрусь Карпович, А. К. Кутепов, Куликовский и др.

Последнее событие переполнило чашу, и общее собрание предложило этим девяти, во главе с стрелявшим фальшивомонетчиком, избрать другую тюрьму своим местожительством. Они уехали в Алгачи, за 40 верст от Акатуя.

Оставшиеся сотоварищи хулиганья значительно поутихли после этого и время от времени поодиночке просились к переводу.

За эти месяцы полного очищения атмосферы Петро пережил все стадии своего первого и последнего романа в жизни. Он был то любим, то отталкиваем и терзаем, то опять избран и опять отвергнут. Дорогой неоцененный маленький рыцарь...

Накопившаяся ненависть к нему, ряд мелких обид и укулов, которые он щедро рассыпал направо и налево, ища и требуя благообразия, — все это вылилось как-то сразу на его голову. Группа обиженных, в которой инициаторскую роль играли тайные и явные майданщики, выступила обвинителем Сидорчука на одном из общих собраний. Грустно было смотреть на Петра. Он не умел и не мог оправдываться. Он никогда не думал о себе, а только об идее, оскорбляемой ее недостойными носителями. Даже не бледный, а зеленый, с дрожащей нижней челюстью, он пришел к нам, хотел что-то рассказать, но не мог и замолчал, с жгучим горем смотря на нас с Измаилович. Он отошел от массы тогда совсем, перешел жить в библиотеку к Егору Сазонову, но тосковал и бегал в общие камеры.

Сорвав злобу, масса, как дети, забыла обиды, и Петро начал оживать. Один раз с сияющим лицом он прибежал к нам с сообщением, что его зовут жить в 4-ю общую камеру. Мы не советовали, пока не установилась нормальная жизнь, но Петро настоял. Несколько дней он сиял, воспрянул духом, сыпал рассказами, потом скоро увял, стал односложен, что-то скрывал, потом разразился скандалом. Двое в камере, оказывается, держали майдан с водкой и картами, обыгрывали все вещи, брали за водку последние деньги и т. д. Петро схватил майданщика с бутылкой, разбил бутылку об пол и, держа майданщика за воротник, высыпал на него весь свой колоритный жаргон. В камере часть молчала одобрительно, другая, пользовавшаяся, — сконфуженно, третья открыто приняла сторону майданщика. Начались пересуды, перешепоты. Петро склонил голову и ушел опять в библиотеку.

Ничего так не изломало его, как все эти истории. Кровью сердца, соком нервов своих реагировал он на малейшие события этого рода — и так во все годы своей каторги.

В Зерентуе в декабре 1907 г., так же как Егора, Прошьяна и Фарашьянца, я видела и Петрика. Это был совершенный скелет и сплошной обнаженный нерв. Страшно было коснуться его души. В ней не было живого места. Каторга с массовым элементом, да и

¹⁹⁷ Прошьян Прош Перчевич (1883–1918) — член ПСР с 1903 г. В 1917 г. один из основателей партии левых социалистов-революционеров.

вообще каторга — тяжелое испытание для идеализма и для любви и веры в человека.

В те полгода, что мне пришлось непосредственно наблюдать жизнь мужского коллектива, острота тюремного гнета была, конечно, более чем уменьшена легким режимом, свободными отношениями с волей, полной возможностью группового и общего образования и довольно редким подбором руководителей политической жизни каторги. Поэтому за отъездом черной сотни и за укрощением их сподвижников, это было вскоре после нашего приезда, атмосфера с каждым днем оздоравливалась. Измаилович проводила общеобразовательный курс с большой группой солдат, матросов, рабочих. Куликовский тоже. Лидия Павловна Езерская и Сазонов вели кружки. Прошьян успевал всюду, Гершуни и другие читали лекции по ряду вопросов. На замечательно интересные лекции Гершуни по истории революционного движения в России собиралась вся тюрьма, и из-за ворот приходил надзор и даже начальство, скромно прятавшееся в углы. Вечером на одном из крылец затевали чудный хор, певший разнообразный репертуар. У некоторых солистов были прекрасные голоса большой силы. Песня из тюрьмы разносилась по всем зеленым сопкам, окружавшим с трех сторон своей лесной ароматной щетинкой наши белые стены. Гимн: «Террор, террор, террор вам тираны!..» был самым популярным и звучал очень красиво в этой обстановке. Им или Интернационалом, тоже наипопулярнейшим, кончался обыкновенно концерт, и до позднего вечера начиналась беготня — прогулка по потемневшему двору. Когда приходила почта, то газеты читались всей тюрьмой сразу. Читал Куликовский или Гершуни, и около крыльца-читальни стоял стон-стоном от восклицаний, перерывов и смеха. Такие газеты рождаются, должно быть, один раз в столетие. Талант, огонь дерзкой убежденности, разнообразие и целостность аргументации, важность тем, насущно-необходимых не только для обсуждения, но и для неотложного проведения трактуемого в жизнь, вызов и проповедь — все это неповторяемо. Газеты были у нас в руках только первый год. Потом их пришлось увидеть раз уже в 1917 году. До чего убогими они мне показались в сравнении с набатными газетами 1905–1906 гг.

Наша спокойная и улучшавшаяся внутри с каждым днем жизнь с середины августа уже начала извне подвергаться кое-каким прижимам в связи с участвовавшими побегам. Начали вежливо выпроваживать бесчисленное население родни заключенных из дер. Акатуй; наглухо запирали наружные ворота; стали аккуратно проваливаться из-за остававшихся неоткрытыми в нашей среде доносчиков подкопы, который власти давали довести чуть ли не до конца и потом торжественно открывали и заваливали камнями.

Петро более уже не делал попыток поселения в общих камерах, но волновался каждым подкопом больше всех, а две неудачных попытки побега Григория Андреевича, оставшиеся неизвестными администрации, подействовали на него так ужасно, что мы решили скрывать от него следующие попытки.

Манифест 17 октября сильно сократил срок каторги Сидорчука. Осенью 1910 г. он уже вышел на поселение, откуда сразу же бежал за границу. Он имел определенные планы освобождения нас из Мальцевской тюрьмы и товарищей из Зерентуя, и, если бы нелепая случайность не унесла его, быть может, при его огромной энергии, твердой воле и больших организаторских способностях, хотя бы часть его планов получила свое осуществление. Но в первый же день по приезде на морской берег Италии он утонул в разыгравшуюся непогоду во время купания. Как ни странно, ни я, ни Измаилович не были поражены его гибелью. Когда мы с ней оплакивали Егора, погибшего в конце 1910 г., мы неотделимо от него горевали о Петрике, будто уже погибшем. Он не был лианой, не был слабым человеком, живущим в тени другого, он сам по себе был всегда крупной, яркой и сильной индивидуальностью. Тем не менее мы не мыслили себе, как бы Петро мог перенести смерть Егора без того, чтобы самому так или иначе не уйти за ним. Пусть это была случайность, другая случайность настигла бы его. Цепкость жизни, выручающая изо всех случайностей, была в нем несомненно убита.

Глава III

П. В. КАРПОВИЧ

Печальна судьба, постигшая по освобождению ряд лучших, самых дорогих и любимых наших то варищей: Петро утонул, Григорий Андреевич Гершуни умер от саркомы легких, очень мало прожив на воле после побега из Акатуя, Прошьян унесен тифом в цвете лет, сил и надежд, П. Карпович погиб в начале 1917 года при взрыве миной парохода, на котором мчался в Россию к долгожданной радости — революционно-строительной работе.

Карпович высидел после своего акта в 1901 году (убил министра нар. просвещ. Боголепова) в Шлиссельбургской крепости 5 лет и, попав туда безусым студентом-юношей, вышел большим серьезным мужчиной с темной бородой по пояс. Его у нас все страшно любили, и, кажется, в смысле отношения к людям и всякого рода «историй» он был прямой противоположностью Петра. Редко когда с его губ сходила едва заметная, тонко насмешливая улыбка, с какой он своими умными и добрыми глазами «созерцал» все происходящее. Каждому с ним было просто и легко, как с давно знакомым. Какими особыми чертами или чертой характера он обладал, трудно сказать, но он так располагал к себе и до того ему открывались сердца, что он был одним из любимейших и уважаемых всеми товарищей. Он умел подходить к людям и был за это ценим последними.

Петрусь (так звали у нас Карповича) всегда был прост и ясен, всегда спокоен и ровен, даже ленив. Часами лежал он на нарах, слушая болтовню и сам кидая скупое, но острое словечко, и в конце-концов его длинную широкую фигуру со всех сторон нар обсаживал рой собеседников.

О шлиссельбургской жизни Петрусь не очень скоро соглашался рассказывать. Похоже, что ему это было неинтересно. О шлиссельбургских своих стариках он говорил с любовью и восторгом и радовался, как дитя, получая от них письма.

Он решил высидеть пять лет в «Шлюсселе», рассчитал, что физических и всяких других сил должно хватить на это время, а потом хотел идти на самые рискованные попытки к побегу и, если они не удадутся, в одной из них сложить голову. Первый его план был какой-то сокрушительной дерзости. Выломать решетку, прыгнуть на часового под окном, свалить и расшибить его своей тяжестью, связать, обезоружить, потом лезть через стены, плыть в лодке и т. д. в этом роде. Все это без возможности снестись с волей, без чьей-либо помощи... Конечно, побег оказался бы почти неминуемой гибелью. Но Петрусь спокойно возражал, что при 90 шансах на гибель, 10 было за успех. Когда подошел срок к 5-ти годам, Петрусь почувствовал и осознал, что он вполне может сидеть и дольше. Тогда он накинул себе еще 5 лет. Но тут его перевезли в Бутырки, а оттуда в Акатуй.

Он считался вольнокомандцем и пропадал целыми днями по деревням и сопкам, подготавливая побег для Григория Андреевича. При одной из неудачных попыток к побегу Григория Андреевича, Петруся в чем-то заподозрили и из вольной команды перевели в тюрьму. Но так как он попал под 2 манифеста, срок его кончился в 1907 г. Будучи отправлен на поселение, еще не доезжая до места, он бежал.

Однажды вечером в Акатуе он, всегда твердый и ясный, как-то грустил и рассказывал, что ему не везет в жизни. Приводил примеры, отмахивался от тех из товарищей, кто его называл инициатором и вдохновителем заново русской террористской борьбы с самодержавием, рассказывал о своем разочаровании при мысли, что сейчас революция несомненно идет на убыль, и он не увидит ее нового подъема.

— Я сел в Шлиссельбург как раз тогда, когда началось самое интересное время, всю революцию просидел в тюрьме, сейчас выйду уже к ее концу. И вот уверен, что новая волна революции пройдет мимо меня. Он точно напорочил.

Вышел он в самое трудное время полного развала революции, разложения сил моральных и физических, ничем неудержимого разлива правительственной реакции, наводившей на всех ужас и громившей все живое. Мы знали об этом времени только понаслышке, и то было очень тяжело. Каково же было ему, буквально начиненному неистраченной революционной энергией, накопленной за 6 лет, выбрасывать ее заряды или в

пустоту или в гнилое болото!

Всегда увалень, лохматый, в невероятных штанах и блузе, в валенках, он был теперь изящен, причесан, выбрит, одет с иголки и подтянут, когда пустился по России. Узнать и выследить его было невозможно, так он был изменен, но провокация в то время уже начала свою шакалову работу, и мы считаем чудом, что он не сел. Он объехал всю Россию, он забирался решительно во все уголки, где была какая-нибудь хотя бы малейшая связь, и пытался собрать по человеку, по крупинке и по капле то, что было недавно огромным коллективом. Он терпеливо и жадно искал сначала революционного огня, потом уже хотя бы искры, искал людей и человека. Все было затянуто, как пеплом, нивелирующей силой ужаса внешней и внутренней реакции.

— Я искал, — пишет Карпович в письме к Егору, — я так искал. Письмо его было будто от Елиазара, заглянувшего на дно могилы всего мира. От него веяло смертной усталю. И если бы за этим письмом, которое нам из Зерентуя переслал Егор, последовало извещение о роковом конце Карповича, мы бы не удивились. Он выдержал тогда, по-видимому. Но позднее, судя по сообщениям о нем, глаза мертвого Елиазара глянули таки ему в душу и надолго покалечили ее.

Вскоре после этой вести от него у нас на долгие годы прекратились какие-либо связи с волей. Теперь-то понятно, что «воли» не было, не было живой жизни. И только в 1917 году уже пришлось сначала прочесть, потом услышать о Карповиче, о его нелепой случайной гибели.

О его заграничной жизни мне ничего неизвестно, кроме того, что он долго не мог поверить в предательство Азефа и переживал это страшно болезненно, а также то, что он был в стане интернационалистов, когда загорелась война, и вел оживленную кампанию в пользу своей позиции. Судьба не дала-таки ему счастья прикосновения к жгучему костру революции в момент наивысшего горения. Умирая, он был верен себе до конца. Основное начало его характера — чувство товарищества и несознающей себя любви к человеку — сказалось в нем целиком, когда его уносила волна. Рассказывают, что он отдал с себя пояс гибнущему товарищу, а сам просто поплыл по морю, ища берега, изредка посылая товарищу прощальный привет устающей рукой. Л уже утопая, еще раз поднял одну руку с приветом, быть может, к небу, к воле, к живой работе, к миру.

Глава IV

Г. А. Гершуни

Нужно сказать о том, чем был для нас и для всех окружающих Григорий Андреевич Гершуни, если бы он не умер так рано. Досадно говорить скупо или неумело о таком огромном человеке, каким был Григорий Андреевич. Но не говорить о нем — это значило бы замолчать очень крупную долю того времени, которое является основной темой данных записей.

«...Мне доставляет гордую радость (писал на волю о Г. А. Егор Сазонов по приезде из Шлиссельбурга в Акатуй) видеть то уважение, которое окружает нашего дорогого Григория Андреевича: все, если не видят, то чувствуют цену этого человека, и нужно его видеть именно среди людей, чтобы по всей справедливости оценить его. Как я ни был подготовлен к тому, чтобы предполагать за ним различные таланты, но все же приходится удивляться ему: он как бы растет и развертываются на людях. Здесь он возвышается над нами на целую голову. Впрочем, здешняя обстановка слишком даже низка, чтобы служить ему меркой. Нужна широкая арена, чтоб он развернул все свои силы. И для нашего дела непоправимый страшный убыток, что такая могучая политическая сила скована в данный момент»...

Первое впечатление от Григория Андреевича — это присутствие очень большой силы. Такой внешне ничего особенного не представляющий из себя человек со своим спокойным, добрым лицом, с постоянной искоркой юмора в глазах, плотной фигурой, звучным голосом, — он одним взглядом своих глаз так или иначе сразу же забирал вас за живое.

Удивительны были его глаза. Серо-синие, большой красоты и сияния. Глаза говорили с вами, утешали вас, ласкали, гневались. Лица не было видно и неинтересно было видеть, все внимание уходило в глаза. Из них хотелось жадно пить и голубизну, и бездонную, огромную, полную любви и мудрости душу человеческую. Его лицо становилось заметно только, когда он шутил и смеялся, когда, например, они с Петриком рассказывали друг другу на еврейском жаргоне (Петро хорошо говорил на жаргоне), должно быть, чрезвычайно смешные анекдоты. Петро умирал со смеху, катался, вопил, стонал, а Григорий Андреевич невозмутимо повествовал с неподражаемой игрой губ, бровей, лба, хитро сощурился глаза.

Ярко помнятся его замечательные лекции или выступления на общих собраниях, когда он умирал «товарищков». Он говорил мягко-убедительно, но голос его все креп и креп, звук рос и расширялся, глаза начинали буквально метать молнии, и все взгляды приковывались к нему. Хотя при этом никогда в его речах парламентски-товарищеские обороты красноречия не приносились в жертву страстности нападения или гневу.

Интересно бывало смотреть на его разговоры с администрацией: она робела, держалась с ним, как с начальством, и подчинялась беспрекословно его гипнотизирующей воле.

Вспоминается Г. А. в его бесконечных беседах с товарищами, которым каждому по отдельности и всем вместе он стремился передать максимум своих знаний и опытности и своей доброты. С теми, кому он был нужен, терпение и участие его были неисчерпаемы. Но и те, кто, казалось, не нуждался в Г. А., так или иначе всегда тоже задевались им.

Вот он идет по темному гулкому коридору общих камер, чуточку волоча нездоровую ногу, и все лицо его так и сияет приветом, веселостью и ласковым вниманием ко всему живому встречному. И если его редко пропустят без многочисленных задержек, то и он тоже никого не пропустит, не коснувшись словом, смехом, деловым вопросом, лаской. Поэтому его никогда не приходилось видеть в одиночестве.

Интересно бывало наблюдать его неизменную выдержку и ровность в обхождении, несмотря на большую нервность и впечатлительность. Что бы ни было, он не изменял себе. У него были две неудачные попытки к побегу. Он ушел бы из тюрьмы вместе с другими товарищами на метеорологическую станцию за воротами, там в пустынном лесу произошло бы нападение на конвоира, которого связали бы, заткнули платком рот (сколько было уговоров и предупреждений от Г. А., боявшегося раздавить клопа, о неповреждении хотя бы самомалейшем этого конвоира) и продержали бы в кустах, пока Г. А. не уехал бы на заранее приготовленных лошадях. Два раза выходил Г. А., два раза ждали его лошади и приехавшие из Читы товарищи в кустах, и оба раза они не умели приурочить свое внезапное появление к назначенному времени. Во время последнего из этих выходов Г. А., пренебрегая расколом, всячески отсрочивал возвращение в тюрьму, искал друзей сам по лесу, втянув конвойного в интересную болтовню. Он искал, шумел, смеялся, давая о себе знать, — отклика не было. И мы вдруг увидели, как опять вошел в тюремные ворота наш Г. А., согнувшийся под тяжестью огромной лиственницы на плече, с веселым, улыбающимся, красным от напряжения лицом. Больше Г. А. за ворота не должны были выпускать в связи с общим изменением режима. Этот выход был последним. А лицо его было так спокойно и голос ровен и благодушен, что даже и мы, все знавшие о готовившемся побеге, не сразу сообразили о полной неудаче.

Так бывало почти всегда. Спокойствие изменяло ему, если он встречался с несправедливостью и с людской злобой. Он сурово обрывал тогда ее разлив, отходил внезапно и резко, точно убежал от товарища и, возвращаясь позднее обратно, имел всегда в лице какое-то непроницаемое выражение, недопускающее старого разговора. И опять спокойствие и ясность были во всем облике.

Но, когда он получил известие о смерти Михаила Рафаиловича Гоца,¹⁹⁸ он плакал.

¹⁹⁸ Михаил Рафаилович Гоц (1866–1906), представитель за границей Боевой организации, основанной Гершуни, умер 26 августа 1906 г. в Берлине.

Слишком сильно ждал он встречи со своим больным другом для общей работы.

Всего лучше и ярче помнится Г. А., когда он смотрел на нас. Просто смотрел и думал или говорил о чем-либо всегда ясное, мудрое и всегда новое.

Для его обрисовки не находится подходящих слов. Все наши слова однобоки, узки, выражают с большой неточностью и бедностью ту или иную черту из богатства человеческой психики. А Г. А. был какой-то весь круглый, полноценный, гармоничными. Он — не современный человек, и к нему наш лексикон имеет мало определений. Он — все. Это сама живая жизнь. В нем, может быть, как и в самой жизни, была способность и к греху. Не знаю... В нем была широта и размах, и спокойная, меры себе не знающая, духовная сила. Прежде, когда не стыдились говорить библейским языком, именно на нем хорошо бы все сказало о Гершуни. Он сам будто принесен оттуда — из времен библейских, только в теперешнем культурном обличи.

Он постоянно в своих выявлениях был сходен с кем-то, кто был знаком всем будто извечно и будто от многих веков принес в себе напряженность скопленной силы и всепонимание. В скорби своей и любви он говорил словами, будто взятыми у Соломона или Давида. Мудрость иного отдельного его замечания, проникновения в душу была поражающей. Он был добр не простой добротой. Казалось, в нем сконцентрировалось все прекраснейшее, что имеет в своей духовной сокровищнице еврейская национальность. Он происходил по прямой линии от того колена, которое родило Христа. Чувство долга, чувство правды, взыскующей града, чувство любви, часто контролируемое сознанием, — все в нем поглощалось одним чувством, одним сознанием ежечасного, ежеминутного пребывания на служении своей идее. Поэтому у него был всегда такой занятный вид, такая внутренняя прикрепленность к какому-то одному величайшему центру его жизни; поэтому — такая полнота и покой существа.

Он был не только умен и даровит и владел речью своей, как и писал, в совершенстве, но в понимании происходящего он поражал умением быстро ориентироваться. И эта способность его, в соединении с сознательным упрощением себя, и давала ему его блеск.

Он был талантлив не только в работе, не только в организации дела и в конструировании его в проекции, — но и в самой жизни; в интимно-душевной минутке ее сказывалась та же полноценность и многоценность способности. Любовь к жизни, к счастью и радости была в нем, страстным и полном сил человеке, совсем языческой.

Поражала его энергия. Она была необъятна, всегда действенна и необыкновенно заразительна.

Если вспоминать культурное обличив Г.А., а сейчас оно мне с трудом вспоминается, потому что в уме живет только общее огромное впечатление от того настоящего *лица*, которое есть в человеке и которое иным «обличьем» только затемняется или совсем закрывается, — если вспоминать его выявления, современные нашей эпохе, то нужно признать, что он был большим ловцом и господином людей. И господство его не было тираническим. Он сам имел господина над собой и служил ему верно и преданно и всех, кто входил в круг его влияния, вез вместе с собой на служение своей идее. В круг же его влияния попадали почти все с ним соприкасавшиеся — одни, только любя и безмерно уважая его, другие, отдавая ему свою волю и душу, как ученики любимому учителю. Со слепым подчинением. Встречались враги, пытавшиеся враждовать, неверующие, пытавшиеся не верить. Мудрость его обхождения и чистосердечие подхода и манер растопляли перегородки. В своих сношениях с людьми всякого рода он умел, как и Егор, вызывать в каждом лучшие стороны его души, так как он в любви к дальнему любил всегда и ближнего своего. С Егором Саоновым и при Егоре стыдно было быть плохим; Г. А. мягкой властью наталкивал душу на доброе и чистое. Он с таким же доверием, как и Егор, глядел в глаза, ожидая непременно самого нужного и лучшего. И поэтому ни одно прикосновение его ни к одному человеку не проходило даром для задетого.

Хорошо было смотреть на любовь Г. А. к Егору. Они обожали друг друга, и Егор, робкий и застенчивый, прятанный всегда в углу, с Г. А. держался равным, а Г. А. и

гордился им, и любил, и лелеял его, и радовался каждому лишнему разу склонить свою голову перед волей или мнением Егора.

В Шлиссельбурге они просидели все время недалеко друг от друга, но Сазонов даже и не подозревал, что в его корпусе и коридоре живут другие пленники. И Сазонов, и Гершуни, и Сикорский содержались совсем иначе (гораздо тяжелее), чем старики и Карпович. Оттуда Г. А. вынес дрожание рук, головы и ног при волнении или неожиданности. Он справлялся с этим недугом громадным напряжением воли, лицо и глаза у него делались нарочито спокойными, но от этого безмолвная дрожь всего тела становилась особенно жуткой.

Г. А. говорил, что все время заключения там он мог читать и в среднем ежедневно прочитывал по 150 страниц книги научного содержания, и только к концу сидения «заколодило». Все трое говорили о «Шлюсселе», как о живой могиле.

Уже в закладке краугольных камней, при основании боевой партии и при первых выступлениях ее правительство почувствовало сразу, какой силой является Гершуни. Поэтому, как ни велико было растворение воздушных, в вольную команду в Акатуе его не выпускали и в самой тюрьме имели за ним негласную, но серьезную приглядку. Это порядком волновало Г. А. Поиски самого удобного способа побега занимали почти все его время. Остановились на том способе, который описан в брошюрке о его побеге. Он в короткое время zorganizовал все приготовления, причем помощь с воли ему оказывала Мария Алексеевна Прокофьева, невеста Егора, приезжавшая в Акатуй, и еще оказал серьезные услуги адвокат Переверзев, приезжавший тогда на каторгу по делам защиты многих неправильно осужденных товарищей. Когда в свежена-рубленную и засоленную капусту в бочке усаживали Гершуни, и он смеялся, сверкал юмором, товарищи верили в успех, победу, и никто не думал, что этот способ явится поводом к простуде и заболеванию легких, усложнению болезни, потом смерти. Когда он уже сидел в бочке Костя Бакшанов поцеловал его в блестящую из-под капусты лысину (это был чудесный веселый парень, босяк), шутя и плача от тревоги и разлуки, и надел ему на голову таз, чтобы при пробовании надзором содержимого бочки щуп не пробил головы. Около рта Г. А. должен был держать две каучуковые трубки, в одну дышать, в другую выдыхать воздух. Смог ли он это делать, неизвестно. Потом только, после побега, нашли эти трубки в бочке полные крови; повидимому, от задушения у него было кровоизлияние, и, может быть, тогда-то и было положено начало болезни. Было 13 октября, шел снег и стоял холод. Пока наш товарищ Асеев и другой вольнокомандец (уголовный, сагитированный в тюрьме и ставший революционером) выручили Г. А. из бочки и из погреба (за тюремной оградой) и в прокопанную раньше дыру вывели на волю, он, промокший, озяб сильно и ехал несколько десятков верст в таком состоянии уже в сильном жару.

Первое известие, которое мы получили о нем, это о его выступлении на партийном съезде в Финляндии. Тогда же, только немного позднее, кажется, собирался Амстердамский Конгресс¹⁹⁹ и мы строили счастливые планы о той грандиозной работе по объединению и постановке дела в мировом масштабе, которую провел бы на съезде Г. А., и о том, что, наконец-то, его энергии и способностям откроется достойное поприще. Но болезнь подкосила его и после больших страданий и борьбы с ней унесла его в цвете лет.

Глава V

После побега Г. А. нас, не трогая нашей внутренней жизни, стали окружать кольцом надзора еще теснее. Первое время всеми чувствовалась незаполнимая пустота — много значил в нашей жизни наш беглец, слуха о поимке которого ждали мы с большим трепетом.

Бежать с Нерчинской каторги было трудно потому, что она со своими тюрьмами (7

¹⁹⁹ Спиридонова, вероятно, имеет в виду VII (Штутгартский) конгресс II Интернационала, проходивший в августе 1907 г. Амстердамский Конгресс состоялся в августе 1904 г.

тюрем и 4 прииска) разбросана, на сотни верст в округности, и самая близкая ж. — д. станция находится от нее за 100–200 верст. От Акатуя станция Борзя была за 100 верст, но не всегда можно было садиться с нее, так как по телеграфу, имевшемся от нас за 18 верст, легко было дать знать о встрече бежавшего. Станция лежала точно в пустыне, пассажиров бывало немного, и все они друг у друга родили и крестили, знали подноготную даже того дела, за каким кто ездил в Читу (верст 600 от Акатуя), редко дальше. Поэтому новое лицо привлекало сразу же общее внимание, почему иногда бежавшие проезжали на следующую станцию, но и там было немногим лучше.

Летом у нас товарищи часто занимались подкопами, так как это — путь массового освобождения, и теперь, лишённые всяких других возможностей, все отдались этому занятию с особым ражем. Третья камера (эсэровская), отличавшаяся благонаравием (там висел забавный плакат о воздержании от ругани и пр.) и дружной веселой жизнью, так искусно взламывала половицы и затушевывала их, что самый тщательный обыск полов, производимый по всей тюрьме раз-два в неделю, не мог сыскать щелочки или царапинки. В другой камере, в сложенной из кирпичей небольшой самодельной печурке внутри печки вынимались кирпичи, туда через взрезанный пол пролазили подкопщики, за ними закладывали кирпичи обратно, печь топилась, и ни при каком обыске место взлома не вскрывалось.

Выдавали подкопы всегда провокаторы из уголовных, имевшиеся в тюрьме. Они шныряли, нюхали носом везде и всюду и, конечно, узнавали, что надо. В тюрьме от своих трудно скрыться, так как все на виду, и, хотя каждый подкоп тщательно конспирировался, все же ни один не был доведен до конца, — кто-нибудь из «товарищкѣв» доносил всегда вовремя.

Вообще по долгому опыту подпольной партийной работы и тюремной жизни можно с уверенностью утверждать, что административно-полицейская слежка, обыски, мелочной надзор, лишение всего, как было потом у нас на каторге, или облавы, погромы, — все это бессильно перед энергией революционеров. Единственно уязвимое наше место — это провокация.

Особенно жалко было усилий и трудов, потраченных на один грандиознейший подкоп зимой. Рыли день и ночь в ужасных условиях, в мерзлой земле, ставшей камнем, которую уже нельзя было рыть, а надо было рубить или сверлить. Работали долотом, щупом, кусочком кочерги; напильник все время был в действии, так как тупилось всякое орудие. Согревали сверлимое место раскаленной докрасна гирей. Гретье гири так и ходили взад и вперед от бурильщика к выходу, оттуда спешно совались в печь и слались в ведре огненные обратно. На смену лез новый шахтер, так как работать в дыре можно было короткое время, очень скоро начиналось обморочное состояние. Работали методом разделения труда, как заведенное колесо, без перерыва, вся камера днем и ночью. Вдруг случилось, что один из немногих уголовных, оставшихся в тюрьме, определенно подозревавшийся в «лягавстве», войдя не вовремя, увидел, как лезли под половицы. Его не выпустили обратно из камеры, оставили жить безвыходно у себя. Он был вроде арестованного. Жил вместе, гулял, спал, и скоро всем стало ясно, что он настоящий шпион, с большой ловкостью искавший способа снестись с надзором. Но это ему не удалось. Ночью около него сидел товарищ, державший караул. Когда он уставал, будил очередного, и так — дни и недели. К нему на свидание приехала жена. Сказали, что он болен, и за него к жене пошел один из товарищей подкопщиков (в то время свидания уже давали только вне ограды, в конторе). Нами всеми овладело томление. Подкоп тянулся на много сажений, у залезавших в эту длинную, узкую канаву работников шла кровь носом и горлом во время работы. Все в этой камере исхудали, почернели, глаза блестели лихорадочно; но весело играли комедию регулярной тюремной жизни. Шпион тоже исхудал. Он ни слова не говорил, но во время поверки, когда приходили надзиратели, у него глаза горели, как у волка, а закричать он не осмеливался, так как понял, что будет убит на месте при первом звуке. Там было 2 анархиста, чудесные парни, живые, как ртуть, и твердые, как сталь. В поверку они всегда становились рядом с ним. Подкоп

вышел за стену. С замиранием сердца мы ждали успешного конца, и вдруг он провалился в буквальном смысле. Его подняли наши саперы, за отсутствием каких-либо инструментов для проверки, слишком близко к верхней почве, и часовой за стеной, попав на тонкий слой, провалился в канаву. Стали исследовать и все открыли. Тюремные старожилы-надзиратели говорили, что такого случая не запомнят. Зимой обыкновенно подкопы прекращались за полной невозможностью, и этот замечательный подземный коридор, подпертый поленьями и досками, казался им колдовством.

Глава VI Прош Прошьян

Вскоре пошли слухи о раскассировании Акатуя и отправке по разным тюрьмам. Пришел список 35 человек для высылки их в Горный Зерентуй — сосредоточие каторжан из военных. Шли забайкальские казаки, матросы и солдаты. Для ведения занятий, для продолжения начатого серьезно образования и для политического представительства решено было у нас ехать с этой группой добровольно кому-нибудь одному, подходящему для этих ролей. Более всего подходил Прош Прошьян. После переговоров с администрацией это было разрешено, и мы снарядили Проша вместе с другими.

Было время подготовиться, собраться, наладить подкандальники, что для одиннадцатидневного пешего перехода более, чем нужно, и первая партия вышла в путь, весело побрякивая кандалами, лихо заломив шапки, все молодые, бодрые, веселые. Сколько-то их вышло потом целыми и живыми из стен грозной Зерентуйской каторги?..

Один из казаков, Андрей Лопатой, так ловко нес кандалы, так перебирал ими, точно танцуя, что они издавали мелодический звон, как колокольцы в дуге. Его вместе с немногими другими я видела в Чите после каторги в 1917 г. В грустно-серьезном пожилом человеке трудно было найти следы ликующего веселья и здоровья, которыми, он сверкал в 1906 году.

После полугодовой тюремно-клубной жизни началась у нас другая полоса, длившаяся до конца каторги в 1917 году.

От Прошьяна мы получили вести из Зерентуя, уже сами находясь от него в пяти верстах, в Мальцевской тюрьме. В другом месте мне пришлось уже говорить подробнее о Прошьяне.²⁰⁰

У нас в коридорчике Акатуйской тюрьмы (в 1906 г.) около наших одиночек висели с потолка качели-трапедия на кандалных цепях. В сумерках после каши там всегда качалась тонкая подвижная фигура нашей эоловой арфы. Прош был очень музыкален, поэтому его тихое надевание никогда нам не надоедало.

Горяч и вспылчив был Прош, как истый кавказец, и над этой его чертой много подтрунивали и Г. А. и Егор. Он сам потом стал смеяться над собой своим милым грудным залихватным смехом.

Тонкий ум его, начитанность и образованность не по летам и всюду успевающая энергия сразу притянули к нему внимание Г. А., и он говорил, что в лице Проша мы имеем крупную силу.

На второй каторге, помимо общего давления и тягости общего режима, ему приходилось почти все время терпеть специальное гонение администрации против него и вести единоличную борьбу за свою честь и достоинство. Его молчаливое упорство и неподчинение требованиям одному унижительнее другого довели администрацию Ярославской каторги до высшей степени раздражения. Без злобы и ругани они не могли видеть его. Дошло до того, что ему приказывали переменить выражение лица: «Не гляди так, ирод, каин, чего уставился, морду расшибу...» — Прошьян глядел... Этот взгляд его, полный

²⁰⁰ Журнал «Знамя», орган П. Л. СР., 1918 г. № 1. Перепечатано в № 2 (9) «Каторги и ссылки» за 1924 год.

жуткой мрачности, загорался в его глазах и в 1917 году, когда он рассказывал о проделках над ним. Он был бы затравлен, по его мнению, если бы его не спас манифест 1913 года, сокративший срок.²⁰¹

Революционную работу в 17-м и 18-м годах нам с ним пришлось вести тесно рука об руку, и, хотя мы часто бывали разных мнений, из всех нас он мне казался ценнейшим. Современный момент несравнимо запутаннее прежних исторических моментов борьбы за социализм. Традиционное служение революции, требующее боя, жертвы и подвига, смешалось с необходимостью политики, расчета, стратегии. Объекты воздействия и субъекты действия получили иную окраску. Перспектива тоже стала иной. Незаменимым являлось у Прошьяна его умение чаще других схватывать основную правду происходящего или предвидимого, ориентироваться в современной сложнейшей путанице и намечать без колебания партийную тактику. Политический деятель и революционер гармонически соединялись в нем в одно целое. Мерилом события или предполагаемых тактических шагов были у него соображения, выдвигаемые революционным чутьем. Поэтому все серьезные этапы политической жизни отмечаются его выступлением и влиянием на товарищей в одном определенном направлении.

Во время октябрьских событий Прошьян без колебаний, с упорством бил в одну точку. Как счастлив был он в те месяцы, и как всегда горело в его лице оживление, не потухая!²⁰²

Он был послан Ц. К. Л. С.-Р.²⁰³ в Совнарком Северной коммуны на пост комиссара внутренних дел.

Подчинившись нам с большим неудовольствием, он работал.

Несмотря на нарастание в нем пессимизма в некоторых отношениях, в мыслях своих о судьбах русской революции он был еще полон оптимизма. У него была неисчерпаемая вера в массы.

Для партии Л. С.-Р., которой он вместе с Камковым²⁰⁴ был главным основателем, Прошьян значил страшно много. Он был ее внутренним строителем, той основной пружинкой, стержнем, который необходим в каждой группе и партии.

Весной 1918 года в Питере вместе с двумя только товарищами он сумел поставить и развить большую партийную работу. Вдвоем, а за отъездом товарища, один вел газету, наполняя ее за десятью разными псевдонимами одним своим пером сполна, с первой строчки до последней. Писал он ее каждую ночь до 4–5 ч. утра, вернувшись с правительственного заседания. Заснув до 8, он опять писал ее и в 10 уезжал на службу, откуда шел в Петроградский комитет, из него на одно-два партийных собрания или рабочие митинги в вечер. Так жил он месяцы, не теряя веселости и бодрости, всегда имея сна 3–4 часа и никакого отдыха в течение остальных 20–21 часа труда. И всегда плохо одетый, плохо питавшийся, иногда совершенно голодный, всегда отдававший буквально все деньги, которые у него были, и ужасно радовавшийся, что у него их взяли, — он так неказисто выглядел в блузе и рваных валенках, что, когда он пришел в ноябре-декабре 1917 года заниматься в Народный Комиссариат почт и телеграфов в качестве Народного Комиссара, швейцар его не пустил дальше передней — «куда полез, остановись, тебе говорю!» — а

²⁰¹ Манифест 1913 г. был издан в связи в 300-летием Дома Романовых.

²⁰² Имеется в виду Октябрьская революция 1917 г., в которой левые эсеры выступили в союзе с большевиками.

²⁰³ Партия левых социалистов-революционеров, отпочковавшаяся от ПСР левое крыло, была официально учреждена в ноябре 1917 г., хотя фактически раскол произошел еще летом 1917 г.

²⁰⁴ Камков (Кац) Борис Давидович (1885–1938) — один из основателей и лидеров партии левых социалистов-революционеров, наряду с Дрошьяном и Спиридоновой. Расстрелян по приговору Военной коллегии Верх, суда СССР.

старые важные чиновники были шокированы чуть не до слез, увидав, кому приходится подчиняться. Их горькое изумление даже смущало Проша, и он «право бы завел себе приличный наряд, были бы деньги и время», но приемом швейцара он наслаждался и рассказывал о нем с восхищением.

Прошьян не был моралистом. Он был свободен и широк, любил парадокс и насмешку, хотя умел в то же время подчинять себя и принципу, а этичность его была хороша тем, что ее не сопровождали ни презрение к людям, ни учительский ригоризм.

Больше всего, помимо его деловой даровитости и энергического ума, остается в памяти его товарищественность, чувство равенства и никогда не устававшее в нем желание помочь, облегчить, украсить и развеселить жизнь каждого прикоснувшегося к нему. А тот, кто хоть немного был ему дорог и интересен, тот имеет в памяти о нем целые снопы света его любви и внимания.

В Прошьяне была какая-то неистовая жажда жизни. Она была по-гамсуновски окрашена, постоянно сплеталась с усталостью и горечью. Он уже не был беззаботным студентом 1906 года, но жажда жизни, «обезьянье», как он сам называл, любопытство ко всему происходящему и к тому, что будет, поражали. Он говорил, что, если бы у него отнялись руки, ноги, он бы оглох и онемел, был бы прикован к креслу и кровати, — все же он хотел бы жить, жить, чтобы все знать, все видеть и смотреть, что будет дальше. Судьба оказалась к нему жестока и дала ему все видеть и знать только в продолжении коротких 35 лет.

Глава VII

В конце января 1907 года нам сообщили о возможной высылке нас — женщин — в Мальцевскую тюрьму. Товарищи постановили не позволять увозить меня и М. Школьник, как больных, рискующих в сильные тамошные морозы не вынести дороги благополучно не только для здоровья, но и для жизни, по утверждению нашего собственного доктора-товарища (у нас был очень хороший врач Шинкман, приговоренный за участие в Верхнеудинской газете к смертной казни, затем каторге). Несмотря на серьезную мою оппозицию, постановление, самое жестокое для жизни и безопасности целых полутора десятков товарищей, было принято. Решили сопротивляться силой, баррикадироваться и пр. В начале февраля объявили о переводе нас. Коллектив заявил свое постановление, и местный конвой увез всех женщин, кроме Школьник и меня. Но в ту же ночь в наш одиночный коридор ввалилась целая свора надзирателей и конвойных с Бородулиным во главе, и он постучал в нашу одиночку, где мы с Маней Школьник уже лежали в постелях. Мы потребовали позвать к нам Карповича и Сазонова, что было сделано после небольших пререканий. Грубость нападения врасплох, когда все спали, угроза увозить нас неодетыми, чуть не в одеялах, с немедленным применением к товарищам оружия, сознание, полной незащитности женского корпуса при его отъединенности, — все это совершенно придавило Сазонова и Карповича. Они производили впечатление людей, по голове которых страшно ударили тупым орудием. Тяжело им было несказанно. Потом, позднее развилась привычка у многих, хотя далеко не у всех, переносить, стиснув зубы, обращение с собой и товарищами, как с вещами, но тогда оскорбление мутило рассудок, отнимало жизнь. Было страшно глядеть на них. Они все молчали. Я говорила безостановочно, уговаривала, убеждала, доказывала всю нелепость протеста в таких условиях и, вообще, нелепость даже и в более выгодных, умоляла снять с нас необходимость выполнять постановление, умоляла их взять на себя ответственность перед тюрьмой за изменение общего решения.

Егор смотрел и молчал так жутко и странно, что тревога уже за него захватила и Карповича. Он почти крикнул:

— Что же ты молчишь? Говори, решай!

Егор медленно повернул к нему свое пепельно-серое лицо и, еле двигая губами, произнес:

— Что же говорить, — она права.

Когда Карпович вышел в коридор говорить с Бородулиным, Егор остался сторожить и держать дверь, в которую все порывался лезть Бородулин. Мы, одеваясь, хотели сговориться кое о чем с Егором, но его рыцарское целомудрие сделало все наши попытки безуспешными. Зажмурил глаза и прикрывая их одной рукой, другой уцепившись за дверь, он мало годился для разговоров. Так и стояла у нас с Маней в глазах, когда нас уносили сани из Акатуя, его худая, чуть согнутая, высокая фигура, даже не бледное, а серое лицо, сразу осунувшееся и с зажмуренными глазами.

В Александровском заводе (18 верст от Акатуя) была первая ночевка остальных наших каторжанок. Нас привезли туда часа в 3–4 утра. Узнав о происшедшем и о самовольном изменении нами общего постановления, никто не опротестовывал этого, но все молчали, тяжело переживая все событие. Позднее мы узнали, что в эту ночь Лидия Павловна Езерская хотела ответить на него самоубийством, и только уговоры Фиалки заставили ее отказаться.

Л. П. Езерская тяжело ранила в 1905 году выстрелами из браунинга Могилевского губернатора, за что была осуждена к 13 годам каторги гражданским судом (а не военным), к которому она по какой-то счастливой случайности попала в руки. Она была больна чахоткой в серьезной стадии, но умела так незаметно ею болеть, что многие и не подозревали опасности ее недуга. Уже пожилая, полная, очень бодрая, всегда заметная, с кем-нибудь читающая, кому-нибудь преподающая, всегда с шуткой и интересным разговором на устах, попыхивая вечной папироской, она жила «по привычке, по инерции», как говорили мы про ее жизненную энергию, зная от доктора о тех кусочках легких, которыми она уже не дышала, а хрипела.

По сокращении своего срока, благодаря комиссии по освобождению с каторги тяжелобольных, Л. П. была послана в Якутскую область на поселение, где и умерла, не дождавшись воли. В Якутске она была тем же бодрым и прекрасным товарищем для всех, как и у нас, умным и интересным собеседником, а для молодежи незаметным во многом помощником, при ревнивом оберегании всех от какого-либо отягчения собою.

Еще в последний день она была на ногах и интересовалась всем буквально до последней минуты своей жизни.

* * *

Мы оставили в Акатуе ряд товарищей, о каждом из которых хочется говорить отдельно, так много умных, интересных, смелых и преданных революции людей собрала тогда Акатуйская тюрьма за своими стенами. Костя Бакшанов, «дядя Кеша» (Костырев), ряд матросов — нашей вольницы, группа учеников А. А. Измаилович, — все эти рядовые сыны революции говорили собой о том, как высок был тонус ее и как широк диапазон, если она могла выслать на оплату за свой взмыв столько сильных и твердых сынов. Огромное большинство этой революционной массы было молодежью, не испытавшей даже своих сил, а испытание только укрепило их впоследствии в намеченном пути и толкнуло на яркое самоутверждение. Неграмотные стали грамотными и образованными, закаленными революционерами. И как много из этих незабвенно дорогих и милых братьев сложили свои головы на каторге, не увидав воли.

В Акатуе мы встретили ветерана революции, старика Алексея Кирилловича Кузнецова.²⁰⁵ Он был уже на каторге по делу Нечаева,²⁰⁶ отбыл, жил на поселении, стал

²⁰⁵ Кузнецов Алексей Кириллович (1845–1928) — член нечаевской организации «Народная расправа» и непосредственный участник убийства студента И. И. Иванова (1869), обвиненного Нечаевым в предательстве; по этому делу был приговорен к 10 годам крепости, замененными каторжными работами, затем поселением в Сибири. В 1905 г. вступил в ПСР; в 1906 приговорен временным военным судом при генерале Ренненкампе к смертной казни, замененной 10-летней каторгой.

²⁰⁶ Нечаев Сергей Геннадиевич (1848–1882) — основатель тайного строго централистического

крупной культурной силой во всем Забайкальском крае и пользовался там большой популярностью. После революции 1905–1906 гг. он одним из первых был схвачен, осужден и опять должен был тянуть старую лямку.

В повторном сидении людей, бывших в заключении долгое время, скрывается такое огромное мучительство, с которым мало что сравнимо. Как бывает, например, натружена рука при долгой напряженной физической работе; распухнут и нальются жилы, и руке нужен отдых и лечение, а ее опять заставляют работать. Она не только заболевает и калечится, она просто не тянет, не может, *больше* не может. И вот так же несомненно бывает с душой долго заключенного в тюрьме человека. Она тоже так уже натружена, что *больше* не может. И поэтому бесконечно грустно было видеть среди нас старого каторжанина. А он, казалось, примиренно с судьбой нес свою долю.

Всегда ровен, всегда в работе и занятиях, весел, необычайно со всеми любезен, обходителен, такой был чудесный, ясный старик.

В 1917 году мы увиделись с ним в Чите, где он успел обрасти тысячью культурно-просветительных дел и вел для своего возраста совершенно неестественную по кипучей деятельности жизнь. Глубоко образованный человек, он участвовал, кажется, во всех ученых обществах и кружках города, подновил и обогатил свой историко-этнографический музей, произведение своих долголетних трудов и хлопот, участвовал в эсэровском комитете. Видно было всегда, что он ухитрился сберечь и полноту своего ума и жизненную бодрость.

В Акатуе же мне пришлось встретиться впервые с несколькими нашими каторжанками и провести с ними потом вместе одиннадцать лет заключения. Среди них было много интересных и ярких фигур, но темой данных материалов является только запись о товарищах, которых уже нет в живых, поэтому об оставшихся в живых каторжанках здесь не говорится.

* * *

После нашего увоза было произведено в вызывающе грубой форме усмирение Акатуйской тюрьмы — бритье голов, заковывание в кандалы, строжайшая изоляция камеры от камеры и пр. и, главное, разбивка руководящих сил по разным тюрьмам. Режим был сразу круто перевернут. Отдан был приказ пускать в ход оружие при первом случае неповиновения или протеста; библиотека была разгромлена, новый начальник тюрьмы Шматченко сжег книг более 300 названий. Кончился первый краткий период тюремной жизни. Потянулась долгая беспросветная каторжная страда.

Около 15-ти товарищей вместе с Е. С. Сазоновым были отправлены в Алгачи (40 верст от Акатуя), где были подвергнуты сразу же всяческим грубым издевательствам (раздевание догола при обыске и переодевание, угрозы побоями и розгами, карцера, лишение прогулки, книг, постелей, выписки, переписки и неисчислимые изысканности мелочных притеснений). Наконец, начальник Алгачинской тюрьмы Бородулин отдал приказание о применении телесного наказания к одному из 15 акатуевцев — анархисту Латину. После долгой свалки Латина отняли у товарищей и потащили. В отчаянии и гнев, подвижный и сильный, он вырвался из рук своих палачей и, разбежавшись страшным бегом по лестнице, ударился со всей силой головой о каменную стену, чтобы разбиться насмерть. Он упал оглушенный, окровавленный на площадке и был унесен в больницу без сознания. Оставшиеся приняли яд. Яд добыт был ими через уголовных то ли плохого качества, то ли в неверной дозировке.

революционного общества «Народная расправа» (1869); автор «Катехизиса революционера», в котором впервые в русском революционном движении терроризм возводился в принцип; организовал убийство члена организации студента И. И. Иванова, выступившего против диктаторских методов Нечаева, обвинив его в предательстве. Умер в Петропавловской крепости, куда был заключен по личному распоряжению Александра II.

Дело ограничилось у кого рвотой и резью живота, у кого головной болью, сном, но ожидаемого результата не последовало. Началась кошмарная жизнь под угрозой смертельного оскорбления, со связанными руками и с повторяемыми безуспешными попытками самоубийств. Два письма Егора, дошедшие (через партии уголовных) до нас в Мальцевскую, было жутко читать.

Мы забили тревогу. Через врача при каторге Николая Васильевича Рогалева (человека, оказавшего нам всем ряд неоценимых услуг) нам удалось переправить М. А. Прокофьевой и брату Сазонова телеграммы и письма, которые и сыграли свою защитную роль в довольно короткий срок. Но не скоро еще мы узнали, что жизнь и честь наших 15 братьев были в безопасности. Протекали дни за днями, когда каждый день грозил нам потерей 15-ти и среди них самого дорогого всем нам без исключения, самого любимого брата и товарища — Егора Сазонова.

Глава VIII Егор Сазонов

Когда-нибудь можно будет сыскать большую тюремную переписку Егора Сазонова со мной за 1907–1910 гг. и предать гласности. В этой переписке он сказался весь, и, кроме того, в ней имеется много биографических данных, касающихся его детства, юности и революционной работы на воле до 1904 года.

В те же годы Егор Сергеевич систематически переписывался со своими родными, с М. А. Прокофьевой и с другими товарищами, что при опубликовании составит в общей сложности обширнейший материал. Без писем же его трудно, почти невозможно дать о нем что-либо исчерпывающее.²⁰⁷

Ко времени приезда нас, шести каторжанок, в Акатуй, случилось уже так много побегов, что администрация исподволь начала припирать тюрьму и сокращать вольности, но все же заключенные имели возможность устроить нам грандиозную встречу. Дворик нашего женского одиночного корпуса был заставлен срубленными в лесу деревьями, усыпан венками и букетами цветов и завешан алыми знаменами. Больше 150 человек стояло и пело хором одну революционную песню за другой. Оглушенные и пораженные, мы вглядывались в яркие, счастливые лица, никого еще не узнавая, так как они стояли густой толпой, не шевелясь и не подходя, и вопили во весь голос, однако же строго подчиняясь дирижеру. Хорошие были лица среди них. Горячие глаза, строгие вычеканенные лбы и профили, молодость, сила и энтузиазм, но все они сливались тогда в одно красочное человеческое пятно.

Никто из нас Егора раньше не видел. Но мы узнали его среди них. Он как-то невольно приковал к себе наше внимание.

Лицо и голову Егора вряд ли можно и надо называть красивыми. Но все прекрасно в этом худом и нежном лице, в этой голове, покрытой шапкой бронзовых курчавящихся волос, в этом высоком лбу, сияющем над глазами белизной и резкими точными гранями, в этом необыкновенном взгляде золотисто-карих глаз под густыми мохнами бровей, в этой складке рта, скорбной и мягкой, в этой настороженной прислушивающейся посадке головы. У него были разные профили и неправильные черты лица. После взрыва бомбы на Плевне он был изранен, очень избит и остался сильно глухим, с неуклюжестью походки из-за оторванных пальцев на одной ноге; всюду на лице и руках виднелись шрамы, и он часто смешил окружающих своей глухотой или неловкостью, дикой застенчивостью и наивностью жестов,

²⁰⁷ «Письма Егора Сазонова к родным (1895–1910)» были опубликованы издательством «Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев» в 1925 г. Письма к М. А. Прокофьевой — в эсеровском журнале «Воля России» (Прага) в 1930–1931 гг. Значительное число писем Сазонова осталось неопубликованными, а письма к Прокофьевой публиковались с грубыми искажениями и купюрами. — См. Городницкий Р. А. Егор Сазонов: мировоззрение и психология эсеро-террориста//Отечественная история. 1995. № 5. С. 168–174.

но, повторяю, не было никого для всех прекраснее его даже с внешней стороны. Что особенно очаровывало в лице — трудно сказать. Наверное, выражение лица. Это было лицо человека, отрешенного от грязи житейской, от злобы, мелкой печали и маленького самолюбия. И всегда, всегда лежала на его лице печать обреченности, всегда вдруг тревожно и грустно становилось на сердце, глядя на его задумчивость или улыбку. Рука человеческая иногда имеет столько же выражения как и лицо. Поразительны были его руки. На них тоже будто лежала печать обреченности. Незабвенным остается в памяти весь внешний облик его. Как бы ни дрожала душа, как бы ни был полон человек всяческих самых горьких чувств — ему делалось скоро легко и тихо, если он смотрел в это тихое лицо, в эту нежную усмешку, в эти ясные ласковые глаза. Как бы ни злился и ни бесился человек, как бы ни бушевали в нем самые свирепые страсти, — рядом с Егором он стихал и терялся, и это производило порой впечатление гипноза.

Хотя он и не был моралистом-проповедником, но нравственное влияние его на окружающих было огромно.

Он так страстно и напряженно искал душой своей правды, что это искание преображало его духовно и физически и неотразимо действовало на окружающих. Всем было радостно покоряться его доброте и любви и соревновать перед ним в своем самообуздании. Чистота обращения, доверчивость и незащищенность простодушно трогали и умиляли самые закоренелые сердца. Грубые надзиратели, руки которых натерели в порке, а сердце заржавело на зрелище чужого страдания, относились к нему с уважением. Начальник брюзгливо просил заключенных:

«Пожалуйста, для переговоров присылайте кого угодно, только не Сазонова».

Это потому, что при беседе с Егором все лучшее в нем, тоже человеку, просыпалось — и против себя тюремщик шел на уступки, за минуту до того^ казавшиеся ему недопустимыми.

Сам Егор как бы не сознавал этого. Он не видел, сидя в уголке и напряженно вслушиваясь в разговор, что с ним считаются во время деловых обсуждений больше, чем с кем-либо, что его мнение ценится чрезвычайно, что он дорог нам и любим безмерно, он как бы не чувствовал этого, он был — сама скромность и самоумаление.

Когда он видел злобу, людское безобразие и жестокость, он физически страдал, силясь понять и все же не понимая возможности зла в людях.

Не поверить человеку, как бы явно тот ни лгал, надо было ему заставить себя, потому что он всегда верил каждому.

Строгость и чистота нравов и правил, привитая ему рождением и воспитанием в староверческой семье со старинными традициями, смягчалась в нем бережным обхождением с каждым, кто сталкивался с ним. В его манерах по отношению к женщинам и старикам было что-то старомодное, неравное; он смотрел снизу вверх на них и не было границ его рыцарским заботам и предупредительности.

«Мне кажется, что за людьми надо ходить, как за больными или детьми», — признался он мне.

В этом жизненном правиле Егора не было высокомерия. Его сострадающее сердце сильнее всего отзывалось на боль человеческую, — а кто из людей без боли? — и все казались ему достойными только любви и осторожного ухода, которым окружают больного или ребенка.

Потом он был совершенно вне прицепленности к бесчисленному количеству жизненных мелочей, составляющих ткань ежедневного существования. И многое, что могло сердить, волновать или мучить людей, было лишено для него вкуса реальности, а возможность подобной заинтересованности, должно быть, казалась ему нездоровьем или ребячеством.

В долгой серьезной дружбе, связывавшей нас с Егором, внешние события его жизни никогда не интересовали меня и даже мало известны мне, потому что центральным пунктом внимания всегда являлась его богатая и сложная внутренняя жизнь, проявления которой во

вне, в действии, само собой были понятны и законно неизбежны, так как у него не было, при кристаллической чистоте его мысли и слова, расхождения с делом.

Е. С. Сазонов родился в 1879 году. Происходил из старовойсковой семьи Уфимской губернии. Кажется, еще дед его был крепостным и откупился от барина на волю, но отцу уже удалось выбиться из податного сословия и стать даже богатым купцом, имевшим возможность дать образование своим двум сыновьям. Ко времени взрослости Егора отец успел разориться, но все же доучивал детей. В период своего студенчества Егор был исключен из университета в 1901 г. за принадлежность к уральскому союзу социал-демократов и социал-революционеров, арестован и сослан в Якутскую область на 5 лет. Бежал из ссылки за границу, где заявил уже о своем желании пойти на террористический акт.

Акт на Плеве должен был по первоначальному заданию Б. О. произвести Каляев; потом вышло так, что пошел на него Сазонов. Из-за огромных трудностей акта (почти невозможность поимки Плеве) Сазонов предлагал себя только для задержки экипажа, предоставляя нападение на министра другим боевикам. Он хотел кинуться с бомбой под ноги быстро несущимся лошадям. Это было отклонено содрогнувшимися товарищами. Но, бросая уже сам бомбу в карету Плеве, все же, для большей уверенности, оставил между собой и местом взрыва такое малое расстояние, что надо считать случайностью и чудом спасение его от смерти. Изорван, опален и изранен, он был потом столь тяжело избит, что долго находился на краю смерти. Молодой организм победил, однако, и боль, и болезнь, и мы встретили его здоровым.

Он рассказывал, что, подбежав с бомбой к карете Плеве, встретился с министром глазами. Тот, должно быть, все сразу понял. *Увидел* свою смерть... И ужасный взгляд, полный дикого испуга, приковался к стеклу. Егор, вспоминая и пытаясь передать, какой был этот взгляд, содрогнулся тогда заново.

Еще Егор рассказывал, что особенно тяжелым было для него опасение во время болезни сказать что-нибудь лишнее. Взрыв помимо поранения головы и тела, причинил ему, наверное, мозговое сотрясение, и у него было долгое горячечно-бессознательное состояние. Когда в бреду Егор открывал глаза, он всегда видел наклонившиеся над собой лисьи морды шпионов, жадно слушающих его бред и вставлявших провокационные замечания ему в тон. И пронзенный острым ужасом, что, может быть, он *выдает*, и чувством полного своего бессилия в борьбе с болезнью, Егор впадал опять в полное бессознание, унося с собой туда ощущение самого величайшего горя и позора для революционера.

В одно из его минутных опаматований шпион, переодетый в докторский белый фартук, сказал ему с хорошо имитированным пафосом:

«Что вы наделали? От вашей бомбы погибло 40 человек, и убили маленькую 4-летнюю девочку!»

Егор потом (по рассказам медицинского персонала) рвал с себя все повязки и бился, и метался в удесятеренных больным мозгом страданиях. Ему чудились сорок убитых и среди них разорванная девочка с золотыми кудрями. Такая девочка действительно бежала по залитому солнцем тротуару перед ним с мячиком и звенела серебряным смехом, когда он шел со своим смертоносным орудием в руках по направлению к месту проезда министра. О девочке Сазонов, должно быть вспоминал в бреду, и шпионы использовали это в своих целях. Ни сорок человек, ни девочка убиты, конечно, не были.

После первых часов ареста Егора уже не били по взорванным ранам сапогами, физически его уже не мучали, наоборот, лечили и ухаживали, но, увидев, что он из себя представляет, палачи нашли способ длительного утонченного мучительства над его нежной и совестливой душой, трепетавшей причинить лишнее зло даже своим врагам.

Придя в себя и начав оправляться, он укрепился в убеждении, что он все *выдал*. Горе его было безмерно. Он не смел ни на кого поднять глаз, чувствуя себя «предателем». Считая себя уже отсеченным от партии, автоматически отключенным, решил на суде не объявлять своей партийности и ничем не объяснять своего поступка, предоставив распоряжаться с

собой, как с уголовным убийцей.

Через полгода, в 1905 году, сидевшая в предварилке Екатерина Адольфовна Измаилович, позднее расстрелянная (27 января 1906 г.) за покушение на вешателя матросов адмирала Чухнина, прочла в одной из книг тюремной библиотеки написанные точками за подписью Сазонова, содержавшегося до суда тоже в предварилке, слова, дышавшие отчаянием предсмертного завещания:

«Не давайте врагу живым в руки. Он ужасен».

Только разговор с адвокатом успокоил Егора.

Акт над Плеве имеет большое историческое значение. Плеве был истинным диктатором замученной России. Все меры по удушению каких-либо освободительных попыток рабочих и крестьян исходили от него. Экономическое угнетение трудящихся командующими классами при этом министре внутренних дел чрезвычайно усугубилось ненормально возросшим полицейско-политическим гнетом. Единственным руслом, куда искусственно пытался направлять Плеве народную стихию злости и отчаяния, были страшные еврейские погромы, ловко инспирируемые и организуемые агентами-provокаторами школы Плеве.

Смерть Плеве праздновалась, как общее воскресение. На улицах знакомые обнимались с радости, незнакомые приветствовали друг друга. Торжество рабочих в столицах, русского общества во всей стране было так неприкрыто, общественное мнение было до того единодушно в своем требовании смягчения участи Сазонова, что правительство не посмело его казнить, и он приговорен к бессрочной каторге. А два манифеста подряд (рождение наследника и 17 октября 1905 г.) сократили каторжный срок настолько, что он кончился в январе 1911 года, почему Сазонова и поторопились убить до выхода его на поселение.

По переводе из Шлиссельбургской крепости в Акатуй вместе с Гершуни, Карповичем Егор жил в небольшой библиотечной комнате с Гершуни и с Сидорчуком, где Егор и нес обязанности тюремного библиотекаря. Его стараниями было собрано много ценнейших книг по всем отраслям знания. Эту собранную им библиотеку потом делили по частям при общей нашей рассылке по всем тюрьмам Нерчинской каторги. Ее же акатуйский начальник, Шматченко, потом усердно жег и делал всяческие изъятия. И все-таки мы в 1911 году во второй свой приход в Акатуй, где уже прожили до 1917 года, застали порядочную библиотеку, которую, уходя, увезли в Читу.

В небольшой библиотечной комнатке около Егора всегда сидело несколько человек, а он вечно писал — или корреспонденции к книгоиздательствам и на волю к товарищам, или каталоги — своим мелким бисерным почерком редкого изящества и односложно со всеми переговаривался, никогда почти не попадая в тон непрестанно разгоряченному Петру Сидорчуку. Когда Петро, влетал в камеру (он не умел входить) с каким-нибудь вопиющим, по его мнению, фактом новой проделки «прошенистов», Егор, поблескивая тихонечко глазами на Петрика, продолжал обычно вырисовывать свои буквочки. Но если факт действительно вопиал, вставала с места и Егорова высокая худая фигура. Румянец заливал все лицо, и он глухим, неровным по звуку из-за глухоты, голосом с волжским выговором на «о» начинал узнавать подробности от Петра, видимо внутренне волнуясь и часто переспрашивая, так как не всегда все ясно слышал. Егор отличался огромной выдержкой, и интересно было глядеть на них вдвоем, потому что Петрик сыпал «фактами» и руганью, кричал во все горло, бледнел, краснел, чуть не плакал от злости; сжатые кулаки его махали во все стороны, и только Егор мог хотя чуточку вводить его в норму.

В библиотечной же комнатке в уголке, за деловым разговором с Григорием Александровичем, иногда виднелась изящная фигура невесты Егора, пользовавшейся, как и все приехавшие на свидание правом свободного входа в тюрьму, Марии Алексеевны Прокофьевой. В юности Егора М. А. была большим его другом. Их отношения, как и отношения Егора с матерью, могли бы служить темой красивой поэмы. Девушка с серо-зелеными огромными лучистыми глазами, со строгим взглядом, прозрачным, бледным, тонким лицом и золотыми косами, вся нежная, точно пронизанная светом души своей и в то

же время строго-серьезная, — она производила на нас в свой приезд в Акатуй большое впечатление. Она гармонировала с Егором без единого диссонанса. Егор смотрел на нее из своего угла удивленно любящими глазами и редко решался бывать с ней вместе.

«Я почтительно посторонился», — говорил он мне, — имея в виду, что «Ма», как звали ее библиотечные обитатели, приехала в Акатуй для устройства побега Гершуни.

М.А. в 1908 году была арестована и осуждена в ссылку по обвинению в косвенном участии в деле о заговоре на жизнь Николая Романова. Из ссылки она бежала за границу, откуда вела особенно оживленную и регулярную переписку с Егором. Письма ее, крупного, умного и интересного человека, много вносили в жизнь Егора. Сильная и твердая в своей вере и любви, она жила надеждой на его близкое освобождение и на встречу с ним. Год его боевой, изолированной от всех работы, 7 лет каторги — 7 долгих лет она ждала его, горела светлой, чистой любовью, как свеча перед богом. Последние ее письма к Егору были сплошным ликующим гимном их встрече в свободе, любви и совместной работе. Она считала дни. До выхода Егора на поселение оставалось всего 6 недель, когда последовала его смерть. Узнав о трагическом конце, М.А. слегла и, тихо угасая, умерла.

Так оборвалась эта недопетая песнь, замолчали навек несказанные слова прекраснейшей сказки.

С не меньшей тоской и любовью ждала Егора мать. Некоторые из наших видели ее, строгую, монашеского типа, покрытую платочком старуху со скорбным лицом и глубокими глазами, в Бутырках на свиданиях с сыном. Вся жизнь у нее уходила в глаза, когда она смотрела на него. Это она сделала его добрым и ищущим правды, это она растила его «ходящим под богом», это она научила его бояться причинить самомалейшее страдание всему живому.

И когда он вырос у нее всем на удивление и радость, — как, как она должна была любить своего сына и трепетать за его жизнь!

Егор всегда чувствовал ее тоску и тревогу за него и пользовался всяким случаем для пересылки лишней весточки о себе. Кривил душой, расписывая хорошенько каторжную жизнь, веселил, утешал и манил скорой встречей.

Тюремная власть усиленно скрывала могилу Егора, уничтожая все знаки, которыми упрямо отмечали место погребения преданные нам надзиратели и уголовные вольнокомандцы. По выходе на волю после февральской революции товарищам трудно было найти могилу. Один товарищ съездил на лошадях специально за бывшим тюремным надзирателем вглубь Забайкалья за 300 верст от Зерентуя, и тот, меряя ногами и вычисляя направление, нашел зарытое тело. Лицо, лоб в каменистой мерзлой почве остались неистлелыми, все сразу узнали его. Но еще нетленнее живет память о нем среди всего надзора из Зерентуйского тюремного населения.

Тело его было привезено в Уфу. Мать встретила сына в гробу такая же строгая и величавая в своем немом горе, как и раньше, когда она его видела живым в цепях за каменными стенами. В каждый год в день смерти Егора, собирая все свои крохи, она ставит столы в доме и кормит всякого проходящего к ней бездомника, нищего и голодного. Но и весь год дверь ее отперта любому, нуждающемуся в ней. В доме скорбь и тишина, будто лежит еще неостывшее тело, и протекающие годы не приносят утешения. Но именем Егора и в память его матерью, в согласии с ее убеждениями и бытом, творится непрестанное добро.

* * *

У Егора было ценнейшее качество, крайне редкое среди русских людей: он умел становиться на чужую точку зрения, понимать ее всецело и болеть мукой чужой мысли, как своей собственной. От этого обмен мыслей с ним, иногда страстный спор никогда не переходил в ссору, полемику и фракционность, как почти всегда в России в частной и общественной политической жизни. С ним всякий спор был захватывающе интересным и дружным исканием сообща наилучшего решения вопроса. Лично мне он не один раз помогал

выпутываться из ряда теоретических сомнений и объективного и субъективного характера, начиная с неразрешенной и неразрешимой гносеологической проблемы о координировании мышления и бытия, объекта и субъекта, и кончая совершенно личными *grubleil*^{208*}. Чтобы помочь другому, он брался за книги, не предложенные им для чтения в данное время и увлекался ими, конечно, всерьез. При попытках найти ответ на философские вопросы в нем проявлялась глубокая проницательность и самостоятельность ума. Каждое его письмо было серьезной трактовкой поднятой темы.

Способность Егора не обострять спора и не давать ему вырождаться сказалась особенно ярко в 1909 году, когда в тюрьме стал страстно обсуждаться «Конь бледный» Ропшина²⁰⁹ Егор, понимавший и *принимавший* и Ваню, и Жоржа выступил с рядом статей-писем по вопросу о революционной морали, и этот спор, ведшийся в письменной форме, вынес вместо фракционности и раздражения расширение горизонта у ряда товарищей. Аргументация Егора была в этих статьях-письмах чрезвычайно самостоятельна и смела мыслью.

Нас долго занимал анализ провала революции 1905 года. Кроме причин, исходящих от несознательности и неорганизованности масс при совершенстве царского военного-полицейского аппарата и др. Егор подчеркивал всегда еще одну — отсутствие единого фронта (буквальное его выражение) у социалистов. Последнее ему казалось как раз той щелью, через утекала мощная революционная энергия народных масс и партий.

Мы ждали Амстердамского Конгресса и сообщений о ходе его с большим нетерпением. Но ни одно сведение о нем не дошло до нашей каторги. Зато планы и предположения наши были обширны. Егор писал:

«Войны не будет, только бы нам сговориться».

И вдохновенно развивал свою мысль-надежду:

«Войны не будет. Империализм подкосится всемирным рабочим объединением»...

Во всем, о чем мы с ним говорили в письмах, что тревожило порой мысль целыми месяцами, — во всем у него появлялась пылкость, проницательность и мудрость мышления, мудрость, переносившая всякий обмен мнений на безграничный простор искания истины и правды. Он всегда искал постулатов правды не только в общественных, но и в личных отношениях, и не раз говорил о необходимости реформы в самой первичной ячейке общественности — семье:

«Мне кажется, без реформы в самых интимных человеческих отношениях с людьми все-таки ничего не поделаешь».

Это напряженное всестороннее искание благообразия жизни извне и внутри, «блаженство» общения с богом — его характернейшая черта:

«Ничего страшного, ничего невероятного нет, мама, для того человека, который захотел жить богом, отдавая ему каждое дыхание, и если ты встретишь такого человека хоть раз в жизни, то знай, что ты видела самого блаженного человека на свете. Мы очень далеки от этого совершенства, но мы должны стремиться к нему, не правда ли?»

И еще:

«Я умру, но моя правда, то, что для меня дороже жизни, останется жить. Я испытываю величайшее в мире счастье жить так, как велит моя совесть, жить для своей правды. Эту правду у меня никто не властен отнять»...

Должно быть в темных чащах приуральских лесов, на непроторенных дорожках русского лесного моря и безбрежных степей, по которым десятки лет ходили, прятались, гибли от голода, холода, зноя и бесприютности тысячи и тысячи ходоков за верой, за правдой, за божьей истиной, копилась и концентрировалась эта религиозная жажда, эта

208 Раздумьями (нем.)

209 В. Ропшин — литературный псевдоним Б. В. Савинкова.

великая по силе и напряженности духовная энергия, и она-то проявилась в Егоре, освещая и согревая все кругом.

Егор является типичнейшим сыном своей родины и народа, лучшим его выявлением. Русский народ в тисках беспощадной действительности, пока не догадался о путях революции или, быть может, не вполне удовлетворяясь ими, искал освобождения в мысли и в быте целых двух с половиной — трех столетий. Сектантство, раскольниковство, атеистическое беспоповство и нетовство — это долгое страдное и великое хождение по мукам души народной. И оно выковало крепость и силу духовную правдоискателям в жизни личной и общественной и революционерам-преемникам этих правдоискателей. Выковало стойкость и непреклонность и отречение от другой исконной русской стихии — смирения.

«Мама, молись за тех, кто борется, молись, чтобы — сильна и метка — была рука их».

...«Не плачь о них, они сами идут на смерть, чтоб другим дать свободу жить. Плачь по народу, по его великим безмерным страданиям, по его беспомощности, бессилию восстать и стряхнуть с себя палачей. Нет у народа сил постоять за себя... Еще требуются иные, кто бы защитил его!...»

От сгорания живьем в деревянном срубе при отстаивании своей веры и спасения от соблазна, от стояния на стопе и пустынножительстве в лесах и пещерах народная энергия пришла через своих носителей и представителей к героической борьбе за други своя.

* * *

В нашей переписке с Егором чуть ли не больше всего места взяло обсуждение вопроса о тюремной тактике. Началось оно вскоре после перевода Сазонова поблизости к нам.

После шума, произведенного в России по поводу безобразий режима в Алгачах, Егор и другие товарищи из Алгачей и часть товарищей из Акатуя были переведены в Горно-Зерентуйскую тюрьму, отстоявшую от нашей Мальцевской на расстоянии 5 верст. Обе тюрьмы оживленно и регулярно переписывались в течение трех лет, ухитряясь при всяких режимах налаживать почту через уголовных или пользуясь помощью величайшего друга всех каторжан врача Рогалева.

Хочется прервать течение записок, чтобы помянуть его. Врач Николай Васильевич Рогалев состоял на службе при Нерчинской каторге 9 лет, до 1909 года. Это был дорогой и знакомый всем нам из русской литературы и жизни тип врача подвижника-общественника. За 9 лет службы на каторге он не дал применить ни к одному уголовному каторжанину, не говоря уже о политических, телесного наказания в пределах своего врачебного района. Кругом творились зверства и невероятные притеснения. Лишения каторжан при воровских самодурах-начальниках каторги и тюрем были неопишуты. Николай Васильевич в этом медвежьем углу был буквально один без единого отклика и опоры, и все же он так твердо и непреклонно отстаивал свое право защиты угнетенного человека, что с ним начинали считаться самые свирепые тюремщики. Мы уже застали его совершенно замученным человеком, расстроившим нервную систему до крайней степени. Это был при молодых годах больной человек, выглядевший старым, с трясущимися руками и головой и больным сердцем. Долгая одинокая борьба взяла все его силы, высосала его до дна.

Доброта Н. В., его мягкость в обращении, тон равного друга и товарища с заплеванным, униженным до последней меры каторжным человеком в этом месте всяческого оскорбления и угнетения людей поражали при всех встречах с ним.

Он каждый год проводил комиссии врачебного освидетельствования для освобождения от каторжных работ. В нашей глуши сохранился какой-то обветшалый, гуманнейший параграф закона, ревниво оберегавшийся от забвения и ликвидации Рогалевым. По этому параграфу неспособные к тяжелому труду, трудно-больные, дряхлые и умалишенные освобождались от своего срока с заменой его — бессрочного на 3 года, срочного — на 2–2,5 г. Рогалев пользовался этим законом для освобождения бессрочных и долгосрочных.

— Ну, как, как его записать? — бормочет, волнуется и трясет головой Николай

Васильевич про какого-нибудь «больного» каторжанина. — Он здоров, как бык, негодяй! Сразу же увидят. Тут уже не сфальшивишь!

И он укоризненно глядит на какого-нибудь бравого молодца — великолепный экземпляр человеческой породы, осужденного без срока подставлять свою спину под кнут, душу — на полную порчу и гибель.

Каждый год Рогалеву удавалось освобождать с каторги до 60 человек. Уголовные каторжане употребляли героические усилия, чтобы попасть в его район и вынуть там лотерейный билет комиссионного освобождения. Политические после переговоров с Николаем Васильевичем сами выставляли от себя для его руководства список больных, в процентном отношении к общему числу всегда очень скромный.

Только уступая нашим просьбам, Рогалев еще служил, но новые власти уже косились на него, а нервы перестали давать ему силы тянуть эту лямку. Он все чаще стал проситься у нас в отставку. Когда случилась в Зерентуйской тюрьме небольшая голодовка, он реагировал на нее всеми своими больными нервами, перестал тоже есть, затрясся втрое и так изволновался, что всем стало ясно — человек здесь, в каторге, больше оставаться не мог.

После его ухода были врачи, иногда тоже возившие почту нам, но дело было, ведь, не только в этом — друга нашего, честного и чистого рыцаря каторжного страдания, общего брата милосердия с уходом Рогалева не стало, и нового уже не появлялось.

От Рогалева мы много узнавали про старые нравы каторги, про настоящее, про режим и события в других тюрьмах. И на основании эмпирических данных и своих теорий мы выработывали свои убеждения по вопросу о тюремной тактике.

Нерчинская каторга, кажется, самая древняя из русских каторг.

В Акатуйской тюрьме мы видели регламент тюремного режима времен Петра I, может быть отредактированный самим царем, когда он отправлял первую партию колодников на разработку Нерчинских золотых и серебряных рудников. Заброшенная вглубь Забайкалья, без железных и шоссейных дорог, отданная на полный произвол, часто, как во французской каторге, состоящей из обиженных богом и людьми отбросов высшей и низшей военщины и служилого сословия, в безлюдном просторе сопки и тайги, в безмолвии жестокого мороза и непроходимых дорог, — наша Нерчинская каторга за 2 века своего существования накопила в своих стенах неисчислимое количество человеческих слез и крови. Каждый камень ограды любой здешней тюрьмы мог бы вопиять о крови и слезах, о том, как застеклевшими от холода голыми руками его выворачивали из земли, тащили, согнувшись, на своей избитой в кровь спине и накладывали один на другой, скрепляя цементом. Каждое бревно в тюремной постройке, облипшее заразой, грязью, клоповником и брызгами крови от свистевших розог, вопияло тоже о безмерном страдании человека без надежды на другой выход и конец, кроме смерти. Выведенные из каторжных стен революцией 1917 года, мы первый раз были за оградой на воле около тюрьмы и увидели могилу декабриста Лунина, человека мятежной души и Небывалой силы, сложившего свою голову на здешнем убоище. А входя в каторгу в 1906 году, остановившись на ближайшем в Акатуе этапе Александровский завод, мы встретили партию мертвецов-каторжан в 49 человек, идущих с Амурской колесной дороги. Эта незабываемая встреча — символ человеческого правосудия, защиты общества и государства от виновного или кажущегося им виновным члена. Они, эти шедшие с Амура назад за негодностью к работе люди были не только грязны, босы, покрыты с ног до головы вшами, коростой и болячками, они были все тяжело больны, не дышали, а хрипели, не говорили, а сицели, или гнусили нищенским голосом и были все до одного убиты духовно.

— Сколько лет, думаете вы, мне? — спросил меня один старик-каторжанин, солдат, согнутый, иссиня серый, с потухшим взглядом, кашлявший и трясшийся от озноба в июльскую жару.

— Лет 50–55.

— Мне 29 лет, — печально улыбнулся молодой старик. — Мы все здесь годами молодые, но мы — мертвые люди...

Амурская колесная дорога, это — шоссе, прокладываемое через болото и

непроходимую тайгу, без всяких почти средств и орудий производства, не одетыми, голодными и закованными людьми на протяжении тысячи верст, это шоссе — яркий пример превращения труда в тягчайшую пытку и надругательства над телом и душой человеческими. Фараоны в прежнее время строили так свои пирамиды. Шоссе это устлано трупами, кости людских скелетов могли бы заменять там щебень и камни. Каждый год русские и сибирские тюрьмы слали партии за партией на Амур, и редкие счастливицы выходили оттуда обратно, хотя бы и покалеченными, а невредимыми — почти никто никогда. Если там в видах экономии иногда берегли железный и древесный материал, то с человеческим не церемонились. Если же этот материал обнаруживал свое специфическое человеческое свойство, так или иначе опротестовывая ужас своей жизни, или оборонялся, то не было меры истязаниям и надругательствам над этим материалом. За побег расстреливалась вся десятка, где был засчитан беглец, причем для меньшей траты патронов девятку или восьмерку оставшихся ставили в ряд, стараясь винтовочной пулей пронизать весь ряд. Пуля, удачно пробившая 2–3 спинных хребта, часто застревала в следующей спине и... с проклятием заряжалась винтовка заново, и с покорностью ждали своего конца связанные кандалники.

Часто в чем-нибудь виноватого ослушника раздевали донага и привязывали к дереву, где скоро тучей начинала виться мошкара и заедала насмерть обезумевшего от пытки человека. Если наказание бывало срочное, и казнимый снимался с дерева через час-два, то все равно его снимали уже помешанным. Пытка была непереносима для людей самой большой закаленности.

Встретившиеся нам в Александровском заводе обратники с Амура все тюрьмы России и Сибири считали раем в сравнении с Амурской «колесухой».

Но раем ни Орловского, ни Тобольского и Смоленского централов, ни Бутырок, ни Ярославской каторги, ни Николаевских рот, ни нашей каторги, конечно, назвать было нельзя.

Режим у нас определялся в большей мере тем, кем был начальник тюрьмы. Он же определял собой настроение младшей администрации, профессия которой давала все права и возможности быть безответственными мучителями отданных в их власть людей. На одной нашей каторге раскинутые в районе 500–600 верст тюрьмы имели начальниками зверье и палачей и рядом — добродушных либералов старого сибирского закала, хранящим в своем отношении к «политике» традиции и навыки, данные им воспитанием прежних поколений ссыльных и каторжан — революционеров. На Кадаинской каторге около караульного помещения стояла кадушка с рассолом, где мочились гибкие прутья для порки; на Казаковских золотых приисках уголовный, исеченный розгами, приходя к фельдшеру с просьбой полечить страшно загноившуюся от врезавшихся колючек спину, получал в ответ: «не для того порали». В Алгачинской тюрьме политические, заключенные принимали яд или разбивали себе голову об стену. В это же время в Горно-Зерентуйской и Мальцевской тюрьмах до 1909–1910 гг. при приличных начальниках заключенные всех категорий имели в своем режиме необходимый минимум, дававший им возможность жить с сохранением своего человеческого достоинства, заниматься в свободное время наукой и развитием своей внутриобщественной жизни.

Нравы на каторге вообще в первые годы (1906–1909) были патриархальными, и иногда свирепый на вид начальник, свирепость которого была инспирируема Читинским округом, «обминался» и обживался с политическим коллективом на славу, оставляя при себе неотъемлемым качеством только способность воровать. Репрессии там или сям в каторге сначала носили спорадический характер.

Окраины получали из петербургского центра новые указания и направление внутренней политики значительно позднее, чем эта политика устанавливалась в центре. Окраины довольно долго продолжали еще жить настроениями и указаниями от испуга 1905–1906 гг. и тогда какой-либо тяжелый или чрезвычайный режим, как-то Бородулинский и Измайловский в Алгачах, казался как будто бы несчастным явлением. Но все же, наконец, волны реакции, разлива торжествующего грубого насилия прикатились и к нам. Настроение

в сторону репрессий и удушения вольного духа на всей каторге стало сгущаться, слухи шли, иногда один нагонял другой, то о рассказывании тюрем с более мягким режимом, то о присылке новых начальников с особыми полномочиями, то о событиях в тюрьме вроде Алгачинской. И в довершение приезжавшие из России товарищи привозили рассказы о происходивших там ужасающих избиениях, расстрелах, порках и установлении чрезвычайных режимов. Тягчайшее и унижительное ощущение себя *вещью*, которую могут раздеть, обшарить, увести, привести, раздавить, избить и убить, неуверенность в своем даже минимальном существовании, все больше и больше овладевала заключенными.

Царское правительство в России с 1907 по 1917 г., целых 10 лет занималось физическим истреблением пленных революционеров. Система полного удушения в централах и арестантских ротах была доведена до совершенства. Все было задержано и изнасиловано. Велико было надругательство царизма над побежденной страной, и особенно над ее сынами, взятыми в плен; протесты не помогали, вызывая только жестокие усмирения. Самоубийства во многих местах приветствовались, в других вызывали при неудаче телесное наказание. Голодовки принимали характер игры кошки с мышью, когда заключенные (как было в Вятке), голодая по 21 дню, умирали, так и не получив уступок от администрации.

Попытки к побегу карались жестоко. Побег из Екатеринославской тюрьмы, когда тут же на тюремном дворе было застрелено и заколото 29 заключенных товарищей, другие трагически-неудачные побеги из Севастопольской, Тобольской и пр. и пр. тюрем, обогранные кровью десятков убитых товарищей, заставляли только лишний раз содрогнуться всю страну ужасом бессильного и безмолвного гнева-скорби.

Поэтому многие вышедшие с каторги глядели потухшим взглядом и даже жизнь и революция не пахнули на них своим знойным дыханием, а встречены были ими как чужие.

Все силы ума и души напрягались в поиске, *чем спастись, чем защищаться*. Ведь и смерть бессильна оградить от оскорбления. Что из того, что тебя не тронут, *ты успел* убить себя. Но рядом с тобой тронули, рядом с тобой бесстыдно разложат обнаженное тело человеческое и засвистят над ним с улюлюканьем подлым бичем. Егор умер, спасая товарищей от оскорбления, но через год на Кутомарской каторге 5 человек (Лейбазон, Пухальский, Маслов, Рычков, Кириллов) должны были снова убивать себя, протестуя против возможности применения телесного наказания, а 6 (Васильев) бился в безумном, неопишемом отчаянии в руках палачей и умер под розгой.

Правда, после случая с Сазоновым, волна общественного негодования прокатилась по затравленной стране. После 4 лет молчания и борьбы только в тюрьмах, силами самих пленников, это был первый громкий звук протеста и задушенной ярости, прорвавшийся в ряде забастовок студенчества, протестующих подписей, резких выпадов печати. Все это было обильно оплачено правительством закрытиями университетов, женского медицинского института, разгоном и высылкой в Якутку студенчества, писателей и журналистов, арестами и судами.

По дороге из Акатуя от ж. — д. станции до Читы, мы -10 освобожденных революцией каторжанок — ехали с товарищами, освобожденными из Алгачей. Они рассказывали о своей борьбе и сдаче, как они называли свое подчинение режиму в Алгачах. При всех бесчисленных угнетениях в режиме была одна деталь — их заставляли глядеть прямо в глаза, когда начальство входило в камеру и здоровалось, и жестоко замучивали в карцерах за непослушание этому приказу Измайлова. За неподчинение ряду унижительных требований огромную камеру с людьми не топили в мороз 30–40 градусов. Держали при этом на хлебе и воде и на карцерном положении, т. е. без соломенного матраца, одеяла, без прогулок и книг. Снимали с них планы из солдатского сукна и бушлат, и оставляли в нижнем белье и котках на босу ногу. В таком положении держали 25 дней, потом один день отдыха о опять 25 дней. Один кусок стены, граничащий с другой камерой, был тепловатый и вот около него все время становилось 2–3 скорчившиеся фигуры, соблюдая строгую очередь. Страдания от холода и пр. были так сильны, безнадежность положения так ясна, что то одному, то другому приходили мысли о сдаче. И вот первый, второй, третий, мучительно стыдясь, при

осуждающем молчании остающихся, делают свои заявления на поверке надзору о своем согласии подчиниться режиму.

— То-то, давно бы так! — ехидно замечает вылощенный старший Баженов — палач, убийца и бешеный истязатель, который выхолненной рукой в перстнях и кольцах бил наотмашь по лицу, разбивал губы и глаза в кровь и, не удовлетворяясь этим, бил по лицу еще связкой ключей с гнусными приговариваниями. Оставалось уже немного непокорившихся — ни холод, ни голод, ни карцер, ни побои не брали их. Превратившиеся в тени, с почерневшим лицом, с застывшими фанатическими глазами они встречали ежедневных истязателей на поверке непримиримым взглядом, отворачиваясь от их брани и насмешек.

Они стали кончать с собой. В камере, где сидело огромное большинство уголовных, было сказано надзором, что их «перепорят», если у них политик покончит с собой. И вся камера зорко следила за 2–3 одиночками, которым казалось, что весь мир отступился от них, что даже умереть, уйти от муки и вечного позорища своего они не смогут. Они шли с упорством маньяков на ряд безуспешных попыток, за которые платились жестоко, снова и снова принимаясь за них же.

Лежит товарищ на нарах. Нога положена на ногу. В его углу темно. Под себя он положил все собранное свое тряпье, чтобы под нару не потекла уличающая его кровь из перерезанных тупым ножом вен под коленями и на руках. Подкрадывается обморочное состояние. Жизнь медленно уходит с кровью тела. Скоро ли, скоро ли придет освобождение?.. Но постепенно тревога заползает в стихшую душу, смерть не хочет приходить, молодой организм высылает средства самоспасения, перерезанная жила затягивается пленкой, кровь засыхает сгустками, и надо опять и опять начинать сначала. Он пилит стеклом, тычет израненное место острием, выжимает сгустки. Кровь медленно ползет опять и снова засыхает. Тогда товарищ берет грязь с полу, грязным рукавом бушлата трет рану, чтобы засорив ее, вызвать заражение крови, и, обессиленный потерей крови и отчаяньем, падает навзничь в полубреду. Так тянется ночь, а на утро его в глубоком обмороке, скорчившегося и похолодевшего, уносят с проклятиями и пинками в лазарет. Там его отхаживают всеми средствами и потом подвергают наказанию за непокорство. Руки так и остаются на всю жизнь сведенными.

И все же они не «покоряются». Тогда Измайлов перевел их в одиночки и в крошечном узком коридоре стал раскладывать уголовных и пороть их на глазах наших запертых товарищей.

Мольбы уголовного о прощении, ползание в ногах, сваливание его ударами с ног, свист розог, брызги крови, вопли, стоны, потом дикий, пронзительный не то крик, не то рев истязуемого!..

Измайлов пьянел. Он начинал сам кричать, рычать, вырывал из рук надзирателя розгу и кидался к лежащей на полу жертве. С налитыми слепящей яростью глазами, тяжело дыша, он подходил потом к форточке одного из товарищей и махал окровавленной розгой перед его лицом:

— Запорю!.. Запорю мерзавцев!..

И, потрясенный, с совершенно растерзанным сердцем, товарищ из другой камеры кричал душу разрывающим голосом:

— Брат, брат, покорись!.. Брат, брат...

В ответ слышался дикий, отчаянный крик:

— Не покорюсь!!...

А тот молил:

— Покорись!

И совсем уже не человеческим голосом, стуча кулаками по двери, по фортке, товарищ опять кричал свое «не покорюсь».

Эту страшную процедуру проделывали с ними до тех пор, пока последние борцы не заявили о своей сдаче.

С ликованием вошел Измайлов:

— А, смотришь в глаза! Рыла не воротишь! А помнишь, воротил?...

Таких, как Измайлов, иногда менее пьяных, иногда еще более жестоких, становилось по России среди тюремного начальства все больше и больше. Все очевиднее обнаруживалось намерение правительства сломать единственную в стране негнущуюся волю, сравнять с землей единственное место, где еще дышала революция, звенел протест и был жив подвиг борьбы и бунта, — намерение усмирить тюрьмы и каторги политических заключенных.

Все на нашей каторге чувствовали неотложность точного решения и сговора перед той грозной неизбежностью, что надвигалась на тюрьмы Нерчинской каторги. Поэтому в нашем сначала личном обмене мнений с Егором по вопросу о тюремной тактике скоро приняло участие порядочное число товарищей Мальцевской женской и Горно-Зерентуйской мужской тюрем.

Егор доказывал необходимость борьбы за минимум человеческого достоинства и прав. Он допускал длительное терпение во имя идеи в целях сохранения в живых революционного контингента тюрем для новой борьбы и работы до известных пределов, дальше которых надо было начинать борьбу в тюрьме, которую он, наравне со мной, тоже называл «борьбой со связанными руками». Имея в виду историческую обстановку, когда царско-помещичье правительство, нарушив какую-либо свободу в стране, намеревалось физически истребить своих пленников-революционеров, — трудно было предполагать какую-либо успешность тюремного протеста и борьбы. За успешностью Егор, по мере все большего проведения в жизнь палаческо-истребительской политики правительства, перестал гнаться, но он считал необходимым в известных случаях протест смертью против насилия и освобождение чрез смерть от вконец унижающего личность режима. В этом решении сошлись почти все заключенные товарищи. В результате 2-годичной переписки Егор написал мне свое решающее письмо, которым и закончился обмен мнений по поводу тюремной тактики. Он сказал там приблизительно так:

— Я принимаю все. *Я, лично* обещаю снести всякое оскорбление моего достоинства во имя моей идеи, «они» не смогут теперь меня оскорбить (как не оскорбили бы дикари своим голым насилием или сумасшедшие), но если оскорбят *малых сил*, если тронут меньших братьев моих, которые не работали над своим революционным сознанием столько, сколько пришлось работать некоторым из нас (профессионалам революции), *их* грозящее нам оскорбление может принизить, искалечить, вызвать из подсознания веками воспитанные рабские привычки и убить *в них* революционера (чему мы знаем уже примеры). И вот *их-то* надо не давать в обиду и защищать своей грудью.

Это решение и определило дальнейшую судьбу Егора. Он любил жизнь светлой, *радостной* любовью.

— Кто любит землю, — писал он, — с ее земными человеческими страданиями и радостями, как родную мать, тот в любви к ней почерпает бодрость и силу.

Он был прикован к жизни тысячью видимых и невидимых нитей. Но когда пробил час, когда братьям его стало грозить смертное оскорбление, Егор порвал эти нити бестрепетной рукой.

Ряд погибших товарищей проходит незабываемыми грустными тенями в памяти; каждый из них был ценен для революции и был бы еще ценнее, быть может, и впредь для нее, и потеря его представляется невозвратимой. Каждый бриллиант единственен и «границы его ни с чем, кроме того сияния, которое они излучают, не сравнимы». Но как же оправдать и изжить потерю такого единственного, каким был убитый Егор?..

Многими из нас с уверенностью предполагается, что в агрессивности нападения на Горный Зерентуй играло желание правительства свести счеты с Сазоновым, не дать ему выйти на волю. Незадолго до его выхода на поселение началась травля в газетах Союза русского народа — «Земщине», «Колоколе» и др.

В унисон с печатной кампанией в России, в Сибири в окна Горно-Зерентуйской тюрьмы вдруг началась пальба день и ночь особенно направляемая в одиночку Егора.

— Я вижу в этом прямое намерение убить меня, — заявил он администрации.

Потом приехал Высоцкий...²¹⁰ События пошли быстрым течением. Высоцкий сразу показал себя. Он торопился нападать, отвергая все промежуточные стадии борьбы с заключенными в виде переговоров, увещеваний и каких-либо подготовок.

Егор после первого же объяснения с ним понял, *чем* очень скоро должно все кончиться, и уже 27 ноября (1910 г.) мы получили от него прощальную записку и памятку мне, сделанную его руками. 28 ноября, придравшись по пустому поводу к двоим товарищам, Петрову и Сломянскому, Высоцкий приказал применить к ним телесное наказание. Петров облил себя керосином и пытался сжечь себя; его спасли. Тогда начались массовые покушения на самоубийство.

Егор был в горе, что он «опоздал», не предупредил. Он категорически запретил своим друзьям и товарищам прибегать к самоубийству раньше его. Доказывал, что гораздо «экономнее», в смысле потери лишней жизни и сил, начать с него. Но время приема яда он постарался не выявлять слишком ясно для всех и поэтому, когда он в короткую минутку открытия своей двери на уборку подбегал к форткам товарищей и говорил им со своей тихой улыбкой «прощайте!», — не все и не сразу сообразили, что это значит.

Прием стрихнина был велик, но молодой и крепкий организм Егора сопротивлялся долго. До трех часов ночи было слышно соседям страшное хрипение и кашель и, когда заподозрившие что-то в его камере из-за потухшей лампы надзиратели вошли к нему в 3 часа и унесли его в лазарет, он был еще жив.

Высоцкий, узнав, что произошло то, что было ему особенно надо, отдал строгое приказание не подпускать к хрипящему и бьющемуся в судорогах Егору никого из медицинского персонала, и только утром в 8 часов таковой был впущен в лазаретную камеру Сазонова, чтобы констатировать его смерть.

Огромный лоб сиял чеканной белизной в венце волос, отливающих золотым пламенем, на лице его лежало выражение такого безграничного мира и покоя, такой тишины и любви, что грубые, только что державшие плеть в своих руках надзиратели, глядя на убитого, плакали и крестились.

— Товарищи, — говорил он в своей последней записке, — сегодня ночью я попробую покончить с собой. Если чья смерть и может приостановить дальнейшие жертвы, то, прежде всего, моя. А потому я *должен* умереть. Чувствую это всем сердцем. Так больно, что я не успел предупредить двух умерших сегодня. Прошу и умоляю товарищей не подражать мне, не искать слишком быстрой смерти! Если бы не маленькая надежда, что *моя* смерть может уменьшить цену, требуемую Молохом, то я непременно остался бы ждать и бороться с вами, товарищи! Но ожидать лишний день — это значит, может быть, увидеть новые жертвы.

Сердечный привет, друзья, и спокойной ночи!..

Так умер Егор.

1920, август — сентябрь

Ф. Радзиловская, Л. Орестова **Мальцевская женская каторга 1907–1911 гг**

Огромный треугольник между реками Шилкой, Аргунью и Забайкальской дорогой образует Нерчинский край, часть которого издавна славится серебро-свинцовыми рудами. В пределах этого района, в Нерчинском заводском уезде, расположены 7 каторжных тюрем, составлявших — мрачной памяти — Нерчинскую каторгу. Одна из этих тюрем — Мальцевская — построена километрах в 8 от Нерчинского завода в районе Благодатских рудников, где работала когда-то часть декабристов, сосланных на каторгу.

²¹⁰ Начальник Горно-Зерентуйской тюрьмы И. И. Высоцкий был ранен эсером Борисом Исааковичем Лагуновым (р. 1882) 18 августа 1911 г.

Не раз царское правительство думало и пыталось возобновить трудом каторжан разработку Нерчинских рудников, начатую еще в 1704 г., и в 1869 г. по этому поводу состоялось соглашение между министерством внутренних дел и кабинетом его императорского величества. Однако, к такой разработке было приступлено только в 1883 году.

Из отчета б. начальника главного тюремного управления А. Л. Саломона выявилось, что, несмотря на такое соглашение, на Нерчинской каторге, специально предназначенной для рудниковых работ, этими работами было занято очень незначительное количество каторжан. Благодатские рудники в районе Мальцевской так и остались пустовать, а Мальцевскую тюрьму стали постепенно заполнять уголовными женщинами, исполнявшими различные тюремные работы в виде шитья белья на мужские тюрьмы, выделки пряжи на казну и т. д.

До 1907 года в Мальцевской тюрьме жили исключительно уголовные, если не считать Айзенберг и Ройзман, которые там прожили очень короткий срок.

Осужденные на каторгу по делу Якутского протеста 1904 г.²¹¹ Айзенберг и Ройзман в апреле 1905 г. были привезены в Мальцевку из Александровского централа, где не было женского отделения. В Мальцевской они были помещены в очень большую камеру, непригодную для жилья. Вместо кроватей в камере были нары, но это их не смущало; главным ужасом камеры были клопы. Их было такое несметное количество, что они ползали густой вереницей, заползали в еду, в хлеб, в платье и не давали спать. Каждую ночь Айзенберг и Ройзман спали по очереди, и пока одна спала, другая стояла возле нее со свечей и отгоняла клопов. Это заставило их подумать о переводе, и они, по совету зерентуйского тюремного доктора Рогалева, подали заявление о переводе их по болезни в Зерентуйскую больницу.

Начальник тюрьмы Пахоруков, которому они надоели своими требованиями и который, очевидно, хотел избавиться от политических, не зная как себя с ними держать, дал ход их заявлению. Айзенберг и Ройзман очень скоро были переведены в Зерентуй, и, таким образом, Мальцевская тюрьма по-прежнему продолжала оставаться исключительно уголовной женской каторжной тюрьмой.

Такое положение продолжалось до февраля 1907 года, когда в Мальцевскую была переведена первая партия политических каторжанок.

Первые политические женщины-каторжанки послереволюционного периода 1905 г. вначале жили в Акатуевской тюрьме, в которой, по словам самих заключенных, были «республиканские», очень свободные порядки. Окончательное подавление революционного движения 1905 г., очень сильно отразившееся на режиме и порядках в тюрьмах, отразилось также и на Акатуевской тюрьме. Перевод политических женщин из Акатуя был первоначальным шагом в этом направлении.

Военным губернатором Забайкальской области Эбеловым в предписании к начальнику Нерчинской каторги от 6/1 1907 г. за № 7 было предложено: «перевести всех находящихся в этой тюрьме арестанток-женщин в Мальцевскую тюрьму, приспособив для содержания их обособленное от других каторжных женщин помещение, с назначением надзора над ними наиболее надежных надзирателей и установлением через заведующего конвойной команды караула».

Телеграфным дополнительным приказом губернатор еще раз подчеркнул необходимость этой меры, и Метус, бывший в то время начальником Нерчинской каторги,

²¹¹ Якутский протест 1904 г. («романовский протест») — вооруженное выступление политических ссыльных в Якутске против ужесточения режима. 56 ссыльных социал-демократов, бундовцев и др. забаррикадировались 18 февраля в доме якута Романова и предъявили письменные требования об отмене ущемляющих их права распоряжений местных властей. Противостояние ссыльных и властей закончилось перестрелкой 4 марта, начатой большевиком В. К. Курнатовским. Двое солдат были убиты; был убит один из осажденных и трое ранены; якутский окружной суд приговорил каждого из «романовцев», включая 7 женщин, к 12 годам каторги. После Манифеста 17 октября 1905 г. все они были освобождены.

стал торопить начальника Акатуевской тюрьмы с переводом женщин, назначив срок перевода на 15 февраля.

В назначенный день, в 11 ч. утра, из Акатуя были отправлены Биценко, Измаилович, Фиалка, Давидович, а вслед за ними в 2 часа ночи и остальные — Спиридонова, Школьник, Езерская, отказавшиеся вначале ехать в назначенный срок в виду болезни.

Давидович, которая к этому времени уже окончила свой срок каторги, рассталась со своими товарищами в Шелапугино, откуда продолжала путь на поселение в Баргузин, а остальная шестерка была отвезена в Мальцевскую тюрьму.

С этого периода, т. е. с февраля 1907 г. и вплоть до весны 1911 г., Мальцевская тюрьма стала средоточием всех политических каторжанок, отбывавших свой срок в Сибири. Количество политических каторжанок стало быстро расти: к августу 1907 года их было всего 14 человек, в мае 1908 г. Мальцевская насчитывала уже 33 человека, а весной 1911 г., т. е. к моменту перевода женской каторги из Мальцевской в Акатуй, в Мальцевской тюрьме уже перебивало 62 политических каторжанки из общего количества 72 человек, сидевших в Нерчинской женской каторге за период 1907–1917 гг.

Состав всей женской Нерчинской каторги был довольно пестрым. В то время, как в мужской каторге, в основной массе, сидели рабочие и крестьяне, значительная часть женской каторги принадлежала по прохождению к привилегированному сословию и имела своей профессией умственный труд.

По роду занятий до начала своей революционной деятельности из 66 человек политических женщин на Нерчинской каторге, о которых имеются сведения, 42 человека, т. е. 64 %, занимались умственным трудом и только 24 человека, т. е. 36 % — физическим трудом.

По партийности на женской Нерчинской каторге больше половины составляли с. — ры, которых насчитывалось 38 человек. Остальная часть состояла из с.-д. (5 с.-д. большевиков, 3 с.-д. Польши и Литвы, 2 с.-д. меньшевика, 2 — бундовки) и анархистов-коммунистов, которых было почти поровну.

Несмотря на то, что женская политическая Нерчинская каторга делится на 2 периода, Мальцевский и Акатуевский — за Нерчинскими каторжанками прочно укрепилось название «мальцевитянок», может быть потому, что основная масса политкаторжанок Нерчинской каторги сидела именно в Мальцевской тюрьме, а может быть и потому, что этот период наиболее характерен для тех настроений, которые переживала Нерчинская женская каторга.

Вид тюрьмы и камер

Мальцевская тюрьма стоит в низине между сопками. Когда спускаешься с Зерентуйской дороги, откуда приходит этап, перед глазами встает ряд деревянных построек, окруженных невысокой каменной стеной. Эта стена изнутри серая, сделанная как будто из простого булыжника, снаружи выкрашена в белый цвет. Большие деревянные ворота ведут в большой двор, где вдоль правой стены, на расстоянии 1,5 аршин от нее, тянется длинный одноэтажный деревянный корпус, представляющий главное здание с 6 общими камерами. Вдоль части стены главного фасада идет другая постройка, по своим размерам гораздо меньшая, чем главный корпус. В этом здании, называвшемся околodком, помещалось 4 одиночки. Третий деревянный корпус внутри двора состоял из бани и кухни. Приехавшая в Мальцевскую тюрьму из Акатуя шестерка сначала занимала одну камеру в главном корпусе, но постепенно, с приходом новых, владения политики стали все больше и больше распространяться, и через год политические каторжанки занимали уже 3 общие камеры в главном корпусе и все 4 одиночки в так называемом околodке. В одиночках жили по двое, жили наиболее больные и усталые и ухаживающие за ними.

Здание Мальцевской тюрьмы, даже по мнению тюремного ведомства, было признано малоприспособленным и малоприспособленным для содержания женщин. Несмотря на то, что построено оно было недавно, оно уже представляло собою ветхий вид. По словам

начальника тюремного управления Хрулева, строительные работы выполнены неудовлетворительно, материалы, из которых построена тюрьма, также неудовлетворительны, здание недостаточно теплое, полы ординарные, гниют.

В виду непригодности здания, Хрулевым была отмечена необходимость капитального ремонта тюрьмы.

И, действительно, при суровом забайкальском климате, когда зачастую горные хребты, окружающие мальцевскую тюрьму, остаются под снегом до середины мая, при тридцати — сорокаградусных морозах, деревянное здание с огромными щелями и дырами совсем не защищало от холода. Углы камер зимой покрывались инеем, в камерах было необычайно холодно и сыро, и бывало, что вода или чернила, оставленные на полу, замерзали.

Общие камеры, где мы были размещены, представляли очень убогий вид. Окна, заделанные толстыми железными решетками, почти упирались в стену и поэтому в камерах всегда было сумеречно. Стены покосились, и кое-где штукатурка выпирала буграми.

В камерах стояли разнокалиберные деревянные кровати и деревянные козлы. В некоторые периоды, когда было особенно много народу, кровати стояли почти вплотную одна к другой. Для всяких приспособлений нами использовались ящики от посылок. Такие ящики, с самодельными полками внутри, стояли у каждой кровати и заменяли собою столики. Из таких же ящиков были устроены над кроватями полки для книг и полки для посуды. И только в одной камере для посуды стоял старый убогий шкаф. Посредине камер стояли большие деревянные столы, покрытые клеенками, с длинными скамейками вдоль столов. Небольшой столик для самовара и парашка возле дверей дополняли нашу обстановку. Освещались камеры несколькими семилнейными и десятилинейными керосиновыми лампочками, дававшими очень мало света для таких больших камер.

Наша коммуна и питание

Жили мы в буквальном смысле этого слова коммуной. Все получаемые деньги, посылки и книги становились общей собственностью и шли в общее пользование.

Деньги получали сравнительно немногие. Главным подспорьем были ежемесячные полочки Саней Измаилович и Марусей Беневакской по 50 р., а также полочка Зиной Бронштейн и еще двумя-тремя по 25 р. в месяц. Большинство же получало нерегулярно, от случая к случаю, самыми разнообразными, подчас очень мелкими суммами. Все получаемые с почты деньги вручались нашему экономическому старосте. Деньги выдавал начальник тюрьмы, причем на почте довольствовались его расписками. Возможно, что такого рода получение денег без наших расписок сопровождалось некоторого рода злоупотреблениями.

Питались мы большей частью скверно, потому что главное наше питание — казенная пища — была по-настоящему несвежей, невкусной и несытной.

Официальная раскладка для приготовления пищи в тюрьмах Нерчинской каторги на одного человека (неработающего) в сутки показывала: хлеба — ок. 1 кг., мяса -130 гр., крупы гречневой — 30 гр., картофеля — 100 гр., соли — 35 гр., сала топленого — 10 гр., луку репчатого — 12 гр., чаю — 4 гр., перцу — 2 гр. на 10 человек, лаврового листа — 1 гр. на 10 человек, капусты — 100 гр. Фактически же, кроме ржаного хлеба, казенная порция к обеду сводилась к щам из гнилой капусты с микроскопическим кусочком супного мяса, большей частью с душиком. На ужин была гречневая каша, скорее похожая на густой суп, а в холодном виде на кисель. Только по большим праздникам каша заменялась пшенной кашей.

Баланда и каша изо дня в день сделались каким-то символом тюремной жизни, и вечницы нам рисовались всегда едящими баланду и кашу.

В постные дни, т. е. в среду и пятницу, нам полагалось на обед или гороховый суп или постная рыбная баланда из кеты, в которой плавали какие-то рыбные кости и жабры.

Кашу мы все ели большей частью со смехом, побалтывая ложками и кое-как насыщались ею, если до нее не было ничего своего. Пригоревшая каша почему-то

напоминала Марусе Бенеvской рисовую кашу на молоке и уплеталась ею с большим аппетитом.

Кухня была в руках уголовных и, чтобы получить из общего тюремного котла суп, а не одну воду, нам приходилось идти на хитрости и посылать за ними на кухню вместе с дежурной еще кого-нибудь, умеющего брать. В противном случае на наш стол попадала баланда со дна, а «сливки» шли уголовным.

Выдаваемый нам черный хлеб, несмотря на постоянный голод, мы ели очень мало, и большая часть этого хлеба шла уголовным. Мы его выносили на коридор, и уголовные его систематически разбирали. Но когда мы узнали, что уголовные также этот хлеб не едят, а выменивают его на что-либо другое, мы начали его использовать иначе.

Начальник тюрьмы предложил нам взамен ненужного черного хлеба выдавать в несколько раз уменьшенную порцию белой муки, которую мы отдавали печь за ограду тюрьмы крестьянам. Таким образом мы имели большое подспорье в виде 3–4 фунтов белого хлеба на человека в неделю.

К казенному питанию мы покупали на получаемые деньги приварок. На добавочное питание нам полагалось тратить по 4 р. 20 к. в месяц на человека. Выписка производилась нами 1 раз в 2 недели. Выписывали чай, сахар, картошку, иногда кету, изредка рис, яйца.

Однако, благодаря тому, что часть наших денег уходила на разного рода расходы, нам часто не хватало денег для израсходования полагавшейся нам нормы на питание в 4 р. 20 к. Деньги уходили на покупку мыла, письменных принадлежностей, зубного порошка, тазов для умывания, экстренных телеграмм, снаряжения малосрочных на волю, выписки для уголовных и т. д. Был даже случай, когда из общих денег была выдана значительная сумма одной из краткосрочных каторжанок для побега с поселения.

В разные периоды питание наше то улучшалось, то ухудшалось, в зависимости от количества получаемых денег, наличия сидевших в тюрьме и т. д. Большею частью жилось все-таки голодноvато, и помнится долгий период — что-то около года — когда для нас самым большим лакомством была картошка.

Всеми денежными делами и закупкой продуктов ведал экономический староста. Экономическими старостами перебивалось у нас несколько человек: Ольга Полляк, Рива Фиалка и Маруся Бенеvская, Елизавета Павловна Зверева и Надя Терентьева. Очень долго старостой была Елизавета Павловна Зверева, всегда серьезная, никогда не поддающаяся соблазнам момента и рассчитывающая надолго вперед. Благодаря этому мы могли более или менее равномерно прикупать приварок. Но от Ольги Полляк Елизавета Павловна получала портфель с большими долгами и, чтобы восстановить равновесие, ей приходилось беспощадно урезывать выписку.

И вот, однажды, помнится, сильное желание какого-либо разнообразия в пище и сытости в желудке привело к министерскому кризису. Нам показалось, что другой староста внесет какую-то новую струю в наше питание. Заменить Елизавету Павловну взялась Зина Бронштейн и Рива Фиалка. Дело было летом и, к великому нашему удовольствию, мы в течение недели или двух получали зеленые огурцы, ягоды и другие вкусные вещи. Все шло хорошо, но через месяц выяснилось, что, благодаря экспансивности наших старост, в нашем бюджете опять произошел прорыв, и мы на некоторое время будем лишены необходимых продуктов. Так закончилось хозяйничанье Зины и Ривы, и Елизавета Павловна снова вступила в свои права, заглаживая дыру, получившуюся в результате политики момента.

Все выписываемые продукты — сахар, мыло, марки, табак и т. п. вначале совсем не делились по порциям, а расходовались по потребностям. Но по мере увеличения нашего коллектива и урезки выписки, введены были порции на все предметы и даже на белый хлеб. Табак стали выписывать только для давно курящих.

Жизнь коммуной в Мальцевской тюрьме продолжалась до самого конца, хотя, помнится, были некоторые настроения отъединиться от коммуны, «индивидуализироваться». Такая попытка была сделана Зиной Бронштейн, которая и жила некоторый период на своем пайке, на который ей выдавалось 7 рублей в месяц. Остальные получаемые ею деньги шли в

общее пользование.

Такие же настроения были и у Поли Шакерман, но, насколько помнится, она из коммуны не выходила.

Большим подспорьем для нас было получение посылок с воли, большей частью приходивших к праздникам или к каким-нибудь семейным торжествам, вроде рожденья. Посылки были для нас особенно ценными не только потому, что на воле о нас заботились, но и потому, что они разнообразили наше питание. В посылках иногда получались продукты, которых мы никогда не имели возможности выписать, а также сладкое.

Содержимое посылок, за исключением носильных вещей, делилось поровну, если даже и приходилось делить на очень мелкие части. Бывали особенно трудные посылки, когда приходилось делить конфетку на 3 части. Но у нас были такие виртуозы-делители, которые на этом деле набили себе необычайный глазомер и делили до крайности точно. Иногда эта виртуозность доходила до того, что монпансье даже делилось по цвету.

Вспоминается один очень комический и показательный случай с посылкой. Однажды Маруся Беневская получила из Италии от своих родных прекрасный торт. Хотя каждому из нас достался микроскопический кусочек, но мы были довольны, так как этот кусочек торта показался нам очень сытным и, по мнению большинства, «лег камнем в желудке». Через некоторое время Беневская получила длинный рецепт о том, как и сколько времени надо печь торт. Оказалось, что торт «лег камнем» потому, что мы по незнанию съели его сырым.

Больные и медицинская помощь

К пайку, полагавшемуся для каждого из нас, для больных прибавлялось от казны фунт белого хлеба и кружка молока. Но такими больными, которым нужно усиленное питание, тюремная администрация считала немногих. Вообще с больными мало считались и в Мальцевской тюрьме, где было сконцентрировано до 160 человек — политических и уголовных — даже не было своего врача. В особо серьезных случаях больных увозили в Зерентуйскую больницу, но таких случаев было крайне мало. Иногда, при серьезных заболеваниях, вызывался зерентуйский врач Рогалев, с которым политические были в прекрасных отношениях и через которого шла переписка с Зерентуем. Однако регулярной медицинской помощи Мальцевская тюрьма все-таки не имела, и, большей частью, мы обходились советами и лечением Маруси Беневской, хотя она была только со 2 или 3 курса Медицинских курсов.

Помнется, Ауэра Тиавайс перенесла воспаление легких в общей холодной камере, и к ней, кажется, ни разу не был вызван врач. Вспоминается также случай, когда целая камера болела инфлуэнцией абсолютно без какой-либо медицинской помощи.

В течение долгого периода нас лечил ротный фельдшер Василий Никифорович, но, по правде сказать, от этого был только вред. Так, Сане Измаилович, при выдергивании зуба, он вырвал часть десны, Лиду Орестову он чуть не залечил от ревматизма салицилкой, давая ей такие дозы, что она впадала в обморочное состояние.

Были у нас и хронические больные. Ольга Полляк в очень сильной степени страдала астмой. У нее под рукой постоянно была кислородная подушка. За эту-то подушку Ольга Полляк, на выговаривавшая буквы «ш», была прозвана нами «подуской». Астмой болела и Надя Деркач. Катя Эрделевская страдала эпилептическими припадками. Поля Шакерман какими-то странными припадками, при которых она впадала в забытие, падала и билась. Вначале мы очень пугались всех этих припадков, но потом привыкли и научились справляться своими средствами. Почему-то часто бывало, что все наши хроники заболели сразу. Билась Катя Эрделевская и Полечка, задыхались Надя Деркач и Ольга Полляк. Происходило это, вероятно, потому, что припадки вызывались какой-нибудь общей причиной, общим волнением.

Помнится, однажды, такие припадки были вызваны по следующему поводу:

Зина Бронштейн и Вера Штольтерфот спрятали книгу Достоевского «Записки из

подполья». Они считали, что не всякий поймет ее по-настоящему, поэтому не всякий достоин ее прочесть. С одной стороны, это было ребячеством, а с другой — это был тот абсолютный подход к вещам, который царил тогда в Мальцевской. Книгу нашли спрятанной у Зины чуть ли не через полгода после ее исчезновения. И Зина и Вера мужественно признались в своих намерениях. Волнениям, прениям, обсуждениям не было конца. В этот же вечер мы были свидетелями целого ряда припадков.

Очень серьезной больной была Маруся Спиридонова. Время от времени она впадала в бредовое состояние и целыми сутками лежала в забытьи, без сознания.

В смысле заболевания был у нас в Мальцевской один, поистине трагический случай. Одна из мальцевитянок, Фаня Ройтблат²¹² еще до своего ареста была ранена в голову осколками взорвавшейся бомбы. Так как прошло около 2 лет после взрыва и рана зажила, то никто из нас, да и она сама никогда не думали о каких-либо осложнениях от ранения. Мы привыкли видеть ее всегда здоровой, веселой и жизнерадостной.

Вдруг, однажды вечером, кажется летом 1909 г., в тюрьме поднялась тревога: с Фаней неожиданно случился странный припадок — она перестала видеть. Глядела широко раскрытыми глазами и ничего не видела вокруг себя. Маруся Беневская пересмотрела все медицинские книги, какие только были в тюрьме, предположила причину слепоты повреждением зрительного нерва при ранении, но непосредственной помощи оказать не могла. Через день или два припадок слепоты кончился, Фаня опять увидела свет, но мы поняли, что дело может принять печальный оборот. И, действительно, через очень короткое время она совсем потеряла зрение. У нее по-прежнему оставались прекрасные, серые лучистые глаза, такие ясные и чистые, что по внешнему виду трудно было определить, что она слепая.

В течение долгого периода Фаня надеялась, что слепота пройдет, что все это временно, и ни за что не хотела приспособиться к своему новому положению. Она перестала совсем выходить на прогулку, молча сидела или лежала на кровати в своей одиночке в околке и, уйдя в себя, углубленно думала о том ужасном, что над ней стряслось. Слепота так ее потрясла, что она хотела лишиться себя жизни. Пока особо острый период не миновал, мы ни на минуту не оставляли ее одну.

Когда прошел месяц, другой и ничего не изменилось, она постепенно начала приспособляться к своему новому положению. Стала учиться читать по азбуке слепых без посторонней помощи и приучилась обслуживать себя. Так странно было видеть, как она, выйдя на прогулку, быстро ощупывала лица новеньких, которых она не знала зрячей.

²¹² Та, кого авторы предпочли назвать Фаней Ройтблат, гораздо более известна под другим именем — Фанни Каплан, или, точнее, Фейга Хаимовна Каплан (1887–1918). Она была осуждена 30 декабря 1906 г. военно-полевым судом в Киеве на вечную каторгу за «изготовление, хранение, приобретение и ношение взрывчатых веществ с противной государственной безопасности и общественному спокойствию целью». Каплан была до ареста анархисткой, однако на каторге «перековалась» в эсерку. Возможно, все-таки она стреляла 30 августа 1918 г. в В. И. Ленина, хотя в недавнее время сомнение в этом высказали Б. М. Орлов (Миф о Фанни Каплан//Время и мы. Тель-Авив. 1975. № 2–3) и С. М. Ляндрес (Lyandres S. The 1918 attempt on the life of Lenin: a new look on the evidence//Slavic Review. 1989. Vol.48. № 3). Того же мнения придерживается и А. Л. Литвин. Пролетарское государство отнеслось к Каплан менее милостиво, чем самодержавное: она была расстреляна комендантом Кремля П. Д. Мальковым «собственноручно», как он с гордостью поведал в своих мемуарах; затем труп тем же Мальковым при помощи оказавшегося под рукой пролетарского поэта Демьяна Бедного был сожжен в железной бочке. Одну из авторов публикуемой статьи, Ф. Н. Радзиловскую, вызывали в ВЧК 1 сентября 1918 г. для опознания Каплан. Радзиловская, конечно, опознала ее и дала Каплан положительную характеристику. Как ни странно, не вполне ясно до сих пор, какая же из фамилий, использовавшихся Каплан, «первична». Сама она показала на допросе, что под фамилией Каплан жила с 1906 г. Предположения о замужестве отпадают, так как в 1916 г. начальник акатуйской тюрьмы получил письмо от родителей Каплан, подписанное этой же фамилией. Как бы то ни было, причины, по которым мемуаристки предпочли в 1929 г. использовать, говоря о своей подруге по каторге, фамилию Ройтблат, а не Каплан, достаточно очевидны. — См. Литвин А. Л. Красный и белый террор в России. 1918–1922. Казань, 1995. С. 185–194, 232–237.

Веселье и жизнерадостность к ней не вернулись в прежней мере, она теперь больше ушла в себя.

Неоднократно к ней вызывались тюремные врачи, но их мнение долго сходилось на одном, что она симулирует слепоту. Так она прожила в течение многих лет слепой, и только в 1913 г. она была переведена в Иркутск для лечения. Оказалось, что ее слепота все-таки поддается лечению. После лечения зрение ее не стало, конечно, вполне нормальным, но во всяком случае это уже не был тот полный мрак, в котором она жила столько лет.

Распределение дня

Наш тюремный день начинался часов в 8 утра. Проверяли нас утром в 6 часов в то время, как мы спали. Надзиратель входил в камеру и считал издали количество тел на кроватях. Мы так к этому привыкли, что шум отпираемой двери не будил нас, и мы продолжали спать. Если бы вместо кого-либо из нас положили чучело, то утренняя проверка не могла бы этого выяснить.

Обслуживала каждую камеру своя дежурная, причем дежурили по очереди. От дежурства освобождались только больные и слабые, к числу которых принадлежали Письменова, Езерская, Маруся Беневская, Окушко и др.

На обязанности дежурных было — встать раньше других, убрать камеру, вынести парашу, разделить белый хлеб и поставить самовар. В тюрьме было два больших самовара; один «Борис», названный по имени Моисеенко, другой «дядя», присланный дядей Нади Терентьевой. Кроме того, было несколько сибирских «бродяжек», напоминающих собой приплюснутый жестяной чайник, с ручкой и двумя отделениями — для воды и углей. Разжигается «бродяжка» так же, как самовар. Пользуются им, обычно, во время этапа в виду его портативности и большого удобства.

Утренний чай пили по своим камерам. После чая дежурная мыла чайную посуду, и в камере водворялась тишина. Конституция, т. е. часы молчания, по взаимному соглашению устанавливались в камерах в утренние часы до обеда и в вечерние после того, как камеры запирались.

В первое время камеры в Мальцевской были открыты целый день, и благодаря этому прогулка не была ограниченной. Летом даже почти все время до вечерней проверки проводили на дворе. Однако, постепенно эти льготы отменялись. В течение длительного периода, наиболее характерного для Мальцевской 1908–1910 гг., мы гуляли в определенные часы 2 раза в день по 2 часа, перед обедом и перед ужином. В остальное время дверь, отделявшая нас от коридора уголовных, запиралась, и мы проводили большую часть нашего времени в камерах или в коридоре, куда выходили наши общие камеры.

Обед и ужин был у нас по звонку. Обедали мы в час дня, причем обед представлял собой очень интересную картину. Дежурные приносили обед, и все сходились в одну камеру. Ели, большей частью, стоя, наспех, так как не хватало сидячих мест. Позже этот порядок изменился, и обед стали разносить по камерам. Посуды также не хватало и мы, обыкновенно, объединялись по двое для еды супа. Объединение происходило не по дружбе, а по любви к соли. Были пары «соленые», любившие здорово посолить суп, и «несоленые», объединявшиеся на почве нелюбви к соли. И это вошло в такую привычку, что когда прибавилось посуды, еще долго оставались «соленые» и «несоленые» пары.

После обеда дежурные мыли посуду, подметали камеры и освобождались до ужина. Ужинали мы зимой в 6 часов, а летом в 7, так как летом камеры закрывались на час позже. После ужина в наш коридор, где в углу висела большая икона Николая чудотворца, приходили уголовные и пели молитвы. Для уголовных это было обязательным. Пропев свои молитвы, они расходились по своим камерам, а мы высыпали в коридор и устраивали здесь прогулку.

Было очень людно, шумно и оживленно в эти последние минуты и особенно летом нам хотелось отдалить время закрытия камер.

После поверки, производившейся по камерам, нас заперли, и вечерний чай мы пили уже в запертых камерах. Мытьем чайной посуды кончался день дежурной.

Наша учеба

Главным содержанием нашей жизни были занятия. Занимались в Мальцевской самыми разнообразными предметами, от первоначальной грамоты до сложных философских проблем.

По своему образовательному цензу на Нерчинской женской каторге мы имели 24 человека малограмотных и с низшим образованием. Малограмотных обучали русскому языку, географии, арифметике и т. д., и некоторые из них ушли с каторги с знаниями в размере средней школы. Однако, для этого потребовалась серьезная и интенсивная учеба в течение ряда лет. Занятия были групповые и индивидуальные. И так как большая часть из нас была с средним и незаконченным высшим образованием (43 человека — т. е. 64 %), то иногда на каждую из них приходилось по несколько учительниц.

Особенно вспоминается, как, в буквальном смысле слова, накачивали, точно накануне экзамена, Фрейду Новик, первую ухотившую на волю. С одной стороны, Фрейда ждала воля, считала месяцы, дни и часы, а с другой — торопилась и спешила впитать в себя возможно больше знаний. Последнее было так остро и сильно, что Фрейда, которая была очень малокровна и от истощения часто падала в обморок, едва прийдя в себя после обморока, тотчас же снова начинала учить географию, русский, арифметику со своими бесчисленными учительницами.

Интересные кружковые занятия вели Маруся Беневская по естествознанию, Надя Терентьева по истории и Саня Измаилович по литературе.

Слушательницы Сани (Лида Орестова, Маруся Купко, Сарра Новицкая и Катя Эрделевская) изучали с ней историю литературы по Иванову-Разумнику,²¹³ вели беседы о Чернышевском и Герцене и были очень довольны этими занятиями, считая, что Саня умеет как-то особенно разбудить мысль, остановиться на интересных моментах.

Более подготовленные из нас и получившие на воле среднее и отчасти высшее образование также спешили приобрести фундамент в различных областях знаний, изучить языки и т. д.

Из языков больше всего занимались французским, меньше — немецким и английским. На французском языке в нашей библиотеке было много книг, особенно новой беллетристики. Французские книги получались нами даже из-за границы от родных Маруси Беневской. Так, были получены многочисленные тома Романа Роллана «Жан Кристоф». Занимались языками по двое, по трое, более сильные — самостоятельно, без учительниц, менее сильные — с учительницами. Наиболее авторитетными учительницами французского языка у нас считались Ира Каховская, Вера Штольтерфот и Лидия Павловна Езерская, причем у последней была особая система занятий. Если ее ученица плохо знала урок, она заставляла ее по словарю зубрить очень большое количество слов, начиная с буквы «а».

Многие из нас занимались математикой, занимались с большим увлечением. Можно даже сказать, что в этой области было несколько фанатиков, которые постоянно решали задачи, мучительно думая, когда бывала какая-нибудь заминка. Помнится, по алгебре мы не могли решить каких-то задач. Целыми днями мысль билась вокруг них, и напряжение было настолько сильно, что кем-то из нас задачи были решены во сне.

Наряду с другими занятиями, очень большое место уделялось философии. Философией занимались в Мальцевке с большим увлечением довольно значительное количество лиц в

²¹³ Иванов-Разумник (наст. имя и фам. Разумник Васильевич Иванов) (1878–1946) — популярный в начале века критик, публицист, историк литературы неонароднического направления. Каторжанки, очевидно, штудировали его кн. История русской общественной мысли. Индивидуализм и мешанство в русской литературе и жизни XIX в. СПб., 1907. Т. 1–2. С 1906 по 1918 книга выдержала 5 изданий.

одинокую, вдвоем и в кружке под руководством Зины Бронштейн.

Занятия по философии и психологии вызывали как-то особенно много споров и страстности. Целый ряд отдельных философских проблем тщательно прорабатывался в тюрьме. Так, помнится, коллективно был проработан вопрос о субъективном начале в древней философии.

Менее подготовленные начинали обычно чтение с Челпанова «Мозг и душа» и постепенно переходили к Виндельбанду «История древней философии». Читали Гефдинга «Введение в психологию», Геккеля «Мировые загадки» и пр. Некоторые из более подготовленных, кажется, целиком одолели 10 томов Куно Фишера «История новой философии». Помнится, как Фаня Радзиловская и Вера Горовиц горевали, что выходя в вольную команду, они застряли на монадах Лейбница и не смогут дальше заниматься за неимением книг.

С приездом Иры Каховской, которая привезла Маха «Анализ ощущений», Авенариуса и Богданова, последние были прочитаны и проштудированы многими из нас.²¹⁴

Занимались в Мальцевской и экономических науками, хотя меньше, чем философией. Вдвоем и группами в 3–4 человека прорабатывали политическую экономию, отдельные товарищи читали и фундаментальные книги по экономическим вопросам и штудировали Маркса.

Были еще у нас занятия практического характера. Сарра Наумовна Данциг вела кружок по массажу. Эти занятия были настолько успешны, что одной из ее учениц, Любе Орловой, удалось позже в Якутске жить на заработок от массажа.

В помощь к нашим занятиям мы имели прекрасную библиотеку из 700–800 экземпляров. Основанием этой библиотеки послужила часть книг, которую привезла в Мальцевку шестерка из Акатуя.

Постепенно эта библиотека пополнялась присылаемыми с воли книгами, причем особенно много книг получала Маруся Бенеvская.

В библиотеке нашей было неисчерпаемое богатство по различным разделам: философии, истории, социологии, истории культуры, экономическим наукам, беллетристике и т. д. Новейшая беллетристика получалась нами в сборниках «Альманахи» и «Знание». Особенно волновавшие тюрьму новинки иногда прочитывались коллективно вслух. Так были прочитаны «Мои записки» и «Рассказ о семи повешенных» Л. Андреева.²¹⁵

Иногда в тюрьме было повальное увлечение какой-нибудь беллетристикой. Помнится период, когда почему-то в очень большом ходу были приключенческие творения Дюма — «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», «10 лет спустя» и т. д. На эти книги была большая очередь, их глотали с жадностью и зачитывали до дыр, переносясь в другую жизнь, такую непохожую на нашу тюремную. Вскоре это увлечение ушло так же внезапно, как и пришло.

Самым излюбленным местом для наших занятий был коридор. В коридоре всегда

²¹⁴ Авторы перечисляют ряд популярных в начале века «руководств» по философии и психологии, которые можно было встретить во многих российских домах, претендующих на интеллигентность. Сообщение о том, что кое-кто из каторжанок пытался разобраться в построениях великого математика и классика немецкой философии Г. В. Лейбница лишней раз свидетельствует о том, что в Мальцевской тюрьме оказались действительно женщины не робкого десятка. Были они «в курсе» и новейших философских дискуссий — вокруг попыток преодолеть односторонность идеализма и материализма, предпринятых швейцарским философом Р. Авенариусом, австрийским физиком Э. Махом и русским социал-демократом, врачом и философом А. А. Богдановым, как раз в это время шли оживленные дискуссии «на воле». Если эсеры были готовы принять многое в «новой философии», то В. И. Ленин предпринял против нее решительный поход, выпустив «Материализм и эмпириокритицизм».

²¹⁵ В «Рассказе о семи повешенных» Леонида Андреева были выведены члены Летучего Боевого отряда Северной области ПСР, семеро из которых были повешены по делу о покушении на вел. кн. Николая Николаевича и министра юстиции И. Г. Щегловитова. Андреев знал руководителя отряда В. В. Лебединцева (Марио Кальвино). В рассказе он назван Вернером.

казалось светло и уютно, так как большие окна, выходявшие во двор, давали много света. Вспоминается целый ряд маленьких скамеечек, густо усеянных по коридору, прижавшиеся кучки людей — и кипит горячая учеба с самого утра, учеба группами, вдвоем, в одиночку. Можно только удивляться, как 20–25 человек умещались на этом небольшом пространстве и как они могли заниматься с таким увлечением и продуктивностью при том гаме, шуме и разноязычии, который стоял в коридоре.

Наиболее серьезными предметами, требующими углубленного и сосредоточенного внимания, занимались все-таки в камерах, где устанавливалась конституция, т. е. часы молчания днем до обеда и вечером.

Эти занятия после вечерней поверки, когда камеры закрывались, были самыми интенсивными и углубленными. — Ио в этом отношении каждая из камер носила свой отпечаток. Особенно это относится к периоду 1908–1909 г.

Пятая камера, где обычно сидело больше всего народу, была самая работающая. Почти сразу после поверки все садились вокруг большого стола и углубленно занимались при полной тишине до 11–12 часов ночи. Перерыв делали на очень короткий срок, чтобы согреться чаем, и опять садились за учебу. Очень засидевшиеся подъедали кашницу, оставшуюся от ужина. Тишину соблюдали очень аккуратно, и те, кому хотелось поделиться мыслями со своей соседкой или приятельницей, делали это путем переписки.

В шестой камере, наоборот, очень долго после поверки не могли уgomониться. Для этого было много причин. Здесь жили Мария Васильевна Окушко и Татьяна Семеновна Письменова, которые были гораздо старше нас и которые не занимались.

Мария Васильевна, очень общительная, живая, не любившая никаких правил и не соблюдавшая их, не признавала конституции. Она была до того органична в своей любви к свободе, до того ей тягостно было в неволе, что она очень долго с протестом и буйством принимала запертую камеру.

Это было еще до Мальцевской, в доме предварительного заключения в Петербурге, где из протеста против запертой камеры, в которой она чувствовала себя, как в клетке, она несколько суток непрерывно днем и ночью колотила в дверь чем попало. Вся тюрьма была в напряжении, а Мария Васильевна, кажется, на четвертые сутки была связана надзирателями и уведена в карцер, причем во время ее сопротивления ей выбили зуб.

Из Литовского замка, куда ее перевели после предварилки, Мария Васильевна пыталась бежать. Предполагалось, что она и еще одна вылезут на крышу, откуда по простыне спустятся вниз в переулок, куда выходил Литовский замок. На воле взялись помочь им в этом побеге. Как раз это совпало с периодом светлых лунных ночей, но Мария Васильевна не обратила на это внимания.

Бе спутница, выйдя на крышу и увидев, что в такую светлую ночь им не удастся бежать, ушла обратно в камеру, а Мария Васильевна, в своей жажде свободы, полезла на рожон. Она уже стала спускаться по простыне вниз, но была замечена внизу часовым; торопясь все-таки спуститься, она нечаянно сорвалась с простыни и полетела вниз. К счастью, было не очень высоко и она получила не очень серьезные повреждения. Постепенно Мария Васильевна несколько уgomонилась; и в Мальцевской тюрьме вспышки и конфликты с начальством у нее бывали уже редко.

У Марии Васильевны было острое перо, и она писала целый ряд остроумных и ярких писем, которые она называла «письма к тетеньке». В этих письмах высмеивалось увлечение философией и наша беспочвенность, преследовались идеи аскетизма, восхвалялось вполне законное желание еды, здоровая любовь к жизни и т. п.

Помнится, в одном из писем очень остроумно была высмеяна чрезмерная учеба. В письме изображалась смерть Стефы Роткопф, у которой, от чрезмерных занятий, при вскрытии были обнаружены перья, бумага и непрожеванные учебники.

К сожалению, тетрадь с «письмами к тетеньке» погибла. Она была переслана Марии Васильевне из тюрьмы на поселение по почте, но не дошла до нее. Очевидно, она застряла у начальника тюрьмы.

Эти «письма к тетеньке» обычно прочитывались после поверки, вызывая громкий смех и шум.

Татьяна Семеновна, тихая, уютная женщина, вносила совсем иное в 4 камеру. После того, как камера закрывалась, и мы усаживались за чай, Татьяна Семеновна вытаскивала откуда-то запеченную картошку или поджаренный хлеб, что вызывало большое оживление и даже восторг в камере. Как ей удавалось делать эти сюрпризы, мы никогда не знали, но принимали еду с удовольствием.

Помимо всего, в шестой камере жила Марийка Бородюкова, которой тоже было очень трудно втиснуться в какие-либо рамки тишины и конституции. У Марийки всегда были очень занимательные истории из ее жизни, которыми ей хотелось поделиться с нами. Эти истории менялись и каждый раз рассказывались иначе, но всегда в них был основной стержень. Марийка, служившая одно время на воле прислугой, являлась тиранкой своей барыниг которую она била и заставляла делать по-своему. Все это вместе отвлекало камеру от занятий, и проходило добрых 1,5–2 часа пока камера успокаивалась и те, которые стремились к учебе и боялись потерять время, садились за занятия и сидели за ними до поздней ночи.

Занятия в тюрьме носят совсем особый характер. Может быть потому, что не отвлекает внешняя жизнь, что настоящая жизнь далеко и не так задевает, мысль работает особенно остро, давая неизъяснимую радость. Пожалуй, из всех радостей в тюрьме — возможность углубленно мыслить и заниматься больше всего захватывала и волновала. Вспоминается, как сидишь вечером, кругом необычайная, какая-то отчетливая тишина, читаешь что-нибудь очень сложное и трудное, подчас крайне отвлеченное, и чувствуешь, физически ощущаешь острый процесс и радость мысли. Такое углубление в науку, такую радость занятий, трудно, конечно, представить на воле, где сама жизнь требует огромного напряжения и отнимает и физические и психические силы.

Настроения в Мальцевской

Большинство из нас были еще очень молодыми. 18 человек, т. е. 27 %, попались в тюрьму несовершеннолетними — до 21 г., 37 человек, т. е. 55 %, были в возрасте от 21 года до 30 лет, и только 12 человек были старше 30 лет.

В силу этого революционный стаж до ареста у большинства из нас был очень незначительным, и почти 70 % из нас работали в революции 1–2-3 года и попали в революционную волну 1904–5 — 6 годов. Правда, часть из нас имела значительный революционный стаж в 7–9 и даже 16 лет революционной деятельности и начинала свою революционную деятельность в 90-х годах, но таких было сравнительно мало.

Может быть благодаря нашей молодости и малому революционному стажу — в нас не было еще крепкой революционной закалки. На воле как раз был период большой упадочности, аполитичности, распада партий, появления всевозможных группировок, богоискательства. Все эти настроения с воли просачивались к нам и воспринимались.

Оторванные за сотни верст от живой жизни, отрезанные от мира, в коллективе нескольких десятков человек, мы теряли почву прошлого, жадно переоценивали все ценности, ища новой почвы, новых устоев. А в тюрьме ведь желание дойти до корня вещей всегда бывает очень острым, и Мальцевка в этом отношении доходила до крайностей.

Каждый человек своей индивидуальностью вносил что-либо в тюремную жизнь, поднимал, муссировал вопросы, которые долго переживались и обсуждались потом в тюрьме.

Вопросы ставились остро и обнаженно. Доходили до крайности в вопросах недопустимости и отрицания насилия во имя каких бы то ни было целей, была тенденция даже отрицания необходимости революции и возможности дойти до общества будущего путем самосовершенствования человека. Было и богоискательство, искание какой-то божественной силы, которая движет мир. Вопросы. материи и духа, субъекта и объекта,

свободы воли, самодовлеющей ценности человека, коллектива и индивидуальности, роли личности в истории и тысячи других вопросов волновали до страстности, так что часами длились споры на эти темы. Случалось даже, что мы могли шептаться всю ночь, решая вопросы монизма и дуализма. При всем этом у нас очень усиленно развивалась критика всего и всех, и все измерялось с абсолютной точки зрения.

Особенно яркие настроения мистицизма, богоискательства и непротивленчества привезла с собой Маруся Беневская.

В Марусе было очень много привлекательного. Никогда ни в чем никому не отказать, дать другому книгу, которую хочется самой прочесть, постоянно отдавать себя другим — это было девизом Маруси, и выходило это у нее легко и радостно, так что от нее все легко принималось.

У Маруси не было одной, кисти руки, двух пальцев на другой руке, и остальные три пальца были изуродованы. Потеряла она руку при взрыве бомбы у себя на квартире. Многие из нас по приезде в Мальцевскую очень долго не замечали ее инвалидности, потому что она не была беспомощной, много работала, стараясь все делать сама, и потому, что инвалидность не убила ее жизнерадостности.

Очень привлекательная в общежитии, красивая, с лучистыми синими глазами, белокурыми кудрями, звонким жизнерадостным смехом, она привлекала многих своей личностью, и незаметно некоторые поддавали под влияние ее мировоззрения, тем более, что идеи, которые она воплощала, просачивались тогда с воли. Что ценнее — пассивное созерцание жизни, приятие жизни или активное участие в ней и борьба, непротивление злу или путь революции, рационализм явлений или иррационализм и т. д. — такие мысли на некоторый период завладевали некоторыми из нас для того, чтобы, переварившись, потом быть отброшенными.

Вообще, хочется сказать, что вся эта переоценка ценностей, такая типичная для тюремной жизни, не была упадочничеством, а являлась болезнью роста. Она не убила в мальцевитянках революционности и общественности, а помогла очень углубленной проработке целого ряда вопросов.

Может быть потому, что мы так близко знали и чувствовали процессы, происходившие друг в друге, у нас создавалось острое ощущение близости друг друга, ощущение близости, которое на воле ослабляется и рассеивается расстоянием, занятостью и тысячью всяких мелочей.

И хотя многим из нас казалось, что мы надоели друг другу и хорошо бы вырваться из коллектива, на самом деле наш коллектив был чрезвычайно тесно спаян.

Такое особое ощущение близости друг друга и спайки коллектива создавало целый ряд странных явлений, абсолютно невозможных на воле. Так, например, практиковалось коллективное чтение вслух писем, получаемых с воли, писем, имеющих не только общий интерес но и писем личных, интимных. Такое было впечатление, что у нас всех общие знакомые, друзья, близкие и родные. Мы с интересом следили за жизнью на воле этих общих друзей и родных и кровно были заинтересованы в судьбе каждого из них.

Очень характерными в смысле близости каждого из нас со всем коллективом были письма одной из наших с поселения. Уехавшая была в Мальцевской с одними более близка, с другими — менее, но, выйдя на поселение и переживая чрезвычайно интересный и острый период внутреннего разлада, она писала письма, обращенные ко всем мальцевитянкам. В этих искренних письмах она выворачивала наизнанку такие свои сокровенные переживания, о которых человек не всегда признается самому себе.

И долго еще по выходе из Мальцевской тюрьмы у всех нас было ощущение, что самые близкие люди на свете — это мальцевитянки. И только уже гораздо позже это ощущение цельного, очень близкого коллектива, распалось.

Самообслуживание

В Мальцевской тюрьме оставалось много свободного времени для занятий и для личного общения между собой, потому что на физическую работу у нас уходило сравнительно немного времени и энергии. Мы занимались только самообслуживанием, и, кроме дежурств, на нашей обязанности была топка печей, мойка полов, побелка камер и стирка белья. Все три камеры отапливались со стороны коридора двумя большими кафельными печами, мало достигавшими цели и плохо согревавшими камеры. Обычная порция в 6–7 поленьев приносилась нам уголовными, а печи растапливались дежурными. В 4 камере, наиболее холодной, была еще железная печурка, для которой мы сами кололи дрова.

Воду нам привозили в бочке из соседней речки на двух бычках, буром и сером. Из большой бочки вода разносилась по камерам, где хранилась в кадках. Вначале это делали уголовные, и гораздо позже эта работа перешла к нам.

Полы мыли по очереди один раз в неделю в камерах и в коридоре. Мыли вдвоем, причем, обычно, бывали твердо установившиеся пары. Вспоминается, как Ира Каховская привезла из Новинской московской тюрьмы новый способ мойки полов, очень упростивший и облегчивший нам эту работу. При мытье обычно пол заливался большим количеством воды и стоило большого труда потом собрать эту воду. Некоторым, особенно неопытным, давалось это с большим трудом. Способ Иры заключался в том, что на мокрый пол расстилалась очень большая тряпка, которая впитывала в себя воду, и потом выжималась. Таким путем пол очень быстро осушался.

Вспоминается большая фигура Иры, большими широкими жемами моющая пол по своей системе, причем выходило у нее это как-то очень сильно и ловко.

Вообще, Ира больше других выполняла физическую работу. Это потому, что она не только никогда не отказывалась ни от какой работы, но старалась и работу других также взять на себя. Она носила воду в околосок, выносила ряжки и, не щадя себя, нагружала себя всякой черной работой. Это, однако, не мешало ей много заниматься самой и обучать других.

Белили за время существования Мальцевской тюрьмы всего один раз, но эта побелка дорого досталась многим из нас. Щеток для побелки было очень мало, а так как рвение было очень большое и всем хотелось белить, хотя бы и без щеток, то многие белили тряпками, прямо окуная последние в известь. Чтобы выходило белее, старались возможно чаще макать тряпку. Кончилось тем, что после побелки у большинства руки до того были разъедены, что не только пришлось освободить их от физической работы, но и еще ухаживать за ними, — одевать, раздевать и чуть ли не кормить с ложечки.

Самым большим трудом была для нас стирка, назначавшаяся приблизительно раз в месяц. Так как мы носили свое белье, то обыкновенно его накапливалось очень много. Для тюрьмы это было целое событие. Больные, которых было немало, исключались из этой процедуры, и все белье стиралось сообща здоровыми. Стирали подвое в ванночках, которые брали у уголовных. За эти ванночки шла настоящая борьба, старались встать возможно раньше, чтоб успеть получить ванночку, или с вечера сговаривались с уголовными.

С утра топилась баня, где происходила стирка, но это не мешало, чтобы через большие щели зимой проникал в баню ветер и мороз и чтобы местами на полу были куски льда.

При стирке происходила специализация: были полотеницы, простыницы, наволочницы и т. л, Новеньким, обычно, попадались чулки, которые они стирали в тазу, не будучи еще искушены в добыче ванночки. У новеньких, конечно, всегда было желание возможно скорее перейти от чулок на высшую квалификацию.

Была еще одна специальность — это кипячение белья. Почему-то больше других вспоминается Дина Пигит, казавшаяся сказочной личностью, со своим орлиным носом, в ореоле густых кос, закрученных вокруг головы, стоящая над котлом в облаках пара и большой палкой переворачивающая белье.

В этот день, в день стирки, старались снять с себя все, что только возможно, чтобы возможно больше выстирать, и потому представляли собой очень живописную картину. Полураздетые, тесно сгрудившиеся, окутанные клубами пара, старающиеся развить возможно большую производительность труда и вместе с тем необычайно оживленные, мы

чувствовали себя героинями дня.

Товарищи, которые не стирали, старались убажить нас в этот день. Специально выписывалось для этого дня или, если не было денег, оставлялось от посылок добавочное питание.

Стирка обычно продолжалась целый день. Высохшее белье большинством из нас каталось, и только самые старательные гладили белье.

В позднейшее время общие стирки были у нас отменены, и стирали каждый для себя, или небольшими группами, обслуживая при этом и больных. Постепенно наше белье таяло, исчезало, терялось, но мы это принимали безболезненно, так как стирка зимой была очень тяжелым трудом.

В середине 1908 г. к нашим работам прибавилась еще одна — переплет книг. К этому времени многие из наших книг, превратившиеся от интенсивной читки буквально в тряпки, требовали ремонта или переплета. Нами был выписан переплетный станок, цветная бумага и карт. он, и двое-трое, знавших переплетное дело, очень скоро обучили ему некоторых из нас. Сначала многие кинулись на эту работу, но наиболее настойчивыми оказались Надя Терентьева и Лида Орестова, которые и закончили переплет всей библиотеки.

В конце 1909 г. и в начале 1910 года некоторые из нас увлеклись сапожным делом. Одна из уголовных, занимавшаяся этим, стала обучать нас, и вскоре мы стали подшивать валенки кожей.

Уголовные и их дети

Рядом с нами в трех общих камерах, выходящих в соседний с нами коридор, жили уголовные. Они составляли совсем особый мир, и жизнь их была построена совершенно иначе, чем у нас.

Благодаря переполненности тюрьмы, в их камерах была большая скученность, доходившая до 35–40 человек в камере. Кроватей у них не было и спали они на нарах. В то время, как мы занимались только самообслуживанием, они целый день выполняли тюремные уроки, вязали варежки и шили рубахи на мужские тюрьмы, сучили пряжу на казну, выполняли работы за оградой тюрьмы, стряпали на всю тюрьму и т. д.

Главная масса уголовных женщин попадалась за убийство своих мужей и незаконнорожденных детей. Живет себе крестьянка в деревне, терпит побои и несправность существования, несет тяготы жизни и вдруг в один прекрасный день, сама не зная, как это происходит, убивает топором своего мужа. Или родит девушка ребенка и боясь вернуться с ним в дом, боясь общественного презрения, разделяется с ребенком.

Уголовные профессионалы, воры и убийцы, обыкновенно кичились своей профессией, держали себя обособленно, рассказывали всякие небылицы о своих похождениях и были заправилами среди массы уголовных. Но такие профессионалы насчитывались единицами. Главную же массу составляли простые крестьянские женщины, тянувшие в течение долгих годов лямку и осужденные на каторгу за то, что им невтерпеж стало продолжать такую жизнь. Но еще задолго до Мальцевской некоторые из этих женщин меняли свой облик. Дело в том, что каждой из них приходилось пройти очень большой искус в виде этапа, который коренным образом менял у многих из них психику.

По отношению к политическим женщинам создалась определенная традиция как со стороны уголовных, так и конвоя, и никаких попыток или поползновений по отношению к нам не практиковалось. Уголовные же женщины, которых по сравнению с мужчинами всегда было во много раз меньше, подвергались натиску с двух сторон — со стороны уголовных, шедших на каторгу, и конвойной команды, провожавшей этап. Мужчины уголовные считали своим неотъемлемым правом во время этапа, ведшего их на долгие годы тюремной жизни, сблизиться с уголовными женщинами. Сопротивление женщины считалось у них отсутствием товарищества, нарушением тюремной этики.

Конвоиры же чувствовали свою власть над женщиной и путем целого ряда

притеснений и давления принуждали их к сожительству. Так, сопротивлявшуюся — лишали во время долгого пешего пути подвод, что для женщин было крайне тяжело, так как переходы от одной этапки к другой равнялись 40–45 верстам и этап шел обыкновенно очень быстро. Был целый ряд мелочей, которыми конвойные осаждали уголовную женщину, и она, теснимая со всех сторон, сдавалась.

Таким образом женщина-крестьянка, жившая всю свою жизнь со своим мужем, попадала в тяжелую обстановку этапа, где ею пользовались и конвойные и уголовные. Причем, обычно на этап в десятки человек бывало всего несколько женщин и многие из этих женщин после этапа выходили совсем с другой психикой, чем жили всю свою прежнюю жизнь. Трудно было многим из них потом остановиться и, будучи на каторге, многие из них шли по пути, начатому во время этапа.

Самым ужасным примером эти женщины становились для детей, которых было много в уголовной женской каторге. Эти дети рождались как грибы, и матери, зачастую, не знали кто их отцы. Приезжавший на каторгу начальник главного тюремного управления никак не мог понять, каким образом у уголовных каторжанок, долго сидящих на каторге, имеется такая уйма маленьких детей.

Эти несчастные дети рано узнавали изнанку жизни. Не раз и не два мы заставляли девочек и мальчиков за нашим главным корпусом, подражающих тому, что они видели и чему научились у взрослых. Восемилетний Яша, живя с отцом и матерью в вольной команде, должен был часами стоять на стреме у дверей хаты, чтобы предупредить мать, принимавшую гостей, о приближении отца. Девятилетняя Васеночка, с голубыми ясными глазами, изменилась до неузнаваемости через 1,5–2 года жизни в вольной команде с матерью, сводившей ее с солдатами. Сколько таких детей были втянуты в омут и изнанку тюремной жизни — сказать трудно, во всяком случае их было немало.

С уголовными женщинами у нас были довольно хорошие отношения. В самом начале мы даже не были обособлены от них и часть времени проводили с ними вместе. В течение короткого периода времени нам были даже официально разрешены занятия с уголовными. На коридор был вынесен большой стол, за которым собиралось очень много уголовных. Но эти занятия длились недолго, так как вскоре они были запрещены. Приходилось заниматься с уголовными уже урывками, тайком от администрации и не с группами, а с одиночками. Постепенно, по мере того, как дверь, отделяющая наш коридор от уголовных, стала запирается и наши прогулки большей частью стали устанавливаться в разное время, у нас стало меньше поводов для встреч и общения с уголовными.

В смысле материальном мы не имели возможности оказывать им большую помощь. Когда наши финансовые возможности улучшались, мы иногда делали для них выписку. Особенно это практиковалось в период, когда начальник нашей тюрьмы Павловский делал нашу выписку не в Нерчинском заводе у Коренева, а каким-то контрабандным путем у китайцев, доставляя нам продукты, и особенно сахар, по очень дешевой цене.

Чаще всего мы обслуживали уголовных в смысле пи сания всякого рода заявлений и прошений. Сейчас трудно установить куда и по какому поводу писались эти прошения, но их было бесчисленное количество. Писала их большей частью Маруся Беневская. К ней, главным образом, обращались уголовные с просьбой писать их, и Маруся никогда не отказывала им в этом. Писала она эти прошения ровным, размашистым и красивым почерком, несмотря на свою инвалидность.

С детьми уголовных возилась, главным образом, Саня Измаилович. Зачастую Саня выписывала для них с воли одежду, мыла и вычесывала им головы, занималась с ними гимнастикой, играла с ними в разные игры и обучала их. Вспоминается Саня с бритой головой, в каком-то голубом ситцевом халате или яркой желтой юбке, стоящая посреди двора, окруженная ребятами. Саня часто наказывала ребят за нарушение всевозможных правил. А правил было немало и главное из них — это запрет ходить по грядкам посаженных цветов. Дети старались выполнить Санины правила, но иногда среди них попадались очень непокорные и Сане было много возни с ними.

Однажды приехал к нам со своей матерью татарчонок — горец Мухтарка, мальчик лет 6–7. Смуглый, с жгучими черными глазами, подвижной, гибкий он сразу почему-то почувствовал себя в клетке и затосковал по воле. Глаза у него были печальные, он ходил по двору, часто простаивал около ворот, очевидно надеясь, что его выпустят за ворота. Отчаявшись в этом, он решил идти наперекор установленным для детей правилам. Каждое утро, встав раньше других, он выбегал на двор, безжалостно пробегал по оберегаемым Саней грядкам, оставляя на грядках следы своих маленьких быстрых ножек. Истопав грядки, показав свою независимость, переступив порог запретного, он успокаивался и печальный бродил по двору.

Даже странно было видеть такого маленького мальчика, тоскующего по независимости. Сколько ни читали ему нотаций, ни уговаривали его, он все-таки каждый раз старался проявить свою волю и сделать наперекор всем правилам.

Иногда этим детям, так мало видевшим радости, мы устраивали праздники. Так, однажды был устроен костюмированный детский бал. Костюмы были сделаны из тонкой цветной бумаги. Здесь было проявлено много вкуса, даже искусства, особенно со стороны Нади Терентьевой, Иры Каховской и Дины Пигит. Ира сделала для Макарки, чудесного мечтательного мальчика лет 4–5, костюм мухоморчика. Из бумаги были сделаны штанишки, блуза и шапочка, на которые были наклеены очень изящно нарисованные мухоморы. Надей Терентьевой был сделан костюм боярышни с кокошником для девочки лет 7–8.

Что нас иногда особенно сближало с уголовными и давало общее настроение — это тюремные песни и пляски. Бывали такие дни, главным образом летом, когда перед ужином уголовные, сидя на крылечке, запоют заунывные тюремные песни. Мы, сгрудившись, слушаем их, и в это время и мы и они чувствуем себя ближе, сближают общие мысли и острая тоска по воле.

И вдруг заунывная песня прерывается буйным мотивом излюбленного на каторге куплета: «две копейки, три копейки-пяточок», или «Володимир, Володимир удалой — через каторгу на задоргу домой», либо «Бриченька-молодешенька».

Сначала эти куплеты поются медленно, потом все быстрее и быстрее, так что слова летят, сливаются и обгоняют друг друга. При первых же звуках несколько женщин пускаются в пляс, танцуют русского, тоже сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Танцуют некоторые из них артистически, с темпераментом, горячо. Особенно хорошо танцевала одна цыганка и Дубровина, главная стряпуха по кухне, осужденная по крупному воровскому делу. Веселье бывало буйное, дикое. Обычно танцы и песни прерывались ужином, после которого быстро наступала поверка, и камеры запирались. В такие летние вечера особенно тесно казалось в запертых камерах, не хотелось заниматься, тянуло на волю, за стены тюрьмы.

Обычно в такие вечера мы приставали к Насте Биценко, прося ее петь. Бывало, все сгрудимся у решеток окон, чтобы лучше было слышно Настю из всех камер, а Настя, стоя у окна, поет. Были у нас особенно любимые песни, это «Поле, поле чистое», «Отчего скажи, жать уж мне не хочется колосистой ржи?»... или из «Садко» «Есть на чистом море»...

Почему-то летом всегда тяжелее сидеть, всегда больше мыслей о воле, планов о побегах. И в такие вечера пение еще углубляло эту тоску.

Попытка к побегу из Мальцевки

Мысли о побеге у многих бродили в Мальцевской, но, большей частью, это были платонические мысли. Для того, чтобы бежать из Мальцевки, нужна была организованная помощь и длительная подготовка с воли, так как выбраться из тюрьмы и добраться до железной дороги без посторонней помощи было почти невозможно.

Такой организованный побег готовился в течение продолжительного времени

приезжавшим специально для этой цели Аркадием Сперанским,²¹⁶ жившим в Нерчинском заводе по нелегальному паспорту в одной семье в качестве учителя.

Бежать должна была Маруся Спиридонова. К этому же побегу была притянута надзирательница Софья Павловна Добровольская, на имя которой должны были получаться деньги и все необходимое. Предполагалось, что дочка Софьи Павловны, Нина, будет мыться в тюремной бане, а Маруся, накинув ее шубку — выйдет вместо нее. На волее должны были ждать Аркадий Сперанский с экипажем. Свою дочку Софья Павловна надеялась потом вывести незаметно из тюрьмы. Побег Маруси можно было скрыть в течение нескольких дней, так как Маруся часто хворала и во время ее болезни надзиратели ее не тревожили и не входили к ней в камеру. Но дело это не выгорело, так как в Зерентуе весной 1910 г. была вскрыта посылка, в которой пересылались деньги, револьвер и яд. Софья Павловна была тотчас же уволена. До сих пор не совсем ясна картина — какую роль в этом провале играла сама Софья Павловна.

Из всех нерчинок удалось бежать с каторги только одной бессрочнице — Марусе Школьник из Иркутской тюрьмы, куда она была перевезена на излечение весной 1911 г. Остальные бессрочные и долгосрочные досидели до амнистии 1917 г. Краткосрочные же, отбыв каторгу, недолго засиживались на поселении и, в большинстве случаев, бежали.

Режим

В смысле режима, установленного для каторжан, мы имели целый ряд поблажек и незаконных вольностей. Установилось это само собой, без особой договоренности.

Держали мы себя с начальством гордо и независимо, но никакой тюремной борьбы не вели, поскольку наше начальство не давало для этого поводов. Так, к нам ни разу не была применена унижительная команда «встать», никто никогда не обращался к нам на «ты», ни разу не были применены репрессии, карцера, нас не заставляли петь молитвы и т. д.

Новенькие, приезжавшие из России, где обычно в тюрьмах шла суровая борьба с администрацией, недоумевали, попав в мирную тихую обстановку, без всякой борьбы. Многим вначале казалось, что они попали в золоченую клетку, где убивают мысль о борьбе.

Однако, в соседней с нами Зерентуйской мужской каторжной тюрьме был также ряд вольностей, но когда до тюрьмы докатилась волна зажима и Высоцкий захотел сломить тюрьму и показать свою власть над политическими, зерентуйцы дали суровый отпор и пошли на все, вплоть до лишения себя жизни. Ясно, что, если бы к нам была применена тактика Высоцкого, мы пошли бы по той же дороге борьбы, как и наши зерентуйские товарищи. Но этого не случилось и сейчас очень трудно отыскать причины, почему нас в тюрьме более или менее щадило начальство.

Однако, допуская мелкие вольности, наше начальство все-таки было всегда настороже, начеку. Так, однажды, в связи с провалом нескольких серьезных писем, у нас, по распоряжению из Зерентуя, был очень тщательный обыск, рылись под карнизом пола, в уборной и т. д.

В смысле вольностей, в течение длительного периода мы имели многое. Как упоминалось уже, в течение дня у нас камеры в коридор не запирались, в самих камерах был далеко не казенный вид, и кровати покрывались своими одеялами. Наши бессрочницы не носили кандалов, как им полагалось, и кандалы валялись где-то, ожидая экстренного случая. Из казенной одежды нам полагались коты на ноги, суровые холщевые рубахи, серые суконные юбки, бушлаты и халаты из серого солдатского сукна. Мы пользовались, большей

²¹⁶ Аркадий Сперанский, эмигрант, специально приехал из Швейцарии для организации побега Спиридоновой по поручению ЦК ПСР; деньги на организацию побега достали В. Н. Фигнер, в прошлом член исполнительного комитета «Народной воли», проведенная в заключении и ссылке более 20 лет, и С. Г. Кропоткина. Однако из этой затеи ничего не вышло, а сам Сперанский в результате угодил на поселение на 5 лет.

частью, только бушлатами и халатами, в которых мы выходили в холодные дни на прогулку. Белье, обувь и платье мы носили, большей частью, свое, и многие из нас ходили, обычно, в цветных платьях.

Но как только с Зерентуйской горы показывалась тройка лошадей с начальником каторги Забелло или с другим каким-нибудь приезжим начальством, в тюрьме поднималась тревога. Шло спешное переодевание, цветные вещи относились в цейхгауз, собственные одеяла покрывались сверху казенными одеялами солдатского типа, и надзирательница спешно бежала закрывать наши камеры. Мы так привыкли прятать все незаконные «вольности», что не проходило и пяти минут, как все окрашивалось в серый казенный цвет и тюрьма принимала завинченный вид.

Связь с внешним миром

Несмотря на вольности в тюрьме и занятия, которыми, главным образом, заполнялось наше время, наша жизнь была чрезвычайно бедна впечатлениями. Ближайшими нашими соседями были администрация (начальник тюрьмы, надзиратели, надзирательницы) и уголовные.

С администрацией мы имели мало соприкосновений, да и не хотели этого. Все дела от лица тюрьмы вел наш политический староста, которым большей частью была Настя Биценко. Все недоразумения и переговоры с начальством шли исключительно через старосту. С некоторыми надзирательницами у нас установилось большее знакомство благодаря тому, что мы с ними чаще сталкивались и в каждодневной жизни видели в них больше обывательниц, чем тюремщиц. Наиболее тесные отношения у нас установились с Александрой Михайловной Зеленской, которая иногда оказывала нам кое-какие услуги.

Кроме администрации и уголовных, в районе Мальцевской возле тюрьмы находилась конвойная команда, которая несла наружный караул, и небольшая деревушка, в которой жило до 100 крестьян. Но ни с крестьянами, ни с солдатами мы не имели никакой возможности сталкиваться.

Таким образом, с внешним миром мы совершенно не сталкивались и жили в узком тесном кругу, благодаря чему каждое маленькое происшествие и событие приобретало для нас большее значение, чем оно имело в действительности. Посмотреть в глазок больших деревянных ворот, что было строго воспрещено, выйти за эти ворота в будку возле самой тюрьмы за посылкой, получить сюрприз от своих товарищей к какому-нибудь юбилейному дню — все это являлось почти событием в нашей жизни.

Жить кому-либо постороннему в районе Мальцевской запрещалось. Разрешение на свидание приходилось брать через генерал-губернатора и получить его было трудно. К тому же отсутствие железной дороги на протяжении 300 верст делало приезды чрезвычайно затруднительными.

За все время существования Мальцевской в течение нескольких месяцев в деревушке возле тюрьмы жил по особому разрешению Моисеенко, муж Маруси Беневской, раз или два приезжал отец Зины Бронштейн, постоянно живший в Чите, да некоторый период в Нерчинском заводе жила мать Иры Каховской, ездившая к Ире на свидание.

Сношения же с внешним миром мы имели почти исключительно через письма, проходившие, конечно, цензуру начальника тюрьмы.

Получка и писание писем было для нас целым большим делом. Получали мы письма не в определенные сроки, а по приходе почты, и каждый раз письма вносили большое оживление в нашу жизнь. Писать письма полагалось два раза в месяц.

Большинство мальцевитянок писало много, с воодушевлением. Редким исключением было несколько человек, которые не любили писать и завидовали тем, кто делал это умело и с удовольствием. Особенно отличалась в этом отношении Ривочка Фиалка. Вспоминается, как она сидит, вперив взор в грифельную доску, на которой она обычно писала начерно. На доске начертаны два слова «дорогой папочка», и поставлена запятая. Двадцать раз стирались

и снова писались эти слова, и в то время, как у других были уже исписаны страницы, у нее дальше «дорогого папочки» дело не шло.

Довольно деятельная переписка шла у некоторых из нас с нашими ближайшими соседями Зерентуйской каторжной тюрьмы. Эта переписка вносила оживление в тюрьму, так как зачастую из Зерентуя получалась информация о воле, которую мы не могли иметь. Переписка шла, конечно, нелегальными путями. Письма передавались через уголовных женщин, выходивших за ограду тюрьмы и имевших свидание с уголовными мужчинами в Зерентуе, и через зерентуйского тюремного доктора Рогалева — ближайшего друга политических.

Рогалев, приезжая в Мальцевку, обычно заходил в околодок, где оставлял свою шубу. Когда, уходя, он надевал шубу, она уже бывала полна записок и писем. На всякий случай, для большей конспирации, он перекладывал записочки в шапку, надевая последнюю, и так выходил из тюрьмы.

Однажды, забыв, что у него в шапке письма, он, зайдя к начальнику тюрьмы Павловскому, снял шапку. Каково было удивление Павловского, когда ему бросилось в глаза содержимое шапки. Только дружеские отношения Рогалева с Павловским спасли положение дел.

Большим впечатлением вошли в нашу жизнь несколько спектаклей, устроенных своими силами. К спектаклям готовились долго и скрывали их от большинства, чтобы преподнести их в виде сюрпризов. Играли отрывок из «Снега» Пшибышевского, «Смерть Озе» из «Пер Гюнта», «Женитьбу» Гоголя и др. Бронку из «Снега» играла Маруся Спиридонова, Пер Гюнта — Саня Измаилович, мать Озе — Маня Горелова.

В тюрьме эти спектакли показались нам верхом искусства, несмотря на то, что многие из нас выросли в больших городах и видели первоклассных артистов. Кроме нас, на этих спектаклях присутствовали уголовные и старший надзиратель — Иван Евгеньевич.

Многие из них никогда в жизни не были в театре, и вспоминается, как Иван Евгеньевич, пожилой толстый казак, сидел зачарованный и никак не мог оторваться и уйти по своим служебным делам, несмотря на то, что начальник тюрьмы несколько раз вызывал его.

Лето в Мальцевской

Летом жизнь в Мальцевской разнообразилась, и в нашу жизнь врвался целый ряд впечатлений, связанных с ощущением природы. Суровая и длинная зима кончалась, в мае температура поднималась до 30 градусов и выше, горы очищались от снега, и глаз, уставший за долгую зиму от однообразного белого снежного покрова, отдыхал на яркой зелени, которой покрывались горы вокруг тюрьмы.

Мальцевская тюрьма стоит в низине и со всех сторон окружена горами-сопками, которые в этом районе тянутся непрерывной волнистой цепью. Если встать на возвышенное место и оглянуться кругом, то всюду, насколько хватает глаз, вы видите горы, подтянувшиеся одна к другой и сплотившиеся вместе. Форма этой гряды гор, разметавшихся в прихотливо-разнообразных группах, поражает своим сходством с морскими волнами, внезапно застывшими.

Прямо перед тюрьмой высокая сопка с большими каменными глыбами, покрытыми ярким зеленым мохом и густо поросшим кустарником, особенно манила нас к себе. За ней начиналась дорога, ведущая из тюрьмы на волю. Мрачная черная гора с правой стороны с крестом посередине носила у нас название «Вечный покой» (по Левитану) и навевала другие настроения, чем жизнерадостная гора, ведущая к воле.

Горы кругом покрывались цветами, чрезвычайно разнообразными и яркими по своим краскам, о которых мы в центральной и даже южной России не имели понятия. Яркие кроваво-красные саранки на высоких стеблях, дикие орхидеи всевозможных цветов, называемые в тех местах «кукушкины слезки», длинные болотные ирисы, розовые

заросли смолистого богульника, красные пионы под названием «Марьины корни», и целый ряд других цветов — ромашка, мак, подснежники — всякими путями проникали к нам в тюрьму, и наши камеры благодаря им теряли тот убогий вид, какой они имели зимой.

Но нам казалось этого мало и хотелось иметь цветы, посаженные нами самими. Инициатором этих посадок всегда была Саня Измаилович. Она вовлекала в это дело довольно большое количество лиц, и однажды было назначено даже соревнование на лучшую клумбу во дворе. Здесь было проявлено много творчества, всем хотелось выдумать что-нибудь очень красивое. Саней было припасено множество различной рассады и нами были посажены златооки, незабудки, душистый горошек, табак, резеда и много всяких других цветов. Все эти грядки были посажены перед околodком и вдоль наружной стены тюрьмы, где мы гуляли. Одна Аустра Тиавайс устроила маленькую узкую грядку возле кухни, грядку, на которую никто, не обратил внимания так как по форме она ничем особенным не отличалась и заслонялась корпусом кухни. Но когда на этой грядке выросли нежные белые левкой и необычайно выделились своей белизной и чистотой на фоне кухонного фасада, мы безоговорочно признали Аустрину грядку самой лучшей.

Необычайно комично проходили всегда Санины заботы об удобрении. Навоза у нас не было, так как лошади к нам во двор, не въезжали, а бычки, привозившие воду, приезжали раз в день не на долгий срок и не давали нужного количества навоза. Приходилось искать человеческого навоза. И Саня, чтобы не пропустить нужный материал, следила за каждым из нас, упрашивала и умоляла нежелающих постараться и необычайно радовалась, когда натыкалась на клиента.

Летом вся наша жизнь несколько менялась и в смысле занятий. Мы больше гуляли и меньше занимались углубленными серьезными предметами. Хотелось больше полениться, погреться на солнышке, полежать с книжкой в цветнике. Посмотреть при закате солнца на сибирские красивые краски, которые там действительно изумительные, благодаря чистому, ясному воздуху.

Но лето в Забайкалье очень короткое. Зной в 30–40 градусов сменяется осенними ветрами, почти ураганами, которые так типичны для Забайкалья. Горы желтеют от гряды осенних листьев осины, в изобилии растущей на горах.

Очень рано начинались заморозки, а потом и снег, и жизнь снова менялась на зимний лад.

Встречи и проводы

Из всех впечатлений, разнообразивших нашу жизнь, самыми значительными были для нас приезды новеньких. Каждую среду, часа в 4–5, приезжала партия, которую мы ждали с нетерпением. Летом, поджидая пар: тию, мы усаживались на крылечке кухни, откуда видна была Зерентуйская дорога. Новенькие рассказывали нам о других тюрьмах, приносили нам вести о наших товарищах, которых они встречали по этапу, в тюрьмах и в дороге, делились кое-какими вестями с воли, просачивавшимися в российские тюрьмы. Главное же, чего мы ждали — это, что новенькие внесут новую струю в нашу жизнь.

Таким же большим событием для нас были и проводы наших товарищей, уходивших на волю. Первой ушла на поселение Фрида Новик, а вскоре вслед за ней Стефа Роткопф.

Почему-то особенно остался в памяти отъезд на поселение Ривочки Фиалки в самом начале мая 1909 г. Одна из первых катаржанок, привезенная в Акатуй в числе первой шестерки, она уходила на волю 21 г. Перед ней впереди была целая жизнь. Помнится раннее утро, какие-то совсем розовые горы от восходящего солнца. Мы все прилипли к воротам, которые вот откроются и за которые уйдет Рива, с которой мы все так сжились. Рива уходила взволнованная, радостная и вместе с тем печальная. Очень тяжело уходить из тюрьмы и оставлять товарищей, которым предстоит сидеть долгие, долгие годы.

Но недолго Рива пользовалась баргузинской «волей». Как оказалось потом, к ней неправильно была применена 23 статья досрочного освобождения, сокращавшая ей срок на

7–8 месяцев. Она прожила в Баргузине всего 12 дней и в начале июня, согласно телеграфному разъяснению Сената, была в числе других политкаторжан отправлена обратно на каторгу досиживать свой срок. Снова 1,5 месячный этапный путь, снова пеший путь 13 дней — и Ривочка опять в Мальцевской тюрьме.

Нам казалось, что Рива вернулась с настоящей воли, потому что тот запас впечатлений, который она нам привезла, был неисчерпаем. Часами рассказывала она о встретившихся людях, о баргузинской жизни, баргузинской природе, о новых книгах, о новых настроениях на воле. Только после долгого сидения в тюрьме может быть такая восприимчивость к жизни, такое отношение к обычной жизни, как к чему-то необычайному, очень сложному и крайне интересному.

Среди нас было очень много краткосрочных, т. е. отбывавших четырехлетний срок каторги, к тому же целой группе лиц по «богодульству», т. е. по инвалидности, был сокращен срок сидения. Благодаря этому, в 1909 и 1910 годах проводы из Мальцевской сделались более частыми. Богодулками были признаны Маруся Беневская, у которой не было одной кисти руки и двух пальцев на другой, М. В. Окушко, у которой при попытке побега из Литовского замка был поврежден копчик, и Лидия Павловна Езерская, жившая почти без обоих легких.

Особенно много волнений вызвал в Мальцевке уход в вольную команду в сентябре 1909 года сразу 15 каторжанок.

Начальник тюрьмы Павловский. Приезд Сементовского

После ухода наших в команду в камерах стало гораздо свободнее, но в общем жизнь в Мальцевской текла по-прежнему, и только в 1910 г. случился ряд событий, перевернувший все вверх дном. Началось это с приезда инспектора тюремного управления Сементовского. Нагрянул Сементовский неожиданно, так неожиданно, что ни мы, ни наша администрация не заметили его приезда. Таким образом он застал тюрьму врасплох. Начальник тюрьмы Павловский едва успел схватить шашку и стал пристегивать ее уже по дороге, идя с Сементовским осматривать тюрьму. Надзирательница, почти при Сементовском, бегала и закрывала наши камеры. Поверх цветных платьев мы успели накинуть казенные юбки и спрятать все недозволенное под кровати и под матрацы. Но Сементовский не постеснялся приподнять одеяла и просмотреть кровати, которые ему показались подозрительными. Под кроватью были цветы, под матрацами — цветные казенные вещи, под казенными одеялами — свои одеяла и т. д.

Непосредственным следствием визита Сементовского был перевод начальника тюрьмы Павловского, — как виновника патриархальных нравов, в тюрьму в Кадаю. До Павловского в Мальцевской тюрьме было несколько начальников (Фищев, Островский, Покровский), но Павловский был дольше всех, да, пожалуй, в самый характерный период Мальцевской тюрьмы, и о нем стоит сказать несколько слов.

С одной стороны, он очень высоко ценил политических каторжанок и старался создать с ними хорошие отношения, допуская всякого рода вольности, с другой — он изо всех сил тянулся перед высшим начальством, выставляя себя хорошим начальником. Бывали случаи, когда он выдавал в вольную команду нераспечатанными письма, желая показать свою либеральность, за что ему могло здорово влететь. И вместе с тем, очень часто, через старшего надзирателя, он старался отменить им же самим установленные льготы. При объяснении с ним по этому поводу, он начинал лебезить, уверял, что надзиратель напутал, что он рассеет недоразумения и т. д. Косил он на оба глаза, никогда не смотрел прямо на человека и при разговоре с ним всегда чувствовалось, что он хитрит, что думает он одно, а говорит другое.

Казенное имущество и уголовных каторжан он считал своей неотъемлемой собственностью. Уголовных он эксплуатировал для себя, как только мог. Они постоянно были у него на посылках по его личным надобностям, они делали ему мебель и все, что ему

нужно было для его домашнего обихода. Им же был организован казенный мыловаренный завод, в котором варка мыла производилась трудом уголовных. Этот завод должен был приносить определенный доход казне. Но при переезде из Мальцевской тюрьмы за Павловским тянулись бесчисленные возы с мебелью, сделанной для него уголовными, и чуть ли не сорок возов мыла, оказавшиеся его собственностью.

И вместе с тем, хочется его помянуть добром за один поступок. При побеге с поселения в 1912 году Фаня Радзиловская и Рива Аскинази наткнулись на него в поезде по направлению к России. Павловский моментально сообразил в чем дело и, отвернувшись, сделал вид, что не узнает их.

Последний период Мальцевской тюрьмы

Вместе с отъездом Павловского начался период завинчивания тюрьмы. После Павловского за короткий период сменился целый ряд начальников тюрьмы — Эпов, Антипов, Каблуков и Егоров. Из всех них дольше всех оставался Егоров, и политика его была очень определенной. Началось завинчивание тюрьмы. Камеры целый день оставались запертыми, прогулки сократились, общая выписка была отменена, увеличились работы по самообслуживанию, стали сами разносить воду по камерам и т. д.

Перелом, начавшийся после приезда Сементовского, особенно усилился в связи с Зерентуйскими событиями при приемке тюрьмы Высоцким. События в Зерентуе, порка, самоубийство Сазонова и покушение на самоубийство ряда товарищей как-то зловеще нависли над нашей тюрьмой. Прекратились занятия, в камерах была тишина, было несколько собраний по поводу происходившего в Зерентуе, и был момент, когда для некоторых из нас была ясна мысль — нужно быть готовыми к смерти. Смерти никто не боялся, думали и обсуждали вопрос о протесте, но после смерти Сазонова выяснилась бесцельность новых жертв.

Этот период был последним периодом Мальцевской тюрьмы. Начальник главного тюремного управления Хрулев приезжал с целью реорганизации каторги, общего перепланирования и переустройства тюрем. Приезд Сементовского, заставшего развинченную и вольную тюрьму, обострил и ускорил эту реорганизацию.

Вскоре после отъезда Сементовского стали ходить упорные слухи о нашем переводе в Акатуевскую тюрьму. О дне нашего отъезда мы узнали только за неделю. Сборы наши были очень несложными, так как с собой мы взяли только по две смены казенного белья, чехлы для сенников, часть посуды и продукты на дорогу. Главной же нашей заботой была упаковка библиотеки. Нам не хотелось расстаться с книгами и мы старались забрать каждый печатный клочок.

В этап должны были заковать в кандалы бессрочных, но нашему начальству, очевидно, не очень этого хотелось. Помощник начальника каторги Языков специально вел переговоры с нашим старостой, обещая не заковывать в кандалы при условии с нашей стороны не бежать с дороги. Такого обещания мы ему не дали. Несмотря на это, начальник тюрьмы Егоров распорядился не заковывать, представив всех бессрочниц, как больных. Утром 27 апреля 1911 г. мы вместе с вольнокомандками в количестве 28 человек были отправлены в Акатуй.

Мы надеялись, что нас поведут через Горный Зерентуй, но нас повели каким-то другим путем. По дороге нам часто попадались какие-то безвестные заброшенные могилы. Трудно было сказать, кто здесь похоронен, но мы знали, что многие из каторжан погибли в этом краю, так и не увидев свободы, и думали, что эти могилы, о которых никто не заботится, — могилы наших товарищей.

Этап продолжался четыре дня. Во время пути Маруся Спиридонова надеялась бежать, но обещанная помощь с воли так и не подоспела, и на последней остановке — в Александровском заводе, в 17 километрах от Акатуя, Маруся выбросила револьвер, который у нее был на случай побега.

Помнится, как в полутемной этапке Александровского завода, струдившись на нарах,

мы проговорили последнюю ночь, ожидая, что в Акатуе нас могут разъединить. Мы все знали, что легкая жизнь в Мальцевке — позади и что впереди нас ждет суровый режим Акатуя.

С этого периода Мальцевская женская каторжная тюрьма была ликвидирована и была преобразована в мужскую богодульскую (инвалидную) тюрьму.

После революции 1917 г. Мальцевская каторжная тюрьма, как и все здания бывших Нерчинских каторжных тюрем, была передана в распоряжение волисполкома для культурно-просветительных и хозяйственных целей, что явилось лучшим памятником тем товарищам, которые погибли в Нерчинских каторжных тюрьмах.

А. Биценко **В Мальцевской женской каторжной тюрьме 1907–1910 гг** **(К характеристике настроений.)**

В статье т. Плескова (№ 6 «Каторга и ссылка»), в связи с появлением романа Ропшина (Савинкова) «Конь бледный» на нашем тюремном горизонте,²¹⁷ вскользь упоминается об обитательницах Мальцевской каторжной тюрьмы, ближайших соседках Горного Зерентуя²¹⁸).

Мальцевитянки, к сожалению, упорно молчат. Надо же, наконец, нам подать свой голос, пока еще не все ушло из памяти, не все вытеснилось, заслонило более свежим, ярким, захватывающим недавним прошлым и настоящим.

Как одна из мальцевитянок-акутаевок, я хочу нарушить молчание и попробую немного приподнять один из самых, по моей оценке, тяжелых, нескладных и корявых пластов нашей жизни. Это относится к «настроениям» 1907–1910 годов, того времени, когда мы, без различия партийности, отражали ярко, сгущенно, почти целиком повторяли «волю». Но какую?

«Волю» со всеми ее упадочными настроениями, со всякими «переоценками», расцветшими после поражения революции 1905 года, «волю» в отвернувшуюся от революционно-общественной деятельности и искавшую «утешения» и смысла жизни во всем, в чем угодно: в боге, в искусстве, в личных отношениях, в порнографии и проч.

Надо заметить, что наша жизнь не была отмечена теми трагическими событиями, какими была переполнена мужская каторга. На нас не только не распространялись репрессии, душившие и калечившие мужскую каторгу, доходившие до предела издевательств над человеком. Мы еще и подвиги каторжного режима не видали в эту пору (до 1911 года, когда нас перевели в Акатуй «на исправление»).

Не считать же таким режимом комедию с переодеванием в казенное платье (раз, два с наручниками и кандалами для бессрочных), с запиранием камер и прочим маскарадом на время «проезда начальства». Помимо необходимой физической работы — возни вокруг самих себя (уборка, стирка, стряпня, ибо нас не удовлетворял общий котел) — весь свой досуг мы могли тратить по своему усмотрению.

Плывать ли в потолок или учиться, — это определялось собственным настроением да

²¹⁷ Биценко имеет в виду статью социал-демократа (меньшевика) политкаторжанина Владимира Абрамовича Плескова (р. 1882) «Из литературного архива Горного Зерентуя» (Каторга и ссылка. 1923. № 6. С. 167–176.), в которой, в частности, рассказывалось об отношении политкаторжан к повести Б. В. Савинкова (В. Ропшина) «Конь Бледный», в которой террор и террористы изображались явно с непартийных позиций. Литературной «наставницей» Савинкова была З. Н. Гиппиус, и в повести отчетливо заметно влияние «декадентской» литературы. Книга Савинкова вызвала многочисленные протесты в ПСР.

²¹⁸ В Мальцевской женской, каторжной тюрьме в ту пору было до 40 политических каторжанок и, наверное, свыше сотни уголовных.

неизбежными в общежитии техническими неудобствами.

И вот, на таком-то сравнительно «безмятежном» фоне вскоре начинают вырисовываться жуткие признаки зарождающегося разложения революционера, *как борца за социализм*.

Первые из них можно уже найти среди первой же «шестерки» с.-р. каторжанок, привезенных в Акатуй в июле 1906 г.

Учуял эти начатки разложения (еще в то время их точно так не определяя) Григорий Андреевич Гершуни, всегда необычайно ко всем и всему внимательный, обеспокоенный «неспроста» задумчивым видом «усомнившейся», — одной из наших сестер, неглупой, серьезной и, казалось, такой крепкой и такой трезвой...

Не берусь здесь разбираться в основных причинах и ближайших поводах, породивших те или иные червоточины, а также сваливать вину на обстановку, на окружающих, не сумевших парализовать начинающееся разрушение. При желании можно найти больше чем достаточно поводов как в тюрьме, так и на воле. Но для меня, как тогда, так и теперь, остается несомненным только одно: будь у одних просто побольше пороху (столько, чтобы хватило не только на «момент действия», а и на период бездействия), а у других настоящий «ключ», а не какая-то никчемная отмычка к пониманию «сущего» (чего так страстно жаждали все), то как те, так и другие прошли бы невредимыми через все свои терзания и «потрясающие» сомнения, тяжелые «разочарования» в себе и других, через всякие свои и «чужие» безобразия и разные досадные мелочи жизни... Несомненно также для меня, что уже здесь, в нашей на редкость недружной шестерке, было заложено начало «отхода от революции». С переводом «шестерки» в Мальцевскую женскую тюрьму (февр. 1907 г.), с притоком новых каторжанок (с.-р. просто, с.-р. максималисток, анархисток различных группировок и с.-д.) круг «усомнившихся» расширяется, и процесс разложения углубляется. Растет не по годам, а по месяцам, по дням и крепнет дух скептицизма, разочарования, отчуждения, критики и «критиканства», отливаясь в самые различные формы, в зависимости от разнообразия содержания и характеров индивидуальностей.

Недостатка же в разнообразии индивидуальностей у нас не было как среди с. — д., так среди анархисток и особенно среди с.-р., представленных на каторге в большинстве. Помню, как не раз мы умилялись столь великому разнообразию. «Подумайте, какое богатство! Что ни с.-р., то особая индивидуальность! Какая роскошь!». А вместе с этой роскошью получалась и другая: что ни с.-р., то особый «оттенок» в теоретическом обосновании программы, тактики и, в частности, террора, или уж вовсе совсем особое, такое своеобразное мирозерцание с вытекающим из него своим обоснованием деятельности.

Партия с.-р., как известно, славилась свободой мнений, «вообще», и, в частности, «широчайшей свободой философского мировоззрения». Допускалось иметь каждому свою «философию истории», что вызывало немало недоумений и толков со стороны целого ряда членов партии, считавших крайне необходимой связь программы с определенной, для всех обязательной «философией истории» и пытавшихся (в 1903–1905 г.) этого достигнуть подчас «своими средствами» в ожидании «выявления» более ясного, — чем было в программе, мнения руководящих органов.

Эта хваленая широчайшая свобода дала у нас себя знать всюду. Здесь можно было найти не только уклоны в сторону марксизма, в сторону субъективной школы с теми или иными своими толкованиями, но и еще всякую отсебятину — «политическую», «мистическую» — трудноподдающуюся более точному определению.

Иллюстрировать это можно, показав хотя бы несколько «образцов» наших умонастроений из более или менее членораздельно выраженных.

Так, например, были у нас, назовем условно, «идеалисты», ибо в то же время они и реалисты, поскольку не соглашались с материалистами с одной стороны, а с другой — с идеалистами.

Признавая важное значение экономики, они в то же время противопоставляли себя материалистам, — так называемым «фаталистам», переоценивающим автоматизм в истории.

Отрицая причиннозависимость исторических явлений, ограничивались функциональностью. Признавали значение в истории других факторов, например «роль сознания». Признавали необходимость «этического обоснования социализма», и в то же время учета реальных движущих сил революции: «не шли с проповедью социализма ко всем подряд, а только к трудящимся».

Считали достаточным для действия ограничиваться: «относительностью законов истории» (нет «вечных»), «относительностью правды, истины, справедливости, ставя знак равенства между освобождением трудящихся и освобождением человечества», и пр. В арсенале этой группы, кроме Лаврова, Михайловского и Маркса, были Риль, Гефдинг, Мах, Авенариус, Риккерт и другие представители субъективной школы, марксизма, критической философии и других различных течений новейшей философии.²¹⁹

Часть с.-р. и максималисток и, кажется, немалая, как сами говорили, «шла просто по непосредственному чувству», толкаемая условиями жизни, вдохновляемая героизмом борцов-террористов, как в прошлом, так и в настоящем. Партию с.-р. считали самой «боевой» и «революционной», достойной наследницей «Народной Воли».

Впрочем, среди максималисток была одна самая обоснованная, прошедшая в то время школу марксизма (сначала была с.-д.), оставшаяся в то время при «материалистическом понимании истории»; она обосновала свой максимализм среди многих источников, которыми умела прекрасно пользоваться, между прочим, ссылаясь и на «перманентную революцию» т. Троцкого.²²⁰

В этих пределах, уже достаточно расплывчатых, было еще немало различных оттенков и своеобразного толкования тех или иных вопросов теории и практики: то переоценка роли личности, тогда как другие уже избегают слова «личность», а заменяют его «сознанием», и различное толкование тех или иных мест Лаврова и Михайловского, то переоценка этического момента в объяснении исторического процесса с чрезвычайным умалением значения экономики («социализм — категория морального порядка», и переоценка значения террора, роли крестьянства и степени его восприимчивости к проповеди социализма и прочие отклонения, неуловимые мною для определения, или не оставившие в памяти следа).

Но как бы ни велики были в этих группах отклонения в ту или другую сторону, во всяком случае *общее* здесь было то, что все были *социалистами прежде всего*, что нельзя сказать о других эсеровских разновидностях, довольно-таки своеобразных и уже в достаточной степени источенных критикой, сомнениями, отрицавших и эсеровские, и марксистские, и «вообще» всякие «авторитеты»...

Но пределом своеобразия среди них, бесспорно, была с.-р. террористка, прибывшая на каторгу с крестом, с библией и со своим «собственным» мирозерцанием. Тоже из отрицателей, но только со своими специфическими особенностями: на место авторитетов наших — ставила своих святых и выдвигала свои непреложные принципы, но уже такие, каким даже в просторной эсеровской программе не должно бы найтись места.

Никаких новых откровений, принципов, «авторитетов» тут, конечно, не было, как и новых источников мудрости, прочнее, чем наши, укрепляющих революционную деятельность. По выявленному ею так или иначе — словесно, в действиях, в жизни, — я по крайней мере усвоила лишь немного:

- 1) критику ограниченного человеческого разума и опыта,
- 2) утверждение «авторитета» всепроницающего, чуть ли не божественного чутья, расширяющего область нашего познания.

²¹⁹ Автор перечисляет, наряду с идейными столпами народничества П. Л. Лавровым и Н. К. Михайловским популярных в начале века в среде интеллигенции философов неокантианцев Ф. Гефдинга и Г. Риккерта, А. Рила (критический реализм), основоположников эмпириокритицизма Р. Авенариуса и Э. Маха.

²²⁰ Троцкий Лев Давидович (1879–1940) — один из лидеров русской социал-демократии, в то время, о котором говорится в очерке Биценко, был «центристом», не сходясь ни с большевиками, ни с меньшевиками.

В конце же концов все это сводилось к утверждению «авторитета», «бога» со всеми евангельскими истинами, в толковании ли Толстого, или Владимира Соловьева,²²¹ или своим собственным — это безразлично в данном случае.

А уже обоснование террора этой интересной христианкой, с крестом и бомбой, было столь неожиданным (в устах, конечно, с.-р., да еще террористки), что было от чего рот разинуть нашему брату, несмотря на всю эсеровскую «широту». Согласованное, очевидно, как-то с общим мировоззрением, с любовью, как христианским средством спасения мира, оно выражалось, примерно, так: «надо отдавать самое дорогое за други своя — душу свою. Я и отдаю самое дорогое: фактом убийства человека поступаю своим нравственным чувством».²²²

Таковыми представляются мне в общих штрихах основные виды эсеровских умонастроений в Мальцевской, попавшие так или иначе в поле моего зрения и, разумеется, не исчерпывающие всех, быть может, еще не безынтесных сторон, уклонов, особенностей...

Совершенно естественно, что в такой чрезвычайно пестрой среде, не скованной к тому же стальной идейной спайкой, даже внутри партий и групп, без осознанной исторической перспективы, с ослабевшей «без режима» революционной дисциплиной (не надо было быть постоянно «начеку») и с изрядным запасцем камушков за пазухой против своего же дела, — при всех этих условиях могли быстро пустить корни всякие сомнения и разрастись в настоящую «переоценку всех ценностей», модную уже в то время на воле. Так и вышло.

Разрослись во всю: и вширь, и вглубь, и дошли до точки...

Подвергли проверке, пересмотру не только программы — максимум, минимум, средства борьбы, поставленные в связь с общим мировоззрением.

Нет. Этим не ограничивались.

Начав перетряхивать самые элементарные, общие для всех социалистов положения, решенные, казалось, уже самим фактом вступления в ряды борцов за интересы определенного класса, поставили под сомнение основные цели борьбы и докатились «до порога всех жизненных загадок»...

В записной книжке одной из наших каторжанок, как раз признававшей необходимость обязательной увязки программы с общим мирозерцанием, можно видеть, куда направляется мысль тех, у кого «рушится все, построенное на вере».

«Янв. 1909. О философии и программе»

Для меня здесь существует прямая связь. Что такое программа? Идеал или цель? Последнее может быть или выводом, или предпосылкой известного мировоззрения. Если он (по-видимому, идеал) не принимается непосредственно, как предпосылка, связь между программой и философией становится теснее, ибо тогда я имею уже дело с выводом неопровержимым, на основании логических доказательств. В данный момент, когда все, построенное на вере, на непосредственном чутье, рушится, очень понятно, что люди идут обратным путем и стараются вывести из всего мировоззрения то или иное положение.

Мне кажется, что такая независимость программы от философии может существовать только в младенческом возрасте партии или в период непосредственной борьбы. А в моменты бездействия, критической проверки, а, может быть, и колебания прежних убеждений, естественно, берешься за проверку той связи, какая существует между программой и, следовательно, теорией прогресса с общим мировоззрением. А если последнее тебе говорит, что нет прогресса, что цельность и гармоническое развитие

²²¹ Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) — рус релжгвь озный философ, поэт, публицист.

²²² Вероятно, Биценко говорит о М. А. Бенеvскрй.

личности может быть и совсем не нужно, тогда едва ли останешься при прежних предпосылках и выводах...

Дело именно в том, что в период сомнений лишаешься *основной предпосылки: оправдания своей жизни*, а путем умственной работы найти его не так-то легко. Для этого нужна *переоценка всех ценностей*, и не ограничишься здесь одной теорией прогресса, за каждым «почему», возникает новое «почему».

И дальше, намеченная 20 января 1909 г. выписка, показывающая, что уже началось «заглядыванье» «по ту сторону жизни», «добра и зла»...

«Уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтоб продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено. Для каждого лица, неверующего ни в бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в свою противоположность прежнему, религиозному, и эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении».

Заглянули, наконец, в «жуткую пустоту и бездну»... Начали искать все заново.

Смысл жизни и ее оправдание, — в чем истина, где правда? Где истинный критерий добра и зла, справедливости и нравственности? В чем прогресс, нужен ли социализм? «Какие истинные пути к спасению мира» и т. д.

Определение всех этих понятий с точки зрения того класса, интересы которого они взялись защищать с оружием в руках, — их не удовлетворяет.

Им подай «абсолютное».

Как сейчас помню, особенно отчетливо, отчаянные поиски «прогресса» целой группы с.-р. и анархистов. В чем же прогресс? где он виден?

«Ведь не становятся люди нисколько, ни в чем лучше, нравственнее»... (с какой точки зрения — неизвестно) кричит, заламывая руки, наглотавшись Достоевского, близкая к припадку одна из многих сбившихся с дороги, замученных исканиями новых путей и «начала» всех начал.

«В чем оправдание нашей борьбы да еще с оружием в руках?» «И какой смысл?»

«Может быть гораздо больше можно сделать другим путем, может быть просто влиянием своей личности» (т. е. хорошостью своей заражать окружающих)?

«Почему надо идти обязательно таким узким путем — классовой борьбы». «Кто сказал, кто доказал, что социализм нужен». «Какое право мы имеем бороться?»

Кто сказал, что надо непременно бороться за интересы трудящихся только? и т. д., и т. п. без конца...

Вот это «кто сказал» «кто доказал» (особенно одно время) звучало непрерывно, висело над каждым шагом, цеплялось к каждому большому и пустяковому поводу, как самый «липучий», заразительный припев, действующий на окружающих «омерячивающе».²²³ Это «кто сказал» несло, главным образом, со стороны полных отрицателей и полуотрицателей с их сторонниками или подражателями. Они же бесконечно много разбирались и в других мотивах революционной и повседневной деятельности с целью определить: «от ума» или «от сердца» «непосредственно» тот или иной действует. При этом чистота и «ценность» определялась за действием «по чутью», по непосредственному побуждению.

«От ума», «по чувству долга» или непосредственно ты бросаешься в бой, борешься за социализм, а также... вот сейчас выносишь «ряжку» с помоями?

— По желанию, или по необходимости, или из чувства ложного стыда, или чтоб казаться лучше, чем ты есть на самом деле, «казаться добродетельным», ты помогаешь в чем-нибудь другим — учишь ли малограмотного, стираешь ли за больного, — и еще, все в таком роде неустанное искание самых, что ни на есть, непосредственных, стало быть,

²²³ Термин, употребляемый Н. К. Михайловским и означающий подавление сознания. Редакция.

чистых, искренних «без фальши» побуждений к тому или иному действию.

И это по каждому пустому поводу, не подлежащему спору не только в товарищеской среде, но обычно просто разрешаемого в порядке самого плохонького соседского обихода.

Как одна из иллюстраций к подобным изысканиям, доходившим до самого утонченного исступленного резонерства, убивающего волю к действию:

«Почему я непременно должна дать чистую рубашку пришедшей с этапа? Кто это сказал? А если я не хочу?» «Что лучше (т. е. честнее, чище) — дать, когда не хочется, или не дать».

Это как будто мелочь, праздная болтовня, которую следует пропускать мимо ушей, но в том то и дело, что в подобной долбящей болтовне, изо дня в день повторяющейся, формулировалось настроение среды, с одной стороны, мало того, что допускавшей такого рода резонерства, своим пассивным отношением показывающей общую расхлябанность, но еще и одобрявшей. Недаром же подобные «смелые» высказывания считались самыми искренними, правдивыми, «должными подражанию»: «Многие про себя, может быть, еще и не такие вопросы задают, а только помалкивают по тем или иным соображениям»... В связи с разбором «мотивов действия» выплывает старинный спор, казалось, тоже в социалистическо-революционной среде неуместный, решенный — это «что вперед должно быть изменено — среда или человек»? Констатируется на каждом шагу «несовершенство» взявшихся за меч, зовущих на борьбу за переустройство мира, и возникает вопрос о «праве» на эту борьбу, о праве учить других, когда сам оказываешься еще недостижимым совершенства, не социалист в жизни, не любишь людей и пр. И как бы в дополнение к последнему появляется в 1908 г. «Любовь к дальнему и ближнему».

— «Позволительно ли» бороться за социализм, ограничиваясь лишь любовью к дальнему, т. е. своей идее?..

— Способен ли ты сочетать любовь к дальнему и ближнему? А к какому ближнему? неизвестно. Обеспокоенные любовью не только к дальнему, но и к ближнему, так и не выяснили, кого же, собственно, считать ближним: всех ли людей подряд или только товарищей по партии, по борьбе, и тех, за чьи интересы идет борьба. Поскольку помнится мне, привезшие в Мальцевскую «любовь к дальнему и ближнему», тоже искавшие абсолютное, находили, кажется, одного счастливого обладателя этой «гармонии» — Григория Андреевича Гершуни, умевшего сочетать любовь к дальнему и ближнему (как им казалось)...

Всего клубка вопросов, изводящих мальцевитянок, я не развертываю, да и не все мне известны. Так безнадежно путались и мучились искавшие «абсолютное» в мире, разделенном различными интересами, пытаясь определить понятие истины, права, справедливости, совершенства, красоты и прочего, либо «самостоятельно» дойти своим (якобы) умом «без книжек», без «авторитетов», либо опираясь на свою непоколебимую веру, идя какими-то своими, «новыми» путями, упорно, сознательно отворачиваясь от того выхода, какой указывали не только основоположники марксизма, но и народничества, чем немало мешали тем, кто просто еще не дошел до этой двери, а не то, что сознательно не хотели ее видеть.

Конечно, для «индивидуалистов» и для всех, стремящихся расшириться (не разрешив элементарных основных задач, стоящих перед социалистами) и унести «в беспредельные высоты духа», была неприемлема, как слишком «узкая», «примитивная» та формула, которую принимали некоторые из эссерок тоже с наклоном к «умствованию», но все же оставшиеся на прежних устоях.

Замени интересы личности интересами трудящихся масс — вот тебе пока будет «абсолютное», подведи сюда всю историю и философию, и хватит на целый век еще борьбы за него...

Проявлялось «нарушение душевного равновесия» у каждого по-своему и не проходило бесследно для окружающих, одни — тихие, замкнутые, изживающие в себе свои самые тяжкие сомнения, делясь только с единицами, не оказывали разлагающего влияния на

окружающих.

Другие, более экспансивные, шумные, не умеющие молча носить в себе муку, втягивали в круг своих сомнений окружающих из колеблющихся или им симпатизирующих. Среди шумных, были и совсем буйные. Эти с каким-то задорным «шиком» и надрывами, совсем на манер «Записок из подполья» Достоевского критиковали, оплевывали все, что под руку попадется: и принципы и авторитеты.

Всем попадало: живым и мертвым, «далеким» и «близким», «большим», «малым» и «средним».

Эта самая «дерзкая» форма проявления смятенного духа больше всего заражала и без того уже «тронутое», весьма экспансивное большинство и вызывала попытки к подражанию, порой, жалкому, смешному (вроде выделения из коммуны)... Но не проходило бесследно такое «беснование» и для меньшинства, не поддававшегося разъедающим сомнениям «по всей линии», — не дошедшего еще «до точки».

Да. Задевало и этих. Но с какой стороны? Заставляло прятать поглубже свое самое дорогое, выдержавшее жестокую проверку, от брызг пены беснующихся.

Этим я не хочу сказать, что оставшиеся верными своим «заветным лозунгам» сами были в белоснежных одеждах.

Нет. Ничего подобного!

Чистотой принципов никто не блистал у нас, и ни в каком отношении.

Все, и по всей линии, в той или иной степени проштрафились — не выдержали экзамена: и по отношению к своим принципам и к товарищам, к революционной этике, в отношении к тюремной тактике, к начальству, хотя никаких «правонарушений» — как подачи о помиловании или выдачи товарищей, какие-нибудь «шуры-муры» с начальством, — мы не совершали и слыли весьма «строгими насчет манер».

Если б я позволила себе исповедываться, так могла бы напомнить те моменты и «из домашнего обихода» и из «тюремной тактики», когда думалось и иной раз высказывалось: «стыдно будет на воле глаза поднять», а между тем как будто никаких особых грехов и не было... Но не в этом сейчас дело. Я хотела только сказать, что *ни для кого*, не только для слабых, но и для более крепких, не могло пройти бесследно в нашей, поневоле омерячивающей среде, это невыносимое иной раз, продолжительным градом сыплющееся, изуверское какое-то хлестанье и себя и других по всем местам. Это была как будто самая яростная, слепая месть «за утерянное»...

Взять хоть бы «гоненье» на осмелившихся взяться за меч, не выдавших себе предварительно паспорта на совершенство, не расписавшихся в любви и уважении к людям.

Или этот вечный анализ мотивов к действию?

Кажется, нелепость требований подобных критиков, если их кто-нибудь стал бы последовательно проводить в жизнь, ясна...

И революция не станет дожидаться, пока революционеры разберутся, «от ума» или «от сердца» они принимают в ней участие, или пока признают себя безгрешными.

И в общежитии человеческом можно было бы «завшиветь», одичать и физически и духовно, если быть последовательными, с точки зрения этих «принципиальных» отрицателей всяких принципов, и сидеть сложа руки в ожидании, когда, наконец, снизойдет на тебя благодать. Ясно, но между тем не сразу, и устоявшие «забронировались» от этих «беспринципных» обличителей, оказавшихся не в пример строже «ходячих принципов».

Да и сама «броня» недешево обошлась укрывшимся за ней: она была приобретена за счет сознательного понижения активности, энергии, работоспособности и влияния на окружающих.

Как темы исканий, так и источники, к каким припадали жаждущие (кто с надеждой найти «точку опоры», а кто без всякой надежды на какое бы то ни было утешение) были те же, как и на воле — от Достоевского, Мережковского, Шестова, Владимира Соловьева и

прочих модных философов, художников, беллетристов-пророков до Санина,²²⁴ мертвой зыби и порнографии разных сортов, вызывавшей немало толков насчет сомнительной «широты», сводившей всего человека к половой клеточке и прельщавшей многих бесстрашным вскрытием человеческих слабостей, человеческой «преисподней».

И все это было естественно. Так должно было быть, раз сомнения и искания вылились за пределы согласования программы с философским мировоззрением, «раз за каждым почему возникают новые почему».

Но, конечно, нельзя сказать, что «ищущие» ограничивались чтением только указанной литературы.

Нет. Часть из поколебавшихся пробовала, как будто, даже всерьез учиться, от арифметики и до философии.

Но как они подходили к книге? В книге они видели «фигу».

— Ваше счастье, — говорили они тем, кто еще не разуверился во всем на свете, — что вы ожидаете найти в книге нечто положительное — во всех этих ваших историях, социологиях, первобытных культурах и прочих премудростях... А мы знаем заранее, что мы там увидим... только фигу. Или:

— Мы читаем лишь бы читать, лишь бы убить время «как-нибудь» да «и на воле, авось пригодится»...

И сидели временами очень усердно за учебой, как будто у них была более определенная цель, а не «авось»...

В таком роде высказывались как те, кто не принимался вовсе за систематические знания, так и те, кто, как будто, добросовестно засел за учебу.

Не обходилось тут, иной раз, и без снисходительной иронии по отношению к тем, кто в науке искал подкрепления своим взглядам. «Чудаки»...

«Пусть, мол, читают, пока тупы, или наивны, или не способны „ни понять, ни принять“ всех тонких и сложных переживаний поколебавшихся, или во всем разочаровавшихся»...

Не знаю, на какие положительные размышления и выводы наводили поднимавшихся «на высоты духа» Мережковский, Санин, «мертвая зыбь», разные «морские болезни» и разные «проблемы пола»...

Может быть там вырабатывались какие-нибудь необычайные теории отношений между людьми и полами. Может и находили «идеал» в личных отношениях...

Но вовне проявлялось лишь отрицательное влияние всяких изысканий, укреплявшее все больше сомнения «в прогрессе человечества» и в необходимости борьбы за него, углублять и без того чрезвычайно болезненный скептицизм.

Припоминается, как особенно уродливо-болезненно реагировали некоторые из нас на «Тьму» Андреева, упавшую на сильно изрытую уже всякими терзаниями почву.²²⁵

Едва ли не самое острое из них было признание своей негодности перед лицом «масс» — в лице солдат, матросов, осужденных за восстания, и перед массой уголовных. Негодность эта проявилась в нашем неумении подойти к ним, или, как тогда принято у нас было говорить, «слиться с массами».

Обнаружилось это в 1906 году тоже в среде «шестерки».

Уже тогда мы (грешны в этом особенно я и Школьник) много вели праздных и

²²⁴ Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866–1941) — писатель и религиозный философ; Шестов Лев Исаакович (1866–1938) — рус. философ-иррационалист; Санин — герой одноименного романа М. Арцыбашева, бестселлера начала века; в то время книга считалась едва ли не порнографической.

²²⁵ В рассказе Л. Андреева «Тьма» (1908) изображалась, используя терминологию того времени, «изнанка революции». Рассказ вызвал резко негативную реакцию в революционном лагере, особенно среди социал-демократов. В критической статье А. В. Луначарского, опубликованной в сборнике «Литературный распад» (1908), Андреев был назван, к примеру, эмиссаром смерти, гробокопателем, провозвестником господства тьмы.

непроданных, порой, разговоров на эту тему, хотя всерьез и искренне себя изводили.

Мы убедились, за короткое наше пребывание в Акатуевской мужской тюрьме — от июля 1906 до февраля 1907 — что куда легче было пропагандировать, агитировать в кружках, на массовках и быть в прекрасных товарищеских отношениях с рабочими, солдатами и, даже больше, — куда легче идти на смерть, чем здесь, не на баррикадах, а в «повседневной жизни быть хорошими товарищами»...

Оказалось, мало быть учителем, пропагандистом, хорошим товарищем, охотно делящимся своими знаниями. Надо было сверх всего этого еще чем-то обладать.

Надо иметь еще какие-то данные, быть способным принять каждого товарища со всем его содержанием, таким, как он есть в будничной обстановке, со всеми его запросами, большими и маленькими.

Мы не сумели быть «всегда готовыми», к великому огорчению Григория Андреевича Гершуни, которому (по-моему) вполне это удавалось, без всякой натяжки, без святости, по-здоровому, без всяких интеллигентских вывертов.

Зато «массы» ему и открывали самое лучшее свое: он сам им в этом помогал, он умел в каждом из рядовых членов нашего общежития откопать самое драгоценное из-под всякого мусора, у всех в избытке накопленного...

Потом как будто заглохло наше беспокойство.

В Мальцевской помнится мне, в разговорах с одной из с.-д., мы констатировали уже более спокойно, с грустью, что и по этой линии (как она выражалась) «экзамен вы не выдержали», как и по другим.

Вдруг «Тьма» снова громко разбудила задремавшую боль.

И вызвала совсем нездоровую реакцию со стороны некоторых из «совсем уже готовых», источенных, кажется, всеми червями сомнений, какие только есть в природе.

Последние, совершенно безоговорочно, нашли в герое «Тьмы» пример, достойный подражания.

«Вот это действительное настоящее слияние с массами».

«Так именно и надо делать».

«Целиком раствориться» и т. д.

Другие возражали, указывая на то, что такой способ слияния есть безграничное приспособление, ведущее к полному отказу не только от тех своих склонностей, которые, допустим, можно или надо побороть, но и от того твоего «самого дорогого» и «главного», за что ты готов и дальше бороться и смерть принять. Надо ли отказаться от «привилегий», отличающих «уголовных» от «политика» (обращение на «вы» и прочее), привилегий, купленных страданиями и борьбой наших предшественников на каторге.

Каждый остался при своем.

Не помню, почему уже не приведено было в исполнение желание некоторых просить начальника перевести в камеру к уголовным для слияния с ними...

Это, впрочем, не одна из наших неосуществленных больных и здоровых реакций.

Много у нас их таяло.

Да, много таяло. Но все же не все растаяло, как из положительного — здорового, так и из отрицательного. Кое-что осталось.

Положительному, проявленному во всей красе в период 1911–1917 г., надо посвятить особое место, как самому светлому (с моей точки зрения) периоду, богатому всеми, возможными при той обстановке, достижениями.

Это была на редкость простая, чистая, правдивая жизнь, несмотря на то, что ангельским характером никто похвалиться не мог у нас.

И если мы не провели во всей чистоте принцип и в работе и в распределении материальных благ: «от каждого по силам и способностям и каждому по потребностям» и, если мы не могли с радостью браться за всякий физический труд и нарушалось у нас правильное сочетание физического и умственного труда, то этому причиной были не мы... Все же мы были каторжные, лишённые прав, не целиком сами распоряжались своими силами

и временем.

Это было уже не Мальцевская... Мы уже обязаны были, в какой бы деликатной форме нам это ни преподносилось, обязаны были, помимо работы на себя, отдавать часть своего времени «на казну». Пусть хоть для видимости, — ибо нас никто не учитывал, и мы, например, в своей переплетной мастерской без всякого надзора могли, если хотели, заниматься своими делами, но все же мы были на казенной работе, как бы она ни была обставлена, и свободной Мальцевской уже не пахло...

Но, отодвигая пока светлое, возвращусь к нашему темному, не растаявшему целиком, кое-что слилось в своего рода «заповеди», характеризующие, главным образом, отход большинства от революционно-социалистических позиций. Отпечатались они на общем фоне забвения слов: «партийность», «социализм», «товарищ».

Это забвение (или, как бы, забвение для некоторых) стало у нас вроде «хорошего тона», вошедшего, будто незаметно, в обиход, но на самом деле дорого каждому стоившего.

Если упоминались эти, прежде для многих святые, слова, то — одними в кавычках, с иронией (или еще как), или исторически — когда, мол, мы еще думали, что мы социалисты и товарищи... а другие, те, кому по-прежнему остались дороги эти слова, старались все их не упоминать... Где уж тут освещать каждое явление общественной и личной жизни с «революционно-социалистической точки зрения»... Как это можно... Тут столько широких, с глубочайшими, тончайшими запросами личностей, столько «драгоценных чаш, до краев переполненных прекрасным содержимым», «цветков прекрасных», «благоуханье» «мимоз» всяких... И вдруг к ним подходить с каким-то грубым, узеньким аршинчиком...

И попадало же от этих мимоз тем, кто пробовал, со всеми четырьмя лапами, грубо наводить демократически-социалистические порядки. Правда, иной раз эти «полицейские меры» (по определению «цветков») вызвали протест и отповедь хорошую со стороны сторонников «социалистических порядков», вопреки всяким своим «сквернам», считавших себя еще социалистами...

Но теперь я думаю, что куда лучше было быть «полицейским социалистом», проводить свою линию всеми способами, во что бы то ни стало, а не отходить пассивно в сторону и копить, копить в себе злобу, ненависть, пакостить себя напрасно всем этим добром и убивать активность...

Итак, под знаком забвения или замалчивания самого главного своего, — в результате беспощадной расправы с самим собой, «с принципами», «с авторитетами» — со всеми прежними верованиями сложились такие заповеди неписанные:

«Никаких ссылок на партийные авторитеты и принципы». «Никаких авторитетов вообще» (плевать на всех!). «Не имеешь права говорить о социализме и бороться за него и тем паче других звать за собой (да еще учить!), когда сам не годеи: ни звезд с неба не хватаешь, никакими особенными талантами не блещешь и... не любишь всех людей подряд». «Не суди никого, не карай, на себя погляди»... («а сама какая», «а сам какой»). «Умей прощать, умей найти оправдание каждому поступку и „движению души“» (как бы он ни претил тебе). И многое в таком же духе... Совсем даже не новое и несложное, хотя исходило от личностей как будто не примитивных.

Из всего этого некоторые, пожалуй, особенно пытались усвоить последнее. И правда, по части «подведения идеологии» гоже все, что угодно; для оправдания любого поступка у нас действительно были искусные виртуозы-диалектики: любое отрицательное явление могли перевернуть в положительное. Была б лишь охота. С этими «оправдателями», доходившими до крайности, могли поспорить разве только специалисты с обратной стороны, по части плевков во все стороны.

Но о каком-нибудь твердом объективном критерии, оправдании, конечно, здесь уже не могло быть речи.

Ведь вся жизнь, все отношения строились под знаком «свобода» (якобы), «все от точки зрения» — а какой? Какой хочешь. И в зависимости от индивидуальности: что можно позволить одному (с точки зрения «прощающего»), то нельзя другому.

Как одни из наиболее ярких иллюстраций новоявленной этой нашей способности, применявшейся где надо и где не надо (если судить с точки зрения революционной этики), припоминается мне необычайно мягкое отношение к одному из боевиков, добровольно последовавшему за одной из террористок, предварительно повенчавшись в тюрьме, по православному обряду.

Мы не ограничились оправданием этого «ухода с поста» какими-нибудь конспиративными соображениями или просто человеческими слабостями. Куда там... Нам этого уже мало было. Вдали от общественной жизни, в погоне за идеалами в личных отношениях, взамен утерянной веры в прогресс общества, иные усмотрели здесь нечто необычайное, чуть ли не «абсолютно прекрасное», и захлебнулись от восхищения:

— Подумайте, какая «великая любовь», пересилила любовь к делу.

Да. Верно, что пересилила и потребовала от революционера самой великой жертвы — измены (пусть хоть временной) своему долгу.

И мы вместо того, чтоб назвать этот поступок своим именем, — раскисли... В нашей жизни можно было найти сколько угодно таких случаев, показывающих, что в своей оценке действий своих ли, оставшихся ли на воле мы уже далеко отодвинули критерий классовой морали, стало быть, и «революционной этики», о которой мы так любили шуметь...

Правда, для любящих натур и слишком остро чувствующих «грехи» человека прощение, оправдание было, может быть, одним из способов самосохранения... Как у нас говорили, надо было «уйти во что-нибудь».

Способы такого рода были разные у многих из нас... Но как бы там ни было, во что бы тот или иной не спасался — в любовь ли воспевающую, в книгу, в искусство, в работу, в личные какие-нибудь, на высоту поднимающие отношения, и проч... а в полном смысле уцелевших у нас не осталось: кто оравнодушел безнадежно и «был внутри пуст и мертв» (по собственному выражению), кто больше, кто меньше был пришиблен и выпрямлялся туго, кто не проявлял должной активности... Одним словом, все были с какой-либо трещиной... Даже те, кто смело мог сказать: «Мы знаем все сомнения, знаем, куда уносит созерцание прекрасного в природе, в человеке, знаем все свои „прекрасные“ качества... Знаем и отодвигаем. Остаемся верными своим лозунгам...»

Все равно и эти не совсем уцелели, что и сказывалось не раз, хотя бы в отходе в сторону, вместо активного действия. Пресловутая переоценка никому даром не прошла. Всех вымотала, да хорошенько... Поэтому, когда проявилось на сцене савинковское разлагающее блудословие в виде «Коня Бледного», — у нас не нашлось достаточно мощного голоса, твердой руки, чтобы отшвырнуть со всей силой здорового негодования эту мразь и потребовать от партии ответа «за попустительство».

Правда, некоторые пытались подать голос на волю... Но как?

Оторванные от жизни, преисполненные никчемной скромности, доходящей порой чуть ли не до смирения, мы «не считали себя вправе» учить «волю», хотя и видели, что было за что учить и хорошенько... Уже за одно бездействие Б.О., позволявшей свободно измываться над заключенными, заставляя заключенных прибегать к самому ужасному (по возможной кровавой расправе с заключенными) внутритюремному террору, как заставили Фрумкину в Бутырской тюрьме...²²⁶ Эта подвижница с.-р. не вынесла режима, прогонявшего заключенных сквозь строй надзирателей, сыпавших удары на голые спины... Но, как у нас ни накопело против «воли», все же мы не были так требовательны, как надо.

И наш голос, часто терявшийся, если и доходил до воли, то с ним не считались...

Не скажу, чтобы все так уж распластались перед «Конем Бледным».

Нет. Не все приняли эту лубочную «смердяковщину» — эту дешевую подделку под Достоевского, даже в толковании Б. Сазонова.

²²⁶ Ф. М. Фрумкина покушалась на начальника Бутырской тюрьмы Багрецова и была повешена 1 июля 1907 г.

В Мальцевской, среди с.-р. были совершенно ни с какого боку не приемлющие этого «мастера красного цеха»²²⁷ и разделявшие мнение некоторых зерентуйцев (между ними, кажется был Прошьян²²⁸) о том, что надо исключить Савинкова из партии.

Но... окрик зарвавшегося «руки прочь», очевидно, не был внушительным, остался «пустым басом», как многие протесты заключенных...

Таким образом, и на этом последнем примере на всех нас сказало, в той ли, иной форме и степени, отрицательное, разлагающее влияние рефлексии, рефлексии тяжелой и сложной.

Несомненно, это влияние сказывалось и в те моменты, когда от нас требовалось действие в ответ на расправы в мужских тюрьмах, в ответ на жертвоприношения — протесты, там происходившие.

В связи с трагедиями в мужской каторге много было разговоров у нас, споров о том или ином способе протеста, о том, нужен ли, целесообразен ли протест и т. д. Здесь тоже были принципиальные своеобразные высказывания против протеста, обоснованные самыми высшими соображениями...

Но этому следует посвятить особое место, как и самой лучшей полосе нашей жизни от 1911 до 1917 г. в Акатуевской тюрьме.

Чтобы не бросать напрасной тени на мальцевитянок, в связи с вопросами о протесте, я должна только здесь оговориться: для меня несомненно, что большинству *жизни своей было не жаль*... А все же молчали.

Очевидно, как ни мучились тем, что происходило в мужских тюрьмах, все же, в конце концов, не было достаточно повелительного стимула к выражению протеста смертью своей...

Май 1923. Москва.

Екатерина Никитина²²⁹ Наш побег

В начале февраля 1909 г. в дверную форточку моей одиночки заглянуло острое лицо старшего надзирателя Илюшина:

— Собирайтесь с вещами на этап.

И ради трехлетнего прочного знакомства, понизив голос, милостиво прибавил:

— В женскую тюрьму на Новинском бульваре.

Для меня это было большое разочарование: мечталось о далекой Сибири, куда уже ушло столько товарищей, о длинной дороге, новых людях и местах... А тут снова, через несколько улиц, четыре стены, опостылевшие до тошноты тюремные будни и безнадежность централа. Хоть один фарт — долой из Полицейской башни, тесной, темной и вонючей, долой из Бутырок вообще!..

Быстро собрала котомку, надела парусиновое «этапное» платье, длиннейший серый

²²⁷ Так в ПСР стали называть террористов-«профессионалов».

²²⁸ См. о нем очерк в воспоминаниях М. А. Спиридоновой.

²²⁹ Никитина-Акинфиева Екатерина Дмитриевна (1885-?), так же как упоминаемые в тексте Н. С. Климова и Е. А. Матье принадлежали к эсерам-«максималистам», отпочковавшимся от ПСР; «максималистов» отличала вера в возможность немедленного перехода к социализму и применение террористической тактики как едва ли не универсального средства борьбы. Климова была в числе организаторов одного из самых кровавых террористических актов в истории русской революции — взрыва дачи премьер-министра П. А. Столыпина 12 августа 1906 года в часы приема посетителей. О других участниках побега, принадлежавших к ПСР и РСДРП см. ниже розыскной список Московского охранного отделения.

халат и белую косыпку. Прощание с товарищами через дверные форточки вышло бестолковое и не очень трогательное. Илюшин торопил:

— Конвой ждет. Помощник на сборной. Живо!

Через одиночный двор прошли быстро, но кто-то подстерег и узнал. Женский голос сверху сказал громко и ясно:

— Лиза,²³⁰ добрый путь!

В мрачной, выдавшей всякие виды сводчатой сборной, действительно, дожидался дежурный помощник и трое солдат.

— Имя? Фамилия? Сколько лет? Статья? Приметы?.. Конвой, прими арестантку...

И через 20 минут мы уже месили посреди улицы грязный снег.

Я поглядела на своих рослых стражей и улыбнулась: несколько дней назад Катя Ковалева прислала мне карикатуру: два огромных солдата и между ними — крохотная каторжанка в длинных наручниках. Старший одобрительно усмехнулся:

— Вот какая Вы веселая! А я вас сразу узнал: мы на суде у вас три недели стояли. Веселые господа-товарищи, разговорчивые. Сидоров, возьми у них вещи!

Я удивилась:

— Да ведь вам достаться может? Он опасно оглянулся:

— Небось, далеко, не увидят. А мы еще и на санках прокатимся. Эй, дядя, вали сюда, барышню покатаем!

Мы дружно уселись на розвальни, и извозчик, немного испуганный необычными пассажирами, нахлестал лошаденку. Вот так праздник! Я с восторгом и благодарностью смотрела на солдат, а они покуривали и указывали кучеру дорогу — обходными переулками, подальше от начальственных глаз.

Вдруг старший наклонился ко мне:

— Ну, теперь говорите, как это у вас на суде арестант убежал?

— Нет, этого я рассказать не могу. Убежал и убежал, вот и все.

— Как это все? Нас чуть под суд не отдали. Спасибо, следовательно говорит — доказательств нет. А то бы тоже на каторгу за вас пошли. Разве так можно?

— А как же? Неужели смотреть, когда убежать можно? Так бы вы и сидели, посмотрела бы я!

— Ну, оно, конечно. А все ж таки, как он ушел? Через загородку в суде перелез? Или в окно в коридоре? Мы все время гадали — так и не знаем.

— И не узнаете. А теперь он на воле, за границей, может быть...

Солдаты нахмурились:

— Ишь, какая скрытная, не доверяет. Разве же мы донесем?

Но я уперлась, и путешествие продолжалось в принужденном молчании. Перед Кудринской мы слезли (старший расплатился из моих денег) и пошли пешком. У Новинского бульвара мальчишки закричали:

— Воровку, воровку в тюрьму ведут!

А какая-то старушка, крестясь, протянула мне копейку.

Солдат ее грубо отстранил: — Шагай дальше! Она еще тебе подаст...

В таком измененном состоянии духа довели они меня до Новинской тюрьмы: видно было, что мое недоверие их сильно обидело, да и любопытно было узнать, как именно ушел из суда Петр Тарасов.

А ушел он очень просто: к концу суда (он длился 28 дней, а было нас до 100 человек), когда судьи, и стража, и подсудимые устали, а надзор ослабел, во время перерыва, в тесной комнате для подсудимых Тарасов надел специально принесенный фрак защитника со значком и в толпе адвокатов, в нарочно устроенной сутолоке, вышел в коридор и дальше. Хватились его только поздно вечером, пересчитывая мужчин перед уводом из суда. Но так

²³⁰ Я была арестована и долго сидела под именем Елизаветы Васильевны Артемовой — так все и привыкли.

как даже пиджак Тарасова мы увезли в Бутырки (я его поддела под широкое пальто), а знали о способе побега только немногие участники, то тайна исчезновения так и повисла в воздухе. Гадали судьи, гадали адвокаты, гадала следственная власть и, как оказалось, гадали конвойные...

* * *

Новинская тюрьма после зловещих Бутырок поразила меня своей обыденностью: одноэтажная контора, крошечная приемная, вежливые спокойные надзирательницы. Обыскали, однако, основательно, все отобрали и переделали; свои остались только чулки, белая тонкая косынка, полотенце и посуда: чайник, кружка, ложка... Дали платье безобразно широкое и длинное, из полосатого (синий с серым) тика, как на дешевых матрацах, и огромные из толстой кожи туфли — «колишки». Свое и лишнее казенное забрали в цейхгауз, халат оставили. Заглянула старшая надзирательница:

— Ну, пойдете в камеру...

Пугаясь в шутовской одежде и чувствуя себя уже оглушенной кучей новых впечатлений, я поплелась за ней через двор.

По красивой и широкой чугунной лестнице мы взойшли на второй этаж; здесь старшая постучала ключом в дверь и передала меня молодой, статной надзирательнице.

— В 8-ю каторжную примите. Политическая. И ушла.

Широкий и чистый, с верхним светом, коридор. Наглухо запертые двери камер. У последней (третьей от входа) мы остановились. На двери черная цифра — 8. Надзирательница улыбнулась.

— А вас уже ждут. Матъе сколько раз спрашивала.

Быстро определилось: своя, хорошая, очень молодая. И как ее держат на каторжном отделении? Ну и тюрьма!..

Что в камере знали о моем появлении, я нисколько не удивилась: за приемкой, записью, переодеванием и проч. ушло более получаса, а невидимые тюремные телефоны работают с быстротой и точностью необычайной. Всякий, впервые попавший в тюрьму, где есть старые сидельцы, бывает поражен непонятной для него осведомленностью их обо всем, что совершается необычного в здании, от карцера до конторы. А прибытие новой политической каторжанки, да еще из Бутырок, да еще известной скандалистки с начальством — для такого тихого обиталища, как «Новинка», было событием немаленьким. Поэтому встретила меня камера очень громко: закричали, заскакали, затормошили... Конечно, я принесла не меньше полдюжины записок, даже из мужского корпуса, и много поклонов и тюремных новостей.

Через некоторое время шум улегся, и я могла спокойно посидеть и оглянуться. Камера большая, квадратная, в три высоких окна. По двум стенам идут поднятые к потолку арестантские койки: железные рамы, обтянутые брезентом. Посредине длинный некрашенный стол и две такие же скамьи; кроме того, тяжелые «индивидуальные» скамеечки с ящиками, известные под названием «собачек», — днем они служили сиденьем и шкафом, а ночью на них опирались свободные концы коек.

Вот и вся меблировка. Серо, голо, ни одной лишней вещи, ни цветной тряпки, ни книги: все имущество каторжанки — полняк одежды, мыло, полотенце и две-три книжки, — должно быть или на ней или в «собачке». Правило это в «Новинке» проводилось неукоснительно и имело свое основание: при распушенности, какой отличаются уголовные женщины, камеру, где безвыходно живут, спят, едят 20 человек, легко превратить в ночлежку со всеми ее особенностями.

А для того, чтобы не накапливались посторонние вещи, до которых такие охотницы лишены права собственности арестантки, начальство делало периодические массовые обыски. И нужно было поглядеть, какие неожиданности извлекались тогда из невинных «собачек» и котомок! Таких обысков избежать невозможно, и тюремные конспираторы боятся их больше всего: они неожиданны, очень тщательны и беспощадны.

* * *

Переход из долгого одиночного заключения к жизни в общей камере — очень болезненный и длительный процесс. Первые дни прошли, как в тумане, потом постепенно стала вырисовываться передо мной жизнь камеры и ее обитателей.

Впрочем, многие мне были известны: с Наташей Климовой мы встречались на воле еще в 1905–1906 гг.; Анна Павловна Гервасий и Лиля Матье сидели под следствием у нас в одиночном корпусе; с Ниной Морозовой, Гельмой и Зиной Клапиной я разговаривала, когда мы вместе (но по разным поводам) пребывали в Бутырском карцере несколько месяцев тому назад. Так же знали меня Настя Святова и Фанечка Иткинд.

Казалось бы, все хорошо. Однако, с первых же дней я почувствовала какую-то настороженность: меня рассматривали, изучали, что-то ко мне примеривали... Обостренная тюремной наблюдательностью безошибочно определила: от меня что-то скрывают. Это было очень обидно, но понятно: я бы сама так повела себя с малоизвестным человеком. Тюремная жизнь полна больших и малых тайн: сношения с волей, с тюрьмами, где сидят мужья и товарищи, с революционными организациями, получение и хранение газет, писем, литературы, разговоры со «своими» надзирателями — мало ли что еще! Заговоры ткуются ежедневно и ежечасно — в них для нас продолжение революционной работы на воле; у них свой кодекс законов, своя этика, своя романтика вечной борьбы с вооруженным до зубов врагом, во имя победы слабого над сильным, во имя товарищества, во имя свободы и революции... На первых порах я очень огорчилась, что мне не поверили сразу, не ввели в самую гущу камерной жизни, что-то затаили и шушукаются по углам.

Пусть себе — я подожду! И я стала знакомится с тюрьмой.

Сделать это, однако, оказалось нелегко: держали нас нестрого, но изолированно и совсем не выпускали из каторжного коридора, кроме как на прогулку, да за обедом дежурных два человека.

Арестанток различной категории в Новинской тюрьме содержали более 400 человек: около 200 «срочных», т. е. отбывавших тюрьму на малые (до 4-х лет) сроки; до 100 человек следственных; одна камера «винополок» и около 60 человек каторжанок.

Политические находились только в последней категории — 17 человек, все в одной камере. Каторжное отделение занимало небольшой изолированный коридор во втором этаже, кончавшийся тупиком; постовые надзирательницы боялись даже оставаться на ночное дежурство в нашем отделении, — они говорили: «Тоже как арестованные, и не услышит никто ежели что»... Мне предложили занять среднюю койку в левом ряду, но я скоро обменялась с кем-то на крайнюю к двери: хотя ночью в ее ногах стояла неизбежная парашка, но за то это было единственное место, которое нельзя было видеть из дверного волчка. Впоследствии, поняв мое открытие, многие добивались сменки, но я крепко держалась за патент своего изобретения и на зависть всем по ночам жгла свечку, а днем милостливо пускала в свой угол писать записки и наводить конспирацию.

Состав камеры был пестрый, но очень крепкий: с.-д. — 4 чел.; три по делам военной организации и одна за типографию; с.-р. — 9 чел.: две по военной и семеро по боевым организациям; анархисток — 2, беспартийных -2. Кроме того, в камере сидели 2 уголовные женщины и с ними две девочки 3–4 лет — Муся и Марфушка. Впоследствии состав камеры несколько изменился, но основное ядро осталось то же. Возраст от 19 до 43 лет, но преобладали годы 23–25.

По социальному составу превалировала, конечно, средняя интеллигенция; рабочая часть была представлена почему-то исключительно портнихами и швеями — таких оказалось 5 человек; кроме того, одна местечковая еврейка, нелепо и жестоко осужденная военным судом за то, что в ее доме и без ее ведома двое жильцов, оказавшиеся анархистами, устроили целый склад динамита, а при аресте оказали вооруженное сопротивление. Мать ее торговала чем-то на базаре, дочка совсем не говорила по-русски и меньше всего

интересовалась политикой. Попав в тюрьму, однако, она выказала бешеный темперамент и упорство в борьбе со всяким начальством и по всякому поводу, так что скоро имя Ханны Дзюм сделалось популярным на протяжении всего этапного пути от Вильно до Москвы. Но в «Новинке» она уже сломилась: два избияния в этапе, отмороженные в Смоленском карцере ноги, голодовка в Москве — надорвали цветущее здоровье, и у ней быстро развивались признаки истерии.

Вообще, при более внимательном наблюдении камера являла очень печальное зрелище: трое явно туберкулезных, шестеро на грани сильного истощения, две истерички (обе беспартийные) — и все без исключения измучены бесконечными тюремными историями.

В мое время режим в Новинской тюрьме был вполне приемлем; если не считать очень жесткого формализма и очень скудного питания, то для меня, выдавшей «завинченные» Бутырки, не было ничего каторжного в такой жизни. Однако, из-за вопроса вставания перед начальством, камера пережила два месяца упорной борьбы: карцерное положение без книг, без свиданий передач и проч. После 8-дневной голодовки часть свезли в Бутырки — там продолжалась та же история... Победа осталась за ними, — но какой ценой! Да, все мы были накануне инвалидности, знали это, чувствовали каждый день и искали выхода... Сидеть еще годы и наблюдать, как постепенно уходят твои силы и самое желание жить — этот страшный призрак стоял перед каждой. А воля — вот она, и за стеной вечером слышны гудки паровозов, звонкая песня, детский смех... И мы, молодые, здоровые, революционерки, боровшиеся еще недавно с оружием в руках, заперты, как звери в клетки... Кто не знает этих опустошающих часов бессильной злобы и унижения?.. О них не говорят в тюрьме, но разве в общей камере можно что-нибудь скрыть? И всякий понимал, что прячется за угрюмым молчанием, пустыми глазами и шаганием в углу за баней на прогулке.

Конечно, это были припадки, приходившие обычно вместе со зловещими известиями с воли: еще одна открытая провокация, еще один провал, еще одна бесполезная жертва... Однако, вера в революцию крепко жила в каждой из нас, без нее была бы гибель и смерть. В то же время молодой сильный организм вырабатывал защитную завесу против самой тюремной действительности: упорную надежду на что-то неожиданное и необычайное, посланное разорвать серую ткань нашего существования. Судьба политических каторжан зависит от тысячи условий — почему бы им не соединиться так, чтобы вышло долгожданное «нечто»? Этап, Сибирь, побег...

Побег! Это яркое слово всегда трепещет в затхлом воздухе тюрьмы. О нем не говорят много, но думают упорно, до одержимости, до галлюцинаций. Скоро такое состояние должна была пережить наша камера, но когда я пришла, атмосфера была нагрета только до 30° по Цельсию, а жизнь как будто текла обычной ленивой и мутной струей: в 6 ч. утра поверка, потом кипяток, уборка, занятия, пол часа прогулки во дворе (пока уголовные были на прачечной, куда нас не пускали), в 11.30 обед, потом на 2 ч. спускаются койки (в камере тогда полагалась тишина), в 5 ч. кипяток и каша на ужин, в 6 — поверка и тюремный день окончен. Никаких особенных происшествий за последнее время не было: начальство избегало заходить в 8-ю камеру, а старшая надзирательница Александра Капитоновна была женщина умная, тактичная, и ладили мы с ней отлично. К тому же, в виду возможных счастливых комбинаций, решено было от политики, скандалов и протестов воздержаться, о чем меня немедленно предупредили.

* * *

На третьей, приблизительно, неделе после моего прихода Гельма, моя соседка по койке и уже приятельница, предложила мне пойти на прогулку (обычно она не гуляла), где можно без помехи поговорить. И тут с замиранием сердца я узнала, что побег из «Новинки» возможен, что могут уйти несколько человек, что план еще не разработан, но намечен вполне реально, что связь с волей надежная, а там помогает группа товарищей.

Последнее известие меня очень смутило: горьким опытом я знала, что 90 % тюремных

предприятий проваливались из-за болтовни, неряшества или провокации на воле, и я бы предпочла обходиться своими силами. Но я пришла на готовое и не могла перевертывать всю организацию. Однако, высказала свое мнение и решила, что я воспользуюсь вольными услугами в минимальной степени. Кто были эти самоотверженные люди — я не знала и по традиции не спрашивала, но в ближайшее совещание добилась соглашения: плана им не сообщать до последнего срока.

Да и сообщать-то, в сущности, было нечего: шли ощупью, отвергая одну комбинацию за другой, оспаривая, сомневаясь и спотыкаясь на каждом шагу. Тем не менее, очень многое, может быть, даже главное, было-уже сделано: 1) завербованы в безусловное (и при том бескорыстное) обслуживание три молодые надзирательницы; 2) образован «действующий центр» из 5-ти человек, который распределил между собой различные области работы; 3) тщательно изучался план тюрьмы и ее внутренний распорядок; 4) выработан строгий регламент конспирации — я их звала «школой военных маскировок».

Остановлюсь подробнее на этих деталях и дам объяснения по пунктам.

1) Счастливой особенностью Новинской тюрьмы оказался кадр молодых (лет 22–25) надзирательниц, которых тюремное ведомство поставляло из «Школы тюремных надзирательниц». Набирались они из сирот разных благотворительных приютов, обучались в течение года обрывкам всяких наук, а затем распределялись по женским тюрьмам. Наиболее понравившиеся покровительнице школы, вел. княгине Елизавете Федоровне, оставались в Москве. Таким образом получила и Новинка свою долю и — странная вещь! — все это были на редкость милые и совестливые девушки. Одна из них, Вера Петровна (фамилии ее я не помню), оказалась совсем исключительной женщиной: после нескольких недель отрывочных разговоров на дежурстве и всяких мелких услуг она предложила использовать себя для побега, причем изложила свой план, — в главном он оказался именно тем самым, на котором нам пришлось впоследствии остановиться. Она очень торопила, а ни на воле, ни в камере ничего не было готово; кроме того, выявилась возможность убийства надзирательницы или часового, — а через это переступить мы не могли. Уходя из тюрьмы (почему-то ей надо было перевестись), она указала на двух своих товарок, Александру Васильевну Тарасову и Настю Федотову, с которыми мы и завели приятельские отношения, не переходившие пока за пределы тасканья писем и газет.

2) Второй необычайной удачей для предприятия нужно считать состав его «штаба»: Наташа Климова, обладавшая способностью всецело и безоглядно отдаваться какому-нибудь образу своей фантазии, заражала всех уверенностью в удаче; в ней было обаяние, присущее всем красивым и талантливым людям, и перед надзирательницами, знавшими об ее громком деле и смертном приговоре, она являлась в сияющем ореоле героини и мученицы. Приятельница ее, Шура Карташева, жизнерадостное и положительное существо, обрабатывала, уточняла, вводила в систему все наши блуждания в мире счастливых возможностей — это был образцовый секретарь, трезвый ум и мужественное сердце. Вильгельмина (или Гельма) Гельмс одна, может быть, среди всех нас еще не тронула запасов великолепного здоровья и огромной жизненной силы. Про нее все знали без слов: Гельма будет в самом опасном месте, Гельма сделает все, что нужно. Нина Морозова, великий конспиратор и стратег, а также Лиля Матье, вели сношения с волей: к ним, ходили, под видом братьев, таинственные незнакомцы, известные нам под кличками «Взрослый мальчик» (Коридзе) и «Чортик» (Вас. Калашников).²³¹

3) План тюрьмы, а особенно дверей, запоров и дежурств, выявить было очень трудно: не хотелось расспрашивать надзирательниц, чтобы не навести на догадки, а ходить без дела по тюрьме не полагалось. Пришлось «вызываться» разным лицам в разное время в контору и кабинет начальницы (в последнем случае я отправилась разговаривать о заказе якобы

²³¹ Непосредственными организаторами побега были максималисты И. И. Морчадзе (С. Коридзе), братья Василий и Владимир Калашниковы. Участие в подготовке побега принимал также В. В. Маяковский и его семья.

разбитых стекол для пенснэ).

4) Всякий заговор — тайна, лишь до той поры, пока о нем не догадываются. Поэтому надлежало изобрести способ разговора, в котором нельзя было бы заподозрить конспирации. Воспользовались тем, что в камере занимались математикой, физикой, даже химией и астрономией. Учебники нам пропускали без спора, особенно по точным наукам. И, оправдывая славу, которая о нас пошла — «заучилась политика!», — мы перевели весь опасный словарь на научные термины и процессы: побег — *окисление* и *извлечение*; тюрьма — *лейденская банка* или *ромб*; Тарасова — *кальций*; Федотова — *радий*; арестантки — *элементы*; бегущие — *корни квадратные* — или *элементы окисленные*; вооруженное сопротивление — *ПиR*; оружие — *Пи*; надзиратели — *аноды*, тревога — *соединение* или *шок*, связывать — *довести до состояния покоя* и т. д.

Идея этой физико-математической «блатной музыки» принадлежит, кажется, Наташе, но в творчестве приняли участие все посвященные и так увлеклись, что скоро совсем забыли об употреблении обычного русского языка во всем, что касалось запретной области. И я помню картинку: за большим столом сидит группа каторжанок, перед ними раскрытые книги, тетради, карандаши, и они с жаром обсуждают вопросы: «Сколько элементов необходимо, чтобы привести в состояние покоя два отрицательных анода? А если произойдет соединение? С „Пи“ или без „Пи“? Если окажется ПиR, то простые элементы понесут нагрузку окисленных»...

Гремит замок, открывается дверь, входит Капитоновна с обычным утренним осмотром. Послушала, покачала головой:

— Все учитесь? Заучитесь, света божьего не увидите!

— Да мы и так не видим, Александра Капитоновна, одни книжки остались!...

И ученая дискуссия продолжалась...

Так мы отгораживались и от случайных обмолвок и от подозрительных совещаний шопотом.

Затем был уговор: никаких записей или памяток — все в голове; а также воздержаться от всего, что может повлечь обыск, карцер или раскассирование камеры. И мы почти отказались от личной нелегальной переписки, газеты довели до одного экземпляра, с начальством были по возможности корректны. Внешне все было тихо и смирно.

Но перед самой пасхой камера пережила большой страх: начальница тюрьмы, княжна Вадбольская, глупая и вздорная женщина, помешанная на своем княжеском и начальственном величии (мы ее звали «Сияние»), вдруг решила обревизовать уборку в каторжном отделении. Надзирательница растерялась и, открывая дверь в нашу камеру, закричала, как это требовалось по уставу:

— Женщины, встать!

Понятно, что тот, кто стоял, тот сел, а кто сидел, так и остался. В результате — скандал, троих взяли в карцер, ждали обыска и дальнейших историй, но ради «светлого праздника» все обошлось. Продолжение все-таки было и очень комичное. Однажды среди дня открывается дверь, и постовая впускает в камеру наших девочек: впереди с гордым видом Марфушка, а сзади, вся в слезах, Муся. Мы засыпали их вопросами:

— Что такое? Почему? Зачем вас привели из яслей?

Волнуясь и давась подступающими слезами, девочки рассказали:

— Пришла в ясли Сияние, нам сказали: «Дети встаньте!». Все встали, а мы не встали. Нас спросили, почему мы не встали; мы сказали, что мы политические. И Сияние нас прогнала, и мы теперь будем без каши...

И обе героини заревели вполне откровенно.

Действительно, сиятельная дура оставила наших обезьянок на неделю не только без яслей, но и без манной каши, которой их кормил там благотворительный тюремный комитет.

Дети, эти жалкие и трогательные тюремные цветочки, выросли за решетками и не знали ничего, выходящего за пределы тюремного обихода. Им нельзя было рассказывать сказок, потому что они никогда не видели ни коров, ни цветов, ни «деда», ни «бабы», ни

«курицы рябы». Играли они в прачечную, в поверку, в старшую надзирательницу, в политических на свое горе. Они бегали в больничку смотреть на деревянные полы и в кухню на белого кота.

На пасху мы им и всей тюрьме приготовили сюрприз: попросили прислать с воли два отреза голубого и розового батиста, а наши швеи и вышивальщицы сделали им прелестные платица с огромными бантами и вышивкой гладью. С утра мы их причесали, нарядили и пустили гулять — эффект превзошел все наши ожидания: девочек передавали из камеры в камеру, как цветы или картинки, а позже мы видели, как по двору, взявшись за руки и онемев от восторженных впечатлений, ходили Муся с Марфушкой, а за ними толпой шли все наши бабы, и многие из них утирали слезы:

— Вон как политические своих водят! А мои-то где?..

С уголовными у нас отношения были «никакие»: после того, как Нина и Гельма попытались, было, сагитировать прачек на забастовку, политических совсем отгородили: на прачечную не пускали, гуляли они отдельно и даже в баню ходили своей камерой. Присутствие двоих уголовных в нашей камере объясняется, во-первых, теснотой в отделении, а, во-вторых, желанием разжижить очень уж специальный состав камеры. Путем дипломатических переговоров удалось подобрать тихих и честных женщин с ребятами, — детей мы хотели обставить возможно лучше, сытнее и спокойнее. Некоторые из нас, родные которых жили в Москве, получали регулярно передачу; шла она, конечно, на потребу всей камеры, а иногда и за пределы ее, и хотя на 18, а вскоре на 21 человека это было очень немного, все же мы жили несравненно лучше уголовных каторжанок. Сожительницы наши этим обстоятельством не могли не дорожить и ради него шли на многие неприятные для них условия, сопряженные с бытом политических: частые обыски, истории с начальством, отсутствие подходящей компании и разговоров, открытые ночью форточки и проч. К нам они относились, как к образованным чудачкам, явлению непонятному и опасному.

Так же, впрочем, рассуждали в большинстве своем и надзирательницы. Помню я как-то брала из куба кувшин горячей воды — баня у нас была тесная, грязная, раз в две недели, и мы отвоевали себе право мыться остатками кипятка в нашей большой и чистой уборной. Постовая, которая привела меня к кубу, разговаривала со своей товаркой. Старая крыса неодобрительно смотрела, как я выщеживаю казенное добро:

— А ваши политические все моются? Бани им мало! Наша надзирательница вступилась за своих поднадзорных:

— Ну что ж, дело их молодое — скушно им сидеть-то, вот они и моются. Пусть себе, Капитоновна разрешила.

Я уверена, что и всю нашу тюремную борьбу — с карцерами, голодовками, лишениями свиданий и проч., да и партийную работу, которая привела нас на каторгу, — они считали баловством от скуки, в лучшем случае — молодой дурью.

80 % уголовных каторжанок составляли крестьянки — жертвы темного и страшного деревенского уклада. Многие шли за убийство мужа или свекора, реже — за поджог. Я помню нашу коридорную уборщицу — Аннушку, кроткую и работящую женщину лет 50-ти: она имела 15 лет за то, что убила своего пьяного мужа топором, разрубила его на курки и скормила свиньям. Однажды, в подходящий момент я спросила ее:

— Как это вышло у вас, Аннушка?

Она помолчала, подумала, потом вдруг болезненно улыбнулась:

— А я вот о чем жалею, Лизанька: зачем я двадцать-то лет терпела? Тюрьмы боялась, суда и каторги. Да мне тюрьма теперь раем кажется! Ведь я раз только пожила без бою, как он на призыв ходил. Да не взяли проклятого.

И другая приходит на память фигура: чувашка Марийка, молодая, огромная, рыжая и дикая, совсем лесной зверь. Уголовные ее боялись и ненавидели за силу и неукротимость, за то, что она почти не говорила, а как-то по-звериному ворчала, за ясно проступившие признаки запущенного сифилиса. Она воевала со всей камерой, и, чтобы предупредить избиение, а может быть, и убийство, мы взяли ее к себе — болезнь ее уже была

незаразительна. Первые дни с ней было очень трудно, потом она обжилась и даже стала выказывать нежность к Шуре и Наташе, которые возились с ней больше других. Однажды я писала под ее диктовку письмо в деревню; это не было обычное послание поклонов и выклянчивание денег — нет! Марийка писала, что она жива, здорова и скоро выйдет на волю (это при 20-ти годах сроку!), а тогда не забудет, придет сама туда, она им покажет!..

— Так и пиши, много пиши: приду сама, не забуду!

Я написала очень выразительно, прочла ей, и она осталась чрезвычайно довольна.

— Ты умная, ты понимаешь, я тебе расскажу.

И рассказала, как у нее была любовь с парнем, а ее отдавали за кузнеца. Она не шла, бегала в лес, а отец и брат ловили ее, били — «такой веревкой били, как лошадь»! — и запирали в сарай. Под венец повезли связанную, так и венчали...

— А ночью все заснули, пьяные были, а я не пила, не заснула. Кузнеца задушила, отца, брата убила, потом в лес убежала...

Она сверкала зелеными глазами, огромные руки ее шевелились, сильное тело дрожало от волнения.

Потом власти согнали мужиков и три дня ловили ее по лесу облавой. Поймав, били, потом судили и сослали. Бедная Марийка! Бедный рыжий лесной зверь! Где-то она заполучила сифилис (может быть, от кузнеца), а скоро получит и чахотку. Сколько таких Марийк прошло по русским тюрьмам?..

В мае произошли два решающие события: Тарасова из-за отпусков стала «замещающей» дежурной на каторжном отделении и к нам из Бутырок привели Марию Никифорову.²³²

Все искусство наших пропагандисток сосредоточилось теперь на молодой надзирательнице.

Почва оказалась необыкновенно благодарной: Александра Васильевна только что пережила тяжелую личную драму, металась в тисках противной, «стыдной», как она говорила, службы, искала выхода даже в самоубийстве. По-видимому, она была очень одинока, а внимание и ласка, с какой отнеслись к ней политические, целиком взяли ее сердце. Мягкая, очень нервная, восторженная женщина понемногу проникалась своей миссией: сперва посыльной, потом подруги и, наконец, спасительницы заключенных революционерок. Нина, Наташа и Гельма буквально гипнотизировали ее и скоро довели до состояния восторженного мученичества. Была упущена какая-то мера, и теперь весь сложный и хрупкий механизм предприятия держали руки едва владеющего собой, неопытного и ненадежного существа. Лопнет струна, не выдержат натянутые нервы — все хитроумное здание разлетится в прах. Надо было от разговоров переходить к делу и кончать, кончать во что бы то ни стало.

«Штаб» заседал непрерывно. План вырисовывался ясный и простой до смешного, слишком простой, как нам казалось.

До сих пор никто не думал, что могут уйти более 2–3 человек, ну от силы четыре. Ясно, что первые на очереди — бессрочные и долгосрочницы... Но у нас, остальных, горела надежда: когда благополучно выйдут «организованные», по их следам отправимся и мы. Им первое место, помощь на воле, адреса и проч. — мы на это не претендовали. Лишь бы выскочить за ворота! — я, например, была совсем равнодушна к дальнейшей организации и уверена, что на воле меня никто не поймает. В революционной организации и в тюрьме мы привыкли плести путанные нити подпольной интриги, высчитывать, угадывать, обходить всевозможные помехи и ловить удачу за хвост. В самом процессе немой, напряженной борьбы была полнота жизни. И упоение победой — в достижении. Мы смотрели на свой второочередной побег, как на революционный акт.

И вдруг все переменялось... С воли дали знать, что заготовят одежду, адреса и деньги

²³² По некот. данным, впрочем, Никифорова пришла в начале мая или даже в конце апреля.

для любого количества и что помощников хватит. Подробная же разработка плана Веры Петровны показала, что если отвергнуть совершенно возможность применения оружия, но действовать наверняка, меньше, чем восьмью человеками не обойтись. А восемь или двенадцать — разницы не составят. Такое положение вносило переворот не только в состав, но и в технику всего предприятия: из группового, оно делалось массовым, стало быть, надлежало ввести и соответственно обучить «массы». Конспирация раскрывалась все больше.

Вот тут-то и пришла Мария Никифорова.

Появление ее мы приняли как катастрофу... Худое и серое лицо, бегающие карие глаза, коричневые волосы, остриженные в скобку, невысокая коренастая фигура, размашистые судорожные движения, срывающийся неровный голос — такого «политического» типа мы еще не видали! На обычные вопросы — откуда? кого знает? по какому делу? — провралась немедленно. А уж если врет о деле, плохой признак: уголовная повадка, ничему верить нельзя.

Бросили, конечно все конспирации; написали на волю разузнать у адвокатов, защищавших в деле о покушении на пристава в Стародубе Черниговской губ. — что за такая Никифорова? И стали наблюдать.

Надо оговориться, что несмотря на большую настоящую дружбу и уважение, которое связывало по-разному всех обитательниц 8-й камеры, откровенность, а тем паче ласки, были у нас не в ходу: тюрьма приучает к сдержанности, теснота общей камеры не располагает к излишним. Поэтому развязность новенькой, ее готовность к «тыканию» (мы все были на «вы»), попытки обниматься и проч. — были встречены более, чем холодно.

Должна оговориться, что тут были разноречия: большая часть видела только взбалмашную крикливую девчонку, перенявшую от уголовных их жалкий шик, истерическую возбудимость и легкомыслие. Другие — и таких было меньшинство — явно чувствовали что-то уродливое, враждебное здравому смыслу и неприемлемое в угловатой фигуре и особенно в старообразном и вместе мальчишеском бескровном лице. Фаничка Иткинд, я и Анна Павловна объединились в активной ненависти к вновь вошедшей — скоро она стала бегать от меня, как от огня. Остальные относились по-разному: подозрительно, с любопытством, с жалостью. Симпатии не чувствовал и не высказывал никто. Ей дали крайнюю, около Марийки койку и молча приняли в коммуны. Вопрос об ее участии в побеге повис в воздухе: с одной стороны, смертница (по ее собственным рассказам), теперь 20 лет, с другой — вновь пришедший, непонятый, чужой человек; придется ей все рассказать, посвятить в план в подробности, взять с собой на волю, т. е. ввести в организацию. Мы трое стояли за устройство перевода ее в другую камеру (можно было поговорить со старшей), но нас не поддержали: нельзя так относиться к товарищу, основываясь на личных впечатлениях..

А товарищ себя проявлял все лучше: не зная совершенно постовой, сунула ей письмо; отправилась в уголовную камеру, навела оттуда к нам гостей (в праздник), чуть не завалила всех с обыском; девочек наших раздражила до слез и т. д. На одергивания стала огрызаться, а потом вдруг разревелась чуть не до припадка... Тем временем пришла справка от защитника; действительно, Мария Никифорова по Стародубскому делу судилась, но приговорена была не к казни, а прямо к каторге, на суде держалась неровно — то вызывающе, то со слезами; есть основание думать, что фамилия ее ненастоящая. Называл всех сопроцессников.

Обстоятельство не то, чтобы уличающее — многие из нас судились под фальшивками — но при данных условиях непонятное: что такое может скрывать от суда восемнадцатилетняя девушка, привлеченная за убийство пристава по смертной статье? Очевидно, что-то скрывалось не только от суда, но и вообще... Значит, было что скрывать... И от нас она явно пряталась: раздевалась под одеялом, не мылась, как все мы, в уборной до пояса, в коридор выскакивала, обязательно убедившись, что все сидят в камере (днем нас «свои» надзирательницы выпускали ненадолго по 2–3 человека)... и т. д. Смутное

подозрение невероятного, невозможного положения бродило в головах.

Тут пришла записка из Бутырской тюрьмы от ее сопроцессника; очень осторожно он сообщал, что Маню Никифорову он знает за хорошего и честного товарища, но есть одно обстоятельство... «Она вам сама расскажет»...

Опять обстоятельство!.. И я высказала свое предположение:

— Это не девушка, а мужчина, вернее всего — шпион. Анна Павловна подтвердила, что давно подозревает насчет мужского пола.

Кто-то засмеялся. Другие усомнились — зачем это? Но в общем положение становилось дикое — надо было его выяснить немедленно, ибо нарастала трагедия: Фаничка уже заявила, что если это мужчина, стало быть, наверное от охранки, и как только подтвердится, она его убьет. Что Фаня была на это способна, мы не сомневались, но как же тогда побег? И как побег теперь вообще?..

Попросили Анну Павловну, как самую у нас старшую и уважаемую, расспросить Маню подробно и выяснить — насколько справедливы наши подозрения в обоих случаях? Выпустили их в коридор, где можно было поговорить наедине, сами стали гадать — что теперь может быть и как тут выкрутиться? Ни до чего не договорились, конечно, потому что в верность наших наблюдений не верили. Прорывались даже обвинения в «разнузданном воображении», «начитались Фаррера» и проч. Я их обругала «наивными дурами»... Стычку эту прервало возвращение Анны Павловны, которая рассказала, разводя руками:

— Действительно мальчик, но история совсем особенная, и не провокатор вовсе, а участвовал в убийстве пристава, потом скрывался в женском платье, был так арестован и осужден; сидел в Чернигове, в одиночке, потом в Бутырках — тоже, знает тех-то, и те знают его, в общем несчастный и просит, ради бога, понять и пожалеть, плачет.

Камера ахнула... Что же теперь делать?.. Политический несомненно, хоть и врет много, но это может быть по молодости и дурости. Садить к уголовным — нельзя, сейчас же откроют и либо донесут, либо замучают ласками (на столько-то мы их знали). Оставить здесь — он и нас и себя провалит, так как ведет себя глупее глупого, а в камере три бабы, их не обманешь. Если откроется, не только лопнут все планы, но и все мы лопнем: пойдет следствие, обыски, допросы, перетряхнут всю тюрьму, а нас обольют грязью с ног до головы.

Нельзя сказать, чтобы все понимали ясно положение: большинство увлеклось романтичностью происшествия и находило наши страхи преувеличенными. Однако, приступили к обсуждению и решили следующее: Маня останется Маней, что он мальчик или мужчина — нам все равно. Ставим ему приставную койку у окошка за столом и не велим выходить из камеры иначе, как с Гельмой или Лизой, а также запрещаем петь, скакать, кричать, ходить к доктору, в уборную, когда там кто-нибудь есть и, конечно, в баню. О плане «окисления» не говорить, но работу продолжать. С ним или без него надо «окисляться» как можно скорее — иначе доживем до скандала, из которого не вылезем.

Маньку позвали, все это ей доложили и потребовали клятвенного обещания. Она плакала, сморкалась, обещала... А на другой же день запела во все горло сильным мальчишеским альтом: «У Полтави на рыночку»...

Сама судьба, таким образом, толкала нас к финалу. Выработанный план сводился к следующему: воспользоваться тем, что тюрьма сообщается нижним (как раз под нашим) так называемым «малым срочным» коридором непосредственно с конторой, которая, в свою очередь, имеет выход прямо на улицу; подобранными ключами отворить дверь камеры, выйти на наш коридор, оттуда на площадку лестницы и вниз по лестнице на 1-й этаж, затем в «малый срочный»; связывая встречных надзирательниц, при помощи Тарасовой проникнуть в контору, а оттуда на улицу, где будут в условленном месте ждать вольные товарищи.

Обязательно придется иметь дело с двумя надзирательницами — в «малом срочном» и в конторе, и с одним надзирателем — в сенях перед выходной дверью. Но нельзя надеяться, что в коридорах, примыкающих к лестнице с другой стороны — «большом срочном» и «следственном» — надзирательницы будут спать, а не выйдут от скуки, или от усердия, или

на шум на площадки лестниц. Поэтому и для них должен быть готов резерв — словом, все, способные действовать, составляют группы, назначенные на ту или другую цель, должны развить в себе умение, ловкость и силу — ведь от быстроты и точности движений активисток зависит успех всего «окисления».

И мы начали тренироваться.

Как я говорила, по дороге приходилось вязать постовых надзирательниц. Кто именно из них где будет дежурить — можно рассчитать только за 2–3 дня, да и то надо быть готовым ко всяким неожиданностям: эту передвинули, та заболела... И мы готовились вообще нападать и вязать. Предназначенные к активной роли заговорщицы, выбранные из самых ловких и сильных, практиковались на нас, грешных, и можно сказать, что мы принесли на алтарь свободы немалые жертвы. Было условлено, что «корни квадратные могут доводить до состояния покоя любой элемент, изображающий в данном случае анод», — и вот по утрам, после уборки, когда мы оставались одни в камере, в различных углах стали происходить молчаливые, но яростные схватки. Активистки, выбрав воображаемого «анода», наваливались на него в строгой системе; одна на ноги, двое на руки и еще одна хватала за глотку, чтобы заставить открыть рот и запихать туда кляп; «анод» должен был отбиваться всеми силами, но не кричать... В борьбе увлекались до настоящего азарта; Нине заткнули рот с такой энергией, что надорвали подъязычную перепонку, а со мной вышло похуже.

Я невинно сидела на «собачке», когда почувствовала, что меня схватили, давят и тащат. Верная инстинкту и инструкции, я стала вывертываться, брыкаться, вертеть головой, но вдруг почувствовала, что рука, схватившая меня за глотку, соскользнула на дыхательное горло и сжимает его мертвой хваткой... Зазвенело в ушах, перед глазами поплыли зеленые, красные, оранжевые круги... Последняя, яркая, как молния, блеснула мысль:

— Они меня задушили — пропал наш побег! И темная волна захлестнула сознание...

Очнулась на койке. Не открывая еще глаз, услышала слова:

— Ниже голову... Компресс на сердце... Пульса никакого? Надо за фельдшерницей. Я постучу...

Последние слова меня окончательно привели в чувство, и я открыла глаза. Думаю, что я не могла быть бледнее окружавших меня лиц... Подумать только: удавили товарища... и провалили побег!

Без преувеличения скажу, что к тому времени все мы были уже как бы помешаны на побеге: все явления, переживания, происшествия, как и у меня на смертном одре, сводились к одному — как это отразится на побеге?

И Зоя Ивановна, едва меня не задушившая, стояла в это время у окна и соображала — как ей устроить, чтобы немедленно ее одну арестовали за убийство, а камеру не трогали, не доискивались. Опоздай я очнуться еще минут десять — и она пошла бы донести на себя по начальству...

Но все ограничилось распухшей шеей и хорошим уроком.

Связывать же они научились, действительно, гениально.

Атмосфера в камере накалялась. К тому же нас очень нервировала Маня. Пришлось, конечно, посвятить ее в возможность побега, и она совсем потеряла голову: приставала ко всем с вопросами и предложениями, показывала приемы борьбы, не считалась не со временем, ни с местом, ни с чужими глазами... А глаза были, и по тюрьме поползли слухи: у политических сидит какая-то чудная: девка — не девка, мужик — не мужик. И они ее прячут... Я лично уже мало верила, что это был «мужик»: ни один мужчина не выдержал бы и недели, не проявив себя, запертым среди 20-ти женщин, которые в большинстве были молоды, беспечны и наивны до глупости. Вернее, что этот урод, истеричка, лживое и хитрое создание, и по чем мы знаем — не следят ли уже за Тарасовой и нашими помощниками на воле? Она могла отправить письмо, шепнуть в коридоре старшей, вызваться в контору...

И мы, мучительно переживая все эти сомнения, старались не спускать с глаз ее

нелепую даже среди уголовных фигуру.²³³

В особенности стыдно и страшно было за тот риск, — которому мы подвергали теперь наших свободных товарищей: эти люди, не связанные ни с кем из нас и лично знакомые только с теми, к кому они ходили на свидание, отдавали все за призрак нашего освобождения, который многим показался бы несбыточным миражем. Они нам поставили единственное условие: ни один человек, кроме прямых участников побега, не должен знать о нем ничего. И мы свято соблюдали его до сих пор, не посвящали даже своих сокамерниц в подробности плана. Я, например, ничего не знала об организации на воле, а мне верили безусловно. Писать с чужих слов не хочется и потому эту интереснейшую часть заговора я обойду.

* * *

В июне Тарасова принесла тревожную весть: ее собираются снять с каторжного отделения. Заметили ли ее близость с нами, что было совсем немудрено, или такова была общая политика начальства — в сущности, было все равно; важно одно: главный козырь уходит у нас из рук. Тогда стали высчитывать первый удобный по комбинации дежурств и постов день — оказалось, что раньше 30-го июня ночные дежурства Федотовой и Тарасовой совпасть не могут, а нам очень важно иметь в лице Насти Федотовой одним сильным врагом меньше. О побеге она не знала ничего, но была уже настолько своим человеком, что подвести не могла. Оставалось 10–12 дней и за это время нужно было сделать кучу вещей, завязать концы, согласовать с волей...

Слепки с замков были сняты. Ключ от коридорных дверей был у всех постовых, но камеры на ночь запирались двойным оборотом, и ключи сдавались в контору. Кроме того, особые замки были у двух дверей, отделявших тюрьму от конторы. Итого надо было заказать 3 ключа и сделать это в последний момент, чтобы в случае догадки не успели нащупать. Кроме того, вольная одежда, адреса, деньги, маршрут улиц, где встретиться.

Со всеми этими вычислениями и заказами Александра Васильевна отправилась на свидание к «Чертику».

Тут нужно сказать несколько слов о героине этой драмы. Все слухи о том, что А. В. Тарасова была партийным человеком и специально поступила в Новиковскую тюрьму для осуществления побега — сущий вздор. Это был акт личного героизма. С трогательной простотой она ломала всю свою жизнь, рвала со всем, что составляло для нее настоящее, и доверчиво полагалась на неизвестное будущее, которое мы ей должны устроить.

А мы взвалили ей на плечи огромную ношу и даже не понимали сначала, как не по силам ей такой груз. Мы забыли, что годами учились прятаться, скрывать чувства и глаза, быстро соображать и смело действовать. А она... Ведь это была только молодая тюремная надзирательница! Но вера и любовь двигают горами — Александра Васильевна Тарасова была тому примером.

* * *

²³³ Чтобы кончить с Марией Никифоровой — расскажу ее дальнейшую историю: это оказался не мальчик и не девочка, а полного и редкого типа гермофродит — более грамотные из нас скоро об этом догадались и звали его «Оно». Он не был провокатором, но, конечно, половое уродство сказалось на всей психике — истерической, извращенной и аморальной. За границей, куда он попал после побега, он ориентировался на анархистов, жил странно, то в мужском, то в женском платье, имел соответственные романы, получал какие-то средства. Мы все с ним совсем разошлись. В 1917 г. вернулся в Россию, очутился среди зеленых и с поездом ездил (под именем Маруси Никифоровой) по Черниговской и Харьковской губернии, жег, грабил, бесчинствовал. В 1919 г. он был арестован и судим в Москве; за него почему то вступился покойный А. А. Карелин, заверив его честное революционное имя. Потом, — через год, кажется, — газеты сообщали, что его снова арестовали на какой-то новой пакости и на этот раз расстреляли.

Кто же идет и кто остается? Надо помнить, что предприятие рискованное, может окончиться трагично, а в случае ареста результаты известные: удвоенный срок, кандалы и наручни, разряд «склонных к побегу» со всеми последствиями.

Малосрочным и кончающим нет смысла рисковать...

Но все уже было взвешено и решено. Отказались 4 человека: Ю. А. Овечкина, старая и больная женщина, рассчитывающая на близкое поселение; Настя Святова, кончавшая срок; Ханна Дзюм, плохо говорившая по-русски, беспомощная и заметная в Москве, и Вера Королева, страдавшая тяжелой болезнью сердца с внезапными жестокими припадками — она побоялась быть нам в тягость. Если они останутся в камере их ждет большая ответственность «за сообщество и недонесение», поэтому они постарались уйти из тюрьмы — кто в околоток, кто в больницу. Одна Вера отказалась и вся отдалась сотне мелочей, которые нужно было подготовить к сроку.

На ночную смену пришла Тарасова и в щель под дверь просунула записку: взволнованно и страстно «Чертик» писал, что план наш — безумие, равное самоубийству, что нельзя рассчитывать на счастливые обстоятельства, которые очистят нам дорогу на свободу, что как раз теперь вокруг тюрьмы бродят шпики и нас при выходе перестреляют, как куропаток; наконец, нет ни денег ни людей, чтобы в неделю приготовить все, что надо — и вообще, он отказывается участвовать в этом «преступлении».

Если бы посреди камеры очутилась «Сияние» со сворой надзирателей, это не придавило бы нас больше, чем письмо «Чертика»: все готово, по крайней мере, десяток лишних людей знает о готовящемся побеге, камера полна запрещенных вещей, мы все превратились в маньяков, которые уже не в состоянии отказаться от своей мечты. Тарасову того гляди снимут — а они там, на воле, рассуждают об отсрочке, предлагают подождать, обсудить, её спешить... Самые умеренные были возмущены.

Просунули Александре Васильевне записочку — стеречь обход, постучать нам, если появится начальство (ночью часто старшие и сама Вадбольская заглядывали в глазки), и на моей койке устроили совещание. Прошептали до света и решили: настаивать, требовать, предупредить, что все равно пойдем, без всякой помощи, прямо на улицу. Гельма и Зоя добивались оружия: если будут ловить, пробиться хоть кому-нибудь, — какой угодно ценой. И об оружии написали, хотя в общем были против: вооруженное сопротивление грозило виселицей всем участникам побега, и если мы сами вольны были лезть в петлю, то тащить туда А. В. Тарасову и товарищей. с воли не имели никакого права.

Под утро сдали ответ под дверь и расползлись по койкам: еще 18 долгих часов, когда придет желанная смена...

Прошел день, как сплошной туман. Перед вечерней поверкой неожиданно в камеру входит Тарасова — добрая душа поняла, какую мы должны испытывать муку, и сменила на три часа товарку, предложив ей идти к портнихе.

— Готовьтесь к поверке. Камеру подмели? Кто дежурный — идем за кипятком!

Нина и Шура выскочили моментально.

Прошла уборка, поверка, запорты двойным поворотом замки — тюремный день кончился. В уголку наш секретарь читал ответ «Чертика», а мы жадно смотрели на ее лицо. — Быть или не быть?

Вдруг все оно засветилось улыбкой, и синие Шурины глаза засияли, как звезды. Стало быть все хорошо! Нина звонко запела, как всегда, в минуты радости, Гельма запрыгала, все заговорили, засмеялись.

Действительно «Чертик», «Взрослый мальчик» и другие как легендарные рыцари отдавали себя в наше распоряжение, готовили ключи, адреса, платье, но решительно отказывали в оружии. На радостях мы не настаивали и впервые за много дней заснули спокойно — все пустяки, лишь бы совершилось «окисление».

Верили ли мы в удачу? Скажу с уверенностью: нет, не верили. Полная удача была бы чудом, а чудеса не живут на земле. Но большое, сложное коллективное чувство говорило: кто-нибудь да уйдет, а «на миру и смерть красна». Да и жить дальше в тюремных буднях не

было сил: «хич гирше, да иньше». Все равно никто не надеялся дотянуть до конца срока, благополучно окончить каторгу. Хоть несколько минут прожить по своей воле, ярко и полно — а там все равно...

* * *

Понеслись сумасшедшие дни. На Тарасову больно было смотреть: похудевшая, с синими кругами под глазами, она беспрестанно резко смеялась и, казалось, вот-вот оборвется истерическим припадком. На вчерашнюю обывательницу надели наряд заговорщицы и героини, и она изнемогала в чужой и чуждой ей роли. Но ее поддерживали твердые руки и на воле и в тюрьме, — это ее бодрило, давало силы и веру. Одно было страшно: перепутает, забудет, неверно рассчитает — ведь многое мы могли видеть только ее глазами. И в последние часы, когда все уже было принесено, готово, слажено, когда отступать было уже некуда — ей дали на руки писаную инструкцию, чтобы привести в систему все то, чем набивали голову все эти дни.

Уходя, она сунула ее в печку — там ее и нашли при обыске после побега. Вот она:

«Получив сигнал, что путь свободен, мы стучим Вам в дверь. Вы идете по коридорам, подходите к надзирательницам, называете их по именам, но не очень громко; если не отвечают, уходите и запираете за собой дверь на большую лестницу, дверь с „большого срочного“ и со „следственного“, а на маленький нижний коридор дверь оставляете открытой. Тушите лампу на большой лестнице, окна закрываете на час раньше.

Открываете дверь в нашу камеру, мы выходим все в коридор.

Все надзирательницы спят. Вы идете вперед и становитесь спиной к той части окна (на лестнице), которая близко к лампе. Мы пробираемся от куба к стене и проходим у самой стены до половины лестницы, а затем, согнувшись, переходим к перилам; вблизи поворота согнуться как можно больше. По второй лестнице идут вдоль стены, и когда первая останавливается, все стоят шеренгой вдоль стены. Тогда Кальций.²³⁴ идет и становится спиной к волчку „следственного“ коридора; смотрит в скважину, в каком положении Л.И.²³⁵

Л.И. покойна — Кальций делает легкий (было написано „знак“, но зачеркнуто) — кивает головою. Тогда сильная группа сразу идет на коридор, при чем Шура остается в дверях; трое отправляются к Радию.²³⁶

Если спит — Шура делает знак, и все идут на маленький коридор, а Кальций тихо затворяет дверь.

Если Радий не спит, Гельма вступает в переговоры, при чем никто Радия не трогает и схватывает Радия лишь в том случае, если она начинает крик.

Л.И. не спит: Шура дает знак, чтобы вся шеренга подалась вверх. Кальций открывает дверь, подходит к Л. И. и наклоняется над нею так, чтобы загородить собою дверь. Когда она услышит приближение наше, она делает полушаг в сторону, чтобы дать дорогу нам. В то время, как сильная группа находится у Л.И., более слабая идет к Радию и делает по вышеуказанному.

Никто не спит. Если Вал. Ал.²³⁷ не спит, то в то время, как мы на своем коридоре. Кальций подходит к двери и загораживает рукою волчок, смотрит в щель; если Вал. Ал.

234 Тарасова — свой человек.

235 Лидия Ивановна — старая надзирательница.

236 Федотова — свой человек.

237 Валентина Александровна — молодая надзирательница

сидит спокойно у своего поста, идем по указанному выше, если она ходит по коридору, то Кальций входит к ней, как с Л.И., более слабая группа моментально идет к В. А. и доводит ее до состояния покоя. Лишь только слабая группа взяла В. А. — Кальций с сильной группой идет к Л. И. Мы остаемся на последней лесенке, а Кальций подходит к волчку, закрывает его рукой и смотрит в скважину; если Л. И. спокойна, то Кальций остается у двери, не входя (но все время следит), и ждет, пока освободится слабая группа.

Сильная группа и Кальций остаются на месте, г) слабая группа идет к Радию и действует вышеуказанным путем. Если Л. И. спокойна, то лишь только освобождается путь в маленький коридор, все идем в контору.

Вход в контору и действие там: 1) Кальций идет одна и тихо открывает первую дверь, подходит ко второй и смотрит: если *В. И. Веселова* спокойна, все идут в комнату следователя, дверь приоткрывается, ключ у Лизы; 2) *Если Веселова спит*, Кальций открывает вторую дверь, около Веселовой остается слабая группа, а Кальций идет к Федорову; если он спит, Кальций наклоняется, сильная группа становится у изголовья — Кальций осторожно берет ключи, Нина сигнализирует и как только получит ответ, что путь свободен, первая группа выходит, а дежурит у Федорова вторая группа.

Если Веселова не спит: в комнату следователя входит Гельма, за ней слабая группа. Кальций подходя к двери, говорит, что идет начальница, и открывает дверь, ключ из руки не выпускает. Первой идет Гельма, а за ней Нина и вся слабая группа и берут Веселову. Все остальные идут в комнату следователя и закрывают дверь.

Кальций направляется к Федорову, а за ней сильная группа действует по вышеуказанному».

Вся долгая и сложная организационная работа, проделанная в невозможных условиях зачинченной уголовной тюрьмы, целиком вылилась в эту инструкцию. Торжеством стратегического искусства можно бы назвать побег, задуманный разработанный и проведенный случайно сошедшимися вместе 14-ю женщинами как на сцене, ни в чем не отступая от плана. Рассказ о нем будет только более красочный, — но основное вы уже прочли в сухой инструкции, которую Шура Карташева составила для надзирательницы А. В. Тарасовой.

* * *

В ночь на 1-е июля в 8-й камере никто не спал. В двенадцать часов пришла на ночную смену Тарасова и сообщила под дверь: все готово, сегодня выходим. Потом в ту же щель поползли: пакет с деньгами, сверток черного тюля, две рубашки, трое брюк, нитки, иголки, ножницы, письмо... Как она сумела пронести такой багаж — тайна женской изобретательности.²³⁸ Часть вольной одежды еще днем она протащила под видом грязного белья в стирку и спрятала где-то в кубе — сейчас все это переправлялось под дверью.

Бежать готовы были 13 человек и для каждой нужно пригнать, подобрать или сшить вольное платье. Своего на нас были только чулки и черные гладкие без каблучков туфли-лодочки. Из готовых комплектов кое-как составили: 3-х мальчиков — Зоя, Шишкарева и Манька, конечно; 4-х барышень; одну даму (Гельма); одну девочку (Лиля Матье); 2-х женщин из народа; одну сборную и одной не хватило совсем. Эта одна была я; и так как у меня был свой собственный адрес (я отказалась от помощи с воли) на какую-то акушерку, то наши швеи принялись кроить и шить из казенных суровых простынь на меня широкое, как для беременной женщины, платье-реформ. Из черного тюля вырезали кружева и состряпали шляпу. Вера, Фаня и Анна Павловна, не разгибаясь, шили, подгоняли, резали, украшали — понемногу серые каторжанки превращались в пеструю толпу уличных прохожих. Менее способные приготовляли вязки — длинные полосы тех же добротных

²³⁸ Значительная часть одежды для беглянок была пошита семьей В. В. Маяковского.

простынь резались на широкие бинты, сшивались, скатывались и складывались аккуратно в казенные же наволочки.

Шура торопливо дописала инструкцию и, кончив, сунула ее под дверь. Лежа на полу она расспрашивала Тарасову. Оказывается в последний момент произошли кое-какие изменения: Лидия Ивановна, старая, опытная и решительная надзирательница, дежурила эту ночь не на 2-м этаже, как мы предполагали, а на «следственном», т. е. как раз дверь в дверь против «малого срочного», где неминуемо должно произойти столкновение с постовой, — малейший шум может привлечь ее внимание. Но ведь мы знали, что идем на случайные комбинации и несомненно таких перемен будет в эту ночь еще немало — все учтено и принято во внимание. К тому же на «малом срочном» — Федотова, как мы и предполагали. А это уже очень много! Успокоенная Александра Васильевна пошла пройтись по постам; Настю и Валентину Александровну она в этот вечер подпоила, праздную, якобы, свое рождение, и девушки дремали в тишине светлых коридоров. Лидия Ивановна, на которую она поглядела из глазка с площадки лестницы, сидела, положив голову на руки.

А мы уже были готовы и лежали на койках, прислушиваясь к малейшему шороху за открытым окном: не идет ли с обходом ночной дозорный? не вздумает ли Капитоновна делать ночную проверку? не придет ли скучающая постовая в гости из соседнего отделения на каторжный коридор? не вздумает ли, ради хорошей ночи, постовой во дворе завести разговоры через окно на лестнице с хорошенькой Федотовой? Мало ли что еще!

Сотни случайностей могли перевернуть все вверх дном.

Уголовных мы за чаем угостили вареньем с сонными порошками, и они спали крепко, да теперь уже нечего скрывать. Лежали все потому, что по правилам в камере горела лампа и со двора через широкие окна можно было бы видеть неспящих людей.

На своей койке у крайнего окна неподвижно сидела Зоя — ее тонкий силуэт в синей косоворотке четко вырисовывался на побледневшем небе. Зоя была часовым-разведчиком: смотрела и слушала; и глаза всех были прикованы к ней, как к сигнальному флагу.

Вдруг, резко прерывая тишину, зазвенел отчаянный кошачий вопль. Один, другой, третий... Готово!

Это с церковной горы, что так кстати расположилась против тюрьмы, подают товарищи сигнал: «мы в сборе — начинайте».

Камера зашевелилась. Быстро и молча заняли свои места: впереди Шура, за ней «сильная группа» — Нина, Зина Клапина, Зоя и Гельмс; за ними «слабая» — Наташа, Анна Павловна, Лиля Матье и, наконец, «обоз»: Фаничка, Галя Корсунская, Шишкарева, Никифорова и я.

Мое назначение оказалось, собственно, сложнее: нужно было замыкать шествие и, главное, держать подле себя двух неуравновешенных особ: Маруся Шишкарева (запутанная в нелепую экспроприацию и изуродованная тюрьмой девочка) могла закатить настоящую истерику, а Мане мы вообще не доверяли. Чтобы занять их и освободить активисток, я нагрозила их мешками-наволочками, в которые сложила тщательно связанные по парам и надписанные туфли — все мы шли в чулках. Простынные связки и кляпы были в распоряжении Фанички и Лили.

— Стали? Нина, сигнал!

Вскочив на стол, Нина три раза притушила лампу — с церковной горы хорошо видно наше крайнее окно. В ответ снова мяучит кошка, и, повинувшись далекому зову, Шура отчетливо постучала в двери.

Без шума (накануне попробовали ключ и смазали петли) приотворилась дверь, и один за другим легкие силуэты выскользнули на коридор. Я оглянулась: посредине пустой и разоренной камеры, высокая и тонкая стояла одна Вера; бледное лицо ее, в венце рыжих кудрей, улыбалось. Дверь захлопнулась — конец.

На коридоре было тихо, светло и непривычно просторно. Впереди меня уже выстраивалась вереница и колеблющейся линией двинулась вдоль стены. Открылась коридорная дверь — все уже на верхней площадке лестницы, ярко освещенной большой

лампой (электричества в «Новинке» не было).

Шура махнула рукой — мы замерли у куба, только двое (кто именно — не помню) стали у двери в «следственный» коридор, на случай, если надзирательница вздумает выйти на площадку.

Тарасова подошла к лампе — она вспыхнула и погасла. Серый свет заполнил лестницу, а через большое окно со двора легли яркие пятна от ацетиленового фонаря. Сильный ветер раскачивал его, и свет бегал по стене, по перилам, по широким чугунным ступенькам. И, следя за этим светом, стараясь слиться со стеной, бесшумной цепью замелькали тени. Одна за другой, пригибаясь на поворотной площадке, соскользнули в 1-й этаж.

Здесь снова к волчку правой двери отошли двое — Нина и Шура: они стерегут Лидию Ивановну. В глазок видна вся она, сонно сидящая у постового стола. Ее спокойствие — половина нашего успеха, 50 % выигрыша.

Напротив, в «малом срочном», в это время вязали Федотову. Она дремала, когда к ней подошли, очень испугалась, но не оказала никакого сопротивления, только шептала: «скорее, скорее!». Ее аккуратно и быстро спеленали.

Зина выглянула на площадку, махнула рукой.

Сверху сбежали двое часовых; последней вошла Нина, закрыла дверь коридора и стала у внутренней ее стороны — на случай, если Лидия Ивановна все-таки выйдет и захочет прийти в «малый срочный». Все стояли уже в две шеренги на 5-ти ступеньках, которые вели к железной двери, соединявшей коридор со следовательской комнатой.

У поста, спеленутая бинтами, лежала Федотова. Рот ее был завязан, на большие глаза набегали слезы. Видно, что она сильно испугалась. Проходя, кто-то снял со стула ее шаль — пригодится. Другая добавила:

— И юбку тоже — у Анны Павловны нет.

Сняли синюю шерстяную юбку, отдали Анне Павловне.

— Настенька, не сердитесь, очень уж нужно! Она улыбнулась глазами.

У железной двери — смертная черта: ключ к ней не примеряли и не знали — подойдет ли, отворит? Тарасова вкладывает в скважину... раз, другой — не цепляет! В третий раздается отчаянный скрежет и одновременно ее возглас:

— Боже мой, все пропало!

— Что вы, опомнитесь, замолчите!

Гельма вырвала у нее ключ, энергичный поворот — и дверь открыта.

В следовательской комнате, длинной и узкой, пересчитали друг друга возбужденными глазами. Все...

Уже половина пути пройдена, и железная дверь между нами.

Гельма отдала мне ключ:

— Слушайте хорошенько, без нужды не запирайте. Это значит, что я остаюсь сторожем у железной двери и при малейшем признаке тревоги захлопну ее, запрю двойным поворотом — и спасайся кто может! Не делаем этого сразу, чтобы не производить лишнего шума — стук тяжелой двери слышен далеко по гулким коридорам.

Я вложила ключ в замок, приникла глазом к волчку и, как рулевой у штурвала, оглохла и ослепла ко всему, что происходило за моей спиной.

А там разыгрывался последний акт.

Решетчатая дверь в конце продольной стены комнаты соединяла ее с конторой, так что всякий, подошедший к ней, был виден постовой надзирательнице, которая сидела у стола посередине конторы. Мы это знали и загримировали Гельму под начальницу, нарядили ее в черное пальто и большую шляпу. Тарасова, идя по уставу впереди, отперла ей дверь, и она пошла прямо на сонную Веселову. Та подняла навстречу голову — в этот момент Гельма схватила ее за горло. Зина, Наташа, Нина, бросились на помощь. Дикий заглушённый вопль, потом мычание... Большая сильная женщина, охваченная бессмысленным страхом, забилась, как под ножом. Полетел стул, клубок тел завертелся по полу. Ее успокаивали, просили, грозили — все напрасно: остановиться она, очевидно, не могла и замолчала только, когда ей

забинтовали рот.

В это время я почувствовала, что Маруся, руку которой я не выпускала, начинает дрожать, как в лихорадке.

— Сейчас закричит! — мелькнула страшная мысль. Я в ярости обернулась к ней:

— Маруся, я вас убью! Перестаньте дрожать!

Маруся глотнула воздух, дернулась, но дрожать перестала. Маня, которая все время рвалась в бой, убежала, наконец, в контору, остальные тоже ушли, и мы остались вдвоем.

Наконец, кто-то заглянул:

— Что-же вы? идите!

В конторе было чисто, прибрано, по казенному уютно. Поблескивал телефон, тикали стенные часы. Все чего-то ждали.

Мы принялись деловито распределять туфли из мешков. В это время через окно по стене промелькнул яркий свет, и Нина сказала:

— Дорога свободна, можно идти.

Это товарищи с воли, поняв по прикрученной лампе в конторе нашу удачу, электрическим фонариком давали знать, что можно выходить.

Почти сейчас же щелкнул американский замок: вышли первые две группы — трое направо, четверо налево. Спустя две минуты двинулись и мы.

Проходя через сени, я почти наступила на дежурного ночного надзирателя: раскинувшись на ларе, он спал богатырским сном, толстое лицо его было налито кровью, а воздух кругом полон сивушного духа.

Дверь открылась и захлопнулась за нами — мы были на свободе.

Случилось все это в ночь под 1 июля 1909 года, двадцать лет тому назад.

* * *

P.S. Рассказ о дальнейших наших приключениях мог бы составить толстую интересную книгу.

10 человек и Тарасова попали за границу, трое — Иванова, Шишкарева и Карташева — были арестованы в первые два дня; их освободила февральская революция. Арестованы также и судились с ними наши благородные помощники с воли.²³⁹

²³⁹ Приведу далее выдержки из воспоминаний И. Морчадзе (С. Коридзе) о том, что ждало беглянок за пределами тюрьмы, а также розыскной список Московского охранного отделения:

И вот начинается лихорадочная, прямо головокружительная работа по организации побега.

Спешно шьются платья и днем и ночью семьей Владимира Маяковского и через Тарасову направляются, частями на теле, в тюрьму; пересылаются деньги, адреса квартир и прочее, необходимое для побега, а в самый последний день — тюремные ключи, изготовленные нашим товарищем слесарем по восковому слепку, снятым Тарасовой.

По плану побега бежавших каторжанок должны были поджидать провожатые, на обязанности которых лежало доставить беглянок на заранее приготовленные квартиры. Это делалось оттого, что не все каторжанки знали Москву и могли запутаться и не найти квартиру, во-первых, а во-вторых, это отняло бы много времени, а нужно было дорожить каждой минутой, так как предвидели погоню.

Провожатые стояли и дожидались беглянок у Новинского бульвара и у Горбатого моста, так как беглянки должны были выйти из тюрьмы двумя группами, из которых одна должна была идти к Новинскому бульвару, а другая к Горбатовому мосту. Был условлен пароль, по которому провожатые должны были узнать беглянок. В день побега, 30-го июня, мы, все участники побега, в количестве 7 человек, а именно — я, Влад. и Вас. Калашниковы, Роза Ландсберг, Яковлев, Усов и товарищ-слесарь, делавший ключи, собрались на квартире Калашникова в Волковом пер. Это было приблизительно около 7 часов вечера. Нужно здесь отметить, что организация побега велась так конспиративно, что, кроме меня, Вас. и Влад. Калашниковых, об этом никто не был осведомлен. Конечно, некоторые товарищи, быть может, догадывались, в чем дело, но для какой цели мы их собрали 30 июня 1909 г. в Волковом пер. они узнали от меня и Вас. Калашникова только вечером того же дня, когда мы объяснили им, в чем нам нужна их помощь. Боясь провокации, мы никого из них уже из квартиры не выпускали и через некоторое время приступили уже к реализации нашего плана. Первым делом Вас. Калашников вместе с Усовым пошли встретить надзирателя Федорова в пивной, чтобы напоить его снотворным веществом. Репетиция выпивки не раз была проделана Вас. Калашниковым, и надзиратель

Федоров, любитель выпить, привык уже к этому. В 11 ч. или 11.30 ночи вернулся Вас Калашников вместе с Усовым и сообщил, что первая наша задача выполнена блестяще, что Федорова так напоили снотворным веществом, что он едва ушел к себе в тюрьму, но сами Вас. Калашников и Усов были сильно пьяны, и нам пришлось откачивать их нашатырным спиртом и холодным компрессом. Перед тем, как уйти из квартиры к тюрьме, мы распорядились осветить все комнаты квартиры и не тушить огня, а сами ушли через задний двор, перескочив через стену и выйдя в зоологический сад и смешавшись с гулявшей там публикой. Все эти шаги мы предпринимали из боязни слежки за нами и провокации.

Подойдя к Новинской тюрьме, мы расставили провожатых по своим местам, а я и Вас. Калашников зашли в церковную ограду напротив Новинской тюрьмы, спрятались за густыми кустами акации и дали сигнал каторжанкам, чтобы они начали действовать. Сигнал был дан Вас. Калашниковым кошачьим мяуканьем, что он в совершенстве делал. В ответ на эту сигнализацию мы получили сигнал и от каторжанок, что они слышали наш сигнал и начинают действовать. Их ответный сигнал состоял в том, что они три раза припустили горевшую в их камере лампу. После этого, затаив дыхание, мы впились глазами в двери тюремной конторы, откуда должны были выйти беглянки, и в окно конторы, откуда мы ждали второго сигнала — свободен ли путь, можно ли выходить. Не прошло и 15 минут, как блеснул огонек в окне конторы, и беглянки извещали нас, что все прошло благополучно, и можно выходить на улицу, но оказалось, что на улицу выходить еще нельзя, и мы дали соответствующий сигнал электрическим фонарем, что выходить нельзя и чтобы ждали нашего сигнала, когда путь будет свободен.

Дело в том, что на этой улице около самой тюрьмы всегда дежурил городской, но он не всегда стоял на одном месте, а менял как-то стоянку. Наше двухнедельное наблюдение за этим городским дало нам следующие результаты: 5 раз в неделю городской сей стоял так, что ему не видно было дверей тюремной конторы, откуда должны были выйти беглянки, а 2 раза в неделю стоял так, что ему видно было все, и не представлялось возможности выходить из тюремной конторы незамеченным. Как раз случилось так, что городскому в эту ночь было видно все, и поэтому нужно было сначала его устранить, а потом дать сигнал беглянкам, чтобы они выходили. Такой случай у нас был предвиден и потому, дав сигнал беглянкам о том, чтобы они ждали, я остался в ограде церкви, а Вас. Калашников с полубутылкой в руках торопливо направился к городскому, предварительно рассыпав золотые и серебряные монеты с таким расчетом, что, собирая их, можно было отвлечь городского так, чтобы ему не было видно выхода беглянок. Притаив дыхание, я смотрел из церковной ограды на городского и разыгравшего пьяного Вас. Калашникова, который с полубутылкой в руках просил городского помочь ему собрать рассыпанные деньги и обещал, что половину всех денег отдаст ему, городскому.

Городской с жадностью бросился собирать деньги и совать их в карманы. а в это время, когда я убедился, что городской отвлечен от конторы и что ему теперь ничего не видно, я дал беглянкам сигнал, чтобы они выходили, и, действительно, через мгновение первая группа беглянок, а минуты две спустя и вторая группа. Когда они прошли к Новинскому бульвару и были уже вне опасности, городской все еще продолжал собирать деньги. Я вышел из церковной ограды и торопливо пошел догонять беглянок. Вас. Калашников тоже быстро нас догнал. Провожатые, ожидавшие беглянок у Новинского бульвара, растерялись, и пришлось их каждого останавливать и вновь напоминать о том, что они должны сделать. В результате такой путаницы, распределив среди провожатых беглянок, я очутился с последней группой в 4 чел. (я должен был взять 2-х), которых я и забрал с собой. В этой группе были Зинаида Клапина, Нина Морозова, Иткинд и Корсунская, с которыми я и направился по Б. Садовой ул. нанять извозчиков и поехать к Рогожской заставе, а через Рогожскую заставу — к дачной местности Чухлинка. Была ужасно темная ночь, и шел дождь, так что погода эта нам была на руку, так как представлялось поехать в закрытых пролетках без всякого подозрения. Но дойдя пешком с беглянками до угла Б. Бронной ул., мы не могли достать нигде извозчиков, чтобы не идти вместе с беглянками к Триумфально-Садовой ул., что было небезопасно, я завел их во двор храма св. Ермолая на Садовой ул., а сам отправился на поиски извозчиков. Когда я, наконец, достал двух извозчиков и подъехал к тому месту, я увидел картину, не понравившуюся мне: с беглянками разговаривал городской; но по веселости и смеху поняв, что это случайное явление и нет никакой опасности, я быстро направляюсь к ним, беру их под руку, сажаю на извозчиков и едем к Рогожской заставе. Оказалось (как мне передали беглянки), что городской принял их за проституток. Доехав до Рогожской заставы, мы слезли и дальше через поля направились к Чухлинке. Но здесь опять произошла с нами маленькая неприятность. У меня не было мелочи, не хватало копеек 60, а беглянки забыли пересланные им деньги в камере тюрьмы. Дать же извозчикам, вместо 60 к., 10 р., обратило бы внимание и вызвало бы подозрение, а потому я ссадил с извозчиков беглянок, объяснил им как нужно идти, а сам, поскандалив с извозчиками, что не я виноват в том, что у них нет сдачи, ушел самым бессовестным образом, так и не доплатив 60 коп. Скоро я нагнал женщин, и уже было совсем светло, когда мы очутились у названной дачи (на этой даче проживала вместе с мужем Вера Александровна Демме, сестра известного с.-р. Новотворжского). Хозяева встретили нас приветливо; появился, несмотря на такой ранний час, самовар, вино, сладости и т. д... Стали обсуждать вопрос о дальнейшей судьбе беглянок, о том, что их надо вечером перевести на другую квартиру, и т. д... Некоторые девицы, сильно уставшие и от волнения и от пути пешком, заснули. Не спал я один и рано утром, около 7 часов, я уехал в Москву устраивать оставшихся там беглянок. Не помогли уговоры беглянок и хозяев не ехать в Москву, так как меня наверняка арестуют. Особенно настаивала на этом Нина Морозова, которая предлагала вместе с ними бежать за границу. Я сам сознавал и понимал всю опасность

поездки в Москву, но другого выхода не было. Я волновался за судьбу других беглянок, боясь, что другие не сумеют их скрыть и устроить; особенно в этом меня убеждала та путаница и волнение, которые проявили провожатые во время самого побега.

Поэтому, попрощавшись с беглянками и поручив их дальнейшую судьбу хозяевам дачи, я отправился в Москву связаться через нашу центральную конспиративную квартиру — Кузнецкий мост, зубной врач Гефтер — и руководить дальнейшей работой по укрыванию бежавших. По приезде в Москву сразу бросилось в глаза необычайное явление: городские стояли с винтовками на постах, и среди полицейских царил большая суматоха и волнение. Я сразу же заметил, что за мной следят два агента, и, чтобы отделаться от них, на полном ходу вскочил в трамвай и поехал к центру. Слез на Театральной площади и пошел к Кузнецкому мосту, но в виду того, что Кузнецкий мост кишел полицейскими и агентами, я на нашу конспиративную квартиру не зашел. Вообще я сразу понял, в какое положение попал; выяснилось, что помогать далее беглянкам я не могу и только повредил бы им, если бы стремился с ними связаться. Никакие приемы и ухищрения не помогли мне отделаться от шпики. До 2-х часов дня я бродил по Москве и хотел уже обратно ехать в Чухлинку, но побоялся привести за собой шпики и провалить беглянок. Поэтому я принял решение пойти на свою квартиру и сесть. Уничтожив предварительно компрометирующие записки, я явился к себе (по 1-й Мещанской ул., д. № 9, кв. № 9). Квартира была полна полицейскими охранниками всех чинов и рангов, во главе с полицмейстером Золотаревым. Со всех сторон раздались обрадованные крики: «Пожалуйста, мы вас ждем!». Четверо агентов охранного отделения набросились на меня и начали обыскивать. У меня же в засаде попал, между прочим, и известный поэт Владимир Маяковский. Во время составления протокола, когда Влад. Маяковскому пристав задал вопрос, кто он такой и почему пришел сюда, Маяковский ответил ему каламбуром:

— Я, Владимир Маяковский, пришел сюда по рисовальной части, отчего я, пристав Мещанской части, нахожу, что Владимир Маяковский виноват отчасти, а посему надо разорвать его на части.

Общий хохот...

Почти в тот же день были арестованы все участники побега с воли. Для поимки же беглянок была поставлена на ноги не только Московская, но вся полицейско-жандармская Россия; за поимку каждой беглянки была обещана награда в 5000 руб. Охранка и полиция совсем потеряли голову. Характерным явлением служит то обстоятельство, что одна из бежавших каторжанок, Е. Матье, в ту же ночь попала в охранку вместе со своим спутником рабочим, но ее не узнали, и она была выпущена вместе с другими арестованными «девчонками», по выражению жандармского ротмистра. Оставшись одна, наконец, она долго бродила по улицам Москвы никем неузнаваемая и, наконец, отправилась к одной буржуазной даме, которую она когда-то учила русскому языку, и во всем ей призналась и просила приютить ее. Дама эта проживала в Петровском парке, в своем особняке. Она любезно ее приняла, но когда вечером пришел муж этой дамы и узнал об этом, он пришел в ужас и решительно потребовал, чтобы она покинула их квартиру. Дают ей 10 рублей и выпроваживают из квартиры прямо на улицу; но здесь совершенно неожиданно пришла на помощь горничная, которая повела ее тайно от хозяев на чердак. Часа через два после этого весь двор был окружен полицией и жандармами. Обшарили и чердак, где находилась беглянка за какой-то трубой. 2–3 раза были так близко от нее, что чуть-чуть не коснулись ее платья. Наконец, полицейские и жандармы с сыщиками уходят. Через 10 минут после этого на чердак пробирается с большой бельевой корзиной горничная, которая переносит беглянку в корзине с бельем в сарай. Днем она вылезает из сарая, связывается со знакомыми и через них переправляется за границу через Кавказ.

Беглянка Климова попадает к одному инженеру, который на автомобиле перевозит ее к себе на дачу под Москвой, а через некоторое время отправляет ее в качестве своей жены сибирским экспрессом в Сибирь, а оттуда за границу через Китай.

С беглянками Морозовой, Клапиной, Иткинд и Корсунской, которых я устроил в Чухлинке, я условился, что приеду туда не позднее 3-х часов дня, если не сяду. В виду того, что я не возвратился, беглянки, чтобы скрыть следы, в тот же вечер были переведены в лес, и там они ночевали, окруженные вооруженными товарищами. На второй день они были по одиночке отправлены в деревню, где они скрывались некоторое время, а затем, когда более или менее все улеглось, были отправлены за границу через Кавказ.

Несмотря на крупную награду за поимку беглянок, несмотря на то, что вся полиция и жандармерия были поставлены на ноги, большинство беглянок вместе с бежавшей с ними надзирательницей Тарасовой не были разысканы. Из всех бежавших каторжанок были арестованы трое — Иванова, Шишкарева и Карташева, при след. обстоятельствах. Беглянок Иванову и Шишкареву провожал студент сельскохозяйственного института Яковлев, который приводит их на свою квартиру, но об этом узнает квартирная хозяйка и выгоняет их оттуда. Тогда Яковлев уводит их на другую квартиру, но для конспирации предлагает идти сзади него. Но так как он уходит очень быстро, беглянки теряют его из виду и остаются одни на улице, предоставленные своей судьбе. Во время этих скитаний они были арестованы совершенно случайно около одной фабрики городским, и когда этого городского пристав спросил в участке, почему он их арестовал, городской ответил:

— Так что, ваше благородие, агитаторы подозрительные, около фабрики все шныряли.

Как оказалось, на этой фабрике в то время шла забастовка, и этот городской был поставлен, чтобы следить за подозрительными элементами.

Третья беглянка была арестована в трамвае при переезде на другую квартиру, так как агенты охранки опознали ее.

Все же остальные, вместе с надзирательницей Тарасовой, были, как сказано, переправлены за границу.

Дожили до настоящего времени 8 человек: Гервасий, Иванова, Иткинд, Клапина, Корсунская, Матье, Никитина и Тарасова.

СПИСОК

лиц, бежавших в ночь с 30-го июня на 1-е июля 1909 г. из Моск. Губернск. Женской тюрьмы.

И. Морчадзе (С. Коридзе). Организация побега 13 политических каторжанок// Каторга и ссылка. 1929. № 7. С. 94–99, 104–105.

УКАЗАТЕЛЬ

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, СОВЕРШЕННЫХ ЖЕНЩИНАМИ — УЧАСТНИЦАМИ ЭСЕРОВСКИХ БОЕВЫХ

1903, 27 мая — Ф. М. Фрумкина, будучи арестована в Киеве по делу о постановке типографии, во время допроса пыталась ножом перерезать горло начальнику Киевского жандармского управления генералу В. Д. Новицкому, но лишь оцарапала ему шею. Была приговорена к 11,5 годам каторги. В 1906 г. вышла на поселение; бежала. 28 февраля 1907 г. арестована в Москве в Большом театре с револьвером в руках по обвинению в покушении на московского градоначальника А. А. Рейнбота. Находясь в Бутырской тюрьме, стреляла в начальника тюрьмы Багрецова и ранила его в руку. Казнена 1 июля 1907 г.

Фрумкина Фрума Мордуховна (1873–1907) — из мещан; акушерка, член ПСР.

1905, 29 октября — Л. П. Езерская (боевая дружина) ранила Могилевского губернатора Н. М. Клингенберга. Осуждена на 13,5 лет каторги.

Езерская (урожд. Казанович) Лидия Павловна (1866–1915) — дворянка; зубной врач, имела свой зубоучебный кабинет в Петербурге (с 1900 г.), затем в Москве (с 1904 г.); кабинет служил местом явок для революционеров. В 1904 г. арестована по делу группы, готовившей покушение на В. К. Плеве. Приговорена к 1 году 3 месяцам тюрьмы, амнистирована по Манифесту 17 октября. Свой «срок» за покушение на Клингенберга до конца не отбыла, но вышла на поселение уже «в последнем градусе» чахотки.

1905, 22 ноября — А. А. Биценко (летучий боевой отряд) застрелила генерал-адъютанта В. В. Сахарова, усмирившего аграрные беспорядки в Саратовской губернии. Приговорена к смертной казни, замененной вечной каторгой.

Биценко (урожд. Камеристая) Анастасия Алексеевна (1875–1938) — из крестьян; учительница, в 1902–1903 член комитета ПСР в Смоленске, в 1903–1904 — в Петербурге, в 1905 — в Москве. В 1917 г., после раскола ПСР — член ЦК партии левых социалистов-революционеров (ШПСР). Депутат ВЦИК, в 1918 г. — товарищ председателя Совнаркома Москвы и Моск. области; к выступлению своих товарищей по партии против политики большевиков 6 июля отнеслась отрицательно. В ноябре 1918 г. вступила в РКП(б). Работала в кооперации, на сов. и парт. работе. В феврале 1938 г. арестована и 16 июня того же года расстреляна по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.

1906, 1 января — М. М. Школьник (летучий боевой отряд) вместе с А. Шпайзманом покушалась на Черниговского губернатора А. А. Хвостова. Хвостов был ранен; террористы приговорены к смертной казни. Шпайзман казнен, Школьник смертная казнь заменена 20

годами каторги. Школьник Мария Марковна (1882–1955) — из семьи колонистов-земледельцев; работница, член Бунда, затем примкнула к ПСР, вошла в БО, участвовала в подготовке покушения на киевского генерал-губернатора Н. В. Клейгельса. В 1911 г. эмигрировала в США, в 1918 вернулась в Россию. В 1927 г. вступила в ВКП(б), с 1947 г. — персональный пенсионер.

1906, 14 января — А. А. Измаилович (летучий боевой отряд) стреляла в минского полицмейстера Д. Д. Норова. Промахнулась. Приговорена к смертной казни, замененной 20 годами каторги. Измаилович Александра Адольфовна (1878–1941) — дворянка, дочь генерала; в ПСР с 1901 г., член Летучего боевого отряда Северо-Западной области. В 1917 г., после раскола ПСР — член ЦК ПЛСР. Активно участвовала в Октябрьской революции. С декабря 1917 г. — член Президиума ВЦИК. Критиковала политику большевиков; в левоэсеровском выступлении 6 июля 1918 г. не участвовала, но была арестована; вскоре освобождена. С 1919 г. неоднократно подвергалась арестам и ссылкам. В 1937 г. приговорена к 10 годам лишения свободы по обвинению в принадлежности к террористической организации; отбывала заключение в Орловском центральном; при подходе германских войск к Орлу в сентябре 1941 г. расстреляна вместе с другими политзаключенными по приговору Воен. коллегии Верх, суда СССР.

1906, 16 января — М. А. Спиридонова (боевая дружина), по решению тамбовского комитета партии эсеров смертельно ранила губернского советника Г. Н. Луженовского. Приговорена к смертной казни, замененной 20 годами каторги. Спиридонова Мария Александровна (1884–1941) — из дворян; до теракта работала конторщицей. В 1917 г. — лидер ПЛСР, почетный председатель ее учредительного съезда. Баллотировалась от левых эсеров и большевиков на пост председателя Учредительного собрания; одобрила его роспуск. От поддержки политики большевиков перешла с весны 1918 г. к ее критике. Играла ведущую роль в антибольшевистском выступлении 6 июля 1918 г. С 1918 г. неоднократно подвергалась арестам и ссылкам. В 1937 арестована, в янв. 1938 приговорена к 25 годам тюремного заключения. Отбывала заключение в Орловском центральном. В сентябре 1941 г., при подходе германских войск к Орлу, расстреляна вместе с другими политзаключенными, в числе которых был муж Спиридоновой И. А. Майоров по приговору Воен. коллегии Верх. суда СССР.

1906, 27 января — Е. А. Измаилович (летучий боевой отряд) ранила командующего Черноморским флотом адмирала Г. П. Чухнина. Расстреляна на месте без суда по приказу адмирала; по другим данным — по приказу его жены. Измаилович Екатерина Адольфовна (7–1906) — дворянка, дочь генерала, младшая сестра А. А. Измаилович.

1906, 12 марта — в Казани член летучего боевого отряда Поволожской области, известная под кличкой «Катя», бросила бомбу в жандармское управление; скрылась; позднее погибла при пробе бомбы в Симбирске. Настоящее имя неизвестно.

1906, 12 августа — З. В. Конопляникова застрелила в Новом Петергофе командира Семеновского полка, подавившего Московское восстание, генерала Г. А. Мина. Повешена 29 августа того же года по приговору военно-окружного суда. Конопляникова Зинаида Васильевна (1879–1906) — дочь солдата; сельская учительница, член ЛБО СО ПСР.

1907, 15 октября — Е. П. Рогозинникова застрелила начальника Главного тюремного управления А. М. Максимовского. На теле Рогозинниковой под одеждой был прикреплен динамит, который она должна была взорвать в том случае, если бы ее доставили в Охранное отделение. Повешена 18 октября по приговору военно-окружного суда. Рогозинникова Евстолия Павловна (1886–1907) — слушательница С.-Петербургской консерватории по

классу фортепиано, входила в состав ЛБО СО ПСР.

1907, 21 ноября — А. А. Севастьянова (летучий боевой отряд) бросила бомбу в московского генерал-губернатора и командующего Московским военным округом генерала С. К. Гершельмана. Покушение закончилось неудачей. Повешена 7 декабря по приговору военного суда. Севастьянова Александра Александровна (1873–1907) — дочь крестьянина; фельдшерница; в 1901 г. сослана за участие в издании газеты «Революционная Россия»; бежала с поселения. Входила в БО и Центральный боевой отряд.

1908, 23 апреля — М. Федорова (летучий боевой отряд) совершила неудачное покушение на Воронежского губернатора Вибикова. Несмотря на то, что Бибилов остался невредим, казнена по приговору военного суда 14 июня того же года. Федорова Мария — сельская учительница, член ПСР.

1911, 15 апреля — Л.А. Руднева (летучий боевой отряд) в Вологде выстрелами из револьвера в театре ранила в руку и в голову тюремного инспектора А. В. Ефимова. Скрылась. Мотив покушения — наведение Ефимовым «дисциплины» в Вологодском центре спровоцировало бунт, при подавлении которого двое заключенных были убиты, 76 высечены. Руднева Лидия Ивановна (1880–1912) — земская служащая в Туле, член дружины самообороны; будучи арестованной, симулировала в тюрьме сумасшествие и добилась освобождения. По ее настоянию ПСР создала летучий боевой отряд для борьбы с правительственным тюремным террором. Умерла в Париже; по непроверенным данным, покончила самоубийством.

Участники террористических организаций, упоминаемых в текстах воспоминаний

Азеф Владимир Фишелевич — техник, младший брат Е. Ф. Азефа; после разоблачения своего знаменитого родственника, о двойной роли которого Владимир, по-видимому, не подозревал, уехал в Америку в 1909 г.

Азеф Евно Фишелевич (партийные клички Иван Николаевич, Валентин Кузьмич, Толстый; клички в охранке — Виноградов, Раскин, Филипповский) (1869–1918) — глава боевой организации, организатор десятков террористических актов, в том числе покушений на В. К. Плеве и вел. кн. Сергея Александровича; с 1893 — агент охранки.

«Александр» (кличка, настоящее имя неизвестно) — рабочий, член группы «Бэлы», перешел к анархистам.

Баранов Сергей Гаврилович (1885–1908) — член ЛБО СО ПСР. Арестован по делу о покушении на вел. кн. Николая Николаевича и министра юстиции И. Г. Щегловитова. Повешен по приговору военно-окружного суда.

Барыков Сергей И. (1872-?) — вступил в БО ПСР в декабре 1904 г. Работал в Петербургском отделе БО. Арестован в марте 1905 г. Амнистирован по Манифесту 17 октября 1905. Позднее работал в Севастопольской организации ПСР.

Басов С. А. -член Петербургского отряда БО. Арестован в марте 1905 г. Амнистирован по Манифесту 17 октября 1905 г.

Беневская Мария Аркадьевна (1883-?) — член БО, участвовала в подготовке покушения на Московского генерал-губернатора Ф. В. Дубасова. Разряжая бомбу, приготовленную для первого покушения на Дубасова, вызвала взрыв детонатора, которым ей оторвало кисть одной руки и часть пальцев на другой. Была арестована раненой в больнице. Приговорена осенью 1906 г. к 16 годам каторжных работ.

Биллит Борис Григорьевич (1864-?) — химик, «хозяин» динамитной мастерской БО в Женеве, затем на юге Франции.

Боришанский Давид (Абрам, Подновский) — член БО, участник покушения на

министра внутренних дел В. К. Плеве; был руководителем Киевского отдела БО, готовил покушение на генерал-губернатора Н. В. Клейгельса, закончившееся неудачей. Арестован в марте 1905 г. Приговорен в ноябре 1905 г. петербургским военно-окружным судом к длительному сроку каторжных работ по обвинению в подготовке покушения на Петербургского генерал-губернатора Д. Ф. Трепова.

Бриллиант Дора Владимировна (Вульфовна) (1880–1906) — техник, принимала непосредственное участие в подготовке покушений на В. К. Плеве и вел. кн. Сергея Александровича. Умерла в тюрьме.

Бенедиктова — расстреляна 16 октября 1906 г. за участие в группе, готовившей покушение на военный суд в Кронштадте.

Вноровский — Мищенко Борис Устинович (1881–1906) — осенью 1905 г. участвовал в организации Боевого летучего отряда, организовал побег из минской тюрьмы Е. А. Измаилович и помог ей подготовить покушение на адм. Г. П. Чухнина. В нач. 1906 г. вступил в БО; 23 апреля 1906 г. бросил бомбу в коляску московского генерал-губернатора Ф. В. Дубасова — взрывом были убиты адъютант Дубасова и сам террорист, ранены генерал-губернатор и его кучер.

Гершуни Григорий Андреевич (1870–1908) — один из основоположников ПСР; основатель БО; непосредственный организатор покушений на министра внутренних дел Д. С. Сипягина, уфимского губернатора Н. М. Богдановича и харьковского губернатора И. М. Оболенского.

Гоц Абрам Рафаиловнч (1882–1940) — с 1904 г. член Московского комитета ПСР; с 1906 г. в БО, участвовал в подготовке покушений на П. Н. Дурново и Н. К. Римана. В 1906–1917 гг. в заключении и ссылке. При советской власти неоднократно подвергался репрессиям; умер в лагере.

Гоц Михаил Рафаилович (1866–1906) — участник народовольческих кружков 1880-х годов; один из основателей ПСР; представитель Боевой организации в ЦК-ПСР.

Дулебов Егор Олимпиевич (Агапов, Петр) (1883–1908) — член БО, застрелил уфимского губернатора Н. М. Богдановича 6 мая 1903 г.; участвовал в подготовке покушения на Плеве и др.; умер в тюрьме.

Друганов — «хозяин» динамитной мастерской в Петербурге.

Егоров Николай — матрос, член группы «Карла», 26 декабря 1906 г. застрелил главного военного прокурора Павлова; казнен.

Загородний Яков Григорьевич — член петербургского отдела БО. Арестован в марте 1905 г., амнистирован по Манифесту 17 октября 1905 г.

Зильберберг Владимир Иванович — техник, работал в динамитной мастерской, брат Л. И. Зильберберга.

Зильберберг-Панфилова Ксения Ксенофоновна («Ирина») — член БО, техник, участница покушения на петербургского градоначальника В. Ф. Лауыица, жена Л. И. Зильберберга.

Зильберберг Лев Иванович («Николай Иванович») (1880–1907) — техник, затем руководитель Центрального боевого отряда после временного ухода от дел Азефа и Савинкова; казнен 16 июля 1907 г. под именем Штифтаря.

Иванов Петр (7–1907) — член БО; 28 августа 1907 г. застрелил в Пскове начальника алгачинской каторжной тюрьмы Бородулина. Повешен.

Ильинский Сергей Николаевич — член летучего отряда Центральной области; 9 декабря 1906 г. убил в Твери гр. Игнатьева; выстрелил в себя на месте покушения, но остался жив. Осужден, как несовершеннолетний, на 11 лет каторжных работ; покончил самоубийством в тюрьме.

Каляев Иван Платонович (1877–1905) — член БО, участник покушения на В. К. Плеве; 4 февраля 1905 г. убил вел. кн. Сергея Александровича. Повешен.

Карпович Петр Владимирович (1874–1917) — смертельно, ранил министра народного просвещения П. Н. Боголепова 14 февраля 1901 г.; выстрел Карповича, не принадлежащего к

какой-либо организованной группе, знаменовал собой возобновление террористической борьбы после почти 20-летнего перерыва; осужден на 20 лет каторжных работ; после побега с каторги в 1907 г. вступил в БО. Погиб при возвращении в Россию в 1917 г.; корабль, на котором плыл Карпович, был торпедирован германской подводной лодкой.

Кац Фейга — член БО; арестована в марте 1905 г., амнистирована по Манифесту 17 октября.

Климова Наталья Сергеевна (1885–1918) — член Исполнительного комитета Боевой организации эсеров-максималистов; арестована в ноябре 1906 г. за участие в подготовке взрыва дачи П. А. Столыпина. Приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой; бежала из Новинской тюрьмы в Москве, где отбывала каторгу, 1 июля 1909 г. Перебралась за границу, где вступила в «савинковскую» БО. Умерла в Париже.

Константинов Петр Константинович (1885-?) — техник ЛБО СО ПСР. Арестован по делу о покушении на вел. кн. Николая Николаевича и министра юстиции И. Г. Щегловитова. Приговорен к смертной казни, замененной 15 годами каторги.

Крафт Павел Павлович (1870–1907) — член ЦК ПСР, ближайший помощник Гершуни в деле создания БО ПСР.

Кудрявцев Евгений Федорович («Адмирал») — член Центрального боевого отряда, застрелил 21 декабря 1906 г. петербургского градоначальника В.Ф. фон дер Лауница и покончил с собой на месте покушения.

Куликовский Петр Александрович (1870-?) — член БО, участник покушения на вел. кн. Сергея Александровича. Застрелил 28 июня 1905 г. Московского градоначальника Шувалова. Приговорен к смертной казни, замененной вечной каторгой.

Лапина Эсфирь («Татьяна», «Бэла») (?-1909) — руководитель боевой группы в Петербурге в 1906 г. Покончила с собой, будучи ошибочно заподозренной в провокации.

Лебедева Елизавета Николаевна («Казанская», «Кися» — в своих восп. П. С. Ивановская, перечисляя членов ЛЕЮ СО, ошибочно называет ее «Катя») (7–1908) — арестована по делу о покушении на вел. кн. Николая Николаевича и Министра юстиции И. Г. Щегловитова в феврале 1908 г. При аресте ранила городового; повешена.

Лебединцев Всеволод Владимирович (Марио Кальвино) (1881–1908) — участник, затем руководитель ЛБО СО ПСР. Руководил подготовкой несостоявшихся покушений на вел. кн. Николая Николаевича и министра юстиции И. Г. Щегловитова. Арестован по этому делу в феврале 1908 г. Повешен.

Леонтьева Татьяна Александровна — член петербургского отдела БО; будучи дочерью якутского вице-губернатора, была вхожа в высшее общество и снабжала ВО ценной информацией; арестована в марте 1905 г.; освобождена в связи с душевной болезнью. Уехала в Швейцарию, где вступила в организацию максималистов. Застрелила 1 сентября 1906 г. в Интерлакене в отеле француза Ш. Мюллера, не имевшего никакого отношения к политике, приняв его за министра внутренних дел П. Н. Дурново. Приговорена швейцарским судом в марте 1907 г. к 4 годам тюрьмы. Освобождена в связи с психически заболеванием. Вскоре умерла за границей.

Лурье Рашель Вульфовна (1884–1908) — революционную деятельность начала в рядах Бунда; с 1904 г. в ПСР, член БО. Застрелилась в Париже 1 января 1908 г.

Мамаева Анастасия — расстреляна 16 октября 1906 г. за участие в террористической группе, готовившей покушение на военный суд в Кронштадте.

Марков Борис Дмитриевич (Захаренко) — член петербургского отдела БО, участвовал в подготовке покушений на петербургского генерал-губернатора Д. Ф. Трепова и министра внутренних дел А. Г. Булыгина. Арестован в марте 1905 г., в ноябре приговорен к 4 годам каторжных работ.

Мельников Михаил Михайлович (1877-?) — ближайший помощник Г. А. Гершуни по созданию БО ПСР; арестован в январе 1903 г. Один из первых заподозрил Азефа в провокаторстве, но не встретил понимания в товарищах по партии.

Моисеенко Борис Николаевич («Опанас») (7–1918) — член БО, участник покушения на

вел. кн. Сергея Александровича; арестован в марте 1905 г., амнистирован по Манифесту 17 октября; после освобождения опять работал в БО. Неоднократно арестовывался; последний раз в 1912 г., когда поехал в Сибирь с целью освобождения Е. К. Брешковской. Бежал за границу, вернулся в Россию в 1917 г. Убит в Омске колчаковскими офицерами.

Моисеенко Сергей Николаевич — брат Б. Н., член БО, техник.

Назаров Федор Александрович — член боевой дружины в Нижнем Новгороде в 1905 г., с 1906 г. — член БО. Участник покушения на нижегородского губернатора Унтербергера. Убил 22 марта 1906 г. в Варшаве провокатора Н.Ю. Татарова на глазах у родителей, случайно ранив также его мать. Впоследствии повешен; по другим данным — убит при переходе границы.

Наумов Владимир Александрович (1881–1907) — член боевого отряда при ЦК ПСР. Арестован в марте 1907 г. по делу о заговоре на царя; откровенные показания, которые он дал на следствии, не спасли его от петли.

Никитенко Борис Николаевич («Капитан») (1885–1907) — отставной лейтенант флота, переправил Б. В. Савинкова за границу после его побега с гарнизонной гауптвахты в Севастополе в июле 1906 г. Руководитель боевого отряда при ЦК ПСР с начала февраля 1907 г. Арестован в марте 1907 г. по делу о заговоре на царя. Повешен. ПСР отказалась признать заговор партийным делом.

Николаев Афанасий Иванович (1885–1908) — член ЛБО СО ПСР. Арестован по делу о покушении на вел. кн. Николая Николаевича и министра юстиции И. Г. Щегловитова. Приговорен к смертной казни, замененной 15 годами каторги.

Подвицкий Б.В. — член БО; арестован в марте 1905 г., амнистирован по Манифесту 17 октября.

Покотилев Алексей Дмитриевич (1879–1904) — член БО, участвовал в подготовке покушения на В. К. Плеве; погиб при случайном взрыве бомбы в Северной гостинице.

Поливанов Петр Сергеевич (1859–1903) — народоволец; после заключения в Шлиссельбургской крепости был переведен на поселение, откуда бежал за границу; работал техником в динамитной мастерской во Франции. Покончил самоубийством.

Прокофьева Мария Алексеевна (1883–1913) — член Боевого отряда при ЦК ПСР. Арестована в марте 1907 г. по делу о заговоре на царя. Приговорена к вечной ссылке в Сибирь; в 1908 г. бежала за границу. В 1909 г. вступила в «савинковскую» БО. Умерла от туберкулеза.

Пулихов Иван Петрович («Вася») (7–1906) — член Летучего отряда Северо-Западной области; бросил бомбу в минского губернатора П. Г. Курлова 14 января 1906 г. Бомба не взорвалась, так как передавалась через агента охраны Зинаиду Жученко, доставившую ее предварительно в Московское охранное отделение, где разрывной снаряд был обезврежен лично начальником отделения М. фон Коттенем; Пулихов был повешен 25 февраля 1906 г.

Рабинович Роза (Розалия) Исааковна — техник, член группы «Бэлы»; была арестована в Нижнем Новгороде в 1907 г.; отбывала каторгу в Виленской, а затем в Мальцевской тюрьмах; после каторги вышла на поселение; после Февральской революции вернулась в Европейскую Россию.

Распутина Анна Михайловна (Шулятикова) (1876–1908) — участница петербургской «Группы народовольцев» середины 1890-х годов; с 1907 г. член ЛБО СО ПСР; арестована в феврале 1908 г., как и остальные участники отряда. Повешена.

Савинков Борис Викторович («Павел Иванович») (1879–1925) — заместитель руководителя БО — Е. Ф. Азефа; непосредственный организатор самых «громких» терактов БО — убийства министра внутренних дел В. К. Плеве и вел. кн. Сергея Александровича, а также многих других; пытался возродить БО, возглавив ее после разоблачения Азефа, но потерпел неудачу. Под псевдонимом Б. Ропшин опубликовал повесть «Конь бледный» (1909), изображение террористов в которой вызвало резкую критику в партийной среде. В 1917 г. исключен из ПСР за отказ дать объяснение своим действиям во время выступления генерала Л. Г. Корнилова. Активно боролся против советской власти. Был выманен агентами

ГПУ на советскую территорию в 1924 г. и арестован. Приговорен к расстрелу, замененному 10-летним тюремным заключением. По официальной версии покончил с собой, выбросившись из окна.

«Семен Семенович» (кличка, настоящее имя неизвестно) рабочий, член БО, техник.

Сидорчук Петр (1884–1911) — застрелил 24 апреля 1905 г. в Житомире пристава Куярова в ответ на еврейский погром; приговорен к смертной казни, замененной вечной каторгой. По Манифесту 17 октября срок каторги Сидорчука был сокращен, осенью 1910 г. он вышел на поселение и вскоре бежал за границу. Утонул, будучи в Италии.

Сикорский Лейба Вульфович (1884–1927) — член БО, осужден на 20 лет каторги за участие в покушении на Плеве.

Сине губ Лев Сергеевич (1887–1908) — сын революционеров-народников, участников кружка «чайковцев» С. С. Синегуба и Л. Б. Чемодановой, член ЛБО СО ПСР. Арестован в феврале 1908 г. по делу о покушении на вел. кн. Николая Николаевича и министра юстиции И. Г. Щегловитова. Повешен.

Синявский Борис Степанович («Кит Пуркин») (1880–1907) член БО. Арестован по делу о заговоре на царя в марте 1907 г. Повешен.

Смирнов Александр Филиппович (псевдоним, настоящее имя неизвестно) (1886–1908) — член ЛБО СО ПСР. Арестован в феврале 1908 г. по делу о покушении на вел. кн. Николая Николаевича и министра юстиции И. Г. Щегловитова. При аресте оказал вооруженное сопротивление, ранил агента охранного отделения. Повешен.

Созонов (Сазонов) Егор Сергеевич (1879–1910) — член БО; 15 июля 1904 г. бросил бомбу, взрывом которой был убит Плеве; осужден на вечную каторгу. Покончил самоубийством в знак протеста против ужесточения тюремного режима.

Стуре Лидия Августовна (Петровна) (1884–1908) — член ЛБО СО ПСР. Арестована в феврале 1908 г. по делу о покушении на вел. кн. Николая Николаевича и министра юстиции И. Г. Щегловитова. При аресте оказала вооруженное сопротивление. Повешена по приговору военно-окружного суда.

Сулятицкий Василий Митрофанович («Малютка») (1885–1907) — будучи вольноопределяющимся Литовского полка, охранявшим Севастопольскую гарнизонную гауптвахту, помог 16 июля 1906 г. бежать из-под ареста Б. В. Савинкову, которому грозила смертная казнь; вступил в отряд Л. И. Зильберберга, участвовал в подготовке покушения на П. А. Столыпина; арестован и повешен неопознанным, под фамилией Тройского.

Трауберг Альберт Давидович («Карл») (1880–1908) — член Латышского социал-демократического союза, с лета 1906 г. — создатель и первый руководитель ЛБО СО ПСР, организатор ряда успешных терактов; арестован в ноябре 1907 г. по доносу Азефа. Повешен по приговору военно-окружного суда.

Трофимов Е. А. (Сидоренко) — член БО; арестован в марте 1905 г., приговорен в ноябре 1905 г. к длительному сроку каторжных работ, так как при аресте у него были обнаружены взрывчатые вещества.

Чериавский Михаил Михайлович (1855–1943) — революционер-народник, затем член ПСР. Работал в динамитной мастерской в Финляндии, после разоблачения Азефа участвовал в попытке Савинкова реанимировать БО.

Фиалка Ревекка — техник, работала в лаборатории бомб в Одессе.

Швейцер Максимилиан Ильич (Павел, Леопольд) (1881–1905) — входил в «тройку»-комитета БО вместе с Е. Ф. Азефом и Б. В. Савинковым, участник покушений на В. К. Плеве и вел. кн. Сергея Александровича; погиб при случайном взрыве при изготовлении бомбы.

Шиллеров Василий Иванович — член БО, арестован в марте 1905 г., освобожден по Манифесту 17 октября.

Штольтерфорт Вера — «хозяйка» динамитной мастерской в Петербурге, политкаторжанка.

Яковлев — член БО, арестован при попытке совершить покушение на полковника

Н. К. Римана; осужден на 15 лет каторжных работ. Бежал, перебрался во Францию, поступил добровольцем во французскую армию во время 1-й мировой войны и был убит на фронте.

Янчевская Вера Леонидовна (1891-?) — член ЛБО СО ПСР. Арестована па делу о покушении на вел. кн. Николая Николаевича и министра юстиции И. Г. Щегловитова. Осуждена на 5 лет каторги.

ИСТОЧНИКИ ПУБЛИКАЦИЙ

П. С. Ивановская. В Боевой организации: Воспоминания. М., 1928.

В. Попова. Динамитные мастерские 1906–1907 гг. и провокатор Азеф — Каторга и ссылка. 1927. № 4–6.

М. М. Школьник. Жизнь бывшей террористки. М., 1927.

А. А. Измаилович. Из прошлого — Каторга и ссылка: 1923: № 7; 1924. № 1.

Л. С. Ивановская. Покушение на Чухнина — Каторга и ссылка. 1925. № 3.

М. А. Спиридонова. Из жизни на Нерчииской каторге — Каторга и ссылка. 1925. № 1–3.

Ф. Н. Радзиловская, Л. П. Орестова. Мальцевская женская каторга 1907–1911 гг. — Каторга и ссылка. 1929. № 10.

А. А. Биценко. В Мальцевской женской каторжной тюрьме 1907–1910 гг. (К характеристике настроений) — Каторга и ссылка. 1923. № 7.

Б. Д. Никитина. Наш побег. — Каторга и ссылка. 1929. № 7.